СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН

4



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОСЛЕ БУРИ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
З-24

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010201\text{-}127}{028(01)\text{-}90}$ Подписное

ISBN 5-280-01043-X (Т. 4)
ISBN 5-280-00785-4

КНИГА ПЕРВАЯ

1. ГОД 1921-Й. ЛЕТО

С городской каланчи донеслись удары колокола — явственные, уверенные в себе, обязательные и для города Аула, и для всего окружающего мира.

Пробито было десять часов утра. Десять утра двадцать восьмого июля тысяча девятьсот двадцать первого года.

Петр Корнилов сделал еще несколько шагов по улице Локтевской, по тротуарчику из трех скрипучих досок, и вышел на площадь Зайчанскую.

Она была обширной, квадратной, по бугроватому склону ее произрастали крапива, одичавшая конопля, травка-топтун, белый клевер, а в нижней части непринужденно раскинулось болотце с редкими стеблями бесцветно цветущего тростника.

Со всех четырех сторон площадь была обнесена плотными заборами, местами из-за них торчали наружу дома с замшелыми кровлями, низкие, но с высокими завалинками; в верхней части площади, почти полностью преграждая улицу Локтевскую, возвышался мрачноватый кирпичный храм — большой, с каменной зеленой оградой, с просторной папертью и с нищими на паперти. Вблизи же того места, на которое вышел Корнилов, как вкопанный стоял донельзя, до самой земли волосатый козел со сломанным рогом, с дикими глазами, которые он сквозь шерсть тотчас устремил на пришельца.

На козле был ошейник из сыромятной кожи, в ошейнике железное кольцо, в кольце толстая веревка, веревкой он был привязан к столбу церковной ограды, и, если бы не привязь, он тотчас и насмерть забодал бы кого-нибудь, вероятнее всего Петра Корнилова.

Но Корнилову необходимо было расположиться так, чтобы видеть и площадь Зайчанскую, и улицу Локтев-

скую, чтобы видеть с двух сторон угловой домик № 137 по этой улице, и он бросил пиджак под церковную ограду, лег в тень и примерился: веревка была коротковата, козел, слава богу, не мог его достигнуть и забодать.

Корнилов знал кое-что о сибирском городке Ауле, уже был наслышан, едучи в медленном теплушечном поезде, и на аульском причудливой торгово-церковной архитектуры вокзале он тоже послушал всяческие рассказы, так вот и знал теперь, что громоздкий храм Богородицы был закончен постройкой всего два года назад во славу спасения Зайчанской части города от пожара.

Пожар этот многодневный учинил в своем дворе главный брандмейстер, начальник городской пожарной дружины, и пламя сгубило центр города, Приречную и Нагорную его часть, но сюда — в Зайчанское — пламя не достигло, потому что ветер был в обратную сторону, а когда не достигло, то и благодарные зайчанские жители собрали средства на постройку церкви о трех голубых куполах с крестами прозрачного в небесной высоте золота.

Богородская была приземиста, тяжеловата и тверда.

Нынешний зной выгонял из ее кирпичной кладки последний запах земли, глины, еще какого-то остаточного земного сока, последние воспоминания о событии, по случаю которого церковь возникла, последние сомнения в том, к чему следовало употребить собранные жителями Аула средства — к благоустройству сгоревшей части города или же к благодарности зайчанских жителей всевышнему.

А в общем-то и город Аул, и вся земля были пусты для Корнилова — ни одно жилище, ни одно человеческое имя, хотя бы и свое собственное, ему уже не принадлежало, ничто не присоединяло его к миру, разве только безвестные дороги в любые стороны.

В пустыне Земля, безмолвной и безлюдной, слабо, почти невидимо мерцала для него одна-единственная точка: дом № 137 по улице Локтевской в городе Ауле.

Номер 137 оказался крохотным и, в отличие от других домишек, свеженьким, недавней стройки, но с тяжелыми, от какого-то другого и старого дома, воротами, со скамеечкой у ворот. Оконца на площадь, оконца на улицу. Плотный забор. Вход со двора.

Малообжитость, отчужденность и замкнутость дома нарушались лишь одним, по всей вероятности счастливым для Корнилова обстоятельством: по деревянной крыше ошалело метался и пронзительно свистел в два пальца сорванец лет четырнадцати. В руке у сорванца было удилище с тряпицей на конце, он размахивал им, намереваясь, должно быть, высечь из воздуха те искры, которые спалили бы город Аул сызнова. А там, в уже тлеющей голубизной высоте, мчались кругами и падали вертикально, и вздымались под острым углом три или четыре голубиные пары, они действительно искрились, воспламеняя себя стремительным полетом.

Глядя на сорванца на крыше и на голубей в небе, Корнилов подумал о том, что цифра «7», заключительная в обозначении дома, почиталась древними как цифра счастливая, а древность — это не напрасно, и вот ему повезло: домишко на углу Локтевской площади оказался небольшим, в нем немного жителей, значит, нетрудно будет понять, кто из них должен быть для него человеком. Человеком-спасителем. Человеком-судьбой.

По-прежнему рядом с Корниловым были и все больше продолжали быть удушливая жара и слабенькая тень церковной ограды, тяжелый храм с редким колокольным звоном, в котором Корнилов не тотчас узнал похоронный звон, лохматый козел-человеконенавистник на привязи и все еще лишенный хотя бы признака усталости мальчишка на крыше в рваных чуть пониже колен штанах, из которых он вдруг выхватывал то зеленый огурец, то краюшку хлеба, откусывал и глотал не жуя. Удивительно было, что где-то в рванье его штанов могли находиться карманы.

Удивительно, что при виде — хотя бы и с порядочного расстояния — огурца и краюшки Корнилову не захотелось есть, он уже давно, с месяц или больше, как не голодал, но болезненное восприятие чужой еды все еще неизменно томило его, вызывая резкую неприязнь к самому себе.

Нынче этого не было, и он лежал на сухонькой травке весь в одном-единственном ощущении — в ожидании Человека.

Однако же к нему снова приблизился не человек, а изможденное, злое и бесконечно страдающее существо — собака с огромной костью в зубах. Кость — коровья или бычья, берцовая, с хрящиком по выпуклому,

почти шарообразному суставу — была не по силам этой собачонке с пятнами голой и морщинистой кожи на шее, на впалом, почти отсутствующем брюхе, с незажившим шрамом на задней ноге; и теперь, положив кость на землю неподалеку от Корнилова, она с отчаянием бросилась на свое собственное и все-таки недоступное счастье и рычала, устрашая, и визжала, всхлипывая, и трясла кость, с трудом зажав ее в зубах, а потом принималась облизывать ее и себя.

Любого прохожего по Локтевской улице она издалека уже подозревала в намерении отнять у нее кость, каждого подозревала в нестерпимо унизительной для нее догадке о том, что кость эта краденая, что кость не только не принадлежит, но и не должна принадлежать ей — такой тощей, такой бессильной и умирающей от голода. Тем отчаяннее становилась решимость собаки защищать свою непосильную добычу и победу — грязная шерсть становилась на ней дыбом, лай и тяжкое дыхание прерывались удушьем, и она, рыча, ложилась на эту кость, вдавливая ее в свое тощее брюхо, скалилась и вот так изо всех сил, со всею непримиримостью угрожала своей давно предрешенной судьбе.

На Корнилова же и на козла-человеконенавистника собака не обращала ни малейшего внимания.

Корнилов спросил себя: «Какое ужасное, какое собачье положение! Но — собачье ли?»

Счастливая цифра «7» поблекла в его сознании, он ощупал себя: нет ли на нем обнаженных, морщинистых, побуревших кусков кожи?

Впрочем, время шло. Ожидание — напряженное, нетерпеливое — длилось в зное и удушье окружающего мира. И все человечество, и население дома № 137 все еще было представлено одним только бесноватым парнишкой с выгоревшими на солнце до неестественной белизны и растрепанными волосами, с удилищем в руках, с почти непрерывным свистом сквозь два пальца, заложенных за губу, и только спустя долгое время послышался тяжелый скрип расхлябанного тротуара и густой голос:

— Гад паршивый! Придешь домой-то, паршивый гад! Придешь жрать, я тебе... Гад...

Женщина, и уже не молодая, начавшая расплываться поперек себя, потная и усталая, устало же, но с ненавистью грозила мальчишке.

У ног ее кособочилась корзина подсолнечного семе-

ни, прикрытая несвежим полотенцем. Корзину тоже распирало изнутри.

Корнилов уже не первый день как заметил, что Сибирь густо была заплевана подсолнечной шелухой, а дело этой крикливой, располневшей вдоль-поперек и усталой женщины могло быть только одно — торговать семечками.

Догадливость, хотя бы и в малом, как раз и была, кажется, источником всех надежд Корнилова, доказывая, что не только по пустякам, но и в тот миг, когда его жизнь снова и снова окажется между окончательными «да» и «нет», она, догадливость, ему не откажет, но сомнения тоже не отступали: «А сколько раз будет и должна выручать тебя догадка? И до каких пор?»

Тем не менее, чуть приподнявшись на локте, Корнилов из подзаборной тени продолжал слушать женщину и догадывался: «Не она! Не тот человек! Ни в коем случае не тот! Это не сестра мне и не тетка! Она мать сорванца-голубятника, а мне она никто!»

Сорванец на крыше, спрятавшись за дымоходной трубой, все еще, хотя и не так быстро, размахивал удилищем, но голуби, не в силах выдержать дальнейший полет, уже падали вниз, на тот кровельный угол, куда удилище не доставало, они тяжело дышали зобастыми грудками и, нетвердо держась на лапах, приседая, один за другим скрывались в темном отверстии чердака-голубятни.

Парнишка сбросил удилище на землю, свесил с крыши грязные, в ссадинах ноги.

— Ма-ам? А, мам-ка? Слатенького принесла, мамка? Нешто ты жадюга человеческая? Халвы китайской не принесла? Нисколь?

Женщина, подхватив корзину, толкнула ногой калитку и торопливо вошла во двор дома. Дома № 137.

Парнишка спрыгнул с крыши.

Снова был час бесконечного ожидания, в течение которого улица Локтевская и площадь Зайчанская опустели окончательно, похоронный звон Богородской смолк, собака уволокла куда-то свою непосильную добычу, козел улегся на бок, запрокинув голову назад к спине и растопырив все четыре ноги, и только через час к дому № 137 свернул еще один человек.

«Мастеровой!»

Все опять-таки подтверждало и эту догадку: высокий рост, высокие сапоги, темная рубаха с вязаной опояской, суконный картуз. А что особенно привлекло внимание Корнилова — ровная, широкая, с покачиванием туда-сюда плечами походка.

Корнилов подумал, что он сам давно уже не двигается так же свободно, так, чтобы не замечать собственного движения, чтобы его тело принадлежало только ему, и никому больше. Многие годы его движениями управляло нечто жестоко постороннее, а вовсе не он сам,— управляли офицеры, отдавая ему свои распоряжения, и те команды, которые отдавал солдатам и младшим по чину офицерам он сам; управлял артиллерийский огонь противника, под которым он пробирался из окопа в окоп; управляли конвоиры, когда он шел в колонне под охраной или стоял в шеренге для расчета по порядку номеров; управлял безразлично сытый взгляд повара, когда он приближался к нему с миской в руке при раздаче похлебки; управлял окрик часового, когда он подходил к заграждению из колючей проволоки. Он привык быть управляемым механизмом и умело скрывать свою другую, не механическую способность к движению, спрятанную так глубоко, замаскированную настолько тщательно и обдуманно, что ее ничего не стоило потерять в этой маскировке и никогда уже не найти даже для самого себя.

Покачивание плеч мастерового, вошедшего в калитку дома № 137 после пяти часов вечера, когда окружающий зной снизился в градусах Цельсия, но еще поднялся в своей томительности, резко подействовало на Корнилова и на ту скрытую в нем возможность свободного и непосредственного движения, которая так давно, кажется целые века, находилась в заключении. Было почти несомненно, что два человеческих организма неожиданно оказались родственными и в способах, и в манере движения, а это призывало Корнилова встать, отряхнуться от сухонькой приоградной травки, пройтись по скрипучим доскам тротуара и покачать плечами. При этом он чувствовал себя рядом с мастеровым, шаг в шаг с ним!

«Отставить!» — сработал в тот же миг корниловский механизм, и он только чуть-чуть, только в нарушение команды пошевелил плечом. Правым. Лежа на левом боку. «Это, может быть, брат? Тот человек, которого я ищу? Этот мастеровой?»

И Корнилов стал припоминать его лицо. Движения он помнил, как бы даже пережил, а лицо? Круглое, с большим носом...

Глаза?

Узкие, широко расставленные.

Лоб?

Невысокий, хотя мог показаться под картузом ниже, чем был на самом деле...

Выражение лица?

Никакого выражения. Сосредоточенность, но сосредоточенность не на мысли, а на чем-то сходном с мыслью.

Вопрос: призывной возраст, отсутствие физических недостатков — и все-таки этот человек не воевал? Походка утверждает: не воевал и не служил в армии. В чем дело?

Вопрос преждевременный. Не надо торопиться!.. Тем более что и еще кто-то, какой-то человек, которого Корнилов пока не видел, живет в доме № 137: в оконцах дома все занавесочки были ситцевые, мануфактурные, а в одном, которое выходило на площадь Зайчанскую, прямо на Корнилова, бумажная. И умело сложенная в складочки, как бы тоже в ситцевые. И в то время как другие оконца были распахнуты, это было закрыто — там жил человек, жил квартирант, и его все еще не было дома.

Женщина?

Женщина пришла. Заранее, еще до встречи с Корниловым растерянная и взволнованная.

Корнилов вглядывался в нее, он должен был угадать: что следует из ее облика? Как должен он будет сказать ей первые слова? Громко? Тихо? Ласково? Грубо? Сказать сначала что-то предварительное, ничего не значащее, потом по существу? Или по существу сразу же? И требовательно?

Корнилов уже знал, что именно с этой женщиной свела его судьба.

«Отставить!» — снова сработало в нем, когда она с рассеянным, но все-таки вниманием глянула в его сторону, в сторону валявшегося под церковной оградой голодающего беженца, как бы сама того не подозревая, призывая его подняться с земли. Подняться ей навстречу.

Но нельзя было задержаться в ее зрении и памяти:

бродяга под церковной оградой и тот человек, который вот-вот обратится к ней, не должны быть одним лицом, и Корнилов отвернулся и уже не видел, он только слышал, как женщина вошла в калитку, негромко стукнув железной щеколдой.

А через минуту-другую действительно распахнулось оконце с бумажной занавеской. И тогда-то, опять-таки не сразу, Корнилов глубоко вздохнул и поднялся и деревянными ногами пошел по деревянному тротуару.

Пошел прочь.

В тусклом полуподвальном помещении на него с такой силой пахнуло пшеничным и ржаным, что он едва удержался на последней ступеньке, но удержался и спросил у кого-то, кто был в белом колпаке, четыре серые «французские» булки. У него были хлебные карточки, у Корнилова. Если он был до сих пор жив, значит, они у него были. Четыре сайки спросил он, пользуясь сибирским речением, не сообразив, что это очень много.

Потом он поднялся лестницами вверх, в замусоренном садике присел на скамеечную тумбу. Он съел три булки, хотя после второй не раз и не два говорил себе: «Отставить!»

Окружающие предметы, по мере того как голод унимался, формировались у него на глазах из своих собственных неотчетливых теней и отражений: деревья становились деревьями, склонявшееся к западу солнце — солнцем.

На улице за порушенным забором сквера в сторону железнодорожной станции тянулись ломовики, десятка полтора подвод, груженных бухтами тонкой и канатной веревки, пестромастные кони, угрюмо напрягаясь мышцами, волокли телеги, возчики с вожжами в руках, тоже сосредоточенно-угрюмо, как будто и они были в упряжи, шагали рядом. Немощеная улица пылила, скрипела и ухала под колесами и по всей длине обоза, и где-то позади него, где медленно оседала поднятая в воздух пыль.

Корнилову нужно было убедиться, что и зрение, и слух все еще при нем, не израсходовались за нынешний день, а убедившись в этом, он, чуть покачивая плечами, вернулся к дому № 137.

Он долго шел, долго старался не думать ни о чем, долго отсутствовал в самом себе.

Угловое оконце с бумажной занавеской было все еще распахнуто, и он подошел сбоку и притаился, слушая.

Там, за близкими оконными стеклами, а в то же время в какой-то невероятной дали, было тихо, и вот он ждал, чтобы что-нибудь там скрипнуло, что-нибудь пошевелилось.

Дождался.

Но и еще нужно было ждать, еще нужен был миг, и только тогда негромко, размеренно он произнес:

— От Петра Корнилова...— А спустя секунду-другую снова:— От Петра Корнилова...

Шелестнула бумага занавески.

Щелкнула белая краска на подоконнике. Краска была положена неровно и кое-где взбухла, и вот после зноя нынешнего дня она трескалась.

Там, вдали, за оконцем, около которого Корнилов стоял, не показываясь, что-то раздалось, какой-то звук.

Звук раздался, приблизился, и Корнилов знал, что теперь женщина, полная недоумения и растерянности, с перехваченным дыханием стоит почти рядом с ним.

Прошло мгновение, в которое она могла вскрикнуть, всплеснуть руками, показаться в окне, но она не вскрикнула и не показалась, а он сказал:

— За мною следом! Сейчас же! Из правого кармана у меня видна булка.

Шел он теневой нечетной стороной улицы Локтевской, шел в сторону от центра, и сначала скрипели дощатые тротуары, а потом кончились и они, вязкий сыпучий песок стал похрустывать под ногами. Когда он был уже почти за городом и уже виден был чахлой зелени луг, в улицу навстречу ему втиснулось городское стадо, волоча над собой, над своим горячим ревом, над молочно-потным запахом огромное облако пыли.

В эту пыль, в этот рев и запах на какое-то время погрузилась и вся окружающая жизнь, люди закрывали окна и распахивали калитки, чтобы принять своих коров, а Корнилов переждал этот потоп за столбом тряского забора. По груди его словно бы перекатывались парные коровьи тела с жесткими ребрами, и, сжимая в себе дыхание, он подумал: «Козлы... Собаки... Теперь коровы. Животный день?— Тут же испугался:— А как же она? Которая идет следом за мной?!»

Но стадо прошло, стадный рев затих, Корнилов оглянулся и увидел: женщина шла за ним так, будто ничто ей не помешало, ничто не встретилось ей на пути. Корнилов понял: она вошла в первую же распахнутую калитку какого-то дома и переждала там это время, этот рев.

Помятый, будто приплюснутый тяжестью все того же стада куст боярышника слева, а справа крутая излучина довольно высокого берега реки Аулки были там, где Корнилов наконец остановился.

Солнце, уже покрывшееся темными пятнами, оранжево светило на пустошь, на неширокую извилистую речку с отдаленными белыми стенами монастыря над нею и на вытоптанную, испещренную коровьими тропами луговину.

Женщина приближалась, она была не похожа на ту, которую Корнилов увидел впервые, когда она входила в калитку дома № 137.

Ничего не было общего между той, рассеянной и слегка взволнованной, и этой, до конца сосредоточенной, собранной, не замечающей ничего, только Корнилова, за которым она следовала неотступно.

Ей было неудобно и трудно преследовать его, потому что руки она несла на груди, крест-накрест на беленькой кофточке, руки мешали ей дышать, длинная и тяжелая юбка солдатского сукна ударяла ее по коленям, оранжевое солнце заката ослепляло ее, и густой этот свет как бы тоже сопротивлялся ее движению.

Корнилов уже знал ее первые слова, первый вопрос и не ошибся.

— Он жив? — спросила она, приблизившись. И остановилась чуть поодаль.

И давным-давно предрешенный и неизбежный вопрос, о котором Корнилов знал еще тогда, когда не знал, кто же его задаст, ошеломил его. А руками, которыми женщина, подойдя к нему вплотную, схватила его руки, перешагнув невидимую черту, только что остановившую ее, она заставила Корнилова искать какого-то убежища, вжиматься в самого себя почти так же, как он вжимался в деревянный забор за столбом, когда мимо него двигалось жаркое стадо. Что-то твердое будто бы снова прокатилось по его груди, но тут же с неправдоподобной отчетливостью он увидел перед собой эту женщину, это существо — глубоко страдающее, все угадавшее и не

верящее своей догадке, все знающее и снова не верящее этому знанию.

— Успокойтесь!— сказал он тихо, а потом громко приказал: — Успокойтесь!

Она кивнула, отвернулась, вздрагивая плечами под наивными складочками маркизетовой кофточки, и кивнула в сторону. Спросила:

— Это было мучительно для него? Очень? Говорите правду! Это было страшно — видеть его?

— Кому?

— Вам!

— Мне... Там не бывает страшно. Почти никому. Там теряется страх.

— Он... сам? Или с ним это сделали?

— Болезнь. Сыпняк. Кругом сыпняк. Значит, это было неизбежно.

— А вы?

— Я?

— Вы живой. И видели его своими глазами?

— Видел.

— Вы были друзьями?

— Нет. Не совсем. Нет. Не были...

— Кем же вы были?

— Соседями в бараке. Лежали рядом. На нарах.

— Что-то у вас было общим?

— Конвойные...

— Вы бежали? Оттуда?

— Нет.

— Отпущены?

— Тоже нет.

Она обернулась к нему:

— Не понимаю!

— Я тоже.

Он увидел ее лицо — темные не то карие, не то черные глаза со странным разрезом, обращенным вверх, к вискам, правильно и четко выписанные полукругом брови, тщательно отточенный нос и опять странный, слишком округленный рот и подбородок. Соединение почти геометрически правильных очертаний с неверностью детского рисунка. И вот лицо это смотрело на Корнилова с ужасом, с недоумением. Она провела ладонью по этому лицу, по этому недоумению:

— Нет-нет, не понимаю! Зачем вы пришли? Пришли, позвали меня за собой от его имени. Позвали,

словно от живого: от Петра Корнилова! — Она повторила еще раз и тише: — От Петра Корнилова!..

— Но вы же и без меня знали, что с ним случилось? Вы еще раньше получили известие?

— Позвали, словно от живого. Звать так для того, чтобы подтвердить? Ужасно! Это ужасно!

— Я не обманул вас. Ни словом. Я звал вас от своего имени. Я Петр Корнилов.

И он взял женщину за руку и отвел ее чуть в сторону от черной тени боярышника. Он вынул из кармана пиджака бумажник и развернул его перед нею:

— Вот! Смотрите!

Она с неожиданным каким-то вниманием, кажется, по складам, с дотошностью несколько раз прочла справку, держа замызганную бумажку перед глазами одной рукой, а указательным пальцем другой словно подчеркивая строчку за строчкой: год, место рождения, служба, все, что там было... Потом вернула ему бумажник.

— Да, это его документ. Его! Но фотография ваша! — И тут догадалась: — Не думаете ли вы искать спасения у меня? — и снова отступила в сторону. — У меня?

— Ради этого я здесь. Только!

— Нет-нет! Это невозможно!

— Да-да! Вы должны сделать для меня все, что сделали бы для него. Ради него! Ради того, чтобы потом не проклинать себя...

— Никогда!

— Иначе не может быть! Не может! Вам что же, мало одной смерти? И нужна другая? Собственноручная?

— Послушайте... Я даже не знаю вашего настоящего имени!

— Петр Корнилов. Разница только в отчестве. Была. Теперь нет и ее. Ее нет больше ни в чем! Оба должны были погибнуть, оба Корнилова: тот своею смертью от тифа накануне освобождения, этот — спустя несколько дней — смертью не своею. Неужели вы думаете, что тот не захотел бы спасти этого? Сменить документы и спасти? Тот это сделал бы, а вы? Вы сделаете так же! Я знаю!

— Значит, он передал вам свое имя? Всю прошлую свою жизнь? Но тогда он должен был написать мне об

этом! У вас есть письмо от него? Есть что-нибудь от него?

— Ничего! Ничего нельзя было успеть тогда.

— Он что-нибудь говорил вам обо мне? Что вы знаете обо мне?

— Вы живете в городе Ауле, на улице Локтевской, в доме номер сто тридцать семь.

— Еще?

Он протянул ей конверт. Конверт из желтой оберточной бумаги, много раз сложенный, и вдвое, и вчетверо, и расправленный снова. И чиркнул керосиновой зажигалкой — уже смеркалось, и теперь было трудно что-нибудь прочесть.

Она приблизила его руку с неярким колеблющимся огоньком к своим глазам, к этому конверту и прочла адрес: город Аул, улица Локтевская, дом № 137. Пальцами она поискала там, где должно было быть написано ее имя, но имени не было. Она расправила конверт и заглянула внутрь. Там не было ничего. Она скомкала конверт, швырнула его на землю и зарыдала.

— Напрасно...— и Корнилов тряхнул ее за плечи.— Напрасно!— повторил он зло и требовательно.— Когда нет ничего, это может значить все! Ведь это он написал адрес? Это его рука?

— Его...— подтвердила она.— Его! Но ведь больше ничего? Как же вы смели?

— Я не мог ничего, как только сметь! Возьмите себя в руки и поверьте мне: не мог!

— Вы убили его? Вам был смысл убить его? При обстоятельствах, о которых вы сами говорите? Вы ведь могли чем-то ускорить его смерть, чтобы выдать себя за него? Да? Ну, ладно, не убили. Вы только способствовали его смерти? Ладно, вы не способствовали, но, когда он умирал, вы не пошевелили пальцем, чтобы спасти его?!— Она подняла палец к глазам Корнилова почти вплотную, сначала к одному, потом к другому его глазу. Лицо ее было рассечено бликами зажигалочного огня.— Ну, по крайней мере, как меня зовут?

— Вот видите, я не знаю и этого! Если бы я хотел обмануть вас, неужели я не смог бы узнать ваше имя и еще что-нибудь о вас? Узнать у ваших хозяев, у соседей, на вашей службе? Но я не знаю ничего — вот доказательство, что я не обманываю вас!

— В чем вы меня не обманываете? Или в чем обма-

ываете? Вы настолько чужой человек, что вам даже не в чем меня обмануть! Но я-то знаю: вы жестокий человек! Вы трус! Вам нужна ваша собственная жизнь любой ценой, и вы, не задумываясь, используете чужую смерть! Какое вы имели право к ней прикасаться, к этой смерти? И этого вам мало, и вы еще хватаете жизнь незнакомой вам женщины! Уйдите! Уйдите прочь! Оставьте меня!

Было долгое молчание, и дальнейшие слова в этой паузе теряли смысл, но все-таки они не потеряли его до конца, он не допустил этого и снова шагнул к ней.

— Человек погибает, тонет, и что же, он не вправе звать на помощь? Потому что спасающий тоже может утонуть? Потому что никто не знает имени утопающего? Потому что утопающий не знает имени того, кого он зовет на помощь?

Лицо ее — странное совпадение правильных и строгих очертаний с нелепыми, некрасивыми, почти уродливыми — стало недоуменным. А он и еще спросил:

— Не хочется быть убийцей? Не хочется... Особенно в первый раз... Тем более что ведь вы спасали в своей жизни множество людей!

— Уйдите! Я вас не знаю! И не хочу знать! Уйдите! У меня страх перед вами! Ужасное предчувствие — вы меня погубите каким-то необыкновенным образом.

— Разве вы всегда знали людей, которых спасали? Это ваше непременное условие — знать человека, прежде чем пойти ему на помощь?

Как страшное признание, женщина произнесла:

— Я была сестрой милосердия... Да... Я была и есть сестра милосердия... И что же? Это мой грех, за который я должна расплачиваться перед вами? Да?

— Еще за мною имя, которым вы не сможете пренебречь! А если сможете сейчас, тогда подумайте, представьте себе, что будет с вами потом? Через год? Через тридцать лет? Какое раскаяние?

— Не смейте! Не смейте отсылать меня к нему! Я этого не позволю...

— Позволите!

— Вы ужасный! Вы преступник! Я не боюсь обыкновенной смерти, но вы... Вы что-то необыкновенно страшное для меня!

— Мы были вместе — тот и этот Петр Корнилов! А теперь мы оба — это я один! Один!

— Но ведь тот был накануне освобождения! Тот не был преступником и никогда-никогда не поступил бы так, как поступаете вы! Тот был виноват, но его простили! А вы? Это вы складывали трупные поленницы? В каждом городе, на каждой станции железной дороги поленницы, поленницы! Из трупов! Я видела.

— Туда мог лечь каждый из нас так же просто, как и положить еще одно... полено... Значит? Остается вычеркнуть все это из памяти! Из своей жизни! Из окружающего мира! И если бы я не хотел вычеркнуть и забыть, тогда зачем бы я искал вас? Остаться тем, кем я был, я мог бы и без вас! Остаться с этой бумажкой, с этой справкой на имя Петра Николаевича Петр Васильевич мог ведь и без вашей помощи, а потом? У меня во всем мире не осталось бы никого, кроме вас...

— Что вы от меня хотите?— Она передохнула, она задумалась и тут спросила еще:— Чего вы хотите? Что я должна сделать?

— Вы здесь, в городе Ауле, докажете всем окружающим, что теперь вы не одна, что рядом с вами... Кто рядом с вами? Ваш муж?

— Как странно, что вы не сумасшедший. Вы не сумасшедший?

— Очень странно... Вам только сейчас, а мне это странно уже многие, многие годы! Скажите, какой нынче год? Скажите!..

Она не поняла и вопросительно, со страхом посмотрела на него, прежде чем ответить:

— Тысяча девятьсот двадцать первый...

— Тысяча девятьсот двадцать первый, считаете вы. А ведь нынче принято считать — год четвертый от сотворения нового мира...— И тут он спросил:— Вы так же считаете?

— Мне очень, очень нужно так думать... Но не удается. Так хочется думать, будто все можно начать сначала! Что мне и всем окружающим меня только по четыре года... только...— Потом она вздрогнула и опять торопливо и возбужденно проговорила:— Но вы взрослый человек и мужчина! И преступный мужчина! И не имеете права касаться меня! Обращаться ко мне, к ребенку, произносить хоть одно слово! Уговаривать меня! Это пошло с вашей стороны: я хочу, я начинаю все сначала, мне четыре года! Не мешайте мне! Не губите! Вы много погубили людей, я не сомневаюсь ничуть!

— И я хочу, и я требую того же — начала. Только! И вы не имеете права меня погубить!

Он схватил ее за руку.

Она отняла руку. Не сильным и не резким, а безразлично-слабым движением. И тут, почти во тьме, Корнилов все равно увидел ее такой же, как днем, когда она входила в калитку дома № 137 по Локтевской улице: рассеянной и взволнованной, но только не из себя, а откуда-то извне, как бы чужим волнением.

Все-таки она была красивой женщиной, как заметил он, но эта ее рассеянность и эта слабость, они были страшны ему. Не гнев, не презрение, а эта вот слабость могла его погубить.

Она повернулась и пошла, изредка и негромко повторяя:

— Отстаньте! Откуда вы? И для чего? Не ходите за мной. Не надо!

Он шел чуть позади и, стараясь не слышать ее тихого голоса, говорил громко, почти кричал:

— Завтра в этот час вы будете здесь! Завтра вы, живое существо, придете сюда, чтобы понять другое существо! Вы человек, и вы поймете другого человека! Вы женщина, и вы поймете мужчину! Завтра в этот же час вы вернетесь сюда! Я жду!

Знойное, голодное и холерное лето раскаляло нынче воздух, камни, жилые и церковные постройки и жизни людей. Казалось Петру Корнилову, будто нынешнее лето, нынешний год — не год и не время, а только осколок времени, осколок чего-то нездешнего, чужеродного.

Так он чувствовал, хотя с ним-то, с Петром Корниловым, перемены происходили, кажется, к лучшему, обещали ему продолжение жизни, а время такого рода перемен человек всегда считает самым надежным временем.

Так он и жил сутки — размышлял за все человечество, не будучи способным понять хоть что-нибудь в самом себе,— огромное бремя мыслей и безмыслия, тысячи часов и тоже слишком продолжительных, нескончаемых мгновений.

А пошли бы они все к черту — все эти разные и часы, и жизни неизвестного какого-то цвета, вида, звука, совершенно разных биологических начал и происхож-

дений! Они были не по адресу, они предназначались или новоявленному Фаусту, гению, который сделал бы их достоянием человечества, либо какому-то тупице, у которого мыслей быть не может, а догадки от него отскакивают, как от стенки горох.

Петр Корнилов гением не был, тупицей не был тоже, но — деваться некуда — Корнилов их пережил, эти двадцать три и три четверти часа: на пятнадцать минут раньше срока он уже был на месте.

Вот оно было, это место: слева невысокий, но крутой яр — обрыв речушки Аулки, справа будто приплюснутый чьей-то тяжестью, потрепанный, запыленный куст боярышника, позади редкий, без молодняка сосновый бор и, наконец, перед ним, в той стороне, куда он смотрел, не спуская глаз, окраинные приземистые, нехотя приподнимавшиеся над землей деревянные кровли города Аула.

Это место — эта неприглядная и серенькая точка Земли была, однако, единственной, на которой только и могла нынче решиться судьба Корнилова. Решиться и состояться.

Сюда, минуя избушки и вдоль-поперек истоптанную коровами луговину, через одну четверть часа придет, должна прийти — сколько бы и как бы ни сомневался Корнилов, он все равно верил! — должна прийти его женщина.

Она была его, она была здесь еще вчера, она отвергла его, назвала преступником, убийцей, трусом, она твердила «нет, нет и нет!», но он обязал ее прийти сюда еще раз, прийти и сказать: «Да!»

Вся природа была здесь вчерашней, той же самой, и только солнце вчерашним не было — исчезла его густая, почти багровая оранжевость, и закат был нынче бледной желтизны и мог быть понят как восход или как признак уже иссякшего солнечного могущества.

Воды речушки Аулки, пронизанные той же солнечной бледностью и облегченные ею, бежали под яром чуть быстрее и чуть громче, чуть отчетливее вчерашнего позванивая. И сам яр, крутой, подтачиваемый этими легкими водами, тихо шелестел осыпающимися вниз песчаными струями, а в ожидании неминуемого обвала яр изредка вздрагивал.

Редкая дрожь земли воспринималась ступнями Корнилова как своя собственная, исходящая из него самого, из его мозга, из правого мозгового полушария.

Точность этого восприятия не могла быть опровергнута ничем, он знал, что дрожь, а иногда и короткие пульсирующие толчки происходят не в нем, а в той земле, на которой он, Корнилов, сейчас стоит, по которой нервно и напряженно он то и дело начинает снова двигаться взад-вперед, но знание это, едва мелькнув, устранялось, и он продолжал вздрагивать и маяться все тем же чувством — чувством ожидания.

Весь мир, видимый и даже невидимый за природным горизонтом, нынче воплощал это чувство, это ожидание, более же всего оно сосредоточивалось вот в этом человеке — в Корнилове, и он был бессилен перед таким сосредоточением. Он был когда-то и кем-то предназначен для ожидания, он смирился с ним и отдался ему до конца — этому тревожному чувству.

И когда женщина появилась в поле его зрения, она как бы уже и не была женщиной, а только предметом его судьбы.

Он даже не сразу узнал ее, вчерашнюю, со странным, кажется, футуристическим разделением лица на отдельные части: античные лоб и нос, монгольские скулы и по-мужски тяжелая челюсть.

И когда она сказала «да», а потом крикнула «да-да!», и когда зарыдала: «Да-да, я согласна! Слышите вы, ужасный, преступный человек?!», он молчал.

Он, кажется, не слышал ее и не чувствовал себя, он только знал и понимал: она сказала «да!».

— Пойдемте же?— позвала женщина и по-детски, обеими взрослыми и сильными руками, растерла по лицу слезы.

— Куда?

— Куда? И вы еще спрашиваете? Ко мне... В мой дом. В мой угол...

— Сейчас? Сразу же?— изумился он.— Разве это возможно? Это будет страшная, это будет непростительная глупость! Гибель для нас обоих! Нет-нет, все должно быть по-другому... Я объясню вам, когда и как это должно произойти. Не волнуйтесь, я объясню быстро и толково!

Сколько вплотную друг к другу, без зазоров, стоя, сидя, лежа, скрючившись, могло вместиться людей, столько их и вмещалось и в теплушки, и в бывшие

классные вагоны. Впрочем, бывших классных в поезде было всего три, не все остальные можно было назвать и «теплушками телячьими», потому что они имели огромные щели в стенках и полах и не годились для перевозки скота. Но люди, поглядывая сквозь щели на колесные пары, которые, громыхая и спотыкаясь, их катили, все-таки путешествовали в этих вагонах, утерявших свое название. Путешествовали не то чтобы из конца в конец света, но и не по одной тысяче верст.

Поезд двигался медленно и, кажется, только потому, что догадывался, что до остановки оставалось недалеко, что там его ждет отдых, кое-какое питье и кое-какая пища, и вот он упорствовал в своем движении, помахивая дымной гривой, пыхтел, вздыхал, гудел и таким образом приближался к городу Аулу.

Правда, поезду предстояло двигаться еще дальше, к той степи, которая незаметно зарождалась между березовыми колками и ленточными борами, а потом, окончательно поглощая своею плоскостью и эти колки, и боры, и холмы, и лощины, простиралась в невероятную даль, к подножиям Тянь-Шаня, Гималаев и Копетдага, к тому рубежу, за которым окружающий мир становился высокогорным. Приблизительно еще сутки пути от Аула поезд пойдет уже в половине своего теплушечного состава, пойдет и вовсе незряче, как бы на ощупь, угадывая заросшие дикими травами рельсы и невозмутимо долго стоя на тех полустанках, где чумазый кочегар, а иногда и помощник машиниста станут загружать тендер березовыми дровами. Теми самыми дровами, которые этот же паровоз на эти полустанки привозил сам для себя всякий раз, как появлялся здесь, то есть раз в неделю, а иногда и реже.

Глядя сквозь щель в полу теплушки на колесную пару, в ожидании города Аула, в представлениях о той нескончаемой степи и ехал и думал Петр Корнилов.

Думал не ради чего-то там, а как бы ради самой только мысли, и на этот раз о том, что человек всякий день умирает, поскольку время приближает его к смерти, но и всякий день он рождается, потому что новый день — это новое рождение человека. Вот на этой самой мысли и застало Корнилова прибытие поезда в город Аул, и, о чем-то не додумав, он быстренько, не мешкая, по давней привычке не с края, а где-то в самой середине теплушечной толпы выплеснулся на перрон.

За отсутствием расписания никто в городе Ауле не знал времени прибытия поезда, и встречающих было немного, но его женщина его встречала.

Что-то бесконечно усталое, убитое какой-то непосильной мыслью было в ее лице и во всей позе тоже, и во всем рисунке не совсем женственной фигуры, одетой все в ту же несколько легкомысленную, чересчур прозрачную кофточку, в ту же длинную, от пят и почти до груди, юбку тяжелого солдатского сукна, в которых Корнилов дважды вызывал ее на окраину города Аула, на берег речки Аулки.

Увидев Корнилова, она преобразилась, равнодушие ее обернулось в растерянную и жалкую улыбку.

И тут-то началась игра.

Кто наблюдал за ними, за этой их игрой, они не знали, наверное, никто, но игра все равно шла своим чередом, и неплохо, и живо, так что на какое-то мгновение Петр Корнилов испугался: «Да что же это за человек? Что за женщина, если она способна так играть?»

Но уже спустя минуту он понял, что женщина не изображала никого, кроме самой себя: были обстоятельства, в которых сегодня она существовала, эти обстоятельства, и совершенно никаких других, и, подчиняясь им, она изо всех сил, которые в ней были и даже которых не было, хотела им соответствовать, удержаться в них. И режиссером была вовсе не она, им был он, он сам, и если чему-то следовало удивляться, так именно его собственному театральному дарованию; она же только безропотно следовала за ним и на его столь долгожданную и такую бурную радость встречи отвечала радостно, на его объятие — объятием, на его смущение — своим гораздо большим смущением. Если это был ее талант, так только талант послушания.

Так вот, они не сразу узнали друг друга, не в первое мгновение, а узнав, смутились, а смутившись, сделали над собой усилие, чтобы рассеять смущение, и распахнули навстречу друг другу руки, и обнялись, и поцеловались, и не сразу вспомнили о вещах, которые были при нем: старенький саквояж и довольно объемистый узел. Слава богу, никто эти вещи не спер, покуда они обнимались, они подхватили саквояж и узел, обогнули здание вокзала провинциально-церковно-ресторанной архитектуры, вышли на площадь и очень обрадовались, увидев свободного извозчика.

Извозчик был не легковой, а ломовой, тележный, но не все ли равно им, влюбленным, это было? Они бросили в телегу саквояж и узел, бросились в нее сами и, не торгуясь с извозчиком, назвали адрес — улица Локтевская, угол Зайчанской площади — и такие вот, будто бы когда-то близкие, потом разлученные на годы, поехали по колеям песчаных аульских улиц при свете знойного и яркого солнца. Они смущались друг друга и вызывали любопытство, а того более — участие извозчика-ломовика.

Ломовик начал с вопроса о цене хлеба за пуд в той местности, откуда пассажир «прибыли»: почем первый, а также второй сорт? И отруби?

Пассажир отвечал охотно и в подробностях — ломовик был свидетелем его прибытия в город Аул, его встречи с любимой женщиной.

Пассажир, в свою очередь, тоже интересовался: чем извозчик при нынешней бескормице питает своего тяжеловоза? Где, на какой улице он проживает?

Пассажир конечно же запомнился извозчику, тем более что он вызывал его расположение. Безо всякой нужды, а просто так, для порядка похлестывая кнутом свежей сыромятины огромный светло-рыжий лошадиный круп, извозчик-ломовик уже называл пассажира Петром Николаевичем, а также излагал ему свою нынешнюю извозчичью жизнь и кормовые заботы в разные времена — сначала при гнедом, потом при сером в яблоках и, наконец, при этом вот нынешнем светло-рыжем, почти соловом коне. При царе Николае Втором, при Керенском и при большевиках.

Беседуя с ломовиком бойко и даже вдохновенно, Петр Николаевич Корнилов смотрел, однако, не на него, распаренного, красного от зноя и от недавно принятой порции ароматного, он вглядывался в лицо женщины, подарившей ему вот эту несказанную радость встречи.

Ну да, оно было странным, это лицо, неизвестно каким. Его нельзя было понять, но можно было ждать и надеяться на то, что это понимание все-таки придет.

Эта почти что мистичность женского лица очень странно, а все-таки вписывалась во вполне реальный и вполне конкретный мир — знойный, с деревянными неказистыми избушками, с немощеной широкой песчаной улицей, с извозчиком-ломовиком, со светло-ры-

жим, почти соловым тяжеловозом. Да, она существовала, вот эта женщина вот в этом мире, не было сомнений.

Тяжеловоз, должно быть, тоже не без участия воспринимал пассажирскую радость, а главным образом, благолепие своего хозяина, не так уж, вероятно, частое; и вот он шел, покачиваясь в оглоблях и как бы тоже навеселе, скрипучая телега, три человека и кое-какие вещички при них были ему совершенно нипочем, ему было приятно; и, то налево, то направо размахивая хвостом, он легкомысленно, однако же со свойственным ему упорством испускал сенной и еще какой-то дух и пошевеливал при этом ушами — слышать самого себя ему тоже доставляло очевидное удовольствие.

Станция железной дороги находилась за городом, и тяжеловоз миновал сначала песчаный пустырь протяженностью версты на две с невысокими и желтыми под нынешним солнцем барханами — некоторое и не столь уж отдаленное подобие пустыни Каракумы, миновал окраинные избушки, столь убогие, что площадь Зайчанская, куда лежал нынче путь тяжеловоза, конечно же могла быть названа не только городом, но и почти что городским центром. Тем более домик № 137 на пересечении площади с улицей Локтевской мог быть воспринят в этом сравнении как роскошное человеческое жилище.

И оттого, что именно к роскоши, к этому символу его новой жизни и нового рождения, когда уже не обстоятельства будут управлять им, а он обстоятельствами, не торопясь, зато надежно и верно приближался нынче гремучий светло-рыжий тяжеловоз, Петр Корнилов тоже испытывал волнение. Может быть, и восторг. И азарт, и воодушевление от всего окружающего мира, а прежде всего от игры и фарса, которые он столь высоко и талантливо вел, беседуя с извозчиком, но глядя только на женщину, лицо которой обещало вот-вот отрешиться от своей неизвестности и стать известным.

Обещало?

Она ведь, эта женщина, однажды решившись, все еще изо всех сил следовала за ним в этом фарсе и в этой игре, пока что, сегодня, сию минуту, ничтожно мелкой, на извозчичьем уровне, а завтра, может быть, и грандиозной, где-нибудь на границе между быть и не быть; она актерствовала, эта женщина, несмотря на то что ее природа была лишена всякого актерства.

Она отвертывалась от взгляда извозчика, а тот — любопытствующий и потный, с маленькой головкой, посаженной без посредства шеи прямо на огромные тяжеловозные плечи,— проникся к ней явным расположением и желал быть причастным к ее радости, а тогда она отвернулась не только от него, но и от Петра Корнилова, сделав в его сторону жест: я больше не могу...

И Корнилов проследил за этим жестом, за всем тем, что вслед произошло,— за тем, как резко женщина откинула голову назад; за тем, как торопливо, почти судорожно она стала прижимать свою руку, исполнившую этот жест, к себе самой, словно бы закрывая какую-то рану чуть пониже сердца.

Она замерла под тонким слоем маркизета своей кофточки, слишком тонкого и прозрачного при нынешнем все пронизывающем солнце и при всем том, что сейчас с нею происходило, и стала походить на огромного, но совершенно беспомощного птенца, прикрывающего себя неоперенным крылом. Она не знала, нужно ли ей сейчас ехать, нужно ли приехать в свой дом, в свой угол в доме № 137 по улице Локтевской, но приехала туда, и вдруг полегчавший, по-мальчишески быстрый извозчик внес в ее каморку немудрящие пожитки Корнилова.

Было сухо и знойно, но извозчик все равно умудрился наследить на чистых половицах дома влажными буровато-черными следами, а явное расположение к своим пассажирам ничуть не смутило его, и он спросил четыре с половиной миллиона рублей: пассажиры ведь не торговались, усаживаясь в его телегу на привокзальной площади.

Женщина торопливо расстегнула кошелек, который едва вмещал купюры и который стал совершенно пуст при расчете; извозчик еще и заглянул в эту пустоту: «А кто тебя доставил к твоему месту, мадам? Кто?» — и в доме наступила окончательная и как бы вечная тишина.

Из внешнего мира сюда, в крохотную комнатку с бумажной занавеской на окне, поступал только один звук — удары колокола Богородской церкви, расположенной рядом.

Звон был похоронным.

Он был таким изо дня в день — в городе обитала холера, город эшелон за эшелоном принимал голодающих и больных беженцев.

«Это невероятно, это ужасно, как мы, люди, знаем друг друга,— подумал Петр Корнилов, прислонившись к дверному косяку.— Ну откуда, ну зачем я понимаю, я знаю больше, чем самого себя, эту женщину? В себе, в своих собственных поступках, в своей игре и фарсе, я все-таки сомневаюсь; сомневаюсь в своем душевном состоянии, не могу его ни определить, ни назвать; в ее муках милосердия, в муках спасительницы у меня нет и даже не может быть ни капли сомнений! И вот я знаю все, что происходит сейчас в этой женщине. И вообще зачем я знаю тысячи других людей — друзей и врагов, мужчин и женщин, бывших сослуживцев, соучеников, спутников, встречных и поперечных, калек и богатырей, слуг, господ, подчиненных, начальников, живых, мертвых, ученых, политиков и писателей, которых я никогда не видел, людей, живших тысячи лет назад и не живших никогда, кроме как на страницах книг? Зачем все они мне, эти тысячи, эти полки, колонны, толпы живых и мертвых? Только человек, а больше ни один другой предмет этого мира, способен в такой же невероятной численности удержаться в моей памяти, так что сама память не в силах установить, сколько же людей она удерживает в себе!

Зачем? Для чего? Зачем все эти чужие жизни, прильнувшие ко мне, сопровождающие меня повсюду? Зачем мы друг другу? Для того чтобы жизнерадостно, жизнелюбиво, жизнеутверждающе друг друга уничтожать? Ведь из этого всеобщего знания никогда еще не возникало единения, а разобщение всегда. И, зная этот финал, предвидя разобщение, я все равно жду и требую общения, перешагивая через свою собственную безошибочную догадку!»

И Корнилов в самом деле перешагнул.

Двумя шагами. Одним — подлиннее, другим — чуть покороче он приблизился к женщине, сидевшей в углу узкой деревянной койки. Приблизился, положил ей на плечи руки.

— Женя?!

Нынче он уже знал это имя. Имя и отчество: Евгения Владимировна.

Евгения Владимировна отшатнулась, закрыла лицо руками. Прошептала:

— Боже мой, боже мой! Как я вас ненавижу!

— Почему?— спросил Корнилов, спросил нелепо

и глупо.— Почему вы ненавидите меня? Не надо меня ненавидеть!— Он не ждал никакого ответа, но Евгения Владимировна вдруг стала ему отвечать:

— Поймите, мне ничего не надо, ничего на свете, только мой паек фельдшерицы и мой угол в этом доме, а больше ничего никогда! Но вы страшный человек, преступный человек, вы заставите меня желать чего-нибудь. Вы не можете не заставить. И это ужасно! Ужасно желать, чтобы вы умерли как можно скорее. Или чтобы обязательно заболели! Слушайте, пока еще не поздно, заболейте сыпняком! Боже мой, сколько людей умерло у меня на руках от сыпняка, а сама я почему-то не умираю! Ну, а тогда заболейте вы! Заболейте и умрите!

II. ГОД 1923-й. ЗИМА

— А я вот как предлагаю: после двух-то часов с половиной нашего собрания я предлагаю послать всех к черту! Всех вас, здесь присутствующих.

Полковник поглядел вокруг. Медленно развернувшись на стуле, он оглядел всех и справа, и слева от себя, взгляд его был усталый, безразличный и злой. Лицо грубое, топором рубленное: нависший круглый лоб и тоже округлый мясистый нос, голова лысая. Но, весь грубый, он все-таки был интеллигентным полковником.

Каким образом интеллигентность в нем уживалась и угадывалась, нельзя было уяснить, но она была.

По всей вероятности, он даже изъяснялся по-французски, а по-немецки наверняка — язык противника он должен был знать обязательно.

Имел он и кое-какие светские пристрастия и, наверное, мог быть галантным кавалером, мог имёть пристрастие к музыке или к балету.

Именно потому, что он был достаточно интеллигентен, он и сдержался, не повысил голоса, не встал, не плюнул на пол и не ушел с собрания, а заставил себя повторить последнюю фразу с некоторым изменением интонаций и текста.

— Заодно,— повторил он,— послать к черту всех... нас.— Так он самого себя отредактировал и сам себе заметил, однако не совсем вслух.— Пожалуй, так лучше будет...— заметил он тихо.

Уж эта полковничья интеллигентность! Хамовитость плюс неожиданная изысканность: «Четвертое скерцо Шопена по силам одному из десяти выдающихся музыкантов — тонкость!— изумительная, знаете ли, штучка! Согласны?»

Уж эти интеллигентные полковники бывшей русской армии, немногочисленные, но заметные, лысые, шопенисто-бурбонистые, демократичные, поскольку, не достигнув генеральских чинов, по русскому обычаю, ставят это обстоятельство себе в заслугу, непримиримые ко всем знаниям и мнениям, кроме собственных...

Александр Куприн, военный писатель (очень не любимый кадровым офицерством), этого типа полковников не коснулся — не смог. У него все офицерики со вздохами и голубыми глазками.

А где он, где он сейчас, Куприн-то,— в Париже? Вот там бы и поднатужился, изобразил бы! Если не он, тогда кто же одолеет? Тогда только пролетарские писатели, больше некому. Советы поставят задачу перед своим пролетарским искусством, вооружат его классовым сознанием и более или менее приличным гонораром, и пролетарское искусство сработает.

Без шуток.

После лысые полковники — кто в сибирской ссылке, в городе Ауле, например, кто в найме на французских куцых огородиках, где выращивают шампиньоны для Парижского зеленного рынка, кто в задрипанных стамбульских лавчонках, а кто так и в советской добросовестной службе — будут удивляться: откуда?

Откуда эти-то, сиволапые-то, их знают? И улавливают нечто такое, что в самих себе крупные лысые головы не уловили? Конечно, спору нет, портреты будут жирные, гораздо жирнее реальных, кулаки тоже значительно крупнее, чем в натуре, без этого не обойдется, а все-таки?

Нет уж, лучше бы эти портреты слепил кто-нибудь из своих. Из таких же вот лысых. Или лысоватых.

Для истории, кажется, все равно, кто слепит, лишь бы было слеплено. Но это только кажется, а на самом деле история человека — одно, а сам человек — что-то другое. Как ни крути, а что-то другое, и вот это «что-то» не хотелось бы выбросить в мусор, будто его и не было, когда в действительности оно было, хотелось бы выта-

щить его из истории, в которую оно влипло по уши, а теперь не знает, как из нее вылезти!

С некоторых пор в России, а еще раньше в других европейских государствах стало принято говорить о человеке, что он «продукт».

Продукт чего-нибудь — своего времени, своего общества, семьи, класса, среды,— но только не самого себя. Вот так: вся жизнь — продукт самой себя, но жизнь человеческая — продукт не себя, а чего-то другого. Она не более чем функция какого-нибудь аргумента. И все, что в этой функции не хорошо, не так и не то, что в ней попросту непонятно и неизвестно, все это не от нее самой, а от ее аргумента.

Аргумент же и во все-то времена отличался непоколебимым авторитетом, а тут он приобрел его вдвойне и втройне, ничуть не смущаясь тем, что ровно столько же потеряли в своей значительности все произведенные им на белый свет функции, и прежде всего — человек.

Хотя?

Хотя откуда они, в самом деле, появились бы, эти более чем значительные и величественные аргументы, не будь такой столь незначительной функции, как человек сам по себе? Как личность мыслящая?

Тем не менее эта несправедливость и нелогичность существовала в мире, и убедительным доказательством ее существования мог быть полковник, только что предложивший послать всех и вся к черту, он-то действительно был продуктом своей профессии, и жизнь имела для него смысл только потому, что в ней от времени до времени происходили войны.

Все остальное, все прочее было не более чем примечанием к этой военной жизни: женщины существовали в ней для того, чтобы родить солдат и доставлять удовольствие офицерам и генералам, все прочие гражданские деятели были армейским тылом и обширным интендантством, в котором редко-редко кто не находится на побегушках у полковников и генералов, искусство и особенно балет имели назначение опять-таки развлекать офицерский корпус, а также доставляли возможность высказать по поводу искусства свое веское мнение, похвастаться этим мнением в подходящем случае.

В жизни вообще действовала только одна правда, одна правота, одна красота и одна сила — сама сила,

и прав, и правдив, и красив мог быть только тот, кто со всею очевидностью сильнее других.

Любой раскрасавец, если он слаб, он истинный урод, а больше ничего. Женщины, к примеру, это прекрасно понимали и во все времена неплохо жаловали полковника своим вниманием — совершенно лысого, с мясистым яйцевидным носом и с узкими глазками, а уж они-то знали толк в красоте.

В общем-то, в русской армии далеко не всегда был распространен этакий полковничий тип, но с некоторых пор он появился, и пора эта была несчастливой для России — война с Японией.

И до этого русская армия терпела поражения — шестьдесят лет назад, в Севастопольскую кампанию 1854 года, но в конце концов, это было поражение благородное, монументы Севастопольской обороны стали монументами славы, ну а далее, в глубь истории, от Петра Первого, от Смутного времени никто от России ни кусочка не оторвал, она же являлась во многие места — и под Царьград, и в Берлин, и в Париж, и в Кушку, и в Порт-Артур.

И вот позор поражения на сопках Маньчжурии. Неожиданного и трагического.

Конечно, и всегда-то не все ладилось в русской армии в дальних и даже ближних ее походах, неразберихи и глупостей было через край, но дело все едино кончалось победой и глупости забывались, и в 1904 году тоже надеялись, что под самый конец русский солдатик с востреньким штыком выручит и тут.

Тут — не выручил.

А тогда-то и явился вот этот до мозга костей полковник и объяснил поражение: его, такого профессионального, такого современного военного продукта, не было на сопках Маньчжурии, вот в чем все дело!

Он явился, и теперь все должно быть по-другому. Он явился не просто так, но с готовностью набраться дельного опыта у тех, кто этот опыт имел. Уже давно — с наполеоновских времен — не было войны всеевропейской, и новые русские полковники, а вероятно, и не только русские, чувствовали в этом ненормальность, опасную затяжку необходимых событий, беду чувствовали: не воевали слишком давно, разленились, разболтались окончательно, дали много воли разным штатским, и что получилось? Получился позор — поражение от макак-япошек! А если и далее дело пойдет так же —

газетки будут пописывать, дипломаты будут поезживать друг к другу, императоры, вместо того чтобы энергично ссориться между собою, будут заниматься дрязгами внутригосударственными и тем самым подрывать основы собственной власти,— если дело пойдет таким образом, чего же можно ждать хорошего?

И вот наконец-то, наконец стало проясняться: Франция и Германия должны схватиться между собою всерьез, намертво, а России грех прозевать — своевременно и с большою пользой для себя ей надо выбрать союзника. Исстари повелось, что Россия, что ни война, то и таскает из самого пекла каштаны для других, а тут наступала, кажется, ситуация, при которой, в разумении полковника, России не грех бы кое-что и выиграть от этой распри, затеянной слишком цивилизованной Европой.

И полковник безоговорочно выбрал себе союзника — Германию. «Неметчина» была не бог весть как по душе ему, однако же следовало чем-то поступиться, кроме того, Франция, тем более «англичанка» — это еще хуже. Это нечто совсем уж хитроумное, чуждое, слишком европейское, слишком зарвавшееся на чужое добро во всем, как есть во всем мире, и в союзе с Англией совершенно неизбежен обман русского простака. Нет, немцы все-таки проще, соседственнее, и хотя тоже во веки веков надували Россию, но это надувательство стало уже почти что своим, доморощенным и привычным.

К тому же полковник мог вступить в союз только с истым монархистом, а бесчисленные фотографии кайзера Вильгельма при усах, при каске и холодном оружии этому душевному запросу полностью соответствовали.

Наш полковник, между прочим, к фотографиям был неравнодушен, фотоаппарат считал величайшим изобретением и досадовал, что его изобрели французы, а не русские или хотя бы немцы, рассматривая же иллюстрированные журналы, полагал, что занимается чрезвычайно важным делом: военный взгляд, полагал он, должен быстро и безошибочно угадывать, что за внешностью человека скрывается, какая сила. Какие намерения? Какие манеры? Точно так же и пейзаж любой местности рассматривал он с точки зрения возможностей маневрирования на ней воинских частей и подразделений.

Собственная внешность при таком взгляде на вещи ему, конечно, тоже не могла быть безразличной; и довольно долгое время он создавал рисунок самого себя — сначала отпускал усы, потом бородку или же занимался комбинацией того и другого в различных формах и сочетаниях, но вот однажды побрился наголо и с тех пор не допускал и намека какой-либо растительности на поверхности своей головы, а каждый тайком появившийся на темени, затылке и подбородке волосок подозревал в сознательном предательстве того облика, который он принял как единственно возможный для себя и как окончательное посвящение себя в военную профессию.

Оголенность его черепа достигала идеальности, высшего совершенства, и казалось, что были оголены сами кости черепной коробки, что на этих костях и в помине нет хотя бы самого крохотного клочка кожи, что полковничья голова выточена на токарном станке, и даже не в младенчестве, а где-то уже в зрелом возрасте, выточена из крепкого дерева, причем не вся сразу, а по частям. Эти части затем были слегка покрыты лаком и склеены между собой, швы склейки проступали и сейчас. Один из таких швов был как будто даже и не склеен, а сшит довольно толстой ниткой, нитка очень странно выглядела на дереве. Это был венечный шов, соединяющий кости затылка и темени.

И вот череп действительно стал не только характерной чертой внешности, но, кажется, и характером человека, и почему-то было очевидным, что этот небольшой упрямый и блестящий шарик ведет свое собственное, вполне независимое существование на огромном шаре Земли.

Столь откровенно обнаженный и доступный любому взгляду со стороны, полковничий череп вызывал, кроме того, желание окружающих заглянуть еще и внутрь него и тоже без особого труда разобраться во всем, что происходит там, внутри, в частности познакомиться с механизмом, который вырабатывает убеждение в безусловной необходимости полковничьего существования.

В общих чертах картина, вероятно, представилась бы следующей: мозговые клетки полковника были далеко не однообразны и не одинаковы, как это можно было с самого начала предположить, среди них обнаруживались и те, которые с истинным чувством не только

способны были воспринять, но и достаточно изящно исполнить Четвертое скерцо Шопена, могли и еще кое-что в том же духе, однако же все они были построены повзводно и поротно, по четыре в ряд, все состояли в кадрах, в том самом чине и звании, в котором состоял их владелец,— никаких расхождений здесь не могло быть в принципе.

Между прочим, эта более чем своеобразная, а все равно гармония имела свое происхождение, то есть была полная возможность установить, продуктом каких внешних условий она является: она была антиподом ужасной неразберихи и того содома, который царил в мире повсюду, а в России особенно.

Ну да — все эти социалисты и террористы, все философы и религиозные сектанты, все революционеры и толстовцы, все Аристотели и Надсоны, все бездари и гении, все меланхолики и воры натворили вокруг полковника такого, что в один прекрасный для него день он решил: плевать я хотел на всех на вас!

А если уж так решено, далее вполне логичным было бросить факультет с третьего курса да и постричься-побриться в военную службу, единственно порядочную, поскольку в сознании полковника уже в то время почти отождествились такие понятия, как порядочность и порядок. Равно как и беспорядок, отсутствие дисциплины и неорганизованность стали для него синонимами всяческого негодяйства, подлости и непорядочности.

Логика необычная для русского ума, но как раз в силу своей необычности и даже дефицитности притягательная.

Вот он чем, какими соображениями и убеждениями, какой психологией поблескивал нынче, этот деревянно-полированный и круглый полковничий череп, в каком состоянии, неизменно ему присущем, он и сейчас находился.

Свет на него, на этот череп, падал тусклый, едва заметный, однако же он и в освещении не очень-то нуждался, поскольку самостоятельно излучал нечто вроде сияния.

Однако же — увы!— эта самостоятельность не выглядела ни героически, ни гордо, ни даже сколько-нибудь привлекательно, наоборот, подспудно было в ней что-то не совсем приятное.

Трагическое что-то было в ней, а этого добра вокруг и без того столько существовало повсюду, что трагедия становилась уже пошлостью и столь серой повседневностью, что дальше некуда. Так и происходило: в первый момент навстречу полковничьей уверенности хотелось улыбнуться, распахнуть объятия, но уже в следующий миг ощущалась эта самая трагичность. И не какая-нибудь отдаленная и всемирная, о той и речи нет, та сама собою разумелась — все умрем, все и непременно будем там! — полковничья трагичность была сиюминутной... Вот-вот и свершится... Он сам об этом не догадывался. Зато другие, все другие участники нынешнего собрания, которых полковник послал к черту, догадывались вполне. У других, да еще у «бывших», опыт на этот счет был безукоризненный. Надежный опыт.

Ну, дело пока что было не в этом...

Итак, вскоре после событий 1905 года, после Цусимы и Мукдена, выбор полковником был сделан: воевать Россия должна на стороне Германии и Австрии против Англии и Франции. И не одни только строевые полковники выбор совершили, русский генеральный штаб придерживался той же ориентации, русская дипломатия — ее же, а русский и германский императоры были на «ты»: милый Ники — милый Вилли.

Полковник лишь разрабатывал эту ориентацию в своем уме. Русские дивизии стянутся на западную границу, под сень великих крепостей — Варшавы, Иван-города, Перемышля,— тут они экипируются, подучатся, в нужный момент союзники — немцы посадят их в чистенькие железнодорожные составы, для полковников обеспокоятся салон-вагонами и по строгому расписанию доставят всех в Эльзас-Лотарингию.

Отсюда уже начнется война, и серьезная: Верден и Бельфор — не баран чихнул, к тому же здесь самая пора начаться немецкому надувательству. Русские, само собой, окажутся в самом пекле, немецкие отборные части — на второстепенных направлениях, с которых, однако же, обеспечен марш на Париж. Так оно и случится: покуда русский генералитет будет спорить между собой о том, чей корпус вступит в Париж, покуда депеши пойдут в Санкт-Петербург и обратно, немцы уже

будут маршировать перед Комеди Франсез, перед Бурбонским и Елисейским дворцами. Четко они отшагают, немцы, по парижским мостовым, на пятых этажах всех зданий будут дрожать стекла. Это они умеют!

Но... бог с ними, с немцами, ладно уж!

Русские солдатики сложат по этому поводу какие-нибудь поговорки с рифмой «Париж — шиш» и «шиш — Париж», среди полковников будет ходить с десяток анекдотов не для женщин на тему о том, как немец опередил русского в ночном парижском заведении, но затем выяснится, что он, то есть немец, все равно остался в дураках, и в конце концов французы сами объявят, что истинный над ними победитель вовсе не германская, а русская армия. Французам так приятнее и благороднее. Они немцев не любят. А уж историкам-то, военным-то академикам сколько наслаждения — спорить о том, кто же все-таки по праву должен был первым войти в Париж?!

Вот так...

Вот так, но ведь осталась главная и пакостная виновница всех интриг на Земле — «англичанка»! Уж она-то, «англичанка», успеет предать легкомысленных французиков и без потерь эвакуировать свои войска и ящики с солдатскими сигаретами через Ла-Манш на берега туманной, грязной Темзы. Она, наверное, успеет еще и против России затеять интриги на персидской границе и в Туркестане.

Но тут, бог даст, на немецких же кораблях, да и не без помощи французов полковник тоже преодолеет Ла-Манш: чего не удалось Наполеону, удастся полковнику.

Русские офицеры в Англии?! Не бывало и не случалось такого. Потому что так не бывало никогда — так, должно быть, когда-нибудь по весне 1916 года, например, обдумывал вопрос со стратегической точки зрения наш полковник. В Англии он не бывал, не довелось, уж очень заметны оказались бы русские на островах Альбиона, а вот в Париж и в Эльзас-Лотарингию летом 1911-го в отпуск, полностью за свой собственный счет, он съездил, поглядел — надо было хоть бегло, но познакомиться с театром предстоящих военных действий. И с француженками в белых передничках тоже.

Немецкий он изучил, чтобы не очень-то могли его надуть будущие коллеги, чтобы в оригинале проштуди-

ровать Клаузевица, Мольтке-старшего и даже Бисмарка. А как же — монархист и к тому же призывал своих соотечественников водиться с Россией осторожнее, умирая, будто бы показывал левой ногой на Восток и грозил пальцем: туда не ходить, воевать только на один фронт, то есть на Западе.

Выбор такого же рода был сделан чуть ли не всем кадровым русским офицерством, кажется, один только морской офицер, герой Порт-Артура по фамилии Колчак, предсказывал обратное, что, мол, Россия будет воевать на стороне Англии и Франции против Германии и что надо с учетом этого восстанавливать военный флот, разгромленный под Цусимой, подводный и минно-заградительный в первую очередь, чтобы обороняться от немцев, поскольку флотом дальнего действия обладает союзная Англия.

И надо же — вот несправедливость, вот варварство и мерзость!— Колчак-то угадал! Он, когда отстаивал свой проект нового флота в Государственной думе, кто только не поднимал его на смех — и думцы, и армейские и флотские офицеры,— и вдруг он прав?

И вот уже русские воюют с Германией на своей территории, а это очень неприятно, так обмануться!

Да что он, полковник, в самом-то деле, не видел, что ли, русских разваленных деревушек с неопрятными и с невеселыми солдатками? Которые о белых передничках и понятия не имеют?! Это вместо Эльзаса-то и Лотарингии?

Служба есть служба и воевал полковник с немцами добросовестно, а на австрийском фронте под началом Брусилова так и вовсе хорошо: начиная бой по Клаузевицу, кончал черт знает как и по-каковски, ни с того ни с сего отступая, так что противник не может догадаться, что это — подлинное отступление или ловушка, и тоже ни с того ни с сего бросаясь в атаку.

Это у Брусилова водилось: наступать сразу в нескольких направлениях, а какое из них главное, этого противнику понять не дано и сутки, и двое, и того больше, вот и держи на всем фронте оборону и резервы.

Воюя таким образом, полковник продолжал глубоко уважать своего противника-немца, союзникам же не доверял ни капли и, случалось, читая сводки с Западного фронта, торжествовал, если немцы били французов: так им и надо! Так им и надо за то, что в первые дни войны

закричали: «Караул! Спасите!» — и русская армия, еще как следует не подготовленная, устремилась в Пруссию и потеряла два корпуса, но спасла-таки Париж, однако не прошло нескольких месяцев, как снова: «Спасите!», и Брусилов идет в Галицию, и так едва ли не всю войну, а в то же самое время несколько сот тысяч винтовок жалели союзники для русской армии, об артиллерийских снарядах и говорить нечего... Английские рабочие слали в свою действующую армию патроны без счета, на каждом ящике надпись: «Не жалейте этих игрушек, товарищи, пришлем еще!» А для русских так лишней обоймы не находилось, и вот Иван шел в сражение с пятью патронами в подсумке, а выстрелил молодой солдатик так себе, бесцельно — и очень просто мог схлопотать себе за это от унтера по морде! «Нет,— думал полковник,— немцы никогда бы и ни в коем случае со своими союзниками так не сделали, так неаккуратно! Ведь вот союзную Турцию они снабжали всем необходимым и в беде не бросали? И Австро-Венгрию вызволяли из катастроф?! Плохой союзник хуже противника, это тот же Александр Васильевич Суворов испытал».

Плохой, бесчестный союзник пакостит тебе жизнь не только во время войны, но и много спустя после нее.

Русская революция? Только из-за союзников, которые обманули русскую армию, а через это в ней возникла анархия.

Табака нет? А вот воевали бы на стороне Германии и покуривали бы турецкий табак!

Инфлюэнца, грипп, повальная эпидемия? Тоже так и называется — «английская болезнь»!

Хотя «французская болезнь» еще хуже, но с французов какой спрос? Французы одни уступили бы, никогда и не сунулись бы против Германии, так что опять же «англичанка» виновата!

Пришлось полковнику повоевать и в Сибири под началом — кто бы мог угадать!— того самого Колчака, который был за союз с Антантой, был «верховным правителем» всей России и по английскому же наущению признал Временное правительство социалистов! Тех самых, которые устроили революцию!

Это надо же было додуматься: адмирал русского флота, герой Порт-Артура и Трапезунда различает со-

циалистов — с эсерами он заодно, против большевиков воюет?!

Да что он, Колчак, сам по себе, что ли, дошел до такой ахинеи?! Никогда в жизни — опять-таки наущение «англичанки»! Ллойд-Джорджа, вот кого! Ну и еще генерала Нокса.

Итак, полковнику был ясен весь мир в его причинах и следствиях, в аргументах и функциях: все нынешние беды человечества, а России прежде всего,— суть производные от Англии!

Даже большевики — и те лучше англичан: о них говорят, будто они в сговоре с немцами. Значит, правильно сообразили, с кем стоит сговариваться!

Или вот: в Архангельске англичане помогали союзной России и в Мурманске, и в Одессе, и в Сибирь прислали генерала Нокса — и что? Убежали, едва только этого потребовали их же собственные парламенты. А немцы? Те помогали белогвардейцам до конца. Себя не забыли насчет украинского хлебушка и мяса, но ведь помогали же!

Не выпало полковнику поучить уму-разуму Великую Британию, нет, не выпало,— и вот обидно до слез!

Ну ничего, бог милостив! И не последняя это война. Все-таки кто-нибудь да спихнет большевиков, какой-то удачливый генерал, может, они сами себе сломают шею, важно не это, а другое — возродить русскую армию. Умудренная опытом, научившаяся выбирать себе союзников и быть вполне самостоятельной при толковом монархе, недосягаемом для гришек распутиных, эта армия будет иметь четыре-пять тысяч точно таких же, как сам он, полковников, и вот они-то доведут дело до конца — научат Британию скромности! Поставят ее на свое место! Приблизительно таким же способом, каким в свое время Алексей Михайлович поставил на свое место Польшу, Петр Алексеевич — Швецию, Румянцев — Пруссию, Суворов и Ушаков — Турцию, Кутузов — Францию и Скобелев — Турцию вторично, а может быть, и на третий уже раз.

А это самое главное, чтобы все находилось на своих местах.

Положим, что Россия действительно ставит на свое место Англию и процветает, делит первое место в Европе с Германией, и тогда что? Тогда ни один социалист и не пикнет о революции, кому-то она нужна в процве-

тающей и могущественной державе? В той же Англии никто о ней ведь и не помышляет. Революция и социалисты — это от бедности и от слабой армии, которая не в состоянии обеспечить своему государству надлежащее место в мире, вот что надо понять раз и навсегда!

Кто это понял лучше всех? Да все та же «англичанка» и поняла. И русская революция никому так не на руку, как ей же, лукавой и коварной! Ей нужна слабая, а не сильная Россия, и вот она добилась своего: Россия не участвовала в Версальском договоре и ничего не получила от союзников, одни только плевки в физиономию за все — за кровь, пролитую в войне, за все те жертвы, которыми она не раз и не два спасала Англию и Францию от неминуемого разгрома. Мало того, Россия навсегда потеряла Финляндию, она потеряла Балтийские губернии, Польшу, Молдавию, Карс, Батум, но как бы и еще какую-нибудь крупную свинью не подложила Англия, она умеет! Это в последние сто лет чуть ли не главная ее специальность.

Еще и еще раз: десятка бы на два лет раньше появилось в русской армии пять-шесть тысяч таких вот правильных полковников — и все! Все судьбы мира были бы совершенно другими!

Полковник был индивидуальностью, однако же его мечтой, его идеалом был он сам, точно такой, каким он неизменно был, есть и будет — если только он будет?! — но изданный тиражом минимум в пять-шесть тысяч экземпляров. В принципе, чем больше тираж, тем лучше: проще поставить все на свете на свои места.

У полковника был безусловный военный дар, в частности, он обладал чувством, которое позволяло почти безошибочно определять численность как противника, так и союзника. Это чувство подсказывало, что наличный тираж равнозначных ему полковников к началу военных действий в 1914 году составлял в русской армии несколько сот человек — от трехсот до пятисот, в настоящее же время, на февраль 1923 года, что-нибудь около сотни, не более того.

Где уж тут решать задачи?

Где уж ставить вещи на свои места? Ведь это же не герцогство Люксембург и даже не Франция, это Россия!

Значит, полковник сделал так: послал всех к черту. Все нынешнее бестолковое и муторное собрание.

Подумал и послал себя туда же... Так, дескать, будет лучше. И даже вежливее. Еще подумал и еще сказал:

— Братва! Пора кончать... Ей-богу!

Полковник председательствовал, сидя за квадратным, ничем не прикрытым столом с широченными досками столешницы. Он один был за этим столом, все другие кто где — на подоконниках, на табуретках и ящиках, на кровати, тоже деревянной и неимоверно огромной, предназначенной, должно быть, для таких вот собраний.

В комнате, перегороженной фанерной стенкой и наполненной махорочным дымом до такой степени, что едва проглядывался свет десятилинейной керосиновой лампы посредине стола и еще меньше сорокасвечовой электрической лампочки под потолком, воцарилась тишина.

Долгая тишина...

Многолюдное молчание неизменно ощущается как долгая-долгая тишина, как почти бесконечность, а здесь присутствовало человек двенадцать — пятнадцать, здесь было собрание политических ссыльных города Аула, а также беженцев гражданской войны, а также переселенцев голодного 1921 года, но тех, кому нынче возбранялось свободное передвижение по просторам Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Попросту говоря, это было собрание тех или иных «бывших», и они обсуждали немаловажный вопрос организации какой-нибудь трудовой артели, еще проще — приискание каких-нибудь средств к дальнейшему существованию. Вот что было нынешней повесткой дня.

Очень просто: пролетариат, победоносный гегемон революции, чья диктатура вот уже пятый год властвовала в государстве, и тот стоял в очередях для безработных на бирже труда, а «бывшие»? Да у них даже и в этих очередях не было места.

У гегемона перспективы, и вот пролетарские очереди с каждым месяцем становились короче, а у «бывших»? Тем более у ссыльных «бывших»?

Кому они были нынче нужны? В сапожные артели и в артели трубочистов не годились за отсутствием профессиональных навыков. Они не годились никуда, потому что никто в Советской республике не хотел ими засоряться.

«Засорение» — это ведь была нынче тревога и забота каждого советского и не совсем советского учреждения, каждой артели, если в ней состояло хотя бы два человека.

И вот они собрались — чуждый и бывший элемент, кажется, единственно для того, чтобы еще раз подтвердить друг другу: «Да! Мы чуждые... Да! Мы бывшие!»

А все остальное было ведь напрасно, было зря...

И махорочный дым зря.

И слова зря.

И вся жизнь зря.

Вся жизнь зря, а забот о себе, зряшной, требует и требует: подай ей жратвы, подай обуться-одеться. Подашь ей, опять мало, у нее в тот же миг новые претензии. До чего же у стервозной богатая выдумка на претензии! Притулится где-нибудь в углу, в проходной комнатушке какого-нибудь приказчика или ломовика-извозчика, сделает вид, будто довольна, будто ничего ей больше и не нужно, а чуть оклемалась, огляделась, почуяла, что существует, догадалась, что и завтра тоже будет существовать, и в тот же миг подавай ей новые сапоги, и то, и другое, и пятое, и десятое, конца-края претензиям нет, и даже нет вопроса: да заслужила ли она хоть маломальских льгот и поблажек?

Полковник послал собрание к черту — вот это совсем не зря... Живет человек тоже стервозной жизнью, но все-таки человек военный и знает, что делает.

Ну, зачем собирались-то? Лицезреть друг друга?

Кому пришла в голову гнусная идея?

Три часа дымить, говорить попусту, растравлять хоть слегка, но уже зажившее, чтобы убедиться — гнусная!

Двенадцать — пятнадцать человек собрались (кому надо, тот давно уже сосчитал, сколько!), дымили, говорили, растравливали. Для чего? Чтобы всем вместе создать одно лицо с выражением горькой, горчайшей обиды?

Обиды на кого? На большевиков, что ли?!

Нэпманы — вот кто нынче явился поперек горла, поперек сердца, поперек всей жизни! Нынешней, будущей и даже прошлой!

Почему большевики самих себя превзошли в несправедливости: одних «бывших» к стенке, в ссылку, в нищенство и в презрение, других — на самое безбед-

ное существование, которое только возможно в большевистском государстве?

Что за выбор? Всех под нож, всех прирезать — ясно и даже понятно. С какой-нибудь там исторической точки зрения — с разинской, пугачевской, робеспьеровской, бакунинской — обязательно должно быть понятно и привычно; с 17-го по 23-й годы, слава тебе господи, к чему только не привыкали!

Но к такой вот игре с судьбой и с куском хлеба — и с крохами человеческого достоинства,— умри, не привыкнешь!

Нельзя понять. Невозможно. Невероятно. Не...

Тысячи, миллионы «не», а больше ничего!

Нэп...

Н-э-п...

Судьба? Новая? Новейшая?

Конечно, она, а что же это еще может быть?!

Клич-то у этого нового-новейшего какой? Боже ты мой, «обогащайтесь!» — вот какой! Спрашивается, когда, в какие времена его не было, этого клича? Да его и провозглашать-то никогда не надо было, чуть-чуть поколупать под человеческой кожей, он там и сидит, готовенький нэп!

Он только для большевиков и мог показаться новым, только для них он открытие и политика, а для всех иных людей на свете в нем нет ничего — ни призыва, ни политики, ни наступления-отступления, одна лишь простейшая, сама собой разумеющаяся человечья природа, альфа и омега, материнское молоко, которое с возрастом не только не обсыхает на губах, а, наоборот, распространяется по всему организму...

И мало того, что это судьба, это еще и судьба всех судеб!

Нынче ведь как? Нынче мира как такового, божьего и вечного, уже ни у кого на уме и в помине нет, зато у каждого свой собственный рисуночек мирового устройства, он его и носит при себе, будто ладанку...

Самый первый рисуночек такого рода — монархический, он явился, надо полагать, в виде треугольника, в вершине которого снисходительно улыбается монарх древней крови или же плебей, это значения не имеет.

В вершине он, а далее все пространство треугольника заполнено миллионами и миллионами точек, именуемых сначала «государственными людьми», затем

«гражданами», а в линии основания треугольника «народом»...

Все, что в этот треугольник не укладывается и не втискивается, все к черту, все объявляется несуществующим и потому долженствующим быть уничтоженным, все это уже не мир, а так себе!

Хеопс недаром строил этот символ-рисуночек в виде пирамид, заключая объем в треугольные плоскости!

Вслед за судьбой-монархией — явились всякого рода демократии с интеллигенцией.

Начало положено было давно, чуть ли не при царевне Софье, князем Голицыным, от этого начала явились и нынешние «КД» — кадеты, конституционные демократы, они же — конституционные монархисты...

Потом «СР» — они же эсеры, они же социал-революционеры.

Потом «СД» — они же эсдеки, они же социал-демократы, они же меньшевики.

И наконец, большевики. РКП(б), диктатура большинства над меньшинством.

Но как эта диктатура дошла до жизни такой, до нэпа?

«Обогащайтесь!» Но ведь обогащаться-то не все могут, уж это точно, и, значит, в диктатуре большинства снова зародится богатое меньшинство? Вот как?

Вот как рассуждал полковник, да и не только он, а многие-многие «бывшие» рассуждали так же.

Фанерная перегородка делила комнату на две неравные части, но не до конца и как бы только условно, а как раз там, где она, перегородка эта, кончалась, сидели три дамы на табуретках. Как бы тоже на собрании, а в то же время будто бы и нет, будто бы они сами по себе и уже в другой комнате.

Что-то в них общее, в этих трех, в чуть рыжеватой, в заметно смуглой и в уже седой, бесцветной. Все три — «бывшие».

Рыжеватая при сосредоточенном и молчаливом внимании смуглой ведет беседу с той, которая седая:

— Верочка Морозовская? Давно-давно ничего не слыхала.

— Ах, не говорите!

— Все еще в деревне? Зато, наверное, питание?

— Ах, не говорите!

— Все еще учительствует?

— Ах, не говорите, ждет ребенка!

— Да что вы? И кто же муж? Кто отец?

— Ах, не говорите! Это совсем не по ее воле... Их было трое, и теперь она даже не может сказать, кто же из троих отец...

— Ах, не говорите!

Вот так...

Нет, с нэпманшей, будьте уверены, этакой штучки не случится, какая случилась с Верочкой Морозовской, с миленькой и наивной девочкой из столбовых дворяночек!

Так что и здесь, в случае с Верочкой, снова виноват нэп и нэпманы!

Да кто же они — процветающий нэпманский класс, привилегированная прослойка, люди среди нелюдей?! Которых большевики превознесли и оделили благами, каких и сами-то во сне не видят?

Они, нэпманы, при господских делах, при обеденном барском столе обретались с незапамятных времен, они барство усвоили, не будучи барами, узнали его в самой худшей его части, в самой паршивой и непристойной, а вот теперь свои знания используют, дождались срока!

Задним-то числом проще сказать, и признаться, и воскликнуть: да разве мало было в барстве непристойности и порока?!

И вот они, недавние посредники между господами и народом,— управляющие, директора, коммерсанты, коммивояжеры, горничные, кухарки, они народу всегда говорили: «Это не я, это хозяин так велит!» — и обкрадывали народ, а хозяевам: «Это не я, а подлый народ вас обворовывает!» — и обирали хозяев ничуть не меньше, а как бы и не больше, чем пролетариат!

Это те самые кооператоры, патриоты в рубахах-косоворотках, либеральствующие и даже эсерствующие противники частной собственности, которые году в 1910-м поперли в кооперацию ради блага народа, а в 1916-м уже имели акционерные предприятия и поставляли в армию, то есть тому же народу, проливающему кровь на фронтах, поставляли ему сапоги на картонных подошвах, гнилые отруби вместо муки!

Да так оно и есть: это из-за них произошли поражения на фронте, из-за поражений — революции, из-за революций — гражданская война, из-за гражданской войны — все, что происходит сейчас с Верочкой Морозовской, со всеми «бывшими»! Все из-за них, но как раз

с них-то никакого ответа, они ведь по природе своей не способны к ответам и ответственности. Ну какая может быть ответственность, какой патриотизм у людей, которым нечего отдать, как отдавали на революцию помещик, князь Куракин или фабрикант Савва Морозов? Которым нечего отдавать и от своей души?! Отдать нет чего, а взять всегда найдется что — это и был их патриотизм!

Это даже не история, потому что такие люди историю пакостят, не оставляя в ней своих имен, это и не физическое уничтожение человека, потому что растлевается все человечество, это не потеря справедливости, потому что теряется самая точка приложения справедливости.

Вот так: монархист ты или большевик, но если ты Кто-Нибудь, тогда ты строишь себе бога и слушаешь, как в душе твоей зреет идея, как и о чем голосами человечества говорят с тобой твои предки, как ты проникаешься их опытом, различая друзей от врагов, а собственный жизненный путь от чужих путей, и боишься пропустить день и час, когда твой бог призовет тебя к жертве.

Не вдруг между тобою и твоим богом, между тобою и тобою же является этакий незваный посредник. «Да ты в уме ли?— спрашивает он тебя.— Для чего они — боги-то? Для чего тебе утопии? Смешно! Пока существую я — посредник, только я есть реальность, остальное все — утопии!» Больше и не скажешь: только посредничество нынче и реально, а остальное все — выдумка, плод нездорового воображения. Вот так...

Три женщины еще отодвинули свои табуретки и таким образом оказались еще менее на собрании, а более в другой полукомнате за фанерной перегородкой, и тут одна из них, седая, но с очень энергическими жестами, повела рассказ, обращаясь к той, которая была чуть-чуть рыжевата.

Женщина же смуглая, возвышаясь над этими двумя, потому что заметно выше была ее табуретка, слушала, не проронив ни слова и с каким-то даже неестественным вниманием, как если бы все, что здесь говорилось, говорилось именно о ней, о ее собственных столь трудных заботах, которые сама она уже была не способна высказать. «Да, да, да, вот как было!» — подтверждала она, то молчаливо негодуя, то ужасаясь и неизменно сострадая.

В общем-то, она была красива, эта женщина-слушательница,— голубые глаза под темными, правильного полукружья бровями, правильный нос,— только вот челюсть тяжеловата, но сострадание не было ее украшением и не одухотворяло ее, скорее оно губило ее женственность.

Конечно, это была Ковалевская.

Ковалевская Евгения Владимировна, женщина, полтора года тому назад принявшая к себе в каморку, в дом № 137 на углу улицы Локтевской и Зайчанской площади, некоего Петра Николаевича Корнилова.

Ковалевская и Корнилов — две распространенные и довольно громкие русские фамилии, обе на «К», вот они и пребывали до сих пор в одной каморке, не то муж и жена, не то просто так, и ничто не привлекало к ним внимания как местных жителей, так и беженцев: да мало ли кто и с кем нынче был, кто и кого находил, кто кого терял?

Какая-то, кем-то для удобства выданная справка, подтверждающая какие-то брачные отношения, вполне их устраивала, все остальное не имело значения.

Все остальное сводилось, пожалуй, к тому, что известно было, каким образом Ковалевская называет Корнилова. «Мой человек»,— говорила она о нем, и в ее речи и с ее выражением лица это понималось почти так же, как «мой больной», «мой раненый», «мой несчастный», наконец.

Вот и сейчас она внимала, она сострадала, сестра милосердия, и, не будь ее здесь, не будь ее молчаливого сопереживания, конечно, женщина почти что седая не обратилась бы к другой, слегка рыжеватой, и не стала бы в подробностях рассказывать о жизни бывшей помещицы Татьяны Поляковой в Новгородской губернии, которая в эти годы и пахать научилась, и сеять из лукошка, и пашней той, на отрезанных ей из прежнего ее владения четырех десятинах, содержала престарелого мужа, которого она никогда не любила, и горячо любимого, тяжело больного, очень похоже, что больного сумасшествием, сына.

При этом она, Татьяна Полякова, такою отличалась странностью: ни днем, ни ночью, ни дома, ни на пашне не снимала с рук двух великолепных перстней. Она верила, что вот-вот к ней приедет хотя и отдаленно, а всетаки знакомый и знаменитый профессор Санкт-Петербургского университета — другого названия она даже

и не умела произнести, а только «Санкт-Петербург»! — и примет ее перстни в качестве гонорара за излечение недугов ее сына.

Однако профессора все не было и не было, а приезжал, и не раз, приказчик бывшего ее имения, за умеренное вознаграждение предлагая свое посредничество между нею, несчастной, и ученой знаменитостью. Но помещица эта бывшая, а нынче как бы даже и трудовой элемент, отказывала коммивояжеру и надеялась сама поехать в «Санкт-Петербург», но тут нашли ее убитой, она лежала в борозде — как это называется, когда осенью пашут, кажется, зябью? — так вот, она лежала в зяблевой борозде и без перстней, и без пальцев... А накануне как раз приказчик навещал нелюбимого ее и весьма престарелого, но все еще злого мужа.

— Ах, не говорите! — опять-таки воскликнула женщина чуть рыжеватая, Евгения же Владимировна и тут не произнесла ничего, она закрыла лицо руками и, как бы оставшись наедине с самою собой или, может быть, с той убитой, переживала все услышанное.

Вот так и продолжался дамский разговор на отодвинутых за фанерную перегородку табуретах.

И действительно: ах, Советская власть, ах, Советская власть, да неужели ты не опасаешься посредничества? Не подозреваешь его последствий?

Власть — это прежде всего выбор слуг, а что ты, большевистская, знаешь об этом выборе? О слугах вообще? Знаешь, что они, бедные, во веки веков эксплуатировались? Что их били по мордам? Что быть слугою — занятие презренное? Ах, как мало такого знания, как ничтожно мало его!

В выборе слуги с кем и посоветоваться, как не с бывшим хозяином. Посоветуйся, ей-богу, скажем, как на духу: «Остерегись!» Остерегись, послушай пострадавшего и пережившего, погляди на убиенного — чьих рук дело?! Без слуг не обошлось, без тех, кто указал пальцем: «Вот этого и вот этого, и еще того, и еще, и еще... Я у того служил, я у другого был доверенным лицом, уж я-то знаю о них больше, чем они сами о себе знают!»

А не убитые? Уцелевшие? Собравшиеся нынче на собрание «бывшие»?

Неужели им тоже единственный исход — идти к своему недавнему приказчику?

«Ведь нужны же при ваших складах и амбарах сторожа, в ваших конторах делопроизводители и рассыльные, на ваших фабриках агенты по рекламе, на ваших мельницах весовщики-кладовщики — нужны, безусловно?! А он, нэпман, светлое пятнышко на месте бывшей кокарды твоего головного убора в ту же секунду заметит и вежливо улыбнется. Он подаст господину (бывшему) стул, он даме (бывшей) поцелует ручку, знает, сволочь, этикет.

Знает и не хочет засоряться. Зачем ему? Он деятель, для Советской власти необходимый, он запросто в совучреждения вхож, он о-б-я-з-а-н там бывать, а тебе туда хода нет ни на шаг, хотя бы и с пакетом рассыльного. Потому что каждый совслужащий, тем более каждый выдвиженец в силу своего собственного положения должен подумать: «А в пакете-то не бомба ли?! Не воззвание ли от великого князя Кирилла Владимировича, кузена убиенного Николая Второго Кровавого? Не...»

Мысли-то — вот они! Есть они у «бывшего», и чувства у него, а вот бытия — ни крохи! Нет нынче бытия, хоть убейся!

Но был тут один, на собрании, человек, высочайший мастеровой, чудо-руки, по фамилии Казанцев, по имени Георгий Сергеевич, он был здесь как бог, то есть отдельно от других, он благодаря собственным рукам кормился запросто и сытно, а захотел бы, так пару-другую нечистых и «бывших» взял бы на иждивение. Бог за семь дней, считая один выходной, сотворил мир, Георгий Сергеевич в тот же срок мог сделать что-либо подобное, поэтому его присутствие делало собрание ни к чему не годных и до конца неумелых «бывших» еще более нелепым.

Итого, два человека, полковник Махов и мастеровой Казанцев, имели собственное выражение лиц, портрет же остальных отражал все, что здесь на собрании происходило. А так как здесь не происходило ничего, то и портрет отражал то же: ни-че-го...

Русский обиход:

«Как живете?»

«Ничего...»

Такой портрет: ни красок, ни линий!

А давно ли были-то? Краски, линии, мечты и судьбы?

1905-й, октябрь, монархия почти что английского образца, но православная и потому одухотворенная чьим-то прообразом, ну, скажем, Сергия Радонежского?.. При англо-православном монархе, само собой разумеется, была бы Государственная дума, цвет нации, ее ум и совесть, которую монарх в исключительных случаях может и не слушать, но уж разогнать на все четыре стороны не имеет ни малейшего права! Ах, зачем-зачем Николай Романов Второй нарушил им же данную в те дни конституцию? Вот и нажил Октябрь 1917 года и разбил навсегда монархическую идею верноподданного своего народа! И загубил судьбу «КД», то есть кадетскую, идею конституционных демократов и октябристов 1905 года...

Судьба «СР», социалистов-революционеров, которая в нынешнем собрании тоже была представлена несколькими осколками, и даже сравнительно бодрыми, была воплощена для них в образе умнейшего волостного старосты, народного избранника, истинного выразителя дум крестьянской общины. Подлинно народный типаж... И вниз, в народ, этот староста шел бы как домой, ведь сам он народ, и вверх, в ту же самую Думу, поставлял бы государственные умы...

Когда потерян-то этот образ, этот лик святой? Когда и где? Кажется, в гражданской войне...

Судьба «СД» — эсдековская, социал-демократическая, меньшевистская, та внимала новому пролетарию, который без диктатуры, в толстовской блузе. На сопротивление капитала, отмирающего эволюционным путем, он, демократ-пролетарий, отвечает угрозой всеобщей стачки, то есть обходится без карательных органов, а все вопросы государственного устройства решает прямым, всеобщим и тайным голосованием...

Был там, на собрании, полномочный представитель еще одной судьбы — судьбы «СА», социал-анархизма, конечно, при бороде, хотя и умеренной, этот, вернее всего, видел перед собою образ какой-нибудь выдающейся личности, которая сама по себе, минуя государственную машину, может вполне положительно влиять на человечество... Вернее всего, что этой героической, этой апостольской личностью представился нашему «СА» Петр Кропоткин, князь из Рюриковичей... Ну еще бы: мудрый взгляд ученого, добрый взгляд человека, пламенный взгляд революционера, а еще благородство, порода человеческая... Борода.

Князь умер недавно, в 1921 году, и это обошлось без события: большевики разрешили похороны при десятитысячном скоплении народа, напечатали статьи в своих газетах. «Правда», ни много ни мало, напечатала передовую, уважительную и просвещенную, «бывшие» и два года спустя пребывали в недоумении — как понять? Умирали и кадеты, и монархисты, и эсеры, и эсдеки, и в помине не было этакой уважительности! Может, потому все-таки, что князь? Рюрикович?

Значит, для «СА» окончательная потеря совершилась недавно — в 1921-м...

В России с некоторых пор было заведено: ежели человеку не по себе — оголодал человек и зубы на полку, умер кто-то близкий или дети выросли непутевые, кто-то из друзей уж очень скандально и неожиданно проворовался, предал или застрелился,— тогда этот живой еще человек обязательно углубляется в анализ всех возможных систем государственного устройства своего отечества. Нет чтобы думать о своем собственном устройстве, искать ошибку в самом себе, а вот проблемы общественные, мировые ему отрада.

Или это потому, что он до таких проблем только-только дорос и еще не успел в них разувериться и то, что француз пережил в 1848 году, русскому в 1923-м все еще представляется сладостным открытием, панацеей от всех и всяческих бед-невзгод? Или душа такая: себя устроить не может, а думать и терзаться за весь белый свет — ее удел?

Бездетная женщина тоже ведь всегда больше и лучше других знает, как правильно воспитывать детей.

Ну, а в конце-то концов, кому во вред? Самому себе, не более того! Зато по прошествии какой-нибудь сотни лет все это вдруг да и принесет свои плоды, на удивление белому свету? Мало ли кто и мало ли что, какие мысли, какие идеи рождались в России?

Русский — его хлебом не корми, но дай побывать в роли обличителя мирового зла и несправедливости.

А тут снова и снова вот какая планида: нэп! И на твоих глазах из мирового-то пожара, из хаоса, который хоть и хаос, а все-таки есть надежда, что очистительный или божественный, вдруг из него вылазит... нэпман! В руках не брандспойт, не Библия, не Марксов «Капитал», не программа «СД», «СР», «КД» или какая-ни-

будь другая, а элементарная шеточка из свиной щетины... Он отряхивает щеточкой разную копоть с клетчатой своей тройки, какие-то осколочки и соринки, кладет ее предусмотрительно в карман. «А вот и я! Кто это, куда это вздумал без посредника? Без барина из слуг?! Нет уж, извините...»

Собирались-то ради чего? Вот, мол, обмозгуем сообща и сделаем какую-никакую нэповскую артель, переплетную, по переписке начисто чьих-нибудь рукописных трудов, а то юридическая какая-нибудь контора не получится ли из нас, редакция какая-то, или страховое от огня общество? Только-только собрались, выбрали председателем собрания полковника Махова, и тут же стало яснее ясного — не получится ничего!

Как быть? При военном коммунизме хоть пайка какая-никакая исходила от государства по карточкам, а при нэпе? При нэпе свобода: обогащайся!

Но кроме высказанных на собрании нескладных слов были, разумеется, будто бы даже и складные, только невысказанные. Без этого разве можно?

Они были мечтой, страстью извечной, горячечной и ничем не объяснимой; из этих вот отрывочных звуков — Ка Де, эС эР, эС Де, эС А — очень хотелось создать подлинную симфонию, из этих буквенных обозначений — трактат истинной человеческой судьбы, чтобы она включала мудрость предшествующих поколений, а исключала все и всяческие человеческие заблуждения.

Алхимики, они из неприметного, незначительного и временного все еще мечтали создать вечное и великолепное. Хотя бы крупицу, но создать!

Но ни крупицы не то что материального какого-нибудь вещества, а даже душевной пищи малой толики так и не возникло.

Кд-сд-ср-са — все это нынче звуки пустые, реальностью же был НЭП! Жестоко-непонятный, явившийся совсем не с той стороны, откуда можно было хоть что-нибудь подобное ожидать и предвидеть.

И нэпман из бывших приказчиков со щеточкой из свиной щетины тоже был вполне реальной величиной: «Нет уж, извините!»

Стали расходиться.

Расходиться было удобнее по одному, самое боль-

шее — по двое: один, он ведь и есть один, никакой коллективки, с одного, как ни крути, только один спрос.

Не обошлось без некоторого замешательства: кто первым должен выйти на улицу? Поторопиться хотелось всем и каждому, так было дымно, чадно, тускло и ненужно нынешнее собрание, что и лишнюю минуту задержаться здесь не было малейшей охоты.

Произошли скопления народа. Первое — около дверей, точнее, в проеме, который вел из двух полукомнат в коридор-прихожую, второе — у тех уже подлинных и обитых рваною кошмой дверей, которые выводили во двор, на улицу.

Там и здесь последовали слова, что вот надымили очень сильно в доме, что на улице сильный холод и яркая луна и даже о том, что когда-то где-то и при каких-то новых обстоятельствах очень следовало бы собраться всем снова...

Одевшись в новенький сибирский полушубок, черный, со светлым воротником, первым вышел Казанцев Георгий Сергеевич — он самый,— небольшой, но хорошего сложения человек, мастер едва ли не любого промышленного производства, организатор мирового пролетарского движения в русле Второго Интернационала...

Он первым пошел. Именно так и должно было быть — кто же здесь, как не Казанцев Г. С., мог чувствовать свое собственное достоинство?

Для него и вообще-то не существовало такой земли, такой эпохи, такой власти, такого государственного устройства, где бы он — позарез!— не был нужен. Конечно, и Казанцева Г. С. можно держать в черном теле, но ведь все-таки «держать» и в «теле»! Потому что ему стоит лишь протянуть в любую сторону руки — и тотчас для этих рук найдется самое неотложное дело. И заработок.

Социалист, и бывшими, и нынешними властями преследуемый, нынешними так и особенно! Причастность ко Второму Интернационалу, видная, и громкая,— это же по нынешним временам тяжкое государственное преступление! Это нынче едва ли не хуже монархизма — причастность ко Второму Интернационалу!

Второй, или какой он еще нынче, «двухсполовинный Интернационал», может, конечно, написать Советской

власти письмо в защиту Казанцева Г. С. Какой-нибудь Бауэр, или Адлер, или Вандервельде даже назовут при этом большевиков товарищами, напомнят о тех не столь отдаленных временах, когда большевики с меньшевиками томились в одних камерах, топали по одним и тем же этапам, сиживали на одних и тех же объединительных и разъединительных социалистических конгрессах, оказывали друг другу личные услуги, не забудут черкнуть и о том, что ведь НЭП большевиками объявлен, значит, вот-вот, рукой подать осталось до нового объединительного конгресса. Но письмо такого рода будет ни к чему, лишний раз докажет, что плохо там, за границами, знают большевиков.

Нет, сам-то по себе Казанцев проживет куда-а лучше, по нынешним временам так и отлично проживет! Ах, какая это валюта — золотые-то руки, ах, сколько раз и с легким сердцем «бывшие» заложили бы за такие руки свои головы, но только никто не принимает заклад, некому!

Не мог, не мог он, Георгий Сергеевич Казанцев, вот так просто возникнуть из ничего, не из породы, не из поколений. Кто-кто, а «бывшие» породу чувствовали — дворянскую ли, лакейскую ли, мастеровую ли, какую угодно!

...И ведь в самом деле, мастерство казанцевского рода восходило к екатерининским временам, когда строитель Севастополя адмирал Ушаков Федор Федорович из рук в руки одарил прапрадеда Георгия Сергеевича серебряной табакеркой.

За великое мастерство в корабельном деле одарил, а также и в строительстве фортификационном, на котором всякого рода подъемные тали и полиспасты, машины ручного и конного действия сооружал прапрадед, и под знаком того одарения жил и существовал с той поры мастеровой род.

Конный Георгий Победоносец, почитаемый в этом роду за покровителя, находился всегда на божнице, а рядом с той древнейшей, редкостного письма иконой находилась и табакерка, следуя за строителями и механиками Казанцевыми из града в град, с Черного моря на Урал, с Урала в Петербург, из Петербурга в Екатеринослав, одним словом, туда, где казанцевским умелым рукам ставилась наивысшая цена, наибольший почет и уважение.

И только Казанцев нынешний, Георгий Сергеевич,

этот порядок вещей нарушил. Победоносца укрыл в сундучок, поскольку всякая религия есть не что иное, как фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними, табакерку же упрятал в другой, набитый малозначительным и отслужившим свой век инструментом. И адмирала Ушакова Георгий Сергеевич тоже понимал по-своему: представитель господствующего и эксплуатирующего класса!

Эти резкие перемены во взглядах и понятиях Казанцева Г. С. произошли вовсе не потому, что промышленники, инженеры или заводские бухгалтеры относились к нему неучтиво, в чем-то ущемляли его интересы, а как раз по причине обратной — от ласки, с которой они с ним обращались.

Нет, Казанцев не ходил в приискании работы по заводам, это заводчики подсылали к нему своих людей разведать, что и как, не соблаговолит ли мастер на таких-то и таких-то условиях — с квартирой, с подъемными, с бесплатным обучением детей, с извозчичьим выездом на завод и обратно, а по воскресеньям, если желательно, на базар или же в храм божий,— не соблаговолит ли мастер принять предложение?

Именно из этой практики, из этого лакейства перед ним хозяев и уяснил Георгий Сергеевич истинную им цену и то обстоятельство, что не хозяева кормят мастеровых, а мастеровые хозяев, и, когда на досуге он занялся изучением политической экономии, он хотел лишь подтвердить свои жизненные наблюдения высокой теорией.

Политическая экономия тезис безоговорочно подтвердила, а кроме того, как наука, она пришлась ему по душе и вполне по тем его совершенно удивительным способностям, которые он однажды сам для себя и для всех окружающих неожиданно открыл. Это было, когда Георгий Сергеевич уже повседневно общался с революционно настроенным студенчеством, с подпольщиками, и вот в нелегальном кружке зашел однажды спор по поводу плехановской книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», причем знаменитой этой книги на руках ни у кого не оказалось. Тут-то Казанцев Г. С., чуть прикрыв глаза ладонью, и процитировал Плеханова — страничку, полторы, а то и две.

Студенты обмерли:

— Георгий! Да неужели ты вот так, на память все и помнишь?

А Георгий показался удивленным ничуть не меньше.

— Так зачем же читать-то, ежели не помнить прочитанного?

Оказывается, он всю жизнь был убежден, что если человек со вниманием и старательностью прочел книгу, то, само собою разумеется, он ее помнит от корки до корки.

В роду Казанцевых так и было, так и велось: читалось немного, но что было читано, помнилось всю жизнь.

В казанцевском роду ученье, правда, шло преимущественно бескнижное, а тем порядком, при котором отцы назидали сынов: «Первое учение — друг от дружки... И притом чтобы дед умел, а отец умел бы лучше, а сын — еще лучше отца».

И, согласно такому закону, мальчишки казанцевских поколений гимназиями занимались успешно, но как бы между делом, зато около отцов и старших братьев постигали науку с десяти лет от роду. Это условие, между прочим, отцами Казанцевыми перед хозяином неизменно оговаривалось: сыновья, хотя бы и в младенческом возрасте, должны иметь беспрепятственный доступ на завод.

Казанцев Георгий был первым в примечательном этом роду, кто начал постигать мир и мастерство в ином порядке — не только «друг от дружки», но и по книгам тоже. И преуспел. И в языках преуспел, в немецком и в английском, так что, когда оказался в политической эмиграции, это его ничуть не смутило — политическая и производственная практика была там для него, и он с усердием работал то на одном, то на другом заводе, знакомился со всем тем, что, а главное, каким образом достигнуто человечеством в техническом развитии.

И социалисты европейские не обошли его вниманием — он был привлечен к деятельности Второго Интернационала, поражая всех, кто его знал, своею совсем не русской организованностью и необыкновенной начитанностью. Читал-то, правда, он по-прежнему немного, но помнил все прочитанное, услышанное на конгрессах, все, до чего когда-либо и сам собою додумался.

А додумался он, в общем-то, до вещей нехитрых и очень ему свойственных — в какой-то срок он не то

понял, не то почувствовал мир как огромную машину, не во всем идеальную в смысле социальном и вовсе плохо отрегулированную, зато с надежным двигателем, которому кто-то и когда-то дал красивое название: Солнце...

Отсюда со всей очевидностью следовало для Казанцева Г. С., что нужно приложить усилия, заменить устаревшие и сношенные части машины новыми, современными и нержавеющими, провести, так сказать, новую наладку — и далее дело пойдет безупречно, так, как действительно должно идти.

И хотя ученые европейские социалисты как будто бы и опекали его, Казанцева Г. С., он и над ними опять-таки понимал некоторое превосходство — превосходство умельца над книжниками.

Душа его иногда чувствовала свое странное и в какой-то мере стеснительное происхождение — будто бы она не от бога, не от чего-нибудь другого великого, а от собственных рук: руки с детства делали разное дело, прикасались к разным машинам, а каждое это прикосновение тут же налаживало и какой-то винтик его души.

Весь он был небольшой, а все-таки необходимой составной частью машины — Машины Мира,— и только так он и жил, и ощущал собою целое — от Солнца до самой крохотной букашки, до молекулы того или иного вещества. Отсюда, понял он, и проистекало все его умение, люди же неумелые и глупые были таковыми потому, что из Мировой Машины выпадали, не умели чувствовать себя ее частью.

Таких неумелых людей, как это ни казалось ему странно, он, чем дальше, встречал все чаще и чаще и все больше их боялся — это было единственное его сомнение. Он с детства знал, что умелый и умный — а это было для него одно и то же — никогда не поставит другого умелого-умного в тупик, они всегда найдут общий язык, всегда минуют глупость, а значит, и беду. Всегда разберутся в Машине. И ему предстояло доказывать, что не глупость, а умение правит миром, это была его уверенность, а уверенность всегда покоряет. Он и покорял, произнося социалистические речи на трех языках и патентуя в Германии технические свои изобретения.

Когда же прогремела Февральская революция, у Казанцева и сомнений быть не могло, что ему, столь

умелому наладчику и социалисту, место теперь на родине.

Не так это было просто — пересечь фронты мировой, а позже и гражданской войны, но он пересек и явился в Советскую Россию не с пустыми, разумеется, руками: представил проекты соединения пролетариев всех стран, примирения русских большевиков и меньшевиков и создания коалиционного рабочего правительства, а также устройства и развития отечественной промышленности, в частности машиностроительной и металлургической.

Теперь Казанцев находился вместе со своими проектами в городе Ауле и первое время грустил, но затем попривык, у него была счастливая черта характера — масштабы увлекали его, однако же он мог с головой погрузиться и в небольшую работу, в домашнюю, так сказать, поделку, и вот он отлаживал и ремонтировал любые машины на сотни верст окрест города Аула, повсюду, куда его нарасхват приглашали.

Был в конце прошлой осени случай — в город Аул впервые за всю историю его существования прилетел аэроплан со странным, каким-то не до конца расшифрованным названием «Сопвич», прилетел, покатал героев партизанского движения и активистов комсомола, должен был покатать их еще, но тут с ним случился немалый грех: поднявшись очередной раз в воздух, «Сопвич» тут же приземлился обратно — и все! Как ни бился летчик, как ни старались местные спецы-механики во главе с инженером городской электростанции, «Сопвич» оставался недвижим.

Пришлось пойти и всенародно-гласно поклониться «бывшему», а в некоторых глазах так даже и «контре» Казанцеву. Поклоны ему, кстати, чужды не были, и он явился на место происшествия, оставил пегую лошадку с кучером чуть поодаль, приблизился к аэроплану, потрогал детали мотора, которые лежали тут же на обширном куске брезента, и... уехал. Уехал думать к себе домой на улицу, которая в недавнем прошлом именовалась Сузунской, нынче же не как-нибудь, а Интернациональной. Там, на пересечении этой улицы с переулком Острожным, он и проживал с женой и двумя детьми.

Подумавши остаток дня, а по всей вероятности, и ночь тоже, Казанцев наутро вернулся к аэроплану, и вскоре после полудня «Сопвич» взмыл в небо и улетел в направлении краевого центра.

Ну как же было Казанцеву Г. С. не надеяться на самого себя?

А если на самого себя, то и на свою судьбу, которая, если только подождать, обязательно призовет его к БОЛЬШОЙ НАЛАДКЕ!

Казанцев Г. С. не по газетам знал, а видел сам, сотрудничая во Втором Интернационале, что в Англии шахтер Ллойд-Джордж — премьер-министр; бывший конторщик Макдональд — вот-вот премьер-министром станет; металлист Гендерсон — лидер «лэйбор» в парламенте: кочегар, «генерал от паровоза» Томас — министр. И так без конца! И не только в Англии! Просто англичане первыми догадались: править миром должна аристократия. Пролетарская или аристократия лордов — это уже другое дело, но возвышение к власти может оправдать только аристократизм, и больше ничто другое! Сказано же было социал-демократией: «Рабочий живет не только в классе, но и в обществе, в нации, в государстве». А Казанцев Г. С. сказал бы еще: «И в мире!» В великом убеждении сказал бы он это, полагая, что уже никто не может затолкать его из мира обратно в класс.

И Казанцев Г. С. надеялся и ждал: его аристократизм, его умелость вот-вот понадобятся! Кажется, ждал небезосновательно: Высший Совет Народного Хозяйства Республики недавно послал ему одно за другим два письма, из которых следовало, что в металлургии и в машиностроении его проекты вызывают определенный интерес.

Вот он и ждал, Казанцев, и вел тщательную запись тех недостатков сибирской промышленности (вероятно, типичных для всей РСФСР), с которыми он сталкивался то там, то здесь, ремонтируя самые разные машины, недостатков, которые он надеялся в корне исправить, когда его об этом всерьез попросят.

Записи эти велись им под рубрикой «Что сделать» и под двумя параграфами:

§ 1 — В первую очередь.

§ 2 — Несколько позже.

А следом за Казанцевым вышел с собрания полковник Махов.

Он, правда, не сразу вышел, у него случилась заминка.

Он уже произнес «прщт», «досвд», что значило «прощайте», «до свидания», но тут же торопливо начал шарить рукою по сундуку и за сундуком — здесь свалена была одежонка всех участников собрания, своего рода гардероб, и в навале этом потерялась полковничья шапка. Вот он и шарил ее, проклятую, это ведь не папаха была, а сибирский треух с чужой головы. Выменянный на барахолке на зажигалку и на полную дюжину металлических пуговиц. Искать-то такую, сгибаться за нею вдвое — срам, а что поделаешь! И рад бы выскочить как можно скорее в лунную ночь, вдохнуть природного воздуха, но без шапки, совершенно лысому — куда?

Отчаявшись в поисках за сундуком и на трех составленных в ряд табуретках, полковник почти уже безо всякой надежды пошарил еще по темной стене, где предположительно могла существовать какая-нибудь вешалка. Ничего там, само собою разумеется, не существовало, стена была голой, с облупленной штукатуркой, и тем более неожиданным оказался звук, который от нее послышался: глухой, низкий и рядом высокий, мелодичный...

Оказалось, гитара. Висела на стене на гвоздочке и спокойно, словно ни в чем не бывало, отозвалась на человеческое прикосновение. Полковник, как был, без шапки, но в застегнутом уже полушубке с порядочными заплатами на правом рукаве, снял гитару со стены и трижды через равные промежутки прозвенел аккордами...

— Ого! — встрепенулся кто-то из тех, кто так же вот, без особенного успеха все еще шарил по сундуку и за ним. — Ого! А если бы?..

— Не-ет уж! — отозвался полковник. — Давно это было... Слишком, слишком давно!

— Во времена, надо думать, какие? Ротмистра? Поручика?

— Как бы не прапора...

— Ну-ну!! Так уже с тех пор и ни-ни?! Не грешили? И сами-то, ваше высокоблагородие, верите ли? Сами не верите, ей-богу!

И полковник вновь расстегнул полушубок — посвободнее рукам, а ногу он поставил на табуретку, инструмент — на согнутую в колене ногу и повторил точно те же аккорды. И еще несколько других. И приладил к инструменту голос. И не то чтобы на цыганский ма-

нер, но и не без того, не без кабатчинки, непринужденно соединяя в один букет изящество и вульгарность, старинный дворянский салон, почти что классицизм с богемой и даже с балаганом, сначала с продолжительными, почти утомляющими паузами между слов, а затем все сокращая эти паузы, все больше отдавая предпочтение голосу перед аккомпанементом, не молодо, но отнюдь и не по-старчески, а вполне-вполне зрело, заметно прихвастывая этою зрелостью и совсем немного — а все-таки! — баритонально ею пошаливая, полковник исполнил следующий романс:

Ах, какое... загляденье... у... меня... на... тебя...
И... какое... наважденье у... тебя... на... меня!

Ах, какие сновиденья... к нам... приходят... по ночам...
И какие же сомненья... по... разлучным нашим дням!

Ах, какое умиленье... если... ты... передо мной...
И какое утешенье... если рядом мы... с тобой!

Ах, какие лобызанья... до... утра, до утра...
И какие же стенанья — не забыть... никогда!

Ах, какое же волненье — никогда... не... передать...
И какое искушенье — повторять... и... повторять!

Ах, какое удивленье — повторять все вновь и вновь...
И какое пре-ступ-ленье-е-е-е — эта грешная
лю-у-убовь!!!

И надо же, как раз на низком заключительном аккорде, на неожиданном и как бы преждевременно оборванном баритоне полковничья шапка вдруг нашлась — темный какой-то и очень лохматый треух, вернее всего, волчьего меха. Под табуреткой, на которую опиралась согнутая в колене нога полковника, треух находился, вольно раскинувшись ушами в разные стороны. И полковник его заметил и в один момент быстро сработал двумя руками в двух направлениях: одной подхватил с пола свой шикарный головной убор, другою повесил обратно на стену гитару. И еще сказал удивленно про нее:

— Исправная, голубушка... Да-а-авно ничего исправного в руки не бралось, не давалось.

А все те, кто еще не ушел отсюда, из скособочившейся избы в мороз и в лунную ночь нынешней, по-сибирски крутой зимы, те еще раз услышали и поняли:

голос-то у полковника не только в песне, не только в романсе, голос у него и в самом обычном слове тоже баритональный, этакая валторна в строе «фа», сочетание полноты звука с силой и даже с блеском: «Да-а-авно ведь ничего исправного... Да-а-авно все вокруг — обломки да о-о-осколки!»

В собрании этого никто и не приметил, а теперь так всем стало ясно: мощный голос, полковой голос!.. Тут, среди участников нынешнего собрания, были люди и музыкально образованные, и даже с изыском, со вкусом, они поняли, как обстоит дело...

— Имею честь!— проговорил полковник тем же самым, сию секунду обнаруженным баритоном, нахлобучил треух и вышел прочь.

Выходя, оказался в паре с Корниловым.

Ну, конечно, Корнилов Петр Николаевич, в недалеком прошлом Васильевич, тоже был здесь, присутствовал на собрании.

Нельзя сказать, чтобы Корнилов и Ковалевская нуждались нынче в пропитании, искали куска хлеба в какой-нибудь артели «бывших», нет, этого не было. Ковалевская работала фельдшерицей в инфекционной больнице — жалованье шло и некоторое питание от больничной кухни; Корнилов вил веревки в артели «Красный веревочник», и хорошо вил, усвоил ремесло, коллеги его хвалили: «Грамотей, а гляди-кась ты — толковый!» Но и собранием «бывших» как же было пренебречь? Все-таки?

К тому же у него был один разговор к полковнику, деликатный разговор, они не случайно вышли на улицу одновременно...

Не только окружающая тишина ночи, но и мерцание нескольких редких звезд из того далека, где находится край всего мира, все еще аккомпанировали полковничьему баритону, и нельзя было понять, как они мерцают, те невообразимо далекие звезды: или это отблеск священных свечей, или же свечки все-таки кабацкие, и восторг их свечения происходит по причине той неправедной любви — где ее взять, праведную-то?!— которую только что пропел полковник? «Загляденье-наважденье», «сновиденья-сомненья», «умиленье-утешенье», «лобызанья-стенанья», «волненье-искушенье» и, наконец, последний аккорд «удивленье-преступленье»— ведь вот куда он хватил, полковничек-то! Лысый-то! Тугой, хотя и не очень сытый узел костей

и мышц под заплатанным по правому рукаву полушубком, вот он куда!

Еще чуть спустя — минуту, две ли — причина этой фантасмагории стала Корнилову очевидной: ночь-то оказалась нынче на Земле неземная, ночь нынешняя была заимствована из иного мира.

Истинно: нынешний мир перестал быть нынешним, он был не от самого себя, не от мира сего, он весь явился из какого-то невероятного далека, из другой Вселенной. Стечением каких-то обстоятельств и законов небесной механики эта ночь проникла оттуда сюда. Оттуда — из прошлого или из будущего, или из того и другого сразу, не имело значения, потому что Настоящее оказалось лишним, исчезло бесследно и стало так, как будто и не бывало никогда никакой Середины, а были только такие же лунные, ничем не различимые друг от друга Начало и Конец... Вечность была, а ей какое дело до Настоящего?

Тишина этой ночи была наполнена музыкой еще не родившегося Чайковского — что-то от природы, но не совсем от нее, что-то от человека — и снова не совсем от него, что-то, отчего душа всего живого желала необозримости самой себя.

Музыка была воображаемым, но звуком, и не только им, а еще и черной тенью на желтом снегу, и холодным, тоже снежным ароматом, и всем тем, что существовало вокруг, и поэтому она была музыкой подлинной, всеобъемлющей, а не только тем отзвуком, к которому издавна приучил себя человеческий слух.

Луна светилась круглым-кругла — огромное око, выпавшее из глазницы кого-то или чего-то, кого или чего никогда и никому не дано постигнуть, лунный взгляд был мертв и поэтому опять-таки вечен.

Луна была желтым-желта и той же холодной, металлической желтизной, что и самое себя, окрашивала Землю — снега, человеческие жилища города Аула, накатанную полозьями улицу, слегка дымящуюся, только чуть-чуть видную над сугробом кирпичную трубу и деревянный, обледенелый до крыши сруб водоразборной будки.

Сугробы тоже дымились туманцем вдалеке, а вблизи нет, вблизи уже были неразличимы костры, тлевшие в глубине сугробов. Мороз — крепкий и ровный — еще и еще разжигал себя, свой холод этими сугробными кострами, еще охлаждал земные предметы, и в оцепене-

нии они становились придатками собственных, непомерно длинных и угольно-черных теней. Вот как было: покуда продолжалось нынешнее никчемное собрание «бывших» людей, что-то изменилось в механике и оптике мира.

Но все равно не было полного ощущения чуда.

Чуду препятствовала совершиться некоторая частность, заключавшаяся в том, что ты человек и даже, если Земля действительно только что принялась вращаться вокруг Луны, все равно ты будешь заниматься самим собою — все тем же донельзя озабоченным человеком, устройством своих дел и забот, все равно ты будешь вытравлять из себя вечность.

«Вот она в чем — печаль, и грусть, и истина этой ночи: никак невозможно к ней приобщиться, к этой истине!» — думал Корнилов, слушая, как — раз-два, раз-два, раз-два, левой, левой, левой! — шагал рядом с ним полковник.

Молча шагал, потом произнес:

— Фантазия!

«Заметил же!» — немало удивился Корнилов, а полковник, продолжая маршировать подшитыми валенками, говоря по-сибирски — подшитыми пимами, три раза согнул и разогнул в локтях руки и сказал еще:

— Похрястывают, а? На морозе-то похрястывают, а?

— И что же? — поинтересовался Корнилов.

— Живые! Живые, значит, ежели похрястывают на морозе! Можете это себе представить?

— Могу!..

— Так-то вот... За одну этакую ночь, скажу вам, мно-о-гое можно простить.

— Кому?

— России!

— За такую ночь, полковник, можно не только простить, а еще и любить...

— Кого?

— Россию!

Не сбавляя шага, полковник пожал Корнилову руку выше локтя.

— Благодарю! Искренне и покорнейше благодарю, да! — Подумал и еще сказал: — А что нам, русским, остается, как только любить ее?! Ждать от нее нечего. Упрекать бессмысленно. Жалеть — самого себя очень уж становится жалко. Остается любить ее. Ну, и еще упрекать других.

— Кого же?

— Неужели не знаете? Да Альбиона с Марианной, разумеется! Они ведь Ивана охмурили. С ног до головы охмурили, и надо-о-лго! Альбион, он же Джон Буль,— сплошное и неизменное интриганство, а Марианна — она же сумасбродная. У нее в правительстве одни только адвокаты, прокуроров нет и — подумать только!— адвокаты армией командуют! Помните, в тысяча девятьсот двенадцатом, как только к власти пришел Пуанкаре, тогда же вашенский один был в Париже, социалист по фамилии Жорес, опять же не то адвокат, не то философ, он и сказал: «Пуанкаре — это война!» Ну, правда, его за неделю до войны ухлопали, этого Жореса. За чашкой кофе. А в тысяча уже девятьсот девятнадцатом году убийцу судили и оправдали — тоже помните? Значит, у них там интрижки, а нам из тех интрижек история на века.

— Тоже помню. Только вот почему это социалист Жорес «наш»? Он же француз! Был...

— Нет, не поверю, будто вы социалистическими идейками не баловались! Баловались, точно, а война открылась, поняли, что грех ими заниматься, и зашагали на фронт. В общем, так же было, как у Альбиона и Марианны, только там социалистическое баловство худо-бедно, а сошло с рук, государства сохранились и даже многое приобрели, а на душе наших социалистов еще грех будет до-олго лежать! Еще когда-то Россия вернет все, что потеряла на Западе, на Юге, на Востоке и в самом своем сердце... Может, и никогда? Все, что сказал ваш Жорес, вы, конечно, помните, а что сказал тогда я? В то время молодой, цветущий, смекалистый штабс-капитан? Наш Николашка Второй в тот же день, как Пуанкаре пришел к власти, послал ему Андрея Первозванного со специальным гонцом и весьма ласковым письмом тоже, а штабс-капитан Махов сказал по этому поводу: «Россия делает историческую глупость! Почему? Потому что не видит сумасбродства Марианны, а главное, интриг Альбиона!» Вот как сказал тогда ваш покорный слуга, молодой штабс-капитан, со свойственной ему прозорливостью и логикой. А что, интересуюсь, говорили тогда вы, молодой интеллигент? С головы до ног обученный философиям? Прочим наукам и политикам?

— Угадали! Я занимался в то время натурфилософией — единственно непогрешимой наукой в этом

мире. Противостоящей политике. Хотя бы и военной!

— А не надо мудрить, господа ученые, вот что! И тогда все встанет на свои места, ей-богу! Что происходит с одним, отдельно взятым человеком? Он родится, умирает, кого-то любит счастливо или несчастливо, и тогда его надувают, что-то теряет и приобретает, делает долги и разные глупости, кого-то обманывает, а кто-то обманывает его, с кем-то дружит, а с кем-то ссорится. Все просто. Так вот и народ, и государство совершенно по тем же правилам и в той же деятельности существуют, что и отдельный человек. Так и надо понимать весь мир. Но слишком уж наш век пресыщен мыслью. Изнемогает от нее. И там, где начинают бушевать науки, да философия, да поэзия с художественными прозами, там кончается знание. Знание реальной действительности и тех сил, которые двигают судьбами государств, народов и нас с вами, грешных. Впрочем, что это я, сударь? С вами — и вдруг этак о науках-искусствах?! Немыслимо! Небось диплом-то университетский? Да мало того, имею небось дело с профессором, по меньшей мере, ординарным, но все ж таки с ним?

— Приват-доцент! — от неожиданности, от этой полковничьей проницательности вдруг признался Корнилов. Пожалел, что признался — не потому, что не доверял полковнику, самого себя упрекнул: «Болтлив ты, Корнилов! Слишком просто тебя поймать неожиданным вопросом!»

Полковник ничего неожиданного в этом не уловил.

— Приват-доцент — это естественно. Вполне. Не вполне другое: приват-доцент в военной службе? В строевой и фронтовой? — Тут он отступил на шаг, еще примерился взглядом к собеседнику. — Батальоном командовали?! А?

— Некоторое время... — снова признался Корнилов.

— Об остальном не спрашиваю! — кивнул полковник. Помолчав многозначительно, он вернулся к вопросу о своем понимании истории человечества: — Все эти Спинозы — штатские пустячки, более ничего!

— Христос? — спросил Корнилов.

— То же самое! Христосов-то, поди-ка, ско-о-олько было на свете — тысячи, но только один возымел действие на умы и судьбы! Почему? Просто: оказался сильнее своих противников и своих друзей-единомышленников! Сильнее умом, сильнее словом, сильнее здо-

ровьем и мускулатурой — в конце концов, неважно чем, важно, что сильнее. Не говоря уже о том, что учение Христа не обошлось затем без силы вооруженной — без крестоносцев. И без инквизиции тоже не обошлось! Или вот — кто нынче, сделайте милость, скажите, кто нынче прав? Эсеры? Эсдеки, монархисты, меньшевики, анархисты? Да нынче и вопрос-то этот до крайности смешной — кто прав?!— нет его, этого вопроса, все дело в другом — кто сильнее! Сильнее большевики, и точка! И какое имеет значение, чья философия выше? Тот, кто правильнее умеет произвести расчет сил, тот и философ, и правитель, и вершитель. Или: вы идете рядом со мной, вы глядите на луну, вы думаете, что вы ее чудесность видите, а я нет, не вижу. То есть вы произвели тот же расчет: вы сильнее меня чувством, да и умом то же самое. То есть вы руководитесь тем же принципом силы. Нет уж, господин приват, я этот принцип пинать не буду, весь живой мир на нем стоит и его сознает. Кто кого может и должен съесть, каждая тварь знает, и только человек выламывается, дескать, этот принцип — не принцип, он бесчеловечный! Да что человек-то, он не в этом, что ли, мире живет? Ему ли не знать, что и неодушевленный-то мир тоже на том же принципе стоит: Луна вращается вокруг Земли, Земля — вокруг Солнца, а не наоборот?! Значит, Земля сильнее Луны, но слабее Солнца. И существует одна-единственная только несправедливость: победа слабого над сильным, Скажем, Россия и Германия более или менее одинаково были сильны, и в победе одной над другой нет ничего принципиально несправедливого. Несправедливо другое: слабая Англия стравила двух сильных между собою, сама понесла небольшие потери, а получила большой выигрыш, вот это несправедливость, обидно и больно!.. На каких же фронтах изволили действовать, господин приват?..

— Не извольте обижаться, господин полковник, на разных!

— М-да-а-а... Строго-то говоря, я тоже на разных...

Снег скрипел звонко, стеклянно, полковник приподнял для чего-то треух с головы и еще прислушался.

Но тут-то, когда он свой треух приподнял, Корнилов и понял, что дальше откладывать разговор нельзя. «Разговор особого назначения», так он, Корнилов, про себя его назвал, а откладывать его действительно было

нельзя, потому что на полковничьем лбу, выпуклом, как бы лишенном кожи, он увидел крохотное такое отверстие... Именно такое, каких Корнилов — слава богу! — нагляделся. Начиная с 1915 года.

Разговор-то предстоял о чем? Дело-то было как?

На последней отметке в ЧК, которую еженедельно проходили ссыльные города Аула, Корнилов, как всегда, встал за деревянную стойку и кивнул оттуда дежурному: дескать, вот он я, весь в наличии, никуда не скрылся, значит, подавай мне книгу, я в ней распишусь на своей собственной странице, предъявлю проформы ради документ — и прости-прощай до следующей пятницы. У Корнилова отметочным днем была пятница, с двух до четырех часов пополудни.

Но дежурный — мешковатый малый в гимнастерке с чужого плеча — явочную книгу ему на этот раз не протянул и документ не посмотрел, велел пройти в соседнюю комнату.

Там, в соседней, находился как бы даже и не чекист, а так себе, красный унтер, что-нибудь не более того по чину, без знаков различия узнать было нельзя — претензии на щегольство, усики, звездный суконный шлем, в котором он сидел за грязноватым столом, сидел, расстегнув застежки и поглядывая вокруг с проницательностью Феликса Дзержинского. Весь этот облик давненько уже был знаком Корнилову.

Корнилов был приглашен сесть.

Корнилову было сказано в том смысле, что на сегодня необходимо личное знакомство нового начальника со всей подопечной ему контрреволюцией города Аула.

Разговор у нового начальника тоже был простой, обычные вопросы: имя, отчество, фамилия? Год, место рождения? Служба в царской, белой армии. А также: где живете, аккуратно ли являетесь на отметки? Затем было объявлено: «До следующей пятницы свободен!»

Все точно так, как и должно быть, но тут в последний момент кто-то неожиданно окликнул корниловского собеседника из следующей, еще более отдаленной комнаты: «Сорокин — ко мне!»

Собеседник Корнилова поднялся и, не бог весть как чеканя шаг, вышел на оклик в ту дальнюю комнату, а Корнилов, тот привстал, сделал два шага в сторону

выхода и, как знал, что надо остановиться, остановился на секунды. В эти секунды он и услышал: «Значит, так, товарищ Сорокин, во вторник, в двенадцать ночи, возьмешь полковника Махова. Понятно?» — услышал он, а затем ради экономии этих двух-трех секунд прибавил шаг, миновал первую комнату с аляповатым малым в гимнастерке с чужого плеча, кивнул ему уже через стойку...

Прошедшие с тех пор несколько дней были Корнилову мучительны — полковничий лысый образ никак не отступал от него.

Полковник жил, кажется, на Пятой Зайчанской улице, но в каком именно доме, Корнилов не интересовался, не было необходимости. Скорее, наоборот, надобность была друг о друге не знать, чтобы в случае чего на вопрос: «А вы знакомы?» можно было ответить: «Нет. Даже не знаю, где живет!»

В лицо-то они с полковником друг друга признавали: еще осенью раз-другой встречались на барахолке, когда полковник приторговывал треух в предвидении наступающей зимы. Чаще встречи происходили в последние месяц-два у водоразборной будки, куда полковник прибывал с шести-, а Корнилов с четырехведерной бочкой, причем санки под бочонком Корнилова были с железными полозьями, а полковничьи без, и, наконец, Корнилову от водоразборной будки к дому № 137 по улице Локтевской, угол с Зайчанской площадью, было недалеко и под гору, полковнику же гораздо дальше и все время в гору.

Из этих сопоставлений Корнилов заключал, что полковник не одинок, куда же ему столько воды на одного-то? Ежесуточно? Или, может быть, у него слишком требовательная, а попросту говоря, ведьма домохозяйка?

Но нынче не предупредить полковника было нельзя, невозможно: два русских офицера, они имели по отношению друг к другу обязательства.

Полковник ведь предупредил бы Корнилова? Обязательно!

И Корнилов рассказал, что и как... Как был «на отметке» в ЧК, что слышал из соседней комнаты...

— Так-так...— уяснил полковник.— Так-так...— Но руки не протянул, не поблагодарил, настроения своего не выразил.

Пришлось долго-долго ждать, потом спросить:

— Убежите?

— Не стоит... Нет, не стоит...

— Значит, не ждете больших-то последствий?

Прекрасно было бы и приятно, если бы полковник не ждал «больших».

Однако же тот сказал, чуть помедлив:

— Как, поди-ка, не ждать, жду... И не дамся.

— Тогда... Нет-нет! Вам надо бежать немедленно! Завтра же! Сегодня же на рассвете!

— Годы, господин приват, уже не те... Уже не мальчишка, чтобы из вагона в вагон по крышам перебегать, в мусорных ящиках прятаться и прочее... К тому же изжога открылась... Страшная, знаете ли, дрянь. По сю пору не жаловался: голова ни разу в жизни не болела и брюхо тоже. За исключением расстройства на почве голодухи, не было случая, а тут — изжога. Страшная, знаете ли, дрянь. Неприятность.

— Боже мой, да о чем вы говорите — изжога!

— Так ведь не отстанет же?! Вот и бегай вместе с ней, а она тебя мучить будет. Соду нужно пить, а где ее в бегах-то возьмешь, соду? Разруха же кругом, все еще всероссийская разруха, вот и нет в продаже соды.

— Теперь — о соде!

— И физиономия — обратили, поди-ка, внимание — натурально полковничья. Без парика не спрячешь. А где его сыщешь, опять же, парик? Когда бы можно было пойти к приличному парикмахеру да и заказать — другое дело. А нынче? Разруха, говорю, лет пять прождешь до приличной-то парикмахерской. Шутка ли, пять лет перебиваться, собственной физиономии, как черт ладана, опасаясь! Нет, не говорите, господин приват, напрасная трата сил, не более того. Нет, увольте.

— Ну хорошо, тогда отдайтесь им. Да мало ли офицерства нынче за решеткой, не всем же... в лоб? Вот сюда!

— Не надеюсь. Не надеюсь, господин приват, у меня нынешнее-то имя не совсем, так сказать, надежное. Значит, докопались, пройдохи. Бо-о-ольшие пройдохи! Как вы думаете, приват, сколько за мною придет? Меньше трех вряд ли... Вернее всего, четверо. Один останется у дверей... Один встанет у окна. Двое войдут. Так? Двое?

— Так вы еще вот о чем?!— ужаснулся Корнилов.— Ну ладно! Ну, самим собою вы вправе распорядиться, дело ваше! А те, кто придет? Кого по приказу пришлют и кто отказаться от этого приказа не может, те при чем? Какие-нибудь там солдатики-красноармейцы, такие же, как и вы сам, русские люди, они при чем? Нет, это невозможно! Если так, пойду в Чека! Пойду и предупрежу, чтобы брали вас неожиданно, где-нибудь на улице, на барахолке, у водоразборной будки! С салазками и с бочонком шестиведерным!

Полковник поглядел на луну задумчиво и продолжительно, приподняв к ней круглое, тоже лунообразное лицо. Прошел десятка три шагов, потом ответил:

— Конечно... Каждый, покуда жив, распоряжается собой как может и как умеет. Однако я из ваших соображений исходить не буду. А исходя из своих, тех двоих, что войдут ко мне в комнату, я уложу. Наверняка. Третий кинется со двора на выстрелы, уложу и третьего. Четвертый уйдет. Ну вот, а уже второго захода с их стороны я ждать не буду. Во второй-то они ведь смогут взять меня... живого.

— Да неужели это нужно? Или интересно?

— А как же? Профессиональный интерес. Кто к чему привык, так и живет и умирает в своей привычке.

— Но не война же?!

— Она и есть! Объявлена война побежденным. Я побежден. Я это признал. Все, что побежденный может потерять, я потерял. А со мной все равно воюют, все равно меня под расстрел, еще куда-нибудь. Значит, правил игры нет. Значит, я абсолютно свободен. Как это у вас по науке, по приват-доцентским понятиям: абсолютная свобода духа, да? Вы, поди-ка, в свое время на кафедре, приват, рассуждали с энтузиазмом о свободе духа?!

Еще прошли, помолчав, еще Корнилов сказал:

— Нельзя было говорить вам ни слова, нельзя было вас предупреждать! Я в растерянности: может, мне действительно идти в Чека?

Полковник, ничуть не задумавшись, сказал:

— Сочувствую... Однако что сделано, то сделано. Надо было приглядеться сперва повнимательнее, прикинуть так и сяк. Но вы опрометчиво поступили, не пригляделись, не прикинули... Сочувствую...

— Нет, это невозможно понять — для чего вам нужно убить еще несколько человек? Двух? Трех? — Полковник не отвечал, маршировал, похрустывая по снежку, и только, а тогда Корнилов догадался: — Надоело жить под чужим именем? Вот вы и решились?!

Тут полковник заговорил снова:

— Ну что это вы, приват?! Ерундистика-то, зачем она? Да ведь это же нынче повальный грех — чужие имена! Свои-то у кого? Ни у кого своих! Все перемешалось... Дворяне стали плебеями, плебеи — дворянами, толпа — армией, армия — толпой, большевики дружат с буржуями, воюют с социалистами. Давно ли они все вместе томились в одних камерах. «Замучен тяжелой не-е-евоо-о-лей...» в один голос пели, а нынче? Нынче генерал Брусилов — «красный генерал», то есть не красный и не генерал, а социалист Казанцев сослан другими социалистами же, только большевиками, в город Аул, так разве те, кто его ссылал, все еще социалисты? И разве он, Казанцев, сосланный социалистами, тоже все еще социалист? Нет, приват, имен и наименований у людей больше нет, потому они и могут делать все, что им совершенно несвойственно. И делают. Тут недавно тоже беженец один рассказал мне о нашем общем знакомом — артиллеристе — пресмешную, знаете ли, приват, историю... В Москве было. Эсеры подняли в Москве мятеж, слышали, конечно. Дзержинского даже захватили, даже предъявили большевикам ультиматум, даже штаб свой у Покровских ворот устроили, одним словом, все как у людей, как у настоящих военных. Да. А тут как раз этот наш общий друг, артиллерист, сказать вам, так герой всего Западного и всего Юго-Западного фронта, пушечный бог, хотя и тоже эсер, тут как раз он приходит в военный комиссариат регистрироваться. Внял призыву Советской власти о добровольной регистрации царских офицеров и вот приходит, и у него спрашивают: «Можешь обстрелять Покровку из кремлевских орудий? Точно обстрелять, чтобы ничего лишнего кругом не задеть?» — «А карта есть?» — спрашивает наш артиллерист. Нашлась и карта. «А наблюдатели-корректировщики найдутся?» — «Сколько угодно!» И что же вы думаете, приват? Полчаса не минуло, как этот эсер-артиллерист своих эсеров — не артиллеристов — разделал под орех! Любо-дорого было поглядеть, кто понимает! А вы говорите... Чего вы говорите-то? Забыл уже... Ах да, вас изжога, значит, не мучает?!

Счастливый вы, право слово, человек. А ночь-то, ночь-то, гляньте-ка! В этакую ночь только и принимать человеку святые решения — то ли ему жить, то ли помирать... Только и слушать, а что же это тебе богом на душу положено?..

— А есть что-нибудь в этом мире, полковник, что могло бы вас остановить?

— Что за вопрос, конечно, есть!

— Что же?

— Приказ. Обыкновенный приказ. Морщитесь, приват? Хоть и служили, хоть и воевали, а все равно морщитесь? Все равно это претит штатскому обонянию? А напрасно! Приказ — великое изобретение и благо человечества! Ну, что такое человечество без приказа? Это греки без Акрополя, русские без Петербурга и Киева, да что там, без приказа ни один человек не взрос бы, потому что взрастает он и воспитывается под приказом отца с матерью. Не говоря уже об академиях, об академиях наук, художественных или военных, все они возникли по приказу. Велик народ, который умеет исполнять приказ с умом и душою. И умницы, скажу я вам, были наши предки, когда выбирали себе властителя вольно, а затем отдавались ему в неволю: «Отныне мы рабы твои, а ты наш господин. Отныне наша сила — твоя сила, будь же силен нами!» Приказ один только и может навести равенство между людьми, все равны перед ним. А конец света — что это? Это конец приказа, когда человечество уже так поглупеет, что разрушит приказ окончательно — и некому будет сказать: «Быть посему!», и некому будет слово это понять! Так-то вот... Вот я и сделался без приказа свободен, вот никто и не силен надо мной, и ни над кем не силен я, то есть полнейшая свобода. Приказа Чека мне нету и другого чего тоже нету, вот и я выпал из системы человеческого существования! И вся Россия выпала. Ведь — дело для России, в общем, простое. Родилась она великой, так и быть бы ей великой,— не затевать революций, междоусобиц, богоискательств и прочих истерик, не рвать на себе волосы: «Ах, какая я нехорошая! Ах, какая — неизвестно какая!» А что ей для этого, для величия, нужно? Ей нужен полковник Махов тиражом в три-пять тысяч, вот и все! Эти три-пять тысяч приказом наведут порядок и дисциплину, которые Россия не любит только потому, что никогда их не имела. А приобретет — и полюбит! До глубины души!

Россия с немецким порядком — это же весь мир будет перед ней шапку ломать! Уж это величие так величие, что надо! Ну для пущей важности добавить к полковникам еще двух-трех Столыпиных, одного-двух Витте, а Менделеевых, Толстых и Шаляпиных — по одному, и тоже одного, но могучего телосложения императора — что тут будет?!

Вот где судьба России, да как бы и не всей Европы и Азии тоже, а она, безалаберная, чем в действительности занимается?

— Вы человек одинокий?

— Достаточно одинокий, приват. Достаточно, поскольку нынче самый близкий для меня человек — это я. Я сам, больше никто! Я ведь выпал из системы, которая мною управляет, а это уже окончательный эгоизм, конечный эгоизм. Эту конечную штатскую и подлую стадию вы и называете сво-бо-дой! Но вы-то ее только называете, а я ее употреблю. В дело.

Полковник остановился, и снег под кошмою его валенок, по-сибирски — пимов, перестал хрустеть. Другим, каким-то потеплевшим голосом полковник спросил:

— Да вы, собственно, приват, о чем? Вы не о любви ли? Когда о ней, зачем же так издалека? И спрашивали бы естественно, а то ведь вон о чем — об одиночестве! Уж не полагаете ли, будто не к месту мужчинам о любви поговорить-посекретничать? В самом деле, стесняетесь? Или заблуждаетесь, как нынче принято в газетках выражаться? А луна-то! Да вы что, луны нынешней не видите, нет? Разве не романтично? Не лирично? Не душещипательно?

Ах, какое же волненье — никогда не передать...
И какое искушенье — повторять и повторять! —

пропел полковник, а тогда и зашагал дальше, снова заскрипел снегом. Баритон его на морозном воздухе и без гитарного аккомпанемента, потеряв кое-что в оттенках и выразительности, стал поглуше, стал почти что басом с этаким легким львиным рокотом.— Ах, приват-доцент, да вы любили когда-нибудь либо нет? Любовью любили или только всякими соображениями и понятиями? Да эгоизмом?

— Эгоизм-то — зачем?

— Вот-вот!— засмеялся полковник, будто только что выиграл трудную партию в бильярд, еще во что-ни-

будь.— Значит, нуждаетесь в пояснениях? Так я скажу: эгоизма нет, когда есть мгновение! Мгновение никогда не эгоистично, оно есть, а больше никаких соображений — что и как будет, как устроится, чем придется расплачиваться. Как, простите за сравнение, на войне: ты жив — и это уже все, а что было, что будет, этого нет, как не бывало никогда. Как у Пушкина.

— У кого?

— У Александра Сергеевича: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Ведь вот же Александр Сергеевич по причине чудного мгновения не переживает прошлое! Ничего не обещает на будущее! Не клянется в верности, не обещает вести себя хорошо и нравственно или подарить ей, явившейся, букетик! О женщине и говорить не приходится: она меня ищет, а только нашла, уже делает вид, что не я ей, а единственно она мне нужна. Ей обязательно даже, чтобы я ее принудил к встрече и к прочему всему, чтобы она была бы жертвой. Ей со мной хорошо, мне с ней хорошо, нам вдвоем хорошо, так нет же, ей нужно быть жертвой, чтобы не она мне, а обязательно-обязательно я ей до гробовой доски был обязан! Иной раз так и все равно, чем обязан-то — клятвами, готовностью положить за нее жизнь или букетиком георгинчиков-тюльпанчиков! Ну, а наш брат мужик? Тоже эгоист до мозга костей, вот он кто! Всегда за женщиной от чего-нибудь спасается: от самого себя и от своих потребностей, которые он без женщины удовлетворить не может, или свое самолюбие он спасает, чтобы вести счет победам, или свою жизнь он спасает за ней, или свои носки, чтобы были постираны-поштопаны! Носки-то — тоже ведь жизнь! Чем еще другим носки могут быть? Предположим, семья нужна, да? Хотя «Коммунистический манифест» — и правильно — семью опровергает, все ж таки семья и детки нужны. И даже внуки! Ну, а бирюльки-то при этом зачем? Зачем торговаться: «Ты мне детей и семейную жизнь, а тогда я тебе любовь и наслаждения?»

Остановился, перестал скрипеть снегом Корнилов, ведь все это время, весь этот путь лунными, до крыш заметенными снегом улочками Аула, за ними, двумя мужчинами, шли две женщины: Евгения Владимировна и другая, с сединой, имени которой Корнилов не знал.

Шагах в десяти они шли,— Евгения Владимировна — за Корниловым, другая — за полковником. Полковник провожал ее к ее дому или же они шли в один дом, Корнилов этого не знал.

Женщины тоже говорили между собою, но тихо, сдержанно, лишь иногда доносились их голоса, голос незнакомый, а изредка — голос Евгении Владимировны, все еще не совсем зрелый и даже детски неуверенный, никак не соответствующий ее крупной фигуре.

Вообще несоответствие в Евгении Ковалевской чего-то одного чему-то другому было ею самой, ее характером и обликом. Удивительно, что характер этот все-таки цельный.

— ...значит, так...— услышал за спиной у себя Корнилов этот голос.

— Значит, так,— повторил Корнилов, и повернулся, и пошел быстрее.— Вам куда, полковник? Вам с нами до конца?

— Проводите нас, а там уже к себе свернете, на Локтевскую. К дому номер сто тридцать семь...

— Знаете? Наше-то жилье?

— Доводилось мимо бывать. И от водоразборной будки ваш дворец тоже видать. Приличный дворец.

— У вас бочка тяжелая. Шестиведерная,— вспомнил Корнилов.

— Семиведерная, приват. И салазки на деревянных полозьях. У вас на железных, так я завидую неизменно. Завидовал неизменно... А вы твердо знаете, приват, каких женщин можете любить? Бог вам объяснил? Или оставил в темноте и неведении?

Полковник-то! Все еще шагал в подлунном мире по-свойски, не допуская мысли, что собеседник может и не разделить с ним его интереса. Должно быть, умел, умел полковник жить мгновеньями!

— Все-таки,— спрашивал он, спрашивал настойчиво и с интересом,— все-таки, приват, я знаю: не дано вам этого понять. Вам очень многого не дано о себе понять, вас даже армия, даже война не научила этому. Вы, человек,— всё, всё на свете! Вы и такой, и сякой, и сами не знаете какой, вы жизнь потратите, чтобы разобраться, для чего вам дана жизнь, а пожить так и не поживете. Вот вам вопрос: каких женщин вы можете любить? На одно мгновение? Не в сроках же дело, можно любить и на одно мгновение, но чтобы кровь после того у вас

была уже другой. Я, знаете, однажды в Эльзасе француженку встретил, два дня видел, глядел на нее сам не свой и до сих пор вижу, думаю о ней. Как думаю? А вот собственное, можно сказать, произведение:

О, если б я тогда сказал
И если б ты не промолчала —
Куда б нас жизни вихрь умчал,
В какие судьбы и начала?

Ну, и далее кое-что еще в том же духе. А что? Она, знаете ли, стихи писала, та француженка, а мне что прикажете делать? Любовь заставит, еще не то напишешь! Но нет, ничего она не поняла, ни о чем не догадалась — французы, они же народ легкомысленный! И вот мне еще почему так обидно, что Россия войну проиграла: если бы не проиграла, не заключила бы Брестского мира, я бы победителем в Эльзас явился и нашел бы ее окончательно, ту француженку Сюзанну. Она стихи писала и даже в журнале печатала, такую найти ничего не стоит хотя бы и среди десяти миллионов. Их сколько во Франции, французов?

— Сорок миллионов.

— Правильно, сорок. Ну вот, половина — женщин, еще половина — девочек и старух, а среди десяти миллионов — и я бы ее не нашел? Когда у нее имя черным по белому печаталось?! Да раз плюнуть, нашел бы! «Англичанка», стервоза, виновата, все она, испокон веков обманывает русского человека, не дает ему пожить как следует! Вы, поди-ка, и насчет «англичанки» тоже сомневаетесь? Все равно не знаете, то ли она виновата во всем, то ли еще кто?

— Сомневаюсь.

— Так я и полагал — нет и нет в вас определенности! Да, но две встречи, кроме той, трагической, французской, две у меня среди прочих были. Без которых и я бы был не я, и жизнь моя — не моя. Две были, скажу я вам... Перед двумя женщинами я на колени могу стать, вот вам честное офицерское! Сколько раз себя проверял — все могу сделать, чтобы их, те встречи, повторить! Могу украсть, убить, а самого себя пристрелить под луною и вовсе просто! Предать не могу, чего нет, того нет, остальное — все! И без зазрения совести. И вот что же вы думаете, приват, ученой своей головой, какая женщина способна со мною все это сделать, всего от меня потребовать? Вы, может, думаете, мне разные

страсти-мордасти очень по душе, то есть женщины бесноватые, которые и визжат, и стонут, и все такое прочее? Так я их терпеть не могу, таких, а когда они еще и первые на тебя кидаются, так это единственный, кажется, противник, от которого я тотчас сломя голову!.. Вы, может, думаете, финтифлюшечки какие-нибудь миленькие, при первой же встрече уже полуголенькие, глупенькие красоточки, которые и папу, и маму, и своих, и чужих мужей в бараний рог согнут, ежели им понадобится удовольствие, все это называя «любовию»? Ну, конечно, это уже лучше, это уже терпимо, особенно в экстренном каком-нибудь случае и при отличной этакой мордашке, при прочих всех достоинствах... У этаких, чего греха таить, все ж таки достоинства имеются, а главное, дуры-дуры, но вот распорядиться они своими достоинствами умеют неплохо. Так что это терпимо, но конечно же не то, совсем не то, из-за чего можно собою жертвовать и на колени становиться... Вы думаете, может быть, милашечки такие розовенькие? Уютные Гретхен? Уютные, но с собственными мозгами? Недурственно, однако же заранее известно и видно, что мгновения — того мгновения, истинного! — они ни вам, ни себе никогда не подарят! Ну, кто там еще остается-то, какие еще? Умных-заумных тем более близко не подпускаю, это уж и не женщины, а только особи с кое-какими внешними признаками, поскольку ум истинной женщины проистекает из чувства, а у этих наоборот. Отсюда у них все наоборот, и вот они, извините меня, приват, на таких, как вы, мужчин очень рассчитывают... Да и не только, опять же извините, рассчитывают... Ну, а все-таки, какая же Та? Из-за которой самого себя нет ни малейшего смысла беречь? А вот: деятельно нежная. Не поняли? И напрасно, приват, не поняли, оч-чень многое можете потерять, а главное, много уже потеряли! Как бы вам все-таки растолковать?.. По дружбе, по душевному к вам расположению. Ежели хотите, в порядке завещания?

И полковник, сперва оглянувшись назад, на женщин, которые шли следом, стал объяснять Корнилову, что такое есть женщина деятельно нежная. Что за природа, что за содержание, что за внешность и форма, какое выражение глаз.

А Корнилов, даже и не очень улавливая детали этого объяснения, вдруг понял, о чем речь — чудеса понятны. Что это за душа, что за ум, что за глаза, что за плечи,

которые вот так нежны и вот так деятельны, ему стало видно и понятно. И гармония понятна, в которой грубая деятельность подчинена нежности, а беспредметная нежность воплощена в умную, истинно человеческую деятельность.

Ну да, вот она шла той самой деятельно нежной походкой, шла стороной, чуть впереди и чуть справа, чуть ближе к полковнику, чем к нему, к Петру Корнилову, шла в каком-то не совсем одеянии, да это, право, и не важно было в данный момент, в чем она... Лицо было вполоборота к дороге, накатанной санными полозьями и потому блестящей, лицо было нежным, но живым, готовым к радостному действию в отблеске луны,— нынешней и чудной.

С какою-то ей одной доступной мудростью она заставляла не столько себя видеть, сколько чувствовать. Необходимость чувства к ней исходила от ее несуществующего, но реального и убедительного существа. Строго говоря, она была оптимисткой. Слово не совсем к ней подходило, но она-то ведь была выше мелких недоразумений, и невпопад и не к месту сказанное слово не имело для нее никакого значения. Если была все-таки истинная жизнь, так это была Она. Если в нынешнюю ночь полковник и мог вызвать с небес какое-то существо, так это Ее.

Когда близко, уже совсем рядом был дом, в котором жил полковник, и предстояло всем остановиться и попрощаться, Корнилов пережил сильное замешательство: не хотелось, чтобы Евгения Владимировна, приблизившись, увидела незнакомку, не хотелось сравнений.

Опасения оказались напрасными: дамы подошли, умолкли перед тем как попрощаться, а Ее уже не было — Той, нереально-реальной, она и тут проявила ум и такт.

Корнилов отвел полковника в сторонку.

— Одну минуту, извините, бога ради, только одну. Так вы в самом деле решились? Окончательно? Собой вы распорядиться вольны, но объясните еще раз: зачем, ну зачем вам те две или три смерти? Которые будут? Не видели вы, что ли, смертей, неужели любопытно? Неужели не знаете?

— Я так решил, приват... И в этом все мое знание.

Корнилов посмотрел на спутницу полковника, она тоже остановилась у ворот нескладного продолговатого

дома с выкрашенными в белое ставнями, в котором жил полковник и в который — теперь это уже ясно было — она войдет сейчас вместе с ним.

— А как же я? Это же по моей произойдет вине!

— Еще и о вас думать?! Да поступайте как хотите! Поступайте на здоровье! Разве я вас неволю? В чем-нибудь? И все-таки будьте здоровы, приват! Будьте счастливы!

И полковник вместе со своей спутницей скрылся в калитке приземистого дома. Дом был с белыми ставнями — запомнил Корнилов.

Корнилов взял Евгению Владимировну под руку, повел ее улочкой, сбегавшей по склону вниз, к площади Зайчанской, а там, уже за площадью, за черной громадой Богородской церкви, за дальними и темными рядами приземистых домишек по улицам Гоголевской, Пушкинской, Короленко, Льва Толстого и других величайших писателей, там внизу засияла гладь аульского пруда... Знаменитый был пруд, древний, по сибирским понятиям очень древний, построенный только чуть позже петровского времени для того, чтобы вода, падая с плотины, вращала бы двигатели серебряного завода... И серебро плавил тот завод, и монету чеканил, и многие еще другие совершал изделия, покуда не истощил вокруг себя лесные запасы. Одна речка Аулка не управилась с делом, и пруд тоже не помог, нужны были дрова, дров же не стало, и обессилел завод, и покинут был мастеровым людом. А пруд остался и зиму, и лето, а весною особенно грохотала там вода, падая с плотины на деревянный флютбет, а зимами вот так же, как нынче, сияла его поверхность ледяным, будто инопланетным светом, и Корнилов догадался, куда, в каком направлении исчезло то женское существо, только что им увиденное: в блеклом ледяном свете пруда оно исчезло.

Удивился Корнилов:

«Да там и людей-то нет никаких — ни плохих, ни хороших, ни молодых, ни старых, ни правых, ни виноватых,— так что же Ей там делать, что совершать со своей нежностью? И деятельностью?! Абсурд!»

Между тем Евгения Владимировна о чем-то его спросила, а он не ответил, он должен был сохранить тайну только что минувшего явления.

Или Деятельно Нежная женщина была не чем иным, как похоронной процессией, провожавшей полковника в последний путь?

Или явилась, чтобы приветствовать Корнилова, угадав, что вот уже, наверное, год, как этот самый Корнилов нуждается в таком приветствии? Скрывает это от самого себя, от Евгении Владимировны тем более, но нуждается...

«Но почему же, право, Та исчезла столь внезапно? — сожалел от души Корнилов и вглядывался в отдаленный отсвет аульского пруда.— Застеснялась? Так и есть, перед этой, земной, стесняются даже Те — неземные».

Эта — сестра милосердия — никогда не спрашивала, кого она спасает, кто они, страждущие: белые или красные; немцы или русские; «бывшие» или настоящие; жильцы на этом свете или уже не жильцы; земные или неземные; все это не имело для нее никакого значения, они страдали, она, начиная с первых дней войны 1914 года, милосердствовала страждущим, вот и все; все принципы, все человеческие отношения, все мечты и надежды, все знания и чувства в этом для нее и заключались.

Никаких тайн.

Никаких невысказанных слов — страждущие всегда ведь высказываются до конца, ничего не скрывая.

И вот Евгения Владимировна, безусловно, убеждена, что Корнилов высказался перед нею весь, что она знает о нем все... Еще бы, ведь ей одной на всем свете известно, кто такой Корнилов, откуда он пришел и почему до сих пор жив, а не мертв. Ей одной известно, как случилось, что она в конце концов беспредельно полюбила человека, при первой же встрече так глубоко ее оскорбившего. Ей одной известно, что никаких чудных явлений, подобных нынешнему, воображаемых или реальных, нет и не может быть...

Не может быть... И Корнилов позавидовал полковнику: тот окончательно нашел свое место — ничто, ну а если твое место все еще кое-что?

Это кое-что и всего-то навсего не более, чем одна скромненькая жизнешка, в углу домишка № 137 по улице Локтевской в городе Ауле, но, чтобы ее, скромненькую, иметь, приходится как-то ладить, как-то управляться с жизнью двух Петров Корниловых — Николаевича и Васильевича!

Он ведь, тот Петр Васильевич, когда присваивал себе этого, Петра Николаевича, он о чем мечтал, какого приобретения хотел? Он хотел маленькой такой жизнешечки, неприхотливой и совершенно ручной, безо всяких претензий, послушной, молчаливой, как рыба. А что приобрел?

Такую самонадеянную приобрел жизнь, которая только самое себя за обязательную и почитает. Вот полковник уйдет из жизни, ну и что? Может быть, и в самом деле необязательно ему жить? Корнилову обязательно, а полковнику нет?

Вот сотни, вот тысячи прохожих из года в год встречаются ему на улочках города Аула, так ведь ни в одном из них он тоже не подозревает точно такой же обязательной жизни, как его собственная?

Вот Евгения Владимировна Ковалевская, да разве можно ее чем-то, каким-то явлением обидеть? Какое-то сомнение в ней заронить? На какой-то ее вопрос не ответить? Нельзя ничего этого, нельзя ни в коем случае! И это тоже — его жизнь.

Но он шел, вел ее под руку и все еще ей не отвечал. И даже не слышал до сих пор, что был за вопрос у нее к нему.

Кажется, она спрашивала: «Дорогой! Мне кажется, этот Махов тебя чем-то расстроил?»

Без пятнадцати минут двенадцать в ночь со вторника на среду 16 февраля 1923 года Корнилов, прячась в узком переулочке напротив дома с белыми ставнями, все еще надеялся. Может быть, будет не так, как решил полковник?

Но без пяти минут он уже знал: все будет так.

Без пяти по 5-й Зайчанской к полковничьему продолговатому и приземистому жилищу с белыми ставнями приблизились двое с винтовками, один — с револьверной кобурой на ремне...

Один остался около этих ставен, двое перемахнули через забор во двор...

Потом послышался стук в дверь.

Еще постояла тишина, ночь была неяркая, но и темная не до конца, с облаками на половину неба, со звездами между облаков, с тускленькой, ничего не значащей луной.

И вот в доме прозвучали выстрелы. Глухо. Дважды. А после короткой паузы еще раз.

Чоновец, иначе сказать, красноармеец Части особого назначения, оставшийся на улице, ударил прикладом в ставню, зазвенело стекло, ставня упала, и он выстрелил туда, внутрь, в глубину дома и, заглянув внутрь, потом быстро-быстро побежал вниз по 5-й Зайчанской к центру города.

«За доктором!— догадался Корнилов.— За подмогой — ему не унести раненых. И убитых...»— догадался он еще и тут же приблизился к дому, привстал на завалинку, через отверстие в разбитом, схваченном морозом стекле увидел комнату.

Под потолком горела керосиновая лампа — черная, пузатая, десятилинейная, похожая на ту, которая двое суток назад так же тускло освещала собрание «бывших» на противоположной окраине Аула. И дым тоже был здесь махорочный, синеватый, хотя и не такой густой. «Курил полковник-то!— опять сообразил Корнилов.— Курил в ожидании».

Прикрыв глаза рукой и надвинув шапку, страшно рваную, нарочно для этого случая подобранную, Корнилов еще просунулся сквозь окно и крикнул, употребив нескладное сибирское «чо»:

— Чо тако случилось-то?! Чо тако?!

Там, в комнате, посередине стоял глубокий старик в расстегнутой рубахе, в офицерских галифе с оборванными лампасами и тоже древняя, пополам скрюченная старуха. «Хозяева дома! Это им полковник возил воду в семиведерной бочке!» А еще там был человек с очками в одной руке и с каким-то пузырьком в другой. «Другой жилец. Понятой. Понятым его взяли чоновцы!»

— Что случилось-то, язвило бы вас?!

— Господи, господи, господи! — говорил, всхлипывая, старик, терзая рубаху на тощем теле.— Да как же он это не дался-то, господи?! Властям — не дался?

Кроме живых, там, в комнате, были мертвые. Серые армейские валенки, ноги и туловище до пояса выдвигались из дверей, и, хотя человека не видно было всего, Корнилов не сомневался: «Мертвый!»

Привалившись к стене спиной, будто для отдыха, с головой, откинутой на правое плечо, полусидел-полулежал другой.

«Тоже...»

Полковник Махов распластался на полу на животе,

будто бежал быстро и грохнулся ниц, но лицо было обращено прямо к окну. И лысая голова чиста, ни царапинки, ни пятнышка на лице и на черепе, ни одного отверстия, но лежал он в огромной луже, темной и все еще распространявшейся в стороны.

Той, слегка седоватой женщины, которая недавно, провожая полковника с собрания «бывших», шла под руку с Евгенией Владимировной, которая вместе с полковником вошла в этот дом, здесь не было!

И признаков ее присутствия в полковничьей комнатушке никаких, ни вещички, ни тряпички...

Значит?

Вовремя скрылась. Полковник не хотел скрываться, но она решила по-другому...

В крохотном городишке Ауле ничего не стоило узнать о ней что-нибудь, узнав, догадаться, уж не она ли была той деятельно нежной женщиной, тем идеалом, о котором так хорошо, так убедительно сумел рассказать Корнилову полковник, возвращаясь с собрания «бывших»?

Но зачем? Зачем что-нибудь разузнавать — это бестактно и даже небезопасно.

Зачем догадываться? Совсем ни к чему!

Со следующего дня Корнилов стал с исключительным вниманием не только читать, но изучать газету «Красный Аул», серые и желтые листы оберточной бумаги.

Листы были толстыми, неровными, буквы слабой типографской краски местами не отпечатывались, терялись, и надо было соображать при чтении, что «к к соо щ ют и ос вы» следует читать: «Как сообщают из Москвы».

Но нет, не было в «Красном Ауле» ни слова о событии, происшедшем в ночь со вторника на среду 16 февраля с. г. на улице 5-й Зайчанской.

Не было долгое время, а потом уже стало ясно, что и не будет...

Вообще-то говоря и вообще думая, Корнилов не любил газет во все времена, во время войн особенно.

И без них худо, и с ними неловко, неуютно, когда они хотят раздергать тебя на разные части, запутать, отучить от нормальной жизни и умственной деятельности... Это вообще.

А в частности, приходилось ему газетки почитывать — веревочники заставляли. Он в артели «Красный веревочник» числился «башкой», «сильно грамотным мужиком», и вот в связи с нэпом артельщики и приспособили его читать газетки вслух во время обеденных перерывов и даже иной раз после работы.

У Корнилова руки давно уже были такими же, как у всех красных веревочников: не то чтобы грубые, заскорузлые, а как бы даже и не телесные, покрытые черной, толщиною, наверное, с полсантиметра коркой — этакое неизвестное в дерматологии образование покрывало его пальцы и ладони, а там, внутри этого слоя, во множестве ютились мелкие и даже довольно крупные занозы из конопляной пеньки. Этими руками если и можно было погладить женщину, так единственно только Евгению Владимировну, только для ее милосердия такие руки были приемлемы, но не об этом речь, а о том, чтобы быть кругом похожим на свои руки.

Но не тут-то было: веревочники заметили, что голова у него совсем другая, не такая, как руки, совсем других свойств и качеств, и приспособили его читать газетки — сообщения из-за границы, материалы по нэпу, а иной раз «Из зала суда». Этого только ему и не хватало. Читая для других, он кое-что узнавал.

...Французские войска оккупировали Рурскую область, и через Кельн прошел первый воинский эшелон, за подписью Председателя ВЦИКа товарища М. И. Калинина вышло обращение «К народам всего мира»: «Народы Европы! Делу мира угрожает смертельная опасность. Судьбы мира в ваших руках!»

С другой стороны, Профинтернационал призывал трудящихся препятствовать всяким попыткам создавать аналогичные итальянскому фашизму организации.

Коммерческое агентство Госпароходства тем временем объявляло о продаже «крупной мезенской семги», но почему-то не указывало, сколько цена за пуд...

Российско-украинско-грузинская делегация, призванная на Лозаннскую конференцию по настоянию Турции, опубликовала декларацию: в силу существования советско-турецкого договора о дружбе и той помощи, которую Россия оказывала Турции, без участия России ближневосточный вопрос решить нельзя. Ке-

маль-паша заявил, что Турция решила бороться до конца, вместо того чтобы умереть в рабстве.

Московский оптовый магазин трикотажа, галантереи, кружевных и платочных товаров — предлагал свои услуги. «Для коллективов — скидка». Предлагал упорно из номера в номер.

Парижская конференция по военным репарациям установила, что Германия освобождается от платежей на четыре года, в течение следующих четырех лет обязана выплачивать союзникам два миллиарда марок в год, затем два года по два с половиной миллиарда, а через десять лет два с половиной — три с половиной миллиарда, в зависимости от решения третейского трибунала...

В Москве по случаю «комсомольского рождества» состоялось карнавальное производственное шествие — в костюмах, соответствующих профилю производства, прошли ребята из Главсахара, Главмолока, Главспички, Главсоли, Главтабака и т. д. На знамени Главтабака было: «Мария рождала Иисуса, а в 1923 г. (помимо своего желания) она родила... комсомольца!» В карнавале участвовал сам Иисус, Будда и т. п. боги...

В Румынии — нападение военных и студентов на еврейское население. Вдохновитель — кишиневский митрополит Гури. («Поди-кась, снова опечатка, не Гури, а Гурий!» — подумал Корнилов.)...

В Москве частное транспортное общество «Трансунион» подкупало крупнейших спецов в Наркомате путей сообщения, в результате ж. д. маршруты, предназначенные для перевозки масла, использовались под бакинскую нефть. Расстреляны: Кирпичников, Богдатьян и Гамаженко (амнистия в честь 5-й годовщины Октябрьской революции к ним была неприменима).

Управление московскими ипподромами предлагало госучреждениям и частным предпринимателям принять заказ на поставку в течение шести месяцев 40 000 пудов овса и 20 000 пудов сена...

И так без конца, без края всякие дела. Бесконечные дела. Почему люди-то умирают при такой бесконечности своих дел?

И для чего рождаются дети? Для «Транс-унионов»? Для сбора репараций с Германии: два с половиной — три с половиной миллиарда марок в год, в зависимости

от решения третейского трибунала? Для карнавалов? Для продажи-покупки кружевных и платочных товаров?

И что там дети! Корнилов-то для чего вьет свою веревочку? Он в действительности вил самые разные веревки, научился, бечевка и морской канат, все ему было с руки, но почему-то ему казалось, особенно во сне, будто вьет он одну-единственную, из конца в конец света веревочку... Представлялось ему, что и совсем немного оставалось — еще день повить, и вот он, другой конец света...

Как ни удивительно, он и в самом себе обнаруживал ко всем этим делам и событиям полную готовность.

Иначе говоря, он обнаруживал в самом себе ту самую современность, о которой еще совсем недавно и слышать не хотел!

И хотя он и не нашел того, что искал — какого-нибудь словечка о происшествии, учиненном полковником Маховым,— однако, что греха таить, были сообщения в газетке, которые его, русского человека, красного веревочника, радовали:

в Харькове открывается Украинская крещенская ярмарка, объявление — во! на половину газетной полосы;

из Петрограда выехала первая партия рабочих для строительства линии электропередачи Волхов — Петроград, турбины заказаны в Швеции;

в Петроград же поступили первые маршруты экспортного хлеба для Швеции, три миллиона пудов;

курс советского золотого рубля составляет 17,40 в бумажных дензнаках, 2 французских франка, 1,12 итальянской лиры, 0,75 чехословацкой кроны, а немецкая марка, та стоит по отношению к рублю три десятых копейки!..

Значит?! Смотри-ка ты, государство образовалось! РСФСР! Россия! Года четыре, какое там, года два тому назад, черт знает, казалось Корнилову, что было, но только не государство. А нынче? Нынче что-то такое, что-то этакое, настоящее... При настоящем даже «бывшему» состоять приятнее. Вот уже состоять ни при чем, неизвестно при чем, вот это невыносимо.

Оскорбительно!

И наконец, что откликнулось ему, Корнилову, с одной из корявых страниц «Красного Аула», что было

им прочтено с подлинным интересом, так это письмо следующего содержания:

«Уважаемый товарищ Редактор!

Прошу опубликовать мое заявление о нижеследующем.

Начиная с 1905 года, я состоял и принимал самое активное участие в деятельности РСДРП (эсдеки) как в России, так и в заграничных ее секциях сначала как рядовой ее член, позже в руководстве этих секций и в руководстве II Интернационалом.

В настоящее время весь ход внутренних и международных событий окончательно убедил меня в том, что единственно правильной политической платформой является платформа партии большевиков, которая последовательно развивает и укрепляет первую в мировой истории диктатуру пролетариата.

В силу этого я порываю с РСДРП (эсдеки), то есть выхожу из ее рядов.

Г. С. Казанцев».

А еще спустя некоторое время — когда ночь со вторника на среду 16 февраля уже как бы и потускнела и в памяти, и в воображении — Корнилов узнал, что Г. С. Казанцеву на Аульский вокзал был подан вагон, в вагон погружено все его имущество, небольшая библиотека и два токарных станка, по дереву и по металлу, и Казанцев Г. С. с семьей уехал на Украину.

Он был назначен директором крупного предприятия в Екатеринославе.

Итак?

Итак, в феврале и в начале марта два человека разыграли свои судьбы на глазах у Корнилова — один покончил с жизнью, другой начал жить заново.

Заново в красивом городе Екатеринославе, в бывшей какой-нибудь буржуазной квартире, в очень скромном, само собою разумеется, рабочем кабинетике, в котором спокойно и умно Георгий Сергеевич станет решать сложные вопросы восстановления и развития огромного промышленного предприятия. Нынче этакие предприятия принято называть комбинатами.

Ну, а вечерами, может быть, ночами даже великий умелец будет точить у себя на дому необыкновенные какие-нибудь детали, иногда по дереву будет работать, но чаще, конечно, по металлу... Ладно, если соседи не станут возражать, не потревожит их станочный гул. Здесь-то, в Ауле, Казанцев Г. С. соседей не тревожил — хоть и маленький, но отдельный был у него домик на углу улицы Интернациональной и переулка Острожного.

А где-то между этими двумя судьбами находилась еще и третья судьба — его собственная, корниловская, которой до сих пор не было дано никакого решения, а был дан один только великий соблазн продолжения жизни, неизвестной и ни в чем не решенной.

Сама по себе жизнь как таковая, кажется, уже порядочное время была отчуждена от Корнилова, но тем сильнее становился соблазн ее продолжения.

Он отчетливо понимал и собою чувствовал все, что произошло и с полковником Маховым, и с непревзойденным умельцем Георгием Сергеевичем Казанцевым, но себя самого не понимал и не чувствовал, и вот ему казалось временами, что самого его уже нет, но его жизнь все еще есть, бродит среди деревянных улочек города Аула, существует в памяти каких-то людей... Которыми он когда-то командовал, которым подчинялся, которые были ему родственниками, которые... Бывало и совсем иначе, когда казалось, будто он сам существует, а жизни у него нет и нет. Да и была ли когда-нибудь?.. Разве только в детстве? Когда он сам для себя был богом, Колумбом, Лютером? Завидная была в то время дружба у этого человека с его жизнью!

Или у людей-умельцев, таких, как Казанцев Г. С., всегда так? Не только в детстве, а всегда? Такая же дружба!

Завидная, но уж очень чужая, а чужая потому, что недоступна для Корнилова, утопия какая-то для него.

Завидная, но вот беда — не нынешняя, из других каких-то времен — прошлых, забытых или, может быть, из бесконечно отдаленного будущего, это неизвестно...

Одним словом, жизнь не из мира сего.

Мир же сей являлся Корнилову такой необъятностью, таким разнообразием, такою сложностью, что терял даже свою предметность, становился смутным каким-то представлением.

Которым он, однако ж, дорожил.

Да, и вот еще что произошло в те же дни: Корнилов был снят с учета в ЧК! И не являлся больше по пятницам для отметки в зашнурованном журнале — свободным и неучетным стал он гражданином...

III. ГОД 1925-й. ЛЕТО

По своей сначала незаметной привычке, а потом уже и по умению и даже по напряженному желанию думать за других Корнилов легко мог представить себе «бывших» в нынешнем их существовании. Особенно в размышлениях о самих себе. Тем более что он ведь к «бывшим» принадлежал. Безоговорочно или с оговорками, но никуда от этой принадлежности не уйдешь, не расстанешься с нею...

Так вот, век, что ли, такой, но только люди кругом, кажется, по всей земле становились массами: пролетарская масса прежде всего, а далее крестьянская масса, беспартийная масса, мелкобуржуазная масса, интеллигенция «в своей собственной массе».

Зачем бы это? К чему бы?— размышляли «бывшие».

Но так или иначе «бывших» тоже не миновало, и вот они приобретали облик массовости, теряя характеры, биографии, специальности, навыки какого-либо дела или безделья.

Правда, наметанный глаз Корнилова легко мог отличить «бывшего» среди любого стечения народа, однако он же легко примечал, как быстро «бывшесть» размывается, как исчезает в ней существенное и главное, а продолжает играть только деталь какая-нибудь маломальская — то ли та манера, с которой человек говорит «здравствуйте!», то ли движение правой руки, готовой сбросить прочь головной убор в тот миг, как Богородская или еще какая-то церковь городка Аула вдруг возвестит о себе гулом колоколов... Будто бы готова к этому торжественно непроизвольному акту рука «бывшего», но, чтобы окончательно и бесповоротно его исполнить, это теперь уже редко-редко.

Да, не тот нынче пошел «бывший»— вырождение! Совсем-совсем не тот, который водился по Сибири, припомнить, так еще в 1921 году. И даже в 1922-м!

Хотя, с другой стороны, не столько внешней, сколько скрытно-биологической, «бывшесть»— это ведь на всю жизнь! И на всю смерть!

Подумать только, Леночка Феодосьева — двадцать три годика, а «бывшая»! И не понарошке.

В шестнадцать Леночка получила огромное состояние и тут же, каким-то образом минуя назначенный ей опекунский совет, сумела пустить на ветер чуть ли не до последней копейки свои миллионы — оперетка и цирк были ее страстью. Вот туда, к циркачам и бравым тенорам, и уплыло! А дальше уже и общая судьбина — голодовка, эвакуация... Теперь Леночка аккуратненько отмечается в очереди на бирже труда — «чернорабочая».

Между прочим, самое обнадеживающее дело, и у Леночки во много раз больше шансов получить работу и даже пройти в члены профсоюза, чем, скажем, у бывшего главного юрисконсульта бывшей дирекции Русских юго-западных железных дорог, профессора Смелякова Мстислава Никодимовича.

К тому же у Леночки глазки, а что у Мстислава Никодимовича? Ничего нет, как не бывало!

Да что там Смеляков, что там Леночка, когда Евгения Ковалевская и та становится массой?

Казалось бы, куда, в какую такую сторону воплощение человеческого милосердия может измениться? Эту святость, эту отрешенность от самой себя разве можно потерять? Тем более что можно приобрести?

Милосердие есть милосердие во все времена и при всех режимах, и вот как была Евгения фронтовой сестрой с сентября 1914 года, так и в 1925 году выхаживает сыпнотифозных и дизентерийных в больнице Аульского городского отдела народного здравоохранения. Как тогда смертельно раненные солдатики, отходя у нее на руках, благословляли: «Дай тебе бог здоровья, сестричка...» — так и теперь говорят то же самое.

Все изменилось, тысячи лет перевернуты вниз головой, века пошли прахом, а это нет, эти предсмертные слова русского человека неизменны...

И когда милосердная сестрица из года в год это слово принимает, значит, она себе уже не принадлежит, своего у нее нет, все свое материальное, духовное и любое другое отдано так далеко вперед, что и не видать, по какую пору... До такой степени высока святость, что человека, тем более женщину, различить нельзя — один только лик. Ну, и еще рабочие, изможденные, в прожилинах руки.

А потом что же оказалось?

У милосердной-то сестры, у Евгении, был припрятан, оказывается, собственный, никому не отданный крохотный такой кусочек сердца, а может быть, кровинка одна, и одной-то ею она и полюбила... Сначала, разумеется, полюбила ради спасения, то есть все из того же милосердия, безлико, бессловесно и бесполо, ну, а потом... Лиха беда — начало, после вся кровь ее взбурлила, и ни сыпнотифозные, ни дизентерийные этому бунту уже не могли стать помехой. Конечно, сыпнотифозники существуют, и умирают, и отходят в мир иной тоже по-прежнему, но помехой для ее любви быть уже не в силах.

По такому образцу Евгения Ковалевская тоже приобщилась к массе «бывших» и на хлебную свою пайку выменивала пудру, помаду, кофточку выменяла, помнится, маркизетовую, с черной горошинкой, но слишком для ее форм прозрачную, стала читать газеты и к прочему — массовому! — таким образом приобщаться.

Сама-то она как бы со слепых глаз, что ли, это приобщение к обыкновенности почитала за нечто невероятное и страшно его стеснялась.

И полагала, что нещадно обманывает тех самых меняльщиц пудры, помады и маркизетовой кофточки на хлебную пайку, потому что, во-первых, ей пробиться без куска проще, она к голоду привычная, а те, может быть, нет, а во-вторых, тем, наверное, пудра все-таки была куда нужнее. Они, наверное, красивее ее. Им пудра впрок, они умеют быть красивыми, а она?

Что верно, то верно,— а она?!

Но что же это, право, разве о Евгении Ковалевской так желал нынче поразмыслить Корнилов?

Вовсе нет, о «бывших» вообще и в целом — вот о ком! Вот о чем!

Ну, конечно, быть и жить «бывшим» — это испытание, не все могли его перенести, и кто бежал куда-нибудь к черту на рога, заметая следы своей «бывшести», кто вешался, кто травился, кто женился на старых вдовах и уходил в избушки, в Зайчанскую часть города, пасти по травке вдовьих коровок и овечек, кто — хотя это и потруднее было, кругом же бдительность! — все равно изловчался выскочить замуж за новоявленного совслужащего, совсем хорошо, если за кооператора.

Жители настоящего, текущего времени слабо представляют, что такое человеческая «бывшесть», а напрасно: многих-многих не минует чаша сия...

Но тот, кто действительно стал «бывшим», был им и будущее свое тоже представлял не иначе, как в «бывшести», тот умел не мечтать и явно, и даже тайно гордился своим умением — это было бесспорным признаком достоинства и принадлежности к клану, было аристократизмом «бывшести».

Вот так... Мечта — это разочарование, разочарование — это психика, психика — это жизнь, жизнь — это существование...

Хочешь достигнуть конечной цели, то есть существования,— живи,— хочешь жить — охраняй свою психику, хочешь охранить психику — не мечтай, не надейся на счастливые обстоятельства и перемены. Просто, понятно, ясно.

Подлинный, без подделки «бывший» вообще существовал в ясности понятий. Он знал, что хорошо, а что плохо, и даже более того — что на свете так, а что не так.

Однако и хорошо и плохо, и так и не так он вовсе не связывал со своей судьбой, с собственной персоной.

Конечно, он ждал какого-нибудь интересного момента — вот объявится богатый родственник в Париже или император всея Руси в Дубровниках, русское Учредительное собрание в Варшаве или в Риге, а в Москве — свобода слова в рамках диктатуры пролетариата или без нее. Все может быть на этом свете, но верить не верь — упаси бог!— ни родственнику, ни монарху, ни свободе слова: обманут! Очаруют, после расхлебывай, удивляйся собственной наивности!

И, что совершенно очевидно: «бывший», если он не пользуется ни малейшим кредитом от новой власти, он, значит, и не должен иметь ни малейшего отношения к политике.

Очень просто: если такой «бывший» все еще существует нынче, то есть в году 1925 от рождества Христова, так он обязан этим самому себе, своей прозорливости,— значит, он вовремя улепетнул из какой-нибудь армии, из какой-нибудь партии, из какого-нибудь правительства, из какого-нибудь заговора, из какого-нибудь союза — фронтовиков или земцев, из како-

го-нибудь общества — акционерного или любителей древнерусской словесности, одним словом, из какой-нибудь политики или чего-то более или менее близкого к ней. Из какой-нибудь организации, ведь это же ныне почти что синонимы: политика — организация?!

А потому это слово — ор-га-ни-за-ци-я! — «бывшему» то же самое, что «кар-раул! Грабят!», и, услышав его, он испытывает такое смятение души, такое раскаяние, которое даже высшее филологическое образование не поможет выразить культурной речью.

И вообще что такое и в чем состоит организация людей, если в одном-единственном человеке ее не может быть? Если голова у человека — это, к примеру, одно, а брюхо — совсем другое?! Ведь сколько распрекрасных мыслей перебывало в разные времена в голове каждого «бывшего», а брюхо-то у него какое? Пустое оно у него...

Ну конечно, не в абсолютном смысле пустое: годы 1919—1921 как-никак, а пережиты и мясо на базаре нынче 13 коп. за фунт, серый хлеб 2 коп., ситный, если соблазнишься, 3 коп., так что при какой-нибудь хотя бы малой работешке делопроизводителя с жалованьем от Советской власти 25, а то и все 30 рублей в месяц (безработные — особь статья!) само по себе брюхо уже не должно иметь серьезных претензий к миру.

Но если трактовать понятие шире, не ограничиваясь пищеварительным процессом?.. Костюмчик-то на барахолке менее чем за 15 рубликов не возьмешь? А в магазине 30—35! За угол в избушке в Зайчанской или Нагорной части города два рублика в месяц! Со своими дровами!

Ох, как научился «бывший» считать копейку, какой он лишь недавно, иной раз уже и на старости лет, узнал ей цену!

А все равно не о копейке речь. О философии.

Это новички в жизни связывают одно с другим, дескать, хорошая идея должна принести человеку тоже хороший кусок хлеба. Ерунда! Глупость! Всем утопиям утопия! Да когда это миру не хватало хороших идей? Всегда с избытком! А когда мир существовал без голода, без холода, без «бывших»?

Вот и катаклизмы тоже потрясают человечество, кому-кому, а «бывшим» это преотлично известно.

Но?

К чему потрясают-то? К чему приближают род человеческий? К обновлению или к пороку сердца? К вырождению и к склерозу? К «бывшести»?

Подождать нужно с ответом. Лет сто.

А прежде того «бывший» и говорить-то на эту тему не считает нужным: пустое времяпрепровождение, разврат мысли!

Истинная мудрость состоит в том, чтобы мысль знала свое место, не совалась бы куда не следует, не брала бы на себя невыполнимых обязательств перед жизнью, чтобы понимала: ей нельзя быть чрезмерно высокой, потому что самые возвышенные понятия слишком часто используют самые низкие представители рода человеческого; чтобы уважала хлеб: хлеб, кроме всего прочего, сам себе мудрец и потому сам себе умеет поставить предел, им объясняться нельзя, мыслью же можно запросто, и вот чревоугодники мысли жрут ее, жрут, жрут — и не икают! А если деликатес пополам с протухшим, не заметят! Заметят, обрадуются: «Ай да мы, все переварили!»

Вот и нынче, в конкретной исторической обстановке, когда явилась «новая экономическая», пусть в нее, пусть в нэпманы идут бывшие официанты, циркачи, колбасники, сапожники, приказчики, в крайнем случае бухгалтеры, но истинные «бывшие» ни ногой!

Истинные подождут. Снова лет сто. Через сто лет внуки и правнуки, если бог приведет им существовать, разберутся, что к чему...

Истинные нэпа и нэпманов, скромно говоря, опасаются. Говоря откровенно, боятся.

«Бывшие» ни в какой политике новыми никогда больше не будут — потенции нет, иссякла, а что могут сделать со своими недавними хозяевами новоявленные нэпманы-приказчики?

Что сделали большевики, это всем известно, но ведь сделано уже, уже дело прошлое, а тут какая еще неизвестность ждет тебя снова, ждет так, как будто никто и ничего до сих пор с тобою не делал, ни одного волоска с твоей поседевшей головы не уронил? Большевики-то — победители! Они существуют! Они сила! Так пусть тогда эта сила побеждает до конца, пусть побеждает и капиталистов, и приказчиков, не надо еще одной чьей-нибудь победы, это совсем уже кощунство, не надо еще чьего-нибудь превосходства, дайте «бывшему» его паек хлебом, сахарком и какой-нибудь крупой, а еще дайте

ему обещание, что никаких новых политик к нему применяться больше во веки веков не будет!

Вот какая у «бывших» философия и практика, жизнь и школа жизни, и не только все это, но и гордость всем этим.

«Мы, бывшие, мы, прошлые,— истинная соль земли!» — вот как они о себе предполагают! Ну, что вы там можете знать — настоящие? Вот у животного нет представления о прошлом, об ушедших поколениях, и нет у него ничего — ни культуры, ни искусства, ни юриспруденции, ни архитектуры, ни медицины... Не хотите ли вы, настоящие, стать животными? Понимаете ли вы, что существо жизни — ее прошлое, что если у человека есть что-нибудь за душой, так опять-таки только прошлое? Что слово «было» — самое могущественное и всечеловеческое слово, потому что слово «есть» еще ни о чем не говорит, оно еще нечто, а вовсе не что-нибудь. Был Чайковский — это бесспорно, а есть ли сегодня Чайковский?! Был Гёте — есть ли Гёте? Без знака вопросительного «есть» не существует. А если существует дом, в котором ты живешь, так только потому, что еще раньше были другие дома, а этот только подобие тех, бывших. И все мы, и все созданное нами, все-все — только подобие бывших предметов. И лучшее ли подобие-то? (Снова знак вопроса!) И когда писатель пишет о настоящем, о современном, о сиюминутном, он пишет только потому, что событие уже минуло, уже прошло, что оно уже бывшее тому назад хотя бы один час.

Итак, «было» — это слово человечества, а «есть» и особенно «будет» — не более чем измышления неизвестно чем известных, но образованных людей и людишек! И вполне может быть, что и весь-то мир бывший, что он бывший уже давно-давно, но не знает этого, не понял. Только «бывшие» и поняли, а потому они гораздо ближе к будущему, чем все вместе взятые «настоящие».

Такую цену знали себе «бывшие».

Такую цену знал себе нынче и Корнилов.

В точности так же или несколько иначе думает Леночка Феодосьева? Этого он, правда, не знал.

Что там творится в беленькой, в миленькой, с кудряшками головке? Какие происходят сочетания?

Готовность чуть ли не с восторгом делать любую черную работу там была. Легкомыслие было. Чуточку авантюризма было.

И даже меценатство до сих пор не изжито: Леночка подает нищим, хотя сама нищая. «А если человек просит?! Я же вот — не прошу?!»

При всем этом главным там все-таки было ощущение причастности к миру уже прожитому, минувшему, бывшему... К мудрости и настроению, которые даются лишь тем, кто однажды потерял все и навсегда: «А если человек просит? Ведь я же еще не прошу, а он уже просит?!»

Забавно... Несколько странно и не очень-то обычно даже в среде «бывших». И не очень нужно во все это Корнилову вникать: молодо, зелено, неустойчиво. Сегодня так, а завтра может быть и по-другому? Сегодня так, а завтра возьмет в Леночке верх та «настоящинка», которой попросту не может не быть в молодом теле?

Опять-таки совсем иное дело Мстислав Никодимович Смеляков, профессор железнодорожного права, этот в ясности, без знаков вопроса, без никаких странных и нестранных сочетаний. Одна только «бывшесть» — ничего больше. Ни капли ничего другого! Изредка ее слышно в словах, его «бывшесть», и неизменно видно по глазам. По тому, что от бывших глаз у него сохранилось. Ему совершенно безразлично, что он бывший профессор Киевского политехнического, что он бывший главный юрисконсульт дирекции Русских юго-западных железных дорог, ему важно другое — что он «бывшесть» олицетворяет в отвлеченности и в собственном ее аристократизме. Нет, он не думает, будто он соль земли, он сама земля и ее ближайшая история! Ему, как никому другому, известно, что все умрет.

И земля умрет. И люди, само собой разумеется. Все и вся станет когда-нибудь бывшим, а он это все и вся опередил, он «бывший» уже сегодня, сейчас, каждую секунду! Ради этого опережения всего на свете он и живет нынче.

Суще-ствует!

Существуя, раздражается заграничной эмиграцией, до того раздражается, что иной раз дело доходит до эмоций, даже до психики!

Чего они затеяли-то в парижах?! Говорят о нравственности, о духовных ценностях России, а сами ударились в организации — в партии, в газеты, в платформы, в склоки и свары, а пуще всего в следствия по делу, которое они называют «концом России»!

Какой конец?

Никакого конца здесь, в России, никто не предвидит — ни старый, ни малый; ни победитель, ни побежденный; ни правый, ни виноватый. Каждый собирается жить, получше устроиться, так что Россия еще столько наделает дел — ой-ой-ой! И только истинный «бывший», причем не заграничный, а свой, из беженцев, а иной раз и доморощенный, только он и понимает трагедию: никто в мире о конце мира не думает! А между тем мир если и можно спасти, так только содрогнувшись его погибелью.

Вот что истинно нужно было нести на Запад — русскую философию! Бердяева, Булгакова, Струве — вот это дело, это уже — обязанность, а то решили, чем француза удивить, найти к нему, коммунару, подход — газетами и политикой?! Орга-ни-зацией?!

Ну, ладно, заграничные «бывшие» не устояли — явились на Запад, по западному же образцу и стали жить, поддались пагубному влиянию французов и француженок, трудно было не поддаться, их можно понять, отчасти даже простить. А здешние? Здешние-то, не умевшие удрать помещики мечтают о своих поместьях, фабриканты — о фабриках, адвокаты — о процессах по восстановлению в правах собственности! С ума сошли! А еще туда же, бьют себя в грудь: «Мы бывшие!» Да они хуже настоящих, хотя это и трудно себе представить, но все равно хуже!

Итак, Мстислав Никодимович Смеляков — это «бывшесть» в ее чистоте, в ее принципах.

А Ковалевская Евгения Владимировна?!

А Евгения? Снова и снова она?

Тут у Корнилова ни умелости, ни природного таланта к рассуждениям как не бывало — полная растерянность.

Когда-то, кажется ему, что очень-очень давно, а в действительности совсем недавно, этой растерянности не было и следа и все-то было ему и ясно, и мило, и любимо в женщине, но теперь он уже никак не может понять и принять за естественность невероятное, немыслимое сочетание святого милосердия со страстью запоздалой и такой обыкновенной любви.

Сочетания любовной страсти с угрызениями совести по поводу обмена хлебной пайки на пудру и помаду — разве это понятно?

Сочетания этих угрызений совести с решительностью ее поступков!

И наконец, сочетание всего этого, жаждущего жить, с ее неоспоримой бывшестью, с пониманием себя как человека, давным-давно прошедшего собственную жизнь, с ощущением именно той значительности своего существования среди людей, которую исповедует сам Мстислав Никодимович Смеляков: людям и всему миру еще только предстоит стать бывшими, а «бывшие» уже через это прошли! Прошли и потому они ближе к небу и к земле и больше, чем кто-либо, причастны к невысказанной истине существования мира. Которая обязательно должна быть рядом с человеком неизменно, в действительности же неведомо как далеко от него.

Вот так... Вот в каком состоянии, в каких до крайности противоречивых понятиях пребывала нынче и Евгения Владимировна Ковалевская. Она же Женя... Разве можно было ее понять? Никогда!

Правда, Женя не выражает свои собственные понятия в словах, то есть не навязывает их никому, она даже и так не скажет, как говорит Леночка Феодосьева: «А если человек просит?!» — хотя подобные выражения наверняка были бы ей кстати, помогли бы ей.

Не создает она и безмолвную формулу «бывшести», как создает ее, скажем, Мстислав Никодимович Смеляков.

Она — существо отнюдь не отвлеченного ума, нет, тем более в отношении к самой себе. Даже милосердие не известно и совершенно чуждо ей как идея, хотя бы потому, что она не знает слов о нем.

Поступок — вот ее единственная идея и единственная жизнь.

Ради каждого из тех, кого она выхаживала в полевых лазаретах, в тифозных бараках, в лагерях военнопленных, она, не задумываясь, пожертвовала бы собственной жизнью (долг!), но никогда не замечала в этом каких-либо признаков идеи. Поступок — это было для нее все и вся. Все другое не нужно, ничтожно и как бы даже оскорбительно.

Бог ты мой, с какой женщиной связала Корнилова любовь — жутковато! Со временем обязательно станет и того более непосильно! Так он чувствовал.

А связала-то она безошибочно, та единственная нить, которая была: не щадя ни себя, ни своей жизни,

она Корнилова спасла. Спасла, а потом уже и полюбила.

Ну, конечно, любят всегда через что-нибудь: через слово или через безмолвие, через гремучую страсть или через сдержанную и тонкую лирику, через подчинение себе или через подчинение себя, через плоть или через дух, через сознание или через бессознательность, через сходства с собою или через различия и так далее, и так далее, а Евгения могла полюбить только через спасение любимого, только через праведность!

Она спасла множество мужчин, но с такими жертвами и перипетиями судьбы, с такими потрясениями и унижениями — только его одного. И только его одного могла она вот так полюбить.

Тот, другой Корнилов, за которого этот себя выдавал, скрываясь под его именем и отчеством, за которого он теперь жил и хотел жить и жить, тот Евгенией в действительности любим никогда не был по одному тому, что она его никогда не спасала.

И нынешний Корнилов это угадывал.

Нынешний понимал, что там был обман. Сознательный. Была ставка на милосердность, на доброту к страждущему.

В угадывании этим, живым Корниловым, того, умершего жестокого и циничного однофамильца, и проходили день за днем, месяц за месяцем, а теперь уже и год за годом, и сначала тайные догадки принижали и увечили его чувство к Евгении. Потом он понял, что от его собственной любви не осталось ничего, кроме нелюбви к тому, другому, несуществующему. Которого он постепенно разгадывал с ее же слов и рассказов, через выражения ее лица и голоса, но который и его самого тоже безмолвно и внимательно день за днем подвергал рассмотрению и сравнивал с самим собою.

И вот теперь хоть шаром покати... Шар покатился в любую сторону в безлюбовной, бесчувственной пустоте.

Покатился уже.

А ведь еще совсем недавно Корнилов даже не подозревал, что можно целый день не разговаривать с Евгенией. И тоже целый день можно не видеть ее. И на какой-нибудь ее вопрос можно ответить молчанием. И вообще можно ее не любить.

Все эти «можно» были для него вначале совершенно

невероятными открытиями, которые его несказанно удивляли, огорчали, тревожили.

А потом он к ним привык, ему становилось скучно и как-то бесцельно без них, без этих открытий.

Потом этот, живой Корнилов не захотел быть похожим на того, умершего.

Тоже еще не так давно это сходство его не только не угнетало, а доставляло совершенно определенное спокойствие и удовлетворение: был один — плохой — Корнилов, его унаследовал другой — хороший — Корнилов; так назначено природой. Но потом эта природа стала невмоготу и в большом и в самом малом...

И в отличие от того, который, судя по всему, был небрежным и неопрятным, этот Корнилов старался быть воплощением опрятности: не дай бог, пуговица отсутствует на сорочке, или ботинки грязные, или парусиновый, как у всех совслужащих, портфельчик оказался с масляным пятнышком на боку, не дай бог!

А ведь иногда он все еще пронзительно видел самое тайное в Евгении — душу ее отчетливо видел, краску, оттенок, штрих ее настроения и состояния...

И в то же время уже не мог представить ее хотя бы внешне. Ему ведь так легко запоминалась почти любая человеческая внешность: встречный идет, а ему видна его походка, как усмехнется он, совершенно неизвестный человек, или улыбнется, тем более как скажет «здравствуйте!»,— все это Корниловым надолго записано в памяти, особенно если дело касается «бывшего».

А может ли он нынче представить себе «здравствуйте!», произнесенное Евгенией Владимировной Ковалевской?

Да ни за что! Представит — и обязательно ошибется, почти наврет.

Она была русской, старинной семьи, но инородчески смуглая, была женщиной, отрешенной от самой себя, но сохраняла отчетливый женский облик, была бесстрашной фронтовой сестрой милосердия, но чуть что вздыхала: «Ой! Не иначе, умру нынче!»; чего только она не наслушалась за свою жизнь, каких только не узнала слов, но сама ко всем без единого исключения людям обращалась на «вы» (и к Корнилову тоже на «вы»!!!), была женщиной в возрасте, все на свете повидавшей, побывавшей в самых разных и невероятных переделках, а оказалась невинной девушкой,— все это и многое

другое знал о ней Корнилов и даже многое в ней продолжал понимать, а все равно надеялся на время: время привело его к ней, время и... уведет!

Пора...

И благодарность, и признательность, и преклонение оставались, а любви не было, только все та же надежда на время... (На самого себя Корнилов не надеялся.)

Более того, и благодарность-то самую искреннюю он стал испытывать уже не к Евгении, а к жизни. «Это не Евгения меня спасала невероятной ценою, а сама жизнь захотела продлить себя в том человеке, который — я!» — вот как с некоторых пор стало пониматься им все, что когда-то произошло, что до сих пор происходило... Он даже смущался перед жизнью: а не обидел ли он ее своими слишком поздними признаниями и благодарностью в то время, когда всю свою благодарность относил только к Евгении Владимировне?

Утро сияло уже не раннее, была половина седьмого.

Солнце приступало к своей жаркой работе, разведывая сегодняшнюю землю — ближайшую березовую рощу, дальние заречные луга.

И синие купола немудрящей деревянной церквушки, примостившейся на пологом холме с редким кустарником по склону, солнце тоже не миновало, и купола растворялись в неустойчивых еще лучах, а то вдруг обозначались четко, будто высеченные из камня.

Потоку солнечного света до сих пор препятствовали облака, по одному, по два они плавали в восточных небесах, но тени их на земле становились все прозрачнее, и вот уже и дальний луг, и церковные купола заблестели ярко своими настоящими цветами — зеленым и голубым, почти синим.

Березовую же рощу еще какие-то минуты не покидала ночная дремота, роща дышала своей мглистой, прохладной глубиной, в которой будто бы совсем не было деревьев, одна только пустота, но не совершенная пустота, а с укрывшимся в ней остатком ночи.

Но и это было недолго, и роща тоже оказалась пронизанной солнцем и засияла. Каждый ее листок мог теперь изобразить живописец, и картина могла бы называться «Летний день».

Таких березовых листочков-картин в роще были

миллионы, и какую все они могли бы представить художественную галерею, какой вернисаж, какое все, вместе взятые, могли бы составить название, Корнилов не угадывал...

Будучи здесь лицом не посторонним, а со всею очевидностью причастным к нынешнему утру, к только что наступившему дню, он организмом чувствовал солнечные лучи и ту энергию, с которой они проникали к каждому предмету нынешнего мира — к листику березовой рощи, к луговому стебельку и к человеку, который медленно двигался в телеге, загруженной буровым инструментом.

Железо труб, блоков и цепей быстро нагревалось, припахивало ржавчиной, и, когда телега останавливалась и смолкал колесный скрип, становился слышным скрип железа: под воздействием тепла его молекулы тоже проявляли себя, свое присутствие в мире... По мере своих сил и своей свободы они тоже участвовали в существовании, которое совершалось под нынешним солнцем, в той системе мироздания, которая так хорошо, с таким легким сердцем обозревалась нынче Корниловым.

Это ведь была здешняя система, не отвлеченная, а предметная, не бывшая когда-то, а истинно настоящая и, дай-то бог, будущая!

Ах, как хотелось верить, как верилось Корнилову, что будущая!

Уже после того, когда все было кончено, уже после того, когда он полностью признавал и ощущал себя бывшим, сколько раз его снова воскрешало настоящее? Нет, мир, должно быть, все еще окончательно не устал от Корнилова!

Кроме того, он, Корнилов, был по природе своей экспериментатором, а для природы существом подопытным, и вот она испытывала на нем войну, и он жил на войне, признаться, неплохо жил, если уж остался жив, а потом на нем же была испытана революция, военный коммунизм, лагеря для офицеров контрреволюционных армий, потом он стал «бывшим», а потом настал нэп и он без особых затруднений, по воле случая стал нэпманом.

Счастливый или несчастный это был случай?

В конце-то концов, все это одно слово — Россия, вот он и ориентировался в этом слове и постигал его бесконечный смысл!

И собственными руками прилежно учился добывать свои, русские, первой четверти XX века жизни, не один раз будучи озадачен: это сколько же сил, ума, зубов, смелости и находчивости надо было иметь человеку, чтобы все эти жизни добыть?

Фантазия! Русская фантазия, да и только!

И сомнения тоже были: неужели зря жизнь добывал-то? Напрасно он в поте лица старался? Потому что ни одну из своих жизней, ни в одном своем качестве он как следует, как сам того хотел, желал и обещал прожить,— не прожил. Не впрок они ему оказались — все подряд. Не в коня овес: начинает мелочиться, начинает из кожи лезть, чтобы кров над головой и все прочее устройство было у него ничуть не хуже, а может быть, даже и получше, чем у других людей!

А разве можно?

Другие-то живут от природы, а не от самих себя, есть жизнь — они живут, нет — умирают, не то что он, Корнилов, которому жизнь дай, а когда она вся вышла, еще и еще, и еще раз дай ее же.

Другие «бывшие» — как бывшие, а он?

Недоразумение?!

Глубоко уважая Мстислава Никодимовича Смелякова, послушаться его не хочет.

От души сочувствуя Леночке Феодосьевой, разделить с ней ее судьбу — не хочет!

Нынче ночью в бессоннице на постое в деревне Семенихе, в избе с тараканами и с полудикой ревущей и рыкающей кошкой, на какие только косточки не раскладывал Корнилов свою жизнь и самого себя! Как только не издевался над нею и над собой, потому что жизнь у него всегда была не та, не та и не та!

Но вот она, уютная, животворная температура нынешнего утра, плюс 15—18 градусов по Цельсию, и это уже безусловно та солнечная система, окружающая его со всех сторон, проникающая внутрь него, безусловно та единственная, которая должна быть и которая действительно есть. И он включается не во что-то отвлеченное, сомнительное или призрачное, а в бе-зу-слов-ное.

И как лихо, как естественно включается! С таким чувством, будто бы даже не столько ему, сколько всему окружающему это включение нужно и совершенно необходимо!

Как легко и просто перемежаются в нем драматические мысли о недавнем прошлом, о Евгении Влади-

мировне, о Мстиславе Никодимовиче, о «бывшести» с нынешним его небесно-голубым настоящим!

Свесив ноги с телеги, он перелистывает тетрадь в грязно-коричневых корочках некачественного картона — буровой журнал.

Журнал совершенно чист, в нем не заполнена ни одна графа, а их здесь множество, и как, в какой последовательности, какими цифрами и чего ради они уже сегодня начнут заполняться, Корнилов не имеет ни малейшего понятия.

Журнал называется буровым, а еще месяц тому назад Корнилов не догадывался о том, что на свете существует человеческое занятие, называемое буровым делом.

Конечно, название уже говорит само за себя, конечно, он, в общем-то, давно знал, что людям иногда бывает необходимо бурить землю, в городе Баку, например, с целью добычи нефти, конечно, он мог предполагать, что бурение производится с помощью каких-нибудь железных приспособлений, но никак не более того. Других понятий о буровом деле у него быть не могло — так оно было ему чуждо, так от него отдалено, так для него ни к чему... Но что — опять-таки — за судьба у Корнилова Петра Васильевича, теперь Корнилова Петра Николаевича, что у него за жизнь, что за театральное представление, какой такой новый фарс, если в буровом журнале на первой его и заглавной странице вверху типографским способом и крупно обозначено: «Буровая контора. П. Н. Корнилов и К^0»?!

А во второй и третьих строках петитом: «Ручное и машинное бурение на воду и под фундаменты инженерных сооружений. Качество работ гарантируется».

А в строке четвертой нонпарелью: «г. Аул, ул. Пушкинская, 17, телефон 2—18».

И вот так — в буровом деле!— начиналась нынче очередная жизнь. Как снег на голову, доставшаяся ему от Корнилова П. Н.

Тот, несуществующий Корнилов все еще настойчиво продолжал руководить и определять жизнь этого, существующего.

И, ненавидя это руководство, нынешний Корнилов все равно хотел исполнить неведомое ему буровое дело и какую-то совершенно неизвестную для него жизнь.

И вот уже Корнилов чувствует нынче желание рас-

пропагандировать в самом себе такую революцию, которая преодолела бы всю и всяческую бывшесть, не признала бы ее, разгромила бы ее наголову!

Не в мировом масштабе разгромила бы — на мировой масштаб он насмотрелся, хватит с него,— а в применении к самому себе, к своей собственной способности выживать и жить, к своему эгоизму, к своей духовности, а еще больше к своей биологии!

Вот он какой был нынче р-революционер — Корнилов-то?!

— Хозяин!— окликнул его буровой мастер, человек пожилой и странного, нерабочего обличия — с первой встречи, кажется, Корнилов тоже заподозрил в нем «бывшего».— Прибыли, хозяин, к месту... Начинать будем! Господу богу поклонившись...

Тут стали вокруг Корнилова быстро накапливаться звуки: скрипели колеса приотставших подвод, шумно дышали и ржали лошади, а кто-то уже начал сбрасывать буровой инструмент с брички, и железо сперва глухо застучало в землю, а потом железные штанги пронзительно зазвенели, ударяясь одна о другую.

...Не подозревая, что ее будут бурить упорно, долго и глубоко, земля без сопротивления поддалась усилиям двух человек: двое вскоре уже пошли по кругу, вращая штангу со змеевиком, и змеевик легко вскрыл травяную подстилку и стал погружаться в чернозем.

Трижды приподняв штангу, рабочие очистили спирали змеевика от чернозема, и каждый раз он как бы возгорался на солнечном свете, искрился, блестел.

Потом змеевик погрузился в суглинок — желтоватый с серым.

Почва кончилась.

Подпочва кончилась.

Начался грунт.

Вот так: наверху земля была черной иссиня, была по-ночному темной, а называлась дневной поверхностью, в глубине же, непроницаемой и почти безжизненной, грунты светлели, будто пронизанные полуденным солнцем.

Все это — эта разрозненность в оттенках почвы и грунта, и податливость земли буровому инструменту,

и та легкость и простота, с которой была заложена скважина, первая в жизни Корнилова,— насторожило его, вызвало в нем новое напряжение. Кажется даже, до сих пор ему неизвестное.

Лиха беда начало... Начало было, но ни беды, ни малейшего ее предвидения у людей все еще не было. Корнилов, несмотря на лихое свое настроение, не очень-то ведь верил отсутствию беды.

Бурмастер, тот из «Конторы» взял двух рабочих, двух местных, восемь подвод нанял для доставки инструмента, деревянных брусьев, вышки, насосов, палаток и прочего бивачного скарба,— значит, дело предстояло не из простых и скорых.

И Корнилов продолжал внимательное наблюдение за работами.

Однообразные движения людей, которые вращали штанги, а время от времени поднимали их, чтобы освободить змеевик от грунта, притупляли эту внимательность. Корнилову все время казалось, что ничего не происходит, ничего такого, что называется бурением. Люди ходят по кругу, и все. И ничего больше.

Когда началось погружение обсадных труб, работа стала интереснее, неожиданнее, появилась, кажется, возможность каких-то приключений, но это было ненадолго, бурение снова вошло в свой постоянный ритм. Корнилову снова стало не по себе: он не верил однообразию и ждал от него подвоха, какой-нибудь неприятности.

Как странно, что Корнилов не знал этой работы, не видел ее никогда прежде и теперь волновался и ждал: «В конце концов, где-нибудь на глубине сажен двадцати земля обязательно возмутится этим непрошеным вторжением в ее тьму, в толщу желтоватых и белых грунтов... И, как всегда, будет права не только сама по себе, но и человеческим разумением: почему люди-то так безразличны к событию? Почему так просто и безбоязненно проникают в ее глубину? И даже не собираются большой толпой, чтобы видеть все, что здесь происходит, чтобы побояться, чтобы усомниться в начинании? Чтобы возрадоваться ему, если уж иначе они могут?»

Но нет, никакого волнения, никакой боязни, никаких опасений — так люди привыкли к повиновению и к безропотности земли. Единственно, чем они отметили событие: буровой мастер перед началом работы сказал:

«Ну, с богом!» — и перекрестился. И двое рабочих из четверых перекрестились тоже.

И Корнилов хотел было осенить себя крестным знамением, но потом, будучи «бывшим», постеснялся. К тому же вспомнил о своем высшем образовании по естественно-математическому факультету Санкт-Петербургского императорского университета.

Вместо этого и как будто даже взамен так и не состоявшегося крестного знамения он еще очень долгое время так же внимательно следил за тем, что и как делают эти пятеро: буровой мастер в затасканной одежонке, но все равно не рабочего обличия, с неопознанными, а тем не менее очевидными признаками не только «бывшести», но и интеллигентности; двое его постоянных рабочих из буровой конторы «Корнилов и К°», умелых, слаженных между собою, профессиональных, и потому несколько апатичных; и те два подсобника, которых, несмотря на горячую сенокосную пору, буровой мастер по сходной цене нанял в деревне Семенихе. Оба они были совершенно неумелы и пока что не столько помогали делу, сколько мешали ему, без конца суетясь.

Корнилов их понимал, этих сезонников: тощенького мужичка Митрохина и молодого парня, комсомольца Мишу. Он и сам мысленно тоже суетился.

...Все оттого, что нынешний день был днем ответственным.

Ведь как думалось Корнилову, как чувствовалось хронически в течение, по крайней мере, последних лет двенадцати, а то и больше?

Никак не думалось, а только болезненно, исковеркано-искалеченно чувствовалось.

Все мысли обо всем происходящем и о себе тоже вот уже двенадцать лет как откладывались на потом: вот кончится германская война — тогда, вот кончатся революции — тогда, вот кончится война гражданская — тогда! Вот кончится — что? Может быть, нэп?..

Тогда-то подумается во всю возможную силу ума, высоко, вдохновенно, всласть, честно, совестливо. Как только дано ему мыслить, так он и помыслит. К чему обязали его невероятные исторические события, ту самую обязанность он умственно и выполнит, он истинно докажет, что человек — существо мыслящее... Задним числом, но докажет! Ведь все сколько-нибудь стоящие

доказательства человеческого бытия возможны только задним числом.

Да как же иначе-то? Да откуда же во все те годы брались силы и желание продолжать жизнь, все вытерпеть, все мыслимое и немыслимое выстрадать?

Годы минуют, а все не настало времени для святого труда мысли. Жить хочешь любою жизнью — нэповской так нэповской, а если нагрянет снова доисторическая, пещерная, и ею тоже не побрезгуешь, хапнешь обязательно, а подумать о жизни всерьез — это потом, потом...

И вот этот день, первый день буровых работ, прошел, а ночью приснилась глубина.

Выглядело это дело так: была огромная пещера и над ней, на уровне дневной поверхности, что-то вроде люльки, в которой лежал Корнилов и опирался на какую-то точку опоры лбом.

Лоб у него болел, точка опоры впивалась в кожу, и в кость, и в мозг, ему было не до этого: он опускал вниз штанги, которые достигали дна пещеры, пробуривали его и довольно быстро из этой, видимой, глубины погружались в другую, подпещерную и невидимую.

На дне пещеры суетились крохотные фигуры людей, Корнилов видел их будто под микроскопом, а они все равно оставались крохотными, не увеличивались, они пытались помочь ему, поддерживая штанги в строго вертикальном положении, но это была напрасная помощь, неумная, и Корнилов оставался один на один с той и другой глубинами, и лоб у него ломило и коверкало, и он едва-едва успевал наращивать штанги и удерживать их в руках. Вращаясь очень быстро, штанги жгли ему руки...

Такой сон.

«Ну, экспериментатор?!» — с удивлением, с грустью, но и с радостью тоже подумал о себе Корнилов, когда проснулся.

На второй день работы около буровой появились заказчики: председатель и счетовод семенихинского маслодельного кооператива «Смычка», а еще — председатель Семенихинского сельсовета.

Время было обеденное, около часа дня, солнце в зените, на все лады, изо всех сил трещали повсюду кузнечики, изредка шелестела листва берез — несильный, но жгучий ветерок порывался убежать отсюда в невидимые дали, на север, но порыва не хватало, и ветерок притаивался на местности, а спустя минуту начинал свой бег снова.

Все, кто был нынче на скважине, спасались в тени березовой рощи, поблизости от палаток и в десятке сажен от буровой площадки, но кооперативный и советский руководители, прибыв в обширном тарантасе, в который запряжена была неуклюжая и сильно волосатая лошаденка, как будто бы не заметили здесь ни одной живой души — они молча осмотрели буровой инструмент, пощупали его, подняли с земли картуз, оставленный кем-то из рабочих, и его тоже осмотрели внимательно, а потом отбросили в сторону, чтобы не мешал, поочередно заглянули в скважину, отошли в сторонку, поговорили, и только после этого направились в рощу, к буровикам, которые молча, каждый из своего уголка тени наблюдали за вновь прибывшими.

Они пошли сразу на бурового мастера. Они знали его — еще раньше он приезжал в Семениху для заключения договора на производство работ. Мастер, дремавший на травке, встал навстречу и кивнул, а потом всем троим по очереди протянул руку, но тоже с таким видом, будто перед ним были люди совершенно незнакомые, случайные прохожие.

Потом бурмастер позвал Корнилова и, когда тот подошел, рекомендовал его:

— Хозяин!

Стали знакомиться.

Председатель кооператива, мужчина под пятьдесят, не очень бородатый, в белом парусиновом картузе, который он слегка приподнял оттопыренным пальцем левой руки, так и сказал:

— «Смычка». Председатель! Барышников!

Счетовод рекомендовался пространно:

— Губарев Дорофей Дементьевич, заместитель председателя семенихинского маслодельного кооператива «Смычка». Заместитель товарища Барышникова Семена Андреевича. И — счетовод!

У заместителя-счетовода был на голове точно такой же парусиновый картуз, что и у председателя, но в остальном вид с претензией на городской: странного

покроя серенький пиджачок, а главное, светлые ботинки, хотя и стоптанные изрядно.

Председельсовета сказал о себе:

— Архипенко...

Опять такой же картуз. И красноармейская, до белых пятен выцветшая и застиранная гимнастерка.

Буровой мастер, как бы все еще ничуть не узнавая этих людей, с которыми тому назад месяца полтора он подписывал договор, представился тоже.

И «хозяин» назвался по имени-отчеству: Корнилов Петр Николаевич.

Таким образом — познакомились.

Предстояло что-то еще второе, третье, еще какое-то, но тут председатель «Смычки» вдруг сказал:

— Ну ладно. Бывайте здоровы! А мы поехали.

— Как поехали?! — удивился Корнилов.

— На кобыле вот! Делов слишком много на нонешний день. Торопимся. Посидеть-поговорить — на другой раз. Когда свободнее окажемся.

— Если приехали, осмотритесь! — поддержал Корнилова мастер.— Осмотритесь, войдите в курс дела!

— Осмотрелись мы. И в курс вошли. Притензиев к вам покудова нет, бурить вы начали в точное время, в договорный срок. Размер бурового вашего отверстия для начала тоже взятый правильно. Как по договору. Какие еще у нас с вами на нонешний день могут быть дела? — И председатель Барышников посмотрел на мастера и на Корнилова. Оказалось, действительно общих дел у них пока еще нет.

Не прощаясь, Барышников направился к своему обширному тарантасу, но тут один из двух рабочих-поденщиков, щупленький и суетливый Митрохин сказал:

— А кваску, Семен Андреич?

— Чей квас-то?

— Мой, Семен Андреич! Моёй бабы приготовления!

— А холодный?

— Со льдом. Лед не потаял еще в нем. Не успел.

— Свежий? Либо выдержанный?

— Неделю, Семен Андреич, выдержан квас. Нынче момент ему пришел на питье.

— А в чем он, твой квас?

— В чем ему быть? В крынках он. В двоих. Одна поменее, другая поболее.

— Поди, стеклянные крынки-то?

— Ну, как можно, чтобы стеклянные? Глиняные они!

— В землю закопанные?

— В такой-то на всю природу жар где им быть? По рассвету, как девка моя Лизавета доставила на всю нашу партию провиант, я их ту же минуту и закопал.

— Беги, Митрохин! Беги быстренько, бери квас! Которая помене крынка, ту и бери. А которая крынка поболе, ту прихвати тоже!

Корнилов поглядел на председателя «Смычки», совершенно серьезным было председателево чернобородое лицо — ни улыбки, ни игры, ни шутки. Глаза серьезные. Даже сердитые.

Покуда Митрохин копал землю ржавым топором, добывая квасные крынки, председатель «Смычки» объяснял Корнилову:

— Правда что, превыше митрохинского квасу в Семенихе нету. И вокруг далеко, полагаю, нету тоже. И не бывало сроду. Баба митрохинская налаживает квас, хотя кислый, хотя сладкий, господу богу самому в праздник подавать в самый раз... И мы, нехристи, тоже примем с удовольствием.— Уже за питьем кваса, густо-коричневого и ароматного, председатель еще спросил:— Мастера-бурильщики! На какой глубине размер трубы сделаете поменее? Поменее того, с которого начали?

Вопрос был чисто техническим, очень дельным и неожиданным.

— Как обстоятельства заставят!— ответил бурмастер.— Заранее не угадаешь, как там.— Постучал по земле ногой.— Как там сложится дело. В наших интересах пройти начальным диаметром как можно глубже. В наших...

Председатель подумал и согласился.

— Ясно. В глубине чем ширше — тем лучше. Свободы поболее... Там свободы-то ма-а-ало. Любому инструменту теснота.

— Так...— подтвердил мастер.

— Дойдете до водоносного грунта, какой будет у вас диаметр? — и дальше инспектировал Барышников.

— Какой по договору указан. Придется изменить, согласуем с вами.

— Простое согласование: последнюю трубу начнете опускать, позовите меня. Лично. Погляжу. А то без пригляда-то сунете вниз трубку с палец, дюймовку. С подрядчика хватит: самые последние дни любой работы — оне тяжелые. И торопливые: скорей бы, скорей бы кончить — вот что у каждого на уме.

— Приток воды в скважину от диаметра не зависит...— сказал бурмастер.— Разве очень немного.

— Тогда от чего же находится он в зависимости?— удивился председатель.

— От глубины погружения труб в водоносный слой.

Опять задумался председатель «Смычки», встретился и разминулся взглядом с бурмастером.

Корнилов спросил:

— Вы, товарищ Барышников, с буровыми работами сталкивались?

— Где было столкнуться? Под землею не бывал. Был бы случай, я его нонче сам бы и повторил, не стал вас нанимать, деньги выкладывать. Работа нехитрая, а тыщи требует. Ты-щи!..

Опорожнили крынки, малую и большую, и, уже сидя в тарантасе, Барышников спросил:

— Узнать, а уроните в скважинку ненароком какой предмет — гайку железную,— что тогда? Как дальше бурить?

— Не надо ронять!— ответил мастер и перекрестился.— Не дай бог!

— Нечаянно?

— Авария будет,— совсем недобро взглянул на председателя бурмастер.— Вплоть до того, что рядом, вот тут придется новую скважину закладывать... Разумеется, за наш собственный счет... За счет «Конторы».

— Худо спросил, да? Не надобно об этом в начале трудов ваших спрашивать? Худая примета?!— тихо спросил председатель «Смычки».

— Есть такая...

— Не расстраивайся, мастер! У меня взгляд не худой, не сглажу! Зачем свою же пользу и сглаживать?

Когда заказчики уехали, мастер сказал:

— Не верю, будто Барышников с буровым делом не сталкивался! Знает дело. Издалека, а знает!

Сезонник Митрохин, держа в правой руке большую,

а в левой маленькую крынки, заглядывал то в ту, то в другую — они обе были пустыми.

— Барышников все знает. Все на свете!

— Приезжий? Или свой, деревенский? — поинтересовался мастер.

— Испокон веков семенихинский мужик.

— Пахал и сеял?

— Пахал и сеял, покуда Советская власть нэп не сделала! Сделался нэп, и пошел Барышников в его — в торговлю и в маслоделие, куда только не пошел он. В Ленинграде был. Трех дней нету полных, как вернулся домой.

— Зачем?

— Дела... Как не дела, когда Англия срочно отказалась от советского масла? А от нашего, алтайского, прежде всего!

— И что? Что сделал Барышников? С Англией?

— Сделал. Он у государства какого-то ярлычки купил, наклеил те ярлычки на ящики с алтайским маслом и тогда продал его Англии.

— Англия не разобралась?! Обманул ее Барышников?

— Англии наше масло, конечно, охота приобресть, но и гордость соблюсти надо, так что ярлычки ей тоже показались в масть!

— Все-таки! — усмехнулся Корнилов. — Все-таки обманул Англию сибирский мужик!

— Говорю, в английском интересе масло у советского мужика купить, а Советской власти тогда же сказать: «Делов с тобой никаких не желаю иметь! И не имею!»

— Что за ярлычки?

Митрохин долго думал, сморща лоб. Вспомнил:

— Страна Заеландия продала Барышникову ярлычки...

— Новая Зеландия?! — догадался Корнилов, и Митрохин подтвердил:

— Она! А может, и не своими руками она, Новая, это сделала, а опять же английский купец разжился теми ярлычками и продал их нашим мужикам! А почто бы нет, почто бы так не сделать?

— Ты, Митрохин, тоже коммерсант, соображаешь по торговле?

— Сам себе удивляюсь: нэп сделался — и откудова что пошло! Откудова только она взялась, сообразительность! А тут еще товарищ Барышников, он год-другой, и Англию окончательно облапошит!

И Митрохин, маленький, большеголовый, с длинными неумелыми руками, в которых он все еще держал пустые крынки, всей фигурой выразил почтение... Перед Барышниковым было это почтение, и еще он посмотрел внимательно на дорогу, на которой все еще не улеглась пыль, поднятая большим тарантасом и маленькой волосатой кобылкой.

«Жаден председатель «Смычки» до жизни, жаден! — догадался Корнилов.— Десятижильный мужик!»

Родственность? Родственность между ними — Барышниковым и Корниловым?

Даже и не жизнь любит человек, а свою жадность к ней; эта жадность очень и очень понятна была Корнилову.

Недавно в городе Ауле один из «бывших» даже и не прочитал, а без всякого выражения сообщил Корнилову доморощенные стихи, непоэтическую поэзию... Если бы все-таки она была в печатном виде, наверное, получилось бы три стиха по три строфы в каждом:

Как трудно жить,
Как тяжело вдыхать
Смердящий воздух...

Как невозможно умереть
И как нельзя не быть
Среди того, что есть?!

Пустынный парадокс —
Без радости, без мысли, без печали...
Без рифмы... Не в начале, но без конца...

Того серенького, щупленького, чем-то напоминающего поденщика Митрохина «бывшего», который сообщил это Корнилову, и за «бывшего»-то он признать не мог — мелок! Ни малейшей значительности.

Но теперь он вспомнил незадачливого поэта — и снова понял, что значит «...нельзя не быть среди того, что есть»...

Иначе говоря, председателю «Смычки» товарищу Барышникову нельзя было не поехать в Ленинград, чтобы уладить дело с Англией, а Корнилову Петру Ни-

колаевичу-Васильевичу нельзя было не принять во владение буровую контору, дело совершенно ему незнакомое и чуждое.

А что? Нынче по всей стране выдвиженцы управляют делами, конторами, акционерными обществами, о которых год тому назад они и понятия не имели.

Значит, да здравствуют выдвиженцы! Да здравствует вы-дви-же-ние!

Выдвижение — это всегда чужая судьба.

Чужая судьба всего современна, она всегда — антипод «бывшести»!

У Корнилова с бурмастером произошел разговор.

— Сказать мне вам нужно... несколько... разных... слов...— таинственно шепнул Корнилову мастер и, повернувшись, пошел в рощу. На ходу сделал торопливый, неловкий и невежливый жест: «Следуй за мной!»

Может быть, не следовало идти вслед за мастером? Корнилов пошел.

Только что была опущена не без серьезных затруднений четырехдюймовая обсадная труба, до этого, до глубины двадцать шесть и семь десятых метра, скважину проходили начальным пятидюймовым диаметром, но породы сменились, снова появился влажный супесок, мастер встревожился: «Не плывуны ли?!» — и стал менять диаметр.

День работали с талями и домкратом, мастер показал свое умение и мог быть доволен собой... А мог и еще что-то, какое-то предупреждение по поводу дальнейших работ сообщить «хозяину».

Корнилов двигался следом за мастером шаг в шаг, ждал, когда тот остановится и объяснит, чем угрожают плывуны конторе «Корнилов и $К^0$». Какие могут быть расходы-убытки?

«Расходы-убытки,— повторил Корнилов про себя и заметил, что волнуется.— Ну, ну, собственник! Волнуешься?»

А мастер все шел в глубину рощи, будто к определенной цели, походка была неуклюжая, плечи раскачивались влево, вправо, вперед, назад, шаги были разной длины, то широкие, а то семенящие.

Идти следом за ним трудно. И неприятно.

Несколько раз мастер оборачивался: лицо было не-

ясное и непонятное — выражение апатии, которая, однако, может обернуться и в энергию неожиданного действия, неожиданного и ничем не объяснимого.

Наконец что-то помешало мастеру идти дальше, он резко остановился, резко обернулся к Корнилову, и Корнилов вблизи увидел все ту же неясность лица в красноватых и фиолетовых пятнах, с растопыренным носом, с крупными, но прозрачными и неопределенных очертаний бровями.

Глазки маленькие, неестественно внимательные.

Обернувшись, он осмотрел Корнилова так, словно перед ним оказалась нечаянная какая-то находка, и спросил с раскатистой хрипотцой:

— Что скажете о нэпе, Петр Николаевич Корнилов? Скажете что-нибудь? Будьте любезны-с!

Корнилов растерялся — вопрос был в порядке допроса. Непонятно какого, почему и по какой причине, но допроса.

И сомнений не оставалось — мастер из «бывших». Оттого, что догадка подтвердилась, удивление еще возросло: что же это была за «бывшесть»? Что за плебейское «будьте любезны-с»? Что за барская хрипотца? Что за странные сочетания в одном странном лице?

— Нет, вы скажите-с, Петр Николаевич Корнилов, что это за мистерия такая, новой экономической политикой называемая-с?

А выражение странного лица было как у человека, который навсегда отчаялся думать о чем бы то ни было всерьез, но в то же время жил с какой-то скрытой мыслью — упорной, энергической и злой.

Запах исходил от этого человека, запах пота, железной ржавчины, сырой, глубинной земли.

В силу привычки, выработанной за долгие годы, Корнилов сказал себе: «Не торопиться!»

То есть не забегать вперед ни одним словом.

И Корнилов молча стал смотреть на бурмастера, а тот повторил тихо и даже вполне естественно:

— Ну? Скажете? Я жду...

— Не скажу. Нет.

— Почему так?

— Очень вы хотите, чтобы я сказал. Слишком хотите! Зачем слишком-то?!

Тут бурмастер продолжал свой вопрос, уже отчасти сам на него отвечая:

— «Не будем обдирать крестьянина. Будем обеспечивать рабочего куском хлеба! Перестанем расстреливать бывших офицеров и помещиков!» И что же-с? Это и называется новой экономической?! Новейшей? Это и есть марксизм? Не бьете меня по морде, так вы уже и открыли новый путь к устройству светлого будущего? И ведь приват-доценты, профессора, магистры юриспруденции тоже подтверждают: «Политика! Новая! Прекрасная!» Ну вот подумайте: почему не бьют-то по мордам? Почему не стреляют? Почему решили облагодетельствовать трудящегося куском хлеба? Не потому ли, что только так и сами живы останутся? Не для собственного ли их спасения дана мне та корка хлеба? А теперь требуют от меня слез умиления! Ну ладно, нашего российского человека корка во веки веков умиляла до восторженной слезы, так ведь и заграничные газетки тоже всхлипывают! И даже строят надежды: вот обратный ход дали большевики! Дали, а там они уже и окончательно в людей переродятся! Но какое перерождение? Да я же знаю, сегодня накормят, чтобы я потянул воз, сдвинул его с места, а пойдет полегче — у меня тот кусок тотчас отберут! Скажите-с: где-нибудь в мире это еще возможно?

— В Азии...

— Не в счет. Надо взять пример в Европе...

— А вы европеец?!

— Не знаю... Я не знаю, но революцию-то Россия учинила европейскую... Пролетарскую! Или мы опять обманули? Европу-то? И самих себя?

— Все-таки полагаете себя европейцем! — решил Корнилов, но впечатление оставалось, будто мастер действительно существовал вне рас и национальностей и даже — будто он вот-вот забудет свою принадлежность к роду человеческому.

— Как хотите, но меня не Европа, не Азия отвергают — меня мир отвергает глупостью своей и позором! А также блудом-с, — заговорил он снова. — Никто и нигде разбой и преступление от благородного чего-нибудь отличить не в состоянии. И даже наоборот: чем преступление больше, тем благороднее оно называется... Хотя бы сказать вам-с, вот и кусок хлеба никто куском хлеба уже не называет, а все рассуждают о нем, как о политике, а то еще о гуманизме и прочем там человеколюбии. А то называют еще наукой. Но ведь он, кусок тот, еще до науки и до политики существовал, он по

первородности своей куда-а-а выше их всех находится, и вот обращаюсь я к вам-с: зачем всю эту дрянь и нечисть к куску хлеба пристегивать? Зачем все это за кусок хлеба прячется? Неужели это и есть прогресс человеческий? И мысль его великая-с, как об этом нынче сообщается? Вот видите ли, всеобщий был коммунизм, всеобщее равенство ввиду всеобщего нищенства и разрухи, а также разрухи грядущей, неотвратимой, а то вдруг является нэп, и вот я уже не в коллективе трудящихся, не в равенстве-с с другими, а сам по себе и для себя... Страшная перемена! А ну как после будет обратно, потом опять обратно — и все в течение, извините, одной жизни человеческой? Ну как это, позвольте-с, совместить в одном человеке — и коммуниста, и предпринимателя? Да ведь не будет же ни того, ни другого, никакого не будет человека, а так только нечто-с... Ужасное состояние и ужасные, скажу вам, для меня в этом последствия — с ума можно сойти, если подумать! Единственный выход — не думать. Так ведь не удается, нет ведь этого выхода в реальности... С ума сойти! Все ужасы и того и другого, всеобщего равенства и всеобщего различия, отрицания собственности и приобретения ее — все на одну голову, а? На одну человеческую?

Теперь уже Корнилов мастера слушал. И с интересом. Было то, что было нужно: мастер говорил, а он, Корнилов, молчал и слушал.

— Игра! Игра!— восклицал между тем мастер, но опять-таки уныло как-то восклицал.— В кого играем-с? В каких таких людей, которых нет? В порядочных? Чем менее порядочности и обыкновенного порядка, тем более да более в него играем? Точно-с! Да?! Ну, далеко они, они,— подтвердил он еще раз,— пойдут, ежели в этакой игре «дважды два» за высшую, позволю себе сказать, математику-с выдать могут! Да-ле-ко-о-о! Чудовищное какое-с, скажу вам, исказительство... И кто в этом исказительстве отчаяннее, кто всех других в нем переплюнет, тому и величие, и вера от людей! А кто видит хотя бы какой-нибудь факт в его природе и естестве, тот ни в жизнь и никогда, и ни в чем не преуспеет... И будет глупым слыть и даже врагом человечества... И ведь какой соблазн, какой соблазн — преуспеть в исказительстве!

Мастер снова уперся взглядом крохотных глазок в Корнилова. Тот спросил:

— Соблазнялись? Соблазнялись когда-нибудь?

— Уж я бы, когда стал растлевать любое понятие, любой факт существования нашего, уж я бы... Ух, я бы...

— За чем дело стало? Совесть?

— Не то. Я с детства несмел. Не был смел когда-то, а нынче даже завидую тем, кто в этом преуспевает. Вот и вам то же самое — завидую. Очень. Страшно себя за эту зависть упрекаю, но она все равно случается.

— Завидуете?! — удивился Корнилов.

— Теперь уже иное дело, теперь я больше памятью завидую, чем переживанием. Но какой я есть нынешний, я к этому через самые разные понятия, в том числе и через зависть, пришел. К своей к нынешней мысли, к ее устройству и ко всему прочему... Было! Но теперь я уже совсем сделался другой... Почти что независтливый. Почти что независимый. Разве что только к вам...

— Вы «бывший»? Бывший, может быть, коммерсант? Или по юридической части?

— С тою, смею-с сказать, приметой, что я и настоящим-то никогда не бывал. Никогда. Нет, никогда-с... Я в свое время понял-таки: я рожден бывшим.

— Позвольте?!

У Корнилова давно уже было о самом себе мнение, что он специалист по «бывшим». И даже по «бывшести» в целом. Действительно, в воображении его хранилась огромная коллекция — разные человеческие типы и даже разные типы «бывшести», но тут был ни на что не похожий экземпляр. Удивительная и странная находка! Которая всю его коллекцию могла несказанно обогатить, но могла и до основания своим присутствием разрушить. Всю систему, весь порядок, все усилия и труды собирателя этой коллекции она могла в один миг свести на нет, к нулю, к отрицательной какой-то величине. «Врожденная бывшесть»! — что это такое в самом деле?!

— Поясните... — попросил Корнилов, но бурмастер его решительно прервал:

— Теперь поясните вы... Хватит меня разгадывать. Не надо-с! Не надо, не мешайте мне, я и сам успею, разгадаюсь перед вами-с, против, может быть, вашего желания, а покуда хочу знать: это что же все значит? Может, то, что политика приходит и уходит, а жизнь —

она все ж таки остается? Исказительства приходят и уходят тоже? Может быть, вы именно так понимаете? Я посмотрел на вас, вы оптимист? И слишком ученый человек?

Ну, конечно, о нэпе вот уже более года как все что угодно и кем угодно говорилось, кто ликовал, тот мог ликовать вслух, кого нэп глубоко разочаровал, тот — были случаи — даже стрелялся, и все-таки?

Все-таки Корнилов слов этого человека опасался. Всерьез.

«Чего опасаться-то? Не детей же с ним крестить?»

А вдруг крестить — вот, должно быть, в чем состояло опасение. Корнилов не хотел нечаянно сказать этому человеку лишнее слово о себе самом.

— Ну, хорошо,— вздохнул мастер глубоко и даже как будто скорбно.— Ну, и ладно, когда так... Я вижу, этот предмет для вас не слишком аккуратный...

— Предмет?

— Неаккуратный он для вас — предмет нашего собеседования, то есть нэп. Он вам небезгрешен. Так я в этом-с случае по-другому спрошу-с: а вы? Вы лично к исказительству не стремитесь разве? Нет у вас такого соблазна? И не бывает-с стремления к исказительству?

— К ясности!— ответил Корнилов и почувствовал сильную неловкость.

— И, поди-ка, еще к справедливости? Тоже устремляетесь? С открытой душой? Господи боже мой, до чего же темен и гадок сделался нынче человек! До чего же любое слово произнесть ему вслух просто и безвозмездно! Господи, прости людям грех всех грехов!— И бурмастер скинул грязную кепочку, истово перекрестился. Нечто зло-апатичное на одутловатом и пятнистом лице его потеснилось, проявилось что-то жалостливое — вот-вот он протянет руку и погладит собеседника по голове, словно ребенка. Протянет и почешет его за ухом, словно щенка.

Корнилов отшатнулся.

— Ясность! Справедливость!— воскликнул мастер.— Так ведь это же бред самозабвенный и добровольный! Великий бред, блуд и обман! Их вам не хватает-с, да?

— Их!— подтвердил Корнилов.— Их. Великий обман тоже становится великой движущей силой!

— Ужаса вам не хватает! Вот чего! Страха не хватает никому! Хотя божеского, хотя дьявольского, хотя бы еще какого страха!

— Вы — сумасшедший?

— Я — здравомыслящий! До предела здравомыслящий я! До самого предела! И знаю-с: великого ужаса нет до сих пор на земле, чтобы содрогнул бы и потряс хотя бы и младенца, хотя бы и старца, и нищего, и владыку государственного — всех, всех, всех! И каждого! Чтобы ужас был перед исказительством каждого, перед гибелью мира всего, перед злодеяниями, которые друг другу творим, а того более — замышляем которые! Чтобы кошмар жизни сознавался бы, а сознать возможно-с его только через страх... Только через него, другого нет средства и причины и не может быть в том же роде!

— Да зачем же это?! Зачем еще и еще ужас?

— Только через ужас избавимся мы от исказительства! Нельзя бояться страха и уходить от него, это и есть самая низменная страсть и трусость. Страх надобно разжигать в себе, а тогда и себя можно сделать человеком! Другой причины к равенству и к свободе нет! Страх — он всех между собою равняет, все должны быть перед ним в рабстве одинаковом-с, а тогда и ждать никто и никаких свобод не будет более. И тогда-то явятся они, свободы, как бы сами по себе. То есть все будут свободны во всем, кроме страха. Во всем, что страхом не будет пресекаемо! Должен быть человек в чем-то рабом, в чем-то одном, а тогда во всем прочем он будет свободен.

— Нет, вы сумасшедший! Неужели все еще мало кругом вас ужаса? И не из-за него ли происходят все несправедливости?! Не из-за того ли, что не хватает у человека смелости? Что боится он за свою шкуру, и за свою жизнь, и даже за свои мысли? И мыслишки? Не из-за него ли и все наши страдания?

— Из-за него! Конечно, из-за него! Покуда он все еще временный и потому не настоящий, а поддельный и ничтожный, то есть мало его! И совершенно верно: вся эта дрянь, страданиями называемая-с, тоже из-за малости истинного страха происходит! Происходит, да еще и дикими надеждами человека переполняет, потому дикими и дикарскими, что неисполнимы те надежды во веки веков! Нет-нет, не говорите, мало у человека стра-

ха и содрогания! И у меня по сю пору тоже мало его. Ищу, ищу, а все недостаток. Уже отчаялся искать. По каплям его собираю, на край света за ним готов-с идти, а он мал, все еще до величия ему далеко-с... Вы не ищете его?

— Ни в коем случае!

— Вот и устраиваете в душе своей балаган. Не так сказал? Пусть будет иначе сказано, пусть будет сказано — театр. Пусть — театральное представление!

— Не понимаю!

— Не хотите понять! Боитесь понять. Чтобы принять страх, смело надобно-с, очень смело поступать. Но вы другое себе назначили — играть в театр и совсем не того человека изображать, который вы есть, и даже не того, которого вам изобразить хотелось бы.

— Какого же?

— Так, какого-нибудь. Незнакомца. Однофамильца.

— Вы подлинно сумасшедший!— крикнул Корнилов вне себя.

Крикнул и понял, что при слове «однофамилец» ему не то что кричать, а глазом нельзя моргнуть. Но уже крикнуто было. Был уже этот возглас.

Мастер усмехнулся. Ничего нельзя было угадать за этой усмешкой. Ничего дальнейшего.

Мастер молчал, потом продолжил свой разговор. Ничего нельзя было угадать и за этим продолжением:

— А вот, уважаемый-с Петр Николаевич, как перед богом: мне жизнь свою к крайнему содроганию необходимо страхом и ужасом привести! Чтобы она на колени пала бы-с и взмолилась: «Хватит-хватит ужаса! Не могу больше его принять! Падаю перед ним! Раз и навсегда буду перед ним на коленях существовать! Раз и навсегда клянусь в страхе жить! И только в нем! Молюсь ему! За бога почитаю его! За величие!» Вот как мне надо, чтобы было, но все еще этого нет и нет... И нет-с. И будет ли когда?

А нужно было верить этим словам — не выдуманы они для нынешнего разговора, нельзя было это сразу же и только для одного случая выдумать. Нужно было верить... Но Корнилов верил и не верил, его все еще не только слова этого человека занимали, а облик его. Одутловатость и пятна на лице... Большие влажные губы... Упорно-внимательные, а то вдруг рассеянные серые глазки.

Однофамилец — было произнесено мастером.

«Вы сумасшедший!» — ответил Корнилов — и каким голосом ответил?! Корнилов припоминал свой собственный голос.

Теперь мастер был задумчив. И задумчивость Корнилов подвергал сомнению: «Может, не задумчивость, а наблюдательность? Может, не наблюдательность, а проницательность? Может...»

Мастер сказал:

— Окажите человеку душевное вспомоществование?! — И протянул в сторону Корнилова руку жестом просящим, скорбным. — А? Ради господа бога?

— В чем? Какая помощь требуется вам? О чем вы?

— А послушайте меня в сочинении! В слове писаном, а не устном. Ах, да какое сочинение, нет, ничуть не бывалое, для всего — другое. Это записи, уже многие годы мною ведомые изо дня в день. Записи того, что главное есть в мире. Я их вам-с почитаю, вы послушайте. И пострашитесь, сколько есть у вас возможности-с.

— Записи?

— Самые разные они там у меня. Убийства. Насилия. Подлости всяческие. Сжитие со света одного человека другим. Ну и, конечно, избиения походя. Вот на базарах которые случаются ежедневно. А то избивают до полусмерти мужья жен своих, родители детей. Обратно тоже случается: дети — родителей. Обманы и надругательства духовные-с.

— И вам нужно, чтобы эту книгу кто-нибудь читал? И слушал?

— Совершенно верно, кто-нибудь! Очень в ком-нибудь нуждаюсь: собственного страха, уже объяснил я вам, нет у меня достаточного, а главное, неизменного, так я, может быть, сперва другого содрогнул бы, а уже через его страх и дрожь телесную и я бы вздрогнул тоже?! Очень-с нуждаюсь и вот прошу Христа ради. Унижаюсь! Себя — как можно убедить? Только убедив в той же мысли другого!

— Книга ваша — это нечто нечеловеческое. Мерзость. Низость. Нет ей названия! Вот так!

— Зачем в таком случáе все другие книги существуют? С каким значением? Зачем, ежели они научили человека не принимать страх, научили его не бояться, а вместо страха перед тем, чего истинно бояться нужно, ставить ложь? Исказительство ставить. Игру и театр, там, где бы надо испугаться до потрясения?!

— Вы верующий? Тогда спрошу вас: а Библия?

— Лепет! Лепет самоубийственный и детский! И простительный лишь потому, что, когда она, то есть Библия, писалась, ужасов мало еще совершилось и накопилось. И не было еще им записи, не было такой книги, которую я веду и записываю. Не было той, без которой ничего не может быть! Ни мысли, ни любви, ни чувства истинного — ничего! Она подлинный крест всечеловеческий, эта ведомая мною книга и единственное человеческое спасение! Не поверим ей — нечему уже будет верить! Все другое изверено давно и до последнего. Нету, говорю вам уже который раз, в жизни человеческой другого смысла, как постижение ужаса! Нету оправдания для азбуки, для письма на любом языке! И когда так, записал я уже в ту книгу более двух с половиной тысяч злодеяний всяческих. Когда так, то и послушайте меня в чтении бога ради. Сколько-нибудь-с... Ну, хотя бы в одной тысяче записей послушайте! Хотя бы двести или триста прослушайте их. Сто! Десять хотя бы, прошу бога ради! Неужели труд мой великий, за всех совершаемый, не нужен одному хотя бы человеку? Нет, вы согласитесь, послушайте, после сами станете великим писателем, уверяю вас!

— Да ни за что!— снова и громко воскликнул Корнилов, отчетливо представив себе эту книгу, этот театр, в котором буровой мастер прочитывает ему запись под № 1295, склонившись к ней безобразным своим лицом, придыхая и то с приказчичьей приставкой «с» в конце некоторых слов: «убил-с», «избил-с», «замучил-с», то громко и ясно: «убил», «избил», «замучил».

— Великую книгу, истинную русскую книгу, но ради всего человечества-с должно написать мне! При русской-то столь чувствительной душе да столь бесконечно ужасов, делаемых самим-с себе, это ли не назидание человечеству и не опыт ли ему? Тогда что же другое может быть опытом и назиданием? Это ли не долг мой высказать, когда я понял? Единственный я понял, и, кроме меня, никто-с? Ужас всяческого постиг, не только боли телесной, но и всей жизни, слепо и бесстрашно творимой человеком во имя бессмысленности. И когда я не сотворю ту книгу во всех трех ее ипостасях — ужас насилия, ужас бессилия, ужас блудного слова,— то кто-то должен будет пойти по следу моему и совершить?! Верю! Ради черного негра африканского и миллионщика из города Чикаго, ради монарха и пролетария, ради

господа нашего Иисуса Христа — верю! Должно же быть человечеству спасение, и последняя к тому осталась способность — моя книга. Последний возглас: «Побойтесь ужаса нынче же, чтобы завтра, завтра же не постигнуть ужасного конца света! Побойтесь!» Вы, Корнилов Петр Николаевич, не могли бы?! Не могли бы-с исполнить ту способность?! А?! Она в каждом из нас теплится, та способность и миссия, но никто не хочет в ней признаться хотя бы самому себе-с, не хочет ту крохотную ниву в себе самом взлелеять, возделать, произвести ее в простор души и сознания своего, а бежит ее, словно бы малая зверюшка от огромного хищника!

Боже мой, в самом-то деле, сколько №№ мог бы внести в эту книгу Корнилов?!

№№, которые при нем были совершены, над ним были совершены, им были совершены, при его содействии совершались!

Замелькали, замелькали №№ в отрывках, успевая в самый краткий миг снова совершиться перед ним от начала и до конца, словно полотно художника, предстал в его воображении вот какой №: полуосвещенная убогая комнатушка, два красноармейских трупа на полу, а третий труп — полковничий... Посреди огромной темной лужи. И запах кровяной, удушающий, парной услышал он и увидел глубокого изможденного старика в чужих, в офицерских, донельзя истрепанных шароварах и с очками в одной руке, с каким-то пузырьком в другой. «Господи, господи, господи...» — старческий, тоже едва живой, послышался ему голос.

— Конечно-с,— подтвердил мастер,— самые разные видéния имеются там, в книге моей. На любой случай там найдется. Что угодно. Из гражданской жизни или из военной, для взрослых либо для детей — на все там уже есть запись, и можно еще вносить туда впечатления! Поверьте же, вы-с благодарный будете читатель той книги и даже, может быть, участник ее! И автор! Ежели хотите исцелиться и стать великим — будете!

— Не надо! Разговор наш окончен!

— Да вы что?! Слова мне не скажете, что ли? Невозможно это — молчание между нами. Не по вере, так все равно ж по делу будем говорить, по буровому делу. Обязательно! Как компаньоны будем иметь разговоры. Обязательно! Как совладельцы!

И тут Корнилов вспомнил обстоятельство, которое он не то чтобы забыл, но как-то не придавал, не хотел придавать ему до сих пор значения...

А ведь было-то так, что «Буровая контора Корнилов и К°» могла существовать не во владении, а только в совладении, и совладельцем Корнилова, хотя и с очень небольшой долей участия, состоял буровой мастер. Чисто юридическая формальность в соответствии с порядками нынешней экономической политики: один из совладельцев — буровой мастер — был занят непосредственно физическим трудом, то есть не являлся лицом, эксплуатирующим чужой труд, а это и всю контору исключало из разряда «полностью частнокапиталистических предприятий». Это придавало ей нынешний юридический статус.

«Совладелец!» — думал про себя Корнилов с удивлением. К чему, зачем, чего ради бурмастер ему об этом напомнил? Об этой юридической формальности? И напомнил, когда, казалось бы, места такому напоминанию нет, не может быть!

Уж не запись ли тут какая-то замышлялась? Под номером 2999? Или 3000? Или 3001?

— Нет-нет! Уйдите прочь! Уйдите — и ни о чем другом, кроме как о буровом деле, о буровой скважине, у нас разговора нет и никогда не будет! И не было! Запомнили? Поняли?— произнес Корнилов.

— Непонятно говорите! Для меня. И для себя тоже непонятно, и темно, и лживо! Вы ведь уже загодя и решительно определили себе: вот это будто бы вам знать нужно и вас вполне достойно, а другое — совсем недостойно вашего-с знания! Так ведь грех же! Есть ли грех больше того?! И неужели допустите вы себе позор, что погоните меня прочь? И «прочь!» повторите?!

— Прочь!— повторил Корнилов.

И бурмастер, будто бы все еще не веря Корнилову и себе не веря в том, что уходит, ушел.

Кругом-кругом пошел он по зеленеющей травке и по прошлогодней листве березовой рощи, забирая все вправо и сбоку откуда-то выходя к буровой скважине.

«Совладельцы»!

Два совладельца между собою разговорились. Так вот что их связывало — не «бывшесть», и не буровое дело, и не интерес друг к другу,— общее владение связывало их, оно-то и не позволяло Корнилову порвать

с мастером раз и навсегда. Ну, а философия, хотя бы и потрясающая, где она? Она где-то там, где-то очень близко, но, может быть, и очень далеко. Она что-то такое, что может быть всегда и везде, но может не быть нигде и никогда, но владелец?! Владелец — вот он, в наличии. Совладелец где? Вот он, в полном наличии!

Корнилов подвигал руками и пощупал правой рукой левую, левой — правую... Вот ноги, голова, а вот и его мысли. Тоже ощутимые. Разные мысли, но о владении, о совладении едва ли не прежде всего!

Ощутив таким образом себя, Корнилов немного успокоился.

Но уже в тот же день Корнилов всерьез готовился к новой встрече с мастером. «Ужас насилия, ужас бессилия, ужас блудного слова» — это ли не серьезно?

Набравшись нахальства, отчаяния и сознания того, что он здесь первый хозяин, а мастер — только второй, Корнилов крикнул мастеру «прочь!» и прервал разговор, но все это только потому, что мастер оказался сильнее, Корнилов слабее. Трудно, обидно это бывшему приват-доценту Санкт-Петербургского университета признать, офицеру, наверное, еще труднее, но ведь только из-за слабости он и крикнул. Из-за того, что у Ивана Ипполитовича не только есть бог, но есть и познание его, и служение ему, у него же бог был когда-то, а нынче божье имя им забыто. Если не по букве, так по смыслу давно забыто. Бог давно стал для него его собственной «бывшестью».

И встреча Корнилова с мастером не сегодня, а очень давно, на заре туманной юности, в детстве еще была предрешена...

Мальчик Петя, всеми любимый в благородном, либеральном, просвещенном семействе, искал бога и нашел, мальчик Ваня, наверняка всеми ненавидимый, тоже искал и тоже нашел, да как же после этого они могли не встретиться, искатели и открыватели?!

И как же мог нынче Корнилов отступить, отказаться от дальнейшего собеседования с мастером, если мастер, кроме всего прочего, кроме спора с ним самим, еще и сталкивал в Корнилове двух Петров — Васильевича с Николаевичем?

Потому что любое поражение и отступление живого Корнилова в тот же миг чисто механическим путем ста-

новилось победой Корнилова мертвого над живым, в тот же миг мертвый упрекал живого: «Скотина! Ну, присвоил себе мою женщину, ну, присвоил себе мою «Контору», присвоил всю мою жизнь, так хотя бы доказал, что достоин этого присвоения! Но недостоин же ничего и нисколько, скотина!» И наоборот: любая, самая крохотная, в чем бы она ни состояла, победа живого Корнилова утверждала его в праве на жизнь и даже в справедливости присвоения им чужой жизни.

Мало того, возвышение над мастером, над его «Книгой» было для Корнилова новым и необходимым приобщением к своей собственной, но, казалось бы, навсегда уже отчужденной от него «бывшести».

Когда Корнилову было четырнадцать лет, встретилась ему невзрачная такая книжечка: «История общественной мысли в России».

Он до поры до времени эту книжечку даже не открывал, и правильно, потому что одно только заглавие проделало в нем настолько огромную работу, что он понял это словосочетание «история — мысль» как природу и естественность. Ну, конечно: если мысль обладает историей, значит, она природна и естественна, как любой другой сущий предмет, как вся природа. Ведь природа — тоже исторична, а без истории ее попросту не бывает!

Ведь геологические напластования, растительность, животный мир, человечество — все имеет историю своего возникновения и развития, и вот мысль тоже ее имеет. Значит, никаких сомнений, мысль — это природа!

И так же, как в природе возможны открытия Ньютона, Менделеева и Колумба, так же возможны они и в самой мысли. И тут тоже нужны Колумбы...

Боже мой, а он-то не знал, зачем он долгие зимние вечера слушает и слушает споры-разговоры взрослых о предстоящем общественном переустройстве России, о грядущем прогрессе, о власти техники над человеком, о новых открытиях науки...

Ведь семья, в которой рос Корнилов, единственный ребенок, адвокатская семья, либеральная и состоятельная, известная в Среднем Поволжье, единого вечера не обходилась без гостей, без разговоров на «общественные темы»...

Он-то думал, что все это от непроходимой человеческой глупости и неестественности, оказывается, это было от природы, по ее запросу.

Он-то не знал, зачем он переходит из класса в класс реального училища с хорошими баллами по всем предметам, кроме закона божия и гимнастики,— гимнастика была обязательным предметом в реальном училище.

Он-то и не знал, зачем летние дни в усадьбе родового владения матери он проводил в чтении и в созерцании окружающего мира — небес, деревьев, птиц, букашек, трав...

Все стало ясно, когда ему наступило четырнадцать лет, и он уже начитался и надумался до такой степени, когда человек перестает понимать, чего ради он читает и думает, но тут-то ответ пришел — ради того, чтобы соединить мысль с природой! Чтобы мысль была так же естественна и очевидна, как любое другое природное явление.

Это открытие мира и открытие самого себя было великим и благостным: ему стало легко, а в то же время значительно жить.

Он слышал, что детство счастливо своею безмятежностью и бездумностью, но эти слухи к нему лично никак не относились, он жил как бы наоборот со своими сверстниками — ему давно уже не хватало мысли, которая давала бы ему право на дальнейшее существование.

И еще многое-многое другое в заглавии книжки приводило его к тому же трепетному чувству открытия...

К Колумбову чувству!

«Общественная мысль»!!— но ведь это же пока что не более чем идеал, и люди, только заблуждаясь, думают, будто они обладают им, в то время как в действительности существуют мысли враждующих союзов и кланов, а мысли всечеловеческого общения общества, всего человечества все нет и нет!

Но если мысль природна и человек природен, тогда как же он может не добиваться этого идеала, то есть мысли подлинно общей и подлинно общественной?

И снова требуется Колумб.

«Русская общественная мысль»?.. Правда, тут уже есть нечто, есть противоречие, которое юный Колумб не сразу преодолел: общественная, а в то же время только русская?..

Но, с другой стороны, надо же с чего-то начинать? С каких-то ориентиров? Нельзя же постигнуть все и сразу же?

Надо начинать с самого себя, он сам, Петруся Корнилов, был человеком русским, значит, вот она, его отправная точка.

Колумб тоже был только испанцем, но открыл Америку для всего человечества. Петруся Корнилов был только русским, но он обязательно откроет великую, величайшую мысль всех народов!

Он никогда не считал себя дураком, а умным мальчиком всегда, и вот научился думать о своей мысли, как о самом себе.

Когда же он этому окончательно разучился, он не помнил. Наверное, на войне.

Память удерживает только приобретения мысли, но не ее потери.

Вполне возможно, что все эти чувства и неотчетливые соображения, возникшие в юном Колумбе при встрече с «Историей общественной мысли в России», были несколько иными. Не совсем теми, какими они представлялись ему нынче, спустя много лет: что-то к ним присоединилось с тех пор.

Ведь много-много лет, в течение которых он жил, взрослел, старел, уходил во всеобщую и в свою собственную «бывшесть» (кажется, даже не без чувства благодарности к ней), опыт его взрослой жизни и мысли хоть краешком, хоть тайно, а все равно присоединялся к тому первому, к детскому и Колумбову открытию, так что со временем нельзя уже было отделить одно от другого — открытие от всего того, что когда-нибудь к нему присоединялось.

И нужно ли это было — отделять?

И бывает ли когда-нибудь иначе, бывает ли, чтобы открытие, совершившись, стало неприкосновенным памятником?

Тем более что и открытие, и все, что к нему присоединяется позже, все это одно и то же, все — надежда. Мысль — надежда, и мир — надежда, и война — надежда на то, что ты останешься жив, надежда на естественность и природу вещей, на то, что, как бы ты ни поступал, о чем бы ни думал, ты все еще природен и все еще терпим в природе вещей.

Так или иначе нынче, спустя столько лет, он уже не был в состоянии представить себя Колумбом, но тогда-

то это было не только просто, но и необходимо для него, это было той естественно исполнившейся необходимостью, на которой он даже и не подумал остановиться, признать ее конечной, наоборот, она была лишь средством дальнейшего движения его мысли в...

Тут Колумб и пришел к мысли о боге.

Есть ли бог или его нет, то есть следует верить в него или не следует, это было слишком просто, об этом маленькие дети спрашивали друг друга: «А ты в бога велишь? Я — не велю!» Он же давно уже не был ребенком и спрашивал иначе — должен быть бог или его не должно быть для человека?

Если бог истинно нужен людям, если он нужен им, как нечто общечеловеческое, без чего они попросту погибнут, тогда это нечто будет открыто, тогда человечество обязательно определит то проявление природы и мира, от которого оно возникло, в котором существует, в котором надеется существовать, если же бог нужен, но не очень и не всем, он запросто может и затеряться где-нибудь в галактиках, стать известным лишь кому-нибудь, но далеко не всем, а какой же это бог, если он известен не всем и не все с ним считаются, не все в нем, единственном, истинно и неизменно нуждаются?

Правда, тут он не удержался от соблазна своего собственного величия, от догадки о своей избранности. «Ведь человек,— подумал он,— человек, открывший бога для всех, есть кто?..»

Вот что он подумал однажды и как будто не очень заметно для самого себя, а потом, слушая священноучителя на уроках закона божия, нет-нет да и догадывался: «Это обо мне!»

Тем более что учителем был молодой, красивый и темпераментный священник, человек высокого ума и образованности.

Первый результат догадки — Колумбу захотелось погрозить всем взрослым людям указательным пальцем, да еще и таким, чтобы он был подлиннее и с ногтем торчком, в виде надменного восклицательного знака: «...вот я вас!» Ему казалось, будто все взрослые незаметно забывают свое самое первое, самое праведное предназначение, которое приходило к ним в свое время, в детстве, так же как пришло к нему, но они это свое предназначение забыли, а он один нет, не забыл и никогда не забудет — вот в чем все дело!

Отсюда, по этой причине, по этой забывчивости и слабости и беды взрослых людей: они предпочитали становиться адвокатами, ну, и еще бог знает кем, вместо того чтобы быть мыслителями-колумбами.

Забывчивость же эта, по-видимому, происходила от множества слов, которые люди произносили даже не столько друг для друга, сколько для самих себя. Во всяком случае, юный Колумб-мыслитель изо дня в день видел и слышал сотни говорящих людей, но молчаливо задумавшихся — никогда. Вот и в реальном училище тоже ни один учитель не сказал своим ученикам: «Посидим и молча подумаем, потом отверзнем уста и расскажем друг другу, кто и до чего додумался...» Нет, учителя настолько привыкли говорить, настолько считали слова обязательными для себя, что если замолкали на минуту и в классе воцарялась тишина, так эта тишина тут же становилась тягостной и ученики подозревали учителя в том, что он не знает того, что обязан знать.

Исключение составляли контрольные по математике, тут класс погружался в решение задач в соответствии с теоремой Пифагора или биномом Ньютона или еще какими-то правилами, но и это были далеко не самые приятные минуты, это тоже было насилием, потому что никто не имел права подумать о том, что в действительности было у него на душе и на уме, а каждый был всеми силами привязан только к Пифагору. В старшем классе — к Ньютону.

Этого порока, этой безумной страсти к слову взрослые не только не замечали, но и разогревали в себе эту страсть до неимоверных пределов. То и дело сетуя на отсутствие свободы слова, они не понимали комизма своего положения, и вот со счастливым выражением лица отец говорил: «Вечером еду к адвокату Блудницкому — есть о чем поговорить!»; мать: «У нас будет Анна Александровна с мужем — хотят поговорить...» Отец и мать гостям: «Пожалуйста, проходите в кабинет — посидим, поговорим!» Гости отцу и матери: «Здравствуйте! Ах, как давно мы с вами не беседовали!» Они не понимали, что с некоторого времени он плевать хотел на все эти разговоры о том, что царь Николай Второй — дурак, но монархия сама по себе не дура, тем более если она будет конституционной; что религия вредит образованию и поэтому надо сделать так, чтобы она не вредила, а способствовала ему; что война без-

нравственна и поэтому ее не должно быть, но она вот-вот все равно будет; что спиритизм — это ерунда, но за ним скрывается что-то серьезное; что священник Иоанн Кронштадтский только кажется серьезным, а на самом деле тоже ерунда, но такая, с которой нынче нельзя не считаться; что 134 депутата Думы, члены кадетской партии, подписавшие «Выборгское воззвание» и в большинстве своем приговоренные затем к ссылке, сделали нужное дело, последствия которого в то же время могут быть и отрицательными; что...

Кто-кто, а юный Колумб любил думать молча и над такими проблемами, перед которыми и Николай Второй, и депутаты-кадеты, и спиритизм были сущими пустяками... В самом деле, сначала надо узнать, что такое мысль, для чего она, к какому богу она должна привести, а потом уже и разговаривать о Николае, о спиритизме, обо всем, о чем действительно стоит разговаривать.

Вот он и думал, юный Колумб, о том великом нечто, от которого зависит все остальное, а взрослые, если заставали его за этим занятием, обязательно и с удивлением спрашивали: «Ты что это без дела-то сидишь? Как не стыдно?! И глаза вытаращил!»

В ответ он ставил над взрослыми такой опыт: говорил какую-нибудь ерунду и при этом дико вытаращивал глаза. Никто вытаращенных глаз уже не замечал, а заметив, относился к вытаращенности вполне благосклонно: «Ах, какой восприимчивый мальчик!»

Он действительно умный был мальчик, знал это о себе и не только знал, но и умел легко и просто хранить свою тайну, и, когда ему что-нибудь объясняли, например «бог есть, но его нет, потому что его никто никогда не видел и не увидит», он думал про себя: «Вот подождите-ка, вырасту!» — и действительно вырастал, бережно сохраняя в себе ту нормальность, которая одна только и позволит ему когда-нибудь поговорить с богом накоротке. Ведь бог, если он нужен, он не сумасшедший и не сумасшествие, а воплощение нормальности. Ведь он — это высший разум, ведь он самый высший закон и порядок?! Беда в том и состояла, что бог попал в руки ненормальных людей, не столько думающих, сколько говорящих, верующих фанатиков и фанатиков атеистов.

Бога надо освободить от слишком разговорчивых людей, вот в чем дело. Освободить от всего лишнего, но

оставить его мыслью исторической, общественной, главной во всем на свете.

Такой был этот новоявленный Лютер — крохотный реалист...

Корнилов долгое время был очень небольшого роста и только в последнем классе кое-что наверстал.

После своего открытия он стал учиться так себе, ни двойки, ни пятерки, к ужасу взрослых, больше не волновали его.

Он если и влюблялся в гимназисточку из соседнего дома, в свою кузину-курсистку, когда она приезжала на каникулы, или в дочку прислуги Аннушки, так и это не очень сильно усложняло его жизнь. «Вырасту, доберусь до бога, а тогда, само собою разумеется, полюблю умную!» Его тревожило другое: нужно было вырасти, но остаться таким, каким создал его бог для предстоящей встречи с ним.

Так шла бы себе и шла его жизнь-мысль, уверенная в себе и во всем мире, но однажды случилась катастрофа, он открыл-таки книгу под названием «История общественной мысли в России» и стал читать ее постранично, построчно, пословно, а чем пословнее он читал, тем больше убеждался в том, что в книге этой была кое-какая история, вернее, хронология, кое-что русское, например, русские имена и фамилии, в каких-то частностях было немного чего-то общественного и совсем не было мысли.

Он был поражен.

То есть как была она поделена между людьми повсюду в жизни, мысль, так же была поделена она и здесь между точками зрения, между авторами и авторитетами, между школами и направлениями, ну, а поделенная, она и вообще могла не принадлежать никому, кто сколько хотел и мог, ровно столько ее и приобретал, можно было и совсем обойтись без приобретений, а чтобы мысль была необходима всем без исключения, как воздух, чтобы она была неделимой, этого не было и в помине! Вот так общечеловечность, ничего себе!

Таких обрывков и клочков общечеловечности он вот как — по горло! — наслушался в разговорах присяжных поверенных, государственных служащих, на уроках закона божия и на других уроках, так ведь чего-то ради он уходил от этих разговоров, чего-то ради грозил бездельникам: «Вот подождите, вырасту, созрею, уж тогда я вам...»

Он был поражен.

А теперь чего «я вам»? Теперь ничего другого не оставалось, как признать за бездельниками их превосходство, а за собою поражение.

Вот какую ошибку, какую небрежность — детскую, незначительную, а в то же время огромную — он допустил: ему бы прочесть «Историю...» сразу же и от корки до корки, но он все откладывал и откладывал этот праздник, все боялся и боялся помешать чтением свершению собственных, так явственно зреющих в нем открытий, которые состояли, как понимал он теперь, задним умом, в предчувствии главной мысли... Оказалось, что главной-то и нет не только в «Истории...», но и у него самого, что предчувствия были самообманом, самонадеянностью, самоутешением, еще и еще «само», и нигде — общечеловечностью... Он снова оказался один на один с заголовком «Истории...», но заголовок этот был уже только лозунгом, за которым не оказалось ничего, что доказывало бы его и утверждало.

Он даже и на автора «Истории...» не очень обиделся, должно быть, автор прошел через тот же самый искус и через то же самое заблуждение: лозунг его прельстил, лозунг он напечатал жирным шрифтом на заглавном листе своей книги, а шрифт, обычный, нежирный, оказался бессильным наполнить его истинным смыслом.

И так юный Колумб перестал им быть, впрочем, время шло, он уже и не был очень-то юным и удивился тому, как легко принимает человек свои предчувствия за чувства, свою практику за мечту, а мечту за практику, свои предзнания за знания, и бросился на поиски потери, живое тепло которой он все еще продолжал явственно ощущать в своих руках, во всем своем существе, но что бы, где бы и у кого бы он ни читал, все было не то, все ничуть не соответствовало той общечеловечности, с которой он начал осознание и самого себя, и мысли вообще. Даже в энциклопедиях и в тех не оказалось такого понятия — «общественная мысль». Были общественно полезный труд, общественно опасные действия, общественные организации, общественный порядок, было «общество равных» и «общество соединенных славян», но общественной мысли не было, должно быть, составители энциклопедий считали ее слишком большим, прямо-таки необъятным понятием, или же понятием ничтожным, не заслуживающим их снисходитель-

ного внимания. И в церковных книгах и в Коране то же самое: бог, промысел божий, но где же мысль? Не христианская, не исламская, не исключающая одна другую, а обязательная для всех, для каждого?

Настали трудные времена.

Настолько трудные, что, кажется, только нынче на семенихинской скважине Корнилов понял всю их трудность, а еще понял нынче он, что именно тогда-то, в те времена, он был особенно близок юноше Ване.

Ваня тоже ведь искал мысль общечеловеческую и общеобязательную, и она явилась к нему кошмаром «Книги ужасов», ужасов насилия, бессилия, а также блудного слова, но все равно они были когда-то в одном поиске, и вот спустя столько лет Корнилову показалось, что Петя и Ваня находились когда-то в одном доме, в одной квартире, только в разных комнатах... Помнилось ему, за стеной, у жильцов-соседей, кто-то тогда сильно кашлял по ночам, так это, наверное, Ваня был, он и кашлял. Интересно, как выглядел-то юный Иван Ипполитович? Нынче казалось, будто Иван Ипполитович никогда юным не был, да и не мог быть, но ведь был же?!

Был такой неуклюжий, некрасивый, невежливый, нелюдимый, недобрый и все-таки юный Ваня?

Впрочем, и хорошо, что они тогда не встретились, Петя с Ваней.

Есть такие состояния юности и юной мысли, когда они должны оставаться один на один с самими собой для того, чтобы укрепиться или же чтобы развиться во что-то иное и дальнейшее.

Трудное время продолжалось год, за этот год он и почувствовал границу между возможным и невозможным мышлением в самом себе, потому что все время думал над тем, как его мысль должна понимать себя, как должна она различать то, о чем она может и вправе догадываться и чего не может и не должна касаться, так как, переступив свои возможности, мысль погибнет, превратится в нечто противоположное самой себе.

То есть он выработал в себе ту мысль, которая есть отношение к собственной мысли. Мысль, друг человека, легко оборачивается врагом самой себе — вот что он постиг тогда и ужаснулся.

Между прочим, отношение к мысли, как он выяснил, оказалось вопреки первым впечатлениям очень чувственным, а в то же время требовало точности. С мыслью

о мысли надо было взять правильный тон, может быть, даже немного иронический, но опять-таки не дай бог — фамильярный, с ней надо было держать ухо востро. Он даже не знал, а кто вообще-то это умел — без ошибок с ней держаться? Чехов, что ли? Антон Павлович? Во всяком случае, никто другой ему не припоминался.

Впрочем, юноша Корнилов тоже оказался не промах — нет!

Нет, и когда реалист стал студентом-естественником Петербургского университета и отец снял ему прекрасную квартирку из двух комнат на 5-й линии Васильевского, и он вошел туда, в эту квартирку, одетый в новую университетскую форму, только что безо всяких затруднений — опять-таки к полному недоумению родителей — сдавший вступительные экзамены, он опять нисколько не сомневался в том, что именно здесь, в четырех уютных стенах, он исполнит наконец свое предназначение, что...

Да что там говорить, так и было, он увлекся натурфилософией, он стал приват-доцентом, он снова верил, что еще лет десять, не больше, и его нормальность создаст ту общечеловеческую мысль, которую не могли создать все, вместе взятые, ненормальные гении, но тут объявился кайзер Вильгельм Второй со своим «немецким духом» и с угрозами всему не немецкому. А эти угрозы и натурфилософу было не под силу перенести спокойно.

И он решил сначала свести счеты с нахалом, а потом снова вернуться к самому себе, к мысли общественной, которая, будучи таковой, не побоялась бы ни самой себя, ни любой другой мысли о себе.

Как раз к этому времени у него наконец-то возникло подозрение: не маловато ли он, в самом деле, пожил и повидал — повидал человеческих страданий, лишений, жизни и смерти? Не мало ли для той задачи, которая перед ним стояла?

Так оно и было: наступило время совершить серьезную и поучительную экскурсию в жизнь, в войну и в мир, а уже после этого вернуться в свою, сначала студенческую, а теперь приват-доцентскую квартирку на Васильевском, он ни за что не хотел оставлять этих комнат хотя бы и по причинам своего возвышения в науках. Он вернется именно сюда с сознанием того, что он воткнул-таки перо немецким философам — они-то со

своих кафедр носа не показывали, вот им и удавалось приблизить людей к миру ровно настолько, насколько они тех же людей от реального мира отчуждали.

Так он решил и отправился в свое и самому себе заданное испытание, которое хотел предпослать окончательному Разговору, несмотря на то, что и без предпосылок он был уже ко всему готов, а его Собеседник никаких предисловий, никаких испытаний от него не требовал. Но — мало ли что! — собственная совесть требовала и люди в любой момент могли от него этого потребовать тоже, люди-то куда-а-а требовательнее и привередливее всех на свете богов, и вот он, реалист, должен был с этим считаться.

Коротко: 14-го по старому, а по новому стилю 27 февраля 1915 года он отправился в свою экскурсию, да так и не вернулся до сих пор.

Еще короче: и не вернется!

Это теперь уже ясно как божий день! Ясно, что он вечный экскурсант!

Вот если бы увязаться в качестве какого-нибудь секретаря-счетовода-денщика вместе с Барышниковым в очередную его поездку по делам окружного Маслосоюза и непосредственно семенихинской «Смычки» в город Петербург-Петроград-Ленинград, да и заглянуть бы, будто ненароком, в квартирку на 5-й линии Васильевского острова — кто там его ждет? Какой Собеседник?

Заглянуть, сообщить Собеседнику, так, мол, и так, оказывается, я жив-здоров, и не тряхнуть ли по этой причине стариной, не побеседовать ли?

Так ведь нелепо беседовать-то, когда ты в двух лицах: Николаевич и Васильевич! Какая уж тут искренность, какая доверительность? Какая убедительность?! И неловко, и рискованно: знакомых слишком много в городе, кто-нибудь да признает в Николаевиче Васильевича?!

Нет уж, пускай там, в двухкомнатной на Васильевском, ничего не подозревая, проживает какой-нибудь совторгслужащий, а то даже и пролетарий-выдвиженец... Пускай их... Бог с ними!

Такое состоялось умозаключение: «Бог с ними!»

Он же, теперь уже бывший приват-доцент, как пошел воевать, пошел искать предисловие к главному предмету своей мысли, так и ходит, и ходит, и ходит до сих пор, хотя уже ничего не ищет.

Ни предисловия, ни предмета... Тем более — заключения.

Тем не менее нынче обязательно надо было откуда-то набираться сил, чем-то утешаться, и вот Корнилов утешился тем, что давно уже считал «бывшестью». Не совсем уж зря она существовала, «бывшесть»! Не зря.

И спустя несколько дней Корнилов спросил бурового мастера:

— Откуда? Откуда этакая идея? Ужасная идея ужаса?

Опять было светлое солнце, и день был нелегкий на скважине — плывунов не встретили, но грунт все еще шел супесчаный и повышенной влажности, проходили его змеевиком и желонкой. Корнилов учился уму-разуму, снова убеждаясь в высокой квалификации мастера, который казался будто бы ко всему на свете безразличным, а тем не менее что-то придумывал, как-то приспосабливался ко всему тому, что было там, в глубине суглинков, супесков и пока еще слабых, но очень вредных для дела грунтовых вод, и сам ворочал трубы, штанги, тали и домкраты с силой необыкновенной... Грузное, неловкое и даже нелепое его тело обладало огромной силой, а временами, когда это было необходимо, вдруг проявляло и быстроту, и ловкость.

— Книга ваша мне претит,— продолжил Корнилов разговор, который был между ними три дня назад.— Не могу с ней согласиться, с «Книгой ужасов», хотя и не видал ее, не читал и не прочитаю никогда ни строчки! Но не могу согласиться с ее существованием! Как случилось, что вы ее придумали? Никому же не приходило в голову! Никому на свете!

Спрашивая, Корнилов подумал, что мастер отвечать не будет, уклонится, сохраняя ему одному известную тайну и собственное, никому не свойственное устройство психики и ощущений всего своего организма, но он ошибся, по лицу мастера пробежало подобие не то чтобы улыбки, но удовлетворения... Как будто здороваясь, он приподнял на голове замызганную свою кепочку, вроде бы слегка поклонился и сказал что-то похожее на «с добрым утром». Потом уж и заговорил, отвечая:

— Конечно-с! Огромный в этом заключается интерес — что за человек таким вот, не стесняюсь сказать, таким вот-с единственным во всем мире писателем мог

оказаться? Когда не ошибаюсь, именно это вас непременно интересует? Могу-с пояснить... Люди — они ведь какие? Они так себе интересуются друг другом, они один другому не предмет для глаза и для слуха. Вольно они интересуются только лишь собою и для себя, а поневоле всеми другими. Но спрошу вас: и что же-с? И хорошо ли они от этого знают сами себя? Да нисколько не знают! И даже наоборот, чем более сами собою интересуются, тем меньше себя знают! Потому что — вот какая странность!— человек узнает себя не через себя же, а перед каждым из нас все время и неизменно находится как бы еще и другой, посторонний человек, однофамилец наш, так скажем, и вот ему-то мы и доверяем наблюдение за собою. За каждым своим шагом, за каждым вздохом. Но ведь этот сыщик и наблюдатель — он кто? Он тоже вы, больше ему некем быть. А затем сумма: вы — это и есть те двое. Они оба-два считают себя чрезвычайно настоящими, ну вот как эти деревья — вот это и вот это на самом деле? На самом деле существует один, другой же — для ложной идеи, для того, чтобы было кому произнести слово упрека и совести, осудить, похвалить, поддержать в иную трудную-с минуту того, первого. Так вот, теперь скажу о себе: я всегда один! Непременно один... И это от бога. И получилось оттого, что я свою жизнь с детства не принимал как настоящую, а для ненастоящей и нестоящей другого наблюдающего глаза и не потребовалось. Зачем? И еще получилось это, говорю вам доверительно-с, что вот она моя жизнь, но тут же и нет ее, осколки лишь от других жизней. Объедки. Остаточки. Так начал я себя — человеком презренным и даже вовсе не человеком. Но потому, что я принял такое начало, я уже в раннем возрасте понял мое великое предназначение... Понимаете ли вы меня? А то я могу в другой раз. Досказать?

— Нет-нет,— с поспешностью сказал Корнилов,— зачем же? Продолжим! Мне отчасти — отчасти!— это даже знакомо. И понятно!

— Ага, значит, я вас интересую — склада необыкновенного писатель?! Интересует, что я знаю о себе?! Как понимаю в себе писателя? Ведь в каждом, позволю заметить, писателе самое главное то и есть, как понимает он себя. Вы мне симпатичны-с, должен сказать. Кроме того, мы ведь совладельцы, мы-с коллеги в истинном смысле... С вами у меня, я чувствую, и разговор может

быть истинный — с большой буквы — Р-разговор! А с другими нет. Я неразговорчив, потому что мысль у меня единственная — о моей книге. Я ее для человечества создаю, но и при жизни моей у меня должен ведь быть читатель? Ну, хотя бы десятеро должно быть читателей при жизни у великого писателя? Хотя бы один. Сумасшедший — он почему сумасшедший? У него одна какая-то мысль, собственная, своя от начала до конца, вот он и не нужен становится никому и ему не нужен никто, ежели только не разделит с ним его единственную мысль. Ну, а я лично не нахожу собеседников еще и по причине, что я есть человек проницательности необыкновенной: я слишком угадываю в человеке его тайное

— Ну, как это так! Как же вы угадываете?

— Очень-с просто, к вашему сведению. Ежели знаешь, что искать, обязательно найдешь. И я нахожу и вот уже высказываю человеку, сколь глуп и низок он сам и даже какая гулящая у него жена, какие глупые и недостойные у него дети. И даже каким способом он все это от других скрывает и мнится окружающим счастливчиком-мужем-с, довольным отцом и сам себе то же самое. Иначе сказать, я очень способен-с открывать человеку его собственный ад. А вот для начала, только для начала самого угадываю в вас моего читателя. Непременного.

...Страшновато стало Корнилову. Снова и снова неловко стало ему перед неуклюжестью и неловкостью бурового мастера, перед его оплывшим лицом в пятнах, перед замызганной кепочкой.

Самое трудное было не спросить: «Ах, вот как? В таком случае разгадайте меня! Не для начала, не для книги вашей, а всерьез разгадайте! Ну-ка?»

Корнилов спросил:

— А если нет в человеке ада? Если нет и нет?!

— Есть!— уверенно подтвердил мастер.— В каждом. В каждом взрослом человеке он есть. Может, в ребенке его нет, так ведь и т кто это знает-с?! Может, недомысленность детская и есть крохотный такой и премиленький ад? Есть он, и, поймите меня правильно-с, человек без ада никак не может обойтись и создает его сам, можно сказать, своими собственными руками и усердием, и душою собственной. У каждого это есть, имеется: адолюбие, адотворчество, адомания — как хотите можно этакое повсеместное и неизменное увлече-

ние обозначить и назвать. Вот позвольте вас спросить-с, уж на что умен, на что к добру и злу чувствителен был граф Лев Николаевич Толстой, а разве не сотворили они сами себе ада? Ежели пришла охота посходить с ума, читайте дневники семейства Толстых. Мыслитель был, но ведь до чего невоздержанный мыслитель, до чего адолюб! Не говоря уже о Федоре Михайловиче...

— Вы о Достоевском?

— Само собою! Ну, и Пушкина тоже взять во внимание, Александра Сергеевича, уж на что светлая душа, а не избежал... Почти не избежал, все по краешку ходил. И дошел бы, когда бы не погиб преждевременно! Или Михаила Юрьевича взять, он более, чем другой кто-нибудь, был рожден поэтом и, следовательно, к аду был совершенно близехонько! О Байроне, о Джордже, о том и разговора нет.

— Это не ад. Это мучения нравственные, то есть нечто совсем другое.

— Ах, Петр Николаевич, Петр свет Николаевич — названия произносите разные — шалите, балуетесь названиями? Мысль ваша прыгает туда-сюда ровно заяц, вот ей и легко заняться исказительством. Факт имеется один — ад имеется в каждом из нас, но вы как вам нравится, так и называете факт, искажаете его, ищете, как бы им пренебречь. И это в то время, как вы обязаны не только сами понять, но и другим всем сказать и крикнуть; один есть всего способ упредить ад каждого и во всех — это возвести страх в божество и власть над собой вручить ему! И меня послушать и задачу от меня божественную принять во всем величии ее и воззвать ко мне поболее, чем к Толстым и Достоевским и прочим Гофманам.

— В наше время ничья жизнь никому не в удивление и не в пример!— заметил Корнилов.— Никому!

— Нет-с, мне в самом что ни на есть в малом нужен был громадный ужас... И он таки у меня был, хотя я все еще его взыскую... Война там либо плен, либо под расстрелом быть, голодать, помирать — это все пустяки-с. Потому что — для всех. И за год, за два, за десять проходит, то есть всему этому имеется срок. А что имеет срок, то уже пустяки. Нет, я как себя помню, так жили мы с мамашей и со многими сестрами ее в двухэтажном доме о восьми комнатах и все не могли по разным квартиркам разъехаться и дом тот между собою поделить: он наследственный был, но завещание на него неправильно

было составлено и ни поделить, ни продать его никакой не оказалось обыкновенной возможности. Ну, а на необыкновенное, хотя бы и очень малое что-нибудь ни мамаша моя, ни ее сестры способны отродясь не были, так случилось. Я это к чему? Была у меня в том доме кузина Ариадна, немногим и старше меня, но гениальный был ребенок в смысле адотворчества. Ну, не было, поверьте-с, такого пустяка, чтобы она из него ада не умела бы сделать... Ей за чаем конфетку дают, а она, не говоря ни слова, на пол в истерике... У нее допытываются: почему? Ей, оказывается, две конфетки надобно либо одну, но которая поменьше. И вы думаете, больная? Да ничуть не бывало, а вот усвоила в раннем детстве, сколь необходим людям ад, сколь быстро они в него вступают — только пальчиком помани, только позови одним словом... Она властным была ребеночком, к наукам способным весьма даже посредственно, но очень умным, вот и поняла самое главное-с. Ах, какой, припомнить, театр она со всеми нами разыгрывала, не глядя, что и другие актеры в многочисленном нашем доме тоже находились! Но они уже на вторых ролях при ней находились и даже статистами. Или же вот такая пиеса, такой театр: я, бывало, утром ранец за плечи и спешу в гимназию, в третий там, в четвертый либо в пятый уже класс, а она в тот ранец вцепится ручонками, а когда подросла, так и миленькими такими ручками, головою же о ранец бьется: «Не хочу, чтобы Иванушка нынче шел в класс, не хочу, не хочу и не хочу!» И вот я остаюсь дома и провожу с нею день-деньской, забавляю-с ее всячески. Она, Ариадночка, по этой же своей способности уже в шестнадцать лет мужчину в дом привела, моего же сотоварища по гимназии, только чуть старше, а в девятнадцать уже другого, а в двадцать один третьего, и мы все, всеми семействами перед ними тоже трепетали, будто перед королевичами, потому что — Ариадночка! А уж бант ей на голове мамаша завязывала в детстве либо примеривать платье при третьем уже королевиче — так это, ни дать ни взять, мировая война, и мамашу свою собственную только что с верхней полки она не посылает, а потом требует к себе тетушку, то есть мою мамашу, и так всех, покуда тетушек не уходит до потери ихнего сознания, до тех пор не отступится ленты вокруг себя швырять, ножками топать, слезками горькими заливаться. И ежели день-другой никто с ума в доме не сходил, у нее грусть являлась и печаль, и, по-

верите ли, и у нас у всех то же самое, и, когда Ариадночка уезжала куда-то погостить, мы все не знали от той же печали избавления... Да-с... А один был королевич, в тех же способностях оказался и даже Ариадночку превзошел, снискал себе наряду с нею другую любовницу и поселил ее во флигелечке, флигелек у нас был такой крохотный, почти что нежилой, в него больше после этаких вот пиесок плакать бегали, чем просто так в нем жили. Да боже мой, какие бывали пиески, какие водевили! Объявлена война с Японией — водевиль, с Германией — водевиль, кто-то из лавочки три фунта колбаски принес — водевиль; тотчас одна из тетушек уже заявляет: «Мне, кстати говоря, через полгода на панель уже придется пойти из-за таких вот глупых покупок!» Ну, и не принеси той колбаски, тот же, разумеется, результат, снова панель, потому что не принесли! Мой племянничек, Виктором был крещен, тот на гражданскую мальчиком ушел, у кого только не воевал — у белых, у красных, у зеленых, у казачества,— а подаст весточку с какого-либо фронта — всегда с удивлением: я в кого-то стреляю, в меня кто-то стреляет, но ада все равно нет и сон хороший! Ну, правда, убили-с и его уже в тысяча девятьсот двадцать первом году, не знаю, на каком фронте. И далее...

— Подождите!— остановил мастера Корнилов.— Но не вся же ваша жизнь прошла в том доме на восемь комнат! Не вся при Ариадночке?! Была же и другая жизнь?

— Ну, конечно, была! Однако же главное во всем — это начало... Потому что, хотя бы и революция, хотя бы и отряхнет она прах с ваших ног-с, все равно от своего собственного, богом данного начала и ада никуда человек не уйдет.

— Уходит!

— Не уходит, нет! А кому если удается не уйти, нет, а только спрятаться от своего начала, тот уже изменил себе и богу, от того уже не жди, чтобы он исполнил свое истинное назначение, тем более чтобы стал бы писателем-с. Нет и нет, для этого надобно исполнить предназначение начала... Ну, конечно, есть писательство невеликое, оно действительно может понимать себя в том смысле, чтобы всяческие метаморфозы своей личности выдавать за талант, но это все низость, не более того, это к подвигу совершенно неспособно-с, а есть лишь пиеска о жизни и вовсе не самая жизнь. Это книгу жизни ни-

когда не создаст, а будет ее чураться и тайно трепетать перед нею... Потому-то все таланты и есть передо мною ничтожества, когда я писатель истинный, писатель одной-единственной и самой ужасной книги, никогда и ни в чем не изменивший своему началу.

— Так ведь жизнь — не одни же все-таки ужасы? Ведь были же и у вас другие дни и переживания? Зачем же...

— Вы, поди-ка, хотите узнать: любовь-с была ли? Могла ли она вообще быть у человека, который нынче перед вами находится? В таком-то вот облике! С такими-то мыслями! С таким-то писательством! Так я скажу: была! Женщина-с была, женой мне стала, иконою мне стала, но ей мало того оказалось, и вот она еще и спасительницей захотела мне стать, спасительницей от моего предназначения! И тут произошло: меня спасать — это значит погубить! Меня спасать — это значит не меня уже любить, а что-то вовсе другое! И когда она хотела спасения ради отрешить меня от книги, которую я с отрочества понял, и когда она поняла, что не под силу ей это и никому не под силу, она, не откладывая дела, полюбила-с другого, причем, сама того не понимая, полюбила тем ужасным образом, который только ко мне одному и мог быть применим...

— К вам?..

— А в вагоне это произошло. В телячьем вагоне, теплушкою еще называемом... Мы беженцами ехали в Сибирь, из-под Самары от красных уходили, и вот она в двух вершках от меня за ситцевой занавесочкой любила другого. Ну, конечно, ежели она не вышла мне во спасительницы, чего же ей оставалось?! Ну вот на театральную сцену бы те звуки и шепот тот, который я за занавесочкой слушал под стук колес, а также и на тихих полустанках, где поезда часами простаивали. Они, конечно, все ж таки ждали, когда поезд тронется. «Вот сейчас, вот еще через минуту и пойдет, и застучит колесами, и не слышно нас будет, вот уже от паровоза и третий гудок был!» Но в ту пору ведь как — и после третьего гудка сутки мог состав находиться без движения, вот как!

— Почему же они не ушли от вас? В другой вагон хотя бы?

— Легко сказать! Да что вы, маленький, что ли? Забито же все донельзя, а у него дети были, у любовника ее, трое детей... Да кто же с ним поменяется местами,

когда он с детьми? И с женщиной? Все же в любом вагоне, в любом углу понимают этакое для себя неудобство... Вагоны-то телячьи, они все были такими же занавесочками поделены, квартирками отделения назывались, и сменять квартирку больши-и-их средств требовало, причем отнюдь не денежных. Это-то вы понимаете, надеюсь?

— Ну да, на хлеб менялись либо на тряпки, чтобы их после обменять на тот же хлеб...— подтвердил Корнилов, а мастер и еще сказал:

— Не так уж обязательно на хлеб... Яички тоже были в хорошем ходу. Чай. Кофе. Картошка.

— Ну, а тогда вы сами бы ушли. В другую какую-нибудь квартирку. В другой вагон.

— Мне нельзя — я ужаса себе должен был желать как можно более! Сами посудите: когда я писатель той единственной в мире книги, разве мог я себе позволить убежать из этого прочь?! Да никогда! И вы знаете, оправдалось мое терпение... Потому что как раз в те часы и стал ко мне являться он... Не догадываетесь? А ведь упоминалось уже нынче между нами имя-с... Он — Федор Михайлович!

Будто бы застучали под ногами Корнилова колеса, пошатнулось что-то и заскрипело... Под этот стук и скрип он и спросил:

— Достоевский?

— Ну, разумеется! Кто бы это еще мог другой? В тех обстоятельствах? У нас ведь, у русских, как? Ни Канта, ни Гегеля, даже наполеонов и бисмарков и тех нет, разве что Петр Первый на заре нашей юности, а за все в ответе Толстые и Достоевские. С кем же тогда и собеседовать, как не с ними?

— О чем же вы собеседовали? При самой первой встрече хотя бы?

— При первой?.. Я-то их все ж таки убить хотел. Мою жену и его. У которого трое детей... Я подумал — и это мне тоже предназначено сделать... Опять же ради моей книги.

— А он? Федор Михайлович?!

— Не позволил! Сделал руками вот так-с,— мастер сначала как бы оттолкнул себя руками от кого-то, а потом себя же перекрестил,— вот так сделал и сказал: «Нельзя!»

— Вы послушались?

— Вот, случилось...

— И с тех пор он что же, вами руководит? Федор Михайлович?

— Нет-нет! Только раз было, только раз он мною и руководствовал, а затем уже я им, непременно я, но никак-с не он мною!

— Вы?

— То есть обязательно!

— Объясните?

— А зачем? Вот когда вы мою книгу хотя бы однажды почитали, то я бы перед вами объяснился. А без этого?

Все время, все время этой беседы тяжело и не по себе было Корнилову: «Ну вот, дождался собеседования! Дождался собеседника! После многих-то, после бесконечных лет ожидания!»

Корнилов серьезно готовился к нынешней беседе с мастером, он даже счел возможным привлечь к ней еще двоих участников: юного Колумба и отрока Лютера, в образах которых, помнилось ему, что он когда-то — и не столь уж краткое время — существовал.

Они вместе искали по белу свету его, корниловскую, «Книгу», совершенно ему необходимую, они обладали той бесспорностью существования и мышления, которой он был нынче лишен, и это тоже было одной из причин, почему он имел в них теперь столь очевидную необходимость... Мастер-то, его собеседник, тот ничуть не сомневался в собственной бесспорности уже потому, что был писателем «Книги ужасов», вот Корнилов и должен был противопоставить ему тоже нечто бесспорное, хотя бы и «бывшее», и несовершеннолетнее.

И он призвал юнцов — Колумба и Лютера, растолковал им, что к беседе с мастером им придется подготовить кое-какие шпаргалки...

Однако противопоставления не получилось. Ивану Ипполитовичу юные образы были нипочем — при первом же взгляде на него Корнилов в этом убедился. Дети и дети были они для него, больше никто, и, поняв это, Корнилов не стал смущать мальчиков, включать их в беседу, которая, если только продолжится еще с полчаса, несомненно, закончится их — и его!— поражением и конфузом...

Нет, снова и снова не выдерживал Корнилов Петр Николаевич-Васильевич против бурового мастера Ивана Ипполитовича, мастер был характером, а он?

С какого-то времени он даже и не знал, а нужен ли ему характер и что это такое? Логика — это характер или нет? Фантазия? Склонность к психологическому анализу? Память — это что? Да он не только о себе, он и о других людях судил и запоминал в них не столько характер и даже не столько внешность, сколько слова и мысли. Юных Колумба и Лютера он разве по внешности помнил? Ничуть, они были безлики, легкие и неопределенные наброски лиц, эскизы, больше ничего. Они обиделись, когда он сначала тщательно подготовил их к беседе, а затем отстранил, не позволил сказать ни слова, так разве эта обида выразилась на их лицах? Обиделись опять-таки только их мысли, но не они сами.

Правда, Корнилов знал о себе, что он умеет напрячься, изловчиться и остаться жить там, где другой бы погиб запросто, но все это — характер ли? Или только желание жить во что бы то ни стало? Желание — черта характера, но если она единственна?

Еще немного, еще минута-другая, и он уступит — согласится взять у мастера его «Книгу ужасов», а потом будет сидеть в палатке и при свете десятилинейной керосиновой лампы читать ее...

Читать, читать, читать, без сомнений зная, что в этом чтении его гибель.

Он уже чувствовал результат одного только прикосновения к этой книге.

Он оглянулся по сторонам быстро и пронзительно в надежде заметить в окружающем пространстве что-нибудь, какой-нибудь предмет, какое-нибудь едва приметное явление, которое помогло бы ему спастись, уйти от мастера прочь.

— Мастер! Мастер! Мастер! — бежал по роще и кричал и звал один из рабочих-буровиков — Сенушкин, а другой — сезонник Митрохин — мчался за ним и тоже что-то такое кричал, но без слов, без единого слова...

Мастер вздрогнул, повернулся и тихо пошел навстречу Сенушкину, а потом прибавил шагу и, наконец, тоже бегом бросился Сенушкину навстречу. А Корнилов за ним.

Выяснилось: в скважине, на дне ее оказался какой-то предмет, кем-то уроненный.

Кем? Какой? Когда?

Уже с утра не пробивались в глубь земли штанги, и теперь Сенушкин, первый помощник мастера, понял и окончательно убедился: железный предмет лежал на дне скважины.

Этот предмет предстояло «ловить».

Умение «ловить» было в буровом деле великим трудом, тонким искусством, тяжким испытанием, и теперь не кто другой, как буровой мастер, должен был все это показать.

А Корнилову снова ничего не оставалось, как только входить в курс дела, постигать его. В справочнике по бурению он увидел рисунки «ловильных» инструментов. Нескладные, очень примитивные приспособления — больше всего они напоминали крючки на манер рыболовных. Опущенные на бечевке в скважину, они должны зацеплять уроненный туда предмет.

Еще расспросил Корнилов рабочих своей конторы и узнал, что мастера редко пользуются «ловильными инструментами», которые изображены в справочнике, они предпочитают крючки собственного изготовления, приспосабливая их к уроненному предмету и к самим себе — к своим рукам, к своему обычаю и характеру.

У каждого бурмастера имеется потаенный ящичек с навесным хитрым каким-нибудь замочком, он всюду следует за ним, без особой на то надобности не являясь на белый свет, не распахиваясь крышкой, не открываясь постороннему человеку. Ключик вместе с крестиком висит у мастера на шее; ящик этот, наполненный «счастливыми» ловильными крючками, в то же время как бы маленькая церковка, где мастер истово молится за удачу дела, а может, и всей своей жизни, он свидетель и участник неудач мастера, он же, тот ящичек, большой и нескладный амулет и «табу» для всех других на свете людей, он мистика бурового дела, а может быть, и его психика, наземная и подземная судьба мастера бурения... так понял Корнилов.

И, дальше расспрашивая, он узнал, что иные мастера «ловили» какую-нибудь гайку, гаечный ключ, звено оборвавшейся штанги или малый какой-нибудь блок от полиспаста месяц, и два, и три, что иногда вот уже почти что и поднят тот уроненный предмет, уже хорошо виден он через устье скважины, и тут он снова срывает-

ся с крючка, а падая на дно скважины, снова ложится там накрепко, и зацепить его становится еще труднее, еще невозможнее. И прежним крючком его не взять, требуется другой, но какой же именно?

Понятно, какое нужно ловильщику, буровому мастеру, терпение, а в то же время и решительность — наступает ведь момент окончательного решения — закладывать новую скважину или продолжать «ловлю»?

Быть или не быть?!

И решает мастер: бросает на орла и решку медный пятак, а то царской чеканки золотой червонец, он тоже в заветном ящичке находится; а еще молится мастер, проклинает жизнь, глядит, как нынче всходило солнце: на счастье — в ясное небо либо на несчастье — в сумрачное; загадывает, какой масти покажется на ближней дороге лошадь: светлой — тогда «ловить», а темной — закладывать скважину заново.

Все это — «буровое дело»...

Впрочем, любое дело показывает себя в неполадках; только когда пошло оно вкось и вкривь, тогда оно и откроется до конца.

Между тем Иван Ипполитович готовился к «ловле» намеренно не торопясь — старики так же готовятся к смерти,— все заранее предусматривая, чтобы ничего не было со стороны, а все от собственного обычая...

Он закрепил концы ловильных бечевок на земле и сами бечевки прощупал со всею тщательностью, нет ли на них порока. Не порвутся ли?..

Соорудил сиденье так, чтобы видеть скважину точно по центру, а над сиденьем устроил навес от солнца и от дождя...

Все это сам-один, своими руками, никого для помощи, хотя бы для слова какого-нибудь к себе не допуская.

А водрузившись на это сиденье, заглянув в темное круглое око скважины, опустив туда бечевку с крючком, мастер и вовсе стал бесконечно терпелив и полностью безразличен ко всему на свете. Он как будто с детства знал, что рано или поздно придется ему вот так сидеть над скважиной, вот так «ловить», настороженно, медленно и чутко двигая руками, сосредоточиваясь в движениях до конца, до потери всякого иного сознания.

Судьба.

И «Книга ужасов», и воображаемый собеседник Достоевский Федор Михайлович — все было теперь заключено там, в черном оке, и только оттуда исходило осознание жизни. Как натягивалась, как ослабевала в руках мастера бечевка, которую он и час, и два, и три, и день, и другой, и третий опускал и поднимал, опускал и поднимал, опускал и поднимал, неподвижно глядя в темное и чуть вздрагивающее своею темнотой отверстие скважины,— так и проходила его жизнь.

Бесконечна и утомительна была игра с упавшим на дно скважины неодушевленным предметом, который и в человеке тоже искал неодушевленности и в то же время требовал, чтобы человек безошибочно, совершенно точно угадывал правила этой игры, все, что в ней так, а что не так, какие движения что-то обещают, какие ничего...

Иван Ипполитович принимал ее, эту жестокую, бессрочную игру без правил и порядка, выматывающую и живую душу, и полуживое тело.

В недоумении и подавленности ходили, сидели, лежали поблизости от мастера рабочие. Корнилов среди них; никто ничем помочь мастеру не мог, никто какого-нибудь ободряющего слова произнести не смел, и, хотя каждый в течение своей жизни перенес, наверное, множество лишений, и невзгод, и унижений, и болезни, и войны,— все равно нынешнее унижение, неизвестно кем и чего ради учиненное, было для всех необъяснимо...

На четвертый день «ловли» мастер сошел со своего сиденья, на побледневшем его лице красные и фиолетовые пятна приняли вид болезненный, напоминая гангрену, едва ли не в последней стадии, узкие глазки совсем заплыли, тело одрябло. Походка сделалась измученной, будто сто верст было только что пройдено им...

Не было в нем того признака жизни, в котором не сквозила бы усталость и утомление. И отчаяние.

Но когда Корнилов спросил, не пора ли закрывать скважину, закладывать рядом другую, мастер ответил: «нет!» Хрипло и бессильно ответил, отворачивая лицо в сторону.

И взял свое одеяло замызганное и еще более за-

мызганную подушку-думку, ушел в рощу. Он хотел выспаться там, он не хотел видеть перед собой людей, которые на него все эти четыре дня не спуская глаз смотрели.

А еще мастер взял с собой тетради в твердом переплете, на одной Корнилов заметил золотое тиснение.

«Книга ужасов»!— догадался Корнилов, его охватил испуг: призовет мастер его для чтения своей книги! Снова вот сейчас и призовет!

Вытоптанная до черноты ногами бурильщиков площадка вокруг устья скважины сперва опустела, никто на нее не ступал, никто не заглядывал в скважину, но так недолго было, спустя время толпились вокруг скважины люди, испуганно заглядывали в нее, догадывались, что за предмет мог упасть туда, на дно? Сам упал или кем-то брошен?! Таинственность была, кругом неизвестность.

Потом рабочие взбирались на сиденье мастера, пытались «ловить». И первым взялся помощник мастера Сенушкин. У него было понимание дела, поэтому он и сошел прочь уже часа через два и сказал:

— Невозможно!

Стали пытать счастье другие. Стали подергивать бечевкой, словно блесной на рыбной ловле, но быстро сходили с круга и повторяли: «Невозможно!»

А кончилось тем, что и Корнилов решил попытать себя, руками почувствовать «ловлю».

Существует рассказ о том, будто бы автор «Записок охотника» Тургенев Иван Сергеевич приехал в гости в подмосковное имение Абрамцево к автору «Записок об ужении рыбы» Сергею Тимофеевичу Аксакову. Хозяин жаловался от всего сердца: в пруду, расположенном прямо под окнами дома, завелась щука, взять ее на блесну, на любую приманку не удается, и вот уже года три она пожирает плотвичку и окунька, опустошает пруд. «Неводом надо взять ее!— ответил автор «Записок охотника».— Невод — дело верное!» — «За кого вы меня почитаете, Иван Сергеевич!— обиделся автор «Записок об ужении».— Неводом дураку допустимо, но мне же нельзя! Да что там, пойдемте, половим разбойницу на приманку-плотвичку — и вы убедитесь в хитрости ее и в коварстве!» — «Ну где же мне, охотнику, в дело впутываться, если вы, Сергей Тимофеевич, ученейший рыбак, и то...»

Все-таки пошли, забросили снасть. Часа два прошло, вытаскивает Иван Сергеевич щуку!

Очень, до самой глубины души был обижен хозяин, проводил гостя сдержанно, холодно, после долгое время избегал с ним встречаться.

Такой рассказ. Может быть, анекдот.

Он вспомнился Корнилову в тот миг, когда он в очередной раз опустил ловильный крючок на дно скважины, а снова приподняв, почувствовал в руке груз... Анекдотик забылся, спокойствия как не бывало, Корнилов задрожал. Как будто он был приговорен к смерти, но тут блеснула надежда на избавление. Он дышать затаился, он боялся показать, что ему душно, что случилось что-то, что рука его отчетливо чувствует тяжесть...

Но люди тотчас поняли, что произошло, тихо, на цыпочках стали к нему приближаться, приблизившись, окружив со всех сторон, уставились на него, на его слегка вздрагивающие руки. В черное устье скважины никто заглядывать не решался.

Еще на один миг Иван Сергеевич Тургенев явился с шикарной гривой седых волос, с изысканно-барским, с изысканно-интеллигентным лицом, но тотчас исчез, побоявшись сглазить дело.

Сергей Тимофеевич со спокойной улыбкой глубокого знатока природы тоже был и тоже исчез.

Усадьба Абрамцево на пригорке пятьдесят второй, кажется, версты Московско-Ярославского железнодорожного пути промелькнула быстрее, чем из окна вагона, дрогнула русская классика, отступилась... Нечего ей тут было делать, не к месту оказалась она.

Сенушкин осторожненько подвел под бечевку блок, по блоку бечевка пошла ровнее, спокойнее, надежнее, зато рукой было утеряно чувство тяжести и поведения того предмета, который полз вверх, и того замысла, с которым он полз: сорваться с крючка или не сорваться? Упасть, не упасть — будто думал он там, во тьме, тот предмет...

Сенушкин шепотом:

— Давай я...— и протянул было к бечевке руку, но его остановили:

— Отстань, не твой фарт! Не у тебя клюнуло! Не тебе бог дал милость, не суйся!

Сенушкин отступился.

Потом сказал:

— За мастером сбегать ли? За Иваном Ипполитовичем?!

Ему не ответили, никто не знал, нужно или не нужно звать мастера.

Все-таки Сенушкин кинулся в рощу. И Корнилов одним глазом это заметил, и ему стало труднее, еще ненадежнее и призрачнее стало все вокруг — и земля, и небо, и люди, главное же, тот предмет, который он подтягивал к себе... Он и до этого-то был призраком, тот предмет, а теперь чувствовался уже как призрак призрака, тень от тени, догадка от догадки.

И надежда от надежды.

Корнилов не знал, ждать ли мастера и передать ему бечевку или тянуть самому теми же движениями, с той же скоростью, при том же ритме собственного дыхания...

Он заметил, как мастер торопливо вышел из рощи, какое-то чужое, несвойственное выражение успел заметить на его лице, а каким это выражение было, Корнилов не понял, вздохнул глубоко, с облегчением оттого, что вот сейчас он и передаст бечевку мастеру. В тот же миг почувствовалась в руке невероятная легкость... И руки-то не стало, и она потеряла собственный вес.

Мастер подошел вблизь, бечевка была уже пуста.

Мастер все понял. И молчал.

Позже, минут пятнадцать спустя, он стал расспрашивать Корнилова, легко или с трудом предмет оторвался от дна скважины, как шел он вверх, сбиваясь в сторону или по самому центру обсадных труб, какой чувствовался в нем вес: фунт, два, три, десять фунтов?

А Корнилов ничего не знал, не запомнил, помнил же только тот миг, когда бечевка дрогнула и пошла вверх легко, свободно.

Мастер не вернулся в рощу, он снова принялся ловить, ловить, ловить, с каждым часом становясь предметом все менее одушевленным.

А Корнилов все меньше склонен был думать, будто случай случаен, нет, думал он, кто-то нарочно бросил в скважину какой-то предмет.

В этом он только следовал за другими, потому что все подозревали:

«Кто? Зачем?»

Сенушкин рассказывал охотно и много.

Он прищуривался, улыбался, деловито забирал в легкие воздух, потом рассказывал и рассказывал, объяснял все о самом себе.

В рассказе иногда чувствовалось влияние писателя Михаила Зощенко, юмориста.

Зощенко лихо писал о хамстве и хамах современного общества, никогда не забывая, однако, что он от хамов кормится, а Сенушкин почитывал иногда книжки... Случалось.

— Человек — не лошадь, факт!— многозначительно усмехался Сенушкин, работая под Зощенко.— Лошадью я и без революции могу сделаться. Лошадям все одно на кого работать — на пролетария либо на буржуя. На буржуазный класс, может, и удобнée — погуще харчишки! А с пролетария чего взять? Пролетарий сам тольки-тольки как три разá на день начал исть, это сколь же годов ждать, покуда он досыта наистся и от своего куска другому отломит? Долго! Тем более что пролетарии всех стран желают соединиться, значит, им ба-а-льшой кусок надобен будет!

Ну, а когда так, чем он мне нынче-то возможен, хозяин-пролетарий? Единственно — он мне полегче работу может сделать, поменее, чем буржуй, за работу с меня спросить и на мой отгул-прогул сквозь палец поглядеть...

Легкая работа — тот же хлеб, человек — не лошадь, ему легкую работу искать свойственно.

Но вот ничего не скажу, все с самого-то начала, то есть с Великого Октября, произошло правильно, потому что я, Сенушкин, был поставлен председателем сельского Совета. И был доволен. Человек — не лошадь. Это буржую все одно, кто бы на его ни работал, лишь бы день и ночь работал. Ему все одно, какое твое происхождение, какие ты произносишь слова, но это старорежимный подход, а пролетариат, он по-другому: на анкету поглядит, на происхождение, на сознательность, а также и на то, могу ли с массой разговаривать, находить с ей общий язык. А я с массой хорошо разговариваю, я непонятного для ее слова сроду не скажу, не выскочит оно у меня с языка. Потом я к тетушке на двое месяцев ездил в Екатеринбургскую губернию, а вернулся — на моем месте другой сельсовет сидит. Я, уезжая, фуражку собственную в советском помещении оставил, так он, тот нахал, новый председатель, и фу-

ражку мою на себя нацепил и с головы ее не сымает, хотя на улице, хотя в помещении, хотя где... Вот какой оказался род человеческий!

Я бы после тетушки-то, я бы сделал для пролетарской власти как надо: не пью, курить на ту пору бросил. Я бы для ее и далее старался, лишь бы она для меня легкой жизни не жалела. А ей жалеть нельзя, ей одно из двух: либо корми, как буржуй за хорошую работу хорошего мастера кормит, либо давай легкую жизнь и чтобы человек уже сам по себе имел бы возможность крошки где-нибудь поклевать. Вот так мы бы с ей и далее жили бы душа в душу, с властью, когда бы не тетушка. Она и не сильно возрастом-то вышла против племянничка.

Корнилов поинтересовался, чем Сенушкин занимался в бытность свою председателем.

— Работал с массами!

И руками показал что-то широкое и низкое, распластанное по земле.

— А если по делу? Конкретно?

— По делу занимался заготовкой и распределением.

— Ну? — удивился Корнилов. — Как так?

— Просто. И понятно: от мужика надо заготавливать и заготавливать, на то он и мужик. Ежели не так сильно, как при разверстке военного коммунизма, ежели что мужику и оставлять, так все равно с тем же расчетом: взять с его когда-нибудь. Точно говорю! А иначе с чего государству жить? И строиться? С кого же оно возьмет? Сам с себя никто ведь брать не желает, к тому же у пролетария всего имущества, что собственная шкура. Нынче вот еще тебя, «Корнилова и К^0», развели, нэпмана, но для той же, конечно, цели, для заготовки, только с нэпманов сроду столь же не возьмешь, как с мужика — мужика много!

Опять Корнилову было интересно: ну, а что же Сенушкин распределял?

— Немного! Полномочиев не было мне дадено на многое-то! Я выше низового-Совета не подымался, а там только заготовка идет, на том уровне только она... Распределения почти что и нет, разве бедному мужику семенную ссуду вырешить. Вот и все. Немного. Поэтому я со своего, с сельского места глядел во все глаза подалее — на волостной Совет и даже на уездный. Там уже товарищей распределителей множество находится, я

и заглядывался на ихнюю среду. Меня, может, не через тетушку и уволили, и послали в безработную очередь на биржу труда, а вот за это самое загляденье в уездную сторону... На заготовке еще как следует себя не показал, а на распределение уже загляделся — непростительно!

— Непростительно?

— Нисколь! Ведь человек — не лошадь, и вот кого-кого, а себя любой распределитель не забудет! Ну, год, того меньше, поделает вид, будто ему похуже, похлопотнее других живется, после этот вид никому не нужный делается. «Хватит с тебя вида-то... У нас его давно уже нету, пора и тебе с ним покончить, хватит видом спекулировать, набивать себе цену перед массой!» — вот как далее идет дело, как будет сказано.

— А ведь ты думаешь начать сначала, Сенушкин? Сначала всю карьеру?! И далеко ты хочешь пойти?! Высоко ли? — спрашивал Корнилов.

— Господи, да хотя бы до самого до верху! Кто же откажется? Какой человек, ежели он не лошадь?!

— Царем ты мог бы быть?

— Родился бы царем, и вся недолга! Все дело в случáе! У царя, у его же на каждый случай советник тайный, а то и явный. Генерал какой, либо комиссар. Вот и угождали бы мне, а я не жадничал бы, хорошее давал бы советникам жалованье...

В общем, так: Корнилов Сенушкина знал давным-давно — со второй половины шестнадцатого года в русской армии замелькали солдатики, для которых чем хуже, тем лучше, чем больше страшных событий, тем легче, чем сильнее раздоры и расстрелы, тем приятнее.

Они не страшились ничего, шмыгая из угла в угол каких угодно событий, они были везде, но везде в командах трофейных, караульных, патрульных, похоронных, конвойных и лишь изредка в окопах, они всякий раз оказывались под рукой у того, кому надо было подавить любой беспорядок, и они же первые грабили, поджигали.

Сенушкин воевал на германской и гражданской, но военных событий не помнит, помнит, где и что удалось стянуть, поесть-попить, прихватить какую-то женщину, кого-то расстрелять. Хотя бы и точно такого же мошенника, как сам он, или незадачливого окопного сол-

датика... Окопников сенушкины презирали и ненавидели.

Нынешний Сенушкин — розовый, с крупными веснушками, с не до конца повзрослевшими голубыми глазами, всегда готовыми жуликовато улыбаться... В улыбке просматривается:

«А сейчас пырну! Ножичком! Не веришь?»

«Мы ведь с тобой, Сенушкин, знакомы?» — возникает вопрос.

«Давным-давно знакомы мы!» — тоже молчаливо, но радостно улыбаясь, подтвердил Сенушкин.

Ну, так и есть, уже поздно было делать вид, будто знакомства никакого.

— Я когда в городе нахожусь,— рассказывал, улыбаясь, Сенушкин,— когда нахожусь, так могилки копаю на кладбище... Там за мздой не стоят, платят за каждого мертвого буржуя и даже за мертвого же пролетария. Не скупится никто, никакой класс. Ну, а когда я отвергнутый от распределения, так я все одно не лошадь, и мне интересно посмотреть, кто и в ком первым зануждается: я в индустриальном пролетарии либо он во мне? Я-то к ему на индустриальный труд никогда больше ни ногой, а он-то ко мне на кладбище рано ли, поздно ли, а явится! И вообще надолго ли, скажи мне, товарищ Корнилов, пролетария хватит? Ему и новый-то мир надобно строить, и старого мира прах отряхать со своих ног, и соединяться по множеству стран в одно целое, и диктатуру брать в свои объятия, а для чего? Чтобы иметь фабрику либо завод в своих руках? Да никогда! На это у его ума хватит понять, что одному владеть нельзя, социализм не позволяет, а сообща — это значит, что ни один не владеет, разве тот же самый распределитель... Нет, он за власть боролся, а теперь хочет своих пролетарских деток из пролетариата в люди вывести. В доктора, в инженера, в начальника. Не слишком-то и не всегда-то он о сохранении родного класса заботится, завещает деткам его... Что завещать-то? Казенный станок либо собственный трудовой пот? Ну, значит, так, в распределители я не угадал и никого в том даже не виню, а признаюсь как на духу и чистосердечно: сам виноватый в своей собственной ошибке. Но я, товарищ Корнилов, все ж таки не лошадь и костюмчик себе уже изладил, и деньжонки тоже кое-какие, и книжечки кое-какие приобрел, без книжечек нынче куда? И вот спрашиваю: а надежно ли? Нынче нэпман хороший капитал

наживает, укрывает его, нажитый, всячески от государственного налога, но налог — это, между нами-то двоими говоря, это полбеды, а вот не прижмет ли завтре же Советская власть нэпмана целиком и полностью к ногтю, как вроде бы вшу? Прижмет, а после того доказывай свое пролетарское происхождение! Знаю я цену этаким доказательствам, как не знать, сам был председателем сельского Совета! Вот в чем вопрос! Она же, Советская власть, непрерывно грозится так сделать, в каждой газетке грозится, а ежели исполнит? Вот нэпман и лично товарищ Корнилов Петр Николаевич,— он разве не боится этого? Что завтра проснется, целиком и полностью прижатый к ногтю?

...Когда сенушкиных расстреливали в русской армии, в немецкой армии, в белой, в красной, они обязательно что-нибудь лепетали, обещали, клялись, божились и задавали вопросы: да почему меня-то? Других, что ли, таких же нет? Но их все равно расстреливали — они были временны и эта временность была ими безоговорочно признаваема: «Пока живы, пожить как бог на душу положит! То есть совсем без бога!»

«Пока» кончалось, вот и все, и весь расстрел.

А нынче?

Нынче сенушкины почувствовали продолжительность своей временности и заматерели в ней, обрели капитальность и вот интересуются: «Нэп — это надолго ли? Стоит ли нэпом заниматься, тратить на него свою драгоценную, капитальную, продолжительную жизнь, после того как испытала она и войны, и революции, похулиганила там, помародерствовала, но не только не погибла, а укоренилась как никогда?» Нынче сенушкины претендовали на общечеловеческую мудрость, ту самую, которой и корниловым-то не хватало.

«Нет, право же, кто-то тебя расстреливал, Сенушкин! — окончательно решил Корнилов.— Если не я, Петр Васильевич, значит, тот, Петр Николаевич!»

«Было, было! — опять соглашался Сенушкин.— Ну, так ведь и мы, сенушкины, тоже не терялись. Мы вас, офицериков, тоже... Неужели не помните?»

Пришлось вспомнить.

Вслух Сенушкин повторил свой вопрос:

— Не боитесь, товарищ Корнилов? Что завтра же целиком и полностью будете прижатые к ногтю?

— У каждого свой риск. И свой страх... Никто никому не советчик! — отвечал Корнилов.

— У каждого — свой? Да что вы, товарищ Корнилов, будто у двоих уже и не может быть общий страх? И риск? И сговор? Люди же — не лошади?

«Сговор...— отметил про себя Корнилов.— В каком смысле сказано?!»

В конце концов, он столько играл с разными людьми в разные игры, Корнилов, что давно пора было стать артистом, привыкнуть к исполнению неожиданных ролей!

Не привык... Трудно было. Наверное, потому, что приходилось играть не только с кем-нибудь, но и с самим собой, и самого себя.

— Ну, какой может быть у меня с тобой сговор, товарищ Сенушкин?

— Мало ли?.. Как с мастером, с Иваном Ипполитовичем, как с товарищем Барышниковым у вас может быть сговор, так же и со мной... Я-то чем хужее их? Нас Иван Ипполитович всех в бурпартию завербовывал одинаково, всякий сброд. Иван Ипполитович всякий сброд очень любит, хлебом не корми, как нравится он ему. А вы не любите?

Кто с кем нынче играл — Корнилов с Сенушкиным? Сенушкин с Корниловым?

Корниловы с сенушкиными? Сенушкины с корниловыми?

— Брат,— рассказывал Сенушкин,— брат от первого моего отца жены, возрастом тоже чуть что не отец мне, по замкáм был огромный спец и меня учил: «Пригодится, братишка, где закрыть покрепче, а где так слишком крепкое открыть». Ну, а человек — не лошадь, и я учился слесарности, и как слесарь-спец я угадал на металлический завод, в пролетарский класс и ступил в профсоюз. Ступил, после мне говорят: «Сильнее, Сенушкин, работай, богаче жить будешь!» Боже ты мой, это мне-то, пролетарию и профсоюзнику, говорится! Новый, нэповский лозунг для меня произносится на другой же день после военного коммунизма?! «Обогащайтесь!» — преподносится мне! Так ведь это же надсмешка над человеком — уговаривать его на заводе обогащаться! Человек же — не лошадь, чтобы его уговаривать на заводе легкую жизнь искать. Это, можно сказать, лошадь только и возможно так уговаривать! Я, покуда меня не уговаривали, терпел, профсоюзником сделался, а услышал уговор, в тот же раз навсегда бросил завод: ежели обогащаться, так не на заводе же!

И Сенушкин улыбался. «Вот сейчас и пырну! Пырну! Ведь человек — не лошадь!» — а в то же время он уже и теоретиком был, определенно был им, он уже идейные претензии предъявлял к новой экономической политике, к советскому обществу. Предъявлять он всегда любил, лишь бы вовремя догадаться, кому и по какому поезду сию минуту следует предъявлять.

— Когда обогащаться, так у меня и на буровой работе в три не в три, а в два раза́ выходит заработок против пролетарского и профсоюзного плюс зимой могилки копаю. Земля сильно мерзлая, труд тяжелый, но он же и легкий: захотел — и бросил копать. Так же и на бурении: штанги тяжелые, а захотел, послал их подальше куда, ушел прочь, да еще и на прощанье спер чего-либо, напакостил людя́м как душе угодно... Все ведь в твоих руках, вплоть до того, чтобы нарушить скважину полностью, аварию сделать на ней, когда охота, чтобы вся работа пропала бы пропадом!.. Душевный человек — он не лошадь, у его отказу для души почти что ни в чем не бывает. Ну, а когда уже нет никакой возможности душу ублажить и она в обиду на тебя впадет, тогда приходится терпеть! Но это редко. В основном я свою душу ублажаю, желаю ей наилучшего. Вы душевный человек либо не очень, товарищ Корнилов?

«Вот сейчас и пырну!»

«Пырнул уже!»

Мстил, что ли, Сенушкин?

Ведь сколько раз расстрелян Сенушкин был Корниловым — не счесть!.. За то, что грабил в Могилеве, за то, что убил кого-то в Витебске, за то, что без приказа расстрелял пленных австрийцев под Смоленском — это во время германской войны, а во время гражданской за спекуляцию оружием в Омске, за поджог на станции Татарская, снова за грабеж где-то под Ачинском, а особенно запомнилось Корнилову — за попытку дезертирства с армейским имуществом из таежной деревушки Малая Дмитриевка. Картина этого последнего расстрела прояснялась постепенно.

Зима в год 1919. Мороз лютый, туман, снег в пояс. Тайга. Бездорожье. Тиф. Особая команда по приказу генерала Викторина Михайловича Молчанова сжигает в Дмитриевке армейские обозы, три тысячи саней — имущество некогда знаменитых полков: 1-го Воткинского заводского имени 17-го августа, 3-го Осинского имени Минина и Пожарского, 4-го Воткинского имени

Учредительного собрания. Сжигается амуниция, продовольствие, снаряды, ну неужели обойдется без сенушкиных?

Не обошлось — трое дезертировали на груженых подводах.

Троих и привели в штабную избу — потрепанные полушубки, бабьи пуховые платки вместо шарфов, из-под платков часто-часто моргают сенушкинские глазки. Сопливые носы, веснушки, клятвы, обещания, объяснения, наконец, проклятие: «Сами вы, офицерье, бандиты, а бандитов ищете!»

А уже минут через пять под окнами выстрелы — простое дело просто и делается. Просто и быстро, тем более что авангард уже выступал из Дмитриевки на восток... Бежал на восток...

Бывало, бывало, бывало все это — от Львова до Владивостока...

Но Сенушкин не был уничтожен ни немцами, ни русскими, ни белыми, ни красными, ни наступлениями, ни отступлениями, наоборот, чем дольше длились войны, тем становилось его все больше и больше, и вот он допрашивает Корнилова: «А вы душевный человек? И почему бы нам не состоять в сговоре?»

И не ответишь ему: «В расход!»

— Уходишь из буровой партии? Уходишь?— спросил Корнилов.— И на прощанье задушил скважину? Тебя и самого-то за это мало задушить! Мало!

— Нет,— усмехнулся Сенушкин той улыбкой, которая имела значение: «А пырнуть? Ножичком?!» — Нет, хозяин, никакого интереса... Никакого интереса нет душить до такой степени тайно, чтобы и не знал никто. Интерес — так задушить, чтобы все и каждый знали: Сенушкин сделал, он задушил, но чтобы доказать никто не мог. Все знают, а никто не докажет — вот в чем суть! Человек — не лошадь, вот суть!— Потом Сенушкин без улыбки, очень деловито, даже сочувственно произнес:— Новую скважину нужно, хозяин, закладывать. Новую. А на этой поставить навсегда крест. Забыть ее!

— Не забудем! Поднимем из нее посторонний предмет. Иван Ипполитович поймает и поднимет! Я — уверен!— говорит Корнилов.

— Никогда!

— Но я-то ведь поднимал?! Вот этой рукой! На этой руке он висел! Тот предмет, который в скважине?!

— Мало ли что! А нынче там, вполне может быть, уже и второй какой-нибудь находится предмет. Неподъемный совершенно и ни в жизнь.

— Откуда узнал?

— Увидел!

— Откуда увидел?

— Из снов... Я в сны верю, товарищ Корнилов. А вы верите, товарищ Корнилов?

— Так вот, Сенушкин, ты из партии уйдешь не сам, не по своей воле — я тебя увольняю! Прощай!

— Прощай...— тихо и задумчиво повторил Сенушкин и уставился на Корнилова голубыми глазками, взглядом, в котором присутствовала нечистоплотная смерть...

Было время, когда Корнилов был среди смерти как дома, но все равно к ней не привык, а только научился тонко чувствовать те редкие, те исключительные случаи, когда смерть действительно справедлива, и вот угадывал нынче именно этот случай. Тут ошибки не могло быть: сама жизнь требовала смерти Сенушкина.

Вот сегодня, вот сейчас же кто-то скрутил бы Сенушкину руки, кто-то по ошибке убил бы его, приняв за убийцу, на днях бежавшего из тюрьмы, насильника, грабителя, но ошибки-то и не произошло бы никакой, не могло ее произойти, а была бы только справедливость.

Казалось даже, будто сенушкины виноваты в существовании человеческой смерти вообще — не будь их, все тех же сенушкиных, людям никогда не было бы необходимости умирать, тем более убивать друг друга. Но теперь они убивают, подозревая друг в друге сенушкиных, горячо убеждая друг друга, что они воюют только с сенушкиными и только их расстреливают.

Нынче Сенушкин сделал этакое душевное движение — хотел спрятаться за спину Корнилова, дескать, я не я, но тут же понял, что номер не пройдет, и стал глядеть на собеседника и вокруг, не таясь, не скрывая себя.

Мы с балкона полетели,
Лаптем барыню задели,
Весело было нам,
Весело было нам!—

пропел Сенушкин сносным таким тенорком, и Корнилов вдруг понял смысл дурацкой, почему-то распростра-

ненной в последние годы песенки, а Сенушкин еще о чем-то Корнилова спросил: еще и еще уличил его в неумении владеть «Буровой конторой Корнилов и К^{0}»:

— Смех-то какой! Да ведь человек — не лошадь, и не уволите вы меня, товарищ Корнилов, какие у вас на то права? Не уволите! Вы и вот еще товарищ Барышников очень должны быть мною довольные... А я взаимно должен быть довольный вами — в этом тоже ваш интерес, учтите!

— При чем тут Барышников? При чем он?!

— В самой скорости узнаете, а нынче не о Барышникове разговор, потому что трудовое соглашение у меня не с ним, а с вами, товарищ Корнилов, и я соглашение это ничуть не нарушил, ни вот настолько, какое же у вас имеется право меня уволить? Запустить на биржу в безработную очередь? Да мы вместе с Портнягиным, мы, рабочий класс, тот же раз объявим вам стачку!

— Ах, подлец, подлец! «Рабочий класс»! «Стачка»! Слова-то какие умеешь употребить, Сенушкин!

— Политическая неграмотность у тебя,— перешел на «ты» Сенушкин,— товарищ Корнилов! Частнособственнический и недопустимый интерес! Да я, что ли, эти слова выдумал? Я, что ли, записывал их печатным способом в устав профсоюза?— И Сенушкин вынул из кармана потрепанного пиджачишки билет, профсоюзный это был билет, и прочитал: — «Выдержки из «Устава», параграф третий, пункт «бе»: «Профсоюз руководит всеми видами экономической борьбы, участвует в конфликтах и примирительных органах, а в случае необходимости организует стачки и руководит ими».

Слово «стачка», сколько он себя помнил, неизменно вызывало у Корнилова уважение: трудящиеся, испытывая лишения, борются за свои права — как же иначе?!— но Сенушкин-то тут при чем?

— А на государственных предприятиях стачка тоже возможна? На советских?— и еще спросил Корнилов, недоумевая.

— Ну, почто же нет?! Нонешний же «Устав» профсоюза — он же на всех пишется. Хотя разница на практике имеется. Теория, ей ведь куда-а-а до практики. А в реальности дела обстоят так, товарищ Корнилов...

И Сенушкин стал хвастаться тем, что он не лошадь,

и одновременно рассказывать, как бастовали недавно рабочие государственной кожевенной фабрики в городке Бийске и забастовку выиграли, как бастовал профсоюз приказчиков торговой фирмы Вторушиных и тоже выиграл, тем более что государство не растерялось и как раз во время забастовки поставило Вторушину самые большие партии товара, с которым он уже никак не мог управиться, заплатить за него и реализовать. Вторушин после того подался на край света. Едва ли не в Китай.

— Отсюдова следовает,— заключил Сенушкин,— что и мы с Портнягиным тоже можем преподнести своему частному собственнику свою стачку, пусть выкусит. Мы же с Портнягиным — не лошади! Вы в Китай не собираетесь, Петр Николаевич? Когда не собираетесь, держитесь покамест крепче товарища Барышникова. Как по сю пору держались и даже еще крепче, нам будет польза, не говоря уже о том, что и вам вот какая!

Что-то слишком часто и очень многозначительно Сенушкин отмечал необходимость и пользу союза Корнилов — Барышников, о существовании которого Корнилов, кажется, не подозревал...

— Теперь человек — не лошадь, и вот я обратно коснусь моего увольнения. Это с твоёй стороны, товарищ Корнилов, вовсе здря! Сам уйду — дело другое, но я того момента дождусь. когда, наоборот, я тебе, нэпману-собственнику, более всего нужон буду. Нынче скважина стоит, мы все загораем на солнышке, но жалованье какое-никакое, хотя и без сдельщины и без сверхурочных, но все одно идет, зачем же мне увольняться? Сам подумай? Вот когда на твоем бы месте стоял настоящий капиталист, тот никогда и ничего подобного мне об увольнении не сказал, понял бы, что нынче мне уходить невыгодно и я ни за что этого не сделаю... Разве за какое-нибудь хорошее отступное... Но ты капиталист худой, поэтому и не понимаешь... Трудно тебе с «Буровой конторой», Петр Николаевич. Трудно! Меня бы, что ли, взял в совет? Я бы присоветовал, что к чему на этом свете. Ты сам-то по себе и то и се, и братство тебе по душе коммунистическое, и капиталистическое частное владение! Везде хотишь успеть, а насчет забастовки профсоюза вторушинских приказчиков знать ничего не знаешь, когда о ней вся Сибирь знает!— И Сенушкин теперь уже в подробностях продолжал рассказ о забастовке.

Рассказ получался сюжетный, остросоциальный, рассказчика посетило вдохновение. И даже артистизм.

Рассказ еще и еще подчеркивал, что хозяин бурового дела ни в этом, ни в другом каком-нибудь деле ничего не разумеет.

А ведь и правда — откуда разумению было взяться, если ни Корнилов, ни его родители, ни родители его родителей никогда не были владельцами какого-нибудь «дела»?

Натурфилософия и военная служба, разумеется, не дали никакого взаимного сочетания, они так и существовали в Корнилове раздельно каждое само по себе, не допуская ничего третьего, еще какой-то специальности, каких-то практических навыков, и не он один был такой... Он-то что, он приобрел жизненную хватку, живучесть и непотопляемость, но многие из его поколения русской интеллигенции и полуинтеллигенции знали только крайности: или философствовали, или ударялись в террор и в сомнительную политику, а больше не умели ничего.

Зато вот что было: большевистская революция и военный коммунизм, которым это поколение как могло противилось, тем не менее привили ему еще большую, чем прежде, ненависть к собственности, а вместе с этим и к практическому делу. Оно, это поколение, вполне смыкалось с большевиками в страстной ненависти к собственности, очищалось от нее, конечно, логически и философски, практически очищаться было не от чего.

Поэтому интеллигенция и была так ошеломлена, так шокирована, когда большевики на глазах у всего мира провозгласили лозунг: «Обогащайтесь!»

И Корнилов, само собою, тоже был шокирован, и возмущен, и растерян окончательно до того дня, когда ему представилась неожиданная, как снег на голову, возможность стать владельцем «Буровой конторы», но когда ему показалось, что выбора нет, есть только одно решение: взять! Взять и взять! Поставить над собой очередной эксперимент, он ведь был бесконечным экспериментатором, сделаться «владельцем», нэпманом, частным сектором, как там еще в печати и в речах все это нынче называлось? Как называлось, так всем этим, называемым, он и станет! И он стал. И почувствовал тайную сладость владения. Психологии владения он еще не знал, умения владеть не знал, а сладость и необ-

ходимость владения уже знал. И мечтал о том, чтобы капитализм и социализм завтра же действительно разошлись бы между собой навсегда по разным классам, по разным характерам, по разным судьбам, по разным поколениям. И думал, что многие революции хотели их вот так разорвать, история хотела, наука хотела, но ничто не разорвало, одна утопия — этот разрыв, одни домыслы, и ничего общего с законами природы, с такими непоколебимыми, как, скажем, закон земного притяжения или закон сохранения энергии. И вот до сих пор и одно, и другое находят себя в одном человеке, да еще как находят — Корнилов по себе знает! Корнилов иногда такое находил объяснение: Петр Васильевич — это был, конечно, социалист, а Петр Николаевич Корнилов — до мозга костей капиталист, вот причина, по которой «соц.» и «кап.» уживаются в нем, в одном человеке! Но и это было не так, при внимательном рассмотрении оказывалось, что и тот и другой Корниловы были и тем и другим, и «соц.» и «кап.» одновременно!

— Вторушину, купцу еще довоенной первой гильдии, советские предприятия в тот раз, в августе месяце, все его заказы до конца года выполнили. У его по договорам-то с предприятиями сроки были самые поздние оговорены, а самые ранние — нет, ни вот столечко,— вот оне и поймали Вторушина на этой промашке, ох поймали! — восторгался между тем Сенушкин.

— Склады у его ломятся, а торговать некому — две тысячи приказчиков у его по Сибири и по Дальнему Востоку в магазинах, все в забастовку. Все в стачку!— ликовал Сенушкин.

— После грузчики забастовали — товары на складах ворочать некому!— сиял Сенушкин.

— Еще после — извозчики-ломовики забастовали — товар со складов в магазин возить некому!— смеялся Сенушкин.

— Еще после — складская охрана забастовала, побросала свои берданы — воруй вторушинское добро кто хочет!— немел от восторга Сенушкин.

Если бы Сенушкин ликовал, потому что забастовщики выиграли,— нет, ему было весело, он счастлив был потому, что кругом проиграл Вторушин. Чужие пора-

жения и проигрыши доставляли ему удовольствие. И даже смысл жизни.

Может быть, Сенушкин не хотел уходить из буровой партии, потому что здесь ему доставлял удовольствие Корнилов? «Хочешь, вот сейчас и пырну?» — спрашивал он Корнилова голубыми глазками, да так спрашивал, что невольно думалось: «Это пустяк, это только один мерзавец Сенушкин задает нынче вопрос, а завтра? Завтра-то кто, какие сенушкины, о чем и по какому поводу будут тебя вот так же спрашивать?»

«А может, пырнуть? Может, ты, виноватый, извинишься передо мной, таким невинным?»

— Ты, Сенушкин, хотя бы не выражался так и вообще не позорил бы свой народ,— попросил однажды Митрохин. Жалостливо попросил.— Ты, Сенушкин, как-никак, а ведь тоже к народному сословию принадлежишь!

— Народ?!— удивился Сенушкин.— Народ? Ну, Митроха, сказанул! Это который же народ-то? Который больше всех братоубийствует, сам себя изводит и губит, да? Да ты и сам-то видел ли когда народ? Живьем? Ты, я уверенно знаю, не видел его, я не видел, хозяин наш, Корнилов-товарищ, не видел. Никто не видел. Видим мы только Ванек, да Петек, да Феклушек с Акулинами! Ну еще солдатиков с офицериками, начальников с подчиненными. Так я-то чем хуже любого Ваньки-Петьки, что должон их стесняться, принимать их во внимание? Пущай уж оне меня принимают, ежели на то пошло! И почто же мне Ваньку-Петьку не обмануть, покуда оне меня не обманули? Не-ет, Сенушкин не тот дурак которому народом в глаза тыкают, а он по этому случаю глазами-то хлопает и уши развешивает! Господа бога, того хотя бы на деревяшках изображают, ну а народ? У его даже изображения нету, а туда же — носятся с им, словно с чудотворной иконой! Я вот и в войне был, и к власти прикасался, и на буровой вот штанги кручу и обсадные трубы в землю погружаю, а народу так и не видывал. Никогда! Нигде! Ты, что ли, народ, Митроха? Видел ты опять же однех только Ванек-Петек. Седни их повидал, завтра забыл. Да и что их помнить, на что они годные? На то разве, чтобы заготовку и прочий налог с их брать? Ну, которые сильные были в этом деле жуликами, те, правда, запомнились. Вот один был в моем

в сельском Совете Костя Петушок — трижды самоподжогом занимался, чтобы заготовку не сдавать, налог не платить, а поймать его с поличным ну никак было нельзя! Этот запомнился! К тому же до чего веселый был мужик, до чего гармонист и частушечник. И еще одного помню — в шапке золото принес с войны... Цельное богатство!..

Но камень-то все-таки бросил в скважину не он, не Сенушкин.

Если бы он, так похвастался бы. Посмеялся бы.

...Кто же?

Митрохин, семенихинский житель, был нанят на работы — мастер ведь действительно любил странных людей.

У Митрохина буровая партия и ночевала ночь, когда приехала в Семениху, в его нескладной избе, но уснуть тогда никому не дала полудикая кошка, она ревела до утра не по-кошачьи, а словно неизвестной породы зверь, сильный, злой и несчастный.

Сенушкин, помнится, захотел этого зверя убить, но хозяин сказал:

— Не трогай, у ей своя забота, у тебя своя. Ну и не мешайте друг дружке жить!

— Так она же как раз мешает, проклятая! Глаз сомкнуть не дает!

— А ты про нее забудь!— отвечал Митрохин.— Забудь, будто ее и нету вовсе. Она же об тебе не помнит, ну и ты об ней так же!

Митрохин был человеком хиленьким, хромоватым, в недавнем прошлом сельский почтальон, нынче он что-то такое хозяйствовал, что-то сеял, что-то косил, состоял в маслодельном кооперативе «Смычка» и еще в какой-то артели, которую называл «артель по дегтю», а теперь вот с охотой пошел на буровые работы.

Но самое удивительное, что Митрохин, этот полуграмотный и, по всему видно, не бог весть какого ума человек, иногда вдруг преображался, задумывался, как бы что-то вспоминая не из своей, а из чужой чьей-то жизни, из чужих мыслей, и говорил:

— Англичанину было просто, он приходил куда и твердо знал, что он завоеватель-колонизатор. Так ведь завоевателем-то быть куда как проще, чем защитником...

— Трудно?..— спрашивал не без удивления Корнилов.

— Защитником — ох, трудно! Ох, трудно!— торопливо как-то и теперь уже растерянно отвечал Митрохин, замолкал и больше ни завоевателей, ни защитников, ни под каким видом не касался, переходил к хронике деревни Семенихи: кто кого замуж выдает, кто кого женит, рассказывал о «Смычке», о председателе Барышникове. У него конца разговорам не было...

Довольно живо он обо всем этом рассказывал, чувствовался его наблюдательный глаз, и грамотность коекакая, и начитанность, но все равно никакого соответствия с только что высказанной Митрохиным мыслью не было, и Корнилова это озадачивало.

Корнилов нехотя начинал вслушиваться в хронику событий, излагаемых Митрохиным, а тот в это время вдруг неожиданно говорил:

— Я законченных политических платформ не признаю, нет! Любая платформа все одно рано либо поздно сходит на нет, потому что она не истины уже ищет, а победы над другими платформами и убеждениями!

Ошеломленный Корнилов снова спрашивал:

— А что же ты признаешь, Митрохин?

— А признаю беспартийных революционеров. Есть несправедливость, они с ней борются, жизни не жалеют — вот это и есть для них революция. Ну, вот как, к примеру, Короленко был Владимир Галактионович!

И снова семенихинская хроника.

Эту не то игру, не то какое-то недоразумение и загадку никто, кроме Ивана Ипполитовича и Корнилова, не замечал. Иван Ипполитович, пытаясь помочь Корнилову, однажды попросил Митрохина:

— Митрохин! Ты бы показал Петру Николаевичу, да и всем нам свое обращение. Которое газета напечатала. Ты мне рассказывал, помнишь?

Вот тут Митрохин воссиял, оживился, торопливо расстегнул пиджак, из пиджака достал потрепанный бумажник, из бумажника тоже потрепанную и засаленную газетную вырезку и протянул было ее Корнилову, но передумал и громко, с радостным и даже с боевым выражением в голосе и на лице прочел ее всю, от начала до конца:

— «Открытое письмо к сознательным гражданам.

Миллионы русских людей темны, но не по природной темноте своей, а исключительно потому, что неграмотность, бельмо старого режима, мешает им увидеть действительный свет жизни. Может ли на это без сожаления смотреть сознательный русский гражданин? Что-то внутри меня говорит: нет, так дальше нельзя оставлять и что долг каждого из нас, кто бы он ни был и что бы он ни работал, пойти на борьбу с этим злом неграмотности. Но ведь стыдно как-то даже только об этом говорить, но ничего не сделать.

В силу этого я принимаю на себя добровольный налог, невзирая ни на какие работы и обязанности, возложенные на меня службой и хозяйством, и где бы я ни находился, делать из неграмотных грамотных в размере шести человек в год. Обязательность выполнения настоящего моего налога должна быть для меня священной, и я должен быть объявлен преступником, если этого задания не выполню. Приглашаю вас всех, сознательные товарищи, проделать над собой то же самое.

Б. Д. Митрохин».

Очень удивился Корнилов этому письму, и в самом деле напечатанному, в самом деле в губернской газете!

Дальше — больше: выяснилось, что Митрохин был начальником семенихинского почтового отделения и почтальоном тоже был до тех пор, пока не опубликовал это письмо.

Оно было опубликовано, и соблазн одолел Митрохина, до той поры служившего по почтовому ведомству честно-безупречно при всех и всяческих властях и режимах, но тут он не доставил подписчикам ни одного номера газеты, все номера со своим письмом он присвоил!

Затем отклики последовали на «Письмо», сознательные граждане «проделывали над собой то же самое», брали обязательства «делать из неграмотных грамотных» в размере двух-трех, а кто и десяти человек в год, и номера газеты, публиковавшей эти отклики, постигала та же судьба.

Затем Митрохин был снят с должности за «несознательное превышение служебных обязанностей».

Однако дело своей жизни Митрохин сделал, и вот он пребывал в непоколебимой истине своего существования, которая называлась «ликбез» — то есть ликвидация безграмотности.

Не был Митрохин уж очень-то прост, но не было для него и других проблем, кроме этой, а эта решала все на свете: вот будут народы грамотными — и не будет в мире ни воровства, ни пьянства, ни разбоя, ни побоев! Вот будут грамотными все народы — и не будет между ними войн. Вот будет грамотной каждая семья — и тогда, само собой разумеется, наступит для всех семейное счастье!

Тот день, когда на земле последний неграмотный станет грамотным, представлялся Митрохину новым сотворением мира, а в то же время он и грустил немного:

— Кончится дело! Кончится, а я ведь передовик ликбеза! Я ведь, как только ОДН — общество «Долой неграмотность» в одна тысяча девятьсот третьем годе образовалось,— я едва ли не тот же день в его ступил!

Корнилов Митрохина успокаивал:

— Дело ликвидации неграмотности бесконечное! Чем дальше, тем все более трудное: грамотность будет возрастать, а техника, а весь мир будет еще скорее усложняться. Так что люди, возможно, чем дальше, тем будут все малограмотнее!

Митрохин вел по возможности полную запись всем людям, из которых он собственными трудами сделал грамотных, и другим, которые, откликнувшись на его призыв, тоже стали ликвидаторами неграмотности, и тех, у которых неграмотность ликвидировали ликвидаторы митрохинского призыва, и т. д. и т. д. без конца.

Конечно, при всем старании список где-то прерывался за отсутствием дальнейших сведений о лицах, «пробужденных к новой жизни», и Митрохин был озадачен, прикидывал: «Ну во сколь разов список в действительности может быть больше? В три раза? В пять? А ну как в десять?! В десять!» И Митрохин сиял, как медный пятак, тут он, хилый и хромоватый, и на скважине начинал ворочать трубы и штанги, разве только чуть-чуть уступая могучему мастеру Ивану Ипполитовичу.

Когда же обнаружилось, что в скважине находится какой-то посторонний предмет и что бурить дальше нельзя, Митрохин и тут нашел объяснение:

— Все по причине малой грамотности нашей! Вот уж ликвидируем, тогда...

Вообще слово это — «ликвидация!» — обязательно со знаком восклицательным имело для Митрохина смысл только положительный, и никакой другой.

Несколько позже Корнилов заметил, что слово «грамотность» Митрохин отождествляет с другим словом — «политика», а когда так, то и политика, вопреки его же словам, задумчиво произнесенным когда-то раньше, тотчас становилась для него понятием четким и светлым. Безукоризненными были для него и военный коммунизм, и нэп, и все то, что политику ждало впереди, когда-нибудь... Ведь в дальнейшем все будет грамотным — и народ, и политика, и государственные деятели!

Однажды Корнилов с некоторым умыслом несколько раз подряд произнес «политика ликвидации», и это словосочетание привело Митрохина в полный восторг.

Один случай поразил Корнилова особенно — это когда Митрохин повторил кайзера Вильгельма Второго!

Когда-то, отправляя солдат на фронт, кайзер сказал: «Помните, что германский народ избран богом. На меня, германского императора, снизошел дух божий. Я его меч, его оружие и его наместник. Горе непослушным и смерть трусам и неверящим!» Митрохин повторил все это без запинки и выразил свое возмущение:

«Вот гад, вот гад император! Ведь грамотный был, поди-ка, и все одно пропагандировал этакое человеконенавистничество!» Корнилову же все это было нынче словно снег на голову. Конечно! Ведь он в свое время пошел воевать против этих слов!

День за днем вытесняло тогда «воевать!» все другое в нем — другие заботы, мысли, мечты, потребности,— и не только в нем, но и в существовании окружающего мира все отчетливее становилась эта необходимость... И сейчас еще, прислушавшись, он мог уловить в себе остаточные явления того состояния, в котором он тогда находился, того возмущения самой возможностью утверждать какому бы то ни было человеку, будто на него снизошел дух божий, будто он — его меч и наместник.

«Воевать!» 27 февраля по старому, а по новому стилю 12 марта 1915 года приват-доцент университета явился в воинское присутствие Васильевского острова с заявлением о желании вступить в действующую армию.

За этим все изменилось — судьба, убеждения, характер, за этим он стал другим человеком и потерял в самом себе жильца двухкомнатной квартирки на 5-й линии, потерял натурфилософа и приват-доцента. Он мог о том, навсегда утерянном человеке, глубоко сожалеть, но упрекнуть в чем-то себя не мог и никогда не упрекал. Так, а не по-другому случилось, вот и все. Так, а не иначе.

Ну, а Митрохин-то?

Щупленький ликвидатор неграмотности, семенихинский мужичонка только однажды в несомненной пользе грамотности усомнился и в какую точку попал?!

Поистине — где найдешь, где потеряешь?

Корнилов даже некоторую общность ощутил с Митрохиным.

Впрочем, общность обнаружилась и с Сенушкиным, с буровым мастером Иваном Ипполитовичем, почему не могло быть ее с Митрохиным? Вот она и была, она оказалась.

И, глядя на Митрохина, ликвидатора безграмотности, Корнилов вспомнил, как ничтожны они были, недавние властители — кайзер Вильгельм Второй с нисшедшим на него духом божиим, царь Николай, тоже Второй, с распутинским просветлением своего птичьего ума,— и как был велик в феврале 1915 года он, приват-доцент Корнилов, у которого окончательно сложилась мысль о необходимости возродить и обновить древнегреческую философию, присоединив к ней современные природоведческие знания. Но вот так непотребно и поступает история: ничтожества двигают умными и великими, берут с них непосильную дань.

Все мы данники.

Так подумал Корнилов про себя, у Митрохина же он спросил:

— Как это ты речь кайзера запомнил?

— А я грамотный!— как и следовало ожидать, ответил Митрохин.— Я газеты уже столько годов читаю непрерывно... И в политике разбираюсь! До конца! Ну, не до конца, так довольно-таки сильно!— Чтобы доказать,

что «довольно-таки сильно», он быстренько сбегал в палатку и принес не то большой бумажник, не то небольшую папку в потрепанном и когда-то прекрасном кожаном переплете с замысловатым тиснением, торопливо стал вынимать оттуда газетные вырезки и читать, захлебываясь от значительности этого чтения: — «Россия заняла такое же положение в мире, как раньше занимал только один из ее сынов — Лев Толстой. Прежде он в одиночку добивался всемирной правды, а теперь это делает вся Россия... Сдача наших позиций — это возвращение к прошлому. С царем или без царя — это сказать трудно, но что с капиталистами и помещиками, это наверняка, да еще не со своими, а с иностранными. Россия станет колонией, в нее нагрянут иностранцы, они будут называть себя ее спасителями и все приберут к своим рукам... и погибнем мы и само дело освобождения человечества. Мне не хочется этому верить. Кто организовал многочисленную Красную Армию, тот может организовать и хозяйство. Кто приносил жертвы в войне, тот может принести их и в мире. Дайте же победу добру над злом в этой вековой борьбе между трудящимися и эксплуататорами!»

— А это кто? Кто пишет?— спросил Корнилов.

Митрохина не очень интересовали авторы, и он сказал:

— А не все ли одно, кто сказал и написал? Я считаю, это все одно, лишь бы истина была высказана печатным способом!

Но Корнилов на краешке газетной вырезки прочел-таки: это бывший член ЦК кадетской партии профессор Гредескул публиковал свое воззвание к рабочим.

Ну как же! И тут опять обнаружилось: Николая-то Андреевича Гредескула, преподавателя Петербургского политехникума, Корнилов в свое время знавал! Любопытная была личность... Был он сослан правительством в Архангельскую, кажется, губернию, но возвращен оттуда после избрания в депутаты Первой думы от города Харькова. А в Думе был избран товарищем председателя. Потом снова отбывал заключение. Потом был редактором газеты «Русская воля»... И теперь, совсем уже недавно, дошел до Корнилова слух, будто Николай Андреевич написал книгу «Россия прежде и теперь», весьма левого, если уж не большевистского толка.

В свое время не то чтобы близкое, но и не шапочное знакомство имел с этим человеком Корнилов на почве кадетства. Корнилова интересовала эта проблема: наследственная и тем самым совершенно независимая личность монарха и народный совещательный орган при нем, по-русски — Дума. Было в этом что-то от натурфилософии, было, было, догадывался Корнилов, но так к 14 февраля 1915 года и не догадался, не успел.

Второго варианта действительности не бывает, и проверить догадку не было никакой возможности...

А Митрохин радовался своей неожиданной роли.

«В какой еще стране крестьяне своим новорожденным дают имена Ленин, Ленúна?» — читал он в следующей газетной вырезке.

«Где еще в каждой крестьянской избе висит портрет вождя мировой революции?»

«В какой стране треть местных самоуправлений находится в рабочих руках и где даже самые правые из реформистов все же открещиваются от своего родства с желтым интернационалом?»

«Для нынешней рабоче-крестьянской Италии Советская Россия — манящая путеводная звезда».

«Мы принуждены будем вступить в деловые отношения с итальянским буржуазным правительством, и это рабочая Италия поймет, но нам нужно не забывать, что в борьбе за эту нашу возможность пролита кровь итальянских пролетариев, нам не нужно забывать, что нигде наш каждый шаг не будет под таким пытливым, критическим оком высококультурного пролетария, как в Италии. Нам нужно там найти ту линию поведения, которая...»

«Торговля с Бухарой. Бухарским отделением Внешторга на бухарском рынке приобретены крупные партии разных товаров: пшеницы, клевера, зернофуража, кишмиша, яиц, спичек».

«Собинов жив! Получена телеграмма, что артист Собинов жив и заведует в Севастополе отделом искусств».

Тут стало казаться Корнилову, будто он слышит от Митрохина, такого сегодняшнего, такого восторженно-грамотного, чьи-то воспоминания... Дела давно или недавно, но только уже минувших дней?

— Митрохин? А много ли времени этим газетным вырезкам? Уж очень сильно они у тебя потрепаны-замусолены?

Оказалось, четыре года тому назад они были вырезаны из газет, относились к году 1921-му от Р. Х.

— А может, уже и поболее, чем четыре. Может, им уже пять годов! Однем словом, было все это в ту еще пору, когда я работал начальником семенихинской почты... В ту пору я газетами свободно располагал!

Ладно. Ну, а те, не газетные, а устные высказывания Митрохина, которыми он поразил Корнилова, они откуда? О беспартийном революционере Короленко? О колонизаторах — англичанах и русских — защитниках? О кайзере Вильгельме Втором, наконец?

Что-то не помнил Корнилов, чтобы русские газеты широко печатали речи кайзера военного времени, а Митрохин все равно их помнил.

И что же в конце концов выяснилось?

Многие-многие годы жил на квартире в избе Митрохина политический ссыльный Федор Красильников, Федор Данилович, сам себя именовавший беспартийным революционером, так вот он-то, странный тот революционер, и запал со своими мыслями в митрохинскую душу.

Кайзер Вильгельм со своей ура-патриотической речью к солдатам, и Короленко, и еще многое другое — это все был он, Федор Данилович.

— А что,— спросил Митрохина Сенушкин,— когда он у тебя в избе жил, твой Красильников, он кошку по ночам слушал?

— Какую такую?

— Ну, твою собственную! Которая нам спать не давала, когда мы ночевали в твоёй избе? Которую я хотел убить, а ты никак не дал?

— А она, правда что, еще молодая была в ту пору, кошка, так пуще, чем сейчас, ревела. Здоровье у ее было сильнёе, голос, само собою, больше!

— Где же Красильников, твой друг-приятель, в настоящее время? Тебе известно?— хотел узнать Корнилов, но Митрохин этого не знал.

— В тысяча девятьсот двадцать втором годе сошел он с моей квартиры, сошел, уехал из Семенихи, да и сгинул с горизонта. Как в воду канул, не иначе, не жилец уже... К тому же какой он мне друг? Тем более приятель? Он человек высокомысленный, молчит и думает, молчит и думает, который раз так и обедать забудет, после только и выскажется, а я? Какая мыслишка

узналась от кого, я уже молчать не могу ни минуты, мне надо ее высказать и внушить! Он-то, Федор Данилович, истинную цену кажной мысли знал... Как бы лет десять и еще пожил у меня на квартире, вот тогда я бы от него набрался большого понимания. Истинного! Окончательного!

А что? И Корнилову, наверное, не мешало бы пожить десять лет рядом с Федором Даниловичем! Не мешало бы, потому что он никогда не мог назвать имени своего учителя, в то время как это очень приятно, говорить окружающим «мой учитель...», а далее имярек. «Я последователь...» — и опять великое имя! В ученичестве есть своя гордость, очевидная причастность к миру сему. И средство защиты есть средство нападения и вообще средство жизни. Ведь самостоятельная мысль не гениального человека, это что? Это беззащитность, это одиночество. Вот Корнилов хотел иметь свою собственную натурфилософическую мысль, хотел с нее начать и ею же до гробовой доски жить, так ведь нынче не то что той мысли, а даже ее желания и то не осталось, все вытряхнулось. А тогда? Что тогда остается вместо собственной мысли? Остается просто-напросто собственность, элементарная и когда-то презираемая. Вот это реально! Вот это возможно! Это не только реальное «мое», но и реальное «я». Ведь «я» всегда чем-то должно владеть: собственным настроением, собственной мыслью, собственной судьбой или судьбами людей, а если ничего этого нет, не остается ничего другого, как только моя, частная собственность! Домишко какой-нибудь... Бриллиантик какой-нибудь... Лошадка и коровенка какие-нибудь! Именно она, материальная и частная собственность, остается, скромница, когда уже ничего нет, этакое приемное дитя мыслящего человека: «Прими меня, приласкай меня, назови меня своей, а тогда и станешь умницей-человеком!»

Просто, понятно, недурно и для всех.

Утописты и утопии всех времен и народов — это было что?

Это надежда была на то, что каждый человек сможет иметь свою собственную, а в то же время и общечеловеческую мысль как избавление от власти частной собственности. Но не тут-то было!

А время-то, время! Пять лет уже отметил Митрохин со дня публикации своего обращения к «сознательным гражданам».

Пять прошло с тех пор, как Внешторг закупил в Бухаре большое количество зернофуража, пшеницы, кишмиша и спичек... Спички-то откуда в Бухаре? Лесов там, кажется, нет, а спички?

Теперь Внешторг не имеет к Бухаре никакого отношения: в 1920 году революция низвергла бухарского эмира, а в 1924-м Бухарская республика вошла в состав СССР...

Четыре года назад Леонид Собинов обнаружился в Севастополе в качестве заведующего отделом искусств... Наверное, городского отдела? Наверное, он терялся с глаз долой, если вдруг обнаружился. А позже, дай бог памяти, в 1923 году — ну да, в двадцать третьем!— Собинову было присвоено звание народного артиста... Республиканское нововведение. Шаляпин же не был заслуженным артистом империи, а всего лишь артистом императорского театра...

Четыре прошло, и нет военного коммунизма, будто его и не было, а если уже и был, так чем-то, скорее всего, теоретическим; был, чтобы записать в историю государства карточки хлебные, четверть- и полуфунтовые, жалованье в три-четыре миллиона в месяц, выдачи четверти фунта мыла по «детским талонам категории «А» с объявлением об этом событии в газетах, был, чтобы записать союзы полу- и голодных писателей и особенно художников, которые возникали, как грибы, в каждом городишке, каждый Союз со своим собственным манифестом, с заковыристой какой-то творческой программой и обязательно на обеспечении пролетарского государства, причем опять-таки по той же привилегированной категории «А» с фунтовым хлебным пайком...

Художников в ту пору развелось — пруд пруди! Тем более что в порядке «депрофессионализма искусства» низвергались в прах Суриковы, Репины, Врубели.

С другой стороны, монументальная пропаганда — разрушение памятников, воздвигнутых в честь царей, с постановкой монументов в честь событий Великой Революции, а затем уже и огромные митинги на этих «уличных кафедрах», в местах, где монументы были заложены... Заложено их было множество, гораздо меньше осуществлено. Новая политика явилась не только как экономическая, но и донельзя экономная, ей манифесты, пролеткульты, монументы — что?— ей подавай рупь! Золотой рупь, твердый как сталь, валют-

ный, сверхбуржуазный в том смысле, чтобы доллары, фунты стерлингов, франки, риалы, динары, пиастры его боялись как огня. Нажил этот советский рубль — поезжай в тот же Лондон либо нанимай цыган и пируй по старорусскому образцу в московском «Яре», не нажил — трудись в высокооплачиваемом производстве, в металлургии либо на кожевенном заводе за рубль двадцать в день, с надбавкой 17 процентов за сверхурочные, изучай материалы очередных конгрессов Коминтерна, развивай в собственном сознании идеи социализма...

Как сменилась музыка, как сменилась!

И как сменился под нее Корнилов!

Митрохин как раз в это время сказал:

— Как надо подумать человеку, как надо подумать, прежде чем подумать!— Неуверенно осмотрелся по сторонам: правильно ли он вспоминает? Так ли Федор Данилович Красильников говаривал?

«Ну, сам-то Митрохин, своим умом, конечно, никогда не бросил бы в скважину какой-то посторонний предмет, не навредил бы. А если его кто-нибудь этому научит? Устно? Тем более — печатно?»

Кто?

У Митрохина была дочь Елизавета...

Два раза в день она приезжала на буровую — в огромных чугунах привозила завтрак и обед.

Всегда веселая.

— Кому же пропитание-то везти, когда едоки мои в землю, поди-кось, уже зарылись?! Гляжу, нет, вот оне, все еще наверху!

И Елизавета закатывалась смехом, быстро расставляла на кое-как сколоченном столе нехитрую свою утварь — чугунки, чашки-ложки.

— А это дочерь моя!— всякий раз говорил Митрохин, а Елизавета и тут отвечала:

— Ей-богу, правда! Я ему дочерь, а он мне батя!

Факт действительно требовал подтверждения: у маленького неказистого Митрохина и такая дочь — едва ли не косая сажень в плечах, и голос не только не отцовский, но как будто бы даже и не ее, а чей-то чужой, она голосом этим шепотом и тихо слова сказать не могла. Сказала — и далеко-далеко кругом слышно.

Лицом же Елизавета была точь-в-точь в отца, но увеличенная в полтора-два раза и с косами. И тут

было видно, что Митрохин-то, оказывается, недурен собою!

— Ей-богу, он мне родной отец, мой батя! Ну, я ко-о-огда еще углядела, что он мало́й мужик-то, и тот же раз надумала уродиться в дедушку!

— Цыть ты! — сердился Митрохин. — Отец родной — шутка тебе, что ли?

— А вы не серчайте, батя, нельзя! От серчания в человеке аппетит иссыхает!

— Иди к нам, Лизавета, в партию! Будешь штанги ворочать за двоих. И двойное жалованье тебе хозяин Корнилов положит! — ввязывался Сенушкин и нехорошо щурился.

— Не пойду!

— Что так-то?

— Щипаться будете! Мужики не могут без того, а мне к чему?

— Недотрога! Замуж надо! Завтра же! Подыскать какого Ванюшу, от горшка два вершка, он тебя и возьмет!

— Не чаем с матерью выдать! — вздыхал Митрохин, не замечая сенушкинского прищура.

— Ну так и выдал бы! — и еще прищуривался Сенушкин.

— Не идет!

— Не иду! — подтверждала Елизавета. — В девках лучше, как замужем, вольнее!

— В старых девках останешься!

— Я перед тем, как в старые девы-то идти, посвищу — женихи-то и прибегут! Я свистеть сильно умею. Который раз парни на деревне пересвистываются, созывают друг дружку, а я и собью их с толку, они и ходят по всей деревне, ищут, кто кого свистел. Смешно!

— Просвистишься! Поздно будет!

— Тогда на учительницу пойду учиться!

— А учительницам замуж не надобно?

— Им не обязательно! Они чужих детей учат — вот и все ихнее дело!

Снова вмешивался Митрохин-отец:

— Это, сказать, так учительница наша, семенихинская, мою дочерь надоумила — не выходи, дескать, Лизавета, замуж, это вовсе не обязательно! Ничего хорошего в замужем нету! И за что только жалованье от Совет-

ской власти учительница эта получает, совершенно непонятно! Грамотная, а такой проповедует разврат!

— Она сама-то замужняя? Ваша, семенихинская, учительница? — поинтересовался Корнилов у Елизаветы.

— Какое там! Два раза́ замуж ходила, от обоих мужьев ушла, вот и узнала: ничего хорошего в замужестве нету!

— Она-то вишь как хорошо испробовала — на два раза, а ты так без единого и проживешь? — оглядывал огромную Лизаветину фигуру Сенушкин.

— Кто его знает... Который раз так и пошла бы взамуж, но на воле все ж таки лучше... Я ее еще не видела, воли-то... Как себя помню, все война, разоренье, вдовы, ребятишки-безотцовщина, одеть-обуть нечего. А нынче нэп сделался, я сытая-обутая-одетая, батя у меня добрый, так что мне жизнь-то менять? Чего ради? Разве что на учительницу выучиться... Либо вот на песни? Песни чтобы петь!

— Мы уже с матерью за сто с лишком верст к старушке ее к одной возили, Лизку-то, — сообщил Митрохин всему честному обществу, — к старушке, чтобы приворожила к хорошему какому-либо и к грамотному, конечно, парню, чтобы посодействовала, но нету! Нету ни помощи, ни содействия ни с чьей стороны, хотя убейся! Как ровно в пустыне какой, а вовсе не среди человеческого и даже передового общества! Теперь я думаю: может, ко властям все ж таки пойти? Нынче власти во многом народу способствуют! Нонешняя власть — ей до всего дело!

— Власти не решают личных дел! А не дай бог, начнут решать, ты, Митрохин, не обрадуешься! — будто бы и нехотя, но обстоятельно говорил мастер Иван Ипполитович. — Да и не пойдет твоя Елизавета к властям, зачем ей?

— Пойду! — громко подтверждала Елизавета. — Я и к старушке к той за сто верст с охотой ездила! Мне интересно! Что да как она шепчет, какие травки у нее, сама она какая из себя при своем-то ремесле?! Меня бы вот еще в монастырь отвезти, в монашки уговаривать! Я бы монастырь-то уж поглядела бы! И монашек! День-деньской в черном, а петь только молитвенно! Страсть интересно! Разговору об их слышано сколь угодно, а вот монастыря не видывала. Так же и власть — я бы пошла, поглядела бы, послушала, что у нее на уме и как! Почто

это — такой же человек, как я, а властвует надо мною! А может, я тоже могу? Мне бы вот еще про радио у властей узнать!

— Какое радио?

— Вот именно, какое оно? По проводу далеко слыхать — все ж таки понятно, все ж таки провод, проволока, а ежели безо всего слышно? Власти должны объяснить, почему слыхать-то, а не просто так, безо всяких объяснений по воздуху с народом разговаривать... И песни прямо по ветру пускать! Во все стороны!

— Ну, песни — это ладно, а вот в монастырь тебе никак нельзя — монашки тихо говорят. И не смеются!

— Я потерпела бы сколько-то... А вышла за ворота и отвела бы душеньку! Похохотала бы! В девках-то везде побывать возможно — в монастыре, у властей, а замужняя женщина куда далее своей избы? Замуж — это навсегда к месту прирасти.

Корнилов действительно сомневался: Елизавета — и замужем?

Она была к людям чуткой и приветливой — голова у кого-то из рабочих болит, никто не заметил, а Елизавета приедет: «Что это у вас больные-то явились? Откудова?» Была и наивно-откровенной. «Что, Лизка, запоздала нынче с обедом? Где канителилась?» — «Ой, да у меня седни месячные, вот я и канителилась... Покуда то да се...» Была и молчаливой... Улыбается всем, но молчит. Всякой была.

Доброй могла быть, и доброй до смешного, до нелепости.

«Ули, ули, ули, махонькая моя!— как-то услышал Корнилов в березовой роще, неподалеку от палаток бурового стана.— Да как ты спала-то нынче ночь-то? Да я тебя приголублю сейчас да приласкаю, да и поцелую еще в глазки! Да покачаю я тебя на руках-то вот так, вот так!» Корнилов подошел ближе, увидел — Елизавета покачивает небольшой рябиновый, кажется, кустик...

— Ты бы, Лизка, в комсомол вступила?— спросил Корнилов.

— Собрания комсомольские не сильно нравятся: живут как все, а соберутся, ну и говорят, говорят совсем уже по-другому. Совсем уже не как все... Да мне и одной не скучно, мне и одной весело петь... А зимой тропки топтать по снегу люблю!

— Дитя и есть!— вздыхал Митрохин.— Куда такую,

как только не взамуж?! — И его опять осенило, Федор Данилович Красильников осенил. — Все ж таки самое трудное — это распознать в человеке человека!

Умный этот постоялец жил и жил до сих пор в душе Митрохина, Корнилов опять позавидовал: хорошо иметь постоянного и умного собеседника!

Тут он подумал о Елизавете: «А вот у нее постояльцев в душе нет, — подумал он, — она их повсюду ищет и не находит!»

И она подтвердила:

— Вот беда-то, Петр Николаевич, так беда: песни складывать не могу! Песня у меня есть, а слово для нее одно. Одно, а далее нету ничего... пусто! С одним-то какая песня?! С одним только одной да в поле где-нибудь, чтобы никто не слыхал, и петь. И даже не так петь, как голосить...

Елизавета была певицей, но нескладной, такой же, какой была она вся.

На людях не пела: «Кто бы научил от стеснения избавиться, а уж тогда бы я и на людях запе-е-ела бы! По радио бы!» — но в поле Корнилов ее слышал.

Голос был необыкновенной силы, легко переходил от верхнего регистра на нижний и обратно, а песни действительно не было, пения не было, только голос сам по себе. Голос был дик и дичал, должно быть, тем больше, чем становился сильнее, и мучился этим, смутно зная, что где-то существуют другие, воспитанные и обихоженные голоса, что для них строятся дворцы, называемые театрами, и там они чувствуют себя как дома... У этого голоса дома не было, он был бездомен и поэтому несчастен... Он бы, наверное, так и не узнал своего несчастья, если бы не радио, которое Елизавета услышала на базаре в окружном городе в день Седьмого ноября...

На базарной площади тот раз не торговали, хотя подвоз был и покупатели были во множестве, но все, кто приехал из деревень, «будто с ума свихнулись», рассказывала Елизавета, все подозревали дело нечистое и ни на слово не верили агитаторам, которые, выступая по радио, говорили о годовщине Великой Революции, а также объясняли, что такое радио...

Вернувшись домой, в Семениху, Елизавета долго и мрачно молчала. Митрохин-отец заподозрил — не свихнулась ли «дочерь»?

Потом она пришла в себя, но радиоголоса преследовали ее, снились по ночам, она представила себе существование другого мира, с другим, не деревенским пением, петь перестала.

Она поняла, что голос — это общение, что она этого общения всегда была лишена: в Семенихе парни и девки над ней, над трубным ее голосом больше потешались, чем слушали ее. Семениха была деревней не песенной, и никто никогда не мог передать Елизавете каких-то мелодий, кроме частушечных и двух-трех протяжных, заунывных, но и они не приникли к ней, и она никому и ничего не внушила своим голосом, ни в одного человека не проникла, и он, ее голос, когда опамятовался после того базарного дня, так и остался в ней самой и только для себя.

Теперь ежедневно поутру и в полдень, когда вдалеке на проселке стучали колеса телеги, а в телеге стучали чугунки и миски, которые привозила Елизавета, этот стук перекрывался ее бездомным голосом, и Корнилов, слушая, думал, что напрасно она так хочет разрушить свое одиночество. Разрушит, а что найдет? Вот он, Корнилов, в какие только миры не ходил, богом и тем был, а что нашел?

Кажется, возникала необходимость что-то объяснить Елизавете.

Ну, ну... Однако... Какие только желания не являются мужчине в возрасте вокруг сорока! Какую только путаницу между серьезным и случайным не производит мужчина во цвете лет!

Нет уж, лучше так: нынче, в период нэпа, по всей стране наблюдается пробуждение масс. Вот и Елизавета тоже пробуждается, и все тут, и все объяснение, объяснение социального явления.

А как любит эти слова «пробуждение масс» Митрохин-отец! Произносит их с восторгом, полагая при этом, что он-то сам, собственной персоной, давно пробужден, давно уже бодрствует, что его миссия — пробуждать, пробуждать массы к новой жизни. К н э п у.

Ну, а своя-то, родная «дочерь» была ли Митрохиным внесена в списки пробужденных им? Была ли массой?

Корнилов спросил, а Митрохин обиделся: «А то как же? Еще бы я собственную дочерь обошел своим вниманием! Да за кого же вы тогда принимаете Митрохина, Петр Николаевич?»

Пробужденная или нет, в тревожном сне существо-

вала Елизавета или наяву, но только о ней одной Корнилов точно знал — камень не бросит!

Ничего не бросит она в скважину и ни за что на свете! По одной простой причине — потому что это нехорошо и несправедливо!

Кто же?

А кто такое Портнягин?

«Что такое» — это уж слишком неодушевленно, «кто такой» — одушевленно с избытком, «кто такое» — в самый раз!

...Второй рабочий, профессиональный бурильщик, которого вместе с Сенушкиным привез с собой из города мастер Иван Ипполитович. Рабочий бурконторы «Корнилов и К°» — вот он кто, Портнягин.

Портнягин именно так о себе и говорил:

— Кто такое Портнягин? Тут у нас, как водится в буровых партиях, собрались неизвестно кто — не пролетарский класс, и не крестьянство, и не служащие какие-нибудь, а те, которые никто. Верно, что сброд! С миру по нитке, а голому рубашки нет как нет! На бурении во веки веков так было и так будет, потому что пролетарий, либо крестьянин, либо служащий, он своим местом дорожит, а буровик? Какое у его место? Нынче там, завтра не там, нынче крутит штангу, а надоело, он тот же час встал и ушел. У него весь пожиток под мышку влазит. К тому же мастер наш Иван Ипполитович, он сброд любит. Он таких, как мы, со всего света сбирает, мы, такие, ему необходимые... В нашей партии сброду даже поменьше, чем в других. Иван Ипполитович, зная, что хозяин Корнилов здесь будет, постеснялся сброду много брать. А в других во всех партиях «Конторы»? В других девяти партиях, которые в нынешний сезон работают, кого только нет! И картежники, и воры, и генералы бывшие, и растратчики — так это уже обязательно! А все ж таки кто такое Портнягин? А ему на все наплевать, вот он кто! Чем более кругом плевать, тем легче жить. Можно сделать, чего-нибудь добиться, а ты наплюй и не делай; нельзя чего-то делать, не позволяется — обратно наплюй и сделай, пускай не позволяется, не велика беда... Все одно войны разные, перевороты, революции, начальники, писари, все одно они жить не дадут как тебе хочется, все крутят тобой... Крутят-крутят, а прошли-миновали ихние времена, и никто не

знает, зачем они были-то! Зачем крутили-то? Того ради, чтобы на их место другие крутильщики заступили? Вот: били-били буржуя, а пришел нэп — и снова ему же аренду сдают, сапожную мастерскую, портновскую, заводик какой-нибудь и даже вот буровую контору «Корнилов с компанией»! Этого случая я вроде ни от кого больше не слыхивал... Петр Николаевич, а вы слыхали другой такой же случай? Или это единственное, ваше частное буровое предприятие?

— Не слышал...

— А мне все равно, я об этом не думаю. Думать — овчинка выделки не стоит... Думали, думали, выдумали сознательность, а за ей и все прочее. Выдумали — с сознательностью ни на минуту днем нельзя расставаться, да еще и ночью спи с ей же! Такие дела... То закон божий был, теперь сознательность. А к чему? Хочется человеку выпить, деньги есть, пускай идет и выпьет, а то мировую войну неизвестно по какой глупости затевать можно, а выпить нельзя! Хочется за бабами побегать — побегай, кому вред? Тем более это и без денег, бывает, можно... И когда так, когда без вредной этой сознательности люди бы научились жить, то и войны бы сроду не было, откуда ей взяться? И справедливость сама бы пришла и наступила. Я войны не хочу, убийства не хочу, сознательности не хочу, так я, между прочим, самый справедливый человек, и мне каждая власть и режим вот как обязаны, что я такой есть! Что такой вот я существую и ничего другого не хочу! А то сделай меня сознательным-то, а я, дальше — больше, дальше — больше, да и придумаю тех спихнуть, кто меня сознательным делал. Очень-то это кому нужно? Очень это мне нужно? Такие дела...

И Портнягин действительно был мастером безделья.

Все работают — и он работает, поднимает, опускает, крутит штанги; перекур — и все, отвалившись от скважины, еще минуту-другую не знают, чем заняться: покурить ли сидя, полежать ли молча, затеять ли разговор; а Портнягин время отдыха не теряет ни секунды, он сразу в сторону от скважины едва не бегом, сразу ложится на травку, зажмуривается, задирает рубаху — пусть теперь солнышко поработает, погреет ему брюхо...

Никто с Портнягиным не заговаривает, и хорошо, он помолчит, заговорили, спросили, он о себе что-нибудь

расскажет, но будто бы не о себе — о постороннем человеке.

— Я на Алдане в третьем годе золото мыл, старальничал. Мыл, мыл, ворочал, ворочал в артели, ну, не стало сил моих, не вижу прока, хотя бы всей артелью, семнадцать мужиков, с горошину намыли — нету! Я ушел, рассчитался с артельщиками за харчи, должен рубль сорок остался и ушел на речку. На причал матросом, чалки с катеров отдавать-принимать, грузы какие-никакие охранять на той крохотной пристанешке... День работаю, доволен: легко, не суетно, силой тратиться не приходится. И только день этот первый прошел, артельщик старательный является — там неподалеку было, верст, может, двенадцать,— отдай ему рубль сорок долга! А я еще и не заработал тех денег, расчет не скоро, недели две ждать. Ну, я не спорил, занял у старика, он поблизости стоял, держал перевоз, отдал рубль сорок. Артельщик взял, после говорит: «А мы седни с утра на золото напали! В твоем шурфе! Богатое оказалось место! И не чаяли такой удачи!» Бро́саю причал, бегу снова в артель — действительно, мой шурф в десять раз шире стал, а его все копают, из его породу все моют и моют, золото все идет, идет... Как бы из фабрики какой идет продукция. «А как же я-то?!— спрашиваю у мужиков.— Как бы не я, то и вы, может, минули место, оно же вон как в стороне от других находится. Нет уж, как хотите, а я снова с вами!» — «Рубль сорок отдал артельщику?» — спрашивают меня. «Отдал! Взаймы взял, но отдал!» — «Ну, значит, и все! Значит, мы с тобой в полном расчете, будь здоров!» Такие дела.

Портнягин безразлично улыбается.

Улыбается! Приятно ему говорить без сожаления и злобы, приятным неторопливым голосом.

Может, выдумывает? Не было ничего: ни старательской артели, ни артельщика, ни долга — рубль сорок копеек? По словам портнягинского рассказа Корнилов убеждался: было!

У Портнягина не было другого оптимизма, кроме безразличия.

— А по мне, так и вовсе не бывало бы никаких случа́ев! Нет, и хорошо, и ладно! Их уж сколько бывало разных-то случа́ев-то, у каждого человека, ну и что? Что из них толку-то, узнал либо нет человек? Да ничего не узнал он! Нет уж, лучше бы они не случались, случа́и.

Шла бы и шла жизнь без их, ку-уда бы меньше было всякой неприятности!

Он знал, что делает, когда не делал ничего.

— Мельтешиться-то? Кто политики выдумывает, тот пущай и мельтешится. Тому толк. А мне? А мне на травке полежать, подышать. Потому что в скором времени, может, и этого за мной не будет, погонют меня куда-нибудь мельтешители, на какую-нибудь войну, так я покуда успеваю полежать на травке, это моя политика. Собственная. Другой думает, будто она есть у его, глупо́й человек. Глупо́й и вредный для других.

— Вот я глупой? — спрашивал у Портнягина Сенушкин.— Я ведь и еще собираюсь пожить и даже прибрать к рукам что плохо лежит. Собираюсь! Обязательно.

— Собирайся! Счастье твое, когда прособираешься до конца своёй жизни, да так и не соберешься, а только отдохнешь как следует. Потому что за тебя кто-то другой уже сборы сделал, уже намеченный ты под ружье, то ли к голодухе представлен, то ли к нищенству, и даже, может быть, к воровству. Скажут тебе: «Воруй, Сенушкин! Так нынче надобно!» — и будешь ты вором. Либо ничего не скажут, без слов обойдутся, но сделают, что без воровства ты и дня не проживешь.

— Ну, это не сильно страшно. На это меня долго уговаривать не придется!

— И правильно: мало ли, долго ли тебя уговаривают, а все одно своего достигнут. Каким тебе скажут быть, таким ты и будешь, ясно! Ясно как божий день... Ты вот выдумываешь, будто ты такой, да сякой, а ты такой, как тебе приказывают. И вся недолга.

Иногда Портнягин говорил:

— Запить, что ли? Опять же не с чего.

— Неужто жизнь твоя такая, что не с чего в ней запить? — удивился Сенушкин, и Портнягин подтверждал:

— Тянем ее, будто сильные. Жизнь-то...

— А какие же?

— Сами не знаем какие, потому и тянем.

— Чего-то ради тянем же!

— Потому что не знаем, чего ради. А когда бы узнали, тогда бы удавились. Обязательно.

— Я бы нипочем! Разве стрелял бы меня кто! Но чтобы сам, да ни за какие деньги! — убежденно говорил Сенушкин.

— Все устали...

— И даже ничуть! Я лично устроен для житухи! — Сенушкин показывал свою грудь — узковатую, с клочками бесцветной шерстки под шеей.

— И ты усталый до невозможности, только сам от себя скрываешься в этом. И ты тоже на который раз уже живешь, без конца, без края и неизвестно для чего... Для вот этого, для бурения? Так уже тысячу лет буровят люди землю, ну и что? Чего достигли? Какого счастья?!

Недавно, готовясь к буровой деятельности, читал Корнилов о китайцах — китайцы подвешивали на блоках помост, на помост поднимались люди, сто человек, и под действием их веса помост опускался вниз, до земли... Потом сто человек по команде спрыгивали на землю, помост резко поднимался вверх, а прикрепленный к нему канат с металлическим конусом на конце — канатно-ударное бурение — опускался вниз, ударял в забой скважины и углублял ее...

Так бурили тысячи две лет тому назад...

И долго: годы, десятилетия, века одну скважину...

А уставали-то, поди-ка, как! При такой-то технике!

Все было, все было уже когда-нибудь: войны гражданские, военные коммунизмы, нэпы. Или, может быть, Мстислава Никодимовича Смелякова никогда прежде не было? Может быть, это он первый сказал: «Жизнь — это бывшесть!»

Но в то время как Мстислав Никодимович от усталости ничего не делал, не мог, не хотел, Портнягин делал.

Ворочал он штанги вдвоем с Сенушкиным, так Сенушкин неизменно его останавливал:

— Лошади мы с тобой, что ли? Побереги силу-то!

— На что ее беречь? — спрашивал Портнягин. — Как бы знать, на что?

И ворочал один, когда Сенушкин отступался. Нехотя, даже брезгливо, но добросовестно делал свое дело.

«А умереть тебе, Портнягин, не хочется?» — интересно было спросить Корнилову, но он стеснялся.

«Хочу умереть, хочу умереть, хочу умереть...» Конечно, это Портнягину известно, но такой известности и даже искренности зачем-то противостоит биология, биологическая энергия, существующая не только в тебе

самом, но и растворенная в окружающем воздухе. «Врешь, не умрешь! Врешь... Врешь... Черта с два!» — исходило от этого, оттого, что она существовала повсюду. «Да что, не было у тебя до сих пор случая умереть?! Давно? Давным-давно?! Бывало, сколько угодно, но ты не воспользовался случаем! Значит, и нынче не придуривайся!» Искреннее желание умереть терялось окончательно, и казалось, что о смерти неприлично думать... Комедия! Эксперимент! Натурфилософский, военный, штатский, нэповский бесконечный эксперимент! Пробирка, в которой обязательно что-нибудь происходит, какая-нибудь реакция!

Но — опять-таки! — реакция реакции рознь.

В начале одной выпадал мутный осадок, больше ничего, на этом все и кончалось, другая незаметно-незаметно становилась фантазией, уму непостижимо — что, откуда, каким образом?!

Должно быть, все зависело от того, какие элементы участвовали в реакции, одушевленные или неодушевленные, какая была химия, органическая или неорганическая, какой был химик.

Вот и нынче сперва была реакция вытеснения чего-то незначительного чем-то другим, тоже незначительным, вытеснение цинком водорода из серной кислоты — на первом же уроке химии демонстрируется эта реакция ученикам, потом что-то посложнее, позанимательнее, а вот уже Корнилов подумал, что безотказным средством приобщения к жизни является женщина...

Нынче им не воспринималась Евгения Владимировна — уж очень милосердна. Леночка Феодосьева все еще слишком несостоятельна как женщина по причине то ли слишком раннего, то ли запоздалого развития, бестужевка Милочка — та потеряна, будто ее не может быть на свете, в то время как — почему же? — наверное, живет где-нибудь на белом свете, но все равно потеряна навсегда и в этих-то обстоятельствах вдруг покажется, хотя бы и по недоразумению, что Елизавета Митрохина способна! (Приобщить?!)

Елизаветы слишком много в голосе, в фигуре, бог знает в чем, она испытывает избыток самой себя, а это уже испытание и для других, и теперь Митрохин-отец, едва Елизавета привезет завтрак или обед, гонит ее домой: «Давай-ка, Лизка, секундой обратно! Нечего тут делать!» — и внимательно смотрит на Сенушкина, на

Портнягина, на Мишу-комсомольца, даже на бурового мастера Ивана Ипполитовича. На Корнилова — не смотрит...

Никто митрохинского подозрительного взгляда не смущается, Корнилов — немного.

Он мог представить Елизавету на сцене.

Огромная, декольтированная, ошеломляя, она является перед тысячами глаз, и у нее уже поставлен голос и жест, и лицом она владеет, пусть не до конца, но все-таки владеет, и своей фигурой, а тогда и становится певицей-открытием. И — немалым.

У каждого времени свои запреты и свои открытия, каждое время позволяет утешать себя далеко не всякому, даже и великому артисту.

Слушатели, зрители, читатели — всегда собственники, перед ними может явиться только то, о чем они захотят сказать «мое!» и «мое открытие!». Они слишком часто так и не находят собственных открытий, а кто же согласится прожить жизнь, не открыв в ней ничего? Кто же не хочет приобрести открытие, эту собственность, без отцов и без Ньютонов нажитую?!

После приобретения «Буровой конторы» Корнилов стал весьма и весьма понимать толк в собственности, поэтому сейчас он понял эгоизм слушателей, зрителей, читателей. А то, бывало когда-то, сколько он посещал санкт-петербургских и московских концертов и спектаклей, сколько вернисажей, а вот поди ж ты, не понимал до конца причин, которые его в театры и на вернисажи влекли! Нынче понял.

Понял, как современные, середины двадцатых лет, собственники стали бы слушать контральто Елизавету Митрохину: «Ах, какая техника «перелома», при переходе от грудного регистра к среднему!», «Ах, какая деятельность диафрагмы в создании «закрытого» звука!», «Ах, какие «примарные тона»! Но все эти «ах!» — дело все-таки второстепенное. «Крой, выдвиженка!» и «Знай наших!» — вот что было бы самым главным для подавляющего большинства публики. «Крой, затыкай за пояс бывших императорских, бывших академических, прочих бывших!» — вот где крылся бы настоящий энтузиазм. И настоящее открытие!

А Корнилов?

Если бы он видел Елизавету Митрохину из концертного зала?

Уж он открыл бы новую Еву!

Новую, а в то же самое время ту самую, которая, пошалив с Адамом, открыла начало роду человеческому.

Та Ева была изначальна, и эта тоже, та не умела размышлять о результатах и последствиях своих поступков, и эта тоже, та не знала, что такое театр и сцена, и эта тоже, та не знала своего назначения, и эта тоже... Те были мифами, и эта — тоже.

Мифы же только совершают и никогда не думают, что за свершениями последует, мифы живут самой естественной жизнью, ничуть не подозревая, что они великие актеры.

Да разве та Ева, если бы догадывалась, что она возведена на сцену, что на нее будут смотреть миллионы зрителей в течение веков и тысячелетий, разве бы она позволила себе соблазнить Адама?

И, только не зная ничего, она стала первой на свете актрисой и вручила биологичность человечества женщине, обязала женщин после себя быть ее копиями, заставила их из кожи лезть, подражая ей, какая женщина не хочет быть женщиной первой? Хотя бы изобразить первую? Повторить открытие Евы?

Женщины неизменно настраивали Корнилова на фантастичность, на аллегории, без которых они стали бы более чем прозаическими существами...

Так было с бестужевкой Милочкой, первой его Евой, которая чаще всего по субботам являлась, бывало, к нему в двухкомнатную, такую уютную и философски многозначительную квартирку на 5-й линии Васильевского острова, так было и в городе Ауле, в каморке по улице Локтевской, № 137, так было бы, если бы он откликнулся Леночке Феодосьевой. Он не откликнулся, подозревая, что в ней, несмотря на цветущий возраст, все еще не созрела Ева, и так было всегда — он смотрел на женщину и догадывался, сформировавшаяся это Ева или нет, или недоразвитая, достойная это копия или одно только недоразумение?

Ева-Елизавета создавала перед Корниловым свой рисунок неумело, но первозданно, вне текущих обстоятельств и обстановки: театр так театр, пещера так пещера, ей было все равно, она не болела выбором, она не подозревала, что Корнилов — это Адам, хотя и очень заметно испорченный цивилизацией.

Во-первых, у него изменилось представление о той, истинно первой Еве: вовсе не в райских садах она су-

ществовала, а в трудных природно-климатических условиях, и ее мускулатура вот как была ей необходима; в другом свете представилась ему нынче и бестужевка Милочка, святая Евгения и Леночка Феодосьева. Во всех них, оказывается, слишком уж мало было первозданности, одна цивилизация. Только после того, как ему встретилась Ева-Елизавета, он понял, что значило первое прикосновение первой Евы к первому Адаму... Первое, ни от кого не слыханное, нигде не прочитанное, ни на одном примере во всем живом мире не виданное. Вот это было открытие так открытие, гений так гений — куда там Ньютон или Коперник! В конце-то концов, не все ли равно, вертится Земля вокруг собственной оси и вокруг Солнца или не вертится, если на этой земле Адам и Ева уже совершили свое открытие?!

И что сказки Канта и Гегеля в сравнении со сказкой об Адаме и Еве? Вот это сказка так сказка! Единственная. Не было больше таких сказок, нет и не будет во веки веков — исчерпан материал!

Ну что мог почерпнуть Корнилов из наук и литератур, из натурфилософии, из опыта тех дней, когда он был причастен к богу и, слушая священноучителя на уроках закона божия, думал: «Это обо мне!», чем могли помочь все эти прошлые и разные существования в тот момент, когда Евгения Владимировна Ковалевская, в жизнь которой он так грубо ворвался, шепотом, отворачивая лицо, открыла ему, что она девушка?!

Кроме сказки об Адаме и Еве, кроме их открытия, ни от кого и ни от чего другого не могло исходить тогда, в тот поразительный миг никакой помощи, никакого прозрения, никакого импульса!

Вот, скажем, все его Евы, а Евгения Владимировна особенно, обязательно и чрезмерно настойчиво хотела думать вместе с ним и его мыслями. Хотела, чтобы мысли высказывались им для нее логически, чтобы она была участницей его логики и его чувств.

Ну, а подлинной-то Еве разве до этого было какое-нибудь дело? До логики? До резюме? Из одной мысли — одна фраза, из другой фразы — одно слово, из одного слова — один только вздох — вот она, та необходимая свобода и свобода слова, та самая, которой обладала подлинная Ева.

И он что нынче подозревал: когда Елизавета стала бы для него Евой, уж кто-кто, а она-то не потребовала бы от него ни логик, ни откровений, ни резюме...

Тем более что, сколько бы Корнилов ни жил, сколько бы ни пережил, какими бы мыслями ни думал, юными или старческими, он ведь все равно никогда не чувствовал и даже не понимал до сих пор своего возраста!

И чтобы не продолжать этих, бог знает каких, черт знает каких размышлений, Корнилов махнул на самого себя рукой и спросил Портнягина:

— А что, Портнягин? А мог бы ты бросить какой-нибудь камень в нашу скважину? Со скуки?

Вся буровая партия в это время бездельничала, изнывала, кто как мог, так и убивал время, тихо было кругом, тоскливо у всех на душе, у одного только Корнилова благодаря его размышлениям об Адаме и Еве явился просвет, душевное занятие явилось. Ну, и еще мастер Иван Ипполитович был занят: ловил, ловил, ловил, как бы желая умереть за этим занятием.

Портнягин, он лежал на спине, быстро, будто давно ждал этого вопроса, перевернулся со спины на живот и громко ответил:

— Со скуки, хозяин, все можно сделать. Все!

— Так, может, ты и сделал?

— Нет, не я...— уже уныло и неохотно ответил Портнягин.

— Почему не ты?

— Да все еще не заскучал я слишком-то сильно. Вот уж когда на всю катушку заскучаю...

А по ночам Ковалевская Евгения Владимировна мнилась Корнилову... Днем не вспоминалась, нет, но по ночам...

Божественная она была, эта женщина. Единственная в веках.

Неземная женщина... Провожала, провожала обреченных и от века непутевых русских земных жителей — раненых и сыпнотифозных, вшивых солдатиков и дизентерийных, и даже холерных провожала она в последний, в самый праведный, в самый неизбежный путь, некрасивыми сильными руками закрывала им веки, крестила на прощанье, помогала санитарам убирать их, уже бездыханных, с больничных коек, с охапок соломки, брошенной в угол какой-нибудь избенки,

с тряпья какого-нибудь, быстро помогала, торопливо, чтобы место освободить для следующего — свято же место пусто не бывает! — и вот набралась на этом деле святости собственной, заглянула туда... Куда день за днем увольнялись со службы все эти солдатики и многие другие гражданские лица. А в конце-то концов обратила она свою святость на Корнилова — надо же! — и для себя поначалу назвала его преступником, убийцей, предателем, для других — своим мужем. И стала ему женой, святая девственница.

Не только воскресила его из небытия, в котором он бытовал, но дала ему другое имя, а от собственного имени освободила его, сняла груз...

Не то чтобы груз был непосильным — ежели Корнилов жил, значит, посильно это было ему, — не то чтобы Корнилов был редкостным каким-то исключением, нет, скорее наоборот, он был человеком по нынешнему времени, вероятно, типичным, но все равно груз был тяжким, а освобождение от этого груза было событием положительным, и многие-многие граждане Советской России ныне отряхивали прах со своих ног, меняя имена то ли по причине своего возвышения, то ли по причине великого падения, не желая видеть себя в своем прошлом... Кто закреплял за собою еще дореволюционную подпольную кличку, кто усматривал в фамилии Сидоров пыльность, затхлость и вековое заблуждение и срочно объявлял себя Желябовым, Петр назывался Владимиром, Лев — Петром, тут недавно было в газете: Фекла стала Шахтой, Ефимия — Металлургией, Вера почему-то захотела стать Надеждой, наверное, усмотрела в Вере веру, то есть намек на постыдную религиозность.

Многие-многие находили свою свободу в отречении от прошлого, вот и Корнилову странно было вспоминать себя батальонным и даже более значительным командиром сперва в царской, а потом уже и в белой армии.

Если бы он когда-нибудь этими должностями гордился, добивался их — никогда! Наоборот, он протестовал, пытался объяснить вышестоящим командирам, что ему, приват-доценту, натурфилософу, должности претят, напоминал, что пошел воевать добровольно, а это оставляет за ним право выбора, но объяснения такого рода казались всем окружающим донельзя смешными и нелепыми, а добровольчество лишало его последних

притязаний на свободу действий и выбора... Лишало последней в жизни возможности самого себя узнать, самим собою стать.

И только Евгения Владимировна с этой немыслимостью первой смогла смириться, смогла принять ее как нечто должное и даже любимое: ей было все равно, кем был когда-нибудь Корнилов, лишь бы он был — нынешний, сиюминутный, сиюсекундный.

Она милосердно освободила его от необходимости помнить, кем он был когда-нибудь, но теперь даже и этой свободой не могла удержать около себя...

«Ну, подожди, Корнилов,— думал Корнилов,— рано или поздно твое предательство этой женщины уничтожит тебя до конца! Ничто не уничтожило, но это сделает свое дело... Справедливо сделает...»

Хотя?!

Да мало ли о чем мы думаем, о чем догадываемся! Лишь бы не догадывались другие!

Лишь бы не догадывался Иван Ипполитович!

Догадается, а тогда сколько же новых страниц напишет в своей «Книге»?

А самым необъяснимым, самым страшным и бессмысленным мир казался Корнилову между четырьмя и шестью утра.

Прекрасное время — рассвет, начало грядущего дня, и он отчетливо помнит, что душа его когда-то тоже рассветала в эти часы и минуты и жаждала всего, что ей предстояло совершить, почувствовать, узнать, увидеть, услышать, но во время войны все это переменилось, в военном быту рассвет — время, когда ты атакуешь и наступаешь, тебя атакуют и на тебя наступают, и ты покидаешь глубокий сон, который один только и есть то подземелье, которое надежно скрывает тебя от войны. На военном рассвете ты с первого же мгновенья слышишь команды и сам командуешь, и вот уже кого-то расстреливают и кто-то сообщает имена убитых за ночь, и ты продолжаешь бездорожный, голодный и вшивый марш все к тому же смертельному рубежу, который зачем-то отодвигается из сегодня в завтра. Но ты не в силах отвергнуть игру, и, командуя, кричишь на кого-то, крича на себя, угрожаешь кому-то, угрожая себе, и вот уже кто-то расстрелян и догорает обоз с продовольствием и амуницией, а ты, голодный и кое-как одетый, из

Малой Дмитриевки через тайгу и снега отступаешь в Большую Неизвестность...

Неизвестность эта длится и в нынешние рассветы.

В эти часы встать бы и что-то делать бы быстро и энергично, но Корнилов не встает всегда по одной и той же причине — войны нет, нет команды, и вот он ждет следующего сна, с шести до семи-восьми, когда уже не вставать нельзя даже по мирному времени и нельзя больше вспоминать, надо заниматься днем сегодняшним.

Так вот раз где-то рядом со вторым сном, среди прочих мыслей, тот предмет, который сам упал, а вернее всего, нарочно был брошен кем-то в скважину, Корнилов и назвал камнем...

Соответствовало во все времена: бросить камень в человека — библейское, носить камень за пазухой, а потом бросить — средневековое, ни с того ни с сего бросить камень в скважину — современное.

А тут еще оказалось, что и Портнягин точно так же называет предмет: «...какой-никакой ка-му-шек... в нашей-то скважине!»

Тем более настойчивым становился вопрос: «Кто? Кто из них?» Кто из этих людей, которые сами себя называют сбродом, а Корнилов несколько иначе — осколками?

Он сам, Корнилов, что ли, не осколок? Иван Ипполитович не осколок? Даже Барышников и тот осколок, только новый, новейший.

После одной войны, после другой войны, после военного коммунизма все реальное и воображаемое вокруг уже не может быть без осколков, осколки теперь явление естественное, и неизвестно, из чего будет состоять будущее — из целого или из осколков?

Так что мастер Иван Ипполитович, составляя буровую партию, может быть, составил ее из людей будущего?

Так неужели же буровая партия — это коллектив?!

Трудовой?!

Как он возник?

В Саратове скончался инженер Николай Корнилов. В старости, в одиночестве умер тот инженер — Корнилов-отец. Он же «отец». (По отношению к сыну, проживающему в городе Ауле.) Он же основатель акционерного общества «Волгодормост».

Кроме бурового инструмента, по поручению и по доверенности Корнилова, десяти комплектов, Иван Ипполитович прихватил в Саратове среди разного рода документов, подтверждающих права собственности, и патентов на право производства работ еще и такую бумажку-вырезку из газеты «Экономическая жизнь»:

«Объявление о регистрации акционерного общества по строительству дорог и мостов

«ВОЛГОДОРМОСТ»

Июля 9-го 1924 Народным комиссариатом путей сообщения СССР на основании инструкции о порядке регистрации акционерных обществ (С. У. № 29, 1923 г., приложение к статье 334) внесено в реестр акционерных обществ под № 22 (двадцать два) акционерное общество «Волгодормостстрой», устав которого утвержден ЭКОСО РСФСР, протоколом от 2 июля 1924 года.

Цель общества — развитие строительства дорог и мостов преимущественно в Средне-Волжских губерниях РСФСР, а также продолжение деятельности производственно-строительного общества «Волга» братьев Корниловых.

Размер основного капитала определяется в триста тысяч (300 000) руб.

Размер фактически собранной части капитала семьдесят пять тысяч (75 000) руб.

Управделами Наркомпути

Клементовский»

Вот какое дело.

А могли бы еще объявиться у Петра Николаевича-Васильевича почти что родные дядюшки — один, двое, трое: все, возможно, бывшие владельцы общества «Волга»?!

Петр Николаевич-Васильевич справлялся на этот счет у юристов Аула и даже Ново-Романовска: могут ли дядюшки — один, двое, трое,— неожиданно объявившись, предъявить свои претензии на совладение?

Нет, не могут, сказали юристы в городах Ауле и Ново-Романовске: документами совладение не подтверждается.

Но совсем не в этом было главное, а в другом: значит, все-таки дядюшки могли объявиться? Пожаловать к своему племянничку де-факто?

Зато в связи с новыми правами наследования, введенными в государстве вместе с нэпом, не кто иной, как юридические органы Советской власти, стали разыскивать наследника.

И разыскали. В городе Ауле, по улице Локтевской, дом № 137. Не задумываясь ни на минуту, Корнилов наследство принял. Ведь для того чтобы его не принять, бог знает какие невероятные поступки надо было совершить!

Надо было остаться — может быть, навсегда!— в каморке дома № 137.

Надо было работать и дальше в артели «Красный веревочник»!

Надо было по-прежнему существовать в святом подчинении у святой женщины Евгении Владимировны Ковалевской!

И все это при том, что у тебя имеется щедрый покровитель — Корнилов Петр Николаевич!

Он и жизнь подарил Корнилову Петру Васильевичу, и святую женщину, и наследство, и мало ли что он мог еще сделать!

Да кто же это из живых людей отказался бы от подобных щедрот?! За которые ничем не надо платить, даже легкой лестью и уважением! Получил, принял дар и можешь дарителя поносить любыми словами!

И Корнилов Петр Николаевич не только не поддался святости и бескорыстию Евгении Владимировны, ее отчаянным уговорам, он эту святость еще и еще разрушил. Он сказал: «Я по своей воле пошел на войну и воевал, потому что смог; после войны из Петра Васильевича стал Петром Николаевичем — смог; я тебя, святую, заставил хлебные полуфунтовые карточки менять на пудру и помаду — смог. А если я все это смог, то принять в свои руки «Буровую контору» я уже обязан!»

Святая женщина и тут оказалась не в состоянии не поверить ему, отрицать его правоту, и вот он принял «Контору», разыскал в городе Ауле нужного, очень нужного человека, бурового мастера Ивана Ипполитовича, послал его в Саратов, а тот уже доставил наследнику имущество — буровое оборудование — из Саратова в Аул, тот уже стал техническим руководителем предприятия и для порядка, опять-таки в соответствии

с недавно вступившим в силу законодательством, его совладельцем (с малой долей владения).

Так что же, исполнив все это, буровой мастер Иван Ипполитович, проницательный человек, нигде и ничего так и не заподозрил?

Заподозрил, факт!

А мертвые противники, они ведь ничуть не мягкосердечнее живых? Пожалуй, они еще более жестоки.

Никто ведь не думает, даже мертвые, что такое жизнь и прав ли человек, живя; зато ни одна подробность сиюминутной жизни не минует мысли человека. И так, наверное, и должно быть, потому что не от нас зависит наше рождение и смерть, в распоряжении человека только мгновения его жизни со своим собственным мгновенным же смыслом.

Вот и Корнилов — как? Подробности сиюминутной жизни — пожалуйста, он их обдумывает, чувствует, проклинает, снова ищет, но о самой жизни, ну хотя бы о том, что такое нэп — надолго ли это, и правильно ли это или не правильно с точки зрения человечества и даже с его собственной точки,— об этом ни гугу! Нишкни!

Ох, чем-то кончится это изобретение!

Кто?

Буровая партия ждала приезда Барышникова.

— Вот приедет...

— Вот приедет, скажет...

— Вот приедет, как с нами рассчитается?

Действительно, как? Не заплатит за аварийную скважину ни копейки? Взыщет неустойку по срокам исполнения работ? Заставит бурить новую скважину в счет заброшенной?

Большой убыток имеет нынче Корнилов, хозяин «Конторы», заметно меньший — мастер Иван Ипполитович, затем следовали убытки рабочих, все вместе они теряли значительно меньше, чем один Корнилов, но все равно их потери молчаливо и вслух признавались главными и драматическими. Потому что — рабочий класс.

Корнилов о своих убытках говорить стеснялся, больше расспрашивал Митрохина:

— И что же, Барышников этот всю жизнь был крестьянином, а потом в один момент стал председателем «Смычки»? В Ленинград стал ездить, новозеланд-

ские этикетки покупать, наклеивать их на ящики с семенихинским маслом — все в один прекрасный день?

— В один прекрасный! — подтверждал Митрохин.— Сами не чаяли, что среди нас такой человек существовал, а сделана Советской властью кооперация, сагитировались, тут начали и Барышникова тоже агитировать на вступление в «Смычку». Многих тогда агитировали, всех поголовно, большинство отказывалось, Барышников тоже отказался, но по-своему: «Вступлю, но только в том случáе, если сделаете меня председателем!»

— Дальше?

— Засмеялись и отступились. А дошло до председательских выборов, отказываются все по причинам малой грамотности, по слабости характера, по здоровью, по слишком большой многосемейности, ну тогда и пошли к Барышникову: «Ты в тот раз в шутку говорил о председательстве? Либо всерьез?» Он ответил: «Всерьез!»

— Он грамотный?

— Был так себе. Но овладел за год. И даже менее того.

— Был сильный крестьянин? Зажиточный?

— Не сильнее других. Но каялся: «Борозду гоню, а сам в рассуждении — это бы вот продать за столько-то, а то купить бы за столько, а разницу бы на следующую пустить куплю-продажу...» Ну, конечно, каялся только выпивши: русский мужик и вдруг о торговле мечтает, и не где-нибудь, в борозде. Срам!

— Был срам. А нынче?

— Правда, что был, а нынче уважение: не каждый способен подобным же образом на нэп откликнуться!

Первая встреча с Барышниковым припомнилась Корнилову: приехал он в тот раз, кивнул небрежно, попинал ногами буровой инструмент, заглянул в устье скважины, задал три или четыре вопроса по существу дела, технически совершенно грамотные, уехал. Уезжая, предупредил: не уроните в скважину какой-нибудь посторонний предмет.

Ну, конечно, Корнилов уже в ту минуту Барышникова зауважал.

Ну, а потом Барышников появлялся на скважине в обед, чтобы не отрывать людей от работы. Появлялся минут на пять. «Бýрите, буровики? Бурúте, буровики!» Всегда он был не один, всегда при счетоводе «Смычки» в желтых форсистых ботинках. Еще сопровождал его председатель Семенихинского сельского Совета в сти-

раной-перестираной гимнастерке. Разговор был хозяйский: «Худо будете работать — худо буду платить!», «Сроки не выдержите — сделаю удержание!», «Дойдете до водоноса, ту же минуту позовете меня. Без меня фильтр не опускать — я сам должен углядеть это дело!».

Корнилов отвечал тоже холодно, тоже кратко: «Контора» напорные воды не гарантирует, запомните это!» — «Помню!» — «Вода может оказаться солоноватой, непригодной для маслодельного производства!» — «Рыск!» — отвечал Барышников в смысле того, что неизбежен риск, садился в свой тарантас и уезжал прочь, иной раз и не попрощавшись...

Мастер Иван Ипполитович почти точно угадывал мысли Корнилова.

— Ему бы не кооператором быть, а конокрадом — артист! Среди конокрадов, скажу я вам, часто артисты случаются!

А Митрохин даже с некоторой радостью поддерживал мастера:

— И что, и что?! Барышникова к любому предмету приставь, он в нем выгоду почует и сделает ее, не откладывая! Ни минуты!

После того, как случилась авария, Барышников на скважине не был вот уже несколько дней, и Корнилов ломал голову: «Почему?»

Наконец не в обычное время, а к вечеру, когда солнце было на закате, Барышников явился.

— Ну и что? На эту скважину будем надеяться? Другие начинать?— спросил он еще из тарантаса.

Он хотел от мастера ответа сиюсекундного, но тот тихо, вяло, совершенно бесстрастно ответил, что дело это заказчика пока не касается, вот он, мастер, «половит» еще сколько-то дней, а тогда и даст окончательный ответ.

— В таком случае, на сегодня мы тут ненужные!— пожал плечами Барышников, но на мастера не обиделся и не уехал, прислонившись спиной к черному корявому стволу березы, стал думать.

Корнилову показалось, будто Барышников должен пахнуть чем-нибудь острым, вернее всего, чесноком, он подошел к нему — от Барышникова не пахло ничем и разговора вести с Корниловым он не собирался.

Ну еще бы! Хотя оба нэпманы, но масштабы разные: Барышников — нэпман советский, кооперативный, Корнилов — частник. Барышников с кем только не

имел дела — с крестьянами, рабочими, служащими кооперации и совторгслужащими, железнодорожниками, моряками, юристами, бухгалтерами, коммерсантами разных стран. А Корнилов? Незадачливый хозяин буровой какой-то конторы, с партией народишка, которому действительно одно только название «сброд». Ну, разве еще «осколки»...

Однако Барышников не уезжал. Счетовод «Смычки» и предсельсовета все еще сидели в плетеном тарантасе, молчали, изредка начинали между собой какой-то разговор, ждали Барышникова, а тот все стоял, прислонившись к березе, все думал. Наконец сказал своим спутникам:

— На сегодня вы здесь ненужные. Можете ехать! Домой!— И те уехали, а Барышников остался. Спросил:— И сколь же стоит все ваше оборудование? Буровое? Целиком и полностью комплект?

— Тысячи на полторы...— ответил мастер по-прежнему неохотно.

— И сколь же ваша «Контора» ежегодно сымает доходу? С одного комплекта?

— Тысяч пять. Валовых.

— А в чистоте? То есть чистоганом?

— Хозяин лучше знает...— кивнул мастер в сторону Корнилова.

Барышников больше и не спрашивал, молча шевелил губами, считал. Сосчитал и сделал вывод:

— Нет, невыгодно нашей «Смычке» приобретать этакий комплект.

— Почему же?— тоном уже заинтересованным спросил мастер.

— Набуришь скважин для разной кооперации и сельским обществам верст на двести кругом, а потом?

— Верст на триста в окружности будете бурить, кто вам помешает?

— А это расходы транспортные слишком большие, а главное, досмотру со стороны правления «Смычки» не будет за буровиками, а без досмотру дело гиблое — инструмент разворуют.

— Воры, что ли, одни кругом?

— Зачем воры! Не воры, а человечья природа. И меня оставь государство совершенно без присмотру, я тот же день начну его раздевать-разувать! Доходы прятать от налога, объем работ и обороты начну показывать вовсе не те.

— А это зачем же? Кооперация заинтересована в крепком, в обутом-одетом, а вовсе не в нищем государстве!

— Ну, еще бы! Кооперация в крепости государства заинтересована даже более пролетария, хотя у его нынче и государственная диктатура! Но пролетарий — он в начальниках чего-то значит, а на заводе он исполнитель, больше ничего. А кооперация — она работодатель, она снабженец населения и государства, она даже воспитатель трудового населения и пресекатель главного врага пролетарского государства, то есть кулака на местах. Потому кооперации везде и всюду надобно подалее держаться от того дела, в котором легко обмануть государство. Я везде и всюду эту истину проповедую. Пущай государство обманывает частник, он своим собственным карманом рискует, а не общественным.

Корнилов внимательно прислушивался. Думал, что у этого человека, у Барышникова, мир был системой складной: сельский пейзаж, луга и травы; на траве скот; от скота молоко и масло; от молока, масла, сыра — ящичная тара; от тары — Ленинград; от Ленинграда — Лондон; от Лондона — снова сельский пейзаж, луга и травы... Круг замыкался. Разумный круг. Деятельный. Без лишних слов и понятий.

Наверное, что-то еще и еще интересное состоялось бы в разговоре с Барышниковым, но тут вернулся из Семенихи Мишка-комсомолец.

Мишу вместе с Митрохиным в свое время нанял Иван Ипполитович.

Как только случилась авария, Миша отправился домой «справлять дела по комсомолу». Вдове-красноармейке помогать косить, а другой ставить новый сруб, проводить собрания и записывать семенихинцев в ячейку МОПРа — множество у него было общественных дел. Дома, в своей семье, он был старшим сыном и за старшего тоже косил, и пахал, и вот еще хотел подработать на бурении...

— Рублей тридцать мне крайне нужно выработать!— объяснял Миша.— Или даже тридцать один! Или даже тридцать два!

— Тридцать три не хочешь?— спрашивал Мишу Сенушкин, но Миша подтверждал:

— Тридцать два!

Теперь он пришел невыспавшийся, усталый, тихий и спокойный.

Сказал Барышникову:

— Председатель называется, обещал подвезти на скважину, а гляжу, и след его простыл. Кобылу жалеешь, что ли? Председатель называется!

— Пешим дойдешь. Молодой еще!— отозвался Барышников.

— Молодой...— согласился Миша и поглядел на траву вокруг себя, где бы поудобнее прилечь отдохнуть.

Он выбрал место неподалеку от костерка, под березовым кустиком, возросшим от старого пня, травка была здесь золотистой и красноватой — так окрашивали ее лучи закатного солнышка. Он лег, спросил:

— Когда бурить-то далее? Я рублей на двадцать два уже выработал. А остальные когда же? Не бурили тут без меня?

Совсем неожиданно, не по делу и с какой-то странной улыбкой заговорил вдруг с Мишей Барышников:

— Ты, Михаил, прежде как спать на травке, объясни мне: революции и разные политики, ну вот и нынешний нэп для чего делаются?

— Для счастья народа!— пожал плечами Миша.

— Может, и для твоего счастья?

— Само собой.

— А я было подумал, Миша-то общественностью занимается, а сам не знает, для чего. А ты, оказывается, знаешь.

— Давно уже мне известно...

— Откуда известно-то?

— В прошлом годе доклад докладчик делал в избе-читальне, то же самое объяснял. С тех пор знаю. И сам я газеты едва ли не каждый день читаю.

— Память у тебя хорошая, Миша.

— Хорошая! Хорошая у меня память! Учитель Матвей Матвеевич Верников, да ты же помнишь Матвея Матвеевича, он моей памятью нахвалиться не мог! Он скажет на уроке какое-никакое правило русского языка, после спрашивает нас, учеников: «Кто запомнил, подымите руки!» Все и тянутся руками вверх, а Матвей Матвеевич начнет спрашивать, чтобы повторили, и что же? Оказывается, никто повторить не может, никто не помнит уже того правила русского языка, один только я и могу! И Матвей Матвеевич как начал меня с четвер-

той группы хвалить, так и продолжал это непрерывно в пятой, и в шестой, и даже в седьмой уже группе!

— Даже в седьмой?

— Честное комсомольское!

— Мне бы до седьмого-то в свое время дойти! — покачал головой и вздохнул Барышников.— Но некогда было.

— А чем ты особо был занят, товарищ Барышников?

— Занятие обыкновенное — семью кормил. Ну, и с оружием в руках занимался борьбой за светлое будущее. За твое вот, Миша, боролся я будущее, за молодое поколение. На фронт в семнадцатом годе меня погнали воевать, а я активно отказывался, в лесу с месяц времени скрывался. Домой с фронта пригнали, тут я наоборот, по своей, по собственной охоте в гражданскую войну воевал. Учиться-то и недосуг было. И приходится нынче собственным умом доходить. Тебе легко: память хорошая, как что, какая-никакая трудность, ты памятью пошевелил, припомнил, где, в какой книжке про это написано, и на тебе! Уже и знаешь, как поступить, как сказать и сделать... А тут все своим умом! Не трудно ли?! Вот скажи-ка, Миша, в каком месяце случилась революция пятого года?

— Я Октябрьскую помню. Октябрьскую сроду не забуду.

— Вот и говорю: в революцию пятого года люди тоже ведь за тебя помирали, за светлое твое будущее, а ты ее даже и не помнишь. С твоей-то памятью!

Миша привстал с травки. Подошел к костерку. Сел рядом с Барышниковым.

— Я нынче ячейку МОПРа в Семенихе устроил. Ячейку Международного общества помощи борцам революции! Пять человек записал, еще трое сами обещались записаться. Ты почто не записываешься, Барышников? А ведь председателем «Смычки» называешься! И даже меня о политике допрашиваешь... В МОПР не записываешься, а допрашиваешь!

— Неохота... Записываться...

— Да мало ли что неохота! А надо!

— Кто сказал «надо»?

— Любой доклад — об том же говорится, в любой газетке везде о мировой революции, о солидарности. Только глухие не слышат. Несознательные! Я даже и не знаю, как об тебе думать, товарищ Барышников. С одной стороны — председатель «Смычки» и делаешь

ты для нее, как никто другой не делает и даже мечтать не может. А с другой? В ячейку МОПРа тебе уже неохота записываться, как ровно какому-нибудь врагу трудящегося человечества. Тому то же самое неохота, и все тут! Хоть разбейся перед ним. И ни к чему тебе международная политика Советской власти! Как о тебе думать? А?

— А ты обо мне не думай никак! Зачем? А что до политики, то я и так десять разов на день на ее оглядываюсь, надоело уже временем тратиться, шеей туда-сюда вертеть. Но ты обратно пристаешь, как банный лист, оглянись в одиннадцатый! Молодой, а нашел занятие — взрослых и сурьезных в политику толкать! Ну и занимайся ею сам, а других не трожь! Не мешайся! Да разве дельного человека, который народ кормит, сеет, пашет, на заводе работает, торгует, разве можно его целиком затолкать в политику? С головой и с пятками? Да ведь это же случится позор, срам и безобразие.

— И не стыдно тебе, Барышников!— забыв про сон и отдых, горячо возмутился Миша.— Передовым кооператором называешься, общественным лицом, а что говоришь, что думаешь?! Будто революция кончилась и помину о ней больше нету! И политики нету! Да политика, она только с революции-то и начинается. Революция, а следом за ней и пошла, и пошла, и пошла политика, только тогда и понятно будет, из-за чего революция происходила! А вообще-то слишком уж много ты на себя берешь и о себе говоришь!

— А тебе вот не стыдно? В революцию пятого года за тебя кровь проливалась, а еще двадцать годов прошло, ты об ней знать не знаешь! Забыл! Так это с твоёй-то памятью, а другие ученики, у коих память послабее? Оне и вовсе слова о ней не вымолвят. Вот тебе и цена всей на свете политике — была и нету, ветром сдуло! И какой ты сам-то после того политик? И где твоя политическая совесть? Небось какой масти кобыла была на ограде твоего отца годов десять тому назад, так ты помнишь и знаешь от других, а какой масти была революция — тебе уже все одно!

Никак нельзя было понять, всерьез и сердито играл Барышников с Мишей или шутя.

Не по себе, тревожно было Корнилову от этой игры. Почему-то. Он еще не понял почему.

— У него грамота все ж таки маловата!— заступился за Мишу Митрохин.— Семь групп — это еще не

высшее образование. Он-то, Михаил, сам по себе и рад бы историю человечества назубок ответить, а грамоты не хватает. Человек не виноват. Нисколько.

— А у тебя хватает грамоты, Митрохин?— тотчас переключился на нового собеседника Барышников.— Хватает, верно, у тебя во-он сколь газетных клочков по карманам рассовано!

— Ну, все ж таки... Главное-то, у меня возраст постарше против Михаила, вот я и познал кое-что. Успел. От себя познал и от печатного слова, от других умных и хорошо грамотных людей.

— Когда познал, скажи: какие были лозунги в девятьсот пятом годе у большевиков, а какие были у эсеров?

— У большевиков были правильные...— помолчав, ответил Митрохин, а Миша его поддержал:

— Конешно! Еще бы, у большевиков — и неправильные! Да ты сам-то помнишь ли об этом, Барышников? А? Об лозунгах девятьсот пятого года?!

— Ясно, что не помню. Я налаживаю сегодняшнюю жизнь. Я нынче с Англией маслицем торгую, а хлебом — так с Италией, я Северный морской путь через Карское море устраиваю, чтобы торговать с ими и другими тоже капиталистами, да и весь русский мужик, куда ни глянь, в землю вцепился. И вот уже мужику-хозяину батрака разрешено нанимать! И маломощному сдавать свою землю в аренду, а который побогаче, тягла у кого побольше, сыновья либо братовья ему помогают, тот уже и арендатор! Виданное ли это дело при большевиках-то? Невиданное, но ладное: который победнее, тому не по миру идти, а идти к нам, в «Смычку». Потрудись в артели, когда самому по себе не удалось трудиться, мы, «Смычка», труд уважаем, и вот через труд артельщик повыше того кулака-арендатора достанет! У меня от их, от самих-то кулачков-арендаторов, сколь уже заявлениев о приеме в «Смычку», но я не тороплюсь: пущай покуда обогащаются собственными силами, а уже после, уже с хорошим, даже с очень хорошим вступительным взносом в рублях и в головах крупного и мелкого домашнего скота я его приму в производственную кооперативную организацию, ежели, конечно, его до той поры государство в свою пользу не ликвидирует! Которые из них поумнее, те поняли этакую окончательную угрозу и торопятся ко мне, подают заявле-

ния, но я-то, повторяю, не тороплюсь нисколь их принимать.

Корнилов тоже ввязался в разговор:

— Вы, товарищ Барышников, не собираетесь ли заменить собою государство? Маслом вот с Англией торгуете, а с Италией хлебом, значит, дело за немногим осталось — взять да и заменить?

Барышников в момент принял вызывающий тон и тут же уличил Корнилова в неточности:

— Хлеб — это, к вашему к сведению, государственная, а вовсе не кооперативная торговля. Это не мой, не кооперативный, а партийный съезд положил продать за границу двести миллионов пудов. Доведись до меня, я бы вдвое больше того продал бы, дабы повысить на хлеб цену в стране и тем самым стимулировать хлебопашца. Я бы...

— Не в том дело, товарищ Барышников.

— А в чем же оно тогда? Непонятно.

— Вы, Барышников, действительно, так говорите, будто уже бог знает сколько облагодетельствовали Россию! А я хочу вас спросить: а сапоги?

— Какие еще сапоги?

— Обыкновенные. Которых в России все еще нет и половина населения ходит летом босиком. Ежели сапожонки и есть, так берегутся хозяином на воскресный день.

— Значит, для производства сапог в России должон найтиться другой Барышников! — усмехнулся Барышников. — И найдется. Уж это точно!

— А сеет мужик все еще из лукошка, потому что сеялок нет! И локомобилей нет! И тракторов нет! И к доктору больного из деревни везут в город за сто верст, и как везут: куриц в телегу положат, кадушку с огурцами, картошки мешок — на базар едут торговать, а между всем этим товаром уже заодно и больного на край телеги приткнут!

— Понимаю. Понимаю Корнилова: для его за все в ответе барышниковы. Не один, так другой! До того каждый интеллигент любит за все на свете искать ответчиков, что хлебом не корми! И это давно уже мною замечено! Но я скажу: кооперация и не собирается стать на место государства. Что она может, то может, а чего не может сделать — трактора либо докторов, — то должно сделать государство!

Это правда, Корнилов на кооператоров давно имел зуб, с гражданской войны, когда по Великой сибирской железнодорожной магистрали отступали колчаковские войска, две тысячи эшелонов, из них половина — такие же вот барышниковского толка кооператоры со своими женами и детишками, с барахлишком разного рода... А в это же время отборные белогвардейские полки генералов Молчанова, Войцеховского, Каппеля, которые вполне могли стать мощным заслоном против Красной Армии где-нибудь в Забайкалье, теряли больше половины личного состава, пробиваясь по таежным тропам, сжигали обозы по тысяче, по две, по три тысячи подвод в таежных деревушках Малая Дмитриевка, Большая Усинка и еще и еще в каких-то глухоманных населенных пунктах, не всегда помеченных даже на крупномасштабных картах...

В белой армии так и говорилось: «Почему пал Колчак?» — «Потому что чехи его предали, а кооператоры его продали!»

Так что любой власти с кооператорами ухо надо держать востро!

...Спор не кончился ничем, еще не начавшись, не разгоревшись, и Корнилов и Барышников замолчали, враз догадавшись: «Дальше не надо!» Но вот какое неожиданное чувство пережил Корнилов: ему было приятно прислониться к власти. К Советской власти! Плечами ощутил он какую-то опору и основу, какой-то принцип, какой-то способ жизни, плохой ли, хороший ли для него, но способ, и вот он уловил свое соответствие этому способу.

Соответствия не было никогда — ни в прошлом у белого офицера Корнилова, ни в настоящем у Корнилова-нэпмана, но до сих пор, до этой вот минуты, ясно было, что его нет, не было и не может быть, а тут вдруг мелькнуло: «А если может быть? Вдруг?! Со-от-ветствие?»

Это не мысль была, не догадка, а только растерянность, в которой Корнилов тотчас обвинил Барышникова: «Тебе-то хорошо, гад! Ты умеешь прислоняться-отстраняться, ну, а тот, кто этого не умеет?»

— Быстрый человек! — вздохнул Сенушкин. Он тут же у костра примостился и не то слушал чужой разговор, не то дремал, не слушая, но вдруг проявил интерес, заговорил: — Ты, Барышников, ровно резвая, овсом кормленная лошадь, подгонять не надо, сам бежишь. Овса-то много ли потребляешь?

— Быстрота — это совсем другое, это вовсе не торопливость,— живо воспринял сенушкинский вопрос Барышников.— В том и есть разница между делом и делом революции: любое дело любит быстроту, а революция — любит ее слишком. Ей надо сделаться как можно скорее, а что об овсе, так у каждого овес свой. Кому это в деньгах выражается, кому, вот хотя бы и тебе, Сенушкин, в легком житье, а кто сильно общественным делом увлекается, тому даже «Смычка» и та делается слишком мало́й. Тому надобно дело крупное.

— Какое же тебе, Барышников, требуется оправдание? Значит, ты все ж таки признаешь свою вину?— спросил Миша.

— Признаю с головы до ног: сколь я и другие хозяева тоже революцией занимались, а теперь нам пора ох как много наверстать! Мы старый мир разрушим... До основания... А затем... Мы наш, мы новый мир построим... Вот и подавай мне «затем»! Подавай сию же минуту, нету моего терпения ждать... Подавай! Я думаю, у каждого честного человека эта задача на уме. И даже — не очень честного она же! Он, человек, должон быть производительным работником, а не просто так — служащим. Я тут в журнале Сибревкома, «Жизнь Сибири» называется, прочитал недавно про сокращение штатов: во ВЦИКе четыре года тому назад было две тысячи пятьсот служащих, а нынче их три с половиной! В Наркомате национальностей было двести тридцать, а стало две тысячи двести пятьдесят! Это куда же мы идем-то? К служащей державе? Как же прокормимся-то?

— А память у тебя, Барышников, не хужее, чем у меня!— удивился Миша.— Вон сколь ты цифр помнишь! Про служащих!

— Поневоле запомнишь, когда такое дело. И не только запомнишь, но и головой болеть будешь!

— Только почто-то голова твоя не на хорошие, а на худые цифры настроена? Почто так?

— Хорошие цифры — о них забот и тревог нету, Миша. Но ты этого еще толком не понял. А главное — не хочешь понять...

— Послушать тебя, слишком уж ты много на себя берешь и о себе говоришь, Барышников!— сказал Миша.— Послушать тебя, так вовсе не кооперация и не коллектив делают, а ты один за всю «Смычку» вороча-

ешь! Худая политика в этом заключается, вот что! Вовсе не коллективная!

— Почто ты одно с другим сталкиваешь? Напрасно сталкиваешь! Я без коллектива один, но и коллектив без меня что такое? А просто-напросто толпа, вот что! Сам-то, один человек без умения и без характера проживет как-нибудь, ладно, но разве можно сделаться коллективу без характерного и твердого руководителя? Сроду нет, откуда ему без этого взяться? Еще спрашиваю: что такое коллектив, а что такое толпа? И еще раз отвечаю: коллектив — та же самая толпа, только с руководителем в голове! Понятно?

— Так... так...— сказал Миша.— Поня́л окончательно: ненавидишь ты политику, Барышников! И хотя ты председатель «Смычки», но это тебе даром не пройдет! Ни в жизнь! Политика, как об ней ни говори, она неизменно главнее всего остального! Она главнейший участок!

— Не потому ли ты к этому участку прибился, что он главнейший? Не потому ли и сообразил по молодости лет?

— По этому самому!

— И я-то на к-кого р-раб-ботаю? Разве не на Соввласть я р-работаю с утра и до поздней ночи? Так н-неужели я и после того против нее, против Советской?— воскликнул, вдруг начав заикаться, Барышников.

Но Миша рассудил по-своему.

— Ну, как же это не против?— рассудил он.— Политика Советской власти тебе ни к чему, а сама власть к чему-то? Так не бывает! Вот и соединение пролетариев всех стран тебе ни к чему, нужна тебе одна только торговля и кооперация, а мировая революция — нет! Ячейка МОПРа в Семенихе — нет! Все это для тебя ненужное. Тебе только лишь нынешнее нэповское положение в самый раз, в то время как сама-то Советская власть не считает положение для себя хорошим, а считает только за уступку. Вот так и получается, что для тебя не сама власть хорошая, а ее уступка...

Барышников снова молчал, но как-то нервно молчал, напряженно.

— А тебе, Миша, мировая р-революция сильно нужна?— спросил он наконец.

— Ну еще бы! Даже странно это спрашивать у комсомольца!

— Зачем же она тебе, когда и без нее можно жить, хозяйствовать и торговать по-человечески?

— Нет, без нее не получится жизнь. Тысячи лет без нее человечество обходилось, торговало и хозяйствовало, но вот не обошлось... И начало ради нее проливать кровь и жертвовать жизнью. Хотя некоторым ни к чему, но другим без этого уже нельзя. Невозможно.

— А я думал, Миша, тебе тридцать два рубля на бурении заработать — вот что нужно прежде всего.

— Вот и видать становится, как ты, Барышников, вообще на людей глядишь. С какой точки.

— Все дело в грамоте! — решил поддержать разговор Митрохин. — Когда весь советский народ, до одного человека, будет грамотным и уже не милорда глупого, а действительно Белинского и Гоголя с базара понесет, вот тогда он будет организованным, и политичным, и хозяйственным, и всякие, сказать, там разногласия перестанут существовать! — Тут Митрохин хотел сказать еще что-то, должно быть, вспоминал какие-то слова Федора Даниловича Красильникова, но не вспомнил и глубоко вздохнул...

Миша Митрохину не ответил.

Он встал, потянулся, пошевелил руками над огоньками костра. Потом принес подушку-думку, рваное одеяло, бросил их под кустик березки, возросшей на старом пне, лег и тотчас уснул... В одну минуту, даже быстрее, уснул.

Нэп!

Ну каких только разговоров, каких толков о нэпе нынче не было!

Каких совершенно неожиданных судеб человеческих от нэпа не произошло, каких потрясений в людях не явилось!

Кто-кто, а Корнилов на нэп насмотрелся, наслушался-надумался, а сверх того и сам стал нэпманом...

При царизме и царствовании частной собственности ни на минуту не помышлял стать собственником, а вот во времена диктатуры пролетариата, в период строительства социализма... надо же!

Загадка?

Загадка, безусловно, была: как с ним-то случилось?! Что же касается нэпа в целом, то совсем наоборот, Корнилов имел на этот счет не только мнение, но и преклонение...

Ведь это же какой нужен был ум, какая решительность и безбоязненность, какую нужно было постигнуть реальность, чтобы ввести нэп? Или — не было уже другого выхода?

Будто бы простенько: допустил существование частной собственности и инициативы, если уж она века и века существовала прежде, и все! И ничего больше!

Но каждое допущение и каждый запрет сами по себе — ничто без обстоятельств времени и места действия.

А ведь военный коммунизм был, революции были, отрицание частной собственности и презрение к ней... и вдруг лозунг: «Обогащайтесь!» (где-то в скобках: «В пользу диктатуры пролетариата!»)

А место действия?

Да вся Россия, РСФСР, СССР, все племена и народы, все религии и географии, все истории и современность. Вот какая система!

Советская власть, диктатура пролетариата, и нет такого государства на земле, чтобы она не разглядела бы в нем собственника-капиталиста, не разобрала бы его по косточкам, не пообещала бы ему скорой и бесславной кончины, так неужели после того со своим-то, с доморощенным-то буржуем она долгое время будет мириться? Нет же, нет и нет!

Но это только больше уважения у Корнилова вызывало: вот какой расчет — мало того, что политический, мало, что экономический, он еще и психологический.

Точность так точность: обогащаться люди склонны всегда и уговаривать их не надо. Перед смертью так перед смертью!

...Кто?

Корнилов думал, как бы продолжить разговор с Барышниковым, прерванный приходом Миши. Помолчав, он спросил:

— В Лондон-то не боитесь ехать, товарищ Барышников? Грамоты хватит?

— А пущай оне там полагают в Лондоне, что лапотник. Мне от этого даже легче.

— Там слова-то этого нет — лапотник!

— Тогда пущай думают, что лопух!

— И лопух у них неизвестен!

— Тогда дело ихнее, пущай как хотят, так обо мне и думают. Мне это все одно.

— Вам бы в окружном Союзе кооперации работать. Даже в краевом!

— Округ — слишком уже малый масштаб, притом нет настоящей низовой работы, ни настоящего руководствования сверху. Ни то ни се, только исполнять бумажки из края, командовать пишущими машинками и разрисованными бабами при машинках. Нет, не глянется... Бабы те не глянутся тоже. И краевой Союз тоже...

— Москва?— вытаращил глазенки Митрохин, вытянул длинную шею.

— На Москву я Семениху правда что сменяю.

— Захо-о-тел!— с завистью заметил Сенушкин.— Из Семенихи в Москву без ступенечек!

— Я не захотел, я жду, когда меня в Москве захотят. У меня не раз уже советы брали там! Убедились во мне.

— Да ты и слова-то иные совершенно неграмотно говоришь и даже не замечаешь собственного произношения!— это уже снова Митрохин удивился.

— Тебе-то откуда известно, замечаю или не замечаю? Ежели мне покуда без надобности? Явится надобность, научусь любым словам. Дураки вон грамотность-то усваивают, да еще как! Да еще какие дураки — уму непостижима этакая несоответственность!

Корнилов опять размышлял.

Ну вот, положим, нэп, размышлял он.

Он только «бывшим» и мнится как светопреставление, как неимоверная и новая переделка жизни, а государству, а Советской власти?!

Для нее нэп — эпизод, не более того, событие, но не история, политика, но не принцип. Она этого даже и не скрывает, не считает нужным, пишет в газетах: «Берегись, нэпман, затопчу!»

И все равно, и несмотря на это ищет нэпман власти над собою, что там и говорить!

Такая тоска: «Хорошо бы походить под чьей-нибудь властью! Под чьей-нибудь сильной и умной!» Кажется — общечеловеческая тоска...

Линий твоего поведения и твоей судьбы — вечная нехватка, и вот тебе кажется, будто власть эти линии тебе определит.

Именно в них-то и нужна тебе еще чья-то сила и чей-то ум, своего не хватает. Не хватает явственно.

Это старику Гете было запросто обращаться к людям с призывом, чтобы каждый искал в себе самого себя, так на то он и Гете... Ему свыше предписано Гете стать, ну, и чего проще, он им и стал. А ежели ты не Гете и тебе ничего не предписано? Тогда какое-никакое, а требуется прижизненное предписание. Линия требуется, и никто, как ты сам, должен искать свое предназначение и предписание — трудно!

Тут и захотелось задать вопрос Барышникову. Самый больной, он под ложечкой зудел.

Барышников же вопроса тоже ждал — он хотел отвечать.

Однако Митрохину показалось, будто никто как он должен спрашивать Барышникова, и, подскочив на месте, снова вытянувшись в шее, он спросил:

— А не боишься, Барышников? Я тебя сильно уважаю, но спрашиваю — не боишься, нисколько?..

— Не боюсь...

— Подожди-ка! Я еще и не спросил тебя, чего ты не боишься-то?! Не сформулировал!— удивился Митрохин.

— Кто тебе мешает? Фурмулируй на здоровье!

— В программе государства нынче как? Сделать послабление частной, а также кооперативной собственности. Сделать из них государству подмогу, после же, когда подмоги этой будет уже не надобно, прижать нэп к ногтю, взять всю собственность в свои руки, а Барышникова пустить под откос! За ненадобностью. За окончательной! Такая плановость.

Барышников снова стал заикаться:

— Д-д-дур-р-ной ты, Митр-рохин! Что оно, госуд-дар-ство-то, само себе вр-р-редности з-з-захочет, д-да?

— Не вредности, а пользы: когда ты начнешь государство хотя бы в чем забивать, хотя бы в масляной торговле — оно не потерпит. Оно советское и желает любое дело от начала до конца держать в своих руках бесповоротно!

— Кажное желание имеет предел, хотя бы и государственное! Предел этот ставит экономическая в-выгода. И п-практика жизни: лучше ли, х-хуже ли б-будет народная жизнь, к-когда убрать из ее Барышникова? К-к-когда он и есть н-народный деятель! И к-кому это, к-какому обществу, я спрашиваю, нисколь н-не нужны м-мои мозги! И тр-руды? И р-руки и ноги? Или, м-может, не нужен н-никому Благо-состоя-тельный г-граж-

данин, котор-рого из бедняцкого слоя к-каждый г-год доставляет государству «Смычка»? Т-ты г-газетки научился читать, вас, ч-читателей, р-развелось, р-ровно тар-раканов за печкой, ты ч-читаешь и др-р-ругим мозги набекрень ладишь, это ты ум-меешь, но я и тебя все одно берр-регу, не даю т-тебе пинк-ка под задницу прочь от «Смычки», а тоже даю тебе бла-го-со-стояние! Т-терплю т-тебя, ч-читателя, не изгоняю из «Смычки» и д-даже слушаю твое т-т-трепание на соб-браниях пайщиков до з-захолонения в собственном сердце! Думаю: да ежели бы мы все, которые люди п-при мозгах, порешили бы н-навсегда пришибить т-т-трепачей-ч-читателей, одного года бы нам на это дело вполне бы хватило! Г-года хватило бы, а м-мы почто-то в-всю-то жизнь с вами, с читателями, цацкаемся? Буд-дто виноватые ч-чем-то перед вами!

— Тьфу ты, выскочка какая!— возмутился Митрохин.— Да государство и без тебя сделает благосостояние! Без тебя — индустрию и промышленность! Без тебя — армию и международную политику! А когда так, зачем ему с тобой конкурировать, с сопляком вот с этаким? Ты не вообще сопляк, этого за тобой незаметно, но в сравнении с государством ты сопляк, больше никто! Когда ты захотел быть кем-то, иди в государственную службу, исполняй план и график, который государство тебе даст и с тебя спрашивает, и все тут!

— Ч-чит-татель ты и есть, М-м-митрохин! Д-да откудова возьмется г-государственный ум и кор-рмильцы нар-родные, ежели кажный б-будет поставлен на исполнение г-графика? И п-плана? Т-ты ведь как думаешь: «В-вот земля государственная, з-значит, и лес на з-земле г-государственный, и тр-рава, и р-реки, и д-даже неб-беса! И уже кон-нечно — люди!» А н-ничего п-подобного: во в-всем имеется об-бязательно хоть что-н-нибудь, да н-ничье, и его даже б-больше, ч-чем чьего-н-нибудь! И эт-то х-хор-р-рошо и правильно, п-потому что, еж-жели все на свете станет чьим-н-нибудь, н-ну хот-тя бы и государ-рственным, тот же миг все израсходуется и д-для дальнейшей ж-жизни не остан-нется с-со-вершен-но н-ничего!

«Б-барышников-то?!— мысленно тоже заикнувшись, удивился до предела Корнилов.— Б-барышников-то — откуда что в человеке? Начитался каких-то книг? Но мог ведь и своим умом, с него хватит!» Корнилов вот

только что, на днях думал почти о том же, почти так же. Почти...

Весь окружающий мир нынче государством пронизан, как никогда... В городе Ауле и там школы — «совшколы», кино — «совкино», служащие — «совслужащие», кооператоры — «совкооператоры», люди — «совлюди»... Надо бы это понять всем. Надо обязательно, и вот Корнилов понял. А умница Барышников — нет! Умница строит иллюзии. И Корнилов почувствовал свое превосходство над Барышниковым. Других превосходств у него над этим мужиком не было, это было... Приятно? Правда, воспользоваться превосходством он не сможет, чтобы воспользоваться, надо отказаться от «Буровой конторы», надо искать бы какую-нибудь, но обязательно государственную службу, надо чувствовать над собою не столько небо, сколько «совнебо».

Впрочем, если Барышников и не понимал нынешней принадлежности всего на свете государству, то инстинкт и тут не изменял ему, не мог изменить, иначе почему бы это он приезжал в буровую партию не один, а в сопровождении счетовода «Смычки» и председателя Семенихинского сельского Совета?

Счетовод форсил желтыми городскими ботинками, легко и небрежно пиная буровой инструмент, подражал тем самым своему хозяину, а предсельсовета?

В стираной-перестираной красноармейской гимнастерке предсельсовета молчал, молча глядел по сторонам и, сидя в тарантасе, правил мухортой кобыленкой, но ведь для чего-то неизменно его присутствие необходимо было Барышникову?

Присутствие власти необходимо было ему, вот в чем дело! По левую руку от себя необходимо было ему лицо подчиненное, участвующее во всех его финансовых начинаниях, по правую — пусть безмолвное, но лицо власти.

И стираная-перестираная красноармейская гимнастерка отнюдь не пустяковое было обстоятельство, не случайная деталь, это был символ!

— Кажн-ный умный ч-человек, тем более государство, в любом д-деле, хотя бы и в масляной торговле, должно уважать своего конкурента!— говорил между тем Барышников.— П-потому что, когда бы не конкуренция между людьми и цельными народами, зачем и тот государственный служащий, и все государство?

Церковь, разные религии и те сроду конкурировали между собою, не говоря о государствах!

Я слышал, я читывал в печати, что кто-то кого-то обязательно должон уничтожить и сожрать: либо социалистический сектор сожрать частнотоварное производство и торговлю, либо — наоборот. Наоборот, конечно, не будет позволено Советской властию, на то она и власть, но, чтобы не получилось все ж таки этого пожирания, чтобы частный сектор тоже существовал и освобождал бы государство от всякой мелочи, от мелочной торговли, от заботы пришивания кажной пуговицы на пинджаке кажного советского гражданина,— для этого и существует кооперация, поскольку она посредник между государством и частником. При этом она, кооперация, должна больше глядеть и в действительности глядит в сторону государства, поскольку оно — гораздо сильнее и могущественнее. Еще скажу лично про себя. Мне лично торговля тем и по душе, что в ей конкуренция открытая, не прячется ни от кого, кажному разрешает — п-приходи, конкур-рируй, когда умеешь! Конкуренция в торговле превыше всего!— уже переставая заикаться, наморщив лоб, говорил Барышников.— Я вот помру, шею сверну на чем-то, сойду с катушек, кто за меня продолжит дело? Кто за меня с Англией торговать будет, морской путь через северные моря устраивать? Брат? Сват? Единомышленник? Конкурент мое дело продолжит, вот кто! У его на мое дело свое, свеженькое и бодрое соображение имеется, а больше ни у кого, он-то ведь еще при моей жизни мучился: а как бы этого Барышникова обойти, в угол загнать? А помер я — ему не печаль, а радость, он со своею радостью куда сильнее того, кто тоскует и печалится обо мне. А ежели мне это обстоятельство обидное — это человечья моя слабость, более ничего! А истинному делу — это истинный ход!

— Все ж таки ты, Барышников, человек глухой к истинно человеческому!

— Но толковый и дельный! А вот неумелые и бездельные те самые бестолковые и есть!

— Вот как ты страдаешь без конкуренции! Не думал я...

— Страдаю! Истинно! Сколь веков били мужику по мозгам — темный он, глупо́й и сравниться с другими людьми, вступить с ими в конкуренцию не давали ему никакой возможности. Еще бы годов десять прошло

в таком же виде, и мужик окончательно поверил бы этим дурным и грубым словам и сам, собственными руками захлопнул бы над собой гробовую крышку! Но тут приходит революция, Советская власть объявляет нэп и говорит: «Все ж таки покажи, мужик, на что ты способный? Способный не только за свой частный либо за купчины Тита Титыча интерес, но и за интерес общественный и народный?» — «Ладно,— отвечаю я, мужик, на этот вопрос,— я покажу, дайте мне дело, отведите мне мой участок деятельности и труда, чтобы был пошире, подлиньше и вообще побольше!» И мы ударяем с государством по рукам, и я себя показываю. Но тут противу здравого смысла является читатель Митрохин, своего ума у его нет и не может быть, потому он и кричит громчее других: «Смычка»-то?! Барышников-то — мужик? Да это же противу государства, противу революции и ее дела!» Как будто он знает, что такое дело? Он кричит и не только других, но и самого себя обманывает сквозь, зная, что дела он никогда не исполнит. Кроме словесности, он не умеет ничего! Он знает это и торопится объявить словесность постоянством, а меня и дело мое — временностью!

— Ты что бледный-то стал, Барышников?— спросил Митрохин.— И вот еще губы трясутся, гляди-ка, у тебя. Странно... я все равно скажу — временный ты человек, Барышников! Я не со зла это говорю, нет, я у тебя в «Смычке» пайщик и премного тебе обязан, потому от души и хочу предупредить: временный ты человек! И не ты один, а весь с головы до ног нэп, и ходу тебе вместе с нэпом вскорости не будет никакого!

— Тебе, словеснику, будет ход?

— Мне — будет! Я истину понимаю! А ты все ж таки почему бледнеешь, Барышников? Зря бледнеешь, у тебя есть выход — понять меня!

— Ну, как же тут не побледнеешь? Хватит и того, что известно мне: все человечество, настанет время, погибнет. Все, до единого человека! Все дворцы и хижины, весь труд и весь капитал, и война, и мир — все сгинет одинаково. Вот и хватит с меня, что мне это известно, но при чем же тут я? Лично? При чем тут «Смычка»? Об «Смычке»-то я все одно должон знать, что она дело правое!

— Ты, Барышников, умнее всех желаешь быть. Даже умнее политики! Непонятный человек!

— Ну, так и есть! Ежели в семье кормилец один, а едоков семеро, то все оне считают его как бы деревянным. Считают, будто у его чувствительности нет и не может быть, его дело — работа, и все тут, чувствительность только у их, у причиндалов имеет право быть. Вот так же и во всем человечестве: кто истинно на его работает, тому причиндалы-читатели в любой миг под задницу коленкой могут дать, объявить его временностью, а себя постоянством!

— Не обижайся, Барышников, до самого-то до конца, ты же грамотный, знаешь, что в спорах рождается истина!

— Чтобы она родилась, истина, от человека, сам-то человек должон быть истинным! А не поддельным, из газет скроенным!

— Ну ладно,— согласился и как будто даже застеснялся Митрохин,— ты меня никогда и нисколько не понимаешь, тогда вот спроси более грамотного, спроси Петра Николаевича, временный ты или постоянный! Спроси!

Барышников обернулся, собирался спросить, но не спросил. Только вздохнул.

Митрохин же успокоиться не мог:

— Петр Николаевич! Тогда вы спросите у Барышникова! Пожалуйста! Насчет его временности и постоянности!

Все долгое время молчали, и Корнилов спросил:

— Скажите, Барышников, вы нисколько не заинтересованы в аварии на скважине? Или? Или тут может быть польза для «Смычки»?

Митрохин вытаращил глаза — он совсем не этого вопроса ждал.

А Барышников обрадовался, помолодел у всех на глазах, весело помахал картузом. Это был уже его воздух, его стихия, его соображения: «выгодно — невыгодно», «так — не так», «хорошо — плохо» для «Смычки»?

— До недавнего еще времени это было мне ни к чему — ваша авария и бесполезный простой. Убыток, больше ничего. Но когда все ж таки случилась авария, то и дай бог ей здоровья, она хотя и маленько, а все ж таки явилась для меня зацепочкой, подтолкнула меня на одно дело. Она подтолкнула, и я поехал и уговорил костюковскую кооперацию слиться с семенихинской, то есть в полном составе войти в «Смычку». Шесть полных

ден уговаривал я костюковских, убеждал и доказывал и в конце концов все ж таки добился — оне согласились!

Мастер Иван Ипполитович, изможденный, упорно до сих пор молчавший, удивился:

— Но как же это, Барышников, из нашей аварии сделалась вам зацепочка? И выгода?

— Нехитро! Костюковские вступают в «Смычку», то есть маслозавод теперь нам уже строить сообща и учитывая ихний интерес, то есть гораздо ближе к ихним землям и пастбищам, то есть не здесь, а в другом месте, верстах в десяти отсюдова. Не на запад, а в восточную сторону от Семенихи. А нынешнюю, аварийную, мы либо забросим навсегда, а удастся ее кончить, ну тогда сделаем ее как водопойную для нашей скотины.

— И что же, авария на скважине помогла вашим уговорам? — спросил Корнилов Барышникова, все еще не понимая сути дела.

— Ну, еще бы не помогла! Я костюковской кооперации тот же раз сказал: «Ради вашего интереса строю завод на другом месте! Более того, сказал я, ради ваших интересов жертвую почти что полностью сработанной скважиной и закладываю новую, причем не из половины будем ее, новую, делать, а я беру шестьдесят процентов расходу, за вами же сорок!» Они видят, Барышников жертвует, а жертва, она сильно помогает уговору. Который раз так сильнее, чем угроза!

Портнягин зевнул, но весело как-то, осмысленно, Митрохин хихикнул, а Сенушкин, всхлипнув и как будто даже прослезившись, сказал:

— Ну жулик, Барышников, ну так жулик! Ну нэпман! Ну голова! Ну, а как же ты будешь с нами, с буровой партией, рассчитываться, Барышников? За аварийную, а также и за новую скважину? Как?!

— А вот это уже не твоего ума дело, Сенушкин! Твое дело — рассчитываться со своим хозяином, с Корниловым с Петром Николаевичем. Как мы поладим дело с им, тебя не касается! Касается это нас двоих. Ну, вот еще мастера Ивана Ипполитовича, он первоначальный договор приезжал в мае месяце подписывать, он хотя и малый, но все ж таки совладелец «Конторы». Вот я и прошу, чтобы остались бы сию минуту мы трое, остальные же все чтобы не мешались хотя бы полчаса времени. Подымись-ка, добр будь, Сенушкин, со своего места!

Сенушкин поднялся, Портнягин тоже, Митрохин еще соображал и тоже сообразил, что надо уйти. Ушел и он.

— Такое дело,— сказал Барышников Корнилову и Ивану Ипполитовичу,— я плачу вам, «Конторе», полностью согласно в мае месяце заключенного договора. Как будто бы вы исполнили эту уже не нужную мне скважину, всю в порядке и до конца. За новую же скважину, которая у меня будет совместная с костюковскими и в другом месте, но той же глубины, я плачу шестьдесят процентов сметной стоимости. Причем безо всякого договора. Понятно вам? Обоим? Или, может, одному только, а другому вовсе не понятно? Ну, совладельцы? У вас и выхода-то другого нету, чтобы вылезти из убытку!

Иван Ипполитович молчал, он изнемог больше прежнего. Понял или не понял он Барышникова?

Корнилов не понял, не складывались у него в уме цифры собственных расходов-убытков.

— В чем суть дела? Коммерческая?— спросил он.

— Хотя не каждое дело любит называться своим именем, я скажу: с новой скважины, которая будет без договора, вы и налог в государство платить не будете, раз она бездоговорная, неучтенная! Налог же с вас большой, едва ли не половину дохода, когда не ошибаюсь?

— Обман государства!— сказал Корнилов.— Не хочу... Не хочу начинать с обмана как владелец «Конторы». Не могу!

— Странно!— удивился Барышников и перешел с Корниловым на «ты».— Тогда зачем же ты пошел в нэп? Оно-то, государство, вызывая тебя на конкуренцию, не сомневается ободрать тебя как можно более, налогом правым и неправым, законом и толкованием закона в свою собственную пользу, а ты по-мышиному и лапки кверху: разоряйте меня, я не сопротивляюсь? Да что оно, государство-то, разве со мной не ловчит? И я с им ловчу, и пущай оно дёржит ушки на макушке — иначе и не должно быть!

И, не сказав больше ничего, не попрощавшись, быстро и деловито, будто идти было совсем рядом, из одних ворот в другие, Барышников пошел в темную, глухую ночь в Семениху. Из темноты уже крикнул:

— Думайте, а я буду у вас послезавтрева. В этот же час.

Ну, а о камне, который в скважине, разговора так ведь и не было!

Если Барышникову понадобилось заложить новую скважину ближе к деревне Костюковке, он эту, семенихинскую, глазом не моргнув, мог погубить. Не своими руками — так подослать Сенушкина — какая разница?

Но Корнилов вдруг поверил: нет, не его рук дело...

Кто?

На другой день утром Иван Ипполитович первый подошел к Корнилову, спросил:

— Ищете все?! Все ищете, товарищ Корнилов?

Так Иван Ипполитович вел разговоры: то «товарищ Корнилов», то — по-приказчичьи — «чего изволите-с?».

— Я? Ищу?

— Человека ищете, который бросил предмет. Который камень бросил! Носил-носил его за пазухой и вот...

— Забросить надо скважину и согласиться с Барышниковым. Давно ее надо забросить!

— Вы же не позволили забросить ее...— вздохнул мастер.

— Я?!

— Кто, кроме вас, поднимал тот камень почти доверху? Ни у кого не случилось... Только у вас! Заговор знаете? Либо счастливый человек? Как же после того, после вашего счастья я-то мог отступиться? Подумайте, мог ли я это сделать? А может, в тот раз вы ничего и не поймали? Может, показалось? Может, галлюцинация? Может, от желания поймать вам и показалось, будто поднимается на вашем крючке камень?

— И сейчас чувствую груз в руке! И галлюцинациями не страдаю!

— Не страдали — это плохо: мно-о-гое потеряли, уж это верно-с... Зачем вам тот человек? Который...

— Бросил камень? А вы подозреваете кого-нибудь? Иван Ипполитович? Кого?

— Каждый мог сделать. На всех подозрение мое.

— Не каждый! Нет!

— Ну как же нет, когда вон сколько вы разговаривали с людьми, а ведь тоже почти ни об одном окончательно не подумали: «Этот не может!» Наоборот, гораздо чаще заключали: «Может, может, может!..» Но неправильно ищете. Нет чтобы спросить: «Ты, негодяй? Признавайся!» — и глядеть при этом человеку в глаза

и как бы до конца быть уверенным, что бросил именно он! Вместо того вы начинаете во-он откуда! Обо всей жизни-с начинаете, о войне, о нэпе, о ликбезе — о чем только не ведете, а когда так, когда обо всей жизни, то непременно и получится, что каждый может. Более того, каждый должен бросить камень! Да-с, точно так... С вашей же точки-с зрения — так!

— Не сам же камень упал?

— Мог упасть сам по себе и незаметно, хотя представить трудно: весь инструмент на месте, ничего не потеряно — ни один предмет, ни одна гайка либо муфта. И действительно получается: кто-то принес тот камешек со стороны. И даже могло быть, что дважды брошено в скважину. Что не один там камень, а двое их там. И оба как сговорились. Поклялись друг другу не двигаться с места. Страшною клятвой.

— Вы говорите о предметах, словно они одушевленные!

— И оба злые. Ужасные. Ужасающе можно о них сказать. Конечно, у предмета полной души нету, верно, но душонку кое-какую, но одно какое-нибудь свойство человеческое он всегда имеет, им и существует: злостью, положим, существует либо ленью и безразличием таким же, скажем, как вот у Портнягина... Я, представьте себе, угадываю, кто там, в глубине темной, какой предмет: Портнягин там, либо Сенушкин, либо, может быть, Митрохин? Предмет тот, камень тот — великое зло. И ужас! Такой ужас, что и живому существу может передаться, может его убивать и слепо руководствовать живым. Адски может руководствовать, поверьте-с мне! Я знаю. А ежели вы не знаете, то молчите.

— Замолчал...

Корнилов ждал, покуда решится спросить снова.

— Почему же их там двое?— решился он.

— Сперва был один. Однако же он слишком добрым и легким оказался для подъема, и вы тут же хотя по случаю, хотя и по очень счастливому случаю, но почти что подняли его. А тогда уже, чтобы не вытащил его я, брошен был второй. Тот поймать уже нельзя — он ужасный. Я много ловил за свою, за буровую жизнь, всегда надежда была поймать, нынче нету. Все испытал, всякий маневр, всякий крючок ловильный, всего себя приложил до того, что вроде бы уже изошелся до конца, но нету и нету надежды! Нет, не встречался мне такой же ужасный предмет. Такой безнадежный! Такой злой!

Совсем не видно было лица Ивана Ипполитовича; сидя на березовом обрубке, он отвернулся в сторону, и, может быть, поэтому Корнилову пришла страшноватая мысль:

— С Достоевским, с Федором Михайловичем, не советовались? Вы ведь с ним встречаетесь?

— Как с вами...— подтвердил Иван Ипполитович.

— Единомышленники? Все-таки!

— Наоборот!— ответил Иван Ипполитович голосом уже не таким, уже суровым.— Спорю и упрекаю его всячески! Верите, едва ли не до истерик дело с моей стороны, ну и с его тоже... Я говорю: нет у вас преступления, Федор Михайлович, в «Преступлении и наказании», потому что не захотели сказать всем и каждому, что это такое. Знали, но позорно скрыли! Вы слишком уж много, а потому наивно о нем думали, до того много, что, не вмещая в себе, приписали свои мысли другим. Вы, полагая себя в какое-то время преступником, хотели перед собою оправдаться, вот и выдумали эти мысли, вот и самому себе изменили, и в каторге-то, в «Мертвом доме», вы не заметили никого, кто бы столь же красноречиво о преступлении думал?! Не заметили, не нашли! Потому что преступление чуждо мысли, оно потому и совершается, что о нем не думают. Разве что одна мыслишка: «Не я первый, не я последний!» Убил и пошел выпить водочки и хорошо закусить — вот и все! Надумал убить, так не потому, что издавна думал сделать, а так, в голову пришло, а ежели и появилась мысль, так о том лишь, как бы побыстрее убить, поменьше чтобы хлопот и риску, и все тут! Либо вот жена, скажу еще, повторюсь, за ситцевой занавесочкой изменяла мне с человеком, с несчастным вдовцом и беженцем, с отцом троих славных таких деток, она что же, по мысли это делала? Да нет же, совсем обратное — мысль ее в то время покинула, лишена она была ее! Была бы мысль, то остановила бы, сказала бы ей: «Нельзя, страшно это! Нельзя, ежели не хочешь в «Книгу ужасов» записанной быть!» И вот... «Ай-яй-яй,— говорю я Федору Михайловичу,— какие вы теории преступления основополагаете! Как не стыдно! Как не стыдно искажать мысль и подвергать ее такому унижению, такой причастности?! Тогда уже действительно нету ведь предела исказительству! Уж кто-кто, а вы-то знаете, что убийство — оно высокой, оно никакой мысли не знает, оно даже и не дело, а так, между делом совершается!

Вред-то какой, говорю я, принесли вы изящной словесности и человечеству — вот и граф Толстой соблазнились вашим примером, тоже слюни распустили, написали «Воскресение» свое. Стыд! Обман человечества!» — вот как говорю я Федору Михайловичу.

— А он?

— Он — будто бы все это сделано по призванию искусства.

— Вы?

— Я: «Ужаснитесь обману своему! Зачем исказительство, хотя бы по высокому призванию? От высоты — оно же еще мерзостнее! По высокому слову оно всегда еще ужаснее, чем по низкому! Что оно есть, это призвание, когда оно искажает? Ежели без искажения, тогда вот как скажите: там, где мысль, там не убивают. Следуйте же за мною, Федор Михайлович, вкупе со сладостным графом Толстым Львом, за единственным в мире писателем, который пишет великую «Книгу ужасов»! Он искажению не подвержен. Вы мертвые, вас уже нет — это не суть, все равно следуйте за мною! Нельзя, повторяю и повторяю я ему, прикладывать к преступлению высокие и даже светлые мысли, их надобно от этого предмета уберегать и спасать, когда истинно дороги они вам! Нельзя, потому что преступление, оно совершенно бездумное, но величайший есть провокатор и предатель и вот провоцирует нас на высокие мысли о нем и предает тем самым мысль и нас с нею вместе! И мы, люди, расстреливаем друг друга и говорим: «Высокая идея!» И кто этому учит? Вы же, Федор Михайлович, нечаянно и учите, когда приобщаете убийцу к мысли и даже — к страданию, в то время как он — камень, и ничего больше. Я же, великий писатель, знаю окончательно, что преступление — предмет даже более неодушевленный, чем тот камень или даже двое их, которые находятся нынче в глубине, что допускать к преступлению, к предмету неодушевленному, можно далеко не всякую мысль, а одну лишь только и самую сильную: мысль страха и ужаса! Вот эта мысль уже ничего не боится. Эта — надо всем, а над ней — ничего! Когда же вы присоединяете к преступлению и любовь, и добросердечие, и даже благородство, вы гораздо больше преступник и вор, чем господин Раскольников! Еще говорится вами же, писателями: страх убивает мысль! Глупцами говорится! Страх — высшая есть мысль, выше нее, повторяю, нет и не может быть ничего, ибо нет

мысли без «нельзя», а «нельзя» нет без страха! Это же опять-таки у преступника нету мысли страха, потому он и преступник! Мысль без страха и содрогания, без нельзя — развратна и гибельна для человечества! Чем более на свете «нельзя» — тем больше у людей будущего. У зверя множество «нельзя», множество всяческого неумения, и нежелания, и неспособности к измысленным действиям, вот и нет у зверей преступности, вот и переживет зверь человека в веках, не погубит самого себя! Начали-то как хорошо об этом предмете, боже мой, как начали-то вы правдиво, Федор Михайлович, душечка, говорю я ему. С записок об остроге омском, о «Мертвом доме» начали, там и слюней-то у вас почти что не было, малая самая малость, а бездумность преступления была, а ужас был, намечался во всем его смысле и величии, руку осталось вам протянуть, да и уловить тот истинный смысл, но тут подлые слюнки, которые только чуть-чуть и присутствовали, вдруг взяли над вами верх — и стали вы исказительствовать мысль, прилагая ее к преступлению, стали занятную такую устраивать игру из убийства, игру и развлечения для читателя, стали перед читателем ластиться вместо того, чтобы опытом жизни своей и души своей сказать ему: «Ужасайся, зверь, сам себя! В этом в одном только и есть твое спасение!»

— Он?

— Он все равно о любви!..

— И что же? Федор Михайлович и в любви грешен? И в ней не прав?

— Безусловно! Граф Толстой — те хотя бы понимали, что для любви надобно быть человеком, а Федор Михайлович наоборот: полюби — тогда будешь человеком! Да откуда же ей взяться, человеческой любви, ежели нет человека? Является любвеобильная такая проституточка и делает преступника человеком — бред! Исказительство! Вот я и говорю: Федор Михайлович, стыдно же — сперва своими собственными выдумками дорожку выстлать-вымостить, после по этой дорожке каких-то людей привести к ложному восторгу, к преклонению перед талантом, а сказать словами истинными, так к заблуждению! Сами-то небось, Федор Михайлович, говорю я ему, не по той дорожке шли и жили, сами-то порядочных и чистых любили женщин, а не проституточек, сами-то человеческой любовью любили мать и единоутробных братьев своих, сами-то преступ-

лений боялись, не совершали, чтобы узнать, что оно такое есть, а знали это уже от рождения, так и проповедуйте же мысль, мысль ужаса, а не образ Раскольникова! Ведь неизвестно же, бессильна же наука определить, сколь большое число произошло преступлений оттого, что преступник проникся Раскольниковым и прочими вашими бесами? Кто через вас стал преступником, не понимая того, что бог — это великая мысль об ужасе? Ведь поселить бога в человеке, Федор Михайлович, объясняю я ему, это донельзя унизить бога, это сказать человеку, что он может все, что все доступно и простительно ему, ежели в нем возможен бог, а это и есть величайшее преступление. Настолько величайшее, что ему даже нету наказания! И есть это гибель человеческая, что преступление может быть распропагандировано любое, а наказание придумать никто не может и не в силах. По той же, все по той же причине и не в силах: каждый боится ужаса! А в таком случае талант — это слабость человеческая, искушение и гордыня, она и не позволяет от выдумки отказаться, когда не выдумывать надо жизнь, а записывать ее, а в ней ту единственную непорочную истину к исправлению, которая опять же есть ужас! И как это, говорю я Федору Михайловичу и вот еще вам, Петру Николаевичу, тоже говорю и провозглашаю, как это только я один и есть великий писатель, а больше никого?! Сам удивляюсь бесконечно!

«Книга» моя — она для всех. Для всех и каждого, умеющего хотя по слогам прочесть и даже вовсе не знающего грамоте, она и с чужого слова понятна даже ребенку. И для высокого мыслителя она тоже есть мудрость, когда говорит об ужасе насилия, ужасе бессилия, ужасе блудного слова!

Она для преступника и для честного из честных человека — мудрость.

Преступнику она говорит: «Смотри, сколько уже совершено тобою, и все записано, всему ведется точный счет на бумаге, а значит, не может того быть, чтобы не переполнилась уже чаша, не может быть и далее, чтобы не случилось возмездия тебе и всем тебе подобным и всем тебе родственным».

«Книга» моя есть святая святых человеку мыслительному и материал для собственной его идеи — нету в ней блудных слов, доказующих, что преступление преступно и нехорошо! Блудные об этом предмете мысли и слова, блудные уговоры, и слезки, и сопельки, ус-

мешечки-ужимочки, беллетристические всякие уловочки-зазывалочки и писательская черная гордыня учительства — все это для честного и мыслительного человека оскорбительно! Он имеет свою собственную на этот предмет мысль, знает ее сам по себе, который раз и без помощи божьей, а тем более не от изящной словесности! А когда так, дайте же человеку самому и дойти до логики — сложить в себе идею ужаса, он на это вполне способен, особенно при существовании моей «Книги», ему ничего другого для этого и не надобно! Не подозревайте его в неспособности, такое подозрение — уже преступление! Не подавайте ему даже причины к выбору между преступностью и честностью — для человека самого обычного такого выбора нет, но выбор все равно навязывается ему множеством, мильоном гнусных книг, совращающих слабого духом, когда тот в трудных, в невероятно даже трудных находится испытаниях и обстоятельствах! И объявляются богоносцы: напьются, наблюют вокруг себя и проповедуют о своей исторической роли, о своем богоносном предназначении! Да ты сперва убойся мерзости и пьяной вони, а тогда уже слово произнеси, но никак не раньше!

Ведь когда вижу, как вселяют люди друг в друга бога миленького, славненького, хорошенького, умненького, по-немецки, по какому-то еще выражаясь, вундеркинда, и тем более ничуть не ужасного, на словах и то редко карающего, то разве не достойны они презрения? Стыд-то какой! Срам-то! Да как же можно с этаким срамом на душе жить?! И творить?! И существовать? Вам, Петру Николаевичу, например?

Как можно писателю весьма принципиального вундеркинда из себя изображать? Избалованы они все — ну прямо как двоюродная моя сестричка, моя милая Ариадночка: этого хочу, того не хочу, пятого-десятого не желаю ни видеть, ни слышать, и вот очень хорошо становится очевидным, все они кормятся... кормятся и законодательствуют над нами и людей учат тому же самому, а люди — те с успехом воспринимают... Старый-старый пример и доказательство: ну какая женщина не уступит разок за цифру, которую она сама же назначит? За грандиозную какую-нибудь цифру? Вообще за грандиоз?! Следовательно? А не в том сильно гулящая дама виноватая, что уступает, а в том, что уступает слишком дешево, сбивает цену принципу. Так же точно и во всем ином. Представьте себе, что у Раскольникова Родиона

Романовича, у эР. эР. эР., представьте, что все бы дело его прошло как по маслу, то есть Лизавету ему заодно с процентщицей убивать бы не пришлось, и маляры-ремонтники из соседней квартиры в то дело тоже не вмешались бы, и следователь ни сном бы ни духом Раскольникова не подозревал бы, и сам эР. эР. эР. даже не топором бы действовал, а за чашкой чая яду подкинул бы старушке,— это же гораздо интеллигентнее и более в духе образованности?! Ну, на крайний, на самый крайний уже случай, карманный ножичек-складень вполне бы господина Раскольникова выручил, топор же вовсе не был ему нужен, он совершенно ясно Федору Михайловичу был нужен, чтобы набивать цену принципу... Ну, а если бы без топора, без маляра, без следователя обошлось у Раскольникова и симпатично так и недорого закончилось — тогда? Тогда эта самая легкость и дешевизна несомненным стала бы доказательством господина Раскольникова правоты, а принцип бы помалкивал, как воды в рот набравши. То есть опять дело не в принципе, а в цене его, и топором Федор Михайлович это доказывает. Вот так: принципов много, цен базарных слишком много, и давно уже подозревают люди свои принципы в предательстве, да опять-таки, преступничая, боятся сказать об этом вслух, молчат, боятся беспринципного, зато спасительного для всего света ужаса, который один только и может остановить господина Раскольникова. Но только Федор Михайлович очень ловко и даже правдоподобно это от нас скрыл. И другие писатели столь же художественно и старательно это от нас скрывают, потому что объяви они «бог — это ужас!», то и делать бы им после того было нечего, кормиться не от чего, никому они более не понадобятся, только Анечке Карениной и мадаме Бовари, да и то лишь в некоторые сомнительные дни ихнего существования... Не-ет, нынешний писатель только тем от других людей и отличается, что более умело, более резко, а также изворотливее уклоняется от истины, и в этой способности вся его художественность!

Ах, да что там, чем же это неодушевленность отличается от одушевленности? Чем? Да тем, что у одного нет страха, а у другого он есть! Одно может существовать и без страха, а другое не может, для другого страх — источник и всяческое средство его жизни. Зайчишка, например. Лишите его страха и боязни — и что? И завтра же, как не сегодня, его съест волк либо лисич-

ка рыжая. Лишите страха человека... И завтра же, как не сегодня, люди уничтожат друг друга до основания... Вот так. Вот так во всем: раб рабствует через страх, властелин властвует таким же образом — из боязни потерять свою власть. А все, что создано великого, оно откуда? Пирамиды египетские, Акрополи либо вот Санкт-Петербург Великий Петр установил? Да разве установил бы, когда бы его, Петра, не боялись и не страшились? А замыслы различные и по первому виду бесстрашные — это что? Замысел будто бы бесстрашный, а исполняется только страху благодаря. Граф Толстой боялись не написать своих слов, страшились сойти в могилу без них, из того и писали; господин Бетховен боялись не обозначить своих «до-ре-ми-фа-соль-ля-си»; Микел, сказать, Анджело — Микеланджело, я хочу сказать, из страха не нарисовать, не слепить свои фигурки, не сложить того ли, иного ли стишка чуть ли не сто лет торопился, рисовал, лепил, шептал, писал день и ночь, день и ночь. Ну, не сто, так восемьдесят лет он в этом страхе пребывал, благодаря ему и остался вечным в веках. А когда бы не испытывал он этого страха? Тогда бы занимался чем придется... По бабам ходил бы либо другое удовольствие себе избрал, и только.

Когда-то занимаясь натурфилософией, Корнилов хотел освободить слово от болезненной общительности, которая обязывала людей без конца разговаривать, ни с кем не договариваясь.

Ему казалось тогда, будто бы он вспоминал далекое-далекое таинство рождения слова от безмолвия, от некоего великого своей немотой предмета, который один только и мог быть предметом всеобщей договоренности.

Эта утопия, этот идеал пришел к нему на Васильевский остров, который в ту пору он не без иронии, а все-таки называл не иначе как островом святого Василия, имея в виду основоположника православных монастырей и монашества...

Эта утопия, этот идеал жил в нем, в Корнилове, краткое время, не развился, не утвердился и вскоре был забыт, а вспомнился вот когда...

Корнилов сказал:

— А вот мальчик на уроке закона божьего, а вот он думает: «Это обо мне!» Так почему же это стыд? Почему же срам? Почему это безбожно?

— Мальчик? Маленький?

— Средних лет. Подросток.

— Мальчик... Прослезиться можно. Тем более что обман и ложь часто плачут и в слезах бывают... Ну, а потом, когда возрос мальчик, что он сделал со своим богом? Сколько раз он предал его? Тысячу либо без счета? Начитался предательских образов, проникся Раскольниковым, дескать, повторю Родиона Романовича немного, не очень много, все-таки повторю его и также растопчу ужас, единственное спасение свое... Вселю-таки сам в себя бога, не думая, какой же это бог, ежели он — это я сам? Не думая, не спрашивая о том, какой же это суд, когда это самосуд? Кто из нас и вовсе без бога не любит думать о самом себе? Самодумия и так слишком уж много, потому и становится оно пороком, а тут еще я — бог! Так как же мне о самом себе не думать! Нет, бог, он выше меня и недоступен мне во веки веков, и один лишь помысел я знаю его, ко мне обращенный,— страх! И потому опять же, опять же истинно божественная книга есть «Книга ужасов», а не Библия либо Коран!

— Мистика... Ваша «Книга» — это мистика!

— Я и говорю: «Федор Михайлович! Вы-то грешны более других писателей — кому-кому, а вам-то до мистики, до мистического страха оставалось рукой подать, но вы подтасовочку исполнили и подсунули вместо нее любовь! Нехорошо!»

— А он?

— Не сознается!

— Идея фикс! Иван Ипполитович, вами владеет идея фикс!

— Наоборот, жизнь есть фикс, а ежели так, то перед нею, перед фиксом, все идеи на одно лицо, все одинаково фиктивны. Жизнь должна быть при «нельзя», при страхе она должна быть неизменном и в духе, и во плоти! «Нельзя», потому что ужасно, а больше ничего. «Нельзя» истолковывать не надо, потому оно превыше всех принципов! Хочешь жить — блюди «нельзя».

Еще скажу вам сейчас же, Петр Николаевич: ребенок вы! Видите за собою мудрость, думаете, будто пережили войну и тем познали. А не поняли, что война — это лишь намек на истинность ужасного, и только кончили воевать, как забыли про войну и про намек. Я ли тоже не бывал в жизни ужасной и отвратительной: и на войне, и в тюрьме, и в сифилитической лечебнице, и в доме сумасшедшем был я служителем. Вы думаете, это меня чему научило? Нет! Человек, все переживший,

только думает, будто постиг жизнь, в то время как постигает ее не он, а отшельник и затворник, в то время как не особый, военного времени либо тюремного заключения ужас нужен для человеческого просветления, а повседневный, милой девочкой Ариадночкой либо собственной и боготворимой супругой внушаемый. Только он, повседневный, и способен свой смысл открыть. Только он и сделал меня писателем «Книги». Письмо дано человеку от бога для постижения смысла ужасного, а вовсе не для любовных записочек, не для канцелярий различных и даже не для ученых трактатов. Это уже второстепенное есть назначение письма, но не первое и не великое. Но как второстепенность всегда приятна, и вот никто от нее не уклоняется. Хотя бы и Федор Михайлович.

— Пугаете, Иван Ипполитович! Артистически! Испугали и меня. Удалось! Но это прошло уже, было и прошло. Теперь сколько ни старайтесь...

— Потому прошло, что трусливы вы очень, боитесь страха! С детства боитесь спасения! Ничего так не боимся мы, как спасения своего, и презираем его за то как раз, что слишком трудное это есть дело. И в тайне от себя сознаем к нему свое неумение и неспособность! И только балуемся адотворчеством, но ад как спасение не воспринимаем ничуть!

— Вы бывали там? В аду?— догадался спросить Корнилов.

— Только-только оттуда... Почти две недели ловил камень, а мысленно читал Библию свою. «Книгу» свою... Я многие записи держу в памяти. Я тот камень, а может быть, и двое их там, камней, я их так и понял — помогали они мне еще однажды войти в ужас. Я потому и ловил столь долго и терпеливо и без всякой надежды поймать... В моей миссии все обратно вашему: ухожу в ужасное, ухожу по воле своей и в сознании необходимости этого, а возвращаюсь очищенным и познавшим.

— Можно и с ума сойти, Иван Ипполитович!

— Сколько угодно, отчего же?!

— И опять не боитесь?

— Ежели я схожу с того тротуарчика, с того ума, который вы здравым умом и рассудком именуете, я знаете где бываю-то? В откровениях каких?! В истине какой? Скажу вам: в единственной!

Ну, не все ли равно кто? Мастер, без конца повторяясь — потому что какая же это пропаганда без бесконечного повторения одних и тех же тезисов, одних и тех же слов?— говорил и говорил еще, но теперь и Корнилов уже обращался к своему богу! К бывшему, но к нему.

Когда Корнилов проживал на 5-й линии острова святого Василия, ему до бога оставалось рукой подать и приходила к нему по воскресеньям, да и в будни тоже нередко, милая бестужевка по имени Мила, сторонница свободной любви, первая его женщина. Его Первая Ева, которую он хоть и забыл, а все равно вечно будет ей благодарен. Одно другому, кажется, не мешает — забывчивость благодарности.

Она его проводила, Первая Ева, и он ушел, и что же он там оставил, на 5-й линии Васильевского? В шкапах, в папках, в дневниках, аккуратно разобранных и подготовленных для грядущей встречи с неким Истинным и Единственным Собеседником, которая должна была состояться тотчас после окончания войны? По его соображениям, где-нибудь в конце 1916-го, в начале или в конце 1917 года? Если он будет жив... Жив он остался, но у 1917-го конца так и не было, разве что по календарю, но никак не по событиям. События же, никем не предусмотренные, даже Собеседником, знать не знали календаря и продолжались в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м, 22-м, а присмотреться, так и до сих пор, в 25-м.

Где-то он теперь, его Собеседник, какова Его судьба? Почему вместо Себя он, в 1925-м, подсунул Корнилову Ивана Ипполитовича? Не потому ли уж, что тоже, поди-ка, натерпелся за эти годы и сильно изменился? События-то не миновали никого на свете, на всех и на всем оставляли свои печати, отпечатки своих пальцев! Что Он, Собеседник, даже если Он божественный, если — само Откровение, что он нынче может, какую имеет силу? Если не может ничего, тогда прав мастер Иван Ипполитович, и это даже хорошо, что прав, пусть будет правым хоть кто-нибудь, в чем-нибудь, когда-нибудь, чем никто, ни в чем и никогда...

Но, боже мой, он-то, Корнилов-то, персонально к какому детскому выводу пришел тогда на 5-й линии Васильевского?! Сделав большой такой круг по истории и философии, потолкавшись по книгам среди великих и величайших имен всех времен и народов, он вернулся тогда к самому себе — к юному Колумбу мысли, к тоже

юному Лютеру — и заметил, что богов существует множество, что все они спорят друг с другом: Магомет — с Христом, Будда — с тем и другим, православие — с расколом, лютеранство — с протестантством. И нет спорам числа и конца, в то время как бог должен ведь быть бесспорен? В бесспорности и должна состоять его суть. Если суть спорна, что она такое? Спорной сути сколько угодно, огород городи!

Это уже не бог, которого можно подвергать сомнению, у которого повсюду конкуренты и совладельцы, который не столько чудо, сколько какое-нибудь учреждение — Ватикан или Синод, который не столько мир, сколько приход или епархия... Если богов много, значит, их может не быть совсем, единственное — вот что имеет бесспорное право на божественность. Единственная Земля, Единственное Небо — вот это бесспорно!

И таким-то образом, методом исключения Корнилов отстранял и отстранял от себя все то, что было не тем, что не соответствовало его требованиям к богу, полагая, что он имеет на это полное право: из истории религий следовало, что боги во множестве были созданы людьми, разными людьми, в разное время и по разным образцам, а если так, то человек не только вправе предъявлять к ним свои требования, но и исключать их из своего сознания. Ну, а что же оставалось за всеми этими исключениями? Что нельзя подвергнуть сомнению, что есть Единственное, бесспорное, без чего нельзя обойтись ни дня?

Ну, конечно, Природа! Только ее нельзя исключить из своего сознания, все остальное можно!

И такой следовал там, на 5-й линии Васильевского, спор с теологией: ну, а Природа-то откуда? Кем создана? Чьим Разумом? А Корнилов для начала отвечал на вопрос вопросом: а откуда это известно, что Разум создал Природу? А если, наоборот, сначала была данность, была Природа, а из нее возник Разум?! Почему мы полагаем, будто все, даже сама Природа, должно быть кем-то сделано?

Ведь тот Разум, который мог создать Природу, тоже захочет иметь происхождение, Надразум, или Надприроду, и так без конца, но эта кажущаяся обязательность начала, это исходное и изначальное попросту не существует так же, как не существует начал времени и пространства... И мудрость разума состоит не в том, чтобы стремиться узнать то, чего нет и чего узнать не-

льзя, а в самоограничении. В принятии того, что бог — это есть еще и граница мышления, а вовсе не дурная бесконечность, что сам разум существует благодаря такому понятию, как ограничение, а этой границей опять-таки является Природа. Если же когда-нибудь человеческий или другой какой-нибудь разум выйдет из пределов Природы в Надприроду, пусть его на здоровье, у Корнилова возражений нет, пусть бог эволюционирует, ему не привыкать, он тоже должен иметь и имеет свою историю, свою эволюцию.

Вот так, таким образом до 27 февраля 1915 года по старому стилю, а по новому до 12 марта, рассуждал приват-доцент Корнилов и чувствовал, что он связан воедино с Природой, что они части друг друга и что, если он осознáет это единство как можно глубже и отнесется к нему как к чему-то высшему, выше чего нет ничего, он обретет бога, то есть смысл и задачу своего существования, если даже это единство окажется ему нипочем и он его не поймет, не будет служить ему — он погибнет в безбожии.

Такого смысла рукописи, помнится, остались в папках и в ящиках стола двухкомнатной, милой такой квартирки приват-доцента, когда он решил идти на фронт, решил отправиться в войну и в мир, да так и пребывает в этой экскурсии до сих пор. И теперь уже ясно: будет пребывать в ней до конца дней своих.

А жаль... Страшно жаль! Ужасно! Ведь Собеседника-то он ждал в прекрасном, великолепном городе Петрограде, будучи всесторонне подготовлен к встрече, к беседе в любой, в том числе и в ультимативной форме.

Не пришлось. Ни в ультимативной, ни в какой другой. Вопрос остался открытым.

Вопрос остался открытым, и вот хочешь не хочешь, а нынче приходится признать, что своей книги Корнилов о Природе и природной философии так и не успел ни написать, ни даже придумать ей названия, в то время как мастер Иван Ипполитович все это исполнил.

При таких неравных условиях — у одного «Книга», а у другого воспоминания — избежать поражения было просто чудом, и вот Корнилов стал оглядываться кругом: а нет ли тут самой Природы? Может быть, она поможет, посодействует своему блудному сыну?

Пейзаж, который пленил Корнилова, когда в скрипучей телеге он только что приехал под Семениху, чтобы заложить первую в своей жизни буровую скважину, пейзаж с церковкой на далеком косогоре, с березами, которые составляли тогда картину под названием «Летний день», а теперь уже слегка тронуты были осенью, и те молекулы железа, которые, нагреваясь от утреннего Солнца, потрескивали в буровых трубах, тем самым приобщая к Существованию не только себя, но и его, Корнилова, все это, кажется, не предало Корнилова и нынче, все это помогло ему сделать ничью с Иваном Ипполитовичем.

Но не более того.

Однако он и ничьей был рад-радешенек, человечишка Корнилов, и благодарным взглядом и дальше стал осматривать мир вокруг себя.

Итак, «Летний день» был чуть тронут осенью, роща была тронута, и особенно заметно дальние луга, там уже поблекли зелено-сизые, сизо-зеленые тона, и все луговое пространство не так прихотливо, как прежде, принимало на себя солнечное освещение, не вздрагивало больше по-летнему и не устремлялось навстречу летним ослепительным лучам, навстречу летнему небу, голубому, а местами и трогательно голубенькому, очень близкому к земле, ко всему земному, кое-где облачному; теперь луга были неподвижны, прочно закреплены среди всего остального мира, четкая граница возникла между лугом и надпойменным берегом, между лугом и речкою, между лугом и солнцем, небо над лугом стало осенним — повсюду одинаково синим, строгим и недоступным, самое же заметное отличие было в том, что луга стояли уже выкошенными, сизость и зеленость их еще оставалась, но отвердела, потеряла игру и живые оттенки; стало отчетливо видно, где что находится — где зеленое, где сизое, по всей поверхности рассыпаны были небольшие стога, а вернее всего, это были копны, в стога еще не сметанные, они отбрасывали продолговатые и даже издалека прохладные тени серого, как бы даже искусственного цвета.

Такие вот дни «летние», «осенние», «зимние», «весенние» всегда ошеломляли Корнилова, натурфилософическую личность, одним и тем же вопросом: бог это что — создание человека или создатель его в природе? Если бог существовал до человека — кем же и каким же он был? Бесчеловечный, разве он мог быть са-

мим собой? Не будь Вильгельма Второго, Корнилов, может быть, и решил бы этот вопрос, но теперь — поздно, надежды нет, одна только грусть, так свойственная человеку с душой растерявшейся на распутьях. Однако же, если человек все же еще не потерял для себя красот мира — жить ему все-таки можно. Смотреть, слышать, вдыхать, осязать лицом — можно.

Итак — мир этот с того июльского дня, когда его впервые увидал вокруг себя Корнилов, остался неизменным, все тот же и в тех же красках за лугами следовал пастбищный склон, все та же на вершине склона стояла деревянная церковка с синими куполами, за церковкой все то же необъятное пространство.

И так же все было прекрасно и непоколебимо в своей прекрасности, и Корнилов растерялся, не зная о самом себе — или он тронут до той глубины души, за которой уже нет больше ничего, никакого существования, или же обижен самим собою за свою неспособность быть частицей мира, неизменно к миру причастной, самой себе известной и очевидной.

И ничьей с Иваном Ипполитовичем он тоже, безусловно, был тронут, и у него, у них, у корниловых, появилось желание стать на колени и каяться, но все то, что было вокруг, оказалось несравненно выше и недоступнее всех и всяческих на свете коленопреклонений и покаяний. Можно было отвести взгляд в сторону, правее, левее, оглянуться назад, к чуть холмистой, с поседевшими ковылями степи, но уже и так через край было кругом величия, высоты, необъятности, и трогательности, и прощения.

Он и так уже был бессилен хотя бы на один день, хотя бы белыми нитками соединить одно с другим — вот это явление природы со всеми своими ипостасями.

Не будь он в прошлом натурфилософом, может, и смог бы сейчас что-то такое подлатать, как-то соединить себя с этим миром... Белыми так белыми или другими какими-нибудь нитками, но он им был.

А Иван Ипполитович, кажется, догадывался, что имеет дело хотя и с бывшим, а все-таки натурфилософом, и, повторяя десятки раз одно и то же, одну и ту же пропаганду, все-таки не высказал своих обвинений до конца. Обвинений в том, что Корнилов — человек уже не натуральный, а подражательный и настолько цивилизованный, что, может быть, он стал теперь одним из тех литературных образов, без которых не мыслит себя

цивилизация? Гамлетом каким-нибудь нэпманского толка? В «Книге ужасов» Корнилов тоже ведь, наверно, легко нашел бы себя, свой образ? Как не найти, когда мало ли самых разных поступков совершено им в самых разных точках земли, в Малой Дмитриевке, например?! Или и не знал, и не догадывался Иван Ипполитович о бывшей натурфилософичности Корнилова, может, не сумел нащупать у Корнилова его ахиллесову пяту?

Нащупал, так разве пощадил бы? Разве примирился бы с ничьей?

Разве не вручил бы «Книгу ужасов» Корнилову, которую во все время разговора он держал в руках?!

Но вот не вручил, испугался: а если Корнилов бросит «Книгу» в лицо автора? Изорвет в клочки? Втопчет в землю?

Не догадался, что — не втопчет? Но он и не взял бы «Книгу» из рук в руки, не прикоснулся бы к ней.

Уж какой только не был он экспериментатор над самим собою — всяческий, какими только жизнями не жил, но этот эксперимент, это чтение он отверг.

Потом он подумал, Корнилов, что существуют ведь обстоятельства, в которых это могло бы с ним случиться, в которых он стал бы читателем «Книги» и даже соавтором ее,— это если бы они вдвоем с Иваном Ипполитовичем были в заключении, в тесной и тошной какой-нибудь камере. В клоповной каморке. В грязном подвале-камере.

Там он сдался бы на милость Ивана Ипполитовича, своего совладельца, а здесь, в распахнутом на все стороны и в открытом мире не должно было этого случиться. И не случилось.

Ну, в самом-то деле, мало, что ли, ему ничьей?!

Неужели мало? Жадность... И тут она.

Ну, конечно, это совершенно безразлично — кто...

Ночью был такой сон, такая задача: разделить 1413 на 47... Не получалось, не делилось...

Корнилов стал 1413 перемножать на 47. Не получалось, не перемножалось.

«Проснусь и сделаю,— думал во сне Корнилов.— Разделю и перемножу!» — «Наяву-то каждый дурак сделает, ты во сне докажи?!» — твердил ему кто-то, неизвестно кто. И не то во сне, не то наяву, не то в полусне и в бессоннице представились Корнилову китайцы — по

ветхой и кое-как сколоченной лестнице поднимаются они на помост, и помост этот, подвешенный на блоках, со скрипом — с пронзительным! — опускается с высоты саженей двух до самой поверхности земли, а на те же две сажени из скважины вытягивается канат.

На конце этого каната в глубине скважины подвешен тяжелый металлический конус...

Китайцы по команде все враз прыгают с помоста на землю, канат опускается вниз...

Мало этого, этой картины, происходящей на поверхности земли и при дневном, кажется, освещении. Корнилов увидел и глубину: забой скважины, удар железного конуса в земной шар, углубление скважины на одну четверть дюйма.

Помост, люди, связанные веревками в шеренги, прыжки, удары конуса в забой, углубление скважины на половину, на одну четвертую дюйма, и так на сотни сажен в глубину, и так многие годы, и так из поколения в поколение, и так без единой аварии. Ведь авария свела бы на нет вековые работы.

Чего бы все это ради?

А вот чего: вовсе это были не китайцы, это все знакомые были люди — Сенушкин тут был, Портнягин, Мишка-комсомолец, Митрохины, отец и дочь...

Он сам, Корнилов... И Петр Николаевич, и Петр Васильевич, оба в одной шеренге, по-братски связанные одной веревкой, стояли почти рядышком.

Почти... Потому что между ними находилась Евгения Владимировна Ковалевская...

Какое видение, а?!

Потом утомительный этот сон стал приближаться к концу. Корнилов почувствовал облегчение, понял, что вот-вот проснется, увидит солнце, темное и неподвижное око скважины, которое немного спустя внушит ему беспокойство, тревогу и чувство странной, наверное, собственнической тоски владельца «Буровой конторы».

Однако же такое окончание сна, отчетливое и как будто бы уже состоявшееся, все-таки не состоялось, потому что послышались шум, топот и крики, а среди криков человеческих один был звериным, диким, и тем не менее Корнилов сразу же, еще во сне, понял, что крик этот исходит от мастера Ивана Ипполитовича.

Корнилов быстро вскочил, оделся, бросился из палатки. Действительно, неподалеку от скважины, около тех кустарников, под которыми Митрохин имел обык-

новение закапывать в прохладную землю крынки с квасом, барахтались в схватке сам Митрохин, Миша-комсомолец, Портнягин и Сенушкин — они связывали по рукам сваленного на землю Ивана Ипполитовича.

— Что случилось? Что делаете?— крикнул Корнилов, но никто не отвечал, все пытались повернуть Ивана Ипполитовича со спины на живот, и, только когда с огромными усилиями это удалось и Портнягин стянул руки Ивана Ипполитовича толстой, покрытой металлической ржавчиной веревкой, он оглянулся и ответил:

— Сумасшедшего вяжем... Будто бы связали уже...

— Какого сумасшедшего?

Совсем нелегкий был вопрос.

Ивана Ипполитовича связали еще и по ногам, и он лежал на земле, содрогаясь грузным телом,— предмет какой-то странной жизни, лишний в пространстве между двумя палатками, светло-зелеными кустами и черным, углубленным в землю пятном, вытоптанным людьми за время буровых работ вокруг металлического устья скважины... Предмет этот, все еще называемый Иваном Ипполитовичем, уже перестал быть мастером и человеком, а сделался неуместным, лишним не только для этого небольшого пространства, но и для всего мира.

После недолгого затишья, после борьбы и сопротивления Иван Ипполитович содрогнулся снова и очень сильно, его подбросило над землей, и он оказался лежащим на спине, и тут обнаружилось его лицо — в синяках, в кровоподтеках, в сочащейся из бровей, из подбородка, из щек крови, как бы с отпечатком красного круга, из которого смотрели небольшие неподвижные, с расширенными зрачками глаза...

— Зачем вы его?— спросил Корнилов с удивлением.— Зачем?

И отвернулся. Невозможно было смотреть в это лицо.

— Он сам, собственным своим телом и головой хотел в скважину пролезти! За этим занятием его и застали! — ответил Митрохин, улыбаясь робкой и боязливой улыбкой, словно и ему тоже было не чуждо это желание — проникнуть в скважину, утонуть в ней.— В скважину головой хотел он пролезти!

— Иван Ипполитович!— позвал Корнилов.— Такой мастер, такой прекрасный и знающий мастер... Что с вами случилось?

Мастер приподнял голову, внимательно осмотрелся вокруг.

— Зачем вы со мной сделали? Петр Николаевич, прошу вас, развяжите меня сейчас же! У меня руки затекли совершенно. Мне больно. Я человек, и зачем же со мной так обращаться?

И так все это естественно он произнес, так мирно, благожелательно, что Корнилов невольно представил все случившееся каким-то недоразумением, ошибкой и приблизился к мастеру, нагнулся к нему, потянул на себя веревку.

— Снова вязать не будем! — сказал Корнилову Сенушкин. — Ни в коем случáе! Едва живые остались, он, битюг, силищи страшенной. А в бешенстве тем более... Нет уж, второй раз не будем!

Мастер повернулся к Сенушкину:

— И не стыдно? Не стыдно про человека говорить «битюг»? Про живого человека и даже в его присутствии! Да с каждым может произойти затмение, ну и что? Ну, не выдержал я в тот миг исказительства мысли человеческой, вашего, Петр Николаевич, упорства и презрения к великой книге моей не выдержал, так мало ли что не выдерживает человек? Вы все выдерживаете? Все на свете? Зачем по этой причине человека истязать? Связывать по рукам-ногам? Хорошо ли это? Благородно ли? Человечно ли? И не ужасно ли?

Опять Корнилову ничего не оставалось, как развязать мастера, и опять Сенушкин сказал:

— Крест свят, товарищ Корнилов, я с безумцем более делов не имею. Хотя он тут всех побьет, хотя сам удавится-удушится, меня это нисколько уже не коснется...

Миша-комсомолец подтвердил:

— Сил нет с ним, с бешеным, связываться. Никаких!

Портнягин с Митрохиным промолчали, но было понятно, что развязывать мастера они не велят. Портнягин, отвернувшись в сторону, внимательно рассматривал на себе клочья порванной рубахи, Митрохин боязливо пятился в сторону, сказал взглядом: «Начнете развязывать, убегу куда глаза глядят!»

— Вы не слушайте их, Петр Николаевич, не слушайте! — снова и торопливо заговорил Иван Ипполитович. — Они зла мне желают, они боятся, что я их в «Книгу ужасов» запишу. Прознали про мою книгу,

в ту же минуту меня испугались и вот... вот видите, как связали? Если бы они меня не боялись, зачем бы вязать? Но я на своем стою: ни одно злодеяние, на глазах у меня происходящее, безнаказанным-с не останется! Я каждое, кем бы оно ни было совершено-с, запишу в великую книгу. И не для себя — для человечества и его пользы ради... Да-с... Они все, вот эти люди-с, людьми желают быть, но только безнаказанно хотят это сделать, хотят конфеток каких-нибудь сладеньких покушать ради того, чтобы сделаться людьми, не более того... А пройти сквозь ад многократно, а начитаться до умопросветления «Книги ужасов», а узнать зверя в самом себе — этого у них нет. Не желают-с! Не хотят-с! Им бы поторговаться, чтобы подешевле в людей произойти, а то и совершенно даром. И даже с очевидной выгодой для себя. Да-да, еще какую-нибудь сумму, дивиденд какой-нибудь получить за собственное очеловечивание, какую-нибудь пожизненную пенсию, генеральского, говорилось об этом в недавнем прошлом, значения-с... А не дадут — не будут они людьми: какая им от того выгода?! Вот у них у всех какое-с рассуждение, мораль, изволите знать, какая! А за то, что я эти самые ихние мысли знаю, за то, что я один среди них великий писатель и человек, они и связывают меня по рукам-ногам! Во всю историю так бывало, знаю-с, но все равно, Петр Николаевич, развяжите меня! Сейчас же! Не хочу сказать, будто вы тоже человек истинный, но, чтобы одно справедливое движение сделать руками, все-таки способны, я знаю! Когда способны, развяжите! Сейчас же!

Покуда мастер говорил, все убеждались в его сумасшествии больше и больше, и только Корнилов терялся в догадках. Он ведь слышал эти же суждения мастера и раньше и тогда не угадывал в нем сумасшествия, а теперь должен был угадать, обязан был, но обязанность оказалась слишком тяжелой.

— Иван Ипполитович!— попытался что-то объяснить он мастеру.— Иван Ипполитович, дорогой, вы же в скважину хотели просунуть голову?! Значит, действительно с вами неладно, и, если вас развязать, предоставить самому себе, это вам же будет непоправимый вред! Потерпите, голубчик, мы вас вот-вот отправим к доктору, потерпите!

— Ну да, конечно, надо потерпеть...— как бы даже и согласился мастер, но тут же совсем уже другим, громким, стонущим голосом заговорил дальше:— Толь-

ко сумасшедшие люди могут уговаривать друг друга терпеть и терпеть жизнь в нечеловеческом состоянии! А когда находится один, который совестливый, который великий, потому что идет от великого желания стать человеком истинным, к истине ужаса идет, ну хотя бы и тем способом, что заглядывает в страшную тьму, в глубину земляной скважины, собственным трудом созданной, собственными руками загубленной, когда так, то этот праведник всем другим уже зверем кажется, и они вяжут его грязными веревками, и кидают наземь, и глядят на него дико и с ненавистью, и объявляют лишенным ума! Вы-то со мной беседовали, Петр Николаевич, вы-то слышали мысль мою и ранее и не боялись ведь ее тогда нисколько, не принимали ее за сумасшедшую, наоборот, за сильную мысль вы ее почитали! — совершенно точно угадал мастер сомнения Корнилова, а угадав, продолжал еще громче, еще увереннее, умнее: — Вы поймите меня, мы знакомы давно-давно, гораздо прежде, как в «Буровой конторе» встретились, как сделали вы меня по некоторым по соображениям своим совладельцем, как послали в город Саратов на Волге получить ваше владение — буровое оборудование, десять комплектов, гораздо раньше всего этого мы о жизни друг друга подозревали, должны были подозревать, невозможно представить, чтобы нет, так за что же вы нынче меня забоялись-то, Петр Николаевич? За что, непонятно мне совершенно и для каждого здравомыслящего непонятно то же самое! Ну, не преступление ли это, этакая боязнь и подозрения, не преступление разве и не малодушие для вас, для человека в здравом уме и в памяти? Не позор ли и не ужас ли, которые в мою книгу великую записанные должны быть обязательно и во что бы то ни стало? Развяжите меня тотчас! Ну?! Будьте же человеком с человеческим сознанием! Хоть раз в жизни будьте им!

В замешательстве был Корнилов. И чтобы понять, сошел ли с ума Иван Ипполитович или это кажется, только временное нашло на него затмение, он сделал еще одну попытку — в том же, в прежнем духе, как можно спокойнее продолжил разговор:

— Что же, Иван Ипполитович, вы увидели там? В скважине?

— Вот этого вам не понять! Вам не понять, а вы мне поэтому и не верите! Человек столь привык ничему не верить, потому что он не понимает, а это — неправиль-

но, это безнравственно и стыдно, такая гордыня, а ведь за себя, за правоту свою, за светлое и непорочное свое сознание могу вам чем угодно, каким угодно именем божьим или человеческим поклясться! Хотите, именем Федора Михайловича? Он же вам безупречен! Вы моим упрекам к нему не верили, вы не хотели от него, чего я хотел, не спрашивали у него, зачем он бога в человеке оставил, зачем спутал земное с царством небесным, зачем не возвел бога над человеком и не возвел его в ужас мистический? Федор Михайлович только мне и упречный, вам же он без страха и упрека, так вот, хотите, его именем я поклянусь?

И опять Корнилов как будто бы поверил, что все это не более чем странность, очень большая, необъяснимая, небывалая, но странность Ивана Ипполитовича и, наверное, следствие денной и нощной «ловли» камня со дна скважины, но в этот миг мастер улыбнулся... Улыбнулся, и ничего просительного на обезображенном лице его вмиг не осталось, ничего доброго, он задохнулся и хрипло проговорил:

— Ну?! Ну, развязывай меня, несчастный и бесчестный! Развязывай, совладелец мой, не то единственным я стану владельцем «Буровой конторы»! Развязывай, откупайся от меня — это последний есть твой шанс, не то... Развязывай, когда желаешь узнать тот камень, брошенный на дно, во тьму скважины, из чьих рук он был пущен вниз! Ты искал то имя, ты мучился, а я знаю его с первого же мгновения! Тот камень — это не только мое, но и твое, злодея, испытание было! Развязывай, ну?

Корнилов смотрел вокруг себя. Налево. Направо.

Уже по-другому слушали люди Ивана Ипполитовича, как бы издалека-издалека бросали они подозрительные взгляды и на Корнилова, и тут Корнилов со злобою, стесненно, однако же очень громко сказал:

— Ну, что же все стоим? Неподвижно? Надо его,— он кивнул на Ивана Ипполитовича,— надо его унести в палатку, воды надо дать... человеку.— Потом уже спокойно, расчетливо еще произнес:— На голову холодную примочку. Приедет Елизавета, и на той же подводе отправим этого человека в больницу...

Мастера Ивана Ипполитовича подняли и понесли. Вся в металлической ржавчине, тянулась за ним по земле веревка, которой он был связан по рукам, и другая, потоньше, посветлее — от ног. Корнилов смотрел на обе и вдруг подумал о сходстве между Евгенией

Владимировной и мастером Иваном Ипполитовичем... Та была вечной сестрой милосердной, этот был в свое время санитаром не то на фронте, не то в венерической лечебнице — вот и сходство? В санитарности? Или в том упорстве, с которым один верил в свою «Книгу ужасов», другая — в свое милосердие?

Кто?..

Елизавета приехала вскоре, привезла завтрак...

Узнав, какая случилась беда, жалостливо всхлипнула.

— Может, помстилось вам всем, будто он в безумии? Где он тут находится-то?

— Не ходила бы ты к нему, нехорош он, да и связанный сильно...— сказал Митрохин-отец, но сказал неуверенно.

Елизавета кормила мастера с ложки, умыла его и, слышно, все время с ним разговаривала в палатке.

Потом пришла, побледневшая и растерянная, уже совсем не Ева, и Корнилов спросил ее:

— Ну? Может быть, показалось нам?! Показалось нам это сумасшествие?!

— Нет, истинно он сумасшедший, ваш мастер Иван Ипполитович. Миленький! Все об ужасе говорит, все об ужасе... Нет, сильно он сошел с обыкновенного ума, у его нынче свой уже, не понятный никому ум... И женская здесь вот как необходима душа — приласкать убогого и несчастного... Моя душа требуется.

Нескладная фигура Елизаветы, и лицо, и сильный, только для крика созданный, но вдруг поникший голос — все предстало перед Корниловым в облике женском, в той женщине милосердной.

Неужели и вся эта происходящая с Корниловым жизнь — это тоже «бывшее», тоже «бывшесть»?

А между прочим, между этими событиями и этой растерянностью Корнилов принял решение — закладывать скважину. В том новом месте, которое укажет Барышников.

Потом он отправил связанного по рукам-ногам Ивана Ипполитовича с Елизаветой на тряской ее подводе.

С ней же отправил Барышникову письмо: он принимает условия. Оплата за старую, аварийную скважину

должна быть полной, за новую — шестьдесят процентов от сметной стоимости.

Еще Корнилов просил Барышникова срочно определить Ивана Ипполитовича в районную больницу...

И сообщил он в письме о себе, что «завтра уезжаю в Аул, в «Контору» — неотложные дела, а вместо меня и бурового мастера, несчастного Ивана Ипполитовича, останется Сенушкин. Ему поручается вести с Вами дела».

Когда Елизавета увозила накрепко связанного по рукам-ногам Ивана Ипполитовича, она соскочила с телеги, отозвала в сторону Корнилова и сказала ему как только могла тихо:

— Он, миленький-то мой, безумный-то, что говорит?! Говорит, это он бросил в скважину-то камень... Сам бросил ради ужаса какого-то. Верить ему, нет ли?! Верить — возможности нету, да говорит-то он этак, что не поверить никак нельзя! Говорит и объясняет очень складно, ну просто заслушаешься, ровно сказку какую-нибудь! Вот вы бы сами послушали бы его, Петр Николаевич, и, ей-богу, поверили бы ему! Сумасшедшему вы, в здравом смысле человек,— поверили бы!

Потом, круто разворачивая телегу, Елизавета стегнула лошаденку, но тут же стала одной рукой подбивать под голову Ивана Ипполитовича его телогрейку, чтобы ему было помягче, а лошаденку, резко дернув вожжами, остановила, потом опять стегнула, опять остановила, и все три живых существа — лошадь, Иван Ипполитович и сама Елизавета — как будто потеряли вдруг дорогу, все потеряли, что имели, и не знали, куда, в какую сторону и зачем им двигаться, ничего не имеющим, все потерявшим.

Из этой рассеянности первым вышел Иван Ипполитович, он оглянулся и позвал:

— Петр Николаевич, на минуточку!

Корнилов подошел, а Иван Ипполитович кивнул ему и так сделал глазами, что Корнилов понял — он просит к нему нагнуться, хочет что-то тихо и тайно сказать.

Корнилов нагнулся.

— Николаевич... Николаевич... Николаевич...— услышал он тихий, но отчетливый голос...— Нэп... нэп... нэпман. Нэпман и совладелец! А ну как другого совладельца вы лишитесь — сможете ли единственным-то владельцем быть? Сможете ли? Разыскиваю — нет... Нет и нет! Зато вы, нэпман, справедливец, вы теперь

обязательно уже возьмете белыми своими ручками ужасную мою книгу! Замочек на сундуке с инструментом, с ловильными всяческими крючками сломаете, затем возьмете! Непременно! Не хватит у вас смелости ее не взять, бросить на произвол судьбы! Оставляю великую на ваше попечение — не чужим же людям мне ее оставлять, будьте той книге родным отцом, а не отчимом — завещаю! Да храни вас вместе с нею бог, а также и нэп! А когда возьмете вы ее в белые свои ручки, то и глазами не минуете, нет, вы погрузитесь в нее и не только что мыслью, а всем существом проникнетесь ею, поймете великий мой труд... Берегите ее душевно и духовно, а вас уже бог за то сохранит. И нэп! Берегите и себя, книга эта единственная будет причина, чтобы себя беречь, другой у вас нет... И не бывало.

Тут Елизавета еще раз стегнула лошадку.

IV. ГОД 1926-й. ВЕСНА, ЛЕТО

Город Аул именовался городом вот уже почти два столетия. И не напрасно — немало в нем было истинно городских примет.

Аул делился на части — Центральную, Нагорную, Зайчанскую и Сад-город, последняя была населена почти исключительно железнодорожниками. Наименования эти были официальными, в просторечии же Центр назывался «Базаром», Нагорная часть — «Горой», Сад-город — «Садиком» или «Железкой».

Часть Зайчанская так Зайчанская и оставалась на всех наречиях.

Город стоял на высоченном берегу огромной жестко-стального цвета реки, известной всему свету своим притяжением и могуществом, но эта известность жителям Аула была ни к чему, они ее не знали и никогда не называли реку по ее всемирно известному имени, называли просто — Рекой.

«Пошел на Реку», «поплыл за Реку», «утонул в Реке» — так в обиходе говорилось и даже не в очень важных бумагах писалось.

Еще в направлении с запада на восток город Аул пересекался небольшой речушкой, вот она-то называлась по имени обязательно — Аулкой — и очень была своенравной, в межень — курица перебредет, в разлив раз-

бушуется иной год так, что затопит Базарную площадь, размоет и унесет в Реку десятки деревянных домишек.

Однажды Аулка подкопалась под стены Аульского женского монастыря, едва-едва удержались над откосом каменные стены и угловая башня.

Зимой, подо льдом, Аулки этой было не видать — есть она там, течет ли или совсем уже иссякла, заморозилась — об этом не догадаешься, летом же она веселой становилась речушкой, журчала коричневой своей, из соснового бора текущей водой, показывала наружу песчаные мели-островки, песок на дне ее и на этих мелях был крупный, желтый, только что не золотой, чуть где поглубже — там произрастали длинные-длинные волокнистые водоросли, в этих водорослях скрывались щуки.

Щуки с острыми зубами охотились за пескарями, за щуками охотились мальчишки с рогожными мешками.

Аулка являлась для города существом свойским, домашним, вроде кошки какой-нибудь, все знали ее норов и привычки, и двух мнений быть не могло. «Блудливая наша Аулка!» — так про нее говорилось.

Однако самой примечательной географией здешней местности, самым значительным и замечательным пейзажем была, вероятно, та сторона, тот, правый, берег Реки.

Левый берег, высокий и крутой повсюду, а в месте, где основан был город Аул, высокий и крутой особенно, не назывался никак, не было в лексиконе аульских жителей такого названия, как «Эта Сторона», но «Та Сторона» была, существовала в неизменности, изо дня в день, из века в век, открываясь взгляду со многих аульских улиц и переулков, частью даже и с площади Базарной.

Это было пространство пойменное, заливаемое стальными водами Реки дважды в год — весенними, талыми и «коренными», июльскими, когда в горах, откуда проистекала Река, таяли ледники.

И весною, и в июле месяце, при том и при другом разливах, Река будто бы переставала быть рекою, и морем не становилась, и на озеро была не похожа — быстрое и заметное было ее течение, становилась она в это время не похожа ни на что на свете, кроме самой себя, никакие определения географии и гидрологии к ней не подходили, ее не обозначали.

«Река пошла в разлив...» — говорили жители.

А разлив был верст на пятнадцать — двадцать, простирался до синей кромки бора, кромки не всегда различимой вдали, только в ясную погоду, в ненастье же у Той Стороны грани не было.

Вода спадала, Река входила в меженные берега, но долго еще по сырой и топкой, по вязкой пойменной почве не могла ступить нога человеческая, и тогда жила пойма своей, никому не подвластной и не доступной жизнью: буйно, плотно произрастала там облепиха, чуть повыше место — там уже черная и красная смородина, другие влаголюбивые кустарники, в иных же местах нарастал бурый торфяник, в протоках во множестве плодилась и кормилась самая разная рыба, тучи мошкары и комаров гудели там денно и нощно, до глубокой осени огромными стаями отмечали кем-то и когда-то заданные воздушные круги утки и гуси. Утки, те захватывали облетами пространство над городом, над главными его улицами, держась, однако, на высоте, чтобы невозможно было достать дробовику.

Сто верст на запад, в российскую сторону, это окрестным жителям было рукой подать на базар ли, с базара ли; сто верст за Реку — а на чем? Лодками, телегами, санями? И где там начинается подлинная-то земля? Не каждый укажет...

На Той Стороне другой был воздух — синий, туманный.

На Той Стороне другое было Солнце, оно всходило там неярким, иногда едва различимым, но красивым кругом, перевалив же через Реку, проплывало над Аулом уже раскаленное, твердое, заматеревшее в собственном жару и тягости, и отменно палило город Аул.

Не земля и не вода, не лес, не луг, не болото, а все это вместе и от всего понемногу Та Сторона становилась доступной зимою, покрытая льдом и снегами, а кое-где прочерченная и санным следом... Зимой ходили там на лыжах аульские жители, стреляли зайцев и лисиц, ломали желтые ягодные ветви облепихи.

Худое топливо тальник, но рубили и его, экономили на дровах сосновых и березовых.

Еще — добывали рыбу через проруби. В непроточной воде, в глухих курьях, рыбе не хватало воздуха, и она шла валом к прорубям, тут ее брали наметками, любой другой снастью, иной раз — черпали ведрами и без промедления доставляли на Базарную площадь города Аула, развозили по селам: «Рыба-а-а! Рыба сед-

нишная, рупь за пуд, пуд с походом, поход — полпуда! Рыба-а-а!»

За Той Стороной тысячами верст еще и еще простиралась Сибирь — черноземными пашнями, лесами, рудниками, хребтами гор, другие протекали там с юга на север великие Реки, жители Аула знали об этом, помнили, но все равно с высоты этого берега Та Сторона казалась чем-то потусторонним, миром иным, неведомым, и Река протекала, казалось, как раз по границе двух миров — известного и неизвестного...

Так вот — было, было что-то общее между географией местности и людьми, которые здесь обитали, потому что нельзя и нельзя миновать людям сознания, что рядом, ежедневно видимая, начинается уже Та Сторона, необъятный простор и восток мира, и что ты живешь как раз на грани, на рубеже, на самом краешке земли Этой.

Может быть, как раз из такого именно сознания и происходило в аульских, во всех окрестных жителях почти что полное отсутствие страха смерти... Не то чтобы они смерти совсем не боялись — побаивались, но редко, от случая к случаю, обычно же они смерть презирали, покойничков своих отпевали и хоронили на скорую руку, могильных памятников не любили, подолгу могилы не помнили, зато любили то ли в драках, то ли в охоте на зверя со смертью поиграть, побаловаться...

И каждый год без исключения, в мирный год или в военный, находились парни и взрослые, уже семейные мужики, они во время буйного ледохода на спор переходили Реку с этого берега на тот, на Тот Свет и обратно с Того Света.

Это было зрелище общенародное, с ликованием, с песнями, с выездами на высокий берег лучшими лошадьми и в лучших сбруях, с угощением артистов после представления опять же на общественный счет. Сюда даже монахини женского монастыря приходили, даже острожников под конвоем приводили на зрелище поглядеть.

Иные артисты — а это именно артисты были с великим и редкостным даром отваги — не возвращались, уходили в Реку навсегда, в тот момент зрителями торжественно и молчаливо совершалось крестное знамение. Тут верующие и неверующие, ежедневные прихожане главного Собора, Богородской и других церквей, и за-

булдыги, которые, проходя мимо храма божьего, картуза с головы не скидывали, магометане из татар и киргизов, протестанты из немцев-ремесленников, католики из поляков-ссыльных — все-все истово переживали торжественность минуты, ну, а затем уже, вновь затаив дыхание, следили за смельчаками, за тем, как с шестами в руках они прыгали со льдины на льдину либо по шесту же перебегали полыньи...

Зрелища, разумеется, бесплатные, но с хорошим заработком для нищих, для часовых дел мастеров и для оптиков — у тех имелись бинокли и даже подзорные трубы, за пользование аппаратами цена, в твердой царской, в золотой валюте, доходила до пяти целковых в час.

И когда в церквах, в церковных и в других книгах аульским жителям рассказывалось о том, что ждет их после смерти, им было не в диковину, было запросто: не видели, что ли, они Того Света? Да вот он, ежедневно рядышком, и ничего — жить можно и даже интересно, в существовании Того Света тоже имелся свой толк, а как же иначе?

Вот на Этой Стороне — все известно, измерено, во все стороны проложены хоть и немудрящие, но проселки и тракты — Шадринский, Павловский, Змеиногорский, Ордынский тракт; любая десятина кому-нибудь принадлежит, кто-то ею так или иначе, а давненько уже пользуется; на Стороне Той — и верст-то нет, дорог нет, а явился кто — пользуйся как умеешь и чем хочешь, одно слово — Мир Божий, Царство почти что Небесное...

И когда душа аульского жителя является в то Царство, там, по всей вероятности, ее никто за ручку водить не будет, это она всем направо-налево будет объяснять тамошние порядки и правила поведения; ей ведь на Том Свете свойственно, а не чуждо. Тот Свет очень был похож на Ту Сторону, и наоборот...

Было, было у аульских жителей и чувство постоянства Той Стороны...

На Стороне Этой, смотри-ка, что делается: заводы по выплавке серебра в какую-то давнюю пору были здесь построены, а леса повырублены, войны были, и не дальние, а здешние, гражданские, нэп вот явился после военного-то коммунизма — и вот уже аульский купец снова держит лавочку, держит в доме своем иконы и с Советской властью обнимается... Или вот на Третьей

Прудовой улице, на Шестом Зайчанском переулке жил Парамон с неизвестной почему-то фамилией, он обычно жил так: три года на купцов не разгибаясь работал, печки складывал жилые и в магазинах, на год же четвертый «свободничал»: пил водку, а купеческие магазины жег огнем, прекрасно зная и это дело. И ничего, околоточный отводил Парамона к мировому, мировой отправлял его в острог, в остроге Парамона брили и посылали класть острожному да и прочему городскому начальству отменные, экономные на дрова печи, а — нынче? Пожег Парамон еще в прошлом году магазин нэпмана Тетерина, и посадили Парамона, и держат вместе со всяким бездельным сбродом в тюремной камере вот уже скоро год! Таков он, непонятный этот нэп...

И все это — исключительно на Этой Стороне, все-все здесь — и любое событие, и любой непорядок.

На Той Стороне событий нет, не может быть, и вот стоит она не в чужом каком-нибудь, а в своем собственном непоколебимом порядке, и великая в том ее заслуга, и честь всего мира, а для человеков — вера...

— А — что? И — правильно! — размышлял на этот счет аульский житель,— обязательно должно быть на свете что-то постоянное, вечное, и потому что должно быть — вот оно, есть, существует!

А значит, существуют в мире и порядок, и справедливость, кто это сказал, что нету ее, не может быть? Кто, кто сказал? Кто вякнул? А ну, выходи, вякальщик, сейчас — и свернем тебе башку! Ругайся какими угодно словами, это не в счет, а за этакое выражение стоит свернуть башку! Чтобы не молола, не вякала неведомо что!

Этакое вот суждение, по-видимому, входило в мироощущение аульского обывателя.

Конечно, он такого слова, как «мироощущение», не знал, но потому опять-таки не знал, что не нуждался в нем. Вполне очевидные и повседневные понятия, будучи таковыми, не требовали для него словесного обозначения.

Очень редко употреблялось им даже такое слово, как «жизнь», разве только по необходимости что-то противопоставить другому слову — «смерть».

— Поляков-то, Андрюха-то,— жив ли?

— Помер...

— Ну вот, я как знал, царствие ему небесное...

Или же несколько по-другому:

— Значит, ты живой?

— Живой и есть!

— Ну и слава богу! Живи тогда на здоровье!

Сегодня — Здесь, завтра — Там... Свобода!

Да так оно и было: свобода аульскому жителю представлялась, наверное и прежде всего, в смысле необъятного, навсегда и для всякого человека свободного пространства, и только потом уже в других разных смыслах — в религиозных, общественных, социальных, прочих.

Нет, он из понятия «свобода» практических благ и начертаний общественного устройства извлечь не умел, не старался, старание это было ему чуждо, а может быть, и постыдно — от веры истинной не требуют же благ земных?— ему понятие это было, скорее всего, духовным, божественным, художественным... Прекрасная такая картина высшей естественности и природности, что на ней изображено — не столь важно, если это столь естественно... Изображено, конечно, то, что надо, скорее всего, опять-таки Та Сторона, куда можно скрыться, если на Стороне Этой тебя прижали, что и дохнуть немыслимо, можно скрыться на час-другой, на день-другой, на одну-другую жизнь, если захочешь, если желание это станет для тебя превыше всего другого.

Прислушаться: свобо-да, сво-бо-да? «Да» кончает слово и вершит его, чем не музыка, чем не картина?

Так что аульский тот житель, если даже не удалось ему побродить по свету, далеко на запад, еще дальше — на восток, если он хворым был и привязан хворью к своей избе, к широкой и теплой печке, в которой за жизнь его была сожжена десятина-другая соснового леса, то все равно он видывал свободу в лицо... Ту Сторону даже сквозь зарешеченные острожные окна и то было видать...

А ведь аульский житель при всем том практического склада человек, он предпочитал один раз увидеть, чем десять раз услышать, увидев же — искренне верил в вечность.

Иначе говоря, он был оптимистом.

Правда, десять лет тому назад — вечность Реки, Той Стороны и, кажется, вообще вся на свете Вечность была нарушена, а с этим нарушением аульский житель связывал, может быть не без резона, все последующие со-

бытия: войну мировую, войну гражданскую, военный коммунизм и даже нынешний нэп...

Десять лет назад закончен был строительством железнодорожный мост через Реку, огромный, красивый и чуждый здесь предмет, как будто бы даже нечеловеческой силой, вопреки вечному порядку вещей, соединивший Ту и Эту Стороны.

С тех пор, чтобы видеть и даль, и вечность, нужно было смотреть с высокого аульского берега только прямо перед собою, либо — вправо и вверх по течению Реки, влево же и вниз по ее течению дали оказались взаперти, за железной решеткой. И Реке тоже некуда было больше истекать, как только под эту же решетку, и она скрывалась в ней, и как будто кончалась там такая, какая есть, какая была в веках, и начиналась ниже моста снова, но уже обладая иными какими-то свойствами и другим цветом, другим течением, другими разливами...

Правда, там, ниже по течению Реки, ниже моста поднимались две горы, называлась одна Глядень, другая — Подглядень, названия не припомнить когда, в какие времена были даны, люди как знали, как угадывали, что для будущего необходимы будут для гор именно эти имена, и вот нынче только с Глядена и с Подглядена, взойдя на них, и можно было видеть Реку через мост и выше него, мост совсем тщедушным казался с той высоты, игрушечным и ненастоящим, на всей же остальной местности это было невозможно теперь — не замечать моста.

Впрочем, не бог весть как, но и в самом-то Ауле время за эти минувшие десять лет нагородило множество чего: деревянные кварталы, вокзал, железнодорожное депо и вагоноремонтные мастерские, Сад-город, населенный тем же железнодорожным людом, каменные строения на главных улицах... Два таких строения были пятиэтажными: торговый пассаж братьев Смирновых на Московском проспекте и контора фирмы «Зингер» в Конюшенном переулке, и когда бы не пожар, учиненный главным городским брандмейстером, быть бы Аулу городом почти европейского облика, но брандмейстер постарался, подпихнул город в Азию, и теперь только эти два обгоревших здания-скелета, Смирновский пассаж и «Зингер», возвышались над пепелищами, над избенками и землянками, над кое-как отстроенным городским центром.

Странными были эти пятиэтажные скелеты, с искривленными и вывороченными наружу металлическими балками, с травой-полынью, поселившейся по разным этажам, а гуще всего — по самым верхним, по бывшим чердачным перекрытиям, издалека были видны они, эти два ржавых перста, неизвестно что указующие в небесах, особенно далеко виделись они с Той Стороны, со стороны, которая и сама-то открывалась взгляду как раз настолько, насколько взгляд хватал...

И все-таки и у этих мертвых перстов были свои судьбы и были они разными — от бывшего Смирновского пассажа оставались нынче только те стены, которые выходили на улицу Пушкинскую, остальное же все оказалось разобранным жителями на кирпич, на кладку печей и фундаментов под новые, послепожарные жилища; «Зингер» — тот кирпичом оказался покрепче, растащить его было труднее, он постоял-постоял в своем жутковато-погорелом виде, а потом его отремонтировали и до предела густо заселили людьми, в прежние времена в Ауле неизвестными, говорившими на языках немецком, польском, венгерском, чешском,— это были оставшиеся в России бывшие военнопленные, которые к тому же обзавелись семьями... Теперь женщины на русском, а мужчины и некоторые дети на многих других языках разговаривали между собою охотно и много, все время друг другу что-то объясняли, должно быть, какие-то истины, и начиналась эта перекличка утром ранним, когда с разных этажей люди бежали вниз с ночными посудинами: в доме не восстановлена была канализация.

Вот какая Европа.

А еще в низине по левому берегу Аулки от устья до плотины, частью и выше плотины, по урезу пруда, вот уже скоро два века, как разбросаны были в живописном беспорядке — почти что в порядке — здания не выше двух этажей, но капитальные, то тут, то там — с колоннами, побеленные известью, покрашенные в желтое, эти здания цвета своего за века не изменили, пожар их не коснулся, обошел, они редко стояли, пламя друг на друга не перекидывали, стены у них были вполсажень, пламя сквозь толщу пробиться не могло, и вот прошлое аульского человечества нынче снова было у всех на постоянном виду. Это были заводские и кабинетского управления постройки времен чуть ли не Акинфия Демидова.

А в музее краеведческом, опять же в одном из таких вот несгораемых зданий, стояла, поблескивая латунным, а по видимости так и золотым котлом, самая первая в мире паровая машина, построенная в одном из этих зданий неким унтер-шихтмейстером, солдатским сыном, того ради, чтобы могла «по воле нашей, что будет потребно исправлять».

Нет-нет, не был город Аул обойден историей, и мыслью человеческой тоже не был, жила здесь мысль в оные времена, жила на грани между Той и Этой Стороной, так почему бы не жить ей здесь и нынче?

А — что? Ютится где-нибудь в погорелом домишке, в деревянной развалюшке Зайчанской части, ютится и страдает от несуразности бытия своего собственного и человеческого, аульского, оттого, что первая в мире паровая машина — и та не сохранилась в натуральном своем облике, в музее стояла ее модель — обман, великий обман! — оттого, что и последующая и нынешняя любая мысль, будь она величайшей из великих, вот так же запросто могла быть здесь потеряна-растоптана, и даже модели никакой не останется от нее!

Ну, а здания капитальные? Служебные?

Почему бы не явиться великой мысли и в учреждениях официальных, бывали же, наверное, случаи? Кто будет отрицать?

Проникнуть в них, в самое нутро этих зданий, делом было, правда, нелегким.

Год назад, об эту же летнюю пору, окружное руководство приняло решение: провести водопровод. Неудобно же, право,— закончилась первая четверть двадцатого века, приближается десятая годовщина Великой Революции, а воду в рукомойники и для прочих надобностей советского аппарата сторожихи носят точно так, как и двести лет тому назад ее носили,— на коромыслах. Может, и коромысла-то тоже двухсотлетней давности, почему бы нет: они черные были, мореные, какой породы дерево — не различишь, в некие времена однажды согнутые, они больше не гнулись никак, не скрипели.

Сказано — сделано: стали пробивать отверстия в фундаментах зданий, но ни один шлямбур, ни один молот демидовскую кирпичную кладку не берет. На полкирпича, а дальше — ни-ни.

Сунулись под фундамент, чтобы снизу, из глубины провести водопроводные трубы, а там — стена крепост-

ная, опять же из мореной лиственницы, сваи по всей ширине фундамента, то есть на три четверти сажени, и нет таких приспособлений, технических средств в городе Ауле, чтобы учинить сквозь эту крепость хотя бы крохотное отверстие.

Придумали: поделан был средних размеров, со всех сторон утепленный кошмою ящик, водопровод вошел сперва в него, а потом уже через угловое окно первого этажа проник и внутрь здания. Правда, ящик тот зимой приходилось обогревать посредством жаровни, наполненной горячим древесным углем, и внешнее архитектурное обличье тоже получилось не ахти, однако же цель была не только поставлена, но и достигнута.

Так это — вода, водопровод, а мысль? Она-то способна проникнуть повсюду, где только может ступить нога человека!

А в окружные учреждения множество ведь ступает людей, и ежедневно притом, процент думающих средь них был, разумеется, очень высоким.

Усмешка усмешкой, но вся история демидовского завода и нынешний, двадцатых лет двадцатого века, его облик, новое, советское его предназначенье — едва ли не каждого аульского жителя обязывали относиться к памятникам строительства и архитектуры с подобающим уважением, возлагать на них свои надежды относительно будущего. Откуда же еще могли исходить подобные надежды, как не из этих старинных зданий, ныне увенчанных красными флагами?

Демидов Акинфий, построив завод, без преувеличения можно сказать — на костях рабочего люда, в скором времени захотел сбыть его с рук, у него были соображения, что нужно так сделать, и, не долго думая, он завод этот, вместе с приписанными к нему крестьянами, проиграл в карты императрице Елизавете...

Такая молва, такая история...

Ну, после той карточной игры и возник Горный округ Кабинета Их Величеств Романовых, а город Аул оказался как бы горнорудной столицей Западной Сибири и многие столичные замашки приобрел незамедлительно.

Одних только господ инженеров проживало в то время в Ауле в числе двадцати семи, инженеры, кроме всего прочего, обучены были в Институте корпуса горных инженеров музыке, пению (по способностям), рисованию и танцам и вот устраивали в аульских своих

особняках салоны и вечера с культурными программами.

Одна за другой являлись музыкальные и поэтические звезды местного значения, не обходилось и без легенд; под номером один шла, разумеется, легенда о прекрасной незнакомке, замурованной в стене особняка по улице Большой Олонской... В ту же как раз пору и построил здесь некий солдатский сын первый в мире паровой двигатель, а кожевники с помощью заводских же химических лабораторий открыли новые способы дубления и покраски овчин, благодаря чему шубы-аулки стали пользоваться высоким спросом по всей империи.

А в Горном округе какой происходил технический прогресс?

В Горном округе, в Змеиных горах, великий мастеровой из мужиков поставил наибольшие в мире гидросиловые установки, а далее его уже сын соорудил там же первую в России чугунную дорогу с конной тягой, а еще другой мастер в тех же горах высек на диво миру огромнейших размеров тысячепудовую вазу из яшмы и, подстилая под оную деревянные помосты, за три с небольшим года укатил ее в Париж; получив же на Парижской всемирной выставке золотую медаль, тем же способом доставил непревзойденное это произведение искусства обратно в Россию, в Санкт-Петербург, в царский дворец, именуемый Зимним.

Такие были дела. Такие они бывали в этой местности...

Подчиняясь непосредственно Кабинету, город Аул и в сторону губернского Томска стал поглядывать свысока, сам себе стал хозяином, свою культурную и промышленную приобрел репутацию и приглашал иноземных путешественников, а те в трудах своих и пространных описаниях неизменно отзывались о городе Ауле и горожанах самым благосклонным образом, иногда — с восхищением.

Собственный музей учредил город.

Горно-механическое училище.

Первую в Сибири метеорологическую станцию.

Две установил ярмарки — Крестовоздвиженскую и Введенскую.

Трудился завод, плавил сперва золото, потом серебро — и плавил, надо думать, помногу, если и до сих пор далеко вокруг бывших заводских построек проезжая

часть улиц, чтобы поднять полотно, засыпалась шлаками тех плавок; это были черные, блестящие, будто покрытые лаком камушки, аульские мальчишки называли их «саковинками», они очень подходящими были для стрельбы из рогаток, а еще был шлак легкий, пористый, как губка, изумрудного цвета, опять не без мальчишеского интереса,— там, внутри изумрудов, находились почему-то железные, совершенно круглые шарики, иной раз — до сантиметра в диаметре. Заряди рогатку таким ядром — и вот тебе почти что дальнобойная пушка!

Однако прошли и они — кабинетские десятилетия, рудники истощились, а того больше истощились леса, поскольку завод работал на дровах, и в 1870 году все предприятия, требующие топлива, были в округе запрещены...

Один за другим умирали заводы Кабинета — Павловский, Алейский, Гурьевский, Локтевский, Змеевский, город Аул тоже приходил в упадок, хирел ото дня ко дню...

Но тут вот какая неожиданность: деревня спасла город Аул, мужики спасли его, когда, освободившись от заводских повинностей — от заготовки дров, от перевозки руды, от работы на рудниках и в заводах,— они погнали в торговлю обозы с хлебом, медом, мясом, маслом, с ягодой и рыбой, со шкурой разного зверя, погнали со всех концов округа — четыреста пятьдесят пять тысяч квадратных километров, верных двенадцать Нидерландов, почти что Франция...

И стал Аул городом торговым, здание Управления Горным Его Императорского Величества округом занял Сибирский банк, а другое наиважнейшее здание — Переселенческое управление, площадь Заводская как-то сама собою, незаметно переименовалась в Базарную, выше по Реке обосновался поселок под названием Бобрихинский затон — там зимовали, ремонтировались и в конце апреля, заливаясь гудками, выходили в плавание буксиры, пассажирские пароходы и баржи, водным путем шел сельхозпродукт Аульского округа, переименованного теперь в уезд, шел вниз по Реке на север и в Томск, а когда построена была Великая Сибирская магистраль, перевалка на железную дорогу стала производиться в Ново-Романовске.

Еще позже, когда железная дорога пришла и в Аул,

еще больше, еще шире стал торговать он, но тут грянула война мировая, потом город горел три дня и четыре ночи, потом поднялась война гражданская.

Советская власть, как пришла, вывесила на древних каменных зданиях красные флаги, с «демидовского обелиска» сняли орла и переименовали его в «памятник Свободы», это для начала и для парада, для дела же принялась заготавливать в Аульской губернии (теперь это уже губерния была) хлеб голодающему Петрограду.

Заготовки шли успешно, Аульская губерния запросто могла выручить Питер из беды, да не на чем было доставлять хлеб в Россию, транспорт был разрушен, колчаковцы угнали, разбили и сожгли почти весь подвижной железнодорожный состав.

Теперь, при нэпе, в Аульском округе — он уже снова стал округом (Сибирского края) — на небывалую высоту поднята была сельскохозяйственная кооперация, маслодельная — прежде всего, а дело шло к тому, чтобы и производство зерна тоже поставить на кооперативные рельсы.

Кооператоры добились открытия в городе педагогического техникума на госбюджете, а на свои собственные средства организовали техникум сельскохозяйственный, ликвидировали для этого механическое училище, основанное еще Демидовым, и назначили будущим агрономам баснословную стипендию — 60 руб. в месяц — зарплата двух выше средней квалификации рабочих или главбуха какой-нибудь крупной конторы. Сделано было неспроста: своих выпускников, «красных специалистов», аульские кооператоры запродавали по всей Сибири, включая Камчатку, удерживая с тамошних кооператоров все расходы на обучение, а расходы стипендиальные — в полуторном размере.

Теперь намечалось открытие при техникуме маслосыродельного отделения, один из кооперативных деятелей Аула уже побывал в Амстердаме на предмет приобретения там необходимого лабораторного оборудования, которое предполагалось затем доставить из Голландии прямо в город Аул только-только освоенным Северным морским путем.

В самом городе власти поощряли и поддерживали ЕПО — Единое потребительское общество со вступительным взносом 75 коп. и ежегодным 1 руб. 00 коп.

ЕПО этому, в общем-то, приходилось туго — ему нужно было выдержать жестокую конкуренцию с частниками, чтобы указанные взносы потребителю был расчет платить.

Еще была крупнейшая торговая организация — ЦРК, Центральный рабочий кооператив, он тоже пользовался особым вниманием государства, имел целый ряд льгот, прежде всего — кредит, имел собственный хлебозавод и семь столовых, в нем состояло пятнадцать с половиной тысяч членов-пайщиков и состояло бы еще больше, но прием туда был ограничен, учитывалось социальное происхождение и нынешнее социальное положение — высокооплачиваемые советские служащие совсем не принимались в ЦРК.

Проникали, правда, туда сомнительные лица, но не надолго, на очередной чистке своих членов ЦРК их вычищал. Чистки проводились каждый год-полтора. Могло быть и так: если гражданин состоит в ЦРК, а предпочтение отдает знакомому частнику и ходит к нему в лавочку ежедневно, частнику создает торговый оборот, а вовсе не своему родному кооперативу,— вычистят, не посмотрят на социальное положение.

Еще вело обширную торговлю отделение Всесоюзного акционерного общества розничной торговли «АКОРТ» — вывески огромные, и никаких пояснений, что, мол, Всесоюзное, что розничной торговли, что акционерное,— четким почерком, с наклоном вправо, огромными буквами «А К О Р Т» и все тут, понимай как хочешь, не понимаешь, это дела не меняет — заходи под эту вывеску, что душе угодно покупай.

А частный сектор? Иными словами, нэпманы?

Они в городе и в сельской местности округа развернулись так, что иной раз и при царе-то батюшке не удалось бы. Тут все было, были торговцы спичками и папиросами с лотков, были филателисты в таких крохотных лавочках, что не повернешься, едва ли не каждого покупателя они приглашали к себе домой, там просторнее было, а была и торговая фирма братьев Второшиных, под стать сгоревшему в 17-м году Смирновскому пассажу.

Коротко: в опте государство занимало 31 %, частный сектор — 34 %, в рознице процент частного торгового оборота был еще выше. Остальное — за кооперацией.

Три торговых сектора, у каждого примерно по одной

трети оборота — жестокая конкуренция! Нэпманы за спиной у государственных торговых организаций искали союза с кооператорами, кооператоры за спиной у нэпманов — с государственными фирмами, конкуренция была и тайная, и явная, всякая и ежедневная.

Всесибирская забастовка вторушинских приказчиков сильно подорвала могучую эту фирму, в некоторых городах — окончательно, нэпманы не унывали: «Ну не Вторушины, так Тетерины, не Тетерины, так Поляковы, не Поляковы, так Велижанины, кто-нибудь да возьмет свое — нас много!» — обсуждали проблемы нэпманы вслух, а потихоньку говорили, что братья Тетерины тоже приложили руку к забастовке вторушинских приказчиков, недаром же как раз в те дни они, братишки, открыли новый магазин в районе, населенном исключительно рабочим классом, в Сад-городе, где до сих пор безраздельно царствовал ЦРК. Правда, рабочий класс здесь такой: что ни рабочий, то и домик, и садик, и братья Тетерины открыли здесь магазин домашнего и садового инвентаря — богатейший ассортимент.

Нет, нэпманы не унывали!

В промышленности — дело другое, там бабушка надвое могла сказать, но что касается торговли — извините, нэпманы и не думали унывать. Они полагали даже, что Аул и весь Аульский округ (это все еще был округ, но уже не Сибирского, а Западно-Сибирского края) — это их вотчина, что если не сами по себе, так с кооператорами, особенно с кооператорами-маслоделами, они в конце концов сумеют составить союз, ну а против такого союза кто же выстоит? Какое государство?

И приезжали в Аул представители государственной, кооперативной и частной торговли из Москвы, из Ленинграда; заграничные приезжали коммерсанты и представители всех восьми иностранных консульств в Сибири, и никто не верил глазам своим — откуда что? Ну прямо-таки сибирский Нижний Новгород!

В это же время и заводы стали открываться в Ауле: вагоноремонтный, металлический и традиционные, такие, как пимокатный, овчинно-шубный, дрожжевой, спичечная фабрика — это госсектор развивался.

Государство и госкапитализм! Конкуренция! Европа! На грани-то двух Сторон, Той и Этой — Европа, да и только! Двадцатый век!

Так-то — в городе Ауле, на центральных его улицах, на Пушкинской и Льва Толстого.

На Гоголевской он уже значительно меньше заметен был, Двадцатый век, на Полковой вполне сносно чувствовал себя феодализм, на Восьмой Зайчанской феодализм один только и был, хотя и поздней стадии, в ремесленных пригородах, в поселках, которые назывались здесь «заимками»,— Рыбачья заимка, Кирпичные сараи, Пимокатная заимка,— там легко было обнаружить феодализм восемнадцатого века, как раз того времени, когда Акинфий Демидов заканчивал постройкой свой завод, ну, а заимки Веревочные, Верхняя и Нижняя, те были времен додемидовских, значительно более ранних. Демидов, когда впервые сюда пришел, покачал, наверное, головой: «Ну — старина-а!» Так вот она до сих пор сохранилась, та старина.

Ни город, ни деревня, заимки эти историческими событиями из века в век обходились, гражданская война и та обошла их; нынешние ликвидаторы неграмотности в какой только сельской глуши не собирали по вечерам мужиков и баб за букварями, заставляли читать «м-мы не ра-бы», Веревочные заимки к сельской местности не относились, к городу тоже, ликвидаторы и тут их миновали, и вот они вили себе веревки, вили канат и бечевку, такие же, как тысячу лет тому назад, и совершенно тем же самым способом. Даже в праздники вили.

Праздники веревочники проводили неохотно и както сонно, без песен, без игрищ — прошли бы поскорее, и ладно, они будто бы экономили силы и время для другого чего-то, для других событий.

Да так оно и было, потому что самыми значительными событиями, надолго западавшими в память, являлись драки между Верхней и Нижней Веревочными заимками.

Года два последних эти драки особенно были жестокими, так что даже видавшие виды аульские жители впадали в сомнения: как бьются, как нынче бьются веревочники-то? Верхние с нижними? К чему бы это?

— Сво-ла-а-ачь! — ревом густым, совершенно неженским и нечеловеческим, с кромешным каким-то удушьем выдыхала Дуська и не в одну свою, а в три откуда-то взявшиеся силы вскидывала вверх громадней-

шее весло от лодки-неводника...— Свола-а-ачь! — и озиралась кругом — кого бы убить разом, без промедления...— Свола-а-ачь! — и страшную испускала ругань, потому что веслом ударила в землю, не убила никого, ни в кого не попала, а это было для нее хуже собственной смерти... Она и сама-то упала наземь вместе с веслом, а вскочила еще страшнее прежнего — синее пятно вместо лица, два красных пятна вместо глаз.

Отчаянно дралась Дуська, отчаяннее и громче всех.

В кого-то она угодила наконец веслом, хрястнуло что-то, какие-то кости, но все равно не убила никого — падали под ударами верхних веревочников веревочники нижние, нижние молотили верхних, никто не отступал, все не было и не было убитых. Поумирав жуткой смертью, в страшных мучениях, веревочники на четвереньках опять вползали в драку, опять становились на ноги, все начиная сначала, подбирая чьи-то весла, железные трости, деревянные батожки, двухфунтовые гирьки на цепочках.

Как человек гибнет иной раз от перочинного какого-нибудь ножичка, от малой ружейной пульки — представить было невозможно, глядя на эту драку...

Дуську хватили батожком поперек живота, она коротко взвыла, вой тут же прервался, она молча упала и молча же стала грызть пальцы, рвать на себе пестротканую кофтенку, освобождая для окончательной смерти грудь, но и тут не умерла, и тут, шатаясь, встала на ноги...

Ее сбил с ног Кузлякин, мужик — косая сажень в плечах, весь, до самого пупа в бороде, он поднял Дуськино весло и замахнулся им высоко — размозжить Дуськину голову, но та, и не видя смертного замаха, извернулась, удар пришелся в землю, Кузлякин упал, и тут вместе со старикашкой Малых, битым-перебитым во множестве драк, Дуська оседлала Кузлякина, стала рвать его руками.

Драку могло остановить убийство, больше ничего, может быть, и не одно убийство, два-три сразу, но все еще не было ни одного убитого, и вот человек сорок мужиков и одна баба бились в изнеможении на берегу Реки, в виду просторов Той Стороны, с не опавшим до конца весенним разливом.

Когда-то, в додемидовские еще времена, люди выбрали место это к поселению, чтобы вить здесь веревку

и торговать ею с аульскими, и алейскими, и барабинскими татарами, с киргизами степной кулундинской стороны, но только во время поселения согласие и мир веревочников их не взяли: одни поставили избы у самой Реки, чтобы по воду было близко, к лодкам и прибрежным тальникам, которые шли на дрова, другие же, побоявшись разливов Реки, построились выше, на коренном берегу.

Так в давние-давние времена уже разделились веревочники на две партии, на верхних и нижних.

Наступала весна и всякий раз показывала, кто нынче прав, какая партия, верхняя либо нижняя: если вода была малая и нижних не затапливало, они ликовали, они кричали самые обидные слова всякой бабе, когда она спускалась и поднималась вверх крутой тропкой на высокий берег с коромыслом на плечах, не дай бог, баба поскользнулась на обледеневшей тропке и деревянные ведра покатились у нее под откос — это уже было такое зрелище, что заходилась в хохоте вся Нижняя заимка; но вот наступал год большой воды, нижних затапливало, они на крыши эти вытаскивали немудрящие свои пожитки и младенцев, вода еще прибывала, они с крыш переползали на высокий берег, жгли здесь костры, сушились, варили в котлах картошку, жили табором неделю, а то и больше, жили хмуро, друг на друга не глядя, тем более не глядя на верхних веревочников. Эти вокруг их табора веселились; собак на беженцев натравливали и сами, как собаки, собратьев своих готовы были от радости покусать... Нижние молчали в это время, не огрызались.

Спадает вода, нижние возвращаются в свои избы, протапливают их денно и нощно, чтоб стены, и подполы, и чердаки поскорее просохли, и тут же начинает зреть у них месть. За поругание свое обязательно нужно отомстить, за насмешки, за ошибку праотцев, которые — так, наверное, и есть — поселились уж очень низко у самой Реки.

У нижних — месть, у верхних не миновало злорадство, в это время, вскоре после спада высокой воды, без драки жизни не было ни тем, ни другим...

И бывали драки на два-три дня...

Отсидятся верхние и нижние в своих избах, залижут кое-как раны-побои, мало-мало успокоят воющих своих жен, переспят тяжким неверным сном ночь, а в обед

следующего дня опять «Наших бьют!» — и с чем попало в руках мчатся навстречу друг другу нижние и верхние, среди верхних вот уже лет десять мчится и вдова Дуська...

После драк жизнь наступала как бы даже дружественная, раздерутся между собой ребятишки, взрослые их пресекают: «Цыть, орда! Не дай бог, с вас обратно начнется!»

Бывало после того, и не раз — тонет кто-то в Реке, чью-то лодку в бурю перевернуло, чужой, незнакомый человек гибнет или же из нижних, или из верхних веревочников кто — разбору нет: «Тону-у-ут! Топится ктой-то на реке!» — и на утлых своих лодчонках выплывают в волны те, кто в то время оказался на берегу, и спасают человека, а после все идут в первую попавшуюся избу, которая спасенного приютила и обогрела, идут узнать: что и как — жив ли человек, оклемался ли?

У всех в это время ангельские души.

Тут ведь какое дело: спасения происходили неожиданно, как снег на голову; драки же зрели медленно, политично и требовали, чтобы кто-нибудь обязательно взял верх, без верха — какая же политика? Какая драка?

Кроме того, драки привлекали зрителей из города Аула, и в большом числе. Так оно и есть: были бы зрители, артисты всегда найдутся. А какому же это веревочнику, когда он дни, а летом и ночи не вылезал из унылого, серого своего сарая, в котором сучил, сучил, сучил веревку, человеку никому не известному вдруг не захотелось бы стать известностью? Показать себя публике и на публику свысока поглядеть, с некоторым презрением: я вот как могу биться, а ты, публика, можешь ли? Ты, публика, удивляешься, а удивляет-то кто? Я нынче удивляю!

Сегодня толпа зрителей стояла праздничная, все, как нарочно, было одно к одному: воскресенье, день ясный, год высокой воды, погода божественная, Та Сторона просторная: синеватый воздух, чуть посинее — пятна озер и проток на пойме, еще синее совсем уже дальняя полоска бора по коренному берегу Той Стороны.

Толпа зрителей охала, вздрагивала, давала советы, ужасалась, зрительницы-женщины закрывали лица руками, закрывали глаза, отворачивались от Дуськи с порванной грудью, из правой груди у Дуськи все сильнее и сильнее текла кровь...

Кроме того, был среди толпы один странный человек из беженцев, из каких-то еще подозрительных и нездешних людей, он беспокойно толкался туда-сюда, настойчиво искал себе слушателя, хотел изложить свою философию.

Он был довольно высок, кудряв, лет тридцати пяти малый, в очках с одной дужкой через правое ухо, с веревочкой через левое, сквозь эти очки он и прицеливался небольшими глазками бурого цвета, отыскивая возможного собеседника... Яркое солнце ему мешало, он морщился, передвигая очки движением носа, иногда — правой рукой, в левой он держал книжечки.

Вид не обывательский и не интеллигентный, непонятный вид. Бурый вид и философский.

— Плеханова,— объяснял он кому-то,— можно принимать только из тактических соображений, поскольку Плеханов полемизировал с еще более реакционными теоретиками, чем он сам!

— Для Плеханова материальное и духовное витает в пестрой эксплуататорской смеси!

— Слова — это цепи рефлексий, органических движений языка в полости рта, это пространственные явления, а мысли — явления непространственные, поэтому их вообще нет, они вообще не существуют, ничто не существует, помимо пространства.

Гражданин с кожаным портфелем неожиданно откликнулся бурому философу:

— Да при чем тут Плеханов?— Он, должно быть, оказался коренным сибиряком, тот, с кожаным портфелем, потому что добавил: — При чем, язвило бы тебя?

Философа это не смутило, это воодушевило его, он вцепился в портфель одной рукой, а другой, с книжками, стал размахивать в воздухе и объяснять:

— Сумасшедший бред о материи и духе выдуман — кем? Идеологическими агентами эксплуататорских классов — вот кем! И даже передовых и революционных рабочих на территории пролетарской диктатуры они продолжают отравлять этим отвратительным ядом! Этим болтанием! Болтанием — о чем? Опять же о материи и духе, больше ни о чем!

...Драка шла все более жестокая, хотя уже и усталая, через силу, среди тех, кто корчился на земле, могли быть и умирающие, кто лежал неподвижно — мог быть совсем убит, но веревочники уже не способны были это

понять, не могли понять они, кто же берет верх, какая заимка — Верхняя или Нижняя, уже никто из них верха и победы не ждал, драка продолжалась потому, что не могла кончиться, из Дуськи текла кровь — из груди, изо рта, из головы, она веслом кого-то тыкала, но поднять весло высоко у нее сил не было.

Некоторые аульские жители, удаляясь прочь от этого зрелища, осеняли себя крестом, шептали что-то, другие молча и даже как будто без видимого интереса ждали — чем же кончится? Кто-то говорил о милиции, а кто-то безразлично махал рукой — а не все ли теперь равно!

Бурый же философ, должно быть, находил во всем, что здесь происходило, подтверждение своим мыслям — волновался и привлек-таки внимание нескольких горожан. Горячо, торопливо он объяснял им:

— Человек есть система органических движений безо всякой психики! Это эксплуататоры выдумали бредовые понятия «сознание», «дух», «подсознание», а еще — сволочи!— разделили мир на материальный и духовный! И марксисты тоже попались на хитрую удочку — Энгельс попался, а до него — Декарт попался! А — Деборин? А — Крупская? А — Луначарский? Бухарин списал свои труды у товарища Эммануила Енчмена, основоположника «теории новой биологии», но дальше он с товарищем Эммануилом Енчменом не посоветовался и вот впал в неизбежную ошибочность! И в эксплуататорскую путаницу! И в сети, расставленные разными агентами — Локком, Беркли, Юмом, Махом — для того, чтобы разделить мир на материальный и духовный, а себе оставить при этом высший, то есть духовный мир, а трудящимся кинуть кость в виде мира материального! Вы только посмотрите, товарищи трудящиеся, вот же картина: люди избивают друг друга, убивают неизвестно почему — где здесь сознание? Где здесь дух? Где и в чем здесь так называемая идея? Вот оно, доказательство, хотя и жестокое и даже, может быть, страшное, но бесспорное доказательство учения товарища Эммануила Енчмена! Нам говорят: «енчмениада» разгромлена, нас разгоняют туда и сюда, но это ничего не значит — некое эксплуататорское воззрение, именуемое диалектическим материализмом, скоро умрет, пролетариат прозреет и введет систему физических паспортов для каждого человека, чтобы установить пригодность его организма быть участником нового

общества! Дорогие товарищи трудящиеся! Кто из вас действительно желает избавиться от мракобесия, то есть от сознания не существующего в нас сознания, от этой мегеры и проклятия всех честных людей, а пролетариев — в первую очередь? Кто? Кто желает — возьмите, прочтите внимательно!

И бурый философ стал рассовывать по рукам тонкие книжечки без переплета.

Корнилов стоял в стороне, но книжечка попала в руки и ему.

ЭММАНУИЛ ЕНЧМЕН

Теория
Новой Биологии
и
марксизм

Выпуск первый

Типография рабочего факультета Петербургского государственного университета «Наука и Труд»

Петербург
1923

Корнилов перевернул страницу и еще прочел: «Набор и печатание книги выполнены вечерними и ночными работами студентами рабфака Петербургского государственного университета».

Ну как же — Петербургский университет, многие его кафедры, а философского и естественного факультета прежде всего, он знал и легко представил их себе, и университетскую типографию тоже представил, и нехорошо ему стало, не по себе оттого, что и кафедры, и аудитории могли иметь какое-то отношение к Бурому Философу, а через него — к нынешней драке.

Корнилов знал вдову Дуську, работящая была как лошадь, добрая, добрая и глуповатая, взбалмошная баба. Трое ребятишек на руках. Дуська их любила и по любви поколачивала: они росли совсем не такими красавчиками, какими она их в младенчестве себе представляла. Дуська была уверена, что они сами в этом виноваты, делают это нарочно — мать позлить им удовольствие, мать в них души не чает, бьется из-за них

день и ночь, сучит веревки в развалившемся со всех сторон дырявом сарае, а они своей матери злом за добро отплачивают. А?!

«Нет,— решил Корнилов, глядя на Дуську,— нет, не пойду я к веревочникам! Что бы ни случилось — не пойду! В очередь безработных на биржу труда — это праведнее, это справедливее... Неужели и праведность, и справедливость мне нипочем? Пойду на биржу!»

Так он думал.

Он ведь шел нынче к веревочникам, он шел к ним наниматься на работу.

Шел, так и не отдав себе отчета в том, что с ним произошло... Он спрашивал сам себя: «Что произошло?» — и сам себе отвечал: «Не знаю...»

Не знаю, каким образом я потерял «Буровую контору».

Не знаю, как я перестал быть нэпманом, а стал безработным.

Не знаю, почему я не нашел другого выхода, как только идти к веревочникам, наниматься вить веревки.

Не знаю...

«На биржу труда!» — подтвердил он еще раз и тут заметил, что кто-то из нижних смутно знакомой ему громоздкой фигурой приближается к Дуське.

Одна рука висела у этого человека плетью,— может, это Дуська перебила ее веслом?

В другой он держал толстую дубину, он хотел кончить драку? А чтобы кончить ее, обязательно нужно было кого-то убить?!

Может, это был отец последнего, младшенького Дуськиного мальчонки? Корнилов, когда еще вил веревки на Верхней заимке, слышал, что Дуська родила от кого-то из нижних — и тот, нижний, не раз грозился ее за это убить.

Вот он подходил медленно к Дуське, тот человек, только к ней одной, избегая чужих ударов, сам ни на кого не замахиваясь, подходил к ней сзади, она, вся в крови, на коленях, его не видела, она уже ничего не видела, но все еще размахивала обломком весла.

Корнилов рванулся и выхватил у человека дубину — теплую и в крови, и у него было такое ощущение, будто он выхватил из чужих рук страшный, смертельный удар.

Но тут чей-то удар последовал в него — тяжелый и гулкий, в голову. «Ну вот,— подумал Корнилов,— на войне, на многих войнах не погиб, а тут... да не может этого быть?!»

«Зато на биржу труда не надо идти!» — подумал он еще.

Потом он долго о чем-то догадывался, не зная о чем, а это была вот какая догадка: он, оказывается, все еще жил, существовал.

Странное существование — без времени, но в каком-то пространстве, беспредметном и безлюдном.

«Может быть, это и есть смерть — такое существование? — возникал вопрос.— Вполне может быть, что так!»

Первые люди, которые перед ним возникли, оказались чудными старичками. Он-то ждал каких-нибудь очень серьезных встречных, глубоко философствующих по поводу жизни и смерти, прошлого и будущего человечества, нет, ничего подобного!

Это были его папочки.

Как и полагалось в силу совершенно определенных обстоятельств, папочек было двое, не больше и не меньше, один самарский, другой — саратовский.

Саратовский сухощав, подтянут, с золотом в нижней челюсти, очень похожий на инженера-изыскателя, с теодолитом и нивелиром исходившего многие губернии Европейской и Азиатской России.

Он и в самом деле был инженером-изыскателем, с теодолитом и нивелиром исходившим многие губернии... Он же основал акционерное дорожно-строительное общество «Волга», именно по его смерти Корнилов и получил в наследство свою «Буровую контору».

Папочка самарский и по внешнему облику, и опять-таки на самом деле был адвокатом — пенсне, высокий лоб, курносый носик и кругленькое личико, каждую минуту, даже каждую секунду готовое заговорить. И не просто так заговорить, а полемически-красноречиво. В личике легко угадывалась и некая государственная озабоченность.

— Сейчас тебе, Петруша, самое главное знаешь что нужно сделать? — спросил он, как бы продолжая давным-давно начатый разговор, как бы даже этот разговор заканчивая.

— А что? — поинтересовался Корнилов.

— Жить!

— Совершенно верно — жить! — подтвердил саратовский инженер. — Без сомнения, это — самое главное! Вернее ничего быть не может.

— А — зачем? — поинтересовался снова Корнилов.

— Чтобы жить! — подтвердил адвокат тоном, не допускающим ни малейших возражений.

— Точно сформулировано! — подтвердил инженер. — Все-таки ты наш сын, а для чего отцам сыновья, если не для того, чтобы они жили?! И вот еще что, — сказал инженер, обращаясь уже к своему, в некотором роде, коллеге — адвокату, — вот еще что: мы с вами, оказывается, оба Константиновичи, только я — Николай, а вы — Василий! Точно! А что это значит? А? Я вам опять объясню: это значит, что не с нас с вами началась путаница, нет, не с нас! Мы-то с вами перепутали между собой своего сына Петрушку, но еще раньше наши с вами отцы разделили пополам одну фамилию и одно отчество. Следовательно, начало нынешней путаницы положили наши деды, а там копнуть, может, и прадеды замешаны! Следовательно? А вот: не мы первые, не мы последние создаем всякого рода путаницы! Следовательно! А вот: плевали мы на путаницы, не мы их выдумали, так что наше дело плевать на них, а больше ничего! А твое, Петруша, дело — жить!

— Сложно вы как-то излагаетесь... — употребил необычное выражение Корнилов самарский, Василий Константинович, адвокат. — Сложно. А между тем русский язык позволяет просто и ясно выражать самые высокие мысли. И соображения.

— Позвольте, как вы сказали? Соображения, да? Скажите, пожалуйста, а какие при вас имеются соображения?

— Мы не открываем новых истин. Поэтому дай бог сохранить истины старые... Старые, как мир.

— Дальше?

— Вот и давайте спросим нашего Петрушу, думает ли он жить дальше? Петруша — ты думаешь на этот счет или не думаешь?

— Я думаю, — сказал Корнилов. — Я-то думаю, но тут, папочки, знаете какое дело? Не знаете? То-то и оно! У меня книжечка припрятана под голубятней во дворе дома по улице Локтевской, номер сто тридцать семь...

И меня все время тянет эту книжечку выкопать. Из-под голубятни.

— В чем же дело? Возьми и выкопай!

— Выкопал бы. Обязательно. Но она знаете как называется?

— Как?

— «Книга ужасов».

— Что-о?— изумился Василий Корнилов самарский, адвокат.— Повтори, Петруша, повтори!

— И повторять не надо!— как отрезал саратовский инженер.— И повторять не надо, и выкапывать не надо, на кой черт! И вообще, что это за тема для разговора? Ума у вас, что ли, настолько? У самарцев? У адвокатов? Тоже мне — нашли тему! Нашли и рады-радешеньки!

После этих слов папочки саратовского папочка самарский несколько сник, задумался и сказал:

— Действительно, уважаемый Николай Константинович, наши взгляды, а главное, чувства не во всем совпадают. Это потому, что мы с вами люди хоть и одного, в общем-то, поколения, но все-таки разные. Начнем с того, что вы — Николай, а я — Василий. Вы — инженер, а я — адвокат. Вы — саратовец, а я — самарец. Вы — предприниматель, а я — общественный деятель. Вы называете нашего сына Петрушкой, а я — Петрушей... Ну, и так далее, если копнуть.

— Да в том-то все и дело, что не надо копать! Особенно не надо копать и выкапывать лишнего! Ну, вот первый и вполне убедительный пример: зачем Петрушке выкапывать эту книгу? Как это... Ужасную книгу?

— Значит, переведем разговор на другую тему?— нашел выход из затруднительного положения папочка самарский и спросил у Корнилова:— Ну здравствуй, Петруша! Ты какими судьбами?

Этот вопрос папочки самарского был хуже некуда: «Какими судьбами?!» Надо же было придумать: «Какими?..» Но Корнилов не растерялся, не совсем растерялся и ответил:

— Да вот так... Так уж... Именно.

— Понятно!— кивнул Василий Константинович Корнилов-самарский — и обратился к саратовскому Корнилову:— Ближе к делу: как мы будем его делить? Нашего сынишку? Конечно, мы всю жизнь, всегда, везде, обязательно что-нибудь с кем-нибудь делим, так что

пора бы уже и привыкнуть к рукомеслу, но — затруднительно! Может, пополам? Мне левую половину сынишки, вам — правую! Согласились? По рукам?— Самарский Корнилов протянул все еще по-детски розоватую ладошку Корнилову-саратовскому.

Но тот, саратовский, ладони не принял, а нахмурился остроносым сухощавым лицом сперва анфас, потом в профиль, полизал кончиком языка тонкие губы и золото нижней челюсти. Спросил:

— Позвольте, а у него сердце в левой половине? У нашего сынишки?

— Само собою разумеется...

— Как так — само собой? А бывают человеческого рода особи, у них сердце справа... Я точно знаю, бывают!

— Нет, у моего Петруши сердце всегда было слева. По рукам?

— Значит, мне достанется бессердечная половина? Смотрю я на вас, вы тоже хорош гусь! Одно слово — юрист! Адвокат!

— Ну и вы тоже одно слово — инженер! Сейчас уже и взвешивать, и рассчитывать, и конструировать. По рукам?

Корнилов-саратовский смахнул неожиданную слезинку с правой щеки, пошевелил длинными пальцами первоклассного чертежника и очень грустно произнес:

— Оба мы с вами нищие... Любая половина любого человека это ничтожно малая величина... Ну, а владельцы ничтожно малого, они — кто? Они — нищие! И если одна ничтожно малая величина чуть-чуть побольше другой ничтожно малой — это не имеет никакого значения!

— Значит, по рукам?! — обрадовался Корнилов-самарский и смахнул нечаянную слезинку с левой щеки.— По рукам?!

— По маленькой!— кивнул саратовский...

Появились две рюмочки, папочки чокнулись, опрокинули.

— А мне?— спросил Корнилов.

— Помалкивай, Петрушка!— огрызнулся саратовец.— Когда двое между собой делятся, это еще туда-сюда, еще есть кое-какая возможность, когда делятся трое — нет никакой возможности!

— Вот именно!— шмыгнул курносеньким носиком

папа Василий Константинович.— И то принять во внимание, господа судьи, что мы, оба истца, оба отца, я хочу сказать,— мертвые! А кому же и договариваться между собой, если не мертвым? От живых не дождешься.

— Дельная реплика!— согласился саратовец.— Но я хочу уточнить, какие это еще господа? Какие судьи?

— Не все ли равно — какие? Какие угодно! Что их — не хватает, что ли, судей-то? Боже мой, да этого добра — где только нет! Петруша, а ты не боишься, что мы тебя делим? Пополам? Ты ведь тихий был мальчик и уже с четвертого класса гимназии — философ. Хотя, правда, потом ни с того ни с сего решил воевать... Помнишь, поди-ка, как дело-то было?

Корнилов чуть не спросил у папочки-адвоката Василия Константиновича, а не будет ли к процессу настоящего дележа, кроме судей, привлечен еще и следователь,— очень этого не хотелось бы,— но тут снова заговорил Корнилов-саратовский.

— Н-е-е-ет!— заговорил он.— Мой Петрушка, тот никогда и ничегошеньки не боялся! Отродясь — ничего! И войну с немцами начал, припомнить, класса тоже с четвертого, году, как бы не ошибиться, в тысяча девятьсот втором, вот когда. У нас в Саратове немцев-колонистов, торговцев, колбасников, одним словом — всякого звания, было пруд пруди, но ему, Петрушке, все равно их не хватало, так он на самых разных плавучих средствах переправлялся через Волгу, там город, Покровск называется, уже сплошь одни немцы, вот там он и устраивал с ними сражения! Упаси бог... Он при этом с правого фланга заходил, в Покровск, со стороны другого поселка — Порт-Артур... Упаси бог!— Николай Константинович трижды истово перекрестился.

— В кого бы это он?— поинтересовался Василий Константинович.

— Ума не приложу! Я, конечно, тоже хотел с немцами воевать, но только в области техники и строительства дорог. Я так полагал, что хорошие дороги — это хорошие школы, хорошая почтовая работа, все хорошее... Что не может быть плохих дорог в Европе.

— Скажите на милость — и я почти что так же! Почти то же самое, только я вместо дорог — конституции проектировал. Некоторые получались — пальчики оближешь! Сколько я их для России запроектировал,

сколько было у меня различных конституционных вариантов, теперь и не помню. Запамятовал!

— А долго ли занимались?

— Чем?

— Конституциями?

— Долго: с апреля одна тысяча девятьсот пятого года по июль одна тысяча девятьсот семнадцатого.

— А в июле кончили? Окончательно?

— После того, как Временное правительство Керенского расстреляло в Питере народ и на него, на Александра Федоровича, получился в народе стишок. А я ведь Александра Федоровича не только знавал, но и благоволил ему, но тут вдруг:

Едва успев народа власть
Для угнетения украсть,
Какою казнью озверелой
Казнишь свободных, честных, смелых?

Ну, после этого стишка я не смог заниматься...

— Разочарование, значит?

— Полное.

— Очень не огорчайтесь, потому что где его взять, очарование-то? К тому же наша, расейская черта.

— По маленькой! — предложил папочка самарский, адвокат, Константинович Василий.

Константинович Николай согласился.

Папочка саратовский, воодушевившись этим согласием, предложил:

— Такая идея: давайте препоручим все дела нашему сынишке? А?

— Какие дела? — не понял инженер.

— Всякие. И все. Дороги ему препоручим, и мосты, и конституции ему же. Ну?

— А вот это дело! Вот это — всем делам дело! Всем идеям — идея! — с явным восторгом проговорил папочка саратовский и с некоторой даже завистью поглядел на адвоката-самарца: дескать, все-таки голова, все-таки есть у него голова, имеется. Поглядел и продолжал: — Да ведь и во веки веков так-то было, во веки веков папочки снабжали сынишек своими делами, проблемами, вопросами, задачами, полагая на том задачу своей собственной жизни исполненной! А как же иначе? Или вот еще что... — Папочка саратовский нахмурил лоб на инженерной своей голове, посчитал что-то на пальцах первоклассного чертежника, и вот какой получился

у него результат: — Так ведь нам и делить-то сынишку не надо! Если он у нас будет и такой, и сякой, и дорожно-мостовой, и конституционный, тогда зачем нам его делить? Какой смысл? Единственное дать ему задание: не начинать! Ни в коем случае! Блажен, кто не начинает!! А то ведь как? Доначинается до того, что устроит какой-нибудь там новый нэп и даже что-нибудь еще более социальное, полагая, будто устраивает что-то совершенно прекрасное, будто до него никогда никаких нэпов не было! Начинать, Петрушка, легко, для этого ума не надо, миллионы и миллиарды начинали, а все дело в том, чтобы закончить! Или хотя бы при хорошей мине выпутаться! Нет уж, не начинай ни в коем случае — только продолжай, а еще лучше — заканчивай! Как твое здоровье-то? Не жалуешься?

— Всякое бывает. Всякое случалось. Всякое случается. А у вас, папочки?

— У нас вопроса нет, мертвые всегда здоровы, как быки. Споем?

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Все отдал бы, чтоб быть с тобою... —

слаженно пропели папочки баритоном и тенором, нельзя было понять, какой голос кому из них принадлежит... На слове «с тобою» они поперхнулись, дуэт кончился, и в том же песенном стиле, но уже со страхом каким-то они спросили:

— Сынишка! А что это у тебя в углу?

— В каком?

— Вот в том! Около двери! Неужели не видишь? — указал папочка самарский, а саратовский, обернувшись в противоположную сторону, тоже воскликнул:

— И в этом! И в этом углу — оно же! Страх великий, великий!

— Оно у тебя во всех углах! — баритоном и тенором произнесли папочки и стали вращать глазами в глазницах. — Вот страх-то! — В страхе папочки оказались очень похожими друг на друга — не отличишь, не угадаешь, кто из них только что был самарским, а кто — саратовским...

Ничего не видя и не понимая, Корнилов тоже стал оглядываться по углам избы, и глаза у него тоже

стали вращаться то по часовой, а то против часовой стрелки.

— Кто великий — а?— спрашивал он у папочек.— Кто здесь великий? Не может быть!

— Есть тут кто живой в избе или нет уже? Корнилов? Ты тут живой еще гражданин, годный к службе, или уже в мертвяках ходишь?— спрашивал с порога небольшой громкий, бритый человек.

Он, кажется, даже сказал «годный к государственной службе», этот человек. Отчего бы ему было и не сказать так, и не спросить — службисту? Энтузиасту всяческой службы, государственной прежде всего?! С первого взгляда Корнилов установил: службист! Чрезвычайно энергичная личность!

Корнилов отозвался, что, мол, конечно, есть. Есть тут, в душной избе на печи, под лоскутным одеялом, живой человек!

Как же могло быть иначе, если у него только что состоялась встреча с папочками? Сразу с двумя? Если она ему приснилась, эта встреча, если он ее выдумал в полуяви или наяву? Мертвому же ни так, ни этак не приснится, не придумается? Не придет в голову?

— Жив?— еще раз переспросил между тем вошедший энергическим голосом.— Это — замечательно и поразительно! Выздоравливай, товарищ Корнилов, поторапливайся, а я сделаю тебя председателем «Красных веревочников». А то на бирже труда очередь безработных, а доходит до дела — нет подходящих советских кадров, хоть убейся! Конечно, твоя кандидатура в настоящее время тоже находится на подозрении, ее надо хорошенько расследовать по случаю твоего участия в дурацкой драке, но я думаю, все расследуется как надо... К тому же ты производство знаешь, сам два сезона в недавнем прошлом вил веревки, и драка твоя тоже не такое уж отрицательное явление, а как бы даже и наоборот, это значит, что ты народа, что ты веревочников стороной не обходишь, что ты завсегда в спайке — вместе с им!

Голос казался Корнилову очень знакомым — энергичный и в двух интонациях — вопросительной и в наставительной с определенным подтекстом: «Что-о? Неужели в моих словах-наставлениях что-то может быть непонятным? Нормальному человеку? Ну, если только

меня слушает человек ненормальный, тогда — другое дело!»

Такой подтекст.

Давно-давно знакомый человек. Настолько знакомый, как будто бы Корнилов вместе с этим человеком пуд соли съел. «Тут вот какое было дело,— догадывался Корнилов,— человека этого ты еще не знаешь, пуд соли с ним еще не съел, но узнаешь его обязательно, причем — в ближайшем будущем.

А когда ты знаешь, что вот этого человека имярек тебе вот-вот придется узнать, узнать обязательно и досконально, ты тем самым уже понимаешь его в тонкостях и во всех интонациях».

И Корнилов изо всех сил приготовился к безотлагательному, к близкому знакомству с человеком, но тот ушел.

Оказывается, он приходил сегодня только затем, чтобы справиться — жив или уже мертв Корнилов, он справился, повернулся и торопливо ушел, Корнилов же снова остался в избе один.

Вспомнил своих папочек — самарского, саратовского.

Фантасмагория!

Не к добру фантасмагория! Если бы она бредовой была и вместе с бредом кончилась бы, так ведь не тут-то было, она, судя по всему, судя по предчувствиям, только-только начиналась?!

Изба, в которой лежал Корнилов, была без хозяев, хозяева на лето выселились на «волю» в небольшой сарайчик. Изба была древней, бревна от времени почернели, в стенах ни единого металлического гвоздя нет, только деревянные штыри, изба эта, было похоже, еще каменным топором рубилась, может, это остановит фантасмагорические явления? Этакая глушь, ветхость и древность? Фантасмагории — они ведь явления какникак, а современные? Даже модные?

Но — напрасные надежды! Черта с два их что-нибудь остановит! Ничто их не остановит!

К тому же не знаешь, что лучше, что хуже: явления фантасмагорические или реальные? Одни других стоят...

Одни других стоят, и на следующий день явились две вполне реальные личности, одна повыше, с рыжеватой бородкой, называла себя, кажется, «УУР» — Упол-

номоченным Уголовного Розыска, попросту — следователем, другая была «УПК» — тоже Уполномоченный, но не Розыска, а Промысловой Кооперации, он утверждал, что «должон крепко поставить на ноги артель «Красный веревочник», но для этого тоже «крепко» требовалось разобраться в финансовых делах, правильнее сказать, в финансовых злоупотреблениях артели.

Он был тем самым человеком, который вчера приходил справиться — жив или уже мертв Корнилов?

Через некоторое время Корнилов уже догадывался, что Уполномоченных потому было двое, что УПК стажировался при УУР, приобретал навыки следственной работы, по-видимому крайне необходимые как при организации новых промысловых артелей, веревочных, пимокатных, сапожных и прочих, так и для оргукрепления уже существующих трудовых промысловых коллективов.

И вот они стали приходить на заимку, в избу Корнилова каждый день часам к восьми, здоровались с ним, справлялись о его здоровье, УУР говорил: «Ну выздоравливайте, выздоравливайте, я пока что подожду, подожду! У нас и другие еще дела — финансовые!», после этого они оба усаживались за стол с тремя нормальными и с одной укороченной ножкой, с дырявой столешницей, раскладывали по этой столешнице содержимое своих парусиновых портфельчиков, но этого им было мало, они вызывали веревочников и спрашивали их — кто, кого, чем и зачем бил в недавней драке, кто был зачинщиком, а также кто и какие платил и какие не платил государственные налоги?

Еще они просили хозяйку принести из сараюшки чайник с кипяточком. Еще лучше — со слабенькой хотя бы заваркой.

Из ответов угрюмых и как бы придурковатых веревочников следовало совершенно одно и то же: драку затеяли Дуська, старикашка Малых и Кузлякин, они же убили друг друга, остальные их разнимали... Следователи, выпив стаканчик кипятку, иногда с заваркой, отправляли веревочников домой с приказом срочно принести квитанции на продажу веревочной продукции разным торговым организациям, налоговые квитанции, патенты на право заниматься промыслом и прочие бумажки-документы...

Они приказывали доставить все это сию минуту, не-

медленно, одна нога там, другая здесь, но веревочники являлись через несколько часов, иногда — на другой день присылали своих баб. Бабы развертывали на дырявой столешнице тряпицы со всеми вообще бумажками, которые имелись у них в избах, письма там были чьи-нибудь, метрические свидетельства, странички из каких-то книг: «Сам заболел брюхом, а я принесла все как есть. Святой крест — ни одной, хотя бы вот столь малой бумажечки в избе не осталось — все как на духу вам доставила!» После этого бабы еще крестились, еще в чем-то клялись и в голос ревели.

А следователи бумажки перебирали, внимательно глядели на них, один сквозь очки, другой просто так.

Корнилов же на своей печке делал вывод: следователи его участию в драке серьезного значения не придают, потому что в его присутствии допрашивают всех остальных.

Между прочим, оба уполномоченных рассказывали друг другу о себе, о своих взглядах на жизнь и на задачи по строительству нового, новейшего человеческого общества.

Уполномоченный Промысловой Кооперации все это излагал быстро, четко, в нем чувствовалось нетерпение, даже обида, тогда как Уполномоченный Уголовного Розыска делал то же самое медленно, с чувством и с внутренними размышлениями... Так они друг с другом знакомились, так, лежа на печи, выздоравливая от ран на голове, знакомился с ними Корнилов.

УПК...

Уполномоченный Промысловой Кооперации...

В нем уже многое, если не все, было ясным и очевидным. Безупречный такой службист, энтузиаст и в своем роде поэт.

Происходил из мужиков отдаленного какого-то глухого и степного района, средний хозяин, лет тридцати, он даже не представлял себе совершенно, что, кроме как мужиком пашущим, сеющим, продающим на базаре зерно, он может быть кем-нибудь еще.

Никем — никогда! — был он убежден до тех пор, покуда его не выбрали сперва кассиром сельской кассы взаимопомощи, потом — ее председателем, а затем уже, в порядке выдвижения отдельных и лояльных середня-

ков на советскую работу, не позвали в районное кредитное товарищество в качестве инспектора...

И тогда пришло это великое открытие: кроме того, что он мужик, крестьянин, он может быть еще кем-то, совсем другим?! Он может быть служащим!

Служба!

Вот необыкновенный жребий, и вот уж не его кто-то там, а он кого-то записывает в синенькую тетрадочку: «Дадено такому-то 12 руб. 50 коп. из кассы взаимной помощи сроком до 1 августа года сего», не его вызывает председатель и секретарь сельского Совета и прежний уполномоченный, а он, мужик вчерашний, вызывает их нынче: «К первому августа мне — отчет! В письменной форме!»

Если же еще постараться? И еще, и еще?!

Оказывается, этот хитрый мир скрывал от него такую возможность — служить! Мир таил-скрывал, а он таки открыл тайну, совершил!

Открытие его потрясло, ну, как если бы он первым во всем свете приплыл в Америку. Он год не спал, думал о службе и о себе, служащем, ему все равно было, что и как делать, лишь бы дело называлось службой, все равно было, какое выходит жалованье, лишь бы каждый день и даже час произносить такие слова, как «делопроизводство», «канцелярия», «дебет», «кредит», «скоросшиватель», они были ему как музыка, эти слова, он ежедневно набирался их, все новых и новых. «На колени надобно становиться перед службой, как в церкви! — говорил он с волнением.— Становились бы — и не было бы вокруг и везде различного безобразия, ни одного грабежа либо воровства и растраты!»

Он шел на выдвижение и теперь был Уполномоченным Окружного союза промысловой кооперации, но и этой службы ему нынче уже не хватало, и он практиковался в деле следственном: «Я их, веревочников, вопервых, до конца расследую! Во-вторых, укреплю сознательность и руководство! Замечательно и поразительно!»

Чувство было бескорыстное, чистое. Корнилов думал: математики так же бескорыстно открывают свои формулы — только ради самого открытия.

Он шел на выдвижение, но истинного счастья от этого все не было, все не было, потому что его до сих пор не принимали на службу в учреждение государственное.

И УПК рассказывал об этом с болью и с горечью:

— Я бы на куда меньший месячный оклад пошел, я бы на самую малую должность в госаппарате согласился, а мне говорят: «Не созрел! Для промысловой кооперации ты уже годный, для госаппарата — еще нет!» А как же это может быть? Неужели за столь-то годов безупречной службы у меня все еще нету собственного чувствования — созрел я или не созрел?! Есть у меня такое чувствование, есть оно в самой глубине моей души!

* * *

УУР...

А этот Уполномоченный во главу угла ставил «общественно-общинное воспитание».

Поскольку ребенок начинает свою жизнь с общения с другими людьми, то и юридические, то есть общественные понятия должны предшествовать понятиям арифметическим и грамматическим,— с них и надо начинать воспитание и обучение детей в школе — утверждал УУР.

Государство и все человечество существует благодаря законодательной договоренности людей между собой, все остальные науки — арифметика, физика, философия,— все возникли и развились только потому, что люди оказались в состоянии создать общество, а общество возникает лишь при наличии законодательства, писаного или устного,— это уже другое дело, но почему-то вторичные науки подмяли под себя первичное — несправедливо! Пагубно!

Надо несправедливость и ошибку исправлять. Пока не поздно. Время не терпит, время приведет к скорой гибели всех людей, если их не перевоспитать, ну, хотя бы в течение ближайших нескольких лет, и как же это сделать?

А вот — предлагал УУР — необходимо завтра же все газеты заполнить воспитательными материалами, всех граждан посадить за парты и учить их новому коммунистическому мировоззрению, во всех школах надо отменить на год-другой все программы, кроме вот этой, новой.

Работать будет некому — но иначе нельзя, иначе общинно-коммунистический идеал разрушится под

влиянием антикоммунистических воззрений, надо использовать момент, надо торопиться, иначе человечество навсегда упустит случай осуществить свободу, равенство и братство, а без свободы, равенства и братства оно тоже погибнет неминуемо и очень скоро. Такое перевоспитание — не только юридический идеал, но и единственно возможный путь спасения человечества, «самоспасения», говорил почему-то Уполномоченный Уголовного Розыска, сокращенно УУР, а УПК его слушал внимательно, быстро все схватывал и дополнял своего наставника: «От это будет здорово! Все начнут служить, все и кажный, и бездельников не будет нисколько — ни много, ни мало!»

«Военный коммунизм пытался осуществить эту задачу быстрого перевоспитания, но он исключил изучение истории, национальный дух и народность, он был слишком космополитичен и непримирим к личности, к личности крестьянина — прежде всего, в то время как именно крестьянство исторично более всякого другого сословия, исторично, а следовательно, и духовно; капитализм вообще развращает человека и общинную его сущность, что же остается? Остается нэп — единственное спасение нации и социализма, и надо торопиться, покуда живо поколение людей, совершивших революцию, устроить и укрепить с их помощью общины — крестьянские, ремесленные, рабочие. Следующее поколение, которое будет знать о революции и ее проблемах только понаслышке, этого сделать уже не сумеет!» — так излагал свои взгляды УУР и поглядывал на печь: не примет ли участия в разговоре, не выскажет ли с печки свою точку зрения Корнилов?

Корнилов долго сдерживался, не вмешивался в беседу Уполномоченных, а потом все-таки спросил:

— А с чего вы начнете, товарищ Уполномоченный Уголовного Розыска? Свое всеобщее перевоспитание? С Маркса? Может, с Декарта?

УУР встрепенулся, вопрос пришелся ему по душе, и он стал, не торопясь, подбирая слова, но с внутренним воодушевлением объяснять, что каждый человек в каждом поколении должен повторить исторический путь развития человечества, когда же мы начинаем воспитание чуть ли не с самых современных, а то и модных понятий, мы тем самым разрушаем логику, психику и самую природу ребенка и юноши. Это — не что иное, как эгоизм каждого поколения, которое готово в своем

собственном, а вовсе не в общечеловеческом духе воспитывать грудных младенцев, возводя себя в абсолют и в эталон. Но ведь подрастающее поколение обязательно разочаровывается в эталоне, и вот человечество делится на отцов и детей, а такое разделение — опять-таки одна из причин его неизбежной гибели, неизбежной, если ее не предотвратить именно так, как предполагает он, Уполномоченный Уголовного Розыска.

— Да-да, надо объяснять людям, что они начали когда-то с первобытного коммунизма и только это начало, а не какое-нибудь другое и позволило им выжить, стать обществом, развить науки, искусства и вообще культуру! Вот и надо обучение и воспитание начинать с законов и правил общежития первобытного коммунизма и подойти к тому, что коммунизм не следует создавать совершенно заново, а надо только восстановить его на новой основе... Как можно спасти стареющий организм?— спрашивал УУР.— Только омолодив его! В конце концов каждое нормально действующее лекарство — это что такое? Это — средство омоложения того или иного органа человеческого организма!

Его было любопытно слушать, Уполномоченного Уголовного Розыска, тем более что он отнесся к третьему собеседнику весьма доброжелательно, стал рассказывать ему о себе:

— Я в четырнадцать лет был наборщиком нелегальной типографии и тогда же принял коммунизм, понял, что это высшее знание, высшая юридическая школа, а главное — высшая история!— говорил УУР и ждал от Корнилова новых вопросов, он, воспитывая и объясняя, действительно любил отвечать на вопросы.

— Ну-у, а если свобода, равенство и братство вообще невозможны? И попытка их достижения тоже гибельна?— спрашивал Корнилов.— Если?

— Даже вполне может быть!— опять не торопясь, но с тем же воодушевлением отвечал УУР.— Вполне! Но если уж человечеству на роду написано погибнуть, да еще и в ближайшее время, тогда надо выбрать причину: от чего погибать-то? И — как? В поиске истины, в стремлении к идеалу — или просто так, оттого, что идеалов нет на свете! Неужели мы даже и на идеал не способны?!

Мальчики-то российские!

Мальчик Петя, который захотел быть богом, маль-

чик Ваня, задумавший написать «Книгу ужасов», мальчик Степа — Уполномоченного Угрозыска, кажется, Степаном звали,— который придумал построить новое общежитие на законах первобытного коммунизма!..

Они, эти мальчики, в начало нынешнего столетия с какими пришли целями? С каким опытом и убеждениями? Критикуя действительность, они куда только не кинулись? В анархизм кинулись, в терроризм, в сепаратизм и в областничество, в толстовство, в сектантство, в народ, из народа, в западничество и в византийство! Откуда, из какой только географии они не являлись ради претворения в жизнь своих великих идей — с Дальнего Востока, из Варшавы, из Якутска, из Кишинева, Бердичева, Владикавказа, Тифлиса, Архангельска, Усть-Сысольска и Сольвычегодска, из Канска и Тайшета, из Гельсингфорса, явившись же, каких только не устроили партий, фракций, восстаний, антиправительственных выступлений и демонстраций, фронтов и банд?

— Что значит — кончить факультет?— рассказывал о себе УУР.— Кончить факультет — значит стать специалистом. А специальность — это не образование, это нечто совсем другое. Я хочу быть медиком, а мне на последнем курсе говорят: «Нет, ты будешь окулистом! Терапевтом будешь! Венерологом!» Я хочу быть юристом, а мне предлагают: «Нет, ты будешь адвокатом! Не хочешь? Тогда — прокурором!» Ну, конечно, при таком взгляде на вещи — откуда взяться образованию? И знаниям — откуда? И жизненной теории — откуда? Нет, подлинное знание должно быть свободно от специальности, оно по-другому должно проявляться — в смысле жизни, а не в смысле техники. Специальность — это надругательство над знанием и наукой.

— Как же оно должно проявляться, настоящее знание?— спрашивал Корнилов.— За чашкой чая?

— Вот именно: посидеть, поговорить, подумать, передумать, а потом жить под впечатлением тех самых дум-передум! Жить всегда нужно под каким-то впечатлением, а не просто и не пусто так! Не по специальности нужно жить, а по жизни!

Знавал Корнилов «вечных» студентов, они время от времени посягали на его квартирку на 5-й линии Васильевского острова — прийти, посидеть, поговорить, подумать, передумать... Именно за чашкой чая по-

лучить зачет в потрепанный свой, многодавний матрикул.

Он же, приват-доцент, «вечных» своим вниманием не жаловал, нет, чаем не угощал, а его самолюбие ничуть не страдало оттого, что о нем молва являлась: «сухарь!» И даже — «формалист», «карьерист», «службист» и прочее и прочее в том же роде.

«Вечные» подходили с другого конца: «Скажите, коллега, что вы включаете в понятие «народ»?»

«Прежде всего — природность включаю!» — отвечал он, но дальше мысль не развивал, развивайте, коллега, как хотите сами!

Но, тут уж и совсем, и совершенно ясно, что «карьерист-формалист», еще и белоподкладочник!

А нынче — поди ж ты! — Корнилову посидеть, поговорить, подумать-передумать, а когда с печки стал сползать, то и хлебнуть чайку из покрытого сажей чайника, — нынче появилась во всем этом явственная потребность.

Или в том было дело, что УУР, бывший вечный студент, тоже — «бывший»?

Или это рискованная какая-то игра предлагалась следователем своему подследственному? И умело предлагалась-то?

— Народ, простые люди, — продолжал между тем свой рассказ УУР, — очень хорошо и точно понимают, когда им объясняешь, что я, мол, учусь, что учиться буду вечно, но ни агрономом, ни доктором, ни адвокатом, одним словом, никем на свете так и не буду — попросту ученым человеком. У нас народ к бродяжкам, странствующим по дорогам, по наукам и по святым местам, относится вежливо, с пониманием. К тому же я на чужой счет никогда не жил, не захребетничал, я по деревням ребятишек грамоте и пению учил, а в городах любил работать по красному дереву — я это могу и умею с великим удовольствием! И вот я два года, год — на каком-нибудь факультете, после год в мастерской. Да! Наш народ энциклопедистов любит от души, а специалистов — по необходимости.

«Семинарист, поди-ка, еще этот УУР. С духовной семинарии начал?» — подумал про себя Корнилов, и только подумал, как УУР сказал:

— Ежели энциклопедист еще и в духовном звании побывал, и по святой части можно с ним потолковать — это уже для народа и совсем хорошо! Очень хорошо!

— И вам бывало совсем хорошо? — спросил Корнилов.

— Как, поди, не бывало! Опять же — в странствиях своих, я ведь их премного совершил. Непосредственно по Руси, по Украине и по Западным губерниям отчасти. Ну, правда, по Западным — не то, там иное проживание, другой народ...

Вот он какой был марксист, этот самый УУР.

Поди-ка, еще и член ВКП(б)?

Действительно, оказался членом...

Действительно, он и нынче при каком-то начальнике Окружного Уголовного Розыска состоял в качестве как бы консультанта, это ему засчитывалось за службу, вот он и приобрел милую его душе возможность — не торопиться, а посидеть, поговорить, подумать.

Другие сотрудники УУР работали день и ночь, у них такой возможности и в помине не было — так полагал Корнилов.

А во время гражданской войны УУР служил в Красной Армии, сначала фельдшером, потом по юридической части и в очень скромных должностях, чаще всего опять-таки при начальниках, которым он объяснял начала юриспруденции, а те уже, на основе этих объяснений или же совершенно сами по себе, выносили решения — такого-то помиловать, такого-то расстрелять.

А допрос-то? Допрос еще впереди, еще не начинался. Он только предстоял.

Неужели так-таки никто из знакомых не знает, что Корнилов — раненый и подследственный — лежит на печи в сумрачной избе? В Верхней Веревочной заимке?

Леночка Феодосьева навестила больного, вот кто.

Принесла в узелочке полдесятка свеженьких огурчиков, бутылочку молока — гостинец.

Но что бы там ни случилось в мире, у женщины свои заботы. Леночка посидела, поболтала о том о сем и небрежно так сказала Корнилову:

— А ведь я нынче невеста, Петр Николаевич, я замуж выхожу... — Вот она зачем пришла: ей нужно было с кем-нибудь поделиться новостью, своей, личной, а в то же время как бы и мирового значения...

«Хорошо... Очень даже правильно... Давно пора», —

подумал Корнилов и сказал Леночке, что поздравляет ее, желает всего наилучшего, но радости что-то не заметил в своем голосе.

— Ну, и кто же? Кто таков?— спросил он.— Какой из себя?

— Он-то?— пожала плечами Леночка и улыбнулась.— Он лопоухий. Я ведь говорила вам, Петр Николаевич, мне лопоухие всю жизнь нравились. Всю жизнь!

Относительно лопоухих Корнилов не припомнил разговоров, а вот насчет «всей жизни» — это так, это Корнилов с первой же встречи отметил — Леночка всегда говорила про свою жизнь «вся жизнь»: всю жизнь она любила ягоду землянику; всю жизнь сама о себе знает, что у нее взбалмошный характер; всю жизнь жить не могла без оперетты и конных бегов (теперь вот живет — и ничего!); всю жизнь она ничего на свете не боялась; всю жизнь... А еще Леночка любила шутить, но только так, что в голосе ее неизменно слышался определенный подтекст и комментарий уже нешуточный: «Хочешь узнать, какая я на самом деле? Сама не знаю! Я шучу, я даже кривляюсь, а от тебя требую — угадай меня настоящую!»

Разумеется, эти шутки, и отчаянность, и лихость в выражении беленького, не то что девичьего, но даже и девчоночьего лица — все возникало исключительно в разговоре с мужчинами, и то — не со всеми, что же касается женщин, так Леночка их попросту не замечала, что они есть на свете, что их нет — ей все равно. На белом свете существовала одна женщина, и это была, конечно, Леночка Феодосьева, вот и все... Может быть, именно отсюда и проистекала ее требовательность: она же одна, она — единственная, какое же право имеет мужчина ею не интересоваться, отвергать, тем более — отвергать ее требования?!

Черт ее знает, она и на заимку-то веревочников к больному Корнилову пришла, может быть, все по той же самой причине и с тем же вопросом: «Я теперь невеста! А ну-ка, угадай, Корнилов, что такое нынешняя Леночка Феодосьева — невеста? Что это может быть? Пошевели-ка мозгами и душой! Не способен! Импотент! А называешься мужчиной!»

А — что? Они не первый год знакомы были, Корнилов и Леночка, они настолько близко были знакомы, что

Корнилов и в самом деле Леночкины требования обязан был понимать.

И — выполнять?

Глаза, может быть, и глазенки, у Леночки то вспыхивают, то блекнут, мордочка сосредоточенная, головка кудрявенькая, что-то банальное, а в то же время она вот возьмет и окажется всем женщинам женщина, и ничего — не придется удивляться. Она как будто выполняет какой-то отчаянный номер на огромной высоте, под самым куполом цирка, под самым сводом, поэтому у нее такое выражение лица — сосредоточенно-улыбчивое... А как же иначе? Улыбаться надо обязательно, она же — артистка, но и без сосредоточенности не обойтись — номер-то не шуточный, отчаянный номер, смелый, небывалый!

Но все равно, если даже номер будет выполнен безупречно, и аплодисменты будут бурные, и восхищение будет всеобщим, и самолюбие артистки будет удовлетворено — все равно печально все кончится... Что — все? А все, вся жизнь. Все, что может с Леночкой произойти.

Двадцать пять годиков, а опыт, опыт! Казалось бы, ну как это может быть, чтобы этакий опыт — и уживался бы с такой фантазией, с такой взбалмошностью?

Уживались.

Чего только не пережила Леночка, чего только не успела — и богатство, и нищенство, и тотализаторы, и революции, эвакуации и мобилизации пережила, была под расстрелом и случаем осталась живой одна-единственная из всей толпы, ну и что? Чем больше опыт, тем больше разжигал он Леночкино любопытство к самой себе, и фантазию, и требовательность к людям, чтобы они открыли ее «настоящую», тоже разжигал.

«А я ведь нынче невеста, я замуж выхожу» — было сказано будто между прочим, а на самом деле? На самом деле революции, мобилизации, аресты, трудповинности — это для Леночки пустяки по сравнению с тем, что она — невеста, все это — не более чем частные и даже не бог весть сколь заметные обстоятельства нынешнего ее замужества, причем замужества-то далеко не первого.

— Вы как будто не верите мне, Петр Николаевич?

— Чему это я не верю? Что ты, что вы замуж выходите? Верю! Не сомневаюсь!

— Не верите, что я всю жизнь любила лопоухих? И напрасно не верите, я всегда по ним с ума сходила!

— Ладно так-то... Ладно, Леночка, покуда тебе двадцать пять. Доживешь до тридцати — тоже приемлемо, тоже ничего. А теперь представь себе, представь себе, что — пятьдесят? Пятьдесят, а кудряшечки, а мысли такие же? Не боитесь?

— Ох, боюсь, ох, боюсь, Петр Николаевич! Это будет такая мерзость — просто ужас!

— Ну, значит, надо как-то переделываться. Пока не поздно?

— Ну зачем же переделываться? Слишком трудное занятие. Гораздо проще, чтобы тебе никогда не было пятидесяти. Опять не верите?

Нет, ничего-то в Леночке не осталось от первозданности! От Евы — ничего. Разве только то, что она — анти-Ева. Анатомические данные — да, просматриваются Евины, физиологические — уже меньше.

Вслух Корнилов сказал:

— Леночка! Не могу себе представить, что ты, что вы происходите от Евы!

— Господи, помилуй меня! Он — не может этого представить! Он! Да я сама-то всю жизнь ни на одну минуту не могла себе этого представить!

— А пытались?

— Точно — не помню. Но, кажется, много-много раз.

— А что же дальше?

— Что с воза упало, то пропало. Навсегда! Мало ли что с моего воза падало, а Ева? Такая давность, такая давность, что и не жаль. Как будто и не я потеряла, а кто-то другой, почти незнакомый!

— Не жаль? Нисколько?

— А вот об этом я не сказала, это вы сами выдумали, что нисколько, а мне приписали. Кстати, а кто такая Ева? Это не та ли самая, которая, имея при себе Адама, очень долго не могла догадаться, что с ним делать? Догадалась бы сразу, и только, и никто не обратил бы на нее и на ее Адама внимания, а то ведь — как? Год, что ли, не помню уже, они там канителились, в райских-то садах, ну и, конечно, каждому стало любопытно, старому и малому, что и как? Чем кончится? Когда?

Как раз во время этого разговора с Леночкой в избу вошли оба уполномоченных — УПК и УУР.

Оба отнеслись к гостье с интересом, УПК, с первого же взгляда распознав в Леночке безработную, сказал:

— Идите, товарищ женщина, к нам в промысловую кооперацию! Нам такие нужны!

— Какие — такие?

— Молодые. Здоровые... И — грамотные. У нас в промысловых артелях учет поставлен плохо, вот бы вас по учетной части пустить, а? Учет — это социализм! По этой части вас — вот было бы замечательно и поразительно!

УУР заметил, что Леночка, наверное, любит музыку, так ему кажется, он сам не знает почему. Еще он сказал Леночке, чтобы она почаще навещала Корнилова, скучно же здесь, бедняге, одному выздоравливать.

— Давайте вместе больному поможем! — сказал он.— Вы будете его навещать, а я... Ну, я что могу? Принесу ему какие-нибудь интересные книги, что-нибудь такое... Принесу вам Бернарда Шоу и Анатоля Франса! Согласны?

Корнилов заинтересовался:

— А поступают они в библиотеки, в город Аул? Имеются?

— Не во всех, но имеются!

Потом оба уполномоченных деликатно ушли, заторопились куда-то, а Леночка вздохнула:

— Ну-ну...

— Как понять? — спросил Корнилов.

— Только название, что мужчины. И чего тут понимать-то — примитивы. Как мужчины — оба примитивы!

— Не скажи, Леночка. Не скажи... По крайней мере, один из них. Он себя еще покажет. Когда будет допрашивать меня, вести следствие.

— Хуже чем примитивы. Эти двое — хуже!

— То есть?

— Полупримитивы.

— Но это же лучше! Это много, много лучше!

— Хуже... Примитив понятен, с ним легко найти что-то общее, так же как и с человеком умным и разнообразным, его можно любить, и даже — очень, а с полупримитивом что можно? Полулюбить, да? Они, эти

«полу», ваши следователи, да? Так я вам не завидую, Петр Николаевич!

— Еще бы мне завидовать — нелепо!

— Нелепо, а бывает! Мало ли что бывает? У меня случай был: я смертнице завидовала. Женщина приговорена была к расстрелу, а я так завидовала, так завидовала — страсть! Ну, правда, потом прошло.

— Это было в прошлом. Не сейчас!

— Конечно, не сейчас! Сейчас я люблю...

— Сказали бы — кого?

— Я его к вам приведу, и вы увидите. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — так? Психологически я вас подготовила, теперь дело за немногим.

— Мне что непонятно в тебе, Леночка,— сказал, раздумывая вслух, Корнилов и, кажется, окончательно переходя с нею на «ты»,— мне очень многое в тебе непонятно, но одно обстоятельство особенно: почему в свое время ты не занялась революцией? Все у тебя для этого есть — и качества характера, и биография. Мало ли хорошеньких девушек, твоих сверстниц, занималось этим делом, модно это было, да и красиво к тому же. Увлекательно! Да-да: ты девушкой была независимой, богатой, но богатством совершенно не дорожила, ты смелая есть и была, любила и понимала толк в рискованных цирковых номерах — ей-богу, тебе бы только в революцию, больше некуда! А ты — нет, ты ею не занималась, отвергла — почему? Ведь где бы ты сейчас была, на каких высотах духа, в каких прекрасных существовала бы убеждениях, каким интересным был бы тебе мир, какие надежды, какие устремления, какие цели — боже мой, представить себе трудно! Вместо того ты хоть и молоденькая, но уже «бывшая», ты — в очереди на бирже труда! Нехорошо! Точно тебе говорю — не-хо-ро-шо!

— А откуда вы знаете, Петр Николаевич, что я революцией никогда не занималась? А может, я ей и сейчас занимаюсь, только в самой себе! Сама себе революционерка! Почему это революции должны быть для всех одинаковы? А если для меня моя собственная главнее всех других — и французских, и русских, и китайских? В настоящее время — какая происходит?

— Революции — дело масс. А ты одна-одинешенька!

— Откуда вам известно, будто я — одна?

— А откуда ты знаешь, Леночка, что у тебя есть

единомышленники? Единомышленницы? Что вас много?

— Нас много! Нас очень много! Только мы не знаем друг друга, мы не выстраиваемся в колонны, не поем гимнов, не ходим под знаменами. Но от этого нас не меньше.

— А цели? У революции и революционеров самые отчетливые цели! Ни у кого на свете нет таких же отчетливых!

— Целей мы не знаем, вот это — точно! Но мы и не очень-то верим, будто их кто-нибудь знает, тем более — раз и навсегда! Поэтому нет никакой беды в том, что ты чувствуешь в себе революцию, а чего ради — не знаешь. Важно ее чувствовать...

Ну, Корнилов, когда задавал вопрос, он приблизительно такого ответа и ждал, а получив этот ответ, сказал:

— Тебе бы, Леночка, человека родить... Мужчину или женщину, одним словом, на себя очень похожее существо,— и капут настал бы твоей революции! Или — сомневаешься?

— Конечно, сомневаюсь! Для меня-то это очень нужно, очень и очень, а для того человека, которого родишь? Нужно ли? Ему-то это — для чего? И к чему? Опять же заниматься революциями в колоннах либо индивидуально, для самих себя? К тому же... К тому же родить каждое живое существо женского пола способно, а воспитать?! Да разве я способна кого-нибудь воспитать, если только и делаю, что сама ищу чьего-нибудь воспитания, ищу-ищу, а найти не могу? Нет, родить только ради собственного удовлетворения, вот, дескать, и я тоже выполнила долг, честно выполнила — нет, не хочу! Не хочу эгоизма! Никогда эгоисткой не была, вы же меня знаете, Петр Николаевич, вы же мне поверите — не была!— и вдруг?! Нет-нет, уж лучше я буду любить лопоухого, а он пусть любит меня, по крайней мере, все ясно, понятно и никакого эгоизма!

— Ну это ведь тоже не бог весть что, это ведь тоже банально, поскольку — не в первый раз!

— Ах, вот вы о-о-о че-о-ом!— всплеснула Леночка руками.— Вот вы куда... в какую вы сторону... вот вы по поводу чего — по поводу самого первого! Вспомнила, вспомнила: я-то была для своего первого мужчины — чем? Даром божьим, вот чем! А мой первый мужчина? Да он скорее удавился бы, чем это понял... Или вот вы,

Петр Николаевич? Припомните-ка свою первую, постарайтесь и припомните! Как ее звали-то? Забыли уже? Ну, а если не забыли имени и даже фамилии — кем она была для вас? Признавайтесь, признавайтесь — дар божий, да?

И она как в воду глядела, Леночка, потому что, лежа на печи, лежа и выздоравливая после ранения в драке, Корнилов что-то уж слишком часто вспоминал свою двухкомнатную квартирку на Васильевском острове... Папочки — самарский и саратовский,— те явились, некоторое время побеседовали с сыночком, потом исчезли, только и всего, но тут другой был случай: кратко, но то и дело возникала в памяти Корнилова его квартирка, а главное, милая Милочка, бестужевка, которая его в той квартирке посещала.

Она обучалась на Бестужевских по словесности, а еще ухитрялась и женские агрономические курсы Стебута посещать, благодаря всем этим наукам была с утра до позднего вечера занята, о свидании договориться — на это уходило полчаса. Пока-то она сообразит и сосчитает — послезавтра после обеда какие и где у нее занятия, какие книги ей надо сдать, а какие взять в библиотеках, на какую публичную лекцию надо сбегать,— пока все это она расположит в хронологическом порядке, в пространстве и во времени — полчаса как раз. Ну ладно, так или иначе, а часам к двенадцати ночи, запыхавшаяся, позвонит она в квартирку на Васильевском, войдет. Книги — в одну сторону, туфли в другую, шапочку в третью — наконец-то! А утром, часов в пять, Корнилов слышит — кто-то ходит, ходит в соседней комнате и что-то такое тихо говорит, говорит...

А это Милочка ходит, это она говорит — учит по-латыни названия разных сортов капусты:

— Brassica oleracea capitala, f alba, rubra, sabanda, gemmifera; brassica oleracea f acephala.

Она в нижней рубашечке ходит и с платочком на голове, чтобы непричесанные волосы вели себя как следует, не рассыпались бы в разные стороны.

Корнилов, как только заглянет в ту, соседнюю комнату, так у него сон долой, а горло перехватывает:

— Милка! Ты что — с ума сошла?!

— Нет, не сошла...

— Нет — сошла: нормальная женщина не может быть такой соблазнительной!

— Не мешай!

Вот они — науки-то!

И не сами по себе они пристали к Милочке, науки, может, и не пристали бы, если бы не печальные обстоятельства Милочкиной судьбы.

...Лет восьми она осталась круглой сиротой от родителей-ссыльных где-то на севере Якутии, и там подобрал ее, несчастную девочку с огромными серыми глазами, наполовину русский, наполовину якут, купец со странной фамилией Наливайко-Першин.

Он девочку определил в Иркутскую гимназию, а потом еще и завещал ей капитал на дальнейшее образование.

И вот было девочке пятнадцать лет, когда она дала клятву: во что бы то ни стало получить высшее образование, потом вернуться в Сибирь, в Якутию, и отдать все знания, всю свою жизнь народу, делу народного просвещения.

Вот она и готовилась к подвижничеству, к исполнению своей клятвы.

Купец Наливайко-Першин дважды наезжал в Петербург, и Милочка знакомила его с Корниловым, оба раза купец был сильно под мухой, толстый, с сиплым бабьим голоском, с узкими глазками, он был бесконечно деятелен и принимал в шикарном номере гостиницы «Астория» каких-то коммерсантов, каких-то чиновников, каких-то земляков и Милочку с ее женихом тоже принимал на краткое время.

— Милка! — сказал он при первой встрече.— Справь-ка жениху тройку аглицкой шерсти: денег дам!

— Милка!— вспомнил он в следующее посещение столицы, года полтора спустя.— Кому тот раз сказано было: купить жениху тройку аглицкого сукна! Может, я спутал че, может, голландского? Одним словом — тройку!

Наливайко-Першину на клятву его воспитанницы было, конечно, наплевать, чего-чего, а клятвы-то он давно привык пропускать мимо ушей, он от своих должников, поди-ка, слышал их по десять раз на день и теперь только удивился, почему это до сих пор не сыграна

свадьба, почему не исполнено его распоряжение, шерстяная тройка по сей день не куплена жениху, но у Милочки-то и в мыслях не было отступать от своей клятвы хотя бы на шаг.

И у Корнилова тоже не было этого в мыслях, они так и разумели — вот она кончит курс и поедет в Якутию, будет там учить детей, а взрослым жителям прививать элементарные агрономические знания, учить их разведению овощей в закрытом грунте, будет всею своей жизнью оправдываться перед человечеством в том, что допустила когда-то недостойный порядочного существования поступок: приняла от Наливайко-Першина грязные, нажитые нечестным образом деньги, получила на эти деньги образование.

У нее была любовь к молодому философу Корнилову, значит, и любовь придется оправдать, потому что если они с философом встретились, если полюбили, так опять-таки только благодаря Наливайко-Першину и его деньгам — без этих денег каким бы образом Милочка оказалась бы в Петербурге?

Долг превыше всего, и вот она должна вернуться в Якутию, а он — тоже должен остаться в Петербурге и создать для народа новую философскую школу.

Ну, он-то, правда, изменил своему «должно», когда, до глубины души рассердившись на Вильгельма Второго, пошел с ним воевать, а Милочка — та нынче, поди-ка, уже старушка, северные края быстро старят людей, особенно — женщин, особенно — женщин красивых, тем более что она на четыре с половиной года старше Корнилова, и сейчас, сию вот минуту, одетая в оленьи меха, в избушке какой-нибудь, может быть, даже и без стекол, а с прозрачной льдинкой, вставленной в крохотный оконный проем, учит, милая старушка, детей: «Обь и Енисей впадают в Карское море, а Лена и Колыма — в море Лаптевых... Повторите, дети, куда впадают Обь и Енисей, а куда — Лена и Колыма?»

А как, бывало, он Милочку обнимал — забыто уже?

А какая у нее являлась ответная нежность, боже мой! Какой становилась она женщиной без всех своих «должно», какие были удивленно счастливые у нее глаза, какое глубокое дыхание! Ну ладно, все это сентиментально, все было слишком давно, но тогда-то, тогда почему он отпустил ее в Якутию?

Проводил до Москвы, там, в Москве, четыре дня они осматривали русские святыни — Кремль, Даниловский и Новодевичий монастыри, а потом он сделал Милочке сюрприз: купил билет первого класса до Иркутска, в то время, когда она предполагала ехать третьим.

Ведь если бы он тогда Милочку не отпустил, сказал бы ей, что без нее он сопьется, погибнет под забором, что кончит, наконец, самоубийством, если бы она осталась с ним в Петербурге, так ведь она не отпустила бы его воевать с Вильгельмом Вторым!

...И вся его жизнь была бы другой, питерской была бы, голодноватой, но профессорской и без фронтов, как-никак, а профессорский состав никто в армию не мобилизовал, ни белые, ни красные. Хотя опять-таки не без сомнений: а если бы Милочка ответила бы: «Ты без меня не можешь? Тогда поехали вместе в Якутию!» Или если бы она согласилась остаться с ним в Питере, а потом и мучилась бы, и мучилась тем, что нарушила клятву, и от этих мучений ни ей, ни ему жизни бы не стало? Ни профессорской, ни другой какой-нибудь?

Милочка, она ведь была упрямой, наивные люди часто бывают упрямцами.

Милая Милочка, она и в зрелом возрасте, конечно, оставалась школьницей, из тех школьниц она была, которые день-деньской пугаются оттого, что что-то там еще не выучено. Какой-то урок, что-то еще не сделано, что сделать обязательно нужно, иначе — умрешь. И не просто так умрешь, а с позором...

Переписывались полтора года.

Потом решили, что письмами они растравляют друг другу души, что мешают исполнению каждым своего долга, и только на фронте, уже в январе семнадцатого года, он получил письмо, она спрашивала — правильно ли она установила его адрес? Будет ли он теперь ей отвечать?

Два вопроса. Больше ничего.

Он ошалел, стал счастливым, глупым и неосторожным, и его тут же подстрелили австрийцы, в мякоть правой руки попала пуля, а он попал в госпиталь, писать не мог, а вышел из госпиталя уже после Февральской революции. Ну какие там могли быть письма с Юго-Западного фронта в Якутию, из Якутии на Юго-Западный фронт после Февральской-то революции? Тем более — после Октябрьской?

Все.

Все кончилось и даже, признаться, забылось. Он думал, что забылось совсем, но оказалось — не совсем.

Вот и Леночка напоминает:

— Так как же, Петр Николаевич? Помните вы свою первую женщину? Помните или нет?

— Это было слишком-слишком давно.

— Какое совпадение: и у меня тоже слишком-слишком! А вам тут, Петр Николаевич, на этой квартирке, в избе этой, раненому и подследственному, видения какие-нибудь не приходили? Какие-нибудь сны и призраки? Ко мне бы здесь они обязательно пришли, честное слово!

Что это она нынче, Леночка, провидицей, что ли, стала?!

— Действительно, мне здесь снятся сны. Мне здесь мои папочки однажды приснились. Мои родные папаши.

— Как это — папаши? Сколько же их было?

— Двое.

— Двое?! Ах да, действительно — видения же! Сны! Призраки! Когда бы один, так о чем бы и разговор, не заслуживало бы внимания, а двое — это интересно. Расскажите, а? Они что — оба одинаковые или как?

— Не помню...— соврал Корнилов.— Дальше — не помню, знаю только, что двое, больше ничего!

— Ах, как жаль! Не всегда, но иногда наступают периоды — меня свои и чужие сны очень интересуют! Обычно — наплевать, но иногда...

— Нынче — как раз такой период?

— Как раз... так что, Петр Николаевич, если уж что-нибудь такое к вам придет, вы, пожалуйста, запомните!

— Про любовь — не придет.

— Не зарекайтесь! От сумы и от любви никто не может зарекаться! Огурчиков не хотите?! Прелесть, только-только с грядки. «Замечательно и поразительно!» — вот они какие!

И Леночка весело засмеялась, попрощалась с Корниловым и ушла... Мордочка девчоночья, беленькие кудряшечки, банальная такая головка, но фигурка — фигурка! Небольшая и на русский, на православный

лад Афродита, да и только, такие формы! И ведь сколько она пережила, но ничего в этой фигурке переживания не искалечили, ничего в ней не стерли... Куда там Еве! Ева была женщиной громоздкой, формами своими владела неумело, не понимала до конца их назначения. Леночка понимала все.

Леночка понимала больше, чем положено понимать в этом смысле обыкновенной женщине. Всегда ведь чувствовалось, что она чем-то необыкновенна, и невольно предполагалось: а вот этим самым, как раз этим своим пониманием! Может быть, и еще кое-чем, не исключено, но этим — обязательно!

Да, Леночка очень тонко, умно и артистично воспринимала то нечто, которое было у нее от Афродиты, непрерывно воспринимала, ничто не могло этому восприятию помешать — ни холод, ни голод, ни революции, ни черная, грязная и тяжелая работа, которую она то там, то здесь выполняла по направлению биржи труда, она не пренебрегала никакой работой, где уж там — кормиться надо было, да и одеться в ее-то годы тоже требовалось. Впрочем, и помимо прокорма у нее было уважительное и даже заинтересованное отношение к любой физической работе, к тяжелой — особенно, и это уважение, вернее всего, опять-таки проистекало от ее тонкого ощущения каждого движения, каждой мышцы в самой себе.

Цирк и оперетта сводили ее когда-то с ума, так это, наверное, снова по причине все той же физической чувствительности.

В то же время у Леночки были свои — причем твердые и непоколебимые — понятия, совершенно, казалось бы, несовместимые с ее характером.

Ну вот, к примеру, Леночка не носила открытые платья и ненавидела их на женщинах, особенно на полных... «Господи боже мой,— искренне удивлялась и сердилась она,— да что эта особа — не видит, что ли, как это ужасно?! В зеркало, что ли, не посмотрелась ни разу, а нацепила декольте и пошла как ни в чем не бывало! На сцене она, что ли?!» — «Ну почему же, Леночка, на сцене и при огромном стечении публики это можно,— спрашивали ее,— а в гостях — нельзя?» — «Неужели не понятно?— удивлялась Леночка.— В театр именно на это идут посмотреть, подивиться, ткнуть пальцем, вот, мол, как это нелепо, как смешно или — как соблазнительно, для того там и стечение публики,

а в гостях? А — на улице? А — дома? Ни в гостях, ни на улице, ни дома — театра же нет? И не должно быть! Нельзя путать местность и самые разные места человеческого присутствия! Ужас, что может произойти при такой-то путанице!»

Леночке в общем-то никогда не составляло большого труда выйти замуж, уйти от мужа или завести любовника, поболтать на темы самые фривольные, но, когда однажды при ней кто-то стал рассказывать, как в городе Ауле, а слышно, и в других городах молодые люди и девушки, комсомольцы, организуют нынче общества «Долой стыд!» и ходят по улицам в чем мать родила, в Ауле ходят по проспекту Социалистическому, в недавнем прошлом — Соборному переулку перед каждым выходным днем после работы, шесть или семь человек обоего пола,— Леночка громко сказала «Ах!», покраснела страшно, до синевы, закрыла лицо руками и дальше уже кое-как выговаривала через ладони: «Ах, не надо, не надо говорить об этом! Это страшно! Я уже слышала об этом, но только не могла поверить! Значит, кто-то может это сделать, а кто-то может на это смотреть?!»

Афродита-Леночка ушла, но сначала разрезала самые гладенькие, самые красивые и аппетитные огурчики вдоль — от темно-зеленого хвостика, из которого торчал другой хвостик, рыженький, остаток давно засохшего огуречного цветочка, до беленького пупка, через который он еще сегодня был скреплен со своим растением, с огуречной плетью...

Обе половинки Леночка посолила. Потерла друг о друга, чтобы соль равномерно распространилась по чуть-чуть зеленоватой мякоти с несколькими рядками маленьких семян-зародышей.

Посоленные половинки она положила на кусок свежего ржаного хлеба, и тут-то появился в избе ни с чем не сравнимый тонкий душистый запах природы, запах, взывающий к жизни.

Вот она как сделала, Леночка, уходя.

А еще она унесла из его существования — прошлого, а может быть, и будущего — всех на свете женщин. Себя унесла, и милую Милочку, и Евгению Владимировну Ковалевскую тоже.

Евгения-то Владимировна?

Вспомнилась как будто случайно, на секунду-другую, но — серьезно.

Она ведь уехала из города Аула, да...

Переслала кое-какие вещички Корнилова в Верхнюю Веревочную заимку, сама же, ни слова не написав, не передав, уехала в неизвестном направлении.

Скрылась!

Это сколько же надо было передумать, перестрадать, сколько пережить отчаяния святой женщине, вечной милосердной сестре, чтобы оставить Корнилова одного, раненого и несчастного, в этой избе?!

И все-таки она и тут поступила именно так, Евгения Владимировна, как должно было ей нынче поступить. Даже и этот ее поступок все равно был милосердным, и только благодаря этому Корнилов вдыхал аромат огурчиков и ржаного хлеба, а думал он о Леночке Феодосьевой: она ведь хотела и еще прийти!

С лопоухим человеком, которого она так серьезно называет «мужем», а все-таки прийти! И уж настолько ли это серьезно для Леночки: «муж»?

Корнилов, не откладывая, стал готовиться к посещению, он решил представить в воображении, как и что будет?

Но тут заскрипела дверь, в избу снова вошел Уполномоченный Уголовного Розыска, теперь он был один, то есть без Уполномоченного Промысловой Кооперации.

Он вынул из портфельчика лист желтоватой бумаги, потянул было носом воздух, наполненный огуречным ароматом, и слегка улыбнулся, но отвлекаться все-таки не стал, сказал строго, с явственным оттенком официальности:

— А теперь присядем. Вот сюда. За стол. Поговорим.

Что-то голодное и жадное было в лице УУР, пряталось и не могло спрятаться в желтой, уютной его бородке.

— Значит, в тот день, когда случилась драка, вы шли наниматься в Верхнюю Веревочную заимку? Вить веревки?

— Шел наниматься. В Верхнюю Веревочную заимку. Вить веревки.

— К кому именно шли? К какому хозяину?

— Кто больше заплатит, к тому и шел.

— Не знали, к кому вы идете?

— Не знал.

— С кого бы вы начали, в чей дом вошли бы сначала? Наверное, к хозяину, у которого вы работали прежде? До того, как получили во владение «Буровую контору»?

— До того, как я получил «Буровую контору», я вил веревки у разных хозяев.

И пошел, и пошел своим особым чередом допрос.

Следовали вопросы: кто, кого, чем стукнул в драке, не помнит ли Корнилов — кто стукнул его? Чем стукнул? Почему-то интересовался УУР — кто и чем? Все вопросы были дежурные, обязательные, не по существу. Не по тому существу, которое, кажется, имел намерение разгадать Уполномоченный. Впрочем, намерения УУР пока что были не ясны.

— Вы работали в артели, нанимались то к одному, то к другому хозяину?

— Работал. Нанимался.

— Вы не могли не видеть, что артели в действительности нет. Артели нет, а есть частные хозяева с наемным трудом, которые обманывают государство, получая налоговые льготы, как кооператоры?

— Никто не возлагал на меня обязанностей Уполномоченного Промысловой Кооперации. Мне нужно было заработать на хлеб. Больше ничего.

— Хлеб — само собой разумеется. А то, что не разумеется само собой?

— То не относится к делу.

— Относится, гражданин Корнилов: я выясняю ваше социальное лицо!

— И это — обязательно?

— Совершенно обязательно! В любом судебном разбирательстве. И не только в судебном.

— В каком же еще?

— В любом... При каких обстоятельствах вы потеряли свою «Буровую контору»?

А вот этот вопрос уже из «тех»,— не имея ни малейшего отношения к драке веревочников, он был из тех — из самых существенных. От него сразу же чем-то повеяло. Чем-то фронтовым, убийственным.

А было-то как? Как произошло в действительности?

Иван Ипполитович Глазунков, буровой мастер и совладелец Корнилова, автор единственной в мире «Книги ужасов», отнял у него «Контору», перевел ее на свое имя — вот как было!

Иван Ипполитович знал, что владелец «Конторы» по уставу ее должен быть лицом технически компетентным, но уже на первой скважине, которая была заложена вблизи деревни Семенихи, Корнилов свою полную некомпетентность обнаружил.

Иван Ипполитович как знал, что Корнилов подпишет с председателем артели «Смычка» Барышниковым договор на бурение другой скважины, причем подпишет с нарушением финансовой законности — без выплаты государству налогов с дохода.

Он все предусмотрел, Иван Ипполитович, чтобы отнять у Корнилова «Контору», все, кроме одного: что он сам сойдет с ума.

Это было так естественно для него — окончательно сойти с ума, но все равно неожиданно, потому что и в сумасшедшем доме, больной, с пятнисто-синим лицом, с расширенными зрачками маленьких глаз, заикающийся, он очень умно, он толково вел дело к полному изъятию у Корнилова «Буровой конторы», чтобы стать единственным ее владельцем. Не только в буровом деле, а во всем, что касалось владения «Конторой», Иван Ипполитович был мастером — человеком проницательного ума и практической хватки.

Он не понимал только, что сумасшедший не мог получить юридические права на это владение, и вот «Контора» стала ничьей, ни Корнилову, ни Ивану Ипполитовичу уже не принадлежала, и, ничью, ее в два счета присвоило государство — государственный Краевой трест по строительству водно-мелиоративных объектов, сокращенно «Краймелиоводстрой».

Корнилов к этому вопросу следователя готовился, предусмотрел его и теперь, опуская, разумеется, некоторые подробности, рассказал, как было дело, а рассказав, спросил:

— Имеет ли ваш вопрос отношение к драке веревочников?

— Не имеет,— кивнул УУР.— Но к вашему социальному лицу — имеет прямое. И я спрашиваю: почему вы не пытались восстановить свои права? При совершенно реальных-то шансах выиграть дело?

— Через суд?— спросил Корнилов.

— Конечно! Нэпманы только и делают, что судятся с государством в судах или заседают в арбитражах, а вы? Вы — образованный, вы — умный, вам грех отступать! Честное слово — великий грех! Неуважение к самому себе и к нэпу! Зачем же новая политика, если ее на каждом шагу можно попирать? Для самого же государства выгодно, в его это интересах, чтобы объявленная им политика, для него истинно необходимая, осуществлялась не только на словах, но и на деле! Неужели не понятно?

— Чтобы бывший белый офицер — и судился с Советской властью? Не-е-ет! Бывший белый офицер остался жив и — спасибо!

— Да что их, нет больше, что ли, бывших белых, среди нэпманов? Их там добрая половина — и ничего, судятся! Нет, я вас не извиняю! Я вас за этакую мягкотелость, за беспринципность такую — осуждаю, да! До конца осуждаю, да!

И что-то строгое и действительно осуждающее появилось на лице УУР. На добродушном, в общем-то, лице с небольшой слегка кудрявой бородкой.

— Ваш отец, Николай Константинович, главный акционер саратовского общества «Волга» — не оставил вам никаких бумаг, никаких завещаний? Как наследнику?

— Никаких.

— Чем вы это объясняете?

— Он был уверен, что меня нет в живых.

— Но вы-то, оставшись в живых, почему не дали знать о себе родному отцу?

— Бывшие белые офицеры не разыскивают родственников. Зачем? Зачем обязывать близких людей к тому, чтобы они писали в анкетах: имею сына, имею брата, имею бывшего мужа — бывшего белого офицера... Ныне проживающего... в городе Ауле. Логично?

— Логично...— согласился УУР.— Это — логично. Но после того, как отец ваш умер, не логично ли было сыну побывать в Саратове? Позаботиться о наследстве? Но вы вместо того снова пошли вить веревки! Вот это — нелогично! Это — предательство!

— И это относится к моему социальному лицу? Тоже?

— К чему же другому?

— Тогда объясняю: я больше не хотел быть нэпманом. Я подумал, что обстоятельства благоприятствуют мне, лишая меня «Буровой конторы»! И вот я больше не нэпман, и это, безусловно, к лучшему!

Но тут уже не только что-то серьезное, но и что-то зловещее появилось в лице УУР, только Корнилова это ничуть не смутило — он был уверен в своей позиции и ему было интересно занимать эту позицию против УУР.

— Представьте себе — человек не желает быть собственником?! Этакое русское нежелание. Кого оно не устраивает? Советскую власть?— спросил Корнилов не без ехидства.

— У каждого желания, а у нежелания тем более, должна быть своя логика.

— Я и говорю: русские интеллигенты-разночинцы ненавидели же собственность? А русские писатели? Лев Толстой? А русские нищие, богомольцы и странники? Революционеры? Народники? Ведь вы же народник? А вся русская история...

— Ну, история-то вас не остановила бы. Кого история когда-нибудь останавливала? Тут другое...

УУР мрачнел и задумывался, задумывался и мрачнел, потом пришел к какому-то выводу, потрепал себя за бородку сперва левой рукой, а потом, отложив в сторону карандаш, и правой тоже, а тогда и высказал свой вывод:

— Вы — уклонист, гражданин Корнилов! Вы — не верите в нэп! Вы — злостный левый уклонист!

Корнилов несказанно удивился:

— Да уклонение-то от чего происходит? От линии партии! А у меня от чего может быть уклонение, у беспартийного? У бывшего белого офицера? Уму непостижимо! От чего?

— Кто ищет, тот находит. При всех обстоятельствах находит!

— Но если бы я искал, так уж, конечно, искал бы не влево, а вправо — частную собственность искал бы! Реставрации капитализма искал бы! Свержения Советской власти искал бы! Всех грехов искал бы, о которых нынче на собрании любой партийной ячейки говорится! В каждой газете пишется! Но в том-то и дело, что я ничего не ищу, не хочу искать. Не хочу! Не могу! На поиск нужно иметь право и убеждение, а я ни того, ни

другого не имею и не признаю за собой! Не хочу признавать!

— Вы — троцкист. Может быть, и меланхоличный, но троцкист, уж это — точно!

— Не может быть!— снова удивился Корнилов.— Нелепица! Захочешь придумать — не придумаешь!

— Ну где вам признаться? Где вам понять, что вы — троцкист, а больше никто другой! Вы сами себе изменяете, и троцкисты тоже сами себе и так, знаете ли, к этому привыкли — ну, как будто по-другому быть не может и не должно быть! Ну вот их программы и заявления возьмите лет за пять — это же сплошные измены самим себе! Они сперва были справа от большевиков вместе с меньшевиками, а нынче они куда как левее! Это они всех более виноваты в несчастиях военного коммунизма, а когда нашлось спасение в лице нэпа — они против! Это они народ хотят уничтожить, тот самый, представьте себе, народ, который и совершал революцию! Они без предательства шагу не могут, предательство истины для них истина, она им как хлеб, как теория и как практика жизни, потому что им все национальное, все историческое и даже все естественное враждебно, им нужна р-революционная масса, а вовсе не народы и не исторический опыт. Они будущее представляют как власть отвлеченных и демонических теорем, выдуманных порочными их умами! Я вам скажу: оттого, что вы троцкист меланхолический и даже добренький, что в вашу теорему входит отрицание нэпа, а в практику — отказ от своих законных, Советской же властью установленных прав на «Буровую контору», от этого вы ничуть не меньше троцкист! Вы и в нэпе тоже ждете предательства — и вот вы отказываетесь от «Буровой»!

— Не понимаю! Допрос? Или — дискуссия?— воскликнул Корнилов. Он был в полной растерянности:— И почему это вы одной веревочкой связываете меня с троцкистами? И при чем тут ваша личная точка зрения на троцкизм?

УУР же раззадорился еще больше:

— А потому я вас связываю, гражданин Корнилов, потому на одну веревочку цепляю, что вы отказываетесь от своей «Буровой конторы», а идете вить веревки к неграмотному, к средневековому веревочнику! И это делаете вы — образованный человек и не растяпа! А, глядя на вас, другие что должны подумать? «И нам тоже надо

отказаться от своей собственности, пока не поздно, от проявления хотя бы какой-либо личной инициативы и деятельности! И нам нельзя верить нэпу, если такой образованный, такой умный человек — Корнилов — и тот ему не верит?!» А тогда — что же? Сейчас какое создалось положение вещей? Сейчас, в настоящее время, Россию вернуть в капитализм никак нельзя — землю ведь помещикам обратно не отдашь? Фабрик фабрикантам не отдашь? Учредительное собрание и то не соберешь, его ведь надо собирать кому-то, а где оно, это кто-то? Нету его, одна есть реальная сила, большевики, а больше — никого! Значит? Значит, остается одно из двух — либо нэп, либо военный коммунизм. И вот вы и подобные вам троцкисты нэп всячески компрометируете, губите на корню, и тогда остается только одно: военный коммунизм. Вы, человек военный, все это точно рассчитали!

— Ну что вы говорите? Ну зачем это мне военный коммунизм? Подумайте сами — зачем?

— Я подумал. Подумал! Он вас погубит, да. Но он и сам себя погубит тоже. Вот вы по-военному и рассчитали: «В свое время мы не смогли погубить коммунизм, ну что ж? Тогда погибнем вместе!» Вот какой у вас злодейский и тайный расчет!

— Вы — фантазер и чудак! Не годится это говорить следователю, но поймите и меня — не могу не сказать: вы — очень странный чудак!

— Чудак-чудак!— подтвердил УУР.— И вот у меня, у чудака, скажу откровенно, к вашему делу бо-о-льшой интерес! Очень серьезный интерес. И я полагаю сделать так: представить такие материалы, чтобы суд закатал вас надолго, изолировал вас, чтобы зловредное ваше влияние, пример вашего поведения, легко можно было объяснить: «Отказался от «Буровой конторы»? Потому и отказался, что преступник!» А дальше вот еще что: почему вы преступник-то, надобно мне все-таки выяснить? Не верю же я, будто вы от «Конторы» просто так отказались, за здорово живешь, из интеллигентских каких-то соображений,— не верю! Простачок какой! Бессребреник какой! Теоретик какой — теорией, видите ли, и ничем другим, он дошел, что «Контору» ему нужно отдать! Не верю: тут и практика есть в этом деле, голову даю на отсечение, есть практика! Есть она! Имеется обстоятельство, оно не позволило вам поехать в Саратов

ни при жизни отца, ни после его смерти, вот вы и послали в Саратов незнакомого человека. Счастье ваше, что человек сошел с ума, что показания его не имеют нынче никакого значения, а в здравом-то уме уже он бы на вас показал, уж пока-а-азал бы! Так вот: когда вы в последний раз были в Саратове?

Корнилов попытался взять себя в руки.

— Я удивлен! — сказал он. — При чем тут ваши личные взгляды, симпатии и антипатии! Ваши взгляды на нэп? На троцкизм? Я требую, чтобы следствие велось не здесь, не в этой избе, где вы позволяете себе все что угодно, а в служебном помещении!

— Когда вы в последний раз были в Саратове?

— ...в служебном помещении, где я смогу заявить протест!

— В последний раз в Саратове вы когда были?

— ...где я потребую, чтобы следователь был заменен!

— Когда вы были в последний раз в Саратове? Вопрос ясен?

Корнилов ответил так: в Саратове он был один раз, гимназистом. Была прогулка с отцом по Волге от Самары до Астрахани. На пароходе. Кажется, на том самом пароходе, который затем был описан Буниным в рассказе «Солнечный удар». Как тот пароход назывался? Кажется, «Святой Николай» или как-то по-другому? Впрочем, следователь, наверное, этого рассказа не знает. Бунин написал его уже в эмиграции. Наверное, не знает?

— Почитываете эмигрантов? Ухитряетесь здесь, в Ауле? Ну и что же? После прогулки с отцом на том пароходе вы никогда больше в Саратове не были?

— Отец переехал в Саратов, когда я был уже студентом в Петербурге.

— Одно другому не мешает... Почему не навестить-то? Родных людей?

УУР встал, подошел к окну, сквозь немытые стекла поглядел на окрестности Верхней Веревочной, на Ту Сторону, на тот солнечный день, который нынче Ту и Эту Стороны обнимал, а когда вернулся к столу, снова сказал:

— Без нэпа снова будет военный коммунизм, да... Страдание будет великое, потери великие! Все народ-

ное, историческое, все окажется ненужным и лишним. Песни не будет, кроме «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка», сказки не будет. Выбора не будет, ежели настанет «военный»! Какой выбор на войне?! Вы же сами об этом знаете!

— Чашки чая с самоваром за вечерней беседой и то не будет!— усмехнулся Корнилов.

— Не будет! Доброго китайского чая — не будет! Нет, вам волю давать в самом деле никак невозможно, вас надо в тюрьму, и надолго. На всю жизнь! Чтобы, не дай бог, не выдумали новых теорий. У интеллигента, у него — как? Ежели для простого человека, для мужика, убийство без суда — это убийство без совести, то интеллигенту дай теорию, и вот он уже террорист и убийца по убеждению, по совести и по собственному геройству... Мало того, что он запросто человека убьет, он и творения истинно человеческие запросто уничтожит, да... Репина там, либо Льва Толстого, либо Дионисия! Повесит вместо Репина Татлина, Татлин-то при военном коммунизме изобразительным искусством в Наркомпросе заведовал! А что с него, с Татлина, взять, ежели у него теория! И новые веяния? Веяния все новые, все новые, а старое и народное ему как проклятие какое-нибудь, не более того?! Оно же под его теорию не подходит?!

— Но ведь вы же сами, вы сами объясняли мне недавно, в дружеской беседе, что народ надо перевоспитывать? И как можно скорее?!

УУР усмехнулся.

Он понял, чего может стоить возмущение подследственного и его требование перенести допрос в служебное помещение, и в неожиданно дружественном тоне подтвердил:

— Ну еще бы не нужно было народ перевоспитывать, ежели он нынче — строитель коммунизма?! Конечно, нужно! Конечно, как можно скорее, пока железо еще горячо, пока революция в нем не остыла. Пока в народе еще не разрушен дух общинности. Пока не упущена возможность повернуть его к коммунизму вместе со всей его историей, начиная с «Повести временных лет» и даже — более ранней... Оторвать его от истории — и все, никакого коммунизма от него уже никогда не добьешься, да потому, что ежели коммунизм не заложен в истории, значит, его вообще нету.

А кончилось-то? Неожиданно случилось, нельзя было этого ожидать...

Корнилов несколько раз ощупывал рану на голове, она легонько, но свербила, зудилась, может быть, оттого, что заживала, но УУР вдруг спросил:

— Болит?

— Побаливает...

— Ну, так мы вот что, мы на сегодняшний день кончим. У меня и другие дела имеются, тоже неотложные, а вы чайку попейте. Отдохните. Приготовьтесь к дальнейшим вопросам, не завтра, так послезавтра мы разговор продолжим, да. А чтобы вам не скучно было, я вам книжечки принес. Три! Две Анатоля Франса, одну — Бернарда Шоу. Борю и Толю принес я вам, судя по всему, они любимые вами интеллигенты. Мыслительные люди, ежели не сказать — заумные! Вот и читайте на здоровье!

— Вы же говорили, вам эти книги еще нужно где-то взять? В какой-то, кажется, библиотеке?

— Это я так. Просто так, позондировать — нужны вам Боря с Толей или нет. Вот получите: это — Толя, а это — Боря... Но только не думайте, что ваше дело вам сойдет с рук, нет — не сойдет! Я вас закатаю, дорогой мой, и хорошо закатаю. Надолго и надежно! Тут уж ничего не поделаешь — нет для меня другого выхода, совесть не позволяет. Конечно, вы можете сегодня же убежать, скрыться, но напрасно: поймаю!

На какое-то время — на день, на два, на три, Корнилов почему-то сбился со счета — он остался один и действительно читал Шоу и Франса и спрашивал себя: а что же это было, что за допрос? Фарс какой-нибудь? Агитация и пропаганда какая-нибудь? Внушение? Вербовка куда-нибудь? Или это все-таки был допрос?

Не знаешь, что и думать...

Не зная, что думать, он думал: ну почему, почему, право, не съездил он в Саратов после смерти тамошнего папочки? Даже и не занимался бы в Саратове наследственными делами, ничем не занимался, а так — повертелся бы у кого-то на глазах, по улицам походил бы, местную газетку почитал бы, и все! Теперь все было бы в порядке! Ведь чувствовал же он в свое время, когда вступал во владение «Конторой», что надо, надо было съездить!

Кроме того, не зная, что думать, Корнилов все больше и больше думал о Леночке Феодосьевой, ее вспоминал.

Он Леночку-то знал давно. Ну как давно?

Приехал в город Аул, поселился у своей спасительницы Евгении Владимировны и тут же где-то вскоре познакомился с Леночкой. Когда именно — нет, не помнит. Вернее всего — на бирже труда, в очереди безработных, до того, как стал вить веревки в Верхней заимке. За прошедшие с тех пор годы Леночка не раз и не два то приближалась к нему, то отдалялась, совсем исчезала...

Так было: вдруг Леночка появляется в каморке на углу Локтевской с площадью Зайчанской, появится, поглядит на Евгению Владимировну и на Корнилова тоже, что-то такое поболтает, задумается, будто спрашивая у себя — туда ли она попала, куда хотела попасть, к тем ли людям?— ответит: нет, не туда и не к тем!— и убежит! Полгода ее нет.

Через полгода прибежит снова — проверить, не ошиблась ли она в тот раз? Может быть, люди-то все-таки — те? Нет, не те!— ответит самой себе через полчасика и убежит снова...

И т. д.

А чего тут было проверять-то, в чем еще и еще раз убеждаться?— удивлялся Корнилов.— Ну разве Евгения Владимировна, святая женщина, могла быть близким человеком для Леночки, своим человеком?! Своим по духу, хотя бы по внешним каким-то признакам, по тому, что составляет женский разговор? Евгения-то Владимировна, она и понятия о таком разговоре не имела, а Леночка за ним и прибегала. Ну, положим, не только за ним, не только к Евгении Владимировне, и к Корнилову, разумеется, тоже, но не могли же они — Леночка и Корнилов — между собой беседовать, дальше и дальше знакомиться, если с Евгенией Владимировной у нее два слова не клеились?

И получалось, что Леночка забегала на улицу Локтевскую, угол с Зайчанской площадью, будто бы для того, чтобы узнать: как там — все еще ничего не изменилось? Ах, ничего! Ну, тогда придется еще с полгодика обождать... Вот так, ни на кого не обижаясь и никого не

обижая, как бы даже и несколько легкомысленно, она ждала и ждала своего часа.

Какой это мог быть час? Корнилов не понимал.

И только когда стал нэпманом — понял.

Он тогда с улицы Локтевской переехал на улицу Льва Толстого, № 17, а Евгения Владимировна переезд не приняла, отвергла новое жилье — и с таким ожесточением, какого Корнилов даже предполагать не мог, для Леночки же улица Льва Толстого, № 17, оказался домом родным, и казалось, будто история этого дома с нею была связана, будто они друг без друга существовать не могли — она и этот дом, только какой-то нелепый случай их на время разлучил.

Маломальский факт из истории дома, любое о нем сведение, очертание любого предмета в этом доме как будто бы давным-давно было известно Леночке, и она говорила:

— Что-о-о? Дом горел в семнадцатом году? А у меня дом в Москве горел в восемнадцатом! Что-о-о? В этом доме жил комиссар? И в моем доме жил комиссар! Что-о-о? Что-о-о? В этом доме был до революции Торговый дом? И в моем доме до революции был Торговый дом!

В конце концов получалось так, что каждое слово, если оно относилось к дому по улице Льва Толстого, № 17, в той же самой мере относилось и к Леночке Феодосьевой. И — наоборот.

...Значит так: в семнадцатом году город Аул сгорел, дом № 17 по улице Льва Толстого сгорел тоже, причем одним из первых.

Происходило дело при Всероссийском Временном правительстве, и хотя было оно Временным, это не помешало ему преобразовать уездный центр Аул в центр губернский, учредить соответствующие учреждения и канцелярии по полной для губернии норме, а как бы даже не выше этой нормы.

Ну, а когда канцелярии возьмутся за устройство самих себя — дело закипит, и уже к концу года многие здания в центре были отремонтированы, дом № 17 по улице Льва Толстого ожил опять-таки одним из первых.

Он был видный, трехэтажный, с мраморными лестницами, с магазином в первом этаже, с квартирами в третьем, он был в Ауле строением известным и по имени своих владельцев — купцов первой гильдии братьев Тетериных — назывался «Тетеринской торговлей».

...В Леночкином доме в Москве, на Таганке, неподалеку от Швивой горки, в те же дореволюционные времена помещалась торговля братьев Ляпиных.

Поскольку дом «Тетеринской торговли» был восстановлен из пепелищ губернскими канцеляриями, канцелярии и заняли значительную часть его, а братья потеснились, волей-неволей уступили половину молодым и энергичным губернским учреждениям. Учреждения эти в ту пору очень гордились своей молодостью и тем, что они, возникнув после революции, не имели за собою «самодержавного прошлого». Может быть, как раз по этой причине Тетерины и стали выходить в народ, то есть центральный магазин у них был теперь поскромнее, а на окраинах, в Сад-городе в первую очередь, они открыли с десяток небольших лавочек.

Но уже в декабре семнадцатого в Аул пришла Советская власть, тетеринские и прочие лавочки ликвидировались, здание же «Тетеринской торговли» незамедлительно заняло едва ли не самое главное губернское советское учреждение — Губпродком — Губернский продовольственный комитет — во главе с комиссаром, старейшим аульским большевиком товарищем Прядихиным, на которого и была возложена задача: конфисковать хлебные запасы Аульской губернии для голодающего Петрограда. А хлеба в губернии было невпроворот, точно никто и не знал, сколько сот миллионов пудов, хлеб скопился здесь за годы мировой войны, потому что железнодорожный транспорт не справлялся с вывозом в Европейскую Россию, а товарищ Прядихин, человек необыкновенной энергии, рассылая продотряды во всех направлениях, во все самые отдаленные поселки и заимки, очень скоро создал такой фонд, который действительно мог бы прокормить Питер, но дело-то как упиралось в железнодорожный транспорт, так и упиралось в него и теперь, тем более что положение стало еще хуже: вагонный парк сократился повсюду, а в Сибири особенно, паровозы не двигались.

И так — странное дело, но и Губпродком, и товарищ Прядихин, и вагонный парк, и паровозы, и революции Февральская и Октябрьская, все-все это опять-таки благодаря дому бывшей «Тетеринской торговли» имело очевидное отношение к Леночке Феодосьевой, и вот она вспоминала, что и в ее доме на Таганке, в Москве, поблизости от Швивой горки, с приходом Советской власти тоже обосновался комитет, только не продовольственный, а топливный, «Топком», и не губернский, а какой-то другой, и комиссар тоже был в бывшем ее доме, только не Прядихин, а Залман...

О своем доме на Таганке Леночка вспоминала исключительно по аналогии со всеми теми перипетиями, которые постигали здание бывшей «Тетеринской торговли», причем вспоминала как бы даже и с некоторым безразличием, дескать, было когда-то, как же, как же, знаю, как это бывает, но ни досады, ни обиды, а лишь некоторое удивление: сходство-то какое, оказывается, может быть между городом Москвой и городом Аулом? Надо же! Кто бы мог подумать?!

Летом, в июне восемнадцатого года, Советы в Ауле были свергнуты белочехами, установилась власть сибирского временного правительства, чтобы не спутать — Омского, спутать легко, поскольку временные сибирские образовались и в Томске, и в Челябинске, и где-то в нескольких местах еще.

Временное Омское обещало вернуть дом «Тетеринской торговли» бывшим владельцам безотлагательно и целиком, но потом передумало и оставило за собой половину первого этажа — под интендантский склад, половину второго для постоянного представителя Омска — опять же для комиссара в кожаной куртке, при автомобиле.

В городе Ауле, за всю историю его существования, это был первый автомобиль. «Торпедо» был черненьким, мотор его стрелял револьверно, сцепление и тормоза скрипели так, словно с них снималась крупная стружка, двигался он изредка, зато пользовался при этом самым пристальным вниманием городского населения, служащих губернских канцелярий — прежде всего.

«Прямо идет!— свидетельствовали канцеляристы,

глядя из окон своих учреждений.— Сейчас свернет на Конюшенный!» — «Уж вы скажете, Кузьма Иванович,— на Конюшенный?! Что ему делать-то на Конюшенном, там не дорога, а одни, будто в Сахаре, пески?! Он, вот увидите, свернет на Соборный!» И так бы долго еще продолжалось, этот интерес, эти неослабные наблюдения, но в ноябре восемнадцатого года временные сибирские правительства — Омское, Томское и проч.— постиг переворот, власть взял в свои руки контр-адмирал Колчак: он объявил себя адмиралом, Верховным правителем России и главнокомандующим всеми вооруженными силами, выступающими на борьбу с Советской властью.

Все эти объявления последовали в один день, а уже на другой день омский комиссар в кожаной куртке вместе с «Торпедо» исчезли из города Аула в неизвестном направлении.

Колчаковское правительство вернуло Тетериным второй этаж, а в первом разместило некое учреждение из ведомства Внутренних дел, о котором было известно, что возглавляется оно бывшим главным брандмейстером Аула, тем самым, который в недавнем прошлом, точнее — полтора года тому назад, сжег родной город почти что дотла.

Братья Тетерины, несмотря на потерю значительной части прекрасного своего дома, нашли с губернскими представителями новой — колчаковской — власти общий язык и незамедлительно вступили в жестокую конкуренцию с кооперативной торговлей. Так и должно было быть: Колчак кооперацию ненавидел, объявил ее «рассадником красной заразы» и прихлопнул бы ее незамедлительно, если бы умел торговать сам. Но сам не умел.

В Москве, далеко от Колчака, Советская власть и не думала возвращать Леночке Феодосьевой хотя бы малую часть ее дома, наоборот, Топком прихватил и соседние с Леночкиным здания, а комиссар Залман, судя по тому, что у входа в дом появился часовой, пошел в гору.

* * *

В декабре девятнадцатого в Аул вернулась Советская власть, сначала пришла Партизанская армия во главе с прославленным командиром Ефремом Мещеря-

ковым, и Аул замер ни жив ни мертв, с минуты на минуту ждал, что начнутся грабежи и насилия, что партизаны сожгут город окончательно, однако у Мещерякова порядки были не те, у него из казарм, из прочих мест своего расположения партизаны выходили только по увольнительным, к тому же через несколько дней пришла регулярная Пятая Красная Армия.

После пережитого страха и волнений даже братья Тетерины, даже управляющие магазинами торговой фирмы «Вторушины и С°» и те встречали Пятую только что не с молебнами, но уже через несколько дней вторушинские магазины частично, а «Тетеринская торговля» целиком были конфискованы, и все три этажа снова занял советский Губпродком, а также сопутствующие ему учреждения, Тетериным же оставлены были под жилье всего несколько комнат (три или четыре) на третьем этаже.

Теперь хлеба в Аульской губернии накопилось еще больше, голод не только в Петрограде, но и во многих других российских городах наступил еще сильнее, но и железнодорожный транспорт находился в таком упадке, которого не было при первой Советской власти полтора года назад: отступая из Сибири на Дальний Восток, Колчак и его министр путей сообщения Ларионов приказывали сжигать и разрушать весь оставшийся подвижной состав, «чтобы задушить Советскую Россию голодом».

Весной следующего, двадцатого года, на суде, который происходил в Омском железнодорожном депо при двухтысячном стечении народа, Ларионов так и сказал: «Мы не смогли победить Советскую власть оружием и тогда решили задушить ее голодом».

Так или иначе, не имея возможности транспортировать хлеб в Европейскую Россию, Аульский губпродком несколько сократил свои штаты, потеснился, освободил часть комнат бывшей «Тетеринской», и туда незамедлительно въехали: Санпросвет — Отдел санитарного просвещения, Комхолера — Комиссия по борьбе с холерой, Детком и ОДД — Комиссия по борьбе с детской беспризорностью и «Общество Друзей детей» — и Союз аульских пролетарских художников «Светоч Революции».

Топком в московском Леночкином доме в конце концов тоже потеснился и отдал часть комнат какому-то

главку — не то «Главспичке», не то «Главсоли», Леночка уж точно не помнила, как раз в эти дни она под конвоем выехала из Москвы.

Настал нэп, и Аульский городской исполком одно за другим выселил из «Тетеринской торговли» советские учреждения, а также Союз художников «Светоч Революции», освободившиеся помещения он за большие деньги стал сдавать в аренду. Нэп — это же сплошная экономия, нэп знает одно — нужен рубль!

Кому сдавать?

Разумеется, нэпманам же, под их новые конторы, третий этаж — под жилье. Братья Тетерины стали крупнейшими арендаторами, заняли половину первого этажа под магазин и на третьем этаже прихватили шесть комнат.

Поговаривали, будто в стене одной из этих комнат имелся тайничок с тетеринским золотишком, иначе из чего бы братья платили аренду? Из чего бы заново и заново начинали дело?

Еще говорили, с доходов от сдачи в аренду здания «Тетеринской торговли» получал трудовое свое жалованье весь аппарат Аульского городского исполкома, включая самого председателя. Похоже, что так и было, в действительности очень и очень экономным оказался сытый советский нэп, не то что голодный военный коммунизм: тот, бывало, зарегистрирует десять маляров как пролетарских художников и тут же принимает их на государственный бюджет; нэп, наоборот,— стоило маляру-художнику вынести картинку на базар, коврик какой-нибудь, разрисованный хотя бы серпом и молотом,— сейчас тут как тут налоговый инспектор: плати, друг мой, процент с дохода!

Или вот брандмейстер, учинивший знаменитый Аульский пожар,— он теперь в бывшей «Тетеринской торговле» швейцар, домком и комендант, он со всех арендаторов собирает плату, копейка в копейку и день в день, попробуй запоздай с оплатой аренды — греха не оберешься, он сейчас и обвинит тебя почти что в вооруженном выступлении против Советской власти.

Был слух, что в бывшем Леночкином доме в Москве тоже обосновались нэпманы с торговлей льном и льняной мануфактурой. Вытеснили Топком и обосновались.

Леночка удивлялась: ей Топком казался вечным, незыблемым, и комиссар Залман тоже.

Ну, а нэпман Корнилов? Он — что?

Да не мог же он, владелец солидного предприятия, которое имело клиентуру не только в Аульском, но и в других соседних округах (теперь город Аул был преобразован из губернского в окружной центр), не мог он устроить свою контору где-то там на Зайчанских улицах, на Прудских переулках или в Нагорной части — он тоже арендовал помещение в «Тетеринской торговле»: служебную комнату с телефоном на втором этаже, две — на третьем под жилье.

И деньги у него для этого не сразу, но нашлись: из одиннадцати буровых комплектов, которые доставил малой скоростью, но в отдельном вагоне из Саратова Иван Ипполитович, один комплект был выгодно продан, затем были заключены договоры на производство работ, а под договоры получены авансы в размере от пятнадцати до двадцати пяти процентов сметной стоимости...

Ну вот, вот тогда-то и произошел у Корнилова разрыв со святой женщиной Евгенией Владимировной.

Боже мой, как противилась она переезду с улицы Локтевской из дома № 137 в дом № 17 по улице Льва Толстого! Она на Льва Толстого ногой не ступила, у нее на этот счет был страх суеверный, никогда в жизни ничего не проклинавшая, она дом этот проклинала, а проводила Корнилова в этот дом словно на кладбище, на тот свет.

В том, что он может принять в свои руки «наследство», то есть «Буровую контору», Корнилов не то чтобы Евгению Владимировну убедил, конечно, нет, он заставил ее смириться, она покорилась этому обстоятельству, но вот что касалось помещений в бывшей «Тетеринской торговле», тут совершенно не было возможности привести ее к покорности, внушить ей какую-то логику. Это был протест святости против собственности.

Евгения Владимировна, наверное, предполагала, что «Буровая контора» ничуть не изменит их образа жизни, что они как жили на улице Локтевской в каморке с бу-

мажной занавесочкой на оконце, так и будут там жить до конца дней своих...

И не в ней одной, в Евгении Владимировне, была причина — это в характере многих русских интеллигентов из одного поколения в другое зрело такое вот отношение к собственности.

Собственников они считали людьми мерзкими, опустившимися на дно безнравственности и бесчеловечности. Интеллигенты такого образа мыслей даже не составляли какую-либо политическую партию, отрицание собственности было для них всем — и политикой, и моралью, и укладом жизни. Между прочим, чаще всего это были выходцы из классов имущих, из семей богатых, и вот они отрекались от родителей, от своего общества, уходили в сельские учителя, в санитары и в акушеры, в мелкие служащие, в земскую статистику чаще всего, или же вступали в толстовские коммуны, «опрощались», искали спасения от дьявола города в деревнях, нанимаясь в батраки за 30 коп. в день, умирали от болезней, простуд и грязи.

Революции эти люди не приняли, и она их тоже не пощадила, но военный коммунизм с его конфискациями частной собственности, с уравнением всех в бедности они приняли с восторгом: наконец-то явились признаки мировой справедливости; насилие и кровь — это нехорошо, это нельзя принять, но такую вот справедливость — можно и должно.

Таким образом, если бы Евгения Владимировна вдруг согласилась вступить в дом № 17 по улице Льва Толстого, она, по ее собственным понятиям, предала бы и Толстого, и самое себя, она всему миру стала бы предательницей.

Она говорила Корнилову:

«Зачем я пойду туда? Мне незачем идти, потому что — увы!— все совершилось, вы, Петр Николаевич, уже покинули меня, и — навсегда. По крайней мере вы в памяти моей останетесь тем, кем были в нашей комнатке на улице Локтевской. Если же я хоть раз ступлю в ваше роскошество, в вашу новую квартиру, тогда и эта память будет разрушена, тогда у меня действительно не останется ничего. Ничего, ничего!»

Так она говорила, Евгения Владимировна, как и в первый день их встречи называя Корнилова на «вы». «Ты» отсутствовало в ее лексиконе всегда, всю жизнь,

и Корнилов еще и еще убеждался в святости этой женщины и в собственном свинстве.

Однако не мог же он стать рабом?! И не все ли равно, рабом чего быть — стяжательства или святости? В конце-то концов, не ради же того он спасался, умирал и возрождался снова, чтобы быть рабом чего-нибудь?

Этот человек со странным именем-отчеством — Петр Васильевич-Николаевич,— конечно, не был чем-то определенным, не был отчетливым характером и страдал от своей неопределенности, но тем более он должен был оставаться человеком хотя бы в той мере, которая была ему все еще доступна.

Он обязательно должен был себя в чем-то проявлять — во владении «Буровой конторой», или в витье веревок, или в своей подследственности, в том хотя бы, что вот уже сколько лет он спасался от гибели, в том, что он всегда хотел жить и никогда — умирать.

И ни черта-то он не боялся в этом стремлении, хотя бы и собственности! Недаром он был философом, недаром родился в семье широко известного адвоката, он был убежден, что и не имея собственности, но занимая общественное положение, можно быть стяжателем и мошенником, добывать если не золото, так легкую жизнь, незаслуженную известность, славу и власть. Деньги — это ведь слишком примитивный и очевидный вид стяжательства, а мало ли еще каким оно может быть и бывает? С развитием цивилизации развивается и стяжательство. Притом даже и революция не отрицает собственности, самой элементарной, не говоря уже о цивилизованной. Хотя бы и пролетарии, заклятые враги собственности, разве они предполагают из поколения в поколение так и оставаться неимущими? Нет, они с помощью революции хотят стать людьми обеспеченными и не думают, будто это сделает их стяжателями. Пролетарии не боятся обеспеченности, а почему Корнилов-то должен ее бояться?

И без всяких с его стороны объяснений, не в пример Евгении Владимировне Ковалевской, его прекрасно понимала Леночка Феодосьева.

Она-то, Леночка Феодосьева, как раз в те дни, когда Корнилов еще и на Локтевской в святой келье бывал,

и на Льва Толстого уже имел квартиру, когда он уже перестал быть рабом, но и свободы еще не обрел, когда в неопределенном этом состоянии он чувствовал себя свиньей,— стала бывать у него на новой квартире.

Должно быть, поняла, что он нуждается в спасении от свинства.

Нет-нет, вовсе не было в ее целях перспективное знакомство с еще не старым, бессемейным и неожиданно разбогатевшим мужчиной, и даже неизвестно было — кто проявил больше презрения к обеспеченной жизни и к богатству — Евгения Владимировна, которая, девочкой покинув родительский кров, никогда такой жизни не имела, или Леночка, направо-налево размотавшая огромное состояние, никогда об этом не пожалев, ни в чем себя не упрекнув?

Ей, бывало, кто-нибудь из «бывших» соболезновал: «Ах, Леночка-Леночка, если бы можно было предвидеть события! Если бы вы сохранили кое-что из своего состояния и во время революции уехали бы в Париж! Или в Прагу! Или в Сан-Франциско! А то надо же — Аул! Аульская биржа труда и черная работа!» Но на это Леночка неизменно отвечала: «Вот еще — стала бы я о Парижах заботиться! В Парижах, что ли, счастье?»

С Леночкой можно было посетить в те нескладные дни ресторан «Савой», недавно открытый опять-таки на Льва Толстого бывшим генералом от кавалерии с соответствующей фамилией — Кобылянский. Леночка была там как дома и поражала Кобылянского знанием русской и французской кухни, она украшала полуподвальный зал «Савоя» с затемненными зеркальными окнами, она Корнилову создавала легкое, приятное и очень уютное настроение, которого он в прошлой своей жизни почти никогда не испытывал; но можно было с Леночкой и никуда не ходить, развернуть на столе газетку, на газетку положить селедку, кусочек колбасы, и вечер опять проходил незаметно-мило и с каким-то неуловимым смыслом жизни. Или вот еще Леночка неукоснительно держалась правила: ей можно было подарить копеечную безделушку — и тут она краснела от удовольствия, голубые ее глазки сверкали, но стоило заикнуться о серьезной покупке, о платье каком-нибудь, о шубке, и она

была оскорблена до глубины души: «Да за кого же вы меня считаете-то в самом деле?!» И это при том, что Леночка когда-то сама раздарила добрую половину своего огромного состояния.

«Мне с вами так интересно, так интересно! Ну вот,— говорила она Корнилову,— будто я совсем еще девчонка, в первый раз познакомилась со взрослым человеком! Да! Представляете себе — будто в первый раз?! А полюбить вас — нет, не смогла бы. Вы о себе что-то не говорите, что-то скрываете. Я завидую человеку, если ему есть чего скрывать,— у меня никогда ничего такого не было, да и скрывать я не умею: разве только от гепеушников, и любить человека с тайной, тайного человека — это не по мне, нет! Вы правильно делаете, что скрываетесь от меня, я не разболтаю, клянусь — нет!— но я, наверное, вас не пойму. У меня нынче самый умный возраст, я год тому назад была глупее, а через год-два, чувствую, поглупею снова, но даже и сейчас, в свои самые умные годы, я, наверное, не смогу вас понять, ну а что же дальше-то будет?! Когда я снова поглупею? Тем более что я ведь не против собственной глупости, кажется, с ней мне будет лучше...»

А вот Евгения Владимировна, умница, та думала, что, если она знает о Корнилове много, значит, знает о нем все!

Кстати: Леночка ни разу не помянула Евгению Владимировну, не спросила Корнилова — какие между ними сохранялись тогда отношения, а какие уже не сохранялись, вообще ни словом не дала понять, презирает она аскетизм и святость Евгении Владимировны или уважает и побаивается их?

Корнилов удивлялся этой последовательности непоследовательной Леночки, этому такту взбалмошной Леночки, этой тайне Леночкиного поведения, которую она так непринужденно умела скрывать, говоря, что скрывать ей совершенно нечего.

То и дело для Леночки переставали существовать принципы, но если она сказала человеку «да» или «нет», человеку, с которым у нее добрые отношения, значит, это непоколебимо, это навсегда.

Леночка была женщиной до мозга костей, а в то же время — совершенно анти-Евой, совсем другие генетические начала. Конечно, уже во времена Евы существо-

вала анти-Ева, только ее вовремя не записали ни в Библию, ни в другие какие-то метрики и скрижали, она осталась неизвестной в истории человечества, но она была — иначе откуда же было взяться Леночке? Не сама же от себя она возникла и произошла? И не из морской пены? Было, было что-то необычное в ее происхождении, нынче уже утерянное человечеством, женщиной — в частности.

Вот она умрет, исчезнет, и это будет тоже навсегда, больше никогда ничего подобного тебе не встретится на Земле — ни этой простенькой мордашечки, ни этой фигурки, затянутой в строгое ситцевое платьице, ни этого порывистого дыхания, которое не сразу и заметишь, заметив же, невольно начнешь прислушиваться, как будто каждый Леночкин вдох и выдох — это тоже «да» или «нет»...

Ну, а в чем-то главном, в мировом каком-то значении вместе с Леночкой навсегда уйдет и ее презрение к своей младшей сестрице — знаменитой, нерешительной и трусливой Еве.

Что Ева была младшей сестрой Леночки, у Корнилова сомнений не возникало — Ева была женщиной подсудной и подорожной, она явилась где-то на распутье времен и дорог. Леночка же шла прямо от язычества, не обремененного поисками веры, подсудностью и сплетнями.

Что и говорить, Леночке гораздо ближе была Афродита.

Конечно, сходство не бог весть какое, это правда, какое сходство, какая копия при Леночкином-то русском и православном курносеньком облике, при той стеснительности, которая не позволяла ей хотя бы чуть-чуть приобнажить свои совершенные формы, а все-таки?

Все-таки Корнилову это было свойственно — искать в женщинах их давнее-давнее происхождение. Ему казалось, они этого все еще заслуживают, все еще дают к этому повод.

Казалось, что тем самым он даже некоторую власть над женщинами приобретал: они-то сами забывают, почти начисто забыли свое происхождение, а он-то все еще не забыл, все еще кое-что помнит, и вспоминает.

У мужчин таких поводов уже нет, утеряны, и никого-то среди них не обнаружишь, ни Зевсов, ни даже Це-

зарей. Разве что разных Петров Васильевичей-Николаевичей? Каких-нибудь узких и разносторонних специалистов?

Вот и не было, и не могло быть у Корнилова власти над мужчинами — вполне естественно, если в них некого разгадывать.

...Если не нынешний, так будущий год будет для Леночки совершенно особенным, особенным испытанием — еще и такая приходила Корнилову мысль, когда он размышлял все по тому же поводу — по поводу Леночки. Вот так: проживет она ближайший год обыкновенно, ну хотя бы так же, как прожила последние несколько лет, значит, будет жить и дальше, ничего ужасного, ничего сверхъестественного с ней уже не случится, и она будет топать по Земле, курносенькая Афродита, маленькими своими ножками, но, не дай бог, выпадет ей какое-то непосильное испытание — и она, так бесконечно много пережившая, погибнет.

Перестанет существовать Леночкой Феодосьевой, будет чем-то другим, а что другое может идти в сравнение с ней?

Кто другой мог спасти Корнилова от святости Евгении Владимировны?

А Леночка навещала и навещала Корнилова уже и в доме № 17, болтала иной раз такие глупости — уму непостижимо! Рассказывала, что аульские нэпманы приглашают ее со вкусом расставить вновь приобретенную мебель и книги на полках, чтобы корешки книг создавали приятное впечатление, рассказывала, смеясь, о неизменном постоянстве нэпманских рассказов: дела в коммерции идут неплохо, а в семейной жизни счастья нет и нет, не подарит ли Леночка этого дефицитного счастья? Не составит ли компанию в очередной поездке в Иркутск? Во Владивосток? В Москву? В Ленинград?

Она рассказывала, что и советские работники не пренебрегают уютом своих квартир, но о совместных поездках — ни-ни, поскольку нет, совершенно нет свободного времени, но ведь тем сильнее необходимость в свободный от служебных обязанностей часок-другой получить хоть немного счастья? Пусть совсем-совсем немного, это не беда, главное — чтобы быстро...

Так болтала Леночка, а потом признавалась:

— Фу, какая глупость, да? вот бы полюбить кого-нибудь, давно уже не любила! И так жаль, так

жаль, Петр Николаевич, что невозможно полюбить вас...

Тут-то она и начинала расспрашивать Корнилова обо всем, что касалось дома бывшей «Тетеринской торговли», вся история дома, каждая из его парадных мраморных лестниц, каждая дверь, каждая дверная ручка ее удивляли: как это дом был восстановлен из пепла в прежнем своем обличье? Вот чудо-то, вот чудо! И снова расспросы: «А в соседней квартире, вы говорили, Петр Николаевич, ванна облицована кафелем с цветочками? Цветочки — не розовенькие?» — «Кажется, розовенькие». — «Вот чудо-то — у меня в Москве тоже были розовенькие по голубому!» В Москве — это значило в бывшем Леночкином доме. Свой дом Леночка ничуть не жалела, не умела вести счет своим потерям, но вот немыслимое это сходство между тем — московским — и этим — аульским — домом ее поражало несказанно: как же это может быть?

Она ведь даже предвидела его заранее — этот дом, еще до переезда в него Корнилова. А теперь в доме бывшей «Тетеринской торговли» Леночка неизменно становилась красивее, и, когда однажды она согласилась зайти к нему на третий этаж уже ночью, после того как они мечтательно как-то и тоже красиво провели несколько часов в ресторане «Савой», Корнилов привлек Леночку к себе. Нельзя уже было ее не привлечь, такую-то мечтательную.

Леночка была уже без кофточки — чудная маленькая Афродита с огрубевшими от черной работы руками. Корнилов погасил свет, остался мерцать огонек тусклой лампочки из смежной комнаты, и тут Леночка вдруг сказала:

— А ведь нам не будет хорошо, Петр Николаевич. Я знаю.

— Чудачка! — ответил он. — Вот уж не ожидал!

Но хорошо им действительно не было, а утром Леночка, обратившись к нему на «ты», сказала:

— Давай простим друг другу? Ты мне, я — тебе? Простим и забудем. Будто бы и не было ничего. Мы-то и в самом деле ни в чем не виноваты, виноват вот этот дом... Все эти окна виноваты и все стены. И братья Тетерины, и комиссары всех правительств, которые тут жили и приказывали. Все уж очень, даже невероятно как-то похоже на тот дом, на другой. Который — на Таганке... Подставь, мой милый, свой лобик. Я его

хочу поцеловать, а больше в том же роде ничего и никогда...

И уже после того, когда Корнилов, лишившись своей «Конторы», перестав быть нэпманом и выехав из «Тетеринской», дом этот все еще внушал ему какую-то растерянность, которая, однако, была нужна, необходима для дальнейшей его жизни. Сначала он не поверил этому, потом убедился: так и есть, нужна!

Вот какая обнаружилась на свете лирика!

А Уполномоченный-то Уголовного Розыска? Он все не появлялся и не появлялся, он, совершенно очевидно, хотел, чтобы Корнилов как можно более продолжительное время общался не с ним лично, а с Борей и Толей.

До чего же они умны и умственны были оба! До чего же, до какого умопомрачения умны! Все-то им было доступно, любая мысль и любой сарказм, но и это еще далеко не все — им была доступна любая мера...

Ведь как им хотелось, как жаждали они целиком отдаться сарказму, осрамить весь мир и тем самым еще выше, значительно выше, чем они уже поднялись, подняться над миром, но у них и тут хватало ума, то есть чувства меры, они откровенному мефистофельству не поддались, сделали вид, будто это им чуждо. Умело-то как сделали, боже мой!

Вот Корнилов и удивлялся этому самообладанию, удивлялся не столько блестящему, изящному, изысканному тексту написанному, сколько ненаписанному. Который вот он — виден и слышен, чувствуется на ощупь, а все-таки не написан!

Нет, наши классики, наши русаки так никогда не умели, те уж если рыдать, так рыдать, а проклинать, так проклинать!

Вот и он, Корнилов, да если бы он обладал этакой-то виртуозностью, этакой независимостью от людей, когда ни один человек не может тебя ни в тюрягу посадить, ни к допросу привлечь, ни куска хлеба лишить, ни прошлое твое тебе припомнить, ни будущее загородить,— уж он-то при всех таких условиях воздал бы миру должное, дал бы ему жару, осрамил и осмеял бы его так, как и не снилось никому по сию пору! Уж он бы расставил точки над всеми без исключения «и»!

И тут он погиб бы запросто, великий писатель Корнилов.

А вот Боря с Толей — не только не погибли, а были людьми, и не только людьми, но и людьми великими...

Где-то, когда-то, а припомнить — опять-таки в двухкомнатной своей квартирке на Пятой линии Васильевского острова, конечно, там, Корнилов читал Бернарда Шоу и Анатоля Франса, студенческие были времена и приват-доцентские. Корнилов и тогда удивлялся их уму, но это значило, прежде всего, что он удивлялся уму человечества — вот чего оно может достигнуть, вот каких высот и благородства, а истинная высота всегда благородна, не так ли? — полагал в те времена Корнилов... Любая высота — сиятельна, любая — перспективна и желательна, на то она и высота?!

И Корнилов читал Шоу и Франса благоговейно страницу за страницей, не загадывая и не опасаясь того, что вот сейчас, сию минуту то ли один из них, то ли оба сразу не выдержат, поддадутся соблазну, чувство меры им изменит...

Теперь ожидание ошибки великих людей заставляло Корнилова изнывать от нетерпения — вот на следующей странице, вот еще через одну и случится!

Не случалось, и Корнилов испытывал разочарование, которое испытал бы, наверное, УУР, если бы, допрашивая Корнилова с пристрастием, выясняя его «социальное лицо», он так ничего и не выяснил бы. Записал бы в протокол допроса, что, дескать, так и так: кто-то из веревочников чем-то тяжелым стукнул по башке гражданина Корнилова, на том бы и кончил...

Простота какая бы наступила! Ясность! И как справедливо это было бы со стороны УУР! Да только кто это вправе, будучи в здравом уме и в твердой памяти, рассчитывать на справедливость?! Корнилов все с большим нетерпением ждал и ждал той страницы и строчки, на которой то ли Боря, то ли Толя поскользнутся, вдарятся носом о землю!

И опять не дождался. И окончательно рассердился, рассердившись, перешел с ними на «ты», стал обращаться к ним фамильярно — «Боря», «Толя», да как бы еще и не фамильярнее.

— Значит, вот какое дело! — обратился он к ним.— Там у вас — у вас! — на берегах Темзы и Сены — пейзаж известно какой: дом выдержанной архитектуры — к другому дому выдержанной архитектуры, один отель — к другому отелю, один офис к другому офису,

и вот вам стиль улицы, стиль города, да как бы и не всех городов.

И парки с подстриженными газонами.

И леди, и m-me с собачками на поводках.

А Темза и Сена в одинаковых гранитных берегах и переполнены всякого рода плавучими средствами и мостами самых разных конструкций и названий, преимущественно исторических.

Одним словом, всюду стиль, всюду он... В том числе и в ваших высокохудожественных произведениях, само собою разумеется. Ну, а теперь представьте себе, что стиля вокруг вас нет?! Никакого, а есть Та и Эта Стороны?! На Этой Стороне — деревянные домишки, но не в улицу, потому что то тут, то там они прерываются желтыми песками, из которых торчат черные, как антрацит, и, кажется, все еще горячие головешки — следы страшного пожара, учиненного, к вашему — к вашему! — сведению, главным брандмейстером города.

Газонов тоже нет, неизвестно жителям, что это такое, так же едва ли известно и что такое собачьи поводки, какой это предмет, какого назначения...

Кобели и суки предаются здесь утехам где придется, гуляя где вздумается, особенно густо — на Базарной площади между торговыми рядами, здесь они поглядывают, где бы чего бы стянуть, сожрать, затем вовремя убежать, оставшись целыми, а если повезет, то и невредимыми.

Если же кобели находятся при доме своего хозяина, так они непременно на цепях, середины здесь нет — либо полная свобода, либо — железная цепь, и когда случится, что черный или пестрый, чаще все-таки черный кобель сорвется вместе с цепью на волю и ударится, поднимая ею пыль и звон, со двора во двор, из переулка в переулок, из квартала в квартал, то всяк живой спасается тогда, как может. Такой пейзаж. Пейзаж Этой Стороны.

Что касается Стороны Той, то я бы сказал вам, Боря и Толя, что пейзажа там нет, а есть только пространство, есть Та Сторона, больше ничего.

Иногда пространство туманно, иногда бескрасочно и даже как будто безвоздушно, иногда покрыто водами, иногда — снегами, иногда сизой зеленью тальников и облепихи.

Это — как придется, в зависимости от времени года, когда вздумается прийти весне и осени, а приходят они сюда по собственному разумению то на месяц раньше срока, то на два позже.

Такой здесь Земной шар, такая Европа в Азии, такая Азия в Европе.

И вот бы, вот бы поглядеть на вас, Боря и Толя, какой бы вы стиль избрали здесь, на границе Той и Этой Стороны? Ведь все на свете писатели, даже такие независимые, как вы, Боря и Толя, обязательно вписываются в окружающий мир, а во что вписались бы вы здесь? В Ту или в Эту Сторону? Какую бы вы придали здесь интонацию своим произведениям? Какое применили бы остроумие? Изящество? Изыск — какой?

Пространства включили бы в свои произведения — какие?

Время какое?

Время здесь, Боря и Толя, тоже беспредельное: социализм двадцатого века с новейшими его учреждениями — и средневековые Веревочные заимки, Верхняя и Нижняя, выбирайте что хотите, отрабатывайте принципы выбора!

Отработали, выбрали? Окончательно? Между тем и другим?

Ну, а после того, как выбрали,— нэпа не хотите ли? То-то... Вот какой кукиш!

Кроме того, Корнилов не удержался, спросил: известно ли Боре и Толе такое имя — Достоевский?

Боря и Толя, разумеется, обиделись. Корнилов, чтобы сгладить неловкость, пустился в рассуждения, что, мол, не где-нибудь, а именно в этих приблизительно краях были написаны «Записки из Мертвого дома» и что, по его мнению, не будь у автора возможности написать «Записки», не написал бы он ни «Преступления и наказания», ни «Бесов», ни многого другого...

Результат превзошел все ожидания: Боря и Толя смутились, даже стали оправдываться: «Ну, конечно, конечно, мы вполне в курсе дела! Мы — согласны!»

— Боря и Толя!— сказал тогда Корнилов.— Не знаю, право, почему, по какой причине я так охотно общаюсь с вами? Или как ваш антипод, как, извините, ваш ненавистник, или же из чувства удивительной близости к вам? Вы, наверное, заметили, что меня ведь тоже хлебом не корми, а дай потешиться, поиграть в какую-нибудь мысль, хотя бы в мыслишку, дай пожить

ею... Других игр, другой жизни у меня, может, и нет... Конечно, вас со вниманием слушает мир, меня — никто, кроме самого себя, но в принципе разве это меняет дело? В прин-ци-пе? Я вот подозреваю, что вы тоже не столько живете, сколько пишете книгу чьей-то жизни, так ведь и я, не будучи писателем, все равно ушел от вас недалеко!

Если по душам, Боря и Толя, если по душам, тогда не много ли вас развелось по белу свету?

Поди-ка, и в Японии уже свои Бори-Толи имеются, энергичная страна, быстро отделывается от средневековья, еще быстрее приобщается к Прогрессу, богатой нынче сделалась, легко, просто и удачно поучаствовала в недавней мировой войне и разбогатела, ей нынче без Борей-Толей никак нельзя! Неприлично!

Северо-Американским Соединенным Штатам нельзя тем более.

Как же: вы — необходимый атрибут Прогресса, а все, что самое себя надлежащим образом уважает, не может существовать без атрибутов... Вот и Прогресс Борю-Толю уважает, а уважая, басом представляет себя широкой публике: «Во какой я умный, какой изысканный! Кто там запаздывает с аплодисментами? Леди и джентльмены! По-хорошему предупреждаю, кто будет запаздывать. По-хорошему...»

Ну, правда, что касается России, Советской России, тут дело обстоит по-другому. Тут все и давно уже по-другому, с тех самых пор, когда Природа пожадничала, занялась строгой экономией пигментирующих веществ и создала бело-, черно-, желто- и краснокожих людей — только. А ведь куда разумнее было бы если уж не полностью воспроизвести весь спектр, так хотя бы не пожалеть еще одной краски — синенькой или оранжевой — да и потратить ее на людей русских... Во многих вопросах истории и современности было бы тогда проще разобраться, яснее обстояло бы дело, а при настоящем положении дел Корнилов не берется судить о том, нужны ли России Бори с Толями? Могут и должны ли они здесь существовать?

Нужны или не нужны, но пожаловаться, рассказать им кое-что о себе Корнилов, само собою, имел право.

Тут недавно, допрашивая Корнилова, Уполномоченный Уголовного Розыска как бы между прочим сказал ему: «Для вас, товарищ Корнилов, истина — призвание

одиночки. Вы, товарищ Корнилов, человек немолодой, а все еще не знаете, что это значит — входить в коллектив!» Вот чудак, вот чудак! Да Корнилов всю жизнь только и делал, что входил в коллективы, в гражданские и в военные, в нэпманские и в артель «Красный веревочник»! Входил в среду людей, так или иначе, но уже договорившихся между собой о каких-то взаимоотношениях между собой, договорившихся давно и без участия Корнилова, а ему с запозданием, но предстояло войти к ним в качестве «своего человека». Он только и знал, что входил, не решаясь даже спросить — а где же, когда же это вхождение закончится? Входы-то есть, их много, мало ли куда он входил за свою-то жизнь, а — выходы?

Конечно, не он первый, не он последний, вот и Христос разве не ту же самую задачу вхождения в коллектив исполнял? Но Христос как-никак, а входил в свое собственное время, а куда совершил свое Пришествие Корнилов? В какое время? Что по дороге его баловства ради, но крепко стукнули по башке — это дела не меняло, все равно — это было Пришествие, может быть, уже Второе, но куда оно совершалось-то?

Прямехонько в средневековье — вот куда.

Вам хорошо, Боря и Толя, вам все ясно: вы средневековье по книжечкам знаете, оно для вас, сколько ни старайтесь, останется историей и научным источником, не более того, а мне оно — натура, а натура — всем источникам — источник, вот в какой переплет я — тоже цивилизованный — попал, дорогие мои Боря и Толя! Вам и не снилось! И не воображалось, где уж там!

Натурфилософ Корнилов представлял себе дело так: ползала по земле личинка какая-то, гусеница, уже освободившаяся от зародышевых оболочек, уже способная запасать в своем организме питательные вещества, необходимые для дальнейшего развития, а когда запасла их в достаточном количестве, очень мудро и не посовременному с ними поступила, не стала их тотчас расходовать и растрачивать, вкладывать их в какое-нибудь сомнительное предприятие, а взяла и окуклилась и там, в куколке, в спокойствии и в одиночестве, не торопясь, просуществовала довольно продолжительное время.

Долго ждали: что дальше-то будет?! Что из куколки вылупится?

Наконец лед тронулся, то есть куколка треснула, из нее выпорхнула бабочка с большими, разноцветными и незрячими глазами на крылышках: «Чирик-чирик!» — или как там еще? Какой-нибудь самый первый звук производится же новорожденным существом? «Чирик — вот и я! Не беспокойтесь, пожалуйста, крестить меня не надо: имя уже имеется, называюсь Цивилизацией! Причем западной, а не какой-нибудь варварской. Запомнили?» Конечно, аплодисменты, овации, банкеты, тосты, дескать, раскрепощение человечества, дескать, конец проклятой предыстории человечества, да здравствует подлинная история; дескать, ждали-ждали, все жданки потеряли; дескать... И никто не спросил: а высидела ли личинка-то свой срок в коконе или нет?

Организм-то современного человека, он, правда, уже не первобытный, конечно, нет, от первобытности, от сырого мяса, от звериной шкуры на голом теле он ушел, но он же еще и не модерновый, не цивилизованный, он все еще тот организм, который там, в коконе, там, в средневековье, созревал и формировался, но неизвестно — до конца ли?

Что же и говорить о привычках и навыках этого организма — они почти что сплошь средневековые, именно там этот организм приобрел привычку есть картошку, курить табак, молиться богу, почитая Христа, стрелять из пушек, плавать по океанам, сочинять органную музыку, писать картины масляными красками, печатать книги в типографиях, рассматривать небеса через астрономические трубы.

Главное же, прикидывал Корнилов, главное в том, что средние века научили человека труду, превратили для него труд в сознательную обязанность, так что человек мог уже по собственному желанию трудиться день и ночь, а кто отлынивал, для того вступало в силу принуждение — изобретено было множество способов привить сознательность и любовь к труду.

Человек возвел труд в господина, а себя признал его рабом, и тут-то развернулось по Земле строительство от края до края, дым коромыслом, и если специальностью рабовладельческого общества были Пирамиды, Акрополи, Колизеи, то средние века без счета стали возводить

города, строить гавани и корабли, за́мки и крепости и пороховые склады.

Все это так, все это, разумеется, прекрасно, но достаточно ли этого прекрасного для новой эры, для цивилизации?

Бабочка порхает, удивляет мир, а больше того — сама удивляется бесчисленным своим красотам, а привычки-то, а навыки-то те же самые, что и у личинки. Летать-то она научилась, а пища — та же, и прочие потребности тоже прежние, средневековые.

Потому, должно быть, так просто Верхняя и Нижняя средневековые Веревочные заимки завтра же примут устав промысловой артели — новейшую, социалистическую форму организации.

Потому, должно быть, и Корнилову, бывшему приват-доценту, философу, не составило особого труда вить веревки, погружаться в те движения, в то состояние организма, которое было свойственно человеку и тысячу лет назад.

Потому, должно быть, и приходила во время витья веревок эта мысль, эта догадка: а не рановато ли вылупилась бабочка? А если бы она и еще три столетия посозревала в коконе, может быть, к чему-нибудь другому созрела бы? Не только к цивилизации как таковой? Другие бы могли ведь появиться варианты?

Неужели — нет? Неужели веревочники тысячи лет таким вот манером вили веревки ради одного только варианта, каким явился век двадцатый?

Ну, конечно, однажды свитую веревку и ту не разовьешь обратно в мягкую, в податливую кудель, но все равно, ах как хочется пережить свое прошлое, если уж не от начала до конца, так хотя бы встречу какую-нибудь пережить снова, прошлую любовь, прошлые какие-нибудь мысли, прошлые решения принять заново, попридержать ту истину в руках, мимо которой пробежал когда-то второпях, не заметив ее!

Истина, она даже задним числом утешительна, вся наука-история на таком утешении построена, все человечество задним числом утешается, других утешений у него нет и будут ли?

В то же время, если бабочкам и еще подождать-повременить, еще попорхать, погордиться собою, еще и жестоко повоевать между собой,— тогда еще труднее будет организовать из них какой-нибудь трудовой коллектив, какую-нибудь осмысленную организацию, по-

скольку окончательно будут утеряны и позабыты средневековые трудовые навыки и упорство.

Уже в средние века с человеком случилось все, что могло случиться,— войны, эпидемии, заблуждения, искусства самые разные к нему тогда пристали, и монархии, и демократии, потому он так живуч сегодня: ко всему привык, все знает, все испытал! И только одного не случилось с ним до сих пор — цивилизация ему внове, и потому к ней-то и не приспособлен его организм, в ней-то и нет у него навыка и опыта — ни биологического, ни юридического, никакого.

Конечно — свобода, конечно — долгожданная, однако учтите: нет и не может быть более несвободных людей, чем добровольцы...

Корнилов по себе знает: когда служил в армии, воевал, только и слышал: «Доброволец? Ну, а тогда — вперед шагом арш! В разведку — арш! В атаку — арш! В полное, в безоговорочное подчинение вышестоящему начальнику — арш!»

И не моги что-нибудь от собственного лица вякнуть, какое-нибудь слово. Не моги не улыбаться — ты же доброволец, а вовсе не рекрут какой-нибудь! Так вот — что хочу сказать я тебе, Боря, и тебе, Толя: вы тоже добровольцы цивилизации! И тем самым вы ее невольники. Вы — при вашем-то первоклассном интеллекте — рабы!

Ваша мысль не позволяет вам с этим утверждением согласиться?

Тогда уточним: мысль или система мышления? Это очень разные вещи, иной раз так и прямо противоположные, так что мысль в системе мышления чувствует себя словно в карцере.

Ну еще бы: мысль всегда, если же она думает о самой себе — тем более, непревзойденна и если уж не гениальна, так только чуть-чуть, самую малость! Для чего угодно у нее с избытком хватает воображения, но только не для того, чтобы представить себе, что она — глупа. О самостоятельности мысли и вопроса нет — упаси бог! Вопрос до глубины души оскорбительный!

И в то время, как система всегда ограничена, потому она и система, отдельная мысль и частность — обязательно безгранична, она ведь единственна, она неповторима, какие могут быть ограничения для единственности?!

А цивилизация? Она только и делает, что ниспровергает системы — государственные, религиозные, нравственные, любые, она только и делает, что возводит на пьедестал Свободу мысли! «Вот так, Боря и Толя, вот так, вот в каком цивилизованном деле у вас действительно огромные и общепризнанные заслуги! Вот в каком деле вы — лидеры и трибуны и имеете множество последователей!»

Среди этого множества был, да как бы и до сих пор пребывает и некто Корнилов П. Н.-В.

Если бы не так, тогда зачем, чего бы ради он, Корнилов, в свое время пошел воевать с кайзером Вильгельмом Вторым?

Ответ: потому что поставил перед собой частный и тем самым неправильный вопрос — кто должен выиграть войну, Россия или Германия?

Надо же было ставить его в другой системе мышления: что такое война, что решает она? Ответа не было бы, потому что война не решает, а порождает проблемы, ответа не было бы, и Корнилов Петр Васильевич не должен был идти на войну. А не пошел бы он воевать и не стал бы Петром Николаевичем. Не стал бы Петром Николаевичем и не...

Ой-ей-ей — мало ли какие еще были бы тогда «не...»!

Или вот: есть ли бог?

Ответ: одно из двух — либо есть, либо нет!

Теологи и атеисты объединялись между собой в этом ответе, те и другие от этого ответа кормились, иной раз очень даже неплохо, во всяком случае, ни тем, ни другим не было необходимости стоять в очередях на бирже труда и вить веревки. Постояли бы, повили бы, глядишь, что-то и прояснилось бы в ответах, а того существеннее — в вопросах. Конечно — существеннее! Не в том даже суть, что человек не знает ответа, это дело наживное, но вот вопроса он не знает, не обладая системой мышления, вот в чем дело! Хотя бы и он, Корнилов,— разве он знает вопросы? Знает, какой из них главный? Знает, какой из них может быть, а какого быть не может? Знает систему, которая определяет вопросы? Есть ли бог или нет бога?

А надо по-другому спрашивать: что есть что?

Ясно, что существует над миром сила, для которой все равны, независимо от образа жизни и мышления, есть она, которую никто отрицать не может, ни одна

мысль. Солнце есть. Природа есть. Вот и обдумывай — что они такое? Думай не думай, а только эта сила и есть бог, а выше — ничего. Оттого, что Природа — часть чего-то большего, дело нисколько не меняется, давайте верить в ту часть божества, которая нам нынче известна, а дальше видно будет.

Вот ведь как в свое время решил натурфилософ Корнилов, решил — да и не раскаялся до сих пор, но вот ни у Толи, ни у Бори он этого божества что-то не заметил.

Куда вы его запропастили? Боря и Толя?

Интересно, как они-то смотрят нынче на Корнилова? Как посматривают? Какими глазами?

Поди-ка: «Веревочник-то! Как его там — Корнилов-то именем? Туда же — мыслит!»

И вот снова пришла она, Леночка Феодосьева... Слава богу, что пришла, положила конец чрезмерно мыслительному состоянию Корнилова.

Слава богу!

Конечно, Леночка Феодосьева женщина не бог весть какого ума, но это вовсе не мешало ей иногда быть ума пронзительного.

Она пришла, поглядела в один, в другой угол избы, на Корнилова: «Вы-то, Петр Николаевич, вы нынче здесь какой? Вы нынче — кто? Нэпман или веревочник? Философ или подследственный гражданин? Больной или здоровый? Бывший или настоящий?» — спросила она безмолвно.

Пришлось Корнилову сориентироваться в самом себе, он подумал секунду-другую, прислушался и взглянул на Леночку так внимательно, как и она глядела на него:

«Я сегодня — веревочник, я — подследственный гражданин, я — настоящий. Все понятно?»

«Понятно...»

После этого начался разговор и Леночка сказала:

— Очень рада видеть вас, Петр Николаевич! Честное слово! А вы — рады видеть меня? Я-то как выгляжу? А? Вы поглядите, поглядите хорошенечко, а?

Ну что тут говорить — и всегда-то моложавая, всегда младше своих и в самом деле еще небольших лет, нынче Леночка выглядела двадцатилетней... Ладно — двадцать два можно было ей дать, больше — никак!

— Никак не больше двадцати двух!— подтвердил Корнилов.

— А — платьице?

И платьице было на Леночке прелесть: голубенькое, а главное, до того по фигурке, что она казалась в нем немножко голенькой... Длинное платьице, с длинными рукавами, и на груди закрытое, а вот надо же — какое впечатление?! При всем том Леночка вовсе не становилась девочкой, несмышленышем каким-нибудь, ничего подобного, она нынче выглядела женщиной достаточно опытной, хоть и по-своему, хоть и набекрень, а все-таки мудрой. Двадцать два года, которые ей можно нынче дать, были ее украшением, шли к ней так же, как шло вот это платьице.

Еще косынка была на ней пестренькая и тоже с голубеньким каким-то узорчиком по пестрому. Леночка прошлась перед Корниловым туда-сюда, приподняла руки к плечам — нагляднее и явственнее от этого становилась вся ее фигурка, вся в целом.

— Идет?

— Что идет?

— Да все, что на мне есть,— идет ко мне?

— Молодость тебе очень идет, Леночка! И долго-долго еще она будет идти!

— Гожусь? Замуж?

— О чем разговор!

Леночка засмеялась, трижды хлопнула в ладоши, дверь в избу распахнулась, и на пороге показался мужчина лет тридцати, без шапки, с курчавыми, густыми и — легко можно было определить — очень жесткими волосами.

— Муж!— сказала Леночка.— Я же, Петр Николаевич, обещала вам в следующий раз привести и показать своего мужа! Смотрите! Знакомьтесь!

Господи боже мой, да ведь это же был Бурый Философ! Конечно, он! Который во время драки веревочников сновал в толпе зрителей и кому придется рассовывал книжечку «Теория новой биологии и марксизм», студенческое издание Петербургского университета, который кричал почему-то: «Долой Декарта!» Которого тогда же, в ту самую минуту, Корнилов и назвал Бурым Философом.

Знакомы они или не знакомы? Вспоминать им свою

первую встречу или сделать вид, что они друг друга не узнали?

Бурый, конечно, был занят тем же вопросом: что и сколько говорила о нем Леночка своему другу Корнилову?

Бурый поглядывал на Леночку с недоумением, может быть, и с упреком, а вот Корнилов понял ее в секунду: ну в самом-то деле, как же могло быть иначе? Леночка влюблена, Леночка платьице справила из своих заработков. Леночка помолодела и похорошела, а где же публика? Где бенефис? В давние-то времена, на заре туманной юности, в шестнадцать — семнадцать лет и несколько позже, Леночка не только свои замужества, но и очередные «интересные» знакомства как, поди-ка, отмечала?! Цирковое представление — прежде всего, ну, а потом рестораны, тройки серых в яблоках, цыгане были, оперетта была. Конечно, времена изменились, так ведь и событие случилось необыкновенное! Да если это событие ничем не будет отмечено, его ведь как будто и вовсе нет?

Корнилов в момент понял, что он — публика, и он же — действующее лицо бенефиса. Пожалел Бурого Философа: Бурый тоже ведь действующее лицо того же бенефиса, а не знает этого! Он думает — он жених или молодожен, и все тут, вся в этом роль... Недогадлив, нет. Дорого может обойтись ему эта недогадливость! Корнилов вздохнул: «Ничем не могу помочь, уважаемый товарищ, догадывайся сам!»

— Молодость очень к тебе, Леночка, идет! — подтвердил Корнилов.— Как влитая на тебе сидит! Это не только я тебе говорю, это тысячи людей тебе сказали бы! Не смогли бы не сказать!

— То-то...— засмеялась Леночка, бросилась к Корнилову и обняла его.— А иначе чем бы я своего башибузука взяла? Крепость-то была — у-у-у! Верден! И вот еще что: моего мужа зовут Боренькой! Так и зовите его, Петр Николаевич, прошу вас,— Бо-рень-ка... А ты, Боренька, башибузук, ты зови Петра Николаевича Петром Николаевичем — он постарше нас, а главное — поумнее, поэтому так и зови. Мне будет приятно. Ну? Что ты молчишь? Согласен?

— Согласен,— кивнул Бурый Философ.— Я — согласен.

— А может быть, все это,— Леночка сделала широкий жест,— может быть, все это не в твоих убеждениях,

Боренька? Так ты не думай, я твои убеждения не собираюсь кому-то объяснять, я люблю тебя вместе с твоими убеждениями, вместе с твоим отрицанием любви и вообще всяких чувств, а этот разговор — он первый и последний, потому что я больше никому не буду тебя показывать! И тебя и себя! Я тебе как обещала, Боренька? Мы, Петр Николаевич, с Боренькой договорились, я сказала ему: «Один человек, один на всем свете, но должен увидеть нас в нашем счастье! Увидеть такими вот необыкновенными и такими глупыми!» Посмотрите, Петр Николаевич, на нас, таких разных, ужас каких разных! Удивитесь: «Да это же — невозможно!» А вот я вам отвечу: возможно, возможно, возможно! А вы после этого согласитесь со мной: «Верно ведь — возможно!» Вы очень разнообразный человек, Петр Николаевич, мне всегда казалось, что в вас не один, а два и даже три человека, это меня всегда смущало, но сейчас не смущает нисколько, даже наоборот, и вот я жду от вас — от двух, от трех, от всех Корниловых — поздравлений! Впрочем, нет, не надо, мало ли я на своем веку самых различных поздравлений наслушалась — никакого толка, одна бессмыслица, никакого даже крохотного значения, лучше вы удивитесь! Я люблю, мне ужасно нравится, когда я вызываю чье-нибудь удивление, все женщины это любят и обожают, а я-то хуже всех, что ли? Да нисколько не хуже! Нисколечко! Ну вот, а я вам верю. Я поверила, что вы удивились, на этот раз верю, и это — прекрасно! И знаете, что я вам еще скажу? Догадываетесь?! Не старайтесь, ни за что не догадаетесь, но я открою вам тайну: Боренька-то, он тоже любит, чтобы ему удивлялись! Тоже! Вот вам и сходство между нами, да еще какое! Не вздумай отпираться, Боренька, обижать молодую жену! Молодая жена должна ведь знать какой-нибудь семейный секрет? Без секретов — какая же семейная жизнь? И должна же она хоть немножечко проболтаться, выболтать тот самый секретик?! И ты должен немножечко, самую малость, молодую жену за ее болтливость пожурить. Ты умеешь это — самую малость? Или — не умеешь? Вот этого я, молодая жена, все же не знаю о своем муже?! Честное слово — не знаю!

— Ты бы отдохнула, Леночка!— сказал Корнилов, потому что та на мгновение замолчала, а он подумал: «Что происходит? Что происходит с Леночкой? Может,

она сейчас разрыдается?» — Ты бы отдохнула, Леночка! Присела бы. Право, я что-то не припомню, чтобы ты когда-нибудь была такой же возбужденной! — повторил Корнилов.

— Вы, Петр Николаевич, много чего не припомните, дорогой! Мно-ого чего! — ответила Леночка, однако же присела на табуретку и стала всматриваться в темные, потрескавшиеся стены избы — они-то поняли ее? Стены-то?

А беленькие, приспущенные на виски кудряшки — неужели они были чем-то смазаны? Чтобы лучше лежали?

А что? С Леночки и этого хватит, она могла.

Голубенькие, не голубые, а именно голубенькие глазки — действительно счастливы?

А — что? С Леночки хватит!

Корнилов пожалел, что прервал Леночку, заставил ее присесть, отдохнуть, замолчать, и вот случилась длинная-длинная пауза. Корнилов был растерян.

Бореньке растерянность, по-видимому, не была свойственна, но и у него в голове, тяжело и глухо, ворочались какие-то не то мысли, не то — подобия мыслей. Какие — сказать нельзя, но что тяжело и глухо — это точно, это было слышно, ну, а Леночка-то? Неужели она и в самом деле была счастлива?

Честное слово — была!

Счастлива возникшей перед нею неизвестностью, вот чем! Она уже давно была уверена в том, что ей известно все, что она все пережила и ничего нового для нее в этом мире уже быть не может, а тут вдруг...

Леночка не заставила себя долго ждать, она подтвердила догадку:

— Ах, как я люблю удивление — хлебом не корми, а почему? Да ведь все не удивительное стало уже настолько ничем, настолько никаким, что к нему и прикасаться-то — бр-р-р! — неприятно! Как к медузе, и даже еще неприятнее, еще противнее! А — невозможное? Удивительное?! Оно только и осталось на свете живым, остальное все околело! Оно только и осталось в любви, больше ничего в нем нет любовного! И женщина, если она все еще женщина, она так и поступает — невозможно поступает, ничего другого ей не остается. Женщины это сознают, только они это сознание скрывают, а я — нет! Зачем? Грех и мерзко это скрывать!

Тут Леночка снова вскочила с табуретки, пробежалась взад-вперед по избе, потом как вкопанная остановилась против своего Философа:

— Боренька?! Ну, скажи, Боренька, я ведь истинно говорю, да? Ну, скажи, милый?!

— Истинно...— подтвердил Бурый Философ и просветлел в этот миг лицом, а Леночка эту перемену тотчас заметила, еще воссияла и обняла Бурого:

— Смотрите, смотрите, Петр Николаевич, какой Боренька красивый?! Очень красивый! А — почему? Ответьте, Петр Николаевич, почему?? Опять молчите, опять не знаете? Опять надо вам объяснять? Он потому красивый, потому что — смелый! Потому что он видит, что и я тоже смелая, потому что — мы оба смелые, да! Ах, Петр Николаевич, Петр Николаевич, сколько закаленных в войнах и расстрелах мужчин отказались бы от меня, от того, чтобы жениться на мне, на такой взбалмошной, на такой «бывшей», на такой все на свете испытавшей, а все еще чего-то без конца требующей? Сколько? У-у-у — множество, вот сколько! Провести со мной некоторое время и чтобы получить при этом как можно больше удовольствий — это пожалуйста, это — даже сколько угодно таких охотников, тем более что и ручки, и ножки, и все прочее у этой глупенькой бабенки до сих пор в полном порядке, да? Да так оно и есть, никак иначе! А вот Боренька — он смелый, вот он меня и не испугался, нисколько! А — я?! Я-то не смелая, что ли? Да сколько бы женщин отказалось от Бореньки, если он отрицает чувства?! Вот так: вот я ему сейчас, сию минуту, говорю слова, а он если что-то и чувствует, так гонит это чувство прочь, потому что все чувствительное для него — это как дьявол какой-нибудь, глупость, ничтожество какое-нибудь! Впрочем... Боренька?! Объясни! Объясни Петру Николаевичу сам о себе! Ты это сделаешь гораздо лучше и умнее, чем я!

— Что? Объяснить?— снова помрачнел Боренька, потом медленно провел рукой по курчавой своей щетине на голове и сказал:— Вся трудность в том, что само собою разумеющиеся вещи, что истинную истину невозможно объяснить. Она требует нескольких слов, а человек, а люди только тогда воспринимают слова, когда их много, когда они без конца повторяются, когда из тысячи слов нужно выбрать два слова истинных... Но выбрать эти два они тоже не могут и без тысячи ненужных

и мусорных слов — тоже не могут, отсюда получается заколдованный круг. Вот так. Этот круг эксплуататорские классы заполнили черт знает какими заблуждениями и предрассудками! Черт знает какими! До сих пор было так: чем умнее, и способнее, и образованнее человек, тем больше он выдумывал предрассудков.

— Вот так, вот так!— всплеснула руками Леночка, а Корнилов сказал Бурому Философу:

— Эммануил Енчмен. «Теория новой биологии»! Если не ошибаюсь?

— Да! — подтвердил Философ.— Да — великий мыслитель всех времен и народов Эммануил Енчмен! Вся философия человечества во все времена только и делала, что загромождала сознание человечества всяким дерьмом, а Эммануилу Енчмену предназначено историей расчистить авгиевы конюшни! Более благородной роли ни у одного на свете человека еще не было!

Ну вот, теперь, кроме всего прочего, они оба — Бурый Философ и Корнилов — подтвердили друг перед другом, что они знакомы, что Корнилов книжечку Енчмена от Бурого получил и даже прочитал ее, что...

Дальше Корнилов додумать не успел — Леночка снова бросилась к Бореньке, у нее было такое движение, словно она вот-вот опустится перед ним на колени, и она сказала с мольбой:

— Боренька! Умоляю тебя — скажи!

— Что? Сказать?

— Ну вот те самые главные, самые истинные два слова?— скажи?! Которые — истинные? Которые — без мусора! В которых нет ничего на свете лишнего и даже — не может быть! Скажи?!

— А-а-а...— наконец понял Боренька.— Не два, а три. Три слова.

— Три! Это еще лучше! Скажи?

— Ты... моя... жена...

Леночка вытаращила глазенки, потом закрыла их, вздохнула и так, с закрытыми глазами, засмеялась. Низким каким-то голосом засмеялась, не своим — свой у нее был звонкий, почти детский, но тут она стала похожей на женщину зрелую, может быть, уже перезревшую, начавшую стареть, а Бурый Философ, когда она провела руками по его лицу, по щетинистым кудрям, был в этих руках словно ребенок. Леночка сказала:

— Так... Так ты сказал, Боренька. Правильно сказал.

— Конечно, правильно...— Боренька пожал плечами. Еще он сказал Леночке:— Я ему Енчмена дал. Он, я вижу, Енчмена прочитал...

«Он» — это был Корнилов.

— Боренька?!— удивилась Леночка.— Ты, оказывается, Петра Николаевича знаешь? Вы, оказывается, уже встречались?

— Мы — встречались,— подтвердил Бурый Философ.— Один раз. Так вы прочитали труд Енчмена, товарищ Корнилов? Почему-то мне кажется, что вы ничего в этом труде не поняли?

— Почему же вам это кажется?— заинтересовался Корнилов.

— У вас воспитание не то. У вас очень вредное воспитание. Кроме того, до меня дошли слухи, что вы и сами в недавнем прошлом философ. То есть мусорщик, отрицательный элемент. Так прочитали вы Енчмена или нет? Проштудировали?

— Не успел.

— Свободного времени не было? Ни минуты?

— Болел. Вы видели, что я в тот раз, когда вы дали мне эту брошюрку, был тяжело ранен.

— Жаль, жаль... Действительно, только я вам дал книгу, только вы успели посмотреть заголовок, как вас ударили. И сильно ударили, книга выпала у вас из рук на землю. Я хотел ее подобрать, отдать кому-нибудь другому, но тут подобрали вас и унесли вместе с книгой. Жаль-жаль — сами не читали как следует и другого какого-нибудь внимательного и благодарного читателя лишили возможности. У меня очень немного свободных экземпляров этого труда.

— Боренька!— снова вступила в разговор Леночка.— Боренька, ты был в той страшной драке веревочников, да? Почему же ты ничего не сказал мне об этом? Ты видел, как ударили Петра Николаевича? Ты знаешь, кто это сделал? А следователь, наверное, спрашивает у Петра Николаевича — кто?— а Петр Николаевич не знает... Ведь вас об этом спрашивают, Петр Николаевич? Мне кажется, и следствия-то без такого вопроса не может быть, да?

— Я этого не видел,— сказал Боренька.— Я этого не знаю.

— Вполне может быть, что Боренька этого не ви-

дел...— подтвердил Корнилов.— Вполне. Он в это время кричал: «Долой Декарта́!» А почему именно Декарта? Почему именно его — не пойму? А? Или, может быть, я тогда ослышался?

Леночка посмотрела на Бореньку — и это было уже выражением ее тревоги, а на Корнилова она посмотрела с опасением. «Петр Николаевич!— как бы сказала она.— Пожалуйста, Петр Николаевич, не сделайте чего-нибудь такого. Чего-нибудь нехорошего!», но что Леночка понимала под «нехорошим», Корнилов точно не знал.

Бурый же Философ сказал:

— Почему «Долой Декарта!»? Это вам, наверное, послышалось. А, впрочем, не все ли равно — кого «долой»?! Декарта или Канта. «Долой!» — вот что главное! Долой многовековой бред, называемый классической философией! Так же, как наши трудящиеся в несколько месяцев избавились от эксплуататоров — от капиталистов и помещиков, так же они должны навсегда избавиться от галиматьи, которую веками эксплуататоры вдалбливали им в головы! Если этого не будет — и революция, и гражданская война, и вся борьба трудящихся с поработителями потеряет смысл! Конечно, потеряет! Если оставить в головах людей старое сознание, из него обязательно снова вырастет эксплуататор. Ну, может быть, он и не в точности повторится в капиталисте и в помещике, он, скорее всего, найдет другой какой-нибудь внешний облик, но по существу он все равно будет не кто иной, как эксплуататор. Так говорит великий человек, ученый и революционер Эммануил Енчмен...— Бурый Философ запустил обе руки в жесткую свою шевелюру, сощурил глаза:— «Мировоззрение — это эксплуататорская выдумка; с наступлением эпохи пролетарской диктатуры мы против мировоззрения. Мы за пролетарскую и грядущую коммунистическую единую систему органических движений!» И дальше: «Неизбежна гибель эксплуататорских высших и вечных ценностей, таких, как разум, познание, логика и идеология вообще!» Все это, все эти слова о высших и вечных, познаниях и разумах,— все их Енчмен берет в кавычки... Можете меня проверить, товарищ Корнилов,— посмотрите страницу восемьдесят вторую, заключительную в «Теории новой биологии». Кстати, я не вижу у вас этой книги, где она? Не потеряли?

— На печке...— сказал Корнилов.

— На печке? Там ей место?

— Я там ее читал... Выздоравливал и читал лежа. Лежать больше негде, только на печке.

— Нет-нет — эту книгу у вас надо сию минуту забрать!

— Привстаньте на приступку, она там и лежит в головах.

— В головах! Это где же на печке голова, а где у нее ноги?— спросил Бурый Философ, однако на приступку привстал, пошарил рукой и книжечку Енчмена обнаружил.— Прекрасно! Книга цела и невредима! Слава богу!

— Бог-то при чем?— спросил Корнилов с удивлением.

— Бог действительно ни при чем!— согласился Бурый Философ.— Бог ни при чем никогда и ни в чем, а я извиняюсь!

— Вы знали Енчмена лично?

— Не только знал — я был в той группе студентов рабочего факультета, которые набирали его книгу в типографии.

— Вы учились в университете? В Петербургском?

— На рабочем факультете.

Боренька-то, Бурый-то Философ — он тоже ходил, оказывается, по тем же университетским коридорам, что и Корнилов... В тех же стенах учился. Как же они его выдержали — те стены, те коридоры? Впрочем — подумал Корнилов — что там стены? Вот и женщины Бурого Философа любят, Леночка любит... Кто-кто, а Леночка-то понимает толк в любви!

Видно было, Леночка догадалась, что вот сейчас, сию секунду, Корнилов думает о ней, и думает не так, как ей хотелось бы, не так, как ей предполагалось, когда она замышляла нынешнюю встречу. Она-то, конечно, думала — это будет легко, приятно, а в меру и опереточно.

Оперетта выходила не та, которую она задумала...

Чтобы хотя бы отчасти сменить музыку, Корнилов улыбнулся Бурому Философу:

— Все-таки неловко называть вас так, как мне велела Леночка. Будьте добры — ваше отчество?

— А как же она велела вам называть меня?

— Только что велела называть вас Боренькой...

— А-а-а, а я и забыл, что только что. Я — Яковлевич.

— Давно ли вы, Борис Яковлевич, в городе Ауле проживаете?— как бы даже и официально спросил Корнилов, сам этой официальности удивившись.

Борис же Яковлевич долго думал, прежде чем ответил:

— Полгода.

— Полгода?

— Да, полгода...

— Значит, полгода... Где же вы работаете?

— Да вот... работаю. Так...

— Это — хорошо.

— Ничего. Устроился.

Леночка вздохнула, потеребила локон на правом виске, вздохнула.

— Да ты рассказывай, рассказывай, Боренька! Петру Николаевичу все можно рассказать, можно и нужно. Что же ты, право? А вы спрашивайте, Петр Николаевич. Спрашивайте! Спрашивайте Бореньку!

— О чем?

— Да в том-то и дело — о чем хотите! Значит, Боренька живет в Ауле полгода. Каким образом и откуда Боренька в Аул попал, вы хотите спросить, Петр Николаевич?

— Хочет — пускай спрашивает,— кивнул Борис Яковлевич.— Я не против.

— Ну, конечно, хочет! Должны же вы, в конце концов, познакомиться! Как следует познакомиться. Ну?!— торопила Леночка.

— Ну вот и рассказывай, Елена. Ты лучше расска жешь,— пожал плечами Бурый Философ.

— А что — и расскажу! Значит, Петр Николаевич, Боренька, как вы, конечно, догадались, он в Аул сослан. Из Питера. За оппозицию. За какую, Боренька? Нынче оппозиций масса, и я могу спутать?

— Не спутаешь...

— За самую главную, за троцкистскую. Да?! А из Ве Ка Пе бе Боренька исключен. Да? Так я рассказываю, Боренька?

— Не из Ве Ка Пе бе, а из кандидатов в члены Ве Ка Пе бе,— уточнил Борис Яковлевич.

— Но ведь енчмениада и троцкизм это далеко не одно и то же?— спросил Корнилов.

— Трудно сказать...— нехотя отозвался Борис Яков-

левич.— Трудно... Трудно. А вы-то? С енчмениадой знакомы? В общих чертах? Интересовались?

— Читал в газетах, что енчмениада разгромлена.

— Читали. А что же вы прочли еще по этому поводу? У вас память хорошая?

— Читал, что Енчмен на некоторое время сгруппировал вокруг своей теории часть учащихся. Которые поддались буржуазному влиянию идей Троцкого об исключительном значении молодежи в деле строительства социализма. На память я не жалуюсь, нет.

— Не поверю, что так коротко было написано!

— Написано было больше, пространнее, но я думаю — достаточно краткого изложения.

— Краткость дается гениям. Эммануилу Енчмену, например. Нам же, всем остальным, необходимы тысячи слов, чтобы изложить самый небольшой факт. Я уже говорил сегодня об этом. Так не припомните — что там еще было напечатано?

— Отчего же? Да вот: Енчмен отразил идеологию нового торгаша-нэпмана первого периода нэпа... Енчмениада была разгромлена еще в тысяча девятьсот двадцать четвертом году... Но она может повториться в обстановке сопротивления эксплуататорских классов... В обстановке их подавления.

— Все?— спросил Бурый Философ.— Теперь уже все? Окончательно?!— Он, показалось Корнилову, побурел гуще, выпуклые глаза его смотрели внимательно, неподвижно и с чрезмерным спокойствием. Довольно красивый мужчина. И не такой уж лопоухий, как об этом недавно говорила Леночка. Совсем не лопоухий — выдумка!

Леночка тоже посерьезнела. Корнилову стало жаль ее. Она отвернулась в сторону, но даже и перед фигуркой ее было неловко. Такая чудная фигурка — и вдруг обмякла, и на голубеньком платьице появились складочки. А косынку Леночка сняла с головы и положила на колени.

Не оборачиваясь, она сказала:

— А какой вы ортодокс, оказывается, Петр Николаевич! Я не знала!

— Я, Леночка, читаю газеты, только и всего.

— Нет-нет,— вдруг вскочила она с табуретки,— нет-нет, ты, Боренька, виноват нынче! Клянусь — виноват: ты же ничего не объяснил Петру Николаевичу! Я тебя просила объяснить ему все, мы так и договари-

вались, прежде чем пойти сюда, а ты не объяснил ничего! Да как же так? Ведь это же вовсе не выдумка и не каприз какой-нибудь, что хотя бы один, хотя бы только один человек на всем свете должен услышать наше объяснение! Ведь я же тебе предлагала, Боренька: «Ну давай объясним себя кому-нибудь из твоих знакомых, я согласна!», но ты сказал: «Нет! Кому-нибудь из моих — не хочу! Лучше — кому-нибудь из твоих!» А мне действительно это надо, надо, надо! Мы ведь и так ото всего отказались — от венчания, от гостей, от чьих-нибудь поздравлений, только вот это платьице, вот эта косынка и вот это посещение Петра Николаевича — больше ничего! Всему остальному бракосочетательному и свадебному категорический отказ и запрет! Я тебе признаюсь, Боренька, я была так счастлива, так счастлива, что именно к Петру Николаевичу мы пришли сегодня объяснить о себе все, да как бы даже и не самим между собой объясняться в любви! Ведь у нас же с тобой, Боренька, еще и не было объяснения, правда? Не было же? Все-все уже было, а объяснения нет! И что же? Вот мы пришли и о чем только не говорим, бог знает о чем только не говорим, но ради чего мы пришли — о том ни слова! Да ведь мы так и уйдем, ни слова не сказавши,— разве можно? Нельзя, нельзя, нельзя! И раз так, буду говорить я! Я сама! Мы на чем прервались-то? А вот, Боренька сказал: «Ты моя жена!» Ну, а дальше-то? Дальше я вас спрошу, Петр Николаевич: может быть любовь без чувств? Может или не может? Отвечайте?!

Корнилов пожал плечами, хотел сказать, что «разное случается», но Леночка такая была серьезная, а в то же время почти что плачущая, она откуда-то, из-за лифчика, должно быть, достала носовой платочек и готова была вытереть им глазки.

И Корнилов сказал, решился:

— Нет, не может, Леночка! Не может быть любви без чувства!

— А-а-а! Вот как, вот как вы говорите, Петр Николаевич! А вот может быть, может быть любовь без чувства, говорю я вам! Да-да — может! Потому что ради любви должно быть отвергнуто все что угодно — даже чувство! Тем более, что чувство нынче словно калека какая-нибудь, словно сыпнотифозный какой-нибудь или дизентерийный больной — оно хилое, оно — слабое, оно само по себе и существовать-то не может, а только под-

лаживаясь под какое-нибудь дурацкое умозаключение, под какую-нибудь подлую философию, под какое-нибудь мерзкое мировоззрение! И прав, тысячу раз прав Боренька, когда отрицает и ненавидит философии, а вместе с ними и чувства — они же день и ночь валяются в одной постели. Я уже и сама, своим умом давно прокляла философии, но только не знала, что же мне делать с чувствами? Оказывается, вот что — туда же их, в ту же самую свалку, к стенке, в расход! Вот как объяснил мне Боренька и мое истинное счастье, что я его встретила, что поняла его, поняла, что ради любви все можно выбросить на свалку, от всего освободиться! А вы, Петр Николаевич, вот вы признайтесь — ведь философии из вас делают чурбана, может быть, сделали уже, и вы — я знаю — любить не можете, вы только философствуете, вы против этого зла человеческого устоять не можете! Устоять может один только Боренька, ну, а если устоит он, значит, устою и я! Я и Боренька поняли, догадались, что в отрицании любых чувств и состоит самое высокое чувство, конечно, так! Отшельники-то, они когда-то это понимали и уходили в пещеры! От кого они уходили? Вы, может быть, думаете, от людей? Ну да, наверное, от них, но еще прежде того — от своих же собственных чувств, которые были им как проказа, как наваждение! В этом, в отрицании чувств, только и осталась нынче маленькая такая, крохотная такая возможность любви, других возможностей больше нет! И не будет никогда! Все другие-то, большие-то, огромные-то возможности — вот такие,— Леночка широко размахнула руки и даже на цыпочки приподнялась, даже вытянула сколько могла шею вверх,— вот такие, они уже давно бывшие! А в настоящем они заплеваны, загажены, их попросту больше нет! А кто поверит в это самое крохотное,— Леночка показала что-то в своей маленькой, потрескавшейся и огрубевшей от черной работы ладошке,— кто в это крохотное поверит — он кто?! Не знаете, Петр Николаевич, кто он — такой человек? Не знаете и не узнаете никогда, если я вам этого не скажу! Он смелый, вот он какой! Безумству храбрых поем мы песни, поем — самые храбрые из храбрых! Мы — это я и Боренька, вы это поняли, Петр Николаевич?! Не смейте смеяться! Улыбаться — не смейте! Это так серьезно, что вы слова не имеете права вымолвить, вы только можете остаться один и думать,

думать. Честно думать. До конца честно! От вас большей честности никогда и никто не требовал и не потребует, чем я сейчас от вас требую!— И тут Леночка подошла к дверям и прислонилась к дверному косяку и тихо, строго сказала:— Все-таки я могу требовать, да! Мы ведь были очень близкими людьми. Очень близкими, когда я приходила к вам на улицу Льва Толстого дом семнадцать, а вы были нэпманом. В дом бывшей «Тетеринской торговли». Могу я или не могу — требовать?

— Можешь, Леночка!— подтвердил Корнилов, а Бурый Философ сказал:

— Да, Петр Николаевич, вот еще что: не упоминайте ни при каких обстоятельствах мое присутствие при той драке. Ну, в которой вас ранили и даже чуть не убили. Могу я об этом... ну, не то чтобы требовать, а по крайней мере просить?

— Можете,— согласился Корнилов.— Можете.

— А тогда — договорились. До свидания. У нас к вам, собственно, все. Молодец, Елена, молодец: все и сразу поставила на свои места! А еще говорят: женский ум! Да женскому уму иногда, оказывается, цены нет!

Леночка в это время была уже по ту сторону порога, оттуда она сияла личиком с двумя белыми кудряшками на лбу...

Борис Яковлевич, енчмениадец, пожал Корнилову руку, но еще задержался, еще сказал:

— Я знаю вашего следователя, и я хочу вас предупредить: будьте с ним осторожны.

— Что вы имеете в виду?

— Народник. Из тех, которым не пролетарские гимны петь, не «замучен тяжелой неволей», а всякие там «калинки, калинки мои...». Он за калинки интересов мирового пролетариата нисколько не пожалеет, а еще — за девичьи хороводы и за свадебные дикие обряды, уж это конечно! Он и в нэпе видит утверждение всего этого хлама, он — мужик, он кулак и стоит за нэп на вечные времена. Он — за разлагающее влияние нэпа и за мужицкий индивидуализм. А по натуре — он безмозглый почвенник. У него одни только темные привычки, больше ничего!

— Так хорошо вы знаете моего следователя?

— Издалека. Хорошо я знаю другого Уполномочен-

ного — Промысловой Кооперации. Вы и с ним тоже имеете дело и вот на него можете положиться! Тоже из мужиков, но без предрассудков.

Корнилов готов был продолжить разговор с Борисом Яковлевичем, но тот уже переступил порог,— там, за порогом, его ведь ждала Леночка.

У нее было такое счастливое выражение лица, у Леночки, как будто только что кто-то из них кого-то спас — она спасла Бореньку или Боренька спас ее от какой-то огромной опасности.

А в окно Корнилов увидел еще, как Лѐночка оправила на себе платьице, какими быстрыми и легкими движениями. Человек, у которого что-то осталось на душе, хоть какое-то недоумение, так не сделал бы, не смог. Потом Леночка, пугаясь своей нежности, скрывая ее, прижалась к Бореньке, взяла его под руку, и они ушли, скрылись за углом соседней избы.

* * *

Они ушли, Корнилов вздохнул, стал ходить туда-сюда по избе.

Каким-то образом Бурый Философ оказался причастным к делу Корнилова, он знал УПК и, что совсем некстати, УУР он тоже знал.

И при первой же встрече счел необходимым дать Корнилову рекомендации: УУР нужно опасаться, на УПК можно надеяться.

Как и в чем можно надеяться на УПК — непонятно, но Боренька прав в том, что своего следователя Корнилову нужно опасаться! Еще бы не нужно!

Право же, он был милым человеком, УУР, в нем чувствовался растяпа, а еще было в натуре его что-то умно-наивное... Ну вот, существует такая наивность, которая знает, что она и умна, и права, и ее нельзя опровергнуть на словах, хотя в жизни она опровергается на каждом шагу. Собственно, это и есть наивность, как таковая, типичная, главная среди всех других наивностей.

Так вот, тут-то и мог быть для Корнилова опасный случай: когда такому человеку предоставляется вдруг возможность доказать свою правоту, он как бы теряет голову, и даже искренность, и даже наивность, он тогда себя самого утверждает, свою личность — опять-таки не считаясь ни с чем.

Кроме того, УУР был, конечно, человеком страдающим. Страдающим идеей, может быть, великой, но и это страдание опять-таки неизвестно чем могло обернуться для окружающих. Тем более для лица подследственного.

Теперь его судьба оказалась в руках такого человека, и человек этот с увлечением рассказывает ему о себе, хочет с ним спорить и, конечно, взять в споре верх. Это могло быть элементарно просто: лестно было вечному студенту наголову разбить приват-доцента, философа, но могло быть и опасной, коварной игрой, однако же Корнилов так и не решился потребовать, чтобы следствие было перенесено в служебное помещение, чтобы оно велось по форме.

По форме Корнилов давно должен был сидеть в камере предварительного заключения, а он вот живет себе в этой избе, то есть на воле!

По совести говоря, Корнилову давно пора было если уж не сидеть в тюрьме, так, по крайней мере, совершенно отчетливо представить ее в воображении.

И вот воображение настигло-таки его, и вот она — огромная камера, многолюдная, если бы одиночка — так это бы было прекрасно, но нет, самых разных физиономий, может, двадцать, того больше имелось в наличии, а окошечко — одно-единственное, и — прежде чем заглянуть в него, подышать через него природой — изволь занять очередь. С внешней-то, вольной стороны Корнилов давненько уже окошечко приглядел, оно было крайним справа на втором этаже массивного домзака, не в столь отдаленном прошлом — Аульского женского монастыря с игуменьей Парфенией во главе. Там когда-то, в том побеленном известью капитальном здании, находились кельи монашенок и прочие помещения — трапезные, кладовые; это здание было загорожено со стороны Аула приземистым храмом плоских, даже расплющенных очертаний, поэтому только из крайних, расположенных у правого и левого торцов окон и мог открываться достаточный вид на Эту и даже на Ту Стороны... Вот Корнилов и облюбовал такое обзорное оконце, но до нынешнего дня стеснялся заглянуть вовнутрь, в камеру — там-то что за обстановка? Что особенного?

Грустно стало на душе от полного отсутствия там

чего-нибудь особенного, непредвиденного. Такая промелькнула картинка. Реалистическая. В духе «передвижников». А дальше Корнилов продолжал думать так:

«Кто-то ведь спасал тебя до сих пор, Корнилов? Тот, кто спасал до сих пор, должен спасти и нынче! Обязан! Для чего-то ты нынче выздоравливал, старался? Для чего-то в драке — во множестве драк — жив остался?» — стал он сперва осторожно, а потом уже и с настойчивостью, с ожесточением думать все в том же смысле.

«Что он — следователь-то, из вечных студентов, бородатенький народник, что он — опаснее всех опасностей, через которые Корнилов прошел? Не может быть!»

Конечно, жизнь спасенного, да еще и неоднократно, да еще в силу случайных каких-то стечений обстоятельств,— не сладкая жизнь, но бог с ним, он согласен и на такую!

Спасенному остается ведь не сама жизнь, а заплатка на жизни, сперва-то она, эта заплатка, вызывает радость неописуемую, ну, а когда вглядишься, раздумаешься, возникает вопрос: никому-то она не понадобилась, только тебе одному, так, может быть, и тебе она не нужна? Только кажется, будто нужна? Заплатка-то?

Спасенный то и дело видит себя неспасенным — умершим, убитым, заключенным, истерзанным, для него стало реальным то бытие и даже то небытие, которого он избежал как бы по какой-то ошибке... «Ах, по ошибке? Избежал?— спрашивает у самого себя спасенный.— Так что же это за жизнь, которая существует только благодаря ошибке? Ведь жить надлежит такою жизнью, за которую тебе хочется кого-то благодарить — отца, мать, природу, человечество, а тут следует благодарить ошибку?! Да?!»

Наверное, чтобы избежать ощущения ошибочности своего существования, чтобы было кого за свое существование благодарить, пещерный человек и вытесал себе деревянного божка. Пещерный-то человек — он сколько раз стоял на краю гибели и сколько раз спасался?! Несчетно! Вот ему и надо было свою жизнь узаконить, чтобы была не обидной. Чтобы не было ощущения, что только ошибка его и спасла, а больше никто и ничто.

А вот у Корнилова, у него деревяшки-спасительницы не было,— управляйся исключительно сам собой, как хочешь, как можешь!

И тут-то, когда он, в который уже раз, существовал надеждой на спасение, в то же время не зная с точностью, что лучше, а что хуже, спасение или неспасение,— тут-то и явился ему Великий Барбос — не то добряк, не то злодей, не то в густой и косматой шерсти, не то ангельски голенький, не то в какой-то фигуре, не то вовсе без нее, а так — в виде воздушной волны и веяния. Овеет тебя — и ты понимаешь, это — участие в твоей судьбе Великого.

Почему все-таки возникло это обозначение: Барбос? Великий?

Если объяснять долго, подробно, изысканно, то есть в духе Бори и Толи,— тогда никто ничего из этого объяснения не поймет, а кратко и своими словами можно сказать так: Великий Барбос — это великий злодей, но он же и самое большое великодушие.

Вот так: он к людям бывает несправедливо жесток, Барбос, он терзает их, уничтожает их, злой гений, он развлекается такими играми, как самоуничтожение целых народов, и кровавыми войнами между ними, но все это — до последнего их дыхания. При последнем же дыхании он людей неожиданно спасает, таким образом, что люди даже не переживают чувства благодарности к нему, Великому, и не ощущают ошибочности своего дальнейшего существования.

Одним словом — бука, да и только, только не для детей бука, а для взрослых, для человечества, для истории, для всего Существования. Ну, конечно, и для детей тоже, поэтому взрослому, повидавшему виды человеку говорить о нем вслух, да еще с серьезным выражением лица, стыдно и неловко.

Но что поделаешь — мало ли Корнилов пережил на своем веку всяческих неловкостей? Мало ли подобрал, не погнушавшись, чужих осколков и клочков жизни, чужих понятий?

Кроме того, думал он, у него имеются смягчающие обстоятельства: голова-то пробита в драке, дырявая голова, а в дырявой мало ли что могло появиться? В дырявую туда и обратно вход и выход беспрепятственный, и вот, ровным счетом ничего не подозревая, он лежал на

печи и от нечего делать вглядывался в деревянную кадушку, которая стояла в сумрачном углу избы, там, где должны были находиться, но не находились, иконы. Кадушка была наполнена землей для большого цветка, но без цветка, и вот оттуда-то, из сумрака, и явился Великий Барбос.

Впрочем, позже Корнилов вглядывался и в другие углы — и Барбос являлся из других и под страшной клятвой, о которой даже самому себе словом нельзя было обмолвиться, сообщал ему, что он — бесконечный злодей и азартный игрок в человеческие судьбы — в конце-то концов, при последнем дыхании своих жертв, становится единственным их спасителем.

Вот так: наступает момент — и азарт спасения у Великого Барбоса становится для него таким же необходимым, как азарт истребления.

В самом деле, сколько, поди-ка, раз тот Шар, который со временем стал Земным, мог взорваться изнутри — не взорвался?

Сколько затем раз он мог столкнуться с другими Небесными Телами — не столкнулся?

Сколько раз он мог окончательно обледенеть, мог быть затоплен растаявшими льдами — не обледенел и не был затоплен?

Кто помог, отвел беду?

«Вот и с тобой так же поступлю, Корнилов, если, конечно, ты не проболтаешься!» — обещал Великий Барбос.

Ну как было не поверить? Сил не было не поверить!

Ведь Корнилов-то действительно выздоравливал, заживлялся. Веревочники не хотели позвать к нему доктора, чтобы избежать лишних свидетелей побоища,— а он выздоровел. Верёвочники замышляли его из тех же соображений прикончить, утопить в Реке, и не сделали этого потому, что понадеялись на него: сам помрет!— а он выздоровел, ушел от смерти для самой-то смерти совершенно незаметно. Уйдет и от домзака, то есть от углового окошечка на втором этаже бывшего женского монастыря, Великий Барбос поможет. Куда ему деваться, Барбосу? Некуда, надо спасать, такая у него планида, такое самолюбие: не может же он уступить какому-то там следователю, недоучке и вечному студенту? Не может, нет, ему нужно поддерживать престиж!

Это Корнилов готов был со студентом, с рыжим ма-

лым, песню спеть, посидеть-поговорить, подумать-передумать, а Великому — к чему? Если он — Великий?

Это Корнилов студента боится — закатает ведь, закатает в бывший монастырь, да еще и ладно бы, когда так, когда на том бы и кончилось, но что-то подозревалось Корнилову: дело начнется — оно на этом не кончится, Аульский домзак — это предвариловка, не более того, есть еще и Соловки, Архангельская и прочие губернии, по-нынешнему — области.

И первое, что пришло Корнилову в голову,— наклязузничать на УУР Великому Барбосу... Тот хоть и Великий, а ведь не дойдет своим умом, не разберется как следует, значит, нужны со стороны Корнилова разъяснения и консультации. Научные консультации, с историческим введением, со всем тем, что называется «происхождением вопроса».

Происхождение же было вот каким, консультировал Корнилов Великого Барбоса,— отношение следователя к нему, к Корнилову, не может быть объективным, оно может быть только предвзятым.

Почему?

Так уж сложилась русская история.

Так она сложилась, что в России интеллигенция во многих поколениях ходила в народ — воспитывать его, открывать ему глаза, в конечном счете — поднимать на борьбу за справедливость. Ну вот, а темный мужик просветителей, народников этих, поколачивал, передавал из рук в руки приставам и урядникам, но интеллигенты все ходили, все ходили, все уговаривали и просвещали, безропотно принося себя в жертву народу.

В конце концов сложилось так, что жертва стала привычным делом для тех, кто ее принимал, жертва ведь прежде всего воспитывает палачей и всех тех, кто ее принимает. Урядника убили — событие, газеты пишут, сыскное отделение по этому поводу трудится, а убили какого-то там интеллигента, ну и что? Кто будет по этому поводу тревожиться? Да он сам этого хотел, интеллигент, сам на это шел, кто же, кроме него самого, виноват-то?

Вот и в данном конкретном случае — объяснял Великому Барбосу Корнилов,— в данном конкретном Уполномоченный Уголовного Розыска запросто принимал в жертву приват-доцента. Это же так просто — принять, гораздо проще, чем решить — нужно принимать или не нужно? Принять и все. И точка!

Больше того — выходило, будто вовсе не Уполномоченный перед Корниловым, а Корнилов виноват перед ним. Ну еще бы: заставляет человека в поте лица вести следствие, вместо того, чтобы целиком признать свою вину — ту, которая может быть, и ту, которой нет и не может быть! И то сказать, ведь это его, Корнилова, деды и бабки ходили в народ, это его отец был адвокатом по крестьянским делам, и сколько, поди-ка, крестьян считали себя обиженными своим адвокатом — великое множество! А вечный студент хоть и учился на юридическом, но адвокатом не стал и потому обид землякам не нанес.

— Другой вины — нет?— поинтересовался Великий Барбос, выслушав Корнилова.— Другой — не чувствуете?

— Чувствую,— пришлось признаться Корнилову.— Ну вот, например, я почти что лично поссорился с кайзером Вильгельмом Вторым и пошел добровольно с ним воевать, а солдатики? Которых я вел за собой? Они-то добровольцами не были, отнюдь!

— И дальше в том же духе...— не то спросил, не то сам подсказал ответ Великий Барбос.

— И дальше в том же духе!— быстренько подтвердил Корнилов.

— Мы — подумаем!— очень серьезно вздохнул Великий.— Мы подумаем, а ты погуляй пока что, Корнилов. Погуляй, погуляй!

Покуда Корнилов гулял, то есть лежал на печи, у него было время подумать о том о сем, и вот он додумался, а вдруг Великий-то Барбос сам из вечных студентов?! Вдруг?! Что тогда? Что он тогда сделает с кляузником Корниловым?

Допрашивая, Уполномоченный Уголовного Розыска более десяти минут на месте не сидел, он, будто бы не торопясь, будто бы даже и нехотя, выходил из-за стола, приближался к оконцу с грязными стеклами и через стекла эти, согнувшись, сильно согнувшись, так как ростом он был довольно высок, вглядывался в Ту Сторону, в ее простор, в ее сизый покров: издалека зеленый цвет пойменных кустарников и трав казался сизым.

Отсюда, от окна, не оборачиваясь к Корнилову, он и говорил ему все то, что уже никоим образом не отно-

силось к допросу, к следствию по делу о драке веревочников, к убийству Федора Малых, Кузлякина и вдовы Дуськи, по фамилии Морозкина.

— Да-да!— говорил Уполномоченный со спокойствием очень странным и не подходящим для той порывистой мысли, которую он хотел высказать, и для того возбужденного настроения, в котором он, конечно, находился.— Да, я знаю, я не дело говорю, я все и всяческие правила службы нарушаю, вступая с вами в настоящий разговор: и даже не в служебном помещении, а в этой вот избе, и вы, конечно, можете протестовать, жаловаться можете, но вы этого не сделаете — смелости не хватит! Вы сильно боитесь меня! Если я передам вас другому следователю, я все свои подозрения относительно вас передам ему уже в виде обвинений. Значит, вы правильно меня боитесь!

— И не стыдно? Нисколько?— спросил Корнилов.

— Только самую капельку. Потому что тут уже не юридическое, а обыкновенное человеческое право вступает в силу. Да-да, я, конечно, поддался личной неприязни к вам, этого со мною во всю жизнь не бывало и не будет, никогда не будет хотя бы и потому, что я вскорости, буквально на днях брошу юридическую специальность. Я окончательно убедился — не по мне она, нет-нет, я в фельдшера пойду, я же на медицинском учился, в учителя — еще лучше, я русский язык боготворю, так зачем же мне на этом, на боготворимом мною языке, всяческие следственные протоколы писать, через которые приговоры происходят людям, один другого суровее приговоры, а то еще — один другого несправедливее,— зачем? Спрашиваю вас!

— Вот этого я не знаю!

— Ага, высокий интеллигент не знает, а мне так приказываете знать? Нет, не буду этим заниматься и давно бы бросил, но случая все не было и не было, а тут — вот он! Вот оно, дело об участии в драке между веревочниками Верхней и Нижней заимок гражданина Корнилова, бывшего приват-доцента кафедры философии императорского Санкт-Петербургского университета,— это ли не случай? А? Такого и не придумаешь!

— Случай, согласитесь, странный...

— Еще бы! Только странные случаи и есть случаи, остальное же все — не более как отсутствие случая! Так вот он, полностью невозможный в юриспруденции мо-

мент и случай,— высказать в лицо человеку все, что ты о нем думаешь! Нет, не то, что думает о нем закон и суд, и не то, что должно думать о нем общество, и не то, что хочет думать о нем всяческое большое и малое начальство, а именно то, что думаю о нем я — следователь, а по-другому — его исследователь! Ведь я, а никто другой, исследую личность подследственного, я, как никто другой, ее знаю и понимаю, но приговор и общественное, так называемое, мнение и все другие определения выношу уже не я. Судьи выносят его, адвокаты и прокуроры, а мне — позор. Ну да — мне иной раз страшный позор слушать судей: они не знают, но судят, я знаю и молчу — да как же так? Ведь было же когда-то: суд на площади, там каждый мог быть следователем и судьей, прокурором и адвокатом, а мы с помощью-то высшего образования во что этот истинный суд превратили, в какое надругательство? Во что, когда нет чтобы товарищ какой-то там пришел бы в суд да и высказал бы свое мнение — либо написал на бумаге, нет, он и так не делает, он снимает трубочку и в нее, в телефонную, высказывает свое мнение, иной раз — категорическое! И вот уже идет под конвоем подследственный и где-нибудь в коридоре встречает меня и спрашивает безмолвно, а то и вслух: «Этого ты хотел? Торжества своего собственного мнения и мысли ты добился — или вовсе не своего, вовсе чужого?» И редко-редко когда я прямо гляну в глаза осужденного: «Да — таково мое мнение, такова и мысль моя!» И давно я уже бросил бы следственное дело и вообще юриспруденцию, но, поверьте, действительно не было подходящего случая, когда можно сказать подследственному все, что ты о нем думаешь, когда есть что ему сказать, когда сказать необходимо!

— Вот так!— усмехнулся Корнилов.— Мне на исключительные случаи везет. Вот и «Буровой конторы» я был лишен в совершенно исключительных обстоятельствах. Благодаря сумасшествию своего совладельца.

— Это прекрасно, прекрасно!— обрадовался УУР.— На ловца и зверь бежит: незаурядные случаи чаще всего случаются с незаурядными людьми. А мне именно таковой человек под завершение юридической карьеры и юридической жизни и нужен. Значит, не напрасно я на вас вышел, на такого зверя, а то ведь — как? Разговариваешь с человеком, а ему — что об стенку горох! Не-ет, уж с вами-то мы поговорим! Уж вы-то кое-что

поймете! И вы в тюрьме будете сидеть, и разговор со мной в подробностях вспоминать, а я, обучая детей где-нибудь в глухой деревеньке стихам Александра Пушкина и даже Демьяна Бедного, я все время буду с вами разговаривать, буду вас своею мыслью преследовать, живого или мертвого, все равно какого! Буду дальше и дальше вас обвинять и все по одной и той же, по той же причине: народ видел в учении свет, а вы, ученые, привели его к такой тьме, к такой гибели, которую он и представить-то сам по себе никогда не мог!

— За это не судят! Судить за это какого-то доцента?! Нелепо!

— Но ведь судят же! Министров царского правительства при правительстве Временном вы, интеллигенты, адвокаты и прокуроры, судили же? При Советской власти вы, интеллигенты, министров Временного правительства — судили? А одного доцента — так и нельзя? Не-ет, порядок другой: кто попался, того и судят, и во веки веков так же было, другого порядка нет, не выдумаешь, даже вашей интеллигентной и философской головой не выдумаешь!

И УУР снова встал из-за стола, снова подошел к оконцу, постоял молча. Когда вернулся, сказал:

— Вот нынче явилась хотя бы и крохотная, но последняя возможность народу сохраниться духовно, да и физически тоже, нэп явился. Но ведь вы же и над этой возможностью насмехаетесь, и ее презираете, и ее предаете? Чего ради предаете, а? Узнать бы?

— Вы считаете, нэп — спасение? Единственно возможное?

— Мало того, что единственное в наше время, но и последнее во всей истории — вот что главное. После-днее!— УУР снова замолчал, теперь уже сидя за столом, он поглядывал в оконце, а в памяти Корнилова возникала, терялась и снова возникала акварельно-светлая аудитория с окнами на Неву, на Адмиралтейство по ту сторону Невы и кафедра на небольшом возвышении.

С этого-то возвышения молодой приват-доцент излагал свой натурфилософский взгляд на мир. Много раз излагал.

Слушателей бывало человек сорок, не более того,

почти что студенческий кружок, однако же кружок внимательный и благодарный.

И ведь как помнилась она ему — благодарность-то, как помнилась! Он — учит, его — воспринимают... Историки и филологи были там, в том благодарном кружке, и несколько юристов, а еще в правом углу на самой последней скамье неизменно виднелась бестужевка Милочка, чаще одна, иногда — с подружкой, тоже бестужевкой, помнится — естественницей. От Милочки, как ни от кого другого, исходило благодарение почти материальное, которое молодой ученый, казалось, мог бы в какие-то мгновения подержать в собственных руках. Кружилась голова, приват-доцент восторгался этим ощущением.

Ну вот, а через двадцать лет УУР призывает приват-доцента к ответу: повтори-ка, повтори — что ты говорил, что тогда в акварельной аудитории объяснял? Это все еще имеет какой-то смысл или уже никакого?! Никакого — и все надо отбросить за ненадобностью? За вредностью?

Угадать, предусмотреть заранее такого над собою судью, такого пристрастного, такого доморощенного толкователя судеб человеческих, конечно, было невозможно! Немыслимо! — а когда так, то, по справедливости, должна была бы замереть и память, но она-то и действовала, рисовала акварельки, одну лиричнее другой, и все на одну и ту же тему: аудитория с видом на Неву, на Адмиралтейство, аудитория с внимающим, от всей души благодарным студенческим кружком, аудитория с влюбленной бестужевкой Милочкой на задней скамье, в правом углу, чуть-чуть левее сияющего адмиралтейского шпиля... Столь не к месту возникающие эти акварельки окончательно уничтожили дух сопротивления, которым — это было испытано и доказано многократно — всегда, во все трудные моменты жизни обладал Корнилов. И вот он сидел за грубым колченогим столом и молчал.

Он молчал, а УУР говорил дальше, дальше:

— Сто лет, вы, интеллигенты, призывали народ к революции, а когда революция началась, вы перебесились и переругались между собой, и одни закричали: «Кровь, кровь! Ужас, ужас! Дикость! Варварство!» — и бросились за границы, наклав при этом в штаны, а другие завопили: «Больше, больше крови! Больше, боольше!» — и стали одни белыми, а другие — красными

и стали до последней капли крови воевать друг с другом. А недоучек, таких, как я, вы привлекли приговоры писать к расстрелам, мало того — едва явилось мирное время, надежда на успокоение народной жизни явилась, нэп явился, как вы и эту надежду развеиваете снова в прах! Последнюю, учтите, надежду! А ведь вы не тот, за кого вы себя выдаете! А? Гражданин Корнилов?

— О чем вы говорите?! Как будто революцию выдумали интеллигенты! Доценты! Присяжные поверенные?!

— А кто же? Какая наивность! Предательство снова — какое?! Вы, вы, вы и выдумали! Народ, что ли, выдумал? Народ свои понятия о справедливости имел, народ знал слово «бунт!», ясное слово и понятное — несправедливость, и надо против нее бунтовать, но вы, вы, интеллигенты, подменили бунт другим словечком: «революция»! Вы облекли бунт всяческими теориями и бессмысленными утопиями, в то время, как бунт, он издавна был делом святым, он и кровавый, и с жертвами напрасными, и с жестокостями, и с поджогами, но бунтовщики-то неизменно ведь знали, что за все это придется отвечать! Побунтовали, пожгли, чего-то, каких-то уступок добились, ну, а за что-то — это каждый бунтовщик тоже знал — придется отвечать! И приходили войска, и спрашивали — кто зачинщик, а мужицкое общество заранее определяло, кому выходить — неженатые выходили, бобыли-старики выходили на тот вызов и жертвовали собой, шли на каторгу, им было перед кем за бунт ответить, а р-р-революция? А теории рр-р-революционные? Им ответить — раз плюнуть, они все ниспровергают, а ответственность прежде всего. Ответственность предается проклятию! Интеллигенты-революционеры вопят: «Мы отвечаем перед народом!», ладно, хорошо, а народ перед кем отвечает? Перед богом? Так ведь бога-то в революции нет. Зачем же с помощью теорий делать народ безответственным за свои действия?

— Не так!— возмутился Корнилов.— Совсем не так. В народе давно зрел раскол на бедных и богатых, на тех, кто за новое, а честная русская интеллигенция приняла сторону бедных и угнетенных — что же тут плохого? И эту сторону можно было утвердить только революцией, но никак не бакунинским анархическим бунтом!

— Ну, когда так, когда вы этакий завзятый революционер, тогда почему же вы в белой, а вовсе не в Красной Армии воевали?

— Разве в белой не было революционеров? Там эсэры были, они царским правительством преследовались даже больше, чем большевики. Анархисты были.

— Ну вы, положим, на эс-эра непохожи. Совершенно!— как показалось Корнилову, даже с некоторым сожалением произнес УУР.

— Нет. Непохож. Совершенно.

— Тогда — кто же вы?

— Я был, я старался быть беспартийным революционером.

— Ага! Потому-то вы и не отвечали ни перед кем за свои поступки!

— Старался отвечать перед самим собою. Перед своей совестью!— тихо-тихо, а все же сказал Корнилов.

— Перед своею? Она у вас есть — своя-то? Совести народа у вас нет, а своя собственная — она теоретическая: подходит под какую-то теорию, значит, есть, не подходит, значит, нет ее и даже не должно быть! Еще и еще говорю: вы все были за революцию, все призывали к ней, а началось — все интеллигенты разбежались по разным теориям и ну бить народ народом же, и ну бить себя самими же собою! Да как же вы могли призывать народ к революции, когда сами не знали, что это такое?! Когда между собой не могли договориться — что это такое? Договорились бы между собой, а тогда и призывали бы, никак не раньше! А ежели вы стали призывать раньше того, то вот вам и результат: гражданская война — и вы, теоретики и философы, свою задачу перекладываете опять же на плечи народа: пусть он сам оружием и кровью своей решает, что такое революция, какой она должна быть, кто в ней прав, а кто — виноват?! Это — совесть?! Да? Я вам, философу, так скажу: последним нашим совестливым, то есть истинным интеллигентом был все-таки Лев Толстой — он всю совесть соединить в одно мечтал, соединить ее в веру, потому он и был созидателем совести. Ну а после него совершенно уже другое пошло, интеллигенты совершали работу только разрушительную, когда начали растаскивать понятия совести по самым разным теориям!

— Да вам-то, гражданин следователь, кто дал право

за народ и от его имени говорить? Вы, верно, какой-нибудь дьячков сын, так по этой причине уже считаете себя народом? Нет, позвольте, я многих-многих интеллигентов встречал, которые больше были народом, чем вы! Уж это точно — больше!

УУР замолк, сделался сердитым, злым даже, и вдруг спросил:

— Когда вы были в последний раз в Самаре? Гражданин Корнилов?

Корнилов долго-долго не отвечал, не мог собраться с мыслями.

Наконец ответил:

— В Самаре, в последний раз... в августе тысяча девятьсот тринадцатого года. За год до войны.

— По причине? По какой причине были?

— Навещал отца.

— Навещали отца... Кем он был? Ваш отец?

— Он был адвокатом.

— Ад-во-катом... Примечательно! А в каком году отец переехал в Саратов и стал инженером? И основал в Саратове техническое акционерное общество «Волга»?

— Когда я навещал отца в Самаре, он говорил мне, что намерен основать в Саратове строительное общество.

— Способным человеком был ваш отец: адвокат, юрист, а встал во главе технического общества?

— Способным, действительно очень способным человеком он был, я никогда в этом не сомневался. К тому же, знаете ли, филологи, историки, а юристы — особенно — в те времена часто возглавляли коммерческие и технические предприятия. Да хотя бы и Витте Сергей Юльевич! Министр путей сообщения, министр финансов, председатель комитета министров, даже «эру Витте» создал в политике, а ведь по образованию — математик, вот кто!

Корнилова потряхивала дрожь, но он, напрягая память, все пытался увести разговор куда-нибудь в сторону. Вот он и подумал,— может, Витте поможет?

— Это вы — к чему?— спросил УУР.

— Это я вообще.

— Ах, вообще! Вот, значит, кто вам по сию пору не дает покоя — Витте! Немец! Немец, да такой, который хвастался, что ничего немецкого не знает — ни религии,

ни одного слова по-немецки, ни даже своей родословной. Что верно, то верно, немецкое-то он все предал, но и русским от этого не стал, был ублюдком и умер ублюдком. Взятки брал чудовищные. Управлял Юго-Западной сетью железных дорог, так жалованье имел пятьдесят тысяч годовых, а стал директором департамента — восемь только, вот и наверстывал. Вас именно эта деятельность господина Витте интересует? Она? Впрочем — о чем это я? Да кто из царских прихвостней и лизоблюдов когда-нибудь не воровал? Смешно!

Так или иначе, но Витте не помог и Корнилов вспомнил историка Ключевского:

— «В половине девятнадцатого века русское дворянство было пристроено к чиновничеству и страна стала управляться не аристократией, не демократией, а бюрократией, лишенной всякого социального облика». Помните? Ключевский? Отсюда, от этой бюрократии, появился и Витте. Бюрократ, но не дурак.

— Ну, положим,— обиделся за Ключевского УУР,— положим, Василий Осипович шел дальше, гора-а-здо дальше: «Народ становится исторической и политической личностью, приобретает национальный характер и сознание своего мирового значения только в государстве, а государство это есть верховная власть, народ, закон и общее благо!» Витте, конечно, так же, как и вы, народ не понимал, только вы по-разному не понимаете. Витте думал, будто народ — это рабочая сила, без которой государство, к сожалению, обойтись не может, если же обойдется когда-нибудь, ну, хотя бы с помощью той же самой техники и науки, так это будет отлично, прелестно будет — и государство, и государственность достигнут своего идеала. Вы же думали, и даже возводили в прекрасную мечту, чтобы народ обрел народовластие. Вы, разумеется, так полагали?

— Разумеется!— подтвердил Корнилов, а УУР этому подтверждению обрадовался и даже прихлопнул в ладоши:

— Ну вот, ну вот — разумеется!— Потом он посерьезнел, у него переход от серьезности к чему-то детскому и обратно происходил так явственно, что за этим интересно было наблюдать по глазам, по губам, по складкам на щеках. Очень серьезный, УУР сказал:— А народу совершенно не нужно народовластие. Совершенно! Ему его навязывают различными ухищрениями, но это уже другое дело! Вас это удивляет?

— Что скажете дальше?

— Дальше! А вот: народ наш всегда искал справедливой власти над собой, но собственной власти не искал никогда! Он потому и народ, что не властвует, в этом его отличие от всех других сословий и природа его организма. Нарушьте природу, сделайте в деревне каждого десятого служащим от государства — конец народу! Вы, наверное, знаете — есть и всегда будут люди, им собственная власть противнее посторонней, вот они-то и есть народ, независимо даже от образованности и от сословности. Конечно, государственные умы, Михайлы Ломоносовы, должны из народа выходить, коли они в нем неизбежно нарождаются, но даже и они не все имеют нравственное право очаги свои покидать, уходить в столицы, они и в народном самоуправлении должны быть! Через эти самоуправления народ свои собственные улаживает дела, и общается повседневно с высшей властью, и обращается к ней за помощью, когда дело того требует, и сам требует и бунтует, когда до этого доходит, чтобы власть ушла прочь, ежели она перестала соответствовать своему народу. Вот так! Вот еще объясняют мне нынче: народ — явление социальное! Я согласен, но это же самое простенькое дело, так вопрос представить, потому что народ — это нечто гораздо большее, это источник истории и духовности, создатель слова, дела, мысли и земного обычая жизни! Он источник всего этого, он и хранитель, а в осознании этого предназначения он и сам-то сохраняется и существует, а без этого становится просто-напросто населением! Потребуется — он в жертву самого себя принесет, это он может, но кому принесет-то? Власти какой-нибудь? Теории какой-нибудь? Нет и нет — он принесет себя в жертву самому же себе, ради продолжения своей жизни. Жертвуя собой, он знает, что он почти весь погибнет в жертве, почти-почти весь, но весь — никогда, а из остатка, хотя бы малого, он возродится снова и снова! Власти приходили и уходили, государства — тоже, религии — тоже, а народы сохранялись, они-то и сохранили человечество! Теперь, ну теперь другое время, и человечеству надо сохранить народы, опять-таки ради собственного сохранения, и нынешние культуры, и науки и философии этому бы и должны служить, но они, вместо того, из наук становятся специальностями, а народы для них — подопытные кролики. «Давайте,— говорят самые разные теоретики и деятели,— давайте вот с этим народом

сделаем вот такой опыт, а с этим вот этакий!» А ведь опыт уже есть, уже известно, что значит человечество без народов, но с властью: Северные Американские Соединенные Штаты! Они с чего начали-то? С власти без народности начали, истребив индейцев. Чем продолжили? Властью продолжили, доставив себе африканских рабов, сделавшись рабовладельцами. Ну вот, ну и где же там у них духовность? Или хотя бы истинная боль за ее отсутствие? Страдание из-за того, что нету ее? Мечта о ней, что вот-вот она наступит? Ничего этого, никакого страдания, наоборот, гордость собою, какой нигде в мире! Значит — погибнут! Многих погубят, так же, как индейцев погубили, но и сами погибнут тоже, Вильсон их не спасет, если уж Фенимор Купер не спас!

Когда УУР пускался в рассуждения, Корнилова почти оставляло чувство опасности, ему становилось интересно, сперва — слегка, потом все больше и больше, и теперь он снова спросил:

— Но вы ведь и сами-то тоже ужас как теоретичны! И геометричны! Только ваша теория состоит в отрицании теорий — и вот и все! К тому же эту вашу теорию, эту ваше естественность в жизнь-то воплотить нельзя! Никак!

— Никак. Конечно,— никак. Потому что она — дух и духовность.

Корнилов удивился. Посмотрел на УУР, на сосредоточенное и воодушевленное беседой его лицо и удивился еще больше.

— Тогда зачем же она вам, ваша теория? Все ваши рассуждения?

— Ну да, ну да, я вас снова и снова понял — это у вас, у интеллигентов, заведено: чуть что, чуть какая теория завелась — давай ее воплощать! Еще и неизвестно, как и каким образом,— но обязательно воплощать! Это, наверное, потому, что сами-то вы — сословие молодое, даже младенческое, что мысль у вас богатая, но не сильная еще, совсем не то что народная мысль. А вот народ, тот никогда не торопился воплощать, он только все окружающее к мысли своей примеривал и с помощью ее определял — вот это в жизни правильно, а вот это не так и неправильно, но чтобы мысль свою, свой идеал он завтра же, сегодня же кинулся воплощать в жизнь — нет, он с этим не торопился веками. Может, и тысячелетиями. В этом его мудрость...

— И вы лично так же?

— И я лично так же!

Помолчали...

И вдруг совершенно неожиданно УУР сказал:

— Мои бы мысли да ваши бы мысли — да вместе, в одной бы! А? Вот бы сложилась мысль? А? Догадываетесь?

Корнилов кивнул — да! Догадывается!

— И ведь для народа-то, для других-то людей, как бы это было полезно — понимаете? А?

Корнилов кивнул — да! Понимает!

— А как на самом-то деле происходит? А? На самом-то деле почти что друзья — они часто хуже врагов. Очень часто!

— Так вам это, может быть, только кажется, а на самом деле мы думаем с вами недалеко друг от друга?!

— Далеко-о-о! Так далеко, что едва видим друг друга! Вы — как? Вы от мысли к мысли всю жизнь думали, а я? Я от цветочка какого-нибудь — к мысли, от борозды пашенной — к мысли, от разговора с мужиком или с бабой на свадьбе или на погосте — к мысли. А впрочем, не знаю — мысли это мои или жизненное мое ощущение? Вот какая между нами большая, какая поучительная разница! Но, несмотря на разницу, я бы и еще и еще поговорил, ведь в некоторых интеллигентах действительно — что хорошо? Они к чужим словам любознательны и вот слушают, не перебивая. У нас, у простонародья, такого терпения нет, а мне эта любознательность и всегда-то была по душе, и я, верите ли, интеллигентных собеседников всегда искал, уважал не столько потому, чтобы послушать их, сколько — чтобы они меня, не перебивая, послушали бы. Всегда так, ей-богу, а нынче, перед тем как я навсегда оставлю юридическую деятельность, так мне ваше внимание тем более необходимо. И я бы еще говорил бы и говорил, мне не мешает, что я — следователь, а вы — подследственный, но мне истинно мешают некоторые подозрения в отношении вас...

— Подозрения? Но они же могут и не подтвердиться! Это еще надо выяснить!

— Надо, надо! Скажите-ка, Петр Николаевич, когда вы познакомились с гражданкой Евгенией Владимировной Ковалевской?

Корнилов ответил, что встретил Евгению Владими-

ровну в семнадцатом году, на фронте. Когда его легко ранило в левую руку. Вот сюда, здесь и сейчас остался след пулевого ранения. Его ранило, а сестра милосердия Ковалевская рану перевязывала. Ну, и...

УУР спросил:

— И на несколько лет вы расстались с Ковалевской, а когда вышли из лагеря белых офицеров, ее нашли, приехали к ней в город Аул. Так?

— Совершенно верно.

— Каким образом вы ее нашли? Переписывались? Во время гражданской-то войны?

— Нет. Не переписывался.

— Тогда — как же?

— Совершенно случайно. Мне указал ее адрес сосед по нарам в офицерском лагере.

— Ваш товарищ?

— Сосед по нарам.

— Фамилия товарища?

— Очень похожа на мою: Кормилов.

— Имя-отчество Кормилова?

— Там мы знали друг друга только по фамилиям.

— Он жив, Кормилов?

— Наверное, нет. Когда я выходил из лагеря, он был в тяжелом состоянии — сыпняк.

— Сыпняк... А ведь Ковалевская-то — необыкновенная женщина. Русская, скажу я вам, женщина. Может, во всем свете таких больше нигде и нет, только в России? Я-то ее знаю, в госпитале у нее лежал.

Корнилов промолчал.

— Когда вы расстались? Почему расстались?

Снова было молчание.

— Не могу настаивать, но ежели ответите, буду признателен: была же причина, не просто же так расстались?

— Ковалевская не хотела, чтобы я был нэпманом, владельцем «Буровой конторы».

— Вот как! — воскликнул УУР. — Она догадывалась, она как знала, что вы не выдержите испытания, откажетесь от «Конторы»! Как знала! Куда уехала Ковалевская?

— Мне это неизвестно.

УУР сочувственно задумался, и в паузе вот что случилось: папочки появились. Оба! Оба-два Константино-

вича, Василий и Николай Корниловы, один курносенький, в пенсне и, кажется, с веснушками, у другого на сухощавом лице ястребиный нос, один — адвокат, другой — инженер путей сообщения. Оба отнеслись к сыночку участливо: «Мы тебя не выдадим!» Оба полагали, что если они явились в критический момент, заявили о своей моральной поддержке,— значит, дело в шляпе.

Вечное заблуждение отцов!

И опереточное и мимолетное это явление было лучше, чем ничто, гораздо лучше, тем более что папочки промурлыкали какой-то куплетик, кажется, «Когда б имел златые горы...» Папочки были в смущении и ничего не требовали. Наоборот, они о чем-то просили, Ну да, они просили защитить их. Ведь когда защищаешь кого-нибудь, то не с такой очевидностью ощущаешь, что тебе самому совершенно необходима чья-то защита!

Вот папочки и подсказывали Петруше: «Защити! Ну, если нас не можешь — защити Борю и Толю?!»

Теперь стоило еще представить того и другого в веревочной слободе, чтобы понять, насколько они беззащитны.

«Борю и Толю — не можешь? Ну, а Леночку Феодосьеву?»

«Леночку — не можешь? Ну, а Евгению Владимировну?»

Евгения Владимировна явилась на память странно: сперва с темными глазами, потом с голубыми.

«Это,— догадался Корнилов,— это при самой первой встрече вблизи крайних избушек Аула, на коровьем выпасе, глаза Евгении Владимировны показались мне темными. На самом же деле они были голубыми». За годы, которые они провели в любви, он так и не сказал ей о ее черноглазости, которая ему столь явственно когда-то показалась. Жаль, жаль, что не сказал! Нынче особенно жаль этого стало.

Папочки еще порассуждали — кого бы сынок Петруша мог защитить, и как-то незаметно, бочком-бочком, исчезли...

Ну, а Великий-то Барбос? Ни слуха, ни духа, ни гугу!

Корнилов его упрекнул: «Истинно-то великие, они не трусливы!» А потом подумал и сделал скидку:

«Значит, так и надо Великому — умница! Знает, что

делает! Значит, так и надо — не показываться на глаза УУР преждевременно! Преждевременно!»

Однако же на что-то, на кого-то надо же было надеяться?! Хотя бы слегка? На папочек, на Борю и Толю, на Великого Барбоса? На кого-нибудь?

Никто его не выручал, не облегчал положения.

Неизвестно, надолго ли, но выручил его УПК.

Он вошел в избу, остановившись на пороге, ахнул в недоумении и спросил, почти что крикнул:

— Все сидите? Все сидите, беседуете, язви вас?! И конца-края не видать вашим беседованиям, а что дело стоит — горя мало?! Замечательно и поразительно! Нет чтобы скорее, а сказать, так завтра же, собирать собрание, объединять веревочников в единый трудовой коллектив, нет этого государственного и общественного подхода, а есть одни только личные разговорчики! Вы даже и не знаете, не интересуетесь, что же за этими стенами в эти часы и в минуты происходит, как там складываются обстоятельства к объединению?!

— Что же там происходит?— спросил УУР.— Что там такого, особенного?

УПК, небольшого росточка, но плечистый и длиннорукий, негодуя, смял в руках матерчатую свою кепочку и, шагая из угла в угол избы, стал говорить отрывисто и зло:

— Ну конечно, ну конечно, где тебе, интеллигентной твоей голове, додуматься — что может и что неизбежно должно в данный момент с веревочниками происходить? Сроду нет, сроду не додумаешься! А вот темные веревочники, они поняли отчетливо, что делать, и на базаре и в соседних сельских поселениях они в спешном порядке продают всю до нитки, у кого какая есть, готовую веревку! Вот чем они, к твоему сведению, в настоящее время заняты!

— Почему это они? Вдруг?— снова спросил УУР.

— А потому вдруг, что завтра, когда они объединятся в настоящую артель, индивидуального сбыта и торговли у них уже не будет, будет только через контору артели. Вот они и спешат сломя голову расторговаться! И продают свою продукцию, веревку свою направо и налево за копейки, кому придется, хотя бы даже и спекулянтам-антисоветчикам и рвачам!

— Какой же им смысл продавать за копейки? Что-то тут не так...

— Тут все так! Все как есть: копейки они сегодня получают в собственные руки, а рубли-то завтра получит артельная касса — вот какой у них частнособственнический интерес!

— Но ведь это же их собственная, а не артельная веревка, они ее вправе кому угодно и за какую угодно цену продавать! При чем здесь мы с тобой?

— Мы? С тобой? Да мы с тобой полностью в ответственности за такое безобразие, за такую их несознательность: артель завтра в трудовой коллектив организуется окончательно, а касса-то у той артели будет пустая? С чем начинать-то придется артели, с какими такими деньгами и средства́ми? Может, правление по миру пойдет, с того и начнет свою деятельность?

УУР подумал и сказал:

— Что же мы теперь — веревочников на веревках должны держать? Что мы должны делать?

— Это я тебе враз и объясню, потому что это любому ребенку понятно! Первое, это ты должон сию же минуту кончать интеллигентскую свою болтовню с товарищем Корниловым, второе — заниматься порученным тебе государственным делом, то есть заканчивать проверку у всех артельщиков налоговых квитанций и прочих документов, и тут же, не откладывая, собирать собрание, объединять их в истинную уже, а не в поддельную артель! Ребенку понятно!

— Слушай,— сказал УУР, глядя куда-то в сторону, в окно,— в конце концов, артель — это твое дело, мое же первоочередное — снять допрос с гражданина Корнилова. И определить его социальное лицо. Вот так! Кроме того, ты стажируешься у меня по финансово-следственному делу, а не я у тебя!

— Верно! Я у тебя — по финансовому, а ты у меня? Ты у меня по государственному делу стажируешься. Понял? Вот навязался-то, прости господи, на мою шею, стажер! Да как бы не на двоих на нас, а только на меня одного было записано поручение устроить артель «Красный веревочник», так у меня дело давно было бы закончено, я бы после того успел уже и еще в одной, а то и в двух промартелях побывать, там наладить порядок!

Над левым глазом УУР часто-часто задергалось веко, а лицо как бы сразу похудело.

Корнилову захотелось подсказать УПК, как, какими словами можно и дальше ругать и обзывать следователя, что он не сдержался:

— Вы не совсем правы,— сказал он.— Просто ваш товарищ — бо-о-ольшой теоретик!

— Куда там!— живо согласился УПК.— Он даже более того, он очень сильно гнилой интеллигент!

— Что говоришь?— постучав пальцем по столу, воскликнул УУР.— Не знаешь? А дело в том, что гражданин Корнилов — враг народа! Я в этом обстоятельно разобрался и еще разберусь. До конца. А ты мне мешаешь! И даже срываешь мне это дело, мое разбирательство!

— Ну, когда он враг, когда ты разобрался в этом — так и сдавай его под суд, сдавай в Уголрозыск или в Чека, мне все равно куда. Но ты его даже не арестовываешь, никуда не сдаешь, держишь на воле и разговариваешь, и разговариваешь! С врагом — какие у тебя могут быть разговоры?! Когда он враг — ему давно пора работать в итеде, то есть в исправительно-трудовом доме, либо сидеть в домзаке на строгом режиме за решеткой. Ежели он все ж таки не совсем враг, а только из бывших — пусть работает в веревочной хотя бы артели. Там ли, здесь ли, но пусть работает, потому что кто не работает, тот не должен есть, а вы, небось, едите обои! Постыдился бы! Да ежели люди и на работе будут целыми днями болтать, заниматься безработицей, так мы ее во веки веков и не изживем, безработицу-то!

— Можешь помолчать?!— повысил голос УУР.

— Не могу! Не могу я молчать, потому что мне стыдно за тебя, за интеллигента, за то, что ты прячешься за спину своего же допрашиваемого гражданина! Стыд! Глаза бы не смотрели! А еще партиец со стажем! Да любой веревочник, которого завтра же ты будешь агитировать и записывать в артель,— он сознательнее тебя! Пойди поищи хотя бы одного из них, чтобы вот так же сидел, разговаривал бы изо дня в день, и даже протокола не писал бы — о чем все ж таки идет разговор?

УУР встал, собрал портфельчик. Вышел из избы. Потом дверь приоткрыл, сказал:

— Пойдем! Пойдем, поговорим в другом месте! Ну?!

Корнилов остался в избе один.

Тихо было. Собачонка где-то лаяла без толку. Где-то каркала ворона, к дождю, должно быть. Где-то высо-

ко, в вершинах сосен пела иволга — к хорошей погоде.

Прошел час, неизвестно было — что делать? Свободен он или все еще должен ждать возвращения следователя?

Потом Корнилов заметил, как в соседнюю избу один за другим потянулись веревочники, мужики и бабы, все с бумажонками в руках. Значит, оба уполномоченные, или инструкторы они были, Корнилов так ведь и не знал до сих пор точно их наименования, значит, они снова занялись проверкой налоговых квитанций, прочих документов. В соседней избе они занялись этим.

«А может быть, и не будет дальше допроса? — подумал Корнилов.— Не будет, да и только?! Кончил УУР с ним разговаривать?!»

— Конечно,— сказал Корнилов, когда на другой день допрос продолжился.— Конечно, два иронически настроенных человека очень много могут позволить себе в отношении друг друга. Могут даже...

УУР, сидя против него на табуретке, заложил руки за спину и прервал Корнилова, сказав, что иронию выдумали интеллигенты, а народу ирония не свойственна. Юмор — другое дело, смех — да, а ирония — нет. В иронии без конца изощряются и форсят друг перед другом только интеллигенты. Ирония — внутриплеменное дело интеллигенции!

Корнилов заметил, что как это в самом деле странно: встретились два русских интеллигента — и вот уничтожают друг друга! Наверное, потому что один из них — интеллигент потомственный, а другой учился на медные деньги. Который на медные, тот сводит счеты, утверждает, что медные тоже создают и умственность, и образование. Так бывает. Корнилов не раз в своей жизни убеждался — бывает!

Следователь покусал себя за ус, поморщился и сердито сказал:

— Это вам только кажется, будто мы уничтожаем друг друга. По наивности кажется или по чему-то другому? На самом же деле — я вас уничтожаю! — Он присмотрелся к Корнилову.— Вы в каком звании закончили гражданскую войну?

— Капитан.

— В какой белой армии находились? Капитан? Под командованием какого генерала?

— Генерала Молчанова.

— Викторина Михайловича?

— Точно так!

— Интересный был генерал. Ходят слухи — жив-здоров, живет в Сан-Франциско. Вы-то ничего о Викторине Михайловиче не слышали? С тех пор, как на Дальнем Востоке он воевал с Блюхером?

— Откуда же...— удивился Корнилов.

УУР был человеком осведомленным.

— Некоторые колчаковские полки сплошь состояли из уральских рабочих — из воткинцев, ижевцев, уфимцев. Вы ледовый поход по реке Кан вместе с воткинцами совершили?

— Вместе.

— Знаменитое дело. Вы комендантом в каких-нибудь населенных пунктах по пути отступления армии назначались?

— Однажды. В деревне Малая Дмитриевка.

— А в городах?

— Не было. Армия Молчанова шла тайгой, через города по железной дороге отступали эшелоны чехов.

— Не подпускали вас чехи к городам-то! Все-таки: в каких городах Восточной Сибири вы были, капитан?

— Тайшет. Нижнеудинск. Станция Зима.

— Улаганск?

— Улаганск? Нет, не был.

— Точно помните?

— Вне всяких сомнений.

УУР встал, подошел к нему. Долго так стоял. Спросил:

— А вы песни крестьянские знаете? Хотя бы одну? Самарскую? Или — саратовскую? Или — сибирскую?

Корнилов не знал. Любил когда-то слушать самарские песни и частушки, но не запомнил. Ни одной.

— Эх вы!— упрекнул Корнилова УУР.— Эх вы — «Ночевала тучка золотая» — знаете. «В моем саду мерцают розы белые, мерцают розы белые и красные, в моей душе дрожат мечты несмелые, стыдливые, но страстные!» — тоже знаете, а народной песни из родной своей губернии не знаете ни одной! А без этого и мужика, кормильца своего и родоначальника, не знаете тоже.

Все вы одна шпана! В университетах обучились и ну шпынять мужика, плевать ему в морду. Добродетельно и умилительно плевать, а то — со злостью, разницы нет. Вот они когда уже явились, троцкисты! Не-ет, дворяне, те не забывали, чей хлебушко жуют, им теории не мешали. Который профессора послушает-послушает, а потом шасть на годок-другой по дорогам из конца в конец, поглядеть глазами, какая она на самом-то деле, матушка-Россия?! Какая она и каков ее народ, которому не теории справедливости нужны, а сама справедливость?!

— И песня! — подсказал Корнилов.

— И песня! — с готовностью подтвердил УУР.— Обязательно! Вот, поглядите-ка, сколько лет пройдет, и не так уж много, совсем немного, особенно если кто-нибудь с умыслом постарается, а кто-то, вот так же, как вы, руки опустит, отступится от своего хотя бы и малого, но дельного русского дела,— и тогда от нас, от русских, ничего, кроме песен, не останется! Значит, песня тоже главное дело! — УУР как бы даже собрался запеть, но не запел, уже другим тоном сказал: — Я еще что о вас узнал? Я узнал, я догадался, что когда вы хлеб едите, вы песни-то в нем не слышите. Нет-нет, не слышите! А этого никак нельзя! Хлеб бабы и девки в поле жали, так не молчали, поди-ка? А зерно веяли, опять же не молча, уж это само собою?! Они пели при этом, и не раз, и не одну песню, а я после того чтобы ни разу их песни не услышал, поедая тот хлеб?! Да какой же это человек после того? Сколько же он и глух и нем? Он уже после того троцкист какой-нибудь, вроде вас... Вот подождите — закончим с вами допрос, приобщим показания к делу, тогда я, может быть, и приду вас проводить в края, куда Макар телят не гоняет! Приду с гармоникой и спою вам песни, вы и в жизни своей не слыхивали! Где вам было их слышать-то в Санкт-Петербургах, в Самарах-Саратовах? Северные песни я знаю, поморские-беломорские, истинно русские, без посторонних, тем более иностранных, влияний и воздействий, либо на смыкании двух великих песенных стихий, русской и украинской, в Курской губернии услышанных. Я умею. Я песни собирал едва ли не от самой Варшавы и до Челябинска, от Соловецкого монастыря и до Екатеринодара, это ваш Глеб Успенский на всем том великом пространстве не услышал их ни одной, а какое же, спрошу я вас, какое имеется право у человека не слы-

шать их? Вот вы? Вы их тоже не слышали, потому вы и есть человек никакой!

— Никакой?

— Никакой! — подтвердил УУР. — Самый разный. Сами не знаете — какой! Вот я уголовников допрашивал — те знают, кто они, те личности, а — вы? Вы собеседник. Собеседник с великими и малыми. С малыми, потому что демократ. Да. А в то же время ведь сидит в вас этакое командирское и даже — белогвардейское. И гвардейское что-то — уж это точно. Семеновского либо Преображенского полка. И опять же что-то, ну прямо-таки подлинно-народное — тоже застряло. Волосы светлые, будете седеть — не заметите. И никто не заметит, а это очень народная черта, особенно для северо-западного русского населения. А веснушечки в детстве, а может быть, и в отрочестве по лицу прогуливались. Было? Жаль, жаль, что вы всему этому изменили — и гвардейскому, и народному, всякому. Очень жаль. А веснушки-то — были?

— Не было! Веснушек не было никогда!

— Странно! У таких мальчиков, которые при состоятельных родителях других забот не знали, как только размышлять — кто они, великие или не совсем, вундеркинды или так себе, — у таких при православном их облике почти неизбежно являются веснушки. Притом это, в общем-то, не худший человеческий и барский тип, это не самые плохие мальчики, я знаю. Я много репетировал в разных семьях, и такие мальчики меня никогда не подводили, они сами по себе были сообразительны. Поди-ка, лошадь умеете запрягать, Петр Николаевич?

— Приходилось. Но я по-прежнему, я все больше и больше вас не понимаю! Конечно — никаких формальностей, конечно — даже протокола нет, но все-таки: что между нами за беседа? Что это такое? Или вы нарочно так?

— Вот я и говорю: приват-доцент, собственный курс напечатал в типографии, а веревки вить умеете — надо же! И с народом запросто уживетесь! Ну постреляете его маленько, потом уживетесь, как ни в чем не бывало, тем более — народ наш зло прощает слишком быстро. Но уживетесь — до поры до времени, а как только кормом будете обеспечены — к вам в башку в ту же минуту теории полезут. Народ тот живет днем сегодняшним: ведь сегодняшнее хорошее и доброе — лучшая основа

и лучшая теория для хорошего завтра, лучше не выдумаешь. Сегодня — нэп, вот он и готов делать нэп как можно лучше, старается, верит, пашет и сеет, глядишь, и завтрашний день будет не худой. Вот так. Ну, а вы? Вы — уже и нэп побоку и начнете выдумывать другое, другое завтра, а какое — не знаете сами, потому что его ведь никто не знает, никто в глаза не видел, разве что опять все те же теории только и видели?! И так — вы ни в чем не раскаиваетесь и не признаетесь?

— Все мы преступны в этом мире. Вот вы — преступны тоже. Я в этом уверен.

— Я во время военного коммунизма едва-едва в петлю не полез, только-только не застрелился, ну, а нынче — вздохнул и даже заново стал революционером. Нынче — ваша очередь стреляться. Не хотите? Напрасно не хотите, надо бы. Для вас надо и для народа надо: ему без вас лучше. Без вашей мудрости.

— Вы в петлю чуть не полезли — и вот из-за этого и ведете теперь следствие с пристрастием?! И даже не следствие — судите меня! И даже не меня — а всю, всю как есть интеллигенцию?! Невозможно!

— Возможно! — подтвердил УУР. — Отчего же — вполне возможно! Если уж вы сами догадались, так я вам объясню: я и филологический бросил, а на юридический в свое время пошел из-за этого же — чтобы судить профессоров! Сперва думал — только профессоров, ну а потом решил — нет, всю интеллигенцию надо судить! Правда, кадетов и врачей я признавал. К кадетам относился терпимо, потому что они, землевладельцы, лучше знали народ и вот меньше были склонны ко всяческим теориям и переменам народной жизни, ну и врачей, тех я любил и люблю бескорыстно, тех просто так, за то, что врачи, доктора! Я и ветеринарных докторов тоже сильно люблю! Ну вот, а когда понятно стало, что революция неизбежна, — я пошел к большевикам, четко определил мое место. Другие мои товарищи — те в эсеры кинулись заниматься террором, к меньшевикам — парламентские держать речи, а я понял — большевики возьмут верх, а потому задача: уговаривать их поосторожнее быть с мужиком, а мужика уговаривать — не спорить с большевиками, а скорее-скорее воспитываться в коммунистическом духе. Но даже и после того, после большевизма, у меня ничуть не исчезло желание судить интеллигенцию! Судить и строго спросить — да как же так, когда же и почему случи-

лось, что вы всю жизнь, сколько существуете, клянетесь в любви к народу, приносите ему жертвы, а потом вдруг выясняется, что теории народного устройства вам дороже самого народа? Когда же, как и почему случилось это предательство? Может, вы знаете? Петр Николаевич?

— Я что-то в этом роде думал,— да, я думал — почему интеллигенты шли в народ, приносили жертвы, а воспитывали тем самым кого?— спрашивал я. Не палачей ли, которые жертвы привыкли запросто принимать?

— Вы? Так думали? Эт-то интересно! Это очень интересно! Ну, а скажите — почему же вы, до такой мысли додумавшись, все-таки снова предаете? Нэп предаете? Вы теоретически пришли к выводу: собственность вредна и — точка!

— Повторяю и повторяю: я не хотел быть собственником!

— Предательство! Без собственности нет жизни. Без собственности и мужика нет. Вот и разделяйте с мужиком ответственность, и учитесь вместе с ним собственностью владеть, а не бросайте его снова на произвол судьбы! И — теории!

— Собственности я всегда буду избегать!

— Как? Как, спрашиваю я? Учиться жить без собственности — еще труднее, чем с собственностью! Военный коммунизм попробовал, что получилось? Нэп — этот обращению с собственностью учит, он испытывает нас, он, если хотите, страдает этим, вот они — все партийные-то съезды, все газеты, все нынешние мысли — только этим обучением и заняты, а вам, приват-доценту, и дела нету, вы снова предательствуете! Ну и не начинали бы, не брали бы «Контору», а если начали — тогда как назвать ваше отступление?

Вам и дела-то — бумагу какую-нибудь в суд, или в арбитраж достаточно было подать, чтобы получить «Контору» обратно! Ну как же я после этого не скажу вам всего, что о вас думаю? Как же не буду судить тем самым судом над интеллигенцией, о котором столь долго думал? Ну, правда, я думал, мне ангельски чистенький интеллигентик попадется, а вы — замаранный. Потому и запираетесь, и скрываетесь. Ангельски чистенький, идейный, тот давно бы сказал: «Признаюсь — грешен и виновен до конца! Не знаю, в чем я виновен, но все равно признаюсь ради торжества теории! Кроме то-

го, хочу вам своим признанием чистосердечно помочь!» И вот сдается мне, что «Контора»-то совершенно не ваша была. Конечно, вас очень сильно мог перепугать военный коммунизм, но все-таки сдается мне, что вы из соображений совершенно не теоретических от «Конторы» отказались! Сдается мне, что...

Тут Корнилов энергически взмахнул рукой перед самым лицом УУР и воскликнул:

— Да погодите вы! Да мало ли что вам сдается?! Объясните мне: вы с юношеских лет революционер, но как же, как это все в вас уживается — пролетарская революция с этакими взглядами? Двуличие, да? Я вам точно говорю: двуличие! Ну да, ну да,— стал и дальше говорить Корнилов.— вы не саму идею революции восприняли и не ее саму — пролетарскую, а только вопрос, через нее возникший: как мужика сохранить? От революции никуда не уйдешь, у самого-то мужика есть в революции большой резон и расчет, но как бы он не сломал себе шею, а? Как бы он не погибнул?— вот ваша забота! Может быть, и смысл вашей жизни?!

Покачавшись на табуретке, УУР снова встал, снова, пригнулся к окошечку, посмотрел сквозь запыленное стекло на Ту Сторону, когда вернулся к столу — надо же!— легко, даже с охотой снова отступил от всего того, что ему «сдается», снова перешел к отвлеченным своим рассуждениям, только сначала он сказал:

— А ведь нравится вам отвечать на мои вопросы? За себя отвечать — меньше нравится, не тот у вас делается голос, и глаза не те, и выражение лица не то, даже энтузиазм — не тот, а вот за всю интеллигенцию отвечать и беседовать теоретически насчет собственности — это вы с большим желанием! Ну, так что же я вам скажу? Скажу: насущная задача — сохранить мужика! Очень революционная в наши дни задача! Он ведь еще понадобится, еще призван будет и к труду, и к духовности, и к войне, а кто нынче о нем заботится? Еще оставшаяся в живых буржуазия — она как-нибудь извернется, интеллигенция, может, и не вся, но извернется тоже, а крестьянин? Он изворачиваться не умеет, не учен, особенно в лучшей своей, в самой честной своей части. Худшая — та опять же не пропадет, тоже вывернется, вон из Аула-то поезда идут с мужиками, с мужицкими семьями, это все те, которым ни крестьянское звание, ни сама земля не дороги, вот они и подаются на хлопчатник, в Среднюю Азию, ну, а истинные-то пахари? Ду-

шевные-то? Они на месте остаются, они в землю верующие, и за них — боль: как-то с ними будет? Какие еще интеллигентские теории на них будут испытываться? Ведь вот же вы, интеллигенты, устраивали же опыт, собирались в толстовские коммуны, землю сообща пахать, коров и коз водить, а чем кончили? Разбежались все, сперва перепутав между собой жен своих и чуть ли не детей, а это — плохой признак, это значит, задача опять же на мужиков будет переложена! Всегда так было — чего у интеллигента не получалось, то должен мужик исполнить! Я — не против, в коммуны мужики сходятся — я не против, но как бы они тем самым лишнего масла в и без того горячие интеллигентские головы не подлили, а то уж и такой слышится разговор: «Ага! — они сходятся! Так загнать их в коммуны всех до одного — лучше будет!» Сегодня — лучше, а завтра — это станет одним-единственным способом мужицкой жизни, вот ведь как получается! Завтра загоним всех веревочников в артель, хотя психологически их к этому никто ведь не подготовил!

— Но ведь это уже ваша теория! Ведь говорили, говорили же вы мне, что еще в четырнадцать лет пришли к выводу о необходимости срочного перевоспитания народа! Вы — тоже теоретик и утопист! И какой: законы общинности раньше, чем арифметику, хотите в школах преподавать!

— Хочу, хочу...— подтвердил УУР.— Потому и бросаю юриспруденцию, иду в деревню, в сельскую в какую-нибудь школу. Хочу объяснить мужикам, что им и на этот тяжелый случай от природы и опять же от русской истории очень многое дано — общинность дана им, дух общинности дан. Вы знаете, я автора одного изучаю: Швецов некто, «Алтайская крестьянская община», капитальный труд, в тысяча девятьсот одиннадцатом году напечатан, а человек будто бы предвидел год тысяча девятьсот двадцать шестой и вот убеждал мужика: «Ты не забудь, мужик, что ты не дурак, а умный, что ты знаешь то-то и то-то, только сумей этим знанием при необходимости воспользоваться!», и — боже ты мой! — чего же только в том поистине труде нету? Ну прямо-таки пособие общинной жизни — и как налоги мужики одного общества между собой раскладывают, и как совместно скот пасут и племенное стадо устраивают, и как машины покупают и совместно же на них работают, как пьяниц за пьянство наказывают, а лавоч-

ников — за обмер-обвес, все предусмотрено! И общинная эта конституция, и Старый и Новый Завет, все что угодно! Опыт-то какой! Мысль — какая! Стремление к справедливости — какое! Теперь бы этот опыт, эту мысль да в жизнь бы вставить, а?! Но не сумеет мужик вставить-то, нет, не сумеет! Уж очень дело сложное — и революцию не обидеть, и историю не порушить, продолжить ее! Это как же надо славировать, по какой по жердочке надо пройти?! А — мужик?! Он лавировать и по жердочке ходить не привычный, да и ваш брат интеллигент его и тут в покое не оставит: «Сам не ходи, давай-ка я тебя проведу по жердочке-то, я — ученый!»

— Да разве самому-то интеллигенту от своих собственных идей и теорий не больно? Разве он не испытывает их на самом себе? Разве мучительно не выбирает среди них истинную?

УУР сказал угрюмо:

— Вот пускай бы она, интеллигенция, и испытывала свои теории только на самой себе! Вот это было бы справедливо! Впрочем, нам с вами, Петр Николаевич, приближаться к концу пора! Весьма даже пора! И я уже не могу сегодня больше, утомили вы меня, я пойду, а вы бумажку одну внимательно прочитайте. Вот эту прочитайте, и коли возникнет желание, вспомнив свое прошлое, что-нибудь о себе написать, изложить, то вы уж, пожалуйста, намерение это в долгий ящик не откладывайте, а тотчас его исполните. Под вдохновение исполните его и чистосердечно — это самое лучшее. Под вдохновение! Я и бумаги вам оставлю к этой цели — раз, два, три, пять, восемь совершенно чистых листочков. Нет, больше — двенадцать листочков оставлю я вам. Пишите на здоровье. Теперь — с богом! До завтра! Завтра днем и встретимся, перемолвимся, день будет мой, а ночь нынешняя будет ваша — размышляйте! На здоровье!

* * *

«ПРИКАЗ № 1

Объявляется населению: город Улаганск с момента вступления в него частей Средне-Сибирского Корпуса войск Верховного правителя адмирала Колчака, то есть

с 12-ти часов дня 14-го месяца декабря 1919 года, находится на чрезвычайном военном положении.

Вся власть переходит к военному КОМЕНДАНТУ города.

Посему приказываю:

1. Считать комендантский час с шести часов вечера до шести утра.

Жители обоего пола и разного возраста, замеченные в эти часы на улицах, подлежат немедленному аресту и препровождению в КОМЕНДАТУРУ.

2. Всем жителям, имеющим огнестрельное оружие, сдать таковое в КОМЕНДАТУРУ не позднее 12-ти часов дня 15-го месяца декабря.

При обнаружении у жителей несданного в указанный срок оружия виновные подлежат немедленному расстрелу на месте.

3. Всем владельцам жилых домов, смотрителям казенных и прочих зданий и помещений не позже 12-ти часов дня 15-го месяца декабря с. г. сообщить в КОМЕНДАТУРУ о лицах, находящихся в этих помещениях без вида на жительство, выданных органами власти Верховного правителя адмирала Колчака.

Неисполнение данного указания карается расстрелом.

4. Отрядам интендантской службы и полевых войск, расквартированных в г. Улаганске, предоставляется право реквизиции у местного населения теплой одежды, продуктов питания, скота и рабочих лошадей с выдачей соответствующих расписок, заверенных печатью и подписью КОМЕНДАНТА.

Сокрытие теплой одежды, продуктов питания, скота и рабочих лошадей, равно как и сопротивление указанным отрядам, карается расстрелом на месте.

5. Деятельность всех расположенных в городе государственных и частных предприятий и учреждений (кроме электрической, водопроводной, почтово-телеграфной и железнодорожной станции) временно прекращается.

Деятельность государственных, общественных и частных предприятий и учреждений может быть возобновлена не ранее чем с 12-ти часов 15-го дня месяца декабря с. г. согласно письменного разрешения КОМЕНДАНТА.

14 декабря 1919 г.

КОМЕНДАТУРА: г. Улаганск, ул. Московская, угол Садового переулка.

КОМЕНДАНТ Капитан *П. Корнилов».*

Вот она что собою представляла, та бумажка, сложенная вчетверо, оставленная на столе Уполномоченным, какой это был Приказ от 14.XII.1919 г.

Корнилов проснулся — ему показалось, проснулся от темноты.

Открыл глаза.

Так и есть: с закрытыми глазами, во сне, было светлее, чем с открытыми и наяву.

Во сне воображаемый, а все-таки мерещился свет, какие-то полоски с какими-то оттенками, при открытых же глазах не было ничего, кроме тьмы.

Корнилов не поверил, накинул пиджак и вышел на улицу — там-то что было?

Невообразимая тьма и совершенно никаких предметов — ни земли, ни неба. Закинув голову, Корнилов смотрел вверх, что-то промелькнуло, какая-то искорка, но промелькнула ли?

Он пригнулся, нащупал рукой приступку, сел.

Веревочники крылец не ладили, две-три приступки — и вот она дверь, ведет прямо в избу, это редко, когда сначала надо миновать еще и сени.

Итак? По любой дороге? В любую сторону?

По любой дороге, в любую сторону, в любые день и ночь, а ведь повсюду, даже в такой вот исчерна-черной ночи, повсюду строгая, недремлющая Советская власть! Мужчина ли, женщина ли, парнишка или девчонка, если только заметят подозрительную личность, первым делом в ближайший орган Советской власти, в сельский Совет: «Личность! Из стога на Мякишкином увале вылазила! В стогу, видать, и ночевала!»

Кроме того...

Непонятной была Корнилову та страна, в которую он мог нынче бежать... Нет, непонятна...

Что-то происходило в ней, какие-то события, от которых его отгораживала Верхняя, а может быть, и Нижняя веревочная заимки, и вот уж он сам себе признавался в том, что за этой оградой он чувствовал себя и спокойнее и даже увереннее.

За пределами же заимок он должен был спрашивать

себя: что происходит? И не находил ответа, не знал объяснения.

Не находил, не знал, хотя газеты писали и он своими глазами видел, убеждался в том, что сельское хозяйство страны превзошло довоенный уровень 1913 года, что промышленность этого уровня вот-вот достигнет, что лозунг «Превратим страну из аграрной в индустриальную!», который еще недавно вызывал у него возмущение своей самонадеянностью и даже наглостью, кажется, и в самом деле реален.

«Нет, непонятно, как все это произошло-то? Пять лет тому назад — голод, разруха, тиф, холера, не только он, Корнилов, но и вся страна доживала последние дни, и — вдруг?!

Только что заложен первый в истории России тракторный завод.

Только что началось строительство Туркестано-Сибирской железной дороги.

Только недавно, незадолго до своей смерти, Ленин сказал, что он нашел ту степень соединения частного интереса и контроля его государством, которая составляла камень преткновения для многих и многих социалистов.

Только что на XIV съезде партия переименовала себя из РКП(б) в ВКП(б) — что все это значило?» — думал и думал Корнилов.

Вот-вот будет пущена Волховская гидроэлектрическая станция...

Вот-вот, вот-вот, вот-вот что-то еще и еще случится — только с этим ощущением и можно было жить в России, а он этого ощущения все еще не принимал, не мог и боялся его: ему с головой хватало событий вот-вот минувших, недавних, он и в них-то не мог до сих пор разобраться и все откладывал, все откладывал этот разбор на завтра, на послезавтра...

Кроме того...

Кроме того, приятно, поди-ка, будет УУР, если Корнилов убежит! «Убеги, Корнилов, убеги, а мы тебя поймаем, мы тебя доставим в город Аул по этапу, мы тебя спросим: от чего убежал?» Да так оно, кажется, и было — не провоцировал ли УУР побег? Какая искренность, какие разговоры, какие книжечки — Боря и Толя! — какие свободы: хочешь, допрос будет сегодня, а хочешь, так и завтра.

Потом «Приказ № 1» коменданта города Улаганска П. Корнилова от 14.XII.1919?

А вдруг... А вдруг УУР очень хотел, чтобы Корнилов убежал с его глаз долой, хотел его выручить, спасти? Ну кто бы это оставил его с «Приказом № 1» наедине и не арестовал бы, если бы не хотел, чтобы подследственный скрылся?

Как же было-то? На самом деле? Как — есть?

Корнилов позавидовал удачливому беглецу.

Ну, конечно, вот сейчас, вот в эту минуту, где-нибудь, в какой-нибудь стране кто-то обязательно выламывает решетку тюремной камеры. Кто-то ее уже выломал. Кто-то, крадучись и прыгая, минует тюремную стену.

Кто-то — на свободе!

И никогда-никогда не будет пойман, а будет отныне жить той самой жизнью, которой хотел жить.

Познакомиться бы со счастливчиком, а?! Поздороваться бы. Подлец, поди-ка, убийца, а ведь вызывает чувство зависти — ему-то можно, он-то смог, а — ты?

Вот бы удивился тот беглец: у Корнилова ни решетки, ни тюрьмы, у него невероятно темная ночь под рукой, а не бежит! «Не бежишь? Ну и дурак, пожалеешь не раз! Посадят в настоящую тюрягу, в угловую камеру второго этажа, в бывшую монашескую келью, оттуда будешь рваться на свободу и замышлять побег — вот тогда и поймешь, каким ты в ту ночь, свободную своей темнотой, своей бездонностью, был ничтожным и глупым человеком! Ну — торопись, ведь рана на голове зажила, а за ночь ты тридцать верст отмахаешь! Торопись, чтобы не проклинать себя, когда будешь в тюрьме!»

Корнилов пошарил в карманах пиджака, ничего не нашел, сходил в избу, принес два предмета: спичек коробок и медный пятак.

С большого пальца левой руки он подбросил пятак высоко вверх, прислушался, как упал он на землю. Зажег спичку. Пришлось и еще зажигать огонька, прежде чем обнаружилась в темноте судьба — пятачок лежал «орлом» вверх, то есть вверх лежали серп и молот. Земной шар, пучки колосьев и показывали: бежать!

Что — с собой?

Бритву с собой, полотенце, мыло, зубную щетку — с собой! Порошок-то есть ли зубной? Белья две пары...

Но тут вот какое дело, и это уже всегда, это неизбежно — чуть засомневался, чуть зазевался, чуть замешкался в исполнении предначертаний «орла», как в ту же минуту вместо твоего собственного «я», судьба которого в эту минуту решается, появляется умненькое такое «мы».

Является, и уже не от себя, не от собственного «я» ты начинаешь думать и рассуждать, нет, ты начинаешь думать за «мы»: что и как должны думать мы, человечество, почему мы должны думать именно так, а не иначе и что из наших раздумий-размышлений следует? Из наших?

«Германия-то,— думал Корнилов.— Германия-то, со всею очевидностью проиграв войну, погибая, обливаясь кровью, все еще дралась, все еще хотела если уж не воевать, то обязательно еще убивать кого-то, убивать, убивать!»

И дальше, и дальше:

Да если бы кайзер Вильгельм Второй послушался своих генералов, принца Макса Баденского послушался и заключил мир хотя бы на год раньше, сколько бы миллионов жизней сохранилось на земле? От каких страданий и сама-то Германия была бы освобождена? И сколько бы в Европе и на других континентах не состоялось бы революций и гражданских войн, которые нынче состоялись?

Но Вильгельм Второй воевал и воевал, убивал и убивал, и ведь даже после этого его никто не судил всерьез, поговорило правительство Веймарской республики вокруг да около, потом испугалось собственных разговоров и вот, слышно, возмещает кайзеру убытки в размере 125 миллионов марок по довоенному курсу да еще и дополнительно выплачивает 15 миллионов пенсиона! Налоги с бывших солдатиков, которых не успел добить кайзер, взымает новая республика и посылает кайзеру за границу, в эмиграцию, как хорошо, как патриотично и благородно!

Вот что вдруг припомнило, вот что рассудило вдруг «мы», а почему? По какому же поводу?

Да потому что кайзера Вильгельма Второго оно сравнило с вдовой Дуськой, убитой в драке веревочников. Ну как же: Дуська тоже ведь дралась бессмысленно, уже погибая, истекая кровью, стоя на коленях, она

все еще размахивала обломком весла, обязательно хотела кого-нибудь если уж не убить, так хотя бы искалечить.

Может, она была права? Почему Вильгельму это можно, а ей, Дуське, нельзя?

И дальше, и дальше: Дуська-то, вдова, она, если бы осталась живой, если бы ее потащили в суд, разве она отрицала бы свою вину? Никогда!

И Вильгельм-то-Дуська-Второй — разве когда-нибудь повинился перед кем-нибудь?

Он — герой! Он, герой, не сомневался, бежать или не бежать из своей собственной империи и такой же вот, кажется, темной ночью, с зонтиком в руках, постучался в домик голландского обывателя — Корнилов слыхал, будто бы к аптекарю,— да и сидит за границей по сей день, пишет геройские свои мемуары и даже не помнит, как, объявив в 14-м году мобилизацию, перепугался до смерти, хотел ее отменить, но генералы генерального штаба не позволили, объяснили его величеству, что мобилизация — дело необратимое.

«А это все — к чему?» — с удивлением спросил Корнилов у «мы».

«А к тому, дорогой, что если миллионы немцев взяли под свою защиту Вильгельма, так ты, Корнилов, совершенно не виноват в том, что взял под защиту вдову Дуську, вступился за нее. Так устроено в мире, а ты — ни при чем».

«Верно, верно!— подхватил мысль Корнилов и даже развил ее: — Если уж немцы сделали из Вильгельма героя, то как бы они и еще не натворили каких-нибудь дел. В том же духе...»

Конечно, Корнилов нынче подозревал, что великие философы мира сего, так хорошо, так умно размышлявшие по самым разным поводам от лица «мы», потому только и существовали, что умели очень ловко отнекиваться от своего собственного «я».

Мысль, которую создает «мы», она ведь беспредельна...

«Беспредельна?!— усмехнулось «мы».— А ну-ка, ну-ка,— войди в эту беспредельность! На несколько шагов? Войди — и тотчас наткнешься на какую-то преграду, дальше которой для мысли хода нет! И справа, и слева, и сверху, и снизу — повсюду пограничные знаки, и перешагнуть их — ни-ни! Но какую геометрическую фигуру они ограничивают — треугольник ли,

круг ли, квадрат ли — это неизвестно. Какими линиями ограничивают — прямыми, ломаными, синусоидами — неизвестно. Какой ограничивают объем и пространство — понять никак нельзя, невозможно. Крохотный это и вонючий закуток или в огромное ты заключен пространство — ты не знаешь. И все дело в тебе самом: хочешь — считай, что находишься в вонючем закутке, хочешь — думай, что твое пространство это нечто великое и величественное, достойное гордости и благодарности. Выбирай и радуйся! Радуйся и выбирай, потому что — свобода выбора! Другой свободы у тебя нет и не будет».

«Господи, так хочется быть богом! Ведь был же когда-то! Был долгое время, год, а то и больше, а сейчас так и пяти минуток нельзя?»

Мы: «А зачем тебе?»

«Чтобы знать!»

Мы: «Что — знать?»

«Что нужно!»

Мы: «Вот остолоп, вот остолоп! Да кто же это знает то, что нужно знать? Ни один бог на свете никогда не знает этого!»

А тогда и в самом деле — какой смысл быть богом?

И когда это произошло? Когда накопление опыта жизни для тебя кончилось, а началось его расходование? В какой точке произошло-то? Для тебя? Для «мы»?

Никогда Корнилов не слышал нереальных снов.

Он никогда не слышал во сне не слышанной прежде музыки, точно так же, как не видел красок, которых нет в ньютоновском спектре.

Не видел женщин, которых никогда не знал. Евгения Владимировна ему снилась, бестужевка Милочка снилась, Леночка Феодосьева приснилась недавно, но женщины незнакомые — никогда!

Папочка самарский снился с самых ранних лет, но вот саратовский являлся уже только в состоянии полусна-полуяви.

И Великий Барбос — так же.

Боря с Толей — так же.

Пушкинский Евгений Онегин, репинский Петр Пер-

вый, толстовский Пьер Безухов — уж как были знакомы, знакомее самых близких людей, но в то время, как реальные люди снились то и дело, эти, близкие, но нереальные, не снились никогда. Итак, сны были для него безукоризненной проверкой реальности — если что-то снится, значит, существует.

Флюиды, что ли, какие-то исходят от одного существующего предмета к другому существующему? Может, не только на земном притяжении, но и на взаимном излучении флюидов держится реальный мир, а все воображаемое, все изображенное на страницах книг, на полотнах художников и в скульптурах не обладает этим излучением? И потому никогда не снится Корнилову?

От Корнилова флюиды, конечно, исходят тоже, создавая подобие магнитного поля. Вот бы куда заглянуть — в это поле?! Посмотреть, проанализировать — что, как, почему? В такую-то ночь это поле преотлично должно быть видно. Если уметь смотреть!

Действительно, ночь становилась все темнее, все ночнее и ночнее — смотри, изучай, постигай самого себя, кто мешает? Решай — бежать или не бежать? Никто ведь не мешает, свобода выбора — вот она!

Звуковая гамма будто бы соответствует цветам оптического спектра, и вот Римский-Корсаков и Скрябин видели ноту «ми» голубой, а «ре» — красной.

«Мысль человеческая,— подумывал нынче Корнилов,— тоже спектральна, то она черная, то — голубая, то — природно зеленая.

Научиться бы понимать, в каком цвете ты всякий раз размышляешь? И звоночек бы предупредительный, чтобы звонил при переходе мысли из одного цвета в другой?!

А не пойти ли в город Аул?

На улицу Локтевскую, в дом № 137? И не выкопать ли там из-под голубятни «Книгу ужасов», а тогда уже, с «Книгой»,— бежать? А с пустыми руками зачем бежать-то? Чего ради? Чего спасать? Свои собственные, Корнилова Петра Васильевича, грехи? Или — Корнилова Петра Николаевича? Или, может быть, уже и третий явился Корнилов, бывший когда-то комендантом города Улаганска, и вот уже и его нужно спасать?»

А-а-а, ч-черт побери, а для чего все это ему? Эти

мысли, мыслишки? Вопросы, вопросики? Логичные, сумбурные? Для чего?

А вот: если бы он хотя бы на один из них, совершенно безразлично на какой именно, мало-мальски удовлетворительно ответил — жить было бы должно. Это было бы бесспорным доказательством — должно!!! На воле или за решеткой — уже другое дело, это стало бы вопросом не столь существенным.

«Я, Корнилов Петр Васильевич, будучи заключенным в Забайкальском лагере военнопленных белых офицеров, в 1921 году сменил отчество ВАСИЛЬЕВИЧ на НИКОЛАЕВИЧ, а под этим именем...» — писал он еще несколько минут спустя при свете огарка, то и дело поглядывая на «ПРИКАЗ № 1».

Приказ лежал перед ним в развернутом виде.

«А Евгения Владимировна Ковалевская?— вдруг подумал он.— С ней-то — как же? Он жил под чужим именем, а кто этому содействовал? Кто, кроме него самого, это преступное деяние совершил? Гражданка Ковалевская совершила! Совершила да и бежала из города Аула в неизвестном направлении — вот как было дело — при ближайшем рассмотрении и следствии. Какое возникает юридическое дело, какое уголовное!»

«Нет,— решил Корнилов спустя еще минуту-другую,— нет, нет, не буду я и этого делать, ничего не буду писать, никаких признаний! Не надо письменного вида признаний и размышлений — не подходит!» Пусть по-прежнему будет вид устный — допрос УУР и его, Корнилова, ответы!

На другой день УУР не пришел.

Ясно: хотел потомить Корнилова, попытать его: «А ну, а ну беги, дорогой! На все четыре стороны, а я тебя поймаю!» Вот какое томление.

А Корнилов-то, он на войне, в окопах перед наступлениями уже не томился, что ли? В Забайкальском лагере не томился? В неизвестности не томился, что ли, когда ехал в телячьем вагоне в город Аул к неизвестной еще женщине Евгении Владимировне?

Привычное дело!

Убеждая себя, что — привычное, он прогулялся в город, походил по улицам Гоголевской и Пушкинской. На улицу Льва Толстого, к дому № 17 не пошел, не было желания.

Гоголевская и Пушкинская напомнили Невский и Литейный. Тем и напомнили, что те и другие он видел собственными глазами. Географическая общность мира в том и состояла, что все виденное своими глазами было Землею, реальным Земным шаром, а все остальные пространства — только понятиями о Земле, о Земном шаре.

Вот он и ходил по Гоголевской и Пушкинской, ждал настроения, все равно какого, лишь бы оно было, лишь бы пришло и потеснило томление.

Он пошел на окраинные улицы, на знакомые, и там обратил внимание — огромные такие, ну прямо-таки крепостные стоят ворота.

Стоят, коричневые от времени, совсем не городского вида, дикие, им бы около одиночного какого-нибудь, лесного, глухого жилища стоять, не пускать туда ни волков, ни медведей, ни разбойников, но вот они здесь находятся на улице Никитинской, бывшей Бийской, № 131 — две огромных створни, два толстенных вертикальных бревна, на одном бревне — глубокая, черная трещина. Так ведь все это — и створни, и столбы — до революции еще были и существовали?! И трещина, вполне возможно, тоже дореволюционная? Корнилов даже принюхался к трещине — оттуда пахло темнотой.

При воротах — двухэтажный дом К. М. Баева, помощника классного наставника Аульского реального училища, коллежского секретаря.

А рядом — дом Стефановича, из ссыльных поляков, этот вместе с забором и воротами выкрашен в зелень и тоже двухэтажный.

А с другой стороны домик в один этаж, веселый, с огромными окнами без ставен, живет немец-колбасник Мерс.

Стефановича, кажется, в живых нет, а вот Мерс как торговал до революции колбасой, так и торгует ею до сих пор, а еще плодит «мерсят» — мальчиков, а преимущественно девочек.

Мерс брал жену из города Бийска — это издавна считалось хорошим тоном среди купечества и ремесленников многих уездов Западной Сибири.

Кое-какое объяснение странному явлению Корнилов нашел, когда заглянул однажды в материалы переписи населения: во всех сибирских городах мужчин всегда

проживало больше, чем женщин, а вот в Бийске во все времена было почему-то наоборот, там преобладали, и довольно заметно, женщины, в том числе, должно быть,— первостатейные невесты.

Вот и Мерса его невеста не подвела.

А еще у Мерса, как до революции, так и в настоящее время, была холеная лошадка, гнедая красавица, почти толстушка, но резвая и с громким голосом, а при ней был и оставался бородатый, почти безмолвный, кучер.

Кучер по утрам отвозил Мерса в колбасное его заведение, Мерсиху — на базар, покупать мясо, «мерсят» невест — на Первую Алейскую улицу в 22-ю советскую школу-девятилетку, в послеобеденное же время кучер на своей резвушке доставлял свеженькую, удивительно ароматную колбасу, в бумажных пакетах, ресторану «Савой» — бывшего генерала Кобылянского, а также в дома других частных предпринимателей и коммерсантов, поговаривали, что совответработников городского и окружного аппарата кучер тоже иной раз не миновал.

Так или иначе, а только Мерсу и дебелой его супруге 1917-й оказался как с гуся и с гусыни вода. Им что? Им и 2017-й будет нипочем!

Вот и помощник классного наставника Баев, он, правда, от народного просвещения отстранен, но тоже жив-здоров, он теперь квартальный староста. С вечера до рассвета вокруг жилого квартала ходят сторожа, бьют в деревянные колотушки, так это они под его начальствованием ходят и бьют.

Квартальный уполномоченный по стаду крупного рогатого скота — тоже он, Баев.

И счетовод-делопроизводитель «Освода», «Общества спасения на водах», в недавнем еще прошлом общества не простого, а ИМПЕРАТОРСКОГО,— он же. Везде успевает бывший помощник классного наставника, жизненной энергии все еще много.

Не верится... Не верится, будто кто-то, что-то, какие-то живые и мертвые предметы остались на своих местах и после 1917-го года!

1917-й, он ведь, дай бог памяти, из курса русской истории реального училища, это должно быть известно,— он был каким?

Он был годом 1917-м от рождества Христова,

1035-м от основания Русского государства, 929-м от введения на Руси христианства, 336-м от покорения Сибири, 304-м от вступления на престол дома Романовых, 117-м от уничтожения пыток в России, 54-м от отмены в России телесных наказаний, 56-м от отмены крепостного права, 21-м от начала движения по Сибирской железной дороге, 12-м от учреждения Государственной думы и вот еще 179-м от основания города Аула...

Вот каким был тот 1917-й, когда он грохотнул и все предшествующие события, все «от», все истоки ликвидировал, будто бы их и не было никогда, а если были, так потеряли, разумеется, свой исконный смысл. Так себе уже стали. Их теперь никто и не помнит, надобности нет. Прости-прощай все это летосчисление, прости-прощай навсегда!

А вот Баев — жил. Лично живет, а также и общественной жизнью. Как был Константином Михайловичем, так им и остался!

Господи, кому-кому, а Корнилову-то этого постоянства никак нельзя, невозможно взять в толк, он думал — одни только средневековые веревочники на своих заимках, Верхней и Нижней, сохранились в неприкосновенности, но нет — помощник классного наставника Баев К. М. жив тоже! Тоже сохранился!

И Корнилов все ходил по знакомым улочкам Зайчанской части, сколько можно брал в толк, и — надо же!— что-то, что-то такое в его организме задерживалось, что-то умиротворяющее: дескать, жив курилка-мир! Мерс ведь торгует колбасой, вместе с супругой производит на свет «мерсят», и мир жив!

Итак, настроение пришло, и Корнилов был доволен, но тут он увидел двоих пьяных мастеровых, один за другим они перебирались по скрипучему деревянному тротуару, делая вид, что вовсе не пьяны, Корнилов же подумал: «Плохо, плохо! Раньше этого не было — пьяные мужчины, рабочие и в рабочее время?!» — и настроение почему-то поубавилось, спало, непонятно — почему. Его-то какое дело, он, что ли, пьян?

А тут и еще: на Зайчанской площади, около Богородской церкви, подражая нищим, какие-то мальчишки-оборванцы, беспризорники, должно быть, громко пели дурацкую, но почему-то распространенную в последнее время песенку:

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел по улицам гулять,
Его поймали,
Арестовали
И приказали
Расстрелять!

Мальчишки пели, горланили, один уж очень старался — высокий, тощий, со ссадинами на обветренном лице,— и не знали, зачем? Зачем цыпленка поймали? Арестовали? И приказали расстрелять? Жареного-то и пареного?

Все-таки в Верхнюю Веревочную Корнилов вернулся не таким, каким из нее вышел часа три тому назад, тем более что он и еще сделал большой круг, внимательно осмотрел домик на улице Локтевской, № 137, с новенькой и высокой голубятней-башней во дворе, потом он вышел на пустырь, испещренный коровьими тропками, с кустами боярышника, разбросанными там и сям, с речушкой Аулкой — она подгрызала свои песчаные берега. Постояв тут, на бережку, Корнилов перешел Аулку по мосткам из двух досок, поднявшись в гору, миновал бор, дачи нэпманов Морозовых, Вершининых, Ладыгина, Полякова и вышел к Верхней заимке, к высоченному яру Реки, в ту местность, которой владел уже не свой собственный вид и пейзаж, а вид и пейзаж Той Стороны, та даль, которая открывалась оттуда...

Подходя к своей избе, Корнилов ничуть не сомневался, что застанет там изнывающего в ожидании Уполномоченного УР.

Уполномоченный спросит его — где и почему он так долго отсутствовал. Корнилов же ответит и спросит, почему он под арестом все еще не находится.

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный...

Он вошел в избу, там, на лавке, у оконца сидела Леночка. Она воскликнула:

— Наконец-то! Я думала — сбежал Корнилов. Завидно стало: сбежал! Ах, как хорошо, поди-ка, сбежать, как приятно! Но бритва-то вот она — лежит на подоконнике. Значит, не сбежал.

Корнилов никогда еще не видел Леночку такой усталой, такой разбитой.

«Роковой год Леночкиной жизни! — догадался он. — Июнь этого года уже успел совершиться!»

А Леночка плакала и не замечала, что плачет, лицо неподвижно, не выражает ничего, даже горя. Пустое лицо.

— Здравствуйте... — сказала чуть спустя Леночка. — Я сейчас! — Она расстегнула верхнюю пуговичку замызганной кофтенки и опустила руку на колени. Снова руку подняла, расстегнула вторую пуговичку и достала из-за лифчика желтоватый, сложенный вчетверо лист бумаги.

Корнилов подумал: «Неужели!», и догадка оказалась правильной: это был «ПРИКАЗ № 1»!

— Да? — только и спросила Леночка.

— Да! — подтвердил Корнилов. — Да. Это мне знакомо!

— Следователь уже предъявлял? Что же теперь делать? Бежать? Оправдываться? Я думала — вы уже арестованы, но тут бритва на подоконнике. Бритву-то вам бы позволили взять с собой?

— Леночка, ты веришь этому? Приказу?

— Если бы верила, зачем бы я принесла это вам? Сами приказывали когда-то, теперь сами бы и оправдывались. Мое-то какое было бы дело? Вы по-свински недогадливы, Петр Николаевич! Даже стыдно это объяснять...

— И не надо объяснять, Леночка. Но ты ведь знаешь, что далеко не все обо мне знаешь?

— Так ведь все из-за этого и произошло — из-за того, что вы скрывали себя от меня! Все-все! Ведь почему нам не было хорошо, не могло быть хорошо на улице Льва Толстого, в вашей прекрасной, в вашей нэпманской квартире? Помните? Только потому, что вы многое скрывали, а мне никогда-никогда не может быть хорошо с человеком, который скрывается от меня! Не знаю, что у вас за тайны, ваше дело, но вы хотели тогда только следующего раза между нами, а больше ничего, у вас даже и мысли не было и намерения не было хотя бы в ближайшее время рассказать о себе. Вы скрывали легко, просто, вот его и не было, следующего раза, между нами, и не могло быть, но вы и этого не поняли — почему не могло быть? И все-таки, все-таки я знаю, что вы скрывали не это. Не эту бумажку! Нет!

— Ты знаешь, что это не я, — почему же ты так расстроена?

— А я не расстроена, Петр Николаевич, я убита. И так ужасно быть живой, после того как тебя убили. Мо-о-ой му-у-уж меня убил!

— Твой?

— Мо-о-ой! Это он поехал в Улаганск и привез оттуда бумажку — не одну, а несколько, много экземпляров. Одну он отдал вашему следователю. Мой му-у-уж был во время гражданской войны в Улаганске, он знал, что приказ висел там на всех заборах. И вот он нарочно пошел со мной к вам, навестить вас, больного, увидеть, тот вы Корнилов, улаганский, или нет, не улаганский. Он понял, что вы — не тот, но все равно поехал, все равно привез приказ и отдал вашему следователю, и еще он сказал кому-то, какому-то начальству, что следователь ведет ваше дело слишком мягко, не по-партийному и никуда не годно!

— Для чего ему все это?

— Опять не понимаете? Чтобы вы не мешали нам любить друг друга! Ему — меня, мне — его. Вот и все! Он был убежден, что вы будете мешать ему, мне и ему вместе со мной. И вы знаете, от мо-о-его му-у-ужа ничего при этом не убыло, он ничего не почувствовал, он каким был, таким остался, но я-то? Я-то обманута! Я-то обманулась, я же не поняла, кто со мной, не поняла, с кем мне было так хорошо! Значит, я совершенно падшая женщина, если могу так обманываться! Я даже не знаю — кто я? Все еще женщина или уже нет? Человек — или уже нет? Немыслимо! Вы знаете, я имя свое забыла, утром задремала, проснулась, спрашиваю: «Кто проснулся-то? Как зовут?» — «Леночка Феодосьева!» — «Да не может быть — разве Леночка Феодосьева когда-нибудь любила подлецов?! Разве она могла так ошибаться! А если она так ошибается, значит, это уже не она!»

— Леночка Феодосьева — только одна на свете, что бы с ней ни случилось, как бы она ни ошиблась! А я, конечно, должен был все рассказать тебе, рассказать вам, Леночка, о себе. Должен был!

— Наверное, уже тогда во мне было что-то подлое, какая-то склонность, и вот вы подумали: «Не обязательно! И так обойдется, и можно ничего не говорить!»

— Может быть, еще не поздно? Я скажу тебе все!

— Не нужно.

— Подумай — да или нет? Два ответа?

— Три: да, нет — и да и нет. То есть все безразлично, все — ни к чему. Господи, зачем мне теперь ваши тайны? Когда я была женщиной — дело другое, а сейчас?

— Леночка! Да что же тебя — никогда не обманывали, что ли? И до сих пор ты не знаешь, что обманывают ни за что, кому-то нужно обмануть, вот и все, вот и достаточно! Тебя разве не так же обманывали?

— Господи, да всю жизнь! Сколько я на них насмотрелась, на обманщиков, сколько их поила-кормила! Но они обманывали мои деньги, мое благополучие, в этом я была глупа как пробка, но обмануть меня, чтобы быть со мною близким,— никогда! В этом я была гениальна! Больше ни в чем, но в этом, клянусь, была! Никому не удавалось, и мне было даже интересно в это играть, никогда не проигрывая! Если человек ко мне прикасался, целовал щечку, ручку даже... и? И я уже знала, что он — подлец, что способен обмануть вот так, как обманул меня мо-ой му-у-уж! А теперь не могу простить себе, простить себя, а непрощеной — как жить? Скажите? Как жить среди всех, если все довели меня до такого скотского состояния? Если все терпят между собой таких людей, как Боренька! Мо-ой му-у-уж! Ну подождите, все!— вдруг крикнула Леночка и соскочила с лавки, отбежала от окна и в окно погрозила.— Подождите, вы еще заплачете кровавыми слезами — все! Вас еще постигнет кара небесная — всех! Вы еще раскаетесь, что допускаете эти ужасные преступления,— все! Раскаетесь, но поздно уже будет, поздно, и вы погибнете — все, все, все! И не думайте — все!— что вот я поплачу, покидаюсь из угла в угол, порву на себе волосы, а потом прощу вас! Не прощу! Никогда! Ни за что! Проклинаю! Нет во мне ничего, клеточки одной нет, волоска одного нет, чтобы вас — всех!— не проклинал бы! Навсегда! Я никогда, я ни за какие преступления всех не проклинала, но за это — проклинаю! Всей душой!

— Не надо так...

— Вы знаете, как надо? Тогда что же вы молчите-то?

— Леночка! Все — не слышат и не понимают, уж это всегда так. Слышу и понимаю только я, я один. Ты все это для меня говоришь?

— Для всех! Всем!— упрямо повторила Леночка.— Они не слышат меня? Пусть! Им наплевать на то, что

я говорю, как я их проклинаю? Пусть! Но когда все начнут погибать, околевать, плакать кровавыми слезами — в этом будет и мое проклятие! Они опять не будут этого знать? Пусть не знают, но оно будет, будет, будет, мое проклятие! Мне не надо торжества, мне только надо знать, что погибель всех будет, будет, будет! Ведь я никогда ничего не жалела для всех — ради бога, хватайте, обманывайте меня на здоровье, веселитесь, пойте, пейте, делайте что хотите, мне все равно, потому что ни у кого не было сил меня обмануть в том, в чем я обмануться не хотела, и я была невинна, могла быть хорошей для себя, для того, кого я истинно любила! Это ведь только мужчина, если он хороший, так ходит, как петух, и не знает, куда себя, хорошего, девать, а женщине мало быть хорошей одной, ей всегда нужно двое хороших — она и он! Вот так у меня всегда было, а потом все подослали мне одного — он не пил, не пел, не веселился, только отрицал философию и возвеличивал какие-то там органические движения, и вот сделал меня падшей. Убил меня!

Она все это говорила, Леночка, то совсем тихо, то вскрикивая, то закрывая лицо чернорабочими своими ручонками, то вытаращивая на Корнилова глаза.

— Ну, что такое с тобой, Леночка, случилось-то нынче невероятного? Во второй четверти двадцатого века — что?

— В том-то и дело, Петр Николаевич, что случилось ве-ро-ят-ное! Самое вероятное! А что двадцатый век — мне наплевать! Я знаю, вы скажете — война, нэпы, революции! А мне наплевать, я в этом не понимаю, но в том, что случилось со мной, я понимаю все! Все до конца! До конца ничего нельзя понимать, но я-то поняла!

— Ты, Леночка, хорошая! Поэтому постарайся, убереги все хорошее в себе! Постарайся, детка! Дело в том, что хорошие люди не отдают себе отчета в том, что они хорошие, вот они и беззащитны — против подлости, которая всегда считает себя лучшей.

— Господи! И вы туда же! Да чему учить-то пустое место? Что пустому месту объяснять? Господи, как же вы все глупы, умные люди! Теперь самое умное, самое правильное знаете что, Петр Николаевич? Самое умное теперь — будь что будет! Ведь сколько я жила, как только ни жила, а человеческого достоинства не теряла никогда. А теперь? Теперь уже все равно!

— Леночка! Тебе хочется, чтобы заплакал я?

— Плачьте на здоровье! Мне-то что...

— Ну представь, Леночка, представь себе, что ты вдруг, ни с того ни с сего, стала хромой? Представь и с сегодняшнего дня спокойно живи хромой!

— Не все это могут, Петр Николаевич. Не все.

— Все могут, Леночка. Все-все, я знаю. Еще не было случая, чтобы кто-то кончил самоубийством из-за хромоты! А вот людей, которые живут и без рук и без ног, я видел сколько угодно. И ты видела!

— Вы не хотите ли, Петр Николаевич, чтобы я кончила самоубийством?

Корнилов оторопел, не сразу смог ответить:

— Что ты, Леночка, что ты! Не пугай меня!

— А вы не пугайтесь, Петр Николаевич, не надо! Я этим не кончу. Я слишком много уже пережила, чтобы кончить. Раньше надо было подумать, догадаться, а теперь поздно. Поздно! Всему свое время.

— У тебя нынче роковой год, Леночка. Надо его пережить, а дальше пойдет и пойдет жизнь. Своим чередом!

— Ну какой опять-таки может быть черед? Никакого! Я знала, что нынешний год будет для меня страшным, и ко всему приготовилась, я бы все пережила, но это?! К этому приготовиться нельзя! В том-то и дело — нельзя! Петр Николаевич? Дайте рубль!

— Рубль?!

— Один рубль.

— Для чего? Один?

— Хватит дня на три. Через три дня у меня будут деньги. Собственно, рубль у меня и сегодня нашелся бы, но в той комнате, где мой му-уж. И я войти туда не могу: он снова будет валяться у меня в ногах, снова будет обещать. Как будто еще можно хоть что-то изменить. Боже мой, что он только мне не обещал — украсть обратно «Приказ» у вашего следователя, поклясться, что вы — не тот Корнилов, не улаганский, что... Одним словом, я иду к нэпману. Присматривать за квартирой...

— Ты? К нэпману?

— Ну, можно и не к нэпману, а к совответработнику. К спецу какому-нибудь. Личной секретаршей. Еще кем-нибудь. Конечно, странно, еще бы — я ведь того, кто меня возьмет, буду презирать, а в презрении к себе и к другим — чего только не сделаешь? Ручаться ни за что нельзя — все сделаешь!

— Леночка! У меня есть деньги, остались с моих нэпманских времен. Мне в соседней избе обед готовят, и завтраки, и ужины, а я расплачиваюсь, хозяйка довольна. Приходи ко мне обедать?! И завтракать приходи. И ужинать.

— Может быть, проще и не уходить от ужина до завтрака? Ладно, давайте три рубля!

— Слушай, Леночка! Должны же меня арестовать? Меня обязательно арестуют, а кому я отдам свои деньги?

— Этого мне не хватало — возиться с чужими деньгами!

— Хочу тебе помочь!

— Давайте три рубля! Вот так, спасибо! Если будете на воле — верну, если в тюрьме — принесу передачу. Я умею носить передачи, было время, научилась. И носить научилась и получать. До свидания. Спасибо.

Корнилов решил вить веревки, это мудрое было решение.

Он методом исключения пришел к нему: уйти из Веревочной заимки нельзя; разыскать Леночку Феодосьеву, продолжить с ней разговор — бессмысленно и тоже пока что ни к чему; ждать следователя в полном бездействии нет сил, нельзя. Веревки вить — можно!

Он подрядился к Буланову, зажиточному хозяину и хорошему мастеру, человеку жадному, но и в жадности немножко справедливому, они с Булановым выпили по рюмочке, поговорили пять минут о жизни, и Корнилов пошел в сарай.

Он сказал себе: «Поехали!» — и медленно-медленно стал пятиться задом, прокручивая между рукавицами жесткую струйку кудели, осторожно и равномерно извлекая кудель из мешка, подвешенного на поясе.

Впереди, в той стороне, куда он был обращен лицом, в том конце сарая, ходила по кругу лошадь, ходила, ходила, опуская и вздымая голову, казалось, что голова и придает лошади круговое движение, и вот она вращала деревянное колесо, а колесо наматывало веревку, а позади Корнилова, в той стороне, куда он пятился, навстречу ему, начинали свое движение деревянные чурбаки-противовесы, оставляя за собою гладкий след на земле, запорошенной серой кудельной пылью.

Скорость движения Корнилова и этих деревянных чурбаков должны были быть совершенно одинаковы, и вот Корнилов шел и шел неглубоким, длинным, узким желобком, вытоптанным в земле ступнями Буланова, его отца и матери, его дочерей и сыновей, его внуков и внучек.

Щелеватый, длинный сарай, сколоченный из горбылей, кое-где открывался свету большими проемами, и тогда видны были бурые стволы сосен, примятая травка, сосновые шишки, разбросанные по этой травке, а еще был виден краешек неба — предмет здесь посторонний и почему-то синий.

Саженей сорок в длину был сарай, три проема были в его стенках. Пропуская через руки жесткую струю кудели, медленно пятясь, Корнилов трижды сталкивался с этим синим предметом, всякий раз недоумевая: небо было нынешним, сиюминутным, каждое мгновение оно из синего могло стать белесым, потемнеть могло или еще посветлеть, это как ему вздумается, и такая изменчивость и готовность к ней совершенно не совмещались с постоянством труда, которым был занят Корнилов.

Ну да, люди однажды установили, как должен совершаться этот труд, в каких движениях, с какой скоростью, и с тех пор ничего уже не менялось в нем, ни одна мысль ничто больше и никогда в нем не изменила — такое было постоянство в этом труде, недоступное природе.

Вот Корнилов и чувствовал себя и там, и здесь — в тех временах, когда еще существовала тайна, когда неизвестно было, чем жизнь кончится, к чему жизнь идет, а эта тайна, может быть, и была тогда причиной и смыслом жизни, но и здесь, сегодня, он тоже существовал, где тайны больше нет и неизвестно — есть ли причина существования? Необходимость — есть ли?

Знания — приват-доценту Корнилову, было время, бог знает как кружили голову,— знания не столько что-нибудь новое разгадывали, сколько развенчивали все существующее, а развенчивание всегда нетерпеливо, и вот с тем большим упорством Корнилов-веревочник отрешался нынче от нетерпеливости, тем сильнее чувствовал себя последним из могикан: он-то еще повьет веревки, точно так же, как вились они и тысячу лет тому назад, успеет, но тот, кто будет вить после него,— не успеет, нет, будет суетиться около каких-нибудь вере-

вочных полуавтоматов и канатных машин, совершенно не зная, что значит «вить веревку»!

Ну, конечно, не обошлось без Бори и Толи, хоть кратко, а все-таки они мелькнули, полномочные представители Цивилизации заявили о себе: «Наша задача — заглядывать в будущее! Наша задача — подготавливать к будущему ум человеческий! А — твоя?»

Корнилов подумал: «Хорошо, если бы так, если бы — подготавливать! Отлично бы! Но будет ли оно — будущее-то? А может, я вас, Боря и Толя, перехитрю, переплюну: вы уже в будущем, и вы умрете, а я еще в прошлом, и я не умру: прошлое не умирает! Что было, то обязательно — было!»

С этим Корнилов и погрузился окончательно в состояние, ни Боре, ни Толе недоступное, он медленно пятился, пропуская через руки струйку кудели; слушал скрип колеса, которое крутила, крутила, крутила, взмахивая головой, подслеповатая лошадь; улавливал шорох чурбаков-противовесов, которые ползком приближались к колесу ровно с той же скоростью, с которой Корнилов от него удалялся; ощущал на лице узкие полоски солнечного света, проникавшего сквозь щелеватые стенки сарая, изредка вглядывался в синий и посторонний предмет, называемый небом. Да разве можно представить себе Борю и Толю в таком же состоянии?!

Для них витье веревок — это средневековый труд, да и сами-то средние века — это научно-историческое понятие, не более того. Для них веревочники не были и не могли быть ни театральными зрителями, ни читателями, поэтому их для них и вовсе не было. Наверное, не было?

Между тем они были, существовали в своем собственном укладе и привычках, которые Корнилову были хорошо известны и даже понятны.

Ну вот — веревочники яростно ненавидели нищих, и нищие никогда не заходили в Веревочные заимки, если кто и попадал туда нечаянно, веревочники тотчас заставляли убогого трепать или расчесывать тресту, если нищий был одноруким — давали ему в единственную руку кнут — погоняй лошадь у колеса, для этого двух рук и не нужно, слепой тоже мог быть погоняльщиком — не обязательно на лошадь глядеть, ее можно и слышать, если же нищий отказывался работать — его били, отнимали суму с подаянием: «дураки подавали, теперь пущай умные попользуются!», но бывали слу-

чаи — нищие приживались на заимках, становились работниками. Средневековье умело работать. Как умело оно работать!

У веревочников не было детства.

В пять лет детишки еще предавались забавам, играли в куклы, в лошадок, но тихо как-то и без смеха, без беготни, ну, а в шесть они начинали уже понимать, что быть детьми — это нехорошо, даже позорно, это обуза отцу-матери, и вот они становились няньками или погонщиками лошадей, собирали на топливо огромные кучи сосновых шишек около каждой избы.

И родословных тоже не было у веревочного народа. Дедов и бабок своих они еще помнили, дальше — нет, дальше никто известным не был, кто, откуда пришел в заимки — зачем это знать? История нужна, чтобы подкреплять ею нынешнее свое существование, но никто из веревочников никогда не сомневался в своей необходимости на этом свете. Веревка — вот что было этой необходимостью!

Да разве тот же Демидов построил бы аульские и прочие уральские и сибирские заводы, если бы не было у него веревок? Или, может быть, можно без веревки плавать по морям? Ездить на лошадях? Пахать? Воевать? Жить? Умирать? Без веревки покойника-то в могилу не опустишь и даже не повесишься, вот какая очевидность! К тому же веревкой кончались многие-многие надежды!

Веревочники жили по всей Сибири только заимками, несколько десятков дворов в каждой, а большего числа не нужно, больше нельзя: земли много требуется, под сараи, и сбывать готовую веревку трудно... Жить порознь — того хуже, мужики из деревень не повезут одному тебе конопляную тресту, мужики ищут покупателя крупного; к тому же в одинокой избе поблизости от города — это и не жизнь, всякая шпана ограбит и обидит.

Поэтому и устраивались заимки. Каждый хозяин сам по себе, не прочь побить соседа, но все равно они вместе и работа одна, жизнь одна, образ мыслей и образ безмыслия — один. Как в давние времена объединяла людей пещера, так же объединяет их и заимка...

Иногда веревочники ходили в город «баловаться»: бить фонари, рвать провода.

А зачем они — фонари и провода? Ежели подумать?

Веревочники же, заимочные жители, обходятся без этих предметов? Пусть и другие тоже обходятся!

Веревочники питали не только недоверие, они ненависть питали ко всему, без чего человек может прожить, ко всему, в чем они сомневались, что неизвестно, не совсем известно для чего существует. А сомнения были для них той же ненавистью.

И это уже логика. Логика сохранности жизни и природы: чем меньше человечеству нужно, тем дольше оно просуществует.

Когда же веревочники дрались между собой — они отдыхали от своего постоянства, от своей неизменности и очевидности.

Они никогда и ничего не изображали, они были только такими, какие есть, но что ни говори, а в каждом человеке живет потребность побывать артистом. Вот они и бывали артистами — в драках.

Такой был здесь заимочный коллективизм — в изначальности своей.

В изначальность и погрузился Корнилов.

«Боря и Толя! А ну — догоните!»

Это когда же он был богом-то? Тысячу лет тому назад?!

А когда был натурфилософом, приват-доцентом, читал курс в университете? Сто, может, и двести лет прошло с тех пор? Точно не скажешь.

Когда в теплушке с дырявым полом, с дырявыми стенками прибыл в город Аул? Уж не во времена ли Демидова?

Когда воевал с немцами? Несколько десятилетий тому назад?

Только и общего у всех этих людей, у всех этих Корниловых, проживших такую разную, такую разновременную жизнь, что все они существовали под одной кожей.

Да что там говорить, если, ставши «бывшим», он и в «бывшести» своей уже ухитрился еще несколько жизней приобрести и потерять!

К сожалению, потерять только временно — навсегда-то их не потеряешь, не отделаешься от них. Дескать, были, но — не стало!

И не хочешь, да поймешь личинок, когда они совершенно добровольно и в сознании все той же необходи-

мости заключают себя в куколки и в коконы! Интересно — знают личинки или не знают, что когда-нибудь они вылупятся из куколок?

Корнилов, тот не знал — кончит он когда-нибудь вить свою веревку или не кончит никогда?

А еще через день в избу уже к вечеру явился УПК, небольшой этот, деловой и служебный человечек.

Парусиновый портфельчик положил на стол, парусиновую же кепочку повесил около дверей на гвоздь, на парусиновой толстовке распустил поясок.

— Жара-то кинулась! — сказал он. — И дожди были! Замечательно и поразительно, соберем нынче урожай! Ну, как идут дела? Как твои дела, товарищ Корнилов?

— Мои? Дела? Жду своего следователя. А пока жду — и вью веревки.

— Следователь не придет.

— Не придет?!

— Он с позавчера уже и не следователь, и даже никакой не служащий, он из партии вычищенный элемент. Следовательно, с должности снятый. Замечательно и поразительно!

Корнилов был ошеломлен:

— Это — каким же образом?!

— Обыкновенным. Сперва поставлен был вопрос на партячейке, после он был исключен как переродившийся. Там нашлись партийцы — защищать его, как воевавшего гражданскую, как имеющего дореволюционный партийный стаж, — не помогло! Нынче как раз среди дореволюционников слишком много оппортунизма, это им нехорошо, это в нынешнем нэпе неладно, а начнут объяснять — как ладно, то и сами не знают. Не-ет, я на это не поддался, я безоговорочно взялся его разоблачать...

— Вы?

— Когда вопрос был мной поставлен, так я и довожу его до конца.

— Вы же в Уголовном розыске не служите? Служите в промысловой кооперации?

— Служу рабочим и крестьянам, нерушимому их союзу! Везде служу, куда меня пошлют, на что мне дано поручение. Служу честно, сколько есть моих сил. А — он? Да он давным-давно знал, что артели «Красный веревочник» в действительности нету, одна лишь вывеска,

под которой происходит обман государства, льготы по налогам происходят, незарегистрированный наемный труд происходит! Он все это знал, ему известно было, а он молчал, актов не составил ни одного, только на словах и уговаривал людей одуматься. Как же — одумаются они, веревочники, хотя бы верхние, хотя бы и нижние! Они ему песни взамен того пели, старинные разные песни демидовских еще времен, а он слушал, а чтобы составить акт, тут его нет! Он — скрывал, а я пришел в этот куст, новый работник, выдвиженец, откуда и какое у меня знание? Я до того в сельском кусте работал, в Павловском кусте, у меня там порядок заведен — и через десять лет никто не нарушит, а сюда меня бросили на укрепление и выдвижение, в пригородный куст промысловой кооперации,— откуда же мне знать? Ладно, не ввел он меня в дальнейшее заблуждение, не удалось, а мало ли что могло случиться? Замечательно и поразительно!

— И не жалко? Не жалко вам товарища?

— Жалко, но — кулацкий перерожденец, монархические песни слушал от веревочников, а когда даже среди них находился кто и запевал нынешнюю, пролетарскую, он говорил: «Не надо! Это — не интересно!»

— Может быть, исправился бы?

— При нынешнем-то буржуазном влиянии? При столкновении противных идеологий?

Потом Уполномоченный Промысловой Кооперации сказал:

— Ну, а теперь вступай, товарищ Корнилов, на должность председателя артели — и чтобы работа шла без обману государству! Ты — из разных, из бывших, ты должон понимать: кому-кому, но тебе никакой развал работы не простится, с тебя спросится да спросится. Я знаю, у меня в Павловском кусту имелись председатели из бывших, а бухгалтера, те сплошь и рядом,— и что? С них главное — глаз не спускать, а когда они поймут, что глаза с них не спускаются, они работают и работают, что и выдвиженец позавидует. Принимай дела! Замечательно и поразительно!

— Ну, а как же дело о драке веревочников? Оно же не закончилось? И я по тому делу под следствием?

— Закончилось! Из тех, которые по темноте и несознательности убили Дуську-вдову и старикашку Федьку Малых, а еще кого-то третьего,— из тех двое арестованные, остальные же должны работать в настоя-

щем соревновании друг с дружкой. Лозунги повесим над веревочными ихними сараями, над производственными помещениями — и пойдет, и пойдет дело!

— Мое дело следователь мог ведь кому-то передать?

— Нечего передавать! Под моими же вопросами он сознался, что вел твое дело из личного, а вовсе не из государственного интереса. И вот еще что, Корнилов: хватит тянуть время! Принимай дела!

— Куда же он теперь пойдет, наш следователь? На какую работу?— упорствовал Корнилов.

— Он сказал: «Пойду в деревню, в учителя! Учить детей грамоте и пению!» И все в ячейке согласились, а я ему наказал, чтобы песни для детей были не монархического содержания, не дедовские какие-нибудь, а пролетарские! «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!»

«Великий Барбос!— догадался Корнилов.— Больше некому! Упасть на колени перед Великим?» Обоняние и даже осязание подсказывало Корнилову, что Великий, что Барбос где-то здесь, рядом.

При этом Корнилов не забыл и самого себя: в самом деле, ведь только кому-то одному Великий доверил свою тайну, свое не только р-революционно-разрушительное, но и спасительное назначение в этом мире, а этим одним был — кто? Он, Корнилов, был им!

УПК говорил и говорил еще словами быстрыми, укороченными, нарошечным каким-то языком, любую мысль, любой разговор он сводил к одному, к двум словам: «Служить! Служить!», он был при этом живым, подвижным и серьезным. Серьезностью сияли его глазки, энергия светилась в них и такая убежденность, что Корнилову вдруг захотелось служить Председателем Красных Веревочников.

— Ты не думай, товарищ Корнилов, будто я говорю тебе истину в последней инстанции! Конечно, нет. Я тоже могу ошибаться, но вот в этой избе, в дому в этом мы сделаем контору. Вот сюда мы поставим стол письменный, сюда повесим лозунг по соревнованию, сюда мы приладим плакат, а сюда — порт-рет! Хороший имеется у меня в запасе порт-рет, по заказу промысловой кооперации нарисованный!— планировал УПК, изредка оборачиваясь к Корнилову:— Ты слушай, председатель! Я не каждый день около тебя находиться буду. Нет у меня такой ежедневной возможности, вот и слушай меня внимательно!

На другой день было...

Я — промысловый кооператор,
Новой жизни агитатор!

Мужчина в профиль и с порядочными усами, неопределенного возраста, в розовой рубахе... Розовое появилось из типографски несостоявшегося красного.

Мужчина под углом в сорок пять градусов приподнял руку и указывает в перспективу — на предметы кооперативного промысла.

Такими предметами были: шуба, кажется, с коричневыми, очень короткими рукавами; пара черных пимов, поставленных в виде буквы «Л»; кирпичи, тоже розовые, сложенные в штабель, должно быть, в кубическую сажень; однопалые рабочие рукавицы, опять же в паре связанные друг с другом розовой веревочкой; сани; телега и тележное колесо... За колесом следовало и еще что-то, еще какие-то предметы, но уже неопределенных очертаний и все меньших и меньших размеров, они уходили в далекую перспективу, как раз туда, куда указывал розовый мужчина.

Туда же уходил, повторяясь, и профиль мужчины, уходил до тех пор, пока не становился бледно-розовой горошинкой.

Над буквами «Я — промысловый кооператор», над мужчиной и его профилями, над предметами кооперативного промыслового производства сияла, наливаясь истинно красным цветом, нижняя половина солнца, помеченная серпом и молотом.

Ниже плаката и чуть правее был письменный стол, левее — канцелярский шкаф, оба предмета были приземисты, капитальны и свежи, недавней поделки, оба не оставляли сомнений в своем промыслово-кооперативном происхождении, а вот на столе, там была продукция государственного промышленного сектора: две стопки бумаги — писчей и промокательной, огромные счеты с костяшками на выгнутых медных стержнях, граненые карандаши фабрики «Светоч» и картонная коробочка с десятком металлических перьев — бронзоватые изящные «№ 86» и стальные тупорылые «рондо».

Ручки, в которую можно было бы вставить «№ 86» или «рондо», почему-то на столе не было. Чернильница была — крупная, прозрачного стекла, пустая.

Ну и еще порт-рет.

Такой кабинет.

Такой кабинет председателя артели промысловой кооперации «Красный веревочник» был оборудован в избе, в которой недавно, лежа на печи, выздоравливал Корнилов. В которой его допрашивал УУР — Уполномоченный Уголовного Розыска, а может быть, он инструктором назывался, или — сотрудником, или — агентом, Корнилов, оказывается, так и не узнал правильного его наименования, но теперь будто бы видел перед собой бородку рыженькую, глазки голубенькие, слышал голос раздумчивый, но иногда и сердитый:

«Вы, интеллигенты, кого любите? По вашим же словам судя, никого не любите, и нет и не было в России сословия, чтобы вы его не осмеяли, не охаяли бы! В том числе и самих себя — не охаяли бы! Вот господин Чехов, доктор, лечить должен был людей, внушать им бодрую психологию, а ведь как своего же брата интеллигента разделал, под какой орех? Мужики интеллигенцию ругали, так разве им так же удавалось?»

«Вы, интеллигенты, хотя бы один из вас, хотя бы однажды, постоял навытяжку перед каким-нибудь товарищем министра народного просвещения, попросили бы его открыть школу в деревне Ивановке, в селе Петровском?! Ради народного блага — можно ведь было бы разок навытяжку-то? Но нет-нет, ни за что, гордость и благородство не позволяли, и вот вместо этого интеллигент отправляется в народ — и просвещает его не столько в арифметике и в грамматике, сколько в идеях революций. Он при этом думал, интеллигент, что революция навсегда освободит его самого от стояния навытяжку! Ну и дурак! А дураков — судить надо!»

«Вас, интеллигентов, уже за то судить надо, что вы радоваться и то не умеете! Вот мужик: постонет, постонет, пожалобится, что ему жить совсем худо, но уж когда ему весело — господи! — тогда ему действительно весело, когда он доволен — так он доволен жизнью, а не чем-нибудь там еще! Он тогда всем доволен — птичками и всем миром божьим! Да я вот и сам, проснусь иной раз утром: «Боже ты мой, да хорошо-то как, что я до сих пор — мужик!» А вы? Вас и интеллигентность обременяет, и без нее вам жизнь не жизнь! Судить!»

«Уйду в деревню, уйду учить ребятишек арифметике, грамматике по новой орфографии и старинным народным песням. Взрослых — учить уму-разуму, что это значит — быть взрослым мужиком в нынешний исторический период нэпа. А вы? Интеллигент? Вам, рус-

скому человеку, куда уйти? Вам, доценту, есть чему учить?»

«Судить!»

В общем — человек довольно симпатичный, много, и не всегда думающий. Если уж пришел в мыслях своих к тому или иному выводу, значит, это надолго, может быть, и навсегда. Если, родившись, увидел и услышал вокруг себя какой-то мир, значит, будет помнить и любить его всю жизнь. И ведь что-то природно судейское в человеке действительно было! Следователь, может быть, и не бог знает какой, но судья — это уже так и есть, это бог ему велел, так что Корнилов все еще чувствовал незаконченность суда этого человека над собою.

Чем бы кончилось? Особенно интересно было бы понаблюдать его двойника,— если бы УУР судил не самого Корнилова, а очередную его копию,— чем бы кончилось? Конечно, было такое жизнерадостное чувство: «Вырвался! Удалось!», а все-таки — страсть любопытно, поверил бы или нет УУР, что Корнилов улаганский — это не Корнилов самарский, саратовский и аульский? Докопался бы или нет, что Корнилов Петр Николаевич — это Корнилов Петр Васильевич? Докопавшись, что бы он вменил ему в вину безусловную, а что — в условную? Ввиду того что странный этот суд не состоялся до конца, он казался теперь еще более странным, образ же судьи — еще более незаконченным: не то чудаковатым судья был, не то — свирепым? Не то рыжим и очень крупным, не то — слегка рыжеватым, среднего роста? Этакая великая и самостийная сумятица, но ведь сумятица-то человеческая? И — российская? Вот и с чувством своей подспудности, по той же, должно быть, причине Корнилов не знал, что делать,— прислушиваться к нему? Разрабатывать вглубь и вширь? Или — к черту! По шапке! Забыть, забыть?! Даже если и слишком много забывает Корнилов — и тогда забыть?! «Время покажет!» — думал он, подразумевая все-таки, что время поможет забыть.

Судебные и следственные осколки, остатки, издержки — забыть! Обязательно!

Теперь они Корнилову, кажется, оригинальными представились, а уж нелепыми и нескладными — так это точно! А ведь угрожали ему! Еще как угрожали, оригинальные!

«Поменьше бы таких оригинальностей на будущее, таких интересных сцен, таких неординарных людей,

каким был УУР! Каким был Бурый Философ!» — желал самому себе Корнилов. Самому себе, как бы даже имениннику и как бы даже герою.

Потом он подумал, что Леночку-то Феодосьеву надо выручать... Из лап какого-нибудь нэпмана. Надо, надо! Как выручать — он об этом не думал, он надеялся — какой-нибудь случай поможет. Мало ли какой может быть случай, вон их сколько, самых разных, бывает!

А Бурого Философа, который чувства отрицает, а в то же время из ревности чуть не погубил Корнилова, а любимую женщину, жену — ту погубил совсем, Бурого Философа не худо бы пристрелить. Хотя бы из-за угла — все равно не грех!

А восемь часов назад, вчера вечером, уже при свечах, Корнилов был единогласно избран председателем «Кр. веревочника». Кроме того, в протоколе собрания записано было: «Постановили: объединиться навсегда».

Объединенные веревочники, жители Верхней и Нижней заимок, громко похлопали в заскорузлые, средневековые свои ладоши, Корнилов же недоумевал: веревочники-то объединены? Навсегда?! Корнилов-то — у них председателем?

Ну, а где сейчас находится каторжник? Который бежал из тюрьмы в ту самую ночь, когда Корнилов бежать не решился? Хотя и бросал в темный ночной воздух медный пятачок, и выпал «орел» — все равно не решился. Где-то он сейчас, товарищ по несостоявшемуся ремеслу? Поздороваться бы: «Здравствуйте, разбойничек! Как живете, что поделываете? Разрешите представиться: Корнилов Петр... Ну тот, который очень-очень выиграл: и не бежал, а все равно на воле! Председателем он на воле-то!» — «Председателем чего?» — «А не все ли равно чего?»

А УПК весь вчерашний день все рассуждал и рассуждал, исходя из выгод промыслового кооператива. Нынешнее время, лето 1926 года, рассуждал он, очень благоприятное, можно сказать, самое счастливое для объединения веревочников. Как же иначе? Веревочникам предстоит суд по поводу драки, а суд, безусловно, примет во внимание, что перед ним уже не кустари-одиночки, отсталый элемент, не частные хозяева, а кооператоры, то есть сознательные граждане, строители нового, социалистического общества,— таким очень

многое можно простить, а не только драку, о которой за это время уже и думать забыли!

Кроме того, если веревочники не объединятся сегодня же, завтра им принесут налоговые повестки и штрафы за прошлый год, за позапрошлый, да как бы и не за те три года, когда под вывеской артели они скрывали свои частные доходы, а также не зарегистрированную наемную рабочую силу. Значит — объединяться! Навсегда!

Вообще, полагал УПК, летом 1926 года работа по организации и дальнейшему укреплению промысловой кооперации во всей стране, а в пригородном Аульском кусте в частности, вступила в свою решающую фазу. С некоторых пор УПК полюбил это слово: «фа-за»!

Между прочим, для УПК его стажировка в «Кр. веревочнике» или еще что-то, что происходило в последние дни, не прошли даром: он будто бы повзрослел, предметы и слова канцелярского обихода: «квитанция», «скоросшиватель», «кредит-дебет»,— кажется, уже не производили на него прежнего впечатления: он все больше и больше становился работником. И бюрократом — тоже.

И вот ровнехонько в семь часов на другое утро после объединительного и выборного собрания веревочников Корнилов вступил в свой рабочий кабинет и решил быть ироничным. Не бог весть какой выход, зато из любого положения.

Значит, так: начинаясь в необозримости, в грандиозных событиях мира, в масштабах общечеловеческих, его собственная судьба пошаталась по таким лабиринтам, по таким закоулкам-переулкам, что запуталась окончательно, не соображала, что такое «хорошо», а что такое «плохо», что такое «можно», что такое «нельзя», что такое «да», что такое «нет», и вот в таком-то ошалевшем виде и достигла она своего нынешнего владельца — Корнилова Петра Васильевича-Николаевича.

Я — промысловый кооператор...

Впрочем, что это он хотя иронически, но ополчился-таки на свою судьбу, безобразник? Того гляди начнет упрекать Великого Барбоса, безобразник! Уж это точно — стоит спастись, как тут же забываешь, а то и поносишь последними словами, и упрекаешь своего спа-

сителя?! Иногда — поносишь и упрекаешь нехорошими словами — вот какая привычка! И среди всех людей так же, и среди различных человеческих обществ так, и среди государств и народов — точно так же!.. Подумаешь, какой чистоплюй, уже и к средневековью относится чуть ли не свысока, а ведь только на прошлой неделе он, безобразник, вил веревки, а в средневековье находил огромный смысл! Подумаешь, какой интеллигент, какой Боря-Толя! Какой Боретоля! Напустить бы на него снова Уполномоченного Уголовного Розыска!

Новой жизни агитатор...

Вот это — дело другое, садись-ка, брат Корнилов, под плакат, садись, руководи «Кр. веревочником» — именно так на круглой артельной печати было указано.

Ну?

С чего бы начать?

В июне светает едва за полночь, а к семи-то часам утра веревочники уже изждались своего руководителя, истомились, сидя — трое — на приступках избы, лежа — четверо — на травке рядышком.

И вот прошла минута-другая, в председательский кабинет явился Павлуха Павлов.

Он пришел первым, Павлуха. Его другие послали, а он согласился, безответный мужик. Сам бы он первым — ни в жизнь!

Послали его потому, что он, желтовато-черной шерстью обросший, на вид страховитый, в действительности был душой-человеком. Корнилов с ним, чуть ли не с единственным, водил знакомство, сердечно беседовал еще в то время, когда работал в Верхней заимке.

Павлуха просил, чтобы пристройка к его веревочному сараю, чтобы «сараюшка» оставалась бы под замком, как частная и неприкосновенная собственность, не подлежала бы осмотрам и записям.

Просьбу Павлуха излагал следующим образом:

— Тама-ка,— объяснял он,— у меня сундук находится с разной с моей дребеденью. С моей, с бабьей, и с ребятишковой. Годов уже тридцать, припомнить, сундук уже все тама-ка, а нынче куда я с им? С тем с сундуком — во-от с таким? В избу же не затаскивать его, когда он сам в пол-избы? Не в изголовье же его класти в самое в постель? Не на крыльцо же? Не в огород же его бросить? Не в бор же выносить его без присмотру? Не...— Павлуха еще и еще соображал — куда нельзя

отнести и поставить его сундук, и чем больше приходило ему на ум совершенно непригодных для этого мест, тем больше он воодушевлялся и основательнее чувствовал свою правоту. Наконец Павлуха еще и такой сделал дипломатический ход: — А пожечь тот сундук невозможно ни в каком даже случáе, мне за его баба голову начисто сымет. Мало того, она еще из кооперации обратно в единоличество выйдет, а когда я живой в то времечко еще буду, то и меня снасильничает выйти. Веревочный сарай, тот действительно в пятьдесят одну сажень, действительно большой и главный, и он, истинный бог, должон существовать как артельное имущество, а сараюшке — тоей нельзя! Невозможно, и вот на ей должон мой личный замок веситься!

Дело-то ясное: в сараюшке под личным замком будет находиться у Павлухи сундук с дребеденью, там же будет и кудель самая лучшая, самая мягкая, пушистая кудель; там же найдет убежище и готовый веревочный товар, который, помимо артели, произведет Павлуха, а затем потихоньку будет сбывать на аульском базаре.

Павлуха не сомневался, что в большом сарае он будет истинным кооператором, членом артели «Красный веревочник», но в сараюшке хотел оставаться единоличником. Она как будто была навеки предназначена для единоличества, та сараюшка!

И Корнилов сказал об этом Павлухе, а Павлуха вытаращил сквозь желто-черную шерсть глаза: «Председатель-то! И как догадался, шельма? Догадался обо всем? А догадался — так дальше что же и как будет?»

А вот это — что дальше? — Корнилову тоже не было известно, и они сидели, растерявшись, оба, моргали в две пары глаз. Корнилов стал говорить. Долго говорил и не мог понять — для чего говорит-то? Наконец понял: чтобы ничего не сказать.

Что было сказать?

Павлуху уговаривать, чтобы он и думать забыл о сараюшке и собственном хозяйстве, уповал бы только на артель? Обман! Чтобы Павлуха как зеницу ока берег свою сараюшку? Какая же тогда будет артель, какая кооперация?

Тут что требовалось? Для решения вопроса? Тут ни много ни мало, а требовалось гармоническое сочетание личного и общественного интересов — так читал в газе-

тах Корнилов. Но для этого они с Павлухой тоже ведь должны стать личностями гармоническими?! Уж это — точно, как же иначе?

Корнилов поглядывал на Павлуху — нет, не то.

Корнилов и самого себя представил мысленно, и опять — не то!

Ну, кончилось не так уж плохо: Павлуха-то ушел довольный!

«Ох, и хорошо поговорили, ох — поговорили!» — сказал довольный Павлуха и ушел, а насчет сараюшки они так и не решили; дескать, время покажет, как и что.

Еще посетители были у Корнилова, каждый полагал, что пришел по делу совершенно секретному: насчет замка на собственной сараюшке.

С каждым Корнилов разговаривал долго, ему уже было ясно — чем дольше, тем лучше.

Заключал же он так:

— Вот и познакомились!

И действительно, посетитель уходил уже не чужим человеком, уходил знакомым, и Корнилов подумал, что теперь самое главное его занятие — это знакомиться, узнавать, у кого какая сознательность.

А еще он думал, что средневековье всегда поставляет современности самых верных рекрутов. Сама-то современность разве таких же соберет? Да ни в жизнь! Боря и Толя, что ли, пойдут — еще и еще думал он — в уполномоченные промкооперации? Или — в машинисты современных курьерских поездов? В прислугу дальнобойных орудий? А вот веревочники, подучи их, и пойдут и туда, и сюда, и куда пошлют. Веревочники, правда, хаживали и в город Аул бить электрические лампочки и рвать провода, но это потому, что они не были призваны те же самые лампочки и провода охранять.

А если бы их к этому призвали, научили бы ни к одной лампочке никого ближе, чем на двадцать метров, не подпускать? Да они бы и на километр никого не подпустили бы, они любую ценность и любое безобразие современности охраняли бы с энтузиазмом даже от нее самой.

И вообще, что бы делала современность без средневековья? Да она без него — ни шагу!

Вот и Корнилов — он не то что в коллективе, он среди двух-трех друзей, бывало, скучал, они мешали ему думать, а призвал его Уполномоченный исполнить нынешнюю идею Промысловой Кооперации — и он ока-

зался готов к этому, уже надеется на себя: «Будет сделано!» Подспудно, но уже думает, что спасает мир.

Ведь если сам по себе не надеешься и своим собственным умом не спасаешь мир, так тебя к этому быстренько призовут!

Тот же Иван Ипполитович, автор «Книги ужасов», этому научит. В два счета!

Иван Ипполитович, когда Корнилов посетил его в сумасшедшем доме, объяснил ему положение дел в мире следующим образом:

«Мало, мало человечество истребляло друг дружку, мало-с! Всего-то и отвоевало оно пятнадцать тысяч войн — много ли? К тому же и памяти нет на те пятнадцать тысяч,— рукой Иван Ипполитович в воздухе рисовал цифру «15», а потом и три кругляшка при ней,— забыты они почти что навсегда. Потому и забыты, что во все те тысячелетия не было еще гения, который «Книгу ужасов» бы писал и записывал. Нынче такой гений явился, скажу-с вам по секрету, впрочем, вы и сами о том знаете! Нынче явилась надежда на спасение, не столь уж скорая, но — надежда!

Конечно, потребуются и еще войны, а также самые различные ужасы для той книги, и когда Россия провоевала в войнах мировой и гражданской сем лет, то это, скажу вам по секрету, дорогой Петр Николаевич, хи-хи-хи! Ни-ко-ла-е-вич!— это есть сущий пустяк — сем-то лет! Такой пустяк, он только новые слова на свет может произвести, а чтобы новые дела — нет, конечно, нет! Для новых-то дел, чтобы сознание человеческое окончательно содрогнуть и подвигнуть его на новые дела,— сем лет военного изничтожения — пустяк, он даже мне не помешал, этот пустяк, и вот в тот же день, как вы меня послали в Саратов оформить ваше владение на «Контору», я подумал: «А — мне? А нельзя ли и мне оформиться? А?!» А ведь я не кто-нибудь, ведь я автор гениальной книги-с, да! Так вот, все пятнадцать тысяч прошлых войн мне же в этом моем соображении нисколечко не помешали, нет и нет! И сем лет — не помешали тоже! И, значит, не сем, а двадцать сем, пятьдесят сем, семсот семдесят сем лет столь же губительных войн и прочих событий требуется, чтобы «Книга ужасов» содрогнула бы человечество, чтобы Россия содрогнулась бы не только в слове, но и в деле!»

Корнилов тогда содрогался от этих слов Ивана Ипполитовича, потом успокоил себя: «Сумасшедший же?!»

Теперь же, вспоминая Ивана Ипполитовича, одетого в длинную холщовую рубаху, он думал: «Попробуй опровергни сумасшедшего! Попробуй не поверь в сегодняшнюю идею, в многообещающую идею спасения мира, хотя бы и через промысловую кооперацию!»

Корнилова уже подхватило, он уже чувствовал себя через мировой масштаб, тем более что в последнее свое посещение города Аула он накупил там газет и все их, от строчки до строчки, прочитал, но тут явился к нему Гришка Худяков, зажиточный, а того больше — жадный мужик с Нижней заимки.

Несколько лет тому назад к нему первому нанялся Корнилов вить веревки, но уже на другой день Гришка полез на работника с кулаками, работник замахнулся на хозяина деревянной колотушкой, на том они и расстались — Корнилов ушел в Верхнюю заимку, там и научился вить толком, вил у нескольких хозяев, но такого хама, как Худяков, слава богу, больше не встречал.

— Тае,— сказал Худяков, усаживаясь на стул и разбрасывая черной лапой во все стороны сивую свою, лохматую, давным-давно не чесанную бороду.— Тае, ты сарай мой знаешь, ты бывал в ем, в ем пятьдесят один сажен с дюймом, пишу его весь в артель, пиши и ты сию же минуту, я слова не скажу против, а сараюшку не дам! Не позволю писать! Сараюшка, не в пример сараю, завсегда под замком, чужим в нее ходу ни ногой, а ключ — у бабы, а бабу свою я обшаривать ни в коем случае никому не велю! Не позволю! Пущай она ходит при ключе, она всею жизнь при ключах ходила. А кто сунется обшаривать либо хотя бы Христом-богом выпрашивать ключ — тому проломаю башку. Проломаю. Сам.

И Худяков показал кулак, на пальце было у него толстое, потемневшее серебряное кольцо.

Господи боже мой — так вот ведь кто стукнул Корнилова по голове в той ужасной драке!

Ну, конечно, сколько Корнилов вспоминал — кто? Следователь спрашивал — кто?— он ответить не мог, он не видел. Он тогда, в драке, в какой-то миг почувствовал, будто кто-то чем-то на него со страшной силой замахивается сзади, кажется, железной тростью, он хотел обернуться, почти обернулся, но не успел. Но вот эту руку, вот этот волосатый кулак, в котором была тогда зажата железная трость, вот это серебряное потертое

и потускневшее кольцо он тогда, оборачиваясь, увидеть успел!

А следователь-то, УУР-то, думал, будто Корнилов запирается, из каких-то соображений не хочет выдать человека, который его едва не убил, а когда так, следователь и дальше подследственного ковырял, сначала слегка, потом больше-больше. А до каких пор доковырялся?!

— А-а-а!— закричал Корнилов, вскочив за столом и взмахнув над головой Худякова рукой.— А-а-а, да ты еще и грозишься, гад! Я тебе покажу сараюшку на замке! Я тебе покажу, гад, что значит идти против артели, подрывать артельный устав! Понял?!

— А я сам...— раскрыв пасть, глубоким басом взревел Худяков.

— Понял?— перебил его Корнилов.

— Сам!..

— Понял?..

Это несколько раз повторялось, и человек в розовой рубахе, будто слушая их, подтверждал: «Давай, давай, Корнилов!»

Вошел УПК, встал у порога, потом подвинулся к столу.

— Что за разговор?

Худяков умолк, посмотрел на УПК. Теперь двое было против него одного, и Худяков встал и ушел.

В дверях, не оглядываясь, погрозился:

— Вы! Собрались тут интельегенты! А я — сам!

УПК прошелся из угла в угол избы-кабинета, огляделся вокруг, посмотрел и на Корнилова:

— Здорово ты начал. Не шибко интеллигентно ты начал, интеллигент, но — здорово! А что же? Ежели обстановка требует, значит, она требует! И вот я вижу, дело у тебя пойдет, я выдвиженец от сохи, но глаз у меня на кадры наметанный, я в Павловском своем кусте промкооперации сколь председателев снял, сколь назначил?! Бугалтеров и счетоводов сколь снял, сколь назначил — ошибок не допустил! И на тебя гляжу и вижу — дело у тебя пойдет замечательно и поразительно! Ведь они кем по сей день были, веревочники? По какой графе в статистическом управлении они числились? Они так же, как художники и писатели, числились там по графе «кустари-одиночки, без мотора». Но это писателям и художникам ничего не значит, им это как с гусей вода, а рабочему человеку это же позор! И вот они,

веревочники, нынче, благодаря хотя бы и твоим стараниям, товарищ Корнилов, полностью от векового своего позора освобождаются и становятся уже не одиночками, а кооператорами, членами артели, почти полноценным рабочим классом! Так вот — исполняй свою высокую должность, Корнилов, исполняй по всей форме изо всех сил! А тогда история тебя ни в коем случáе не забудет! Ты не думай, Корнилов, будто я излагаю тебе истину в последней инстанции, но все ж таки я думаю — обязательно найдутся люди, они скажут: «Вот,— скажут они,— был председатель в промысловой артели «Красный веревочник» по фамилии Корнилов. Он был, тот Корнилов, из бывших, а в то же самое время — сознательный советский гражданин! Он не только сам перевоспитался, он вокруг — сколько было несознательных — всех перевоспитал!»

И УПК пожал Корнилову руку. Крепко!

«Давай! Давай!» — подтвердил это рукопожатие человек с плаката.

КНИГА ВТОРАЯ

V. ГОД 1928-й

«Обществу и Комиссии изучения Сибири при Крайплане, секция «Человек».

Я, как один из первых жителей Красносибирска [1], бывшего Ново-Романовска, охотно готов поделиться сведениями о его рождении, жизни и расцвете. В то время я служил у колыванского купца К. А. Жернакова и был им назначен зав. торговым предприятием, имеющим быть открытым в с. Кривобоково, при строительстве ж. д. моста через р. Обь, поэтому еще весной 1893 года нами был срублен вверх по реке и сплавлен и выгружен большой деревянный дом для торгового магазина с квартирами для себя и своих сослуживцев. Наши взоры были обращены на правый берег, где в это время шла расчистка от леса для ж. д. пути, для станции и временных мастерских (где теперь помещается мельница на Фабричной улице).

При выборе точного места для постройки нашего дома мною и моими помощниками руководили следующие соображения: 1) все работы по постройке моста должны быть сосредоточены вблизи берега, 2) громадные насыпи при постройке привлекут большое количество рабочих, 3) здесь же будут строиться мастерские и депо, а потому торговое заведение должно стоять в непосредственной близости ко всем этим постройкам. Кроме того, дальше от берега шел уже густой сосновый бор, так что и базар должен был расположиться здесь же поблизости. Однако долго мы думали над тем: как поставить дом, куда фасадом? Остановились на следующих сооб-

[1] Названия ряда городов и населенных пунктов вымышлены. *(Примеч. автора.)*

раженнях: 1) поселок будет строиться сразу от нашего дома и первый квартал — тоже отсюда; 2) фасад этого квартала должен будет выходить на юг, в виду реки Оби. Так и был построен этот первый в Красносибирске дом, положивший начало частнокоммерческой жизни.

Мы все угадали, кроме одного: фасад первого квартала был повернут в другую сторону, и уже следующий дом, который построил часовой мастер С. М. Яренский, он поставил как раз перед нашим домом, загородив совсем фасад его. Мы открыли в своем доме магазин, приурочив это к первому базару на правой стороне реки в воскресенье 20 марта по старому стилю 1894 года.

Спустя два с небольшим года первый базар был признан тесным и неудобным и его перевели выше по берегу, куда и начали зимой 1896 года перебираться все торговцы. На этой новой площади (где теперь Сибирский исполнительный комитет и бывшее реальное училище) я построил по поручению своего доверителя другой деревянный дом. Впоследствии дом этот в числе других четырех сгорел. Первый же дом со старой базарной площади был перенесен на угол бывшей Кабинетской улицы (ныне имени Урицкого).

20 июля по старому стилю того же 1894 года была произведена закладка моста на месте первого берегового временного устоя, для этой цели была выкопана глубокая котловина и на дне ее заложен первый камень. Присутствовали инженеры — начальник работ по постройке Средне-Сибирской ж. д. Меженин и другие.

Считая Красносибирск моим родным городом, а себя первым его гражданином, положившим начало его частной и коммерческой жизни, буду весьма рад оказать Обществу помощь в изучении прошлого этого города.

Мих. В. Макаров».

Такое имелось в Крайплане письмо среди тысяч и тысяч других бумаг. На нем была чья-то резолюция: «Для сведения».

Так или иначе, а факт был зафиксирован, первый дом в Красносибирске был построен не в ту сторону и тотчас оказался загороженным с фасада другим домом. Так начался Красносибирск, и вот ему на роду было написано: строиться быстро, можно сказать, мгновенно, но всегда не в ту сторону, всегда неизвестно куда фасадом, вечно быть перекопанным-перегороженным,

перепроектируемым, вечно «пере...». Вечно быть расхристанным. Вечно строиться не только камнем, но и времянками, и землянками. Он таким и был, этот город, о котором любили говорить, что он Сибирский Чикаго.

Уже было видно, что город этот будет иметь много, множество современных достижений — промышленных и культурных, но достижения достижениями, а облик обликом...

Мало этого, он был городом событийным — все, что происходило повсюду в Советском Союзе, происходило и в нем, все, что в Сибири,— тем более.

Здесь если уж происходили хлебозаготовки по краю, так на сотни миллионов пудов, лесозаготовки — тоже на миллионы кубометров, если организовывались совхозы — на миллионах гектаров, если проектировались заводы, тогда действительно такой же мощности, как в Чикаго, а то и покрупнее, если шахты — одни из самых мощных в мире.

Где-то за тысячи километров от Красносибирска в полярных морях шли корабли (корабли Северного морского пути), а здесь это было событием и краевого, и городского значения, где-то на тысячи километров в другую сторону, на юг, в Средней Азии, строилась железная дорога — здесь это отражалось тоже, отсюда уже планировались перевозки по той, новой железной дороге.

Но даже и Красносибирск, весь, с головы до ног погрузившийся в разного рода события, даже он, все его многочисленные учреждения и совслужащие пришли утром 4 февраля 1928 года в растерянность, в замешательство: в этот день утром, в 6 часов 20 минут скоропостижно скончался председатель краевой Плановой комиссии товарищ Лазарев.

Вчера Лазарев проводил заседание президиума Крайплана по вопросу о строительстве железных дорог в Сибири.

Вопрос многократно рассматривался и раньше, всякий раз долго и тщательно, но решение принято все не было и не было, потому что сами-то железнодорожники выступали с двумя принципиально различными схемами.

Одна заключалась в том, чтобы еще и еще развивать и усовершенствовать Великую Транссибирскую магистраль, имея в виду четыре колеи, современное стан-

ционное хозяйство, автоблокировку, а в перспективе и электротягу. К этой Сверхмагистрали, по замыслу ее сторонников, должны были и с севера, и с юга под углом примерно в сорок пять градусов выходить одно- и даже двухколейные ветки протяжением 200—600 километров каждая, и, таким образом, вся Сибирь, по крайней мере, вся обжитая ее часть была бы «подвешенной» к Сверхмагистрали.

Этот вариант был сравнительно дешевый, он имел сторонников среди крупнейших специалистов края и в Москве тоже.

Другая схема предусматривала строительство самостоятельной, так называемой Южно-Сибирской магистрали, более или менее параллельной к уже существующей, она проходила бы по хлебородным районам Южного Урала, Сибири и Киргизии, затем на Кузбасс в восточном направлении и в западном — на Волгу, к Саратову.

Этот проект уже пользовался поддержкой во всех инстанциях.

Итак, возникло два противоположных лагеря в среде советских работников Крайисполкома, Сибпромбюро, Совнархоза, «Кузбассугля» и, само собою разумеется, Крайплана, не говоря уже об управлениях сибирских железных дорог, по-старому — Сибирского отделения путей сообщения, или Сибопс.

Здание этого Сибопса, огромное, темное, пятиэтажное, петербургско-министерского вида, находилось в Омске, во время гражданской войны в нем располагалось колчаковское правительство, теперь в том здании и бушевали страсти по поводу двух таких вот различных проектов.

И в Москве, и в Наркомпути, надо думать, происходили острые дебаты, и в Малом, РСФСР-овском, и в Большом, СССР-овском Совнаркомах. Дело нешуточное, даже не краевого, а всесоюзного масштаба. Многомиллиардное. Дело на века. Дело было в судьбах тех людей, которые будут этими дорогами пользоваться, окажутся в зоне их притяжения, их уже теперь было 10—12 миллионов. И понемногу-понемногу дело сложилось так, что и краевые, и наркоматовские железнодорожники, и Малый, и Союзный Совнаркомы — все стали ждать решения краевой Плановой комиссии.

Дескать, в Крайплане сосредоточены не только технические, но, что еще важнее, все остальные хозяйст-

венно-экономические показатели на многолетнюю перспективу, ему и карты в руки!

Дескать, нужна какая-то отправная точка для последующих рассмотрений и решений, должно быть совершенно определенное и недвусмысленное решение Крайплана!

Вот так: в Москве, в Сибири проблемой занимались сотни высококвалифицированных специалистов, но все они теперь ждали мнения Крайплана, штат которого всего-то составлял сорок три человека, в том числе два инженера-путейца.

Из Москвы все чаще стали поступать в Крайисполком, в Крайком ВКП(б) депеши: обяжите ваш Крайплан... Поторопите Крайплан... Сообщите, когда ваш Крайплан будет готов... Крайплану установлен срок... Просим проследить...

В последние полгода, несмотря на страшную загрузку по другим, может быть, даже и не менее важным проблемам, Лазарев переключил на разработку этого вопроса всех своих экономистов, инженеров-промышленников, лесников и агрономов — лесники и агрономы должны были определить объем грузооборота в залесенных и земледельческих районах на ближайшие пятнадцать лет. Многим другим краевым организациям — Совнархозу, Сибпромбюро и отдельным ведомствам — в качестве уже надведомственного и руководящего лица Лазарев тоже задал работу, а сам вот что сделал: сам отправился в Москву и в Ленинград для изучения архивов бывшего Министерства путей сообщения и подробно ознакомился с планом развития железных дорог России до 1946 года включительно, который был начат разработкой незадолго до мировой войны, а закончен уже в военные годы.

Вернувшись в Красносибирск, Лазарев сделал доклад о своих разысканиях. Даже старые, видавшие виды инженеры-путейцы, даже кое-где еще сохранившиеся инженеры и чиновники бывшего Министерства путей сообщения и те об этом плане осведомлены не были, слышали что-то такое — кто-то когда-то занимался, кажется, этой, почти и невообразимой перспективой, но, чтобы сказать толком, что и как, нет, не было таких, не находилось, а вот Лазарев, тот раскопал множество документов, снял кое-какие копии и даже прихватил коечто из подлинников, и вот, на тебе, делает на эту тему доклад в Красносибирске!

В том царского времени плане Южно-Сибирская магистраль была, оказывается, проработана, хотя и схематически, профили были вычерчены на голубой полотняной кальке и с таким искусством, что пальчики оближешь, решения и выписки из протоколов были напечатаны через три интервала на меловой бумаге особого формата с серебристым двуглавым орлом и с эмблемой МПС на каждом листе; были там и заключения других министерств: военного, торговли и промышленности, земледелия и государственных имуществ.

И не только по южно-сибирскому направлению нашел он материалы, менее подробно, но была, оказывается, разработана и схема дороги от Тайшета к северной оконечности Байкала с перспективой развития на Бодайбо и Якутск, была линия от Семипалатинска на Пишпек, то есть современный Турксиб. Все это выкопал Лазарев, по его же собственному выражению, «из-под осколков старого строя, до конца разрушенного революцией».

Но вот по Сверхмагистрали в архиве этом не нашлось ничего. Предусматривалось, правда, строительство второй колеи, так это и без архива едва ли не каждому сибирскому путейцу давным-давно было известно.

После доклада Лазареву посыпались возражения, замечания:

— Ты, товарищ Лазарев, в уме ли? Партиец с подпольным стажем и вдруг? Нашел на что ссылаться — на архивы царского времени! Да тогда и понятия не было — Сверхмагистраль! Это наше, советское понятие, нами созданное, его и надо воплощать в жизнь!

Однако же нашлись у Лазарева и сторонники:

— Великую-то Транссибирскую не мы строили! Но построили всего за девять лет — небывалый срок для столь грандиозного проекта! Американские инженеры приезжали — глазам не поверили!

Этот доклад, все, все это было с месяц тому назад, а вчера на очередном заседании президиума Крайплана Лазарев недвусмысленно выразил свое «долго складывающееся и наконец окончательно сложившееся мнение»:

— Южно-Сибирская!

Вчера в два часа дня с минутами он так сказал, а сегодня в шесть часов двадцать минут утра умер!

И теперь никто в Крайплан не звонил и не присылал курьеров, никто не напоминал о назначенных на сегод-

ня и завтра заседаниях с участием крайплановцев, о согласованиях, об уточнениях контрольных цифр. Никто ни о чем не напоминал, любая память казалась нынче невероятной.

Как было понять: вчера Лазарев сказал «Южно-Сибирская!», в конце рабочего дня во всех причастных делу организациях только и было разговоров, споров, соображений по поводу этих слов, а сегодня он уже ничего не говорит и ничего не утверждает. Он молчит. Он мертв!

А крайплановцы-то теперь кем будут? Они теперь будут и не крайплановцы, не сослуживцы и даже не личности, если среди них нет Лазарева, если он ими всегда и такими разными одинаково пренебрег, оставил всех навсегда.

Кроме проблемы Южно-Сибирской магистрали были еще Турксиб, кроме Турксиба — Кузбасс, кроме Кузбасса — проблема хлебозаготовок на экспорт, проблема Северного морского пути, плановые цифры коллективизации на 1929 год, но все это теперь, без Лазарева, не проблемы и не цифры, а только арифметика странная и не очень надежная... Лазарев так и не отредактировал — не успел — директиву окружным плановым комиссиям по контрольным цифрам на предстоящее пятилетие, кто ее теперь отредактирует? На сегодня был назначен отчет Аульского окрплана, аульские плановики, наверное, уже здесь, прибыли утренним поездом, но в Крайплан пока не заходят, их нельзя не понять: что им делать в Крайплане, если в нем нет Лазарева? На завтра назначена встреча с председателем РКИ, Рабоче-крестьянской инспекции, и с «Сибтрудом» по вопросу о сокращении штатов в целом ряде краевых организаций, в том числе и в самом Крайплане — что можно говорить о штатах, о сокращениях, если нет Лазарева, если он сам сократился навсегда? Неделю назад председатель Крайисполкома, товарищ Гродненский, когда его критиковали в Крайкоме ВКП(б), сказал: «Я хоть сейчас готов поменяться должностями с подчиненным мне Лазаревым, нет сомнений, он лучше справится с моей работой, но все дело в том, что я-то не справлюсь с его работой! И никто, кроме него, не справится!»

А кто же теперь-то будет справляться?!

Не раз Лазарева хотела забрать Москва, но товарищ Озолинь, секретарь Крайкома ВКП(б), стоял насмерть: «Не отдам! Замены местными силами мы не сделаем,

а пришлете человека из Центра — он два года будет изучать географию края и когда-то еще войдет в курс? Не отдам! Найду среди сибиряков двух, а то и трех председателей Малого Совнаркома, а Лазарева не отдам!»

И это при том, что товарищ Озолинь далеко не всегда ладил с Лазаревым, что на одном из пленумов Крайкома Лазарев назвал Озолиня «мастером тактики, у которого не на все проблемы хватает стратегии». А может быть, надо было Лазарева Москве отдать? Может, он в Москве не умер бы?

Лазарев представлял собою малораспространенный, но вполне законченный человеческий тип — он не был похож ни на кого на свете, исключительно сам на себя, но довольно часто встречались люди, похожие на него. Правда, повторить его, повторить хотя бы приближенно было нельзя, разве что можно обладать одной-двумя чертами его внешности и характера, его манерой говорить, жестикулировать, слушать, удивляться, восторгаться, и, когда это было в ком-то, невольно казалось, будто эти люди состоят с ним в родстве.

Да-да, именно так и было: Лазарев представлял собою некий человеческий тип, Лазарев умер, с ним умер и этот тип.

...Сухая фигура, не очень высокая, но выше среднего, с выдвинутым вперед правым плечом.

Если он шел, казалось, что ему хочется бежать, а если сидел неподвижно — что вот-вот он вскочит. При этом он совершенно не был суетлив, только все время чувствовался его энергетический потенциал.

Заседания президиума, когда их проводил сам Лазарев, непривычного человека прямо-таки угнетали своей напряженностью и тем, что Лазарев то и дело разъяснял не только свои собственные мысли и соображения — о своих он не заботился, полагая, что высказывается ясно и отчетливо,— он то и дело разъяснял слова других: «Иными словами, вы утверждаете, что...», «Значит, вы хотите сказать, что...», «Итак, вас следует понять в том смысле, что...». Без таких комментариев он обходился редко. На это можно было обижаться, но только поначалу. Спустя время в комментариях возникала необходимость.

Время от времени при этом Лазарев, откидываясь на высокую спинку своего кресла, похожего на кресло судьи, обращался к секретарю Ременных: «Как там

протокол? Ты пустого ничего не записал? Прочти-ка последние строчки».

Секретарь Ременных, безногий — обе ноги он потерял на германской войне,— вел протоколы безупречно, он вообще был правой рукой Лазарева и, передвигаясь на тележке с колесиками, успевал в течение дня побывать во всех секциях Крайплана, всех поторопить, всем заведующим секциями лично вручить особо важные бумаги; он был бесконечно предан Крайплану, а Лазареву прежде всего, и вот, откашлявшись, он громко, по-офицерски читал простуженным и немного трепетным голосом: «Товарищ Кулешов (Крайземуправление): «Сахаристость свеклы в Сибири ниже, чем на Украине. Это потребует для получения того же объема продукции бо́льших посевных площадей, равно как и увеличения производственных мощностей сахарных заводов».

«Ты подтверждаешь это, товарищ Кулешов?— спрашивал Лазарев и торопил дальше-дальше:— Переходим к вопросу о проекте строительства цинкового завода!»

Часа через полтора-два все участники заседания выматывались до предела, у своих крайплановцев, правда, выработался уже иммунитет, а вот чужие — представители различных краевых организаций, эксперты, работники с мест, из округов, товарищи из Москвы,— те просили пардона: «Покурить бы, а? Дымка дохнуть свеженького! Перерыв устроить!»

«Какой перерыв, зачем?— удивлялся Лазарев.— Без перерыва же скорее кончим!»

И кончали без перерыва, и Ременных аккуратно записывал в протоколе: «Начало — 10 час. 05 мин. Конец — 12 час. 50 мин.».

Кроме того, у Лазарева еще и так могло быть: он задавал представителю Крайзу, «Крайлеса», «Сибзолота», еще кому-то несколько вопросов, а потом говорил: «К рассмотрению вопроса вы не готовы. Предложения вами не продуманы. Вопрос переносим на последнее заседание текущего месяца. Вы свободны! Ременных! Что там в повестке следующее?»

Мало того, что он со своими, с сибиряками так обходился, был случай, когда приехали товарищи из Москвы, из Госплана СССР с вопросом о развитии угольной промышленности — два спеца и один совработник — он их тоже завернул: «Мы с вашими данными вопрос решать не можем. Ваши данные требуют значительной доработки!»

Вот так... Разумеется, все завы и начальники «сибов» побаивались секретаря Крайкома ВКП(б) товарища Озолиня — у того можно было выговор схватить, еще какое-нибудь партвзыскание, председателя Крайисполкома товарища Гродненского побаивались тоже — тот любил производить всяческие перемещения в совbooаппарате, полагая, что это лучшее средство в борьбе с бюрократизмом, но ни тот, ни другой никогда и никого не выставляли принародно из своих кабинетов, а Лазареву — тому запросто.

Заседания эти самого Лазарева не только никогда не выматывали, а еще и еще придавали ему бодрости, так что весь последующий день он работал в двух и в трех лицах: кому-то из своих сотрудников давал указания, иногда даже и не говорил ни слова, а только показывал пальцем в одну, в другую, в третью бумагу, сам же в это время разговаривал по телефону, а на столе лежали перед ним открытая книга или статья по технологии коксования углей, по перегонке живицы, по возделыванию конопли...

Читал на работе он обязательно и домой без конца брал книги, «чтобы было чем заняться»!

Или вот только вчера... После заседания, на котором Лазарев сказал «Южно-Сибирская!», к нему подошли железнодорожники-сибопсовцы, и кто-то из них сказал: «Ну и жаден ты, товарищ Лазарев! Говоришь «Южно-Сибирская», а в уме держишь: «Ну, а магистраль-то мы все равно сделаем Сверхмагистралью!» Ну и жадность! Откуда?»

«Сам не знаю,— охотно и даже весело кивнул уже седеющей головой Лазарев.— Сам удивляюсь!»

...Партийные товарищи переживали потерю все вместе, они собрали партячейку и, должно быть, уже решили, что и как теперь делать: как организовать похороны, кого известить о случившемся здесь, в Сибири, в Москве, в других городах.

Вместе им и легче и проще — они уже были заняты делом. А «бывшие»? Они были каждый сам по себе и в полной растерянности.

Хотя это и могло показаться странным, но они тоже чувствовали себя осиротевшими, а переживали это горькое и тревожное чувство не все вместе, а порознь, каждый сам по себе.

Если говорить точно, то, по состоянию штатов на 1.1.28 года, служащие с высшим и средним образованием царского времени составляли в Крайплане 78,1 процента, и это обстоятельство очень тревожило РКИ, тем более что за последние годы злополучный процент не только не снижался, а все возрастал: в 1926 году он составлял 67,2 процента, в 1927-м — 75,6, а нынче достиг прямо-таки астрономической цифры — 78,1 процента! Штаты Крайплана, несмотря на огромные усилия той же РКИ и «Сибтруда» их сократить, в связи с огромным увеличением объема плановой работы все возрастали, и все за счет привлечения специалистов — вот и результат! Ничего подобного ни в одном другом краевом учреждении не происходило, только в Крайплане, и товарищ Озолинь не раз ставил Лазареву на вид создавшееся положение.

Да-да, очень хотелось бы, чтобы будущее планировалось не «бывшими», а людьми вполне современными.

«Бывшие» и сами чувствовали в своем положении очевидную неловкость...

В конце концов, чтобы хоть как-то исправить неприглядную картину, в начале 1928 года в штат Крайплана из штата Крайисполкома были зачислены один конюх, одна уборщица и один слесарь-водопроводчик, которые обслуживали общее для многих отделов здание Крайисполкома, и это снизило в Крайплане процент «бывших» до 71,2 процента, однако все понимали, что при первой же проверке штатов бригадой московской РКИ все равно будут неприятности, и товарищ Озолинь говорил: «Как хочешь, Лазарев! Сам будешь отвечать!»

Ну, а где их было взять-то — своих, советских квалифицированных работников и специалистов?

Советские вузы еще только-только налаживались их выпускать, и никто не знал, каков получится молодой и «красный» совспец — знающий или так себе? По части комсомольской и культурно-просветительной работы сомнений нет, а по техническим вопросам? И вот до сих пор на любой специальной должности — врача, агронома, инженера, а плановика, так уж это и само собою разумелось, поскольку здесь нужны были спецы среди спецов — сидели люди старой школы, царского времени. По всей стране — порядки другие, государственное устройство другое, лексикон другой, воздух и тот совершенно другой,— а спецы те же. Только что без кокард, без форменных фуражек и сюртуков, но те же!

Лазарев-то, он ведь тоже, хотя и был революционер по всем статьям — и подпольщик, и политэмигрант, и комиссар Красной Армии,— но и в нем «бывшинка» сидела: он кончил Московское высшее техническое училище, слушал лекции Худякова, Сидорова и Жуковского, сотрудничал с самим Шуховым Владимиром Григорьевичем, успел повращаться в русских инженерных кругах и, наверное, поэтому в грудь себя не бил, не шумел: «За что кровь проливали?» У него своя была формула: «Воевали, кровь проливали, теперь нужно доказать, что не зря!» И крайплановские спецы, а среди них кого только не было — министры бывших временных сибирских правительств, в том числе и колчаковского правительства, и даже один крупнейший генерал по фамилии Бондарин, которого, было время, чехи хотели поставить верховным правителем России,— все эти «бывшие» должны были своим собственным трудом и пóтом доказывать, что «не зря»! Что не зря большевики с ними воевали, не зря их побеждали, не зря захватывали у них власть. Потрудитесь, господа, теперь все это сами же доказать!

Следом за Лазаревым «бывшие» легко повторяли: «Крайплан — штаб нашего будущего!» — и не испытывали при этом заметного душевного расстройства, а теперь вслед за кем это скажешь? Повторишь?

Вот он каким ко всему прочему был, нэп, какого требовал тонкого и умелого сотрудничества с разными людьми, каких организационных способностей! Как раз таких, которыми обладали и Лазарев, и Озолинь.

Кто сможет Лазарева заменить?

Вегменский, что ли? Вегменский Юрий Гаспарович — это партстаж тех времен, когда и ВКП(б)-то не было, а были только кружки, из которых получилась РСДРП; это годы отсидки по тюрьмам, годы ссылки в места отдаленные; это нынешний авторитет председателя Краевого общества бывших ссыльных и политкаторжан и зампредседателя Крайплана. Хотя бы потому авторитет, что, помимо всего прочего, Вегменский был необычайным эрудитом.

Сын аптекаря откуда-то с Украины, он в тюрьмах и ссылках набрался поразительных знаний, и, если заходил разговор о производстве олова, он тотчас давал справку о том, что выплавка этого металла ведется путем восстановления оловянного камня, что примеси сульфатов удаляются из него путем обжига концентра-

тов, а «оловянная чума», то есть разрушение оловянных предметов, есть не что иное, как превращение белого олова в серое, процесс, особенно интенсивный при отрицательных температурах, а «Лондон Тин корпорейшн» — самое мощное предприятие международного оловянного картеля, а цены на олово нынче низкие, вот что!

Сахарная свекла?

Китайцы рафинировали сахар еще в VIII веке из тростника, Петр Первый разрешил беспошлинный ввоз в Россию тростникового сахара-сырца, а в середине восемнадцатого века некто Маркграф открыл новую эру сахарного производства, установив присутствие сахара в свекле, генерал-майор Бланкенигель (Тульская губерния) построил первый в России сахарный завод на свекле, а сахарная промышленность Советской России в прошлом месяце достигла довоенного уровня 1913 года, а в 1913 году сахарный акциз составлял 1 рубль 75 копеек с пуда, то есть 40 процентов его цены, вот что!

Олово ли, сахар ли, искусство ли Древней Греции, римское ли право — Юрий Гаспарович во всем был сведущ, но чтобы он заменил Лазарева? Невозможно!

Оргталантов Вегменский не имел, разве что в зачатке и в масштабах тюремного старосты либо старосты политссыльных в городе Обдорске, не более того.

С гривой седых волос, бородатый, он сам себя именовал теоретиком марксизма и очень любил, когда, пусть и шутя, его называли Сибирским Марксом, он очень мучился оттого, что не мог говорить громко и выступать на многолюдных митингах — у него было искусственное горло.

В эмиграции, в Женеве, он сильно заболел горлом, смертельная была опасность, сказались простуды и ангины, которыми он страдал в якутской и обдорской ссылках, а тут как раз некий швейцарский молодой хирург объявил о своем изобретении «искусственного горла». Однако пациентов у хирурга не было даже и после того, как он объявил солидную премию для своего первого пациента: никто не решался испытывать судьбу. А Вегменский решился, терять ему было нечего, и вот он получил премию и новое горло и славу — его фотография была помещена во многих европейских газетах.

Хирург тоже разбогател, стал буржуем, это не мешало Юрию Гаспаровичу до сих пор состоять с ним в переписке, в августе каждого года Вегменский сооб-

щал в Швейцарию о состоянии своего горла, носа и ушей, из Швейцарии же получал книги на французском и немецком языках со статьями о достижениях современной западноевропейской медицины.

Конечно, искусственное горло было аппаратом хлопотным: хочешь поговорить, нажимай и держи одним пальцем кнопочку рядом с кадыком, а речь все равно получается сипловатая, с железным скрежетом. Председателю Крайплана это разве подходит?

Тогда кто же? Новгородский?

Новгородский, профессор-юрист, читал когда-то — и, говорили, читал с блеском — курс «полицейского права», переименованного позже в «право административное», при Колчаке же — ухитрился!— был советником правительства по вопросам земледелия и земельного права, издавал брошюры, разъяснял сибирским мужикам, что земля должна быть поделена по принципу «кто сколько может ее обработать и кто сколько может произвести товарной продукции», позже советское студенчество, припомнив эту деятельность Новгородского, отказалось слушать его лекции, изгнало профессора из университета. Он оказался не у дел, и тут его взял к себе Лазарев, и не кем-нибудь, а своим заместителем. Новгородский и по знаниям, и по работоспособности отвечал требованиям Лазарева.

Еще обстоятельство: Новгородский сохранил уникальную библиотеку, вообще был знатоком книги, а это качество Лазарев ставил очень высоко.

И говорил Новгородский прекрасно, никогда не терялся, соображал быстро.

Но... Но был он циником и не скрывал этого. «Я всем-всем служил честно. И всегда за деньги. Мне должны честно платить! Мне хорошо платят — я хорошо служу, плохо платят — я плохо служу!» — говорил он, а своих коллег из «бывших» презирал, полагая, что он говорит откровенно то, что думает, а они все думают точно так же, но прикидываются добросовестными совслужащими, даже энтузиастами советского строительства...

А это было не так. По отношению к одним это было совершенно не так, по отношению к другим не совсем так, по отношению ко всем это было слишком неделикатно...

Ну вот Ременных, секретарь Крайплана, разве он прикидывался? Нет, он был энтузиастом подлинным!

Теперь он плакал в своем кабинетике, сидя в инвалидной коляске.

Бондарин, как узнал утром о смерти Лазарева, так и ходит, так и ходит из угла в угол комнаты, в которой помещается секция торгово-экономическая. Заложил руки за спину и ходит.

Вот кто заменил бы Лазарева, смог бы. На худой конец, но заменил бы.

Но — генерал, да еще и судимый Совластью, а это уже слишком, никто ему поста председателя Крайплана и не предложит, немыслимо, а если бы оказалось мыслимо, так у Бондарина ума и такта хватит отказаться. Даже если речь пошла бы только о временном замещении, до тех пор, пока подыщут настоящую замену.

Прохин Анатолий Александрович... В недавнем прошлом чекист, теперь член президиума Крайплана. Почти интеллигент, но почему-то это «почти» то и дело выказывало себя.

С таким же «почти» многие и в Крайплане, и в Совнархозе, и в Сибпромбюро, и в других организациях жили не тужили, умея его спрятать и даже приголубить, показывая «почти» к месту, когда это соответствовало обстоятельствам и окружению, у Прохина же оно проявлялось только не к месту, и никак иначе.

То в выражении лица появлялось, в том, как лицо приобретало вдруг желтизну или в том, как среди его толковой и убедительной речи на заседании президиума вдруг проскальзывало «средствá» вместо «срéдства» или «бацильный капитализм» проскальзывал тоже.

Ведет Прохин заседание президиума, обсуждается проект железнодорожной ветки на Енисейск. Прохин — инженер-железнодорожник, в советское уже время закончил путейский институт, он, конечно, в своей тарелке, говорит доказательно, вопросы экспертам ставит серьезные, заседание идет нормально, без напряжения, тем более без того азарта, который неизменно вносил Лазарев.

А когда решение почти сформулировано, Прохин объявляет: «Хватит мозговать! Я вижу, мы сегодня все равно ни до чего не домозгуемся. Откладываем решение до следующего заседания!»

Все в недоумении, особенно эксперты и референты: какая муха укусила Прохина? Какая мысль? Догадка? Какое соображение?

На следующем заседании, недели две спустя, обсуждение вопроса начинается чуть ли не заново и все говорят неуверенно — может быть, та самая муха снова здесь, в кабинете?

Прохин же снова держится строго, деловито, и вот принимается соответствующее решение, но так и остается непонятным: для чего нужно было в прошлый-то раз вопрос откладывать? Ну и, кроме того, отношение Прохина к директивам сверху: для него раз «сверху», значит, обсуждению не подлежит.

Опять-таки совершенно иначе, чем у Лазарева, который по поводу каждой третьей, а то и каждой второй директивы запрашивал у Москвы уточнений: «По получении телеграфного № ... от... считаю необходимым получить следующие разъяснения тчк Первое Какими и в какие сроки финансовыми средствами будет подкреплена указанная директива тчк Второе Как согласуется указанная директива с вашим указанием от... текущего года тчк Третье Наш Крайсовнархоз получил указание совнаркома за № ... от... текущего года которое по смыслу в корне расходится с вашим указанием тчк Как и когда будет разрешено это недоразумение тчк С коммунистическим приветом Лазарев».

Нет, Прохин не та фигура. А где же та?

Впрочем, не надо думать, будто «бывшие», да и не только они, в этот скорбный час ничего другого не переживали, как только этот вопрос: «Кто?»

Ничего, ничего подобного! Крайплан был потрясен потерей своего председателя и необыкновенного человека.

Лазарев умер сегодня, а завтра ему исполнилось бы сорок лет, и сослуживцы договорились между собой, что, если и не будет приглашения, они все равно нагрянут к Лазареву. Руководство взял на себя Юрий Гаспарович. «Я знаю, как это делается!» — сказал он, утопив кнопочку в глубине своего горла и посматривая вокруг себя решительно. Все понимали, что не так-то это просто — вмешаться в личную жизнь Лазаревых...

Но вот оно какое наступило — сорокалетие Лазарева!

И вот еще: у кого что было в прошлом самое трудное, что хочется забыть, то со смертью Лазарева почему-то лезет наперед, вспоминается и вспоминается.

Это ощущали все «бывшие», а Корнилов больше всех. Так ему казалось, так он был убежден.

Конечно, он был крайплановцем молодым, стаж его работы не достигал и года, и кое-кто все еще смотрел на него, как на стажера, но сам он стажером себя уже не чувствовал — быстро вошел в курс дела и дело это понимал тонко. «Молодость» же имела преимущества: ему были понятны все умонастроения крайплановского коллектива, но кроме того, они были ему виднее, чем другим, как раз потому, что он еще не потерял способности все происходящее здесь видеть и замечать со стороны, чуть-чуть посторонним взглядом.

Вот он и чувствовал остро, что жизнь его приобретает с этого часа обратный ход и как будто клонится к прошлому.

Год шел 1928,— и совершался десятилетний юбилей самого тяжелого, сумбурного и невероятного в жизни Корнилова года — 1918-го.

«А юбилей — это же действительно удобный случай для памяти: память только и ждет, чтобы разворошить прошлое...»

И причина к тому была рядом с ним постоянно.

Бондарин был такой причиной и символом года 1918-го. Давняя, давняя это была история — история их отношений...

Припомнить, когда же началось-то?

— Ани́чко!— воскликнул адвокат Василий Константинович Корнилов, наматывая на указательный палец правой руки шнурок своего пенсне.— Ани́чко, а ведь герой-то сражения на реке Шахэ, Бондарин-то, он ведь, оказывается, наш! Наш, самарский! Наш, сызранский. Вот он кто, Ани́чко!

Адвокат Корнилов называл жену свою Анну Климентьевну таким вот образом, перемещая ударение в имени и меняя окончание слова, и делал это тем охотнее и веселее, чем лучше было у него настроение, чем новость была приятнее.

— Какое, какое сражение?

— На реке Шахэ, Ани́чко! Ну как это, вчера вечером обсуждали новость, а сегодня ты уже и забыла? Совершенно точно установлено: полковник-то Бондарин, он самарский. Он сызранский. Кузнецов сын!

— Чей сын?

— Деревенского кузнеца из-под Сызрани! Из смеж-

ных каких-то деревень «Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайки тож». Нееловки-то каких дают нынче героев? А? В чине полковников, а? И всегда-то бывало на Руси: очень нужно, и являются из Нееловок, из Неурожаек Ломоносовы, Сусанины, Никитины, а нынче — так полковники Бондарины! Причем являются, окончивши курс Академии Генерального штаба-а! А? Всегда так бывало и всегда так будет, Аничко!

— Откуда ты знаешь, милый, что так будет? Всегда? — спросила Анна Климентьевна, спокойной русской красоты женщина и ума необыкновенного, куда там было тягаться с ней мужу, хотя человек он тоже был неглупый, но в то время как муж всегда был бесконечно деятелен, Анна Климентьевна отличалась порядочной леностью: почитать французский романчик, пошить-повышивать, сочинить невиданный фасон платья или неслыханный рецепт какого-нибудь торта, попросту посидеть помечтать — ей куда было интереснее всяких политик и мировых событий. Однако если уж по особенному какому-нибудь случаю она говорила: «Об этом надо подумать! Я сейчас подумаю...» — тут же замолкало в большом корниловском доме все, все начинали ходить на цыпочках, смотрели на закрытые двери комнаты Анны Климентьевны и ждали, когда она выйдет и скажет: «Я подумала... Вот что, мне кажется, надо сделать, вот так поступить...»

Теперь Анна Климентьевна вспомнила то, что следовало в данном случае вспомнить, откликнулась распевным голосом:

...Сказал, подсевши к странникам,
Деревни Дымоглотова
Крестьянин Федосей. —
«Коли Ермил не выручит,
Счастливцем не объявится,
Так и шататься нечего...» —
«А кто такой Ермил?
Князь, что ли, граф сиятельный?» —
«Не князь, не граф сиятельный,
А просто он — мужик!»

Прочитала она на память, а муж откликнулся так:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то-и-знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

Оба они — отец и мать Корниловы — тонко понимали друг друга, и мать еще порасспросила отца о сражении на реке Шахэ, о полковнике Бондарине, столь блестяще действовавшем в этом сражении.

А все это — отцовское «Ани́чко» вместо «Аничка» и стихотворный ее отклик, беседа, возникшая по поводу столь неудачной для России войны на Дальнем Востоке, вся эта горькая осень, горечь и тревогу которой в тот день и час скрашивала победа полковника Бондарина, сына сельского кузнеца из-под Сызрани, как говорили, теперь уже свободно изъяснявшегося на трех европейских языках,— все это показалось тогда студенту-второкурснику Корнилову Петру Васильевичу чем-то, что обязательно должно ему запомниться на всю жизнь. Обязательно!

Студент-второкурсник заглянул из столицы на недельку-другую в родительский дом, соскучившись по интеллигентному и даже по изысканному его уюту, кроме того, заглянул он сюда не без цели — он хотел поглядеть на отца, на мать, послушать их, да и решить окончательно серьезный вопрос: кем ему все-таки быть? Какую окончательно избрать специальность?

Вот он и слушал родителей очень внимательно, о чем бы ни шел между ними разговор.

Отец...

Отец был уверен, что сын должен пойти по его стопам, то есть стать юристом, должен, пока еще не поздно, уйти с факультета естественно-математического. Отец вообще был сторонником строгой преемственности в выборе образа жизни и деятельности и говорил, что «культура — есть опыт поколений», любимой же музыкой его были Бахи и Штраусы, а любимым чтением — романы отца и сына Дюма.

Мать...

О ней Корнилов-сын мог припомнить гораздо больше, по ее настоянию он окончил не гимназию, а реальное училище, и вот теперь она вела свою линию.

— На естественно-математический факультет можно положить год-два, но что же это такое за ремесло?— спрашивала она.— Путеец — вот специальность! Сначала путеец, а там видно будет!

Корнилов-то понимал, что все дело в этом самом «видно будет»: в сознании матери неизменно жил предмет ее обожания — инженер Михайловский, ставший затем знаменитым на всю Россию писателем Гариным.

Гарин-Михайловский тоже был самарцем, земляком был, а ведь соблазнителен счастливый пример, если он к тому же совсем-совсем рядом?!

Сын...

Сын стоит, прислонившись плечом к косяку огромной, распахнутой на обе створки двери отцовского кабинета, слушает беседу родителей о победе полковника Бондарина в сражении на реке Шахэ, а заодно и о поэзии Некрасова, слушает и думает: «Юрист? Путеец? Естественник?» А ответить не может, не знает ответа, и нужна какая-то причина, чтобы узнать.

В детстве несколько лет он прожил в сознании, что он ни мало ни много, а бог, а причиной, разуверившей его в этом, был возраст — повзрослел и понял свою ошибку, ну а теперь? Идут годы, а он все меньше эти текущие годы понимает, и все сильнее в нем чувство необходимости какой-то философии. Какой-нибудь сильной и убедительной. Не юридической и не путейской — всеобщей!

Он ведь не потому чего-то не понимает, что от природы ему мало дано ума. Он и еще жаждет ума, хотя до сих пор не знает, что с ним делать. Поэтому ему так необходима всесильная философия.

И в реальном училище, и на первом курсе университета Корнилов читал до одурения, и все не то, все не то! Все умно, прекрасно, но как будто не для людей, а для других каких-то, специально на этот случай взращенных существ. Вот ведь какая глупость происходит с умом-то! И это в то время, как философия, думал Корнилов, должна быть врожденной, естественной и ее надо не создавать, а открывать в человеке. Неужели так-таки нечего в нем в этом смысле открывать? Да не может этого быть, только нужно рассматривать человека не самого по себе, не отдельно, а вместе с целым, то есть с природой! Отсюда следует: а ну его к черту, юридический факультет! Ну его к черту, путейский институт, я естественник, и это действительно мое место! Действи-тель-но!

Родителям же сын пока ничего не говорит, говорят они, а он слушает...

Было что-то театральное в их разговоре — маленький, по большей части миленький домашний, только для самих себя театрик,— такая уж манера. Непринужденная манера, и даже изящная, позволяет, говоря о каком-нибудь предмете или событии, говорить о чем угодно, в то же время не теряя из вида этого предмета: полковник Бондарин и поэт Некрасов — все вместе и все к месту. Все в характере собеседников.

Вот они радуются победе полковника, и, надо их знать, потому радуются, что это победа все-таки чужая, а не их собственная. Собственных они не хотят, полагая, что сами-то они не должны желать себе побед — принцип! Так оно и есть, принцип!

Отец выигрывал судебные процессы, но никогда не хотел побеждать своих противников раз и навсегда; мать, вокруг которой было множество поклонников тайных и очевидных, больше всего боялась своей явной победы хотя бы над одним из них; и отцу, и матери не чуждо было чувство превосходства, но побежденных они боялись, боясь той несвободы, которой скованы победители в своих поступках, тем более в своих мыслях.

Был случай, вспомнил Корнилов-сын, когда однажды в этой же вот гостиной после музыки, после танцев, после шампанского один из гостей, высокого положения петербургский юрист, раскинув в стороны короткие ручки, воскликнул:

— Анна Климентьевна! Знайте, что я побежден вами на всю жизнь!

Мать вздрогнула и, чуть подумав, ответила:

— Не дай бог! Победы нужны только несчастным!

Гости зааплодировали, громче всех отец.

— Господа!— воскликнул он.— Господа! Этой мудростью по семейному праву могу воспользоваться только я! Только я, больше никто из вас! Предупреждаю: плагиата не потерплю!

А недели три спустя, вернувшись из суда, он уже в прихожей закричал громко и восторженно:

— Аничко! Аничко! Сегодня я сказал! Сегодня прозвучало в моей речи: «Победы нужны только несчастным, а счастливым они претят!» Сказал и выиграл! А ведь была такая малая возможность выиграть!

Однако же нынче они искренне радовались победе полковника Бондарина, хотя вполне могло быть, что Япония не зря и не случайно выигрывала войну с Россией.

Они радовались и тому, что эта победа их ни к чему не обязывала. Какой-нибудь орденок, медальку какую-нибудь носить на груди и то не обязывала.

Так размышлял, стоя в дверях гостиной, Корнилов-младший, и тут почудилось ему, будто с противоположной стороны открылась точно такая же дверь с точно такими же бронзовыми ручками, оттуда явился молодой красивый полковник, галантно поклонился всем присутствующим и заметил: «Для себя вы побед не хотите — верю! Они вам ни к чему — верю! Но для сыночка-то, для милого Петруши неужели вы побед не желаете?! То-то! Нет-нет, дорогие мои, интеллигенты мои, умницы мои, никуда вы от побед не денетесь! Уж это точно!»

Уж это точно, полковник Бондарин предстал тогда перед Корниловым впервые, но сразу весь и своим прошлым — прошлым крестьянского мальчишки из-под Сызрани, и своим настоящим — настоящим высокообразованного офицера.

В ближайшем будущем Бондарин, конечно, напишет книгу «Сражение при реке Шахэ», в которой докажет, что: 1) если бы соседние с ним дивизии умело воспользовались его победой, перейдя в решительное наступление... 2) если бы Бондарин не был в этом сражении ранен в ногу... 3) если бы во главе русской армии стоял не генерал старой школы Куропаткин, а какой-нибудь полковник новой выучки и формации...

Одним словом, Корнилову-младшему уже тогда было ясно, что докажет полковник в своей книге. Да и всей своей последующей жизнью...

Видение вскоре исчезло, поторопилось. А напрасно! Если бы не исчезло, философски настроенный Петр Корнилов сказал бы ему:

«Есть разные победы, иные из них никак не отождествляются с истиной. Но если бы Чингисхан, или Александр Македонский, или полковник Бондарин однажды утвердили бы, что «Я есть истина, потому что я победитель!» — если так скажут солдаты и даже мирные граждане страны-победительницы, это будет, запомните, полковник, это будет конец света! Беспрекословное отождествление победы с истиной — это ли не конец света?! И только пока истины и победы существуют порознь, пока мы — я и вы — существуем порознь, ваше и мое существование не теряют смысла».

Вот он каким был идеалистом в то время — Корнилов. Он, кажется, и сейчас-то им был, а тогда — несомненно.

Корнилов был студентом, молодым человеком призывного возраста, но почему-то никому из окружающих, отцу и матери прежде всего, не могло прийти в голову, что их любимый, их единственный сын Петруша тоже ведь сейчас, сию минуту, сию секунду мог бы быть на сопках Маньчжурии, в окопах, мог идти в атаку в сражении на реке Шахэ под командованием героя, земляка-полковника Бондарина, мог бы истекать кровью в полевом лазарете, мог бы лежать в братской могиле. И все это запросто, и все это было бы вполне в порядке вещей, ничему, кажется, и не противореча, но — тогда? Восторгались бы тогда в доме Корниловых победой полковника Бондарина или... И вчера, и сегодня, и завтра за ужином, когда в гостиной корниловского дома собирается цвет либеральной самарской интеллигенции, все с тем же искренним восторгом обсуждалась бы здесь эта победа или... По-прежнему ли его красавица мать объясняла гостям, что счастливые люди не вправе быть победителями, или... По-прежнему ли его отец, такой красноречивый, такой находчивый в самых сложных перипетиях судебных разбирательств и судоговорения, каждый вечер овладевал бы вниманием избранного общества — или...

А вот молодого Корнилова Петра «или» одолевали, не давали ему каникулярного покоя. Он чувствовал войну как бы раздвоенно, чувствовал, что она совсем-совсем не для него, что она и он совершенно несовместимы, что несовместимость эта и есть главная причина того, почему он так хотел посвятить себя философии — делу и мыслям, противоположным, как он полагал, войне... Тем более, полагал он, что нынешняя-то война с Японией была несправедливой и ненужной, а он своим пусть и неокрепшим, еще неискушенным умом все-таки догадывался, что всякая несправедливость и ненужность, чем они больше, тем более непредвиденные последствия и потрясения они вызывают... Кровавые революционные и контрреволюционные события вызовет и эта война...

Но в то же самое время было, было у него такое предчувствие: рано или поздно не эта, так другая какая-нибудь война возьмет свое и обязательно вовлечет его в свой кровавый пир, в свой гул и грохот, в свой ужас

и в свои события, которые он, несмотря на все свои философии, а может быть, как раз благодаря им, так и не сумеет понять, сыграет с ним злую, злейшую шутку и если оставит его в живых, так только в качестве действующего лица этой шутки.

Так думал тогда Петр Корнилов, студент...

И мать, ровно ничего не подозревая, но что-то, как всегда, верно чувствуя, обратилась к нему с такими словами:

— А ты бы побоялся за нас с отцом, Петруша! Побойся за нас, пожалуйста, помолись, чтобы у нас не было побед... Ну и, конечно, чтобы не было поражений. Нам ни того, ни другого не надо!

— Бояться? За вас?— удивился сын.— Каждый вечер у вас гости, и всем вы показываете свое счастье, почему же за вас нужно бояться?

Мать тотчас поняла.

— Конечно, это очень странно — показывать свое счастье, но что же делать? Счастливых людей так мало, так мучительно мало, что, если и они будут скрываться от чужих глаз, тогда все подумают, будто счастья вообще нет и не может быть! Нет-нет, если человек счастлив, он обязан быть откровенно счастливым.

Вот как это было в 1904 году, какие возникали тогда в доме Корниловых интеллигентные и милые проблемы.

Корнилов уехал из дома с твердым намерением остаться на естественно-математическом. Он понял, что только из естественных наук может явиться к нему философия.

Знакомство с Бондариным продолжалось и дальше...

Конечно, заочное и фантастическое. Когда же пришел проклятый вопрос — идти Петру Корнилову воевать с кайзером Вильгельмом Вторым или не ходить?— Бондарин, разумеется, подтвердил: «Иди! Вот случай, когда победа совпадает с истиной! Ты философ, ты интеллигент, ты искал такого случая? Не измени самому себе! Не измени, иначе будешь самого себя презирать!»

И Корнилов пошел, а затем по газетам, по сводкам военных действий, по слухам пристально следил за Бондариным.

В 1914 году Бондарин был уже профессором Академии Генерального штаба и автором целого ряда книг по

военному искусству, в том числе и книги о бое на Шахэ, но, само собою разумеется, он тотчас вступил в действующую армию, начав войну со скромной должности начальника штаба 2-й гвардейской дивизии.

Уже бои под Ивангородом принесли ему георгиевское оружие, а действия против обходящих крепость Осовец немцев — Георгиевский крест. За бои у Красикова и особенно за разгром небольшой сравнительно частью австрийского корпуса он получил чин генерал-майора.

Затем Бондарин стал генералом для поручений при командующем 4-й армией, а с августа 1916 года принял ответственную должность генерал-квартирмейстера штаба Северного фронта. Кажется, было, что в какой-то короткий срок он командовал фронтом, но это уже 1917 год наступил, высокопоставленные командующие менялись тогда один за другим.

Конечно, на войне, в окопах, философия куда-то подевалась, дни и месяцы от нее ни слуху ни духу, главным было — остаться живым, ну и победить кайзера. Однако все это не снижало интереса ротного, а потом и батальонного Корнилова к судьбе генерала Бондарина. После Октября этот интерес приобрел особенное значение, поскольку офицерство выбирало, в какой идти лагерь. В какой и за кем идти? Это ведь было честное офицерское решение — идти за тем, кому ты доверяешь, какому военачальнику?!

Только вот сами-то военачальники внесли в умы офицерства растерянность, наверное, не меньшую, чем большевики. Ну еще бы: генерал Алексеев, первое лицо царской армии, солдатский сын и сам в прошлом солдат, оказался истым монархистом и до последнего дыхания воевал с красными, а вот русский национальный герой Брусилов, генерал высокого происхождения, принял сторону большевиков. Мало того, что принял, но и одним из первых подписал «Воззвание ко всем русским офицерам, где бы они ни находились» с призывом о поддержке Советов. Как все это было понять?

Вот и выбирай пример для подражания какой-нибудь взводный, ротный, батальонный, да что там говорить, и полковой командир!

Корнилов в то время был уже офицер как офицер, хотя нет-нет, а все еще вспоминалось ему, что в прошлом он философ, да и в будущем не отвергал он втайне

такой стези, но чтобы ничей пример его не трогал, не задевал, этого сказать было нельзя. Задевал!

И он с пристрастием выяснял: ну, а генерал-то Бондарин нынче где же? С кем он? Какую выбрал судьбу, талантливый человек, военный интеллигент из народа, самарский мужик, земляк?

После Великой Октябрьской за неподчинение большевистскому главковерху товарищу Крыленко Бондарин был арестован и на полтора месяца заключен в Петропавловскую крепость, выйдя же на свободу, примкнул к антисоветскому Союзу возрождения России, а затем принял пост командующего войсками Уфимской директории.

В то же самое время, в те дни Петр Корнилов принял участие в восстании против Советской власти в Сарапуле.

Может быть, это совпадение снова было не чем иным, как заочной встречей?

Так или иначе, но если Бондарин был жив, если Корнилов был жив, то рано или поздно они должны были встретиться.

И вот встретились...

Тот день, 9 октября 1918 года, в сибирском городе Омске, когда это случилось, был днем поистине прекрасным — тихим, удивительного простора и как бы созданным для жизни, для вечного ее осуществления.

Тем более было странным и непонятным, что именно в этот день Корнилов почувствовал, что он чей-то враг.

И страшный враг-то, непримиримый!

И ладно, когда бы так, когда бы его враги желали бы ему всего самого ужасного, а он бы им никогда! Однако пройдет нынешнее необыкновенно прекрасное утро — и вот он тоже пожелает своим врагам того же самого, обязательно захочет с ними сквитаться, с каким-нибудь, предположим, доцентом Московского университета, который сейчас не в городе Омске, а в городе Казани? Красные ведь только что взяли Казань, а тот доцент тоже красный.

Невероятно?

Вот он стоит на невысоком пригорке, справа величественное здание кафедрального собора, слева бывшее Степное генерал-губернаторство, на башенке легонько

полощется флаг Временного сибирского правительства — белое с зеленым, и уже поэтому ты кому-то враг! Миллионам враг, на тебе форма офицера белой армии! И как это мирный и, казалось бы, такой справедливый человек может попасть в столь дурацкое, несправедливое положение? Да еще и по собственному разумению? Вот какой он сам себе устроил абсурд...

Единственный выход — прервать эту мысль. Он так и сделал. Он спустился с пригорка на мост через речку Омь, сконструированный из железных стержней, мост так и назывался — Железный.

На левом берегу Оми, пониже Железного, пристань и два белых двухпалубных парохода-близнеца, на правом, противоположном берегу невзрачные кубические постройки городской электрической станции и ее же высокая труба закопченного кирпича, посредине неподвижная, бурого цвета полоска Оми — болотная и лесная вода, тут она и впадает в Иртыш. А Иртыш — это стальная гладь, широкая и стремительная. Легко угадывается его стремительность.

За Иртышом степь: что-то желтое с чем-то зеленым, так до самого горизонта.

Правда, в одном каком-то месте, в степи, вдали чуть видны белые постройки железнодорожной станции Куломзино, а в другом юрты киргизов — аул Каржас; в иртышской пойме и по суходолу киргизы пасут кобылиц и все лето торгуют кумысом на омском базаре.

Куломзино и Каржас — других следов человека на той стороне Иртыша нет, и горизонт чист, огромный полукруг, по которому земля смыкается с небом.

Небо над степью белесо-прозрачное, оно как бы и вовсе отсутствует, всмотревшись же, можно заметить в нем серые, непостоянных очертаний тучи, которые двигаются в стороны, припадают к степи и снова поднимаются в небесную пустоту. Это косяки перелетных птиц, им предстоит путь все вверх и вверх по течению Иртыша — в Джунгарию, в Китай, может быть, в Индию...

За мостом Любинская — главная улица города, крупные камни мостовой, огромные витрины, верхние этажи зданий с узенькими оконцами, что-то московское, Негли́нная, Большая Никитская, Кузнецкий мост, только без трамваев. Любинскую пересекает сумрачный переулок, серые и тяжелые здания, самое капиталь-

ное — страховое общество «Саламандра», а это уже нечто петербургское. Пятая или Шестая линия.

Солдатики и нижние чины, тут много их толкалось на людной Любинской, Корнилову козыряли торопливо, так повелось с тех пор, как в 17-м году приветствия младших чинов старшим были отменены и осмеяны, а в 18-м введены в белой армии снова. Были два-три таких солдатика, которые недвусмысленно опять напомнили Корнилову: «Враг!» Такой у них был взгляд.

Корнилов же стремился нынче своими глазами и как можно лучше увидеть генерала Бондарина, и вот она кончилась, короткая улица Любинская, ступени вверх — двадцать одна ступень, потом еще два-три красивых здания, городской театр-ампир постройки конца прошлого столетия, очень похожий на театр в Одессе, и тут же раскинулась огромная площадь, заполненная войсками.

Парад!

Хорошо были одеты войска — в английское сукно, которого в русской армии никто и никогда отродясь не видывал, и строй ровный, хороший строй, оружие новенькое, тоже хорошее; бодро оркестр играл «Коль славен». Все хорошо, то есть точно так, как и должно быть на параде.

Во всех улицах, которые выходили к площади, произошло скопление экипажей и пролеток, в них сидели, а в некоторых, чтобы лучше видеть, и стояли граждане и гражданки двух видов — местные и эвакуированные из России.

Местные были посытнее, пополнее и попроще — купечество, чиновный люд, а также врачебная и прочая интеллигентная публика с тем, однако, оттенком провинциальности, который определить нельзя, но и не заметить тоже нельзя; эвакуированные были потощее, побледнее лицами и тем более позначительнее.

Тут, на взгляд Корнилова, не обошлось дело без петербургской, московской, казанской, киевской, харьковской профессуры, без нижегородских, самарских, воронежских коммерсантов, без владимирского и прочего духовенства.

Только что газеты сообщили, что в Сибирь прибывает 20 000 семей российских беженцев, люди умственного труда, и, если требуются частным предпринимателям, кооперативным, общественным и государственным организациям какие угодно специалисты, пожалуйста,

стоит подать заявку в письменном виде в ближайшую городскую управу, тут же явится интеллигент с самыми скромными требованиями: какая-нибудь комнатенка, какое-нибудь жалованье. Ему не до жиру, быть бы живу.

Тут, в толпе пеших и экипажных, было, наверное, немало и представителей этих «двадцатитысячников», они глядели на площадь с особой надеждой и радостью. Корнилов даже сказал бы «с радостию!».

Парад!

В чем, в чем, а во всякого рода парадах на всем протяжении бывшей Российской империи публика издавна была достаточно просвещенной, но от парада нынешнего, в сибирском городе Омске, неожиданно объявленном российской столицей, не у одного, видно, Корнилова, но и у многих граждан щемило сердце — всем хотелось жить в эти минуты радостно, хотя и далеко не у всех этак получалось. Даже при избытке энтузиазма.

Непривычными были русские солдатики, одетые в шинели английского сукна, и дамы не знали никого из начальственных особ, расположившихся отдельной группой на площади, ближе к зданию театра. Нет, не знали. А ведь начальственные особы кому-кому, но дамам-то порядочного общества должны быть известны?! Так уж заведено, тоже давний порядок.

Порядок нарушен, и бестолково велись разговоры... «А это кто? Ну, третий в первом ряду? Уж не япончик ли какой-нибудь? В очках?» — «А это, дорогая моя, действительно японский генерал. Генерал Муто. Впрочем, может быть, что и Мутто!» — «Ну да, ну да, а рядом?» — «Американский консул Джексон». — «А еще рядом?» — «Сам не знаю, но, должно быть, Рихтер, чешский уполномоченный». — «Ну как же это ты не знаешь?» — «Очень просто, дорогая!» Это слева от Корнилова шел разговор, а с правой стороны ему в два голоса предложили:

— Капитан! Милости просим в пролетку! Мы потеснимся!

Корнилов козырнул, предложение принял с удовольствием, хотя место ему, к сожалению, выпало рядом с ним, а не рядом с нею. А она была мила, нельзя сразу понять, эвакуированная или местная, вернее, все-таки местная. Личико кругленькое и чуть скуластое — сибирский знак. Голосок-то уж очень приятный. «Будьте добры!» и «Подвинься, Алеша!» не столько сказано бы-

ло, сколько пропето. На него, на Алешу, Корнилов хоть и посмотрел, хоть и улыбнулся ему вежливо, но как-то мимо. Не заметил, кто таков, какие признаки.

«А я узнала, узнала,— говорила она,— вот тот — Якушев, председатель Областной думы! Но он же, Якушев-то, должен быть нынче в Томске?! Ведь дума в Томске?» — «Дума в Томске, а Якушев в Омске!» — «Почему так? Специально прибыл, да?» — «Совершенно специально!» — «Узнала, узнала — генерал Иванов-Ринов. Главнокомандующий Сибирской армией, да?!» — «Может быть, да. А может быть, уже и нет».— «Узнала, узнала — Савинков! Тот самый, да? Который при царе террорист и эсер?» — «Может быть, уже и не эсер...» — «А правда, что он командируется в Париж? Что чек ему выписан на триста тысяч франков?» — «Не знаю! Не выписывал».— «Скажите, пожалуйста, капитан, триста тысяч франков — это правда или нет? По-моему, не может быть!» — «Почему же не может быть?!— пожал плечами Корнилов.— Ведь чек, а не наличные!» — «Ах, я об этом и не подумала! Не пришло в голову!» Прелегкомысленный как будто голосок, а в то же время грустный и растерянный: вот он — парад, вот он, город Омск, а может, это все не жизнь, а только пьеска какая-нибудь? Маскарад?

Все еще минуя взглядом сутуловатую фигуру Алеши, Корнилов и еще это личико рассмотрел: приятное, право же, приятное!

Корнилову уделено было взаимное внимание, она сказала:

— Нет, нет, что ни говорите, капитан, а на все это стоит посмотреть! Что ни говорите, а ведь красиво? Да?

— Красиво!— согласился Корнилов.— Очень!

Между тем уже держал речь архиепископ — отмечал вновь возрожденное расположение нового правительства к церкви, перед которой сейчас оно стоит с обнаженной головой.

Не все было слышно в речи, но кое-что Корнилов уловил: «Бога-то побойтесь, правители, и не грызитесь, Христа ради, между собой!» — таков был смысл архиепископской речи.

Ну, а как же было не грызться, как было править страною единодушно, если это не правительство было, а так себе, с миру по нитке — голому рубашка?

Всего несколько часов тому назад, в десять ноль-ноль, на омский вокзал, охраняемый двумя взводами

чехов — почти вся сибирская железная дорога была уже в руках чехословацкого корпуса,— прибыла Уфимская директория, то есть бывшие члены Учредительного собрания, того самого, которое в одночасье и без всяких помех в январе сего года разогнали в Петербурге большевики.

Сначала Комуч — Комитет членов Учредительного собрания — сошелся в Самаре, очень скоро безопасности ради переехал подальше от линии фронта, в Уфу, и там официально объявил себя правительством всероссийским, но так как красные взяли Казань, то Уфимская директория задумалась: куда дальше-то лежит ей путь? В Челябинск? В Екатеринбург? В Омск? Решила, что в Омск, то есть подальше на восток, безопаснее. Кроме того, в Омске находился так называемый Административный совет Временного сибирского правительства. Где было само правительство, точно неизвестно, но все равно Совет этот Уфимской директорией решено было использовать как уже сложившийся государственный аппарат. Другой-то аппарат где было взять?

В то же время кроме Административного совета в Омске была еще Сибирская областная дума в Томске, она Совет не признавала, а Совет не признавал ее.

Уфимскую директорию, правда, Томская дума признала, но на свой лад: «Мы вас признаем, а вы в наши дела не вмешивайтесь...»

Какая петрушка!

Какая петрушка, если вспомнить, что в Забайкалье сидел атаман Семенов, тот ни Омск, ни Томск, ни Уфу не признавал, только самого себя; в Харбине тоже, кажется, накануне объявления себя верховным правителем пребывал генерал Хорват, во Владивостоке — некто Дербер.

Что за Дербер, что за фамилия? Корнилов пытался у кого-нибудь узнать, расспросить, никто не знал.

Своих, доморощенных властителей не знали, ну, а иностранцев разных? В тех и подавно без конца путались: японец Муто, а может быть, и Мутто, чехи Сыровой, Чапчек, Павлу, Гайда — о Гайде, правда, знали, что он из фельдшеров вымахал в генералы,— ну и кто-то еще. Французский генерал Жанен хоть и, ходили слухи, всего-то при восьми солдатах-соотечественниках, а все равно командующий всеми иностранными войсками в Сибири; со дня на день ждали и английского полковника Уорда, английского же генерала Нокса, канад-

цев тоже ждали и американцев, а поляки, итальянцы, румыны, сербы, еще не то греки, не то турки, те будто бы уже были расквартированы в Омске. Правда, нет ли?

Нокс, тот особенно много вызвал толков и сомнений, он не один ехал с Дальнего Востока, вез с собой героя японской и германской войн, бывшего командующего Черноморским флотом контр-адмирала Колчака. Для чего, спрашивается, вез? Для какой такой роли? Не караульного же начальника при интендантских складах?

Опять же с другим поездом, но тоже с Дальнего Востока после переговоров с Хорватом и Дербером возвращался в Омск председатель Временного сибирского правительства, тезка Корнилова Петр Васильевич Вологодский, поповский сынок, в недавнем прошлом кадет, кто в настоящем — неизвестно.

Для чего он возвращался? Чтобы взять на себя всю полноту власти? Чтобы войти в состав директории? А может быть, он там, на Дальнем Востоке, столковался уже и с Хорватом, и с Семеновым? С американцами и с японцами столковался насчет какой-нибудь совершенно неожиданной правительственной комбинации? Может, он столковался не там, не на Дальнем Востоке, а здесь, в Омске, с полковником Волковым и с министром финансов своего правительства Михайловым по прозвищу Ванька-Каин?

Ванька-Каин Михайлов, сын знаменитого народовольца-террориста, человечек небольшого росточка, шустрый, великий интриган, ныне министр финансов, а по существу глава Административного совета, значит, и правительства Вологодского. На кого Ванька ставил свою ставку, тот, без сомнения, и был нынче в силе, это Омску известно.

Нынче он ставил на оголтелого монархиста Волкова, Волков этот на днях какую учинил штуку — в Омск для переговоров прибыли четыре члена томской Сибирской областной думы, он всех четырех и арестовал!

Председателя думы Якушева он, правда, вскоре из-под ареста выпустил без последствий, министров Крутовского и Шатилова выпустил тоже, но взял с них подписку, что они слагают с себя министерские полномочия и впредь политикой заниматься не будут, четвертого же, министра внутренних дел, известного в Сибири географа, этнографа и поэта Новоселова Волков расстрелял.

А теперь на омской площади вот как было: Якушев стоял в правительственной группе рядом с Ванькой-Ка-

ином, а Волков командовал парадом и вальяжно этак проезжался перед ними на сером, с едва приметными яблоками коне.

В толпе около театра от одного к другому переходил рассказ: нынче утром, когда поезд Уфимской директории прибыл на омский вокзал и воинские почести были оказаны Бондарину всего-навсего двумя взводами чехов, Волков, небрежно козырнув уфимцам, будто бы довольно громко сказал: «Вот оно, воробьиное правительство: дунуть — и улетит!»

Между тем наступал высший момент торжества: главнокомандующему российскими военными силами подали коня, он легко вскочил в седло и под громкое «ура» тронулся вдоль фронта.

Он держался в седле безупречно, держал узду одной рукой, но так, что конь шел, закинув голову назад и пританцовывая, лицо у главковерха было вполоборота к фронту, другая рука у козырька.

— Бондарин... Бондарин... Бондарин!— восклицали кругом, и супруги, новые знакомые Корнилова, встали на сиденье своей пролетки и поочередно смотрели в бинокль; и кучер их в кожаном картузе привстал тоже, стараясь не заслонить вид хозяевам, и Корнилов, опираясь ногой на приступку, хотя это и было очень неловко, потянулся вверх.

Да, это был Бондарин, военный министр директории, с нынешнего дня главковерх.

— Скажите, капитан, это правда, что генерал Бондарин принимал отречение от престола у императора Николая?— с любопытством спросила Корнилова милая и нечаянная его знакомая.

Конечно, она знала, что это правда, но что-нибудь о Николае, а может быть, и о Бондарине ей хотелось же у капитана узнать.

Корнилов ответил:

— Сущая правда! Это было второго марта прошлого года, а потом акт отречения еще три дня хранился у Бондарина.

— А теперь Бондарин — главный генерал! Вы его раньше никогда не знали? Не встречали?

— Никогда! К сожалению... К большому сожалению!

— Как вы думаете, капитан, сможет он победить красных?

Алеша, муж, легонько ее подтолкнул — она слишком далеко зашла в вопросах. Корнилов смутился, но отвечать ему не пришлось — Бондарин стал говорить речь.

Говорил он, оборотясь лицом к фронту, а здесь, около театра, несмотря на очень сильный голос, слова были слышны далеко не все: великая Россия... великая беда... великая задача... Каждый солдат, каждый офицер, каждый гражданин России... Поставить превыше себя самого... превыше политики... превыше дня сегодняшнего...

Когда речь кончилась, главковерх отъехал чуть в сторону и войска под музыку и громовые «ура» пошли маршем к улице Любинской, Корнилову протянули бинокль.

— Вы посмотрите, посмотрите, капитан, какое лицо? Ну прямо-таки императорское лицо! А говорят, из мужиков? Вы не знаете, капитан, он из мужиков или нет, главковерх Бондарин?

— Из мужиков!— подтвердил Корнилов.

А лицо у Бондарина — в бинокль отчетливо это было видно — гораздо серьезнее, чем у бывшего императора Николая Второго. Все обычное, а в то же время и необычная правильность и оправданность всех черт. Лишнего ничего!

Бородка, безусловно, к месту.

Так рассмотрел Корнилов это лицо. «Ну что же,— подумал он,— этот человек когда-то подвигнул меня идти на войну с кайзером... Этот мог. Этот действительно мог!..»

Войска шли и шли строевым шагом, особенно стройно саперы и артиллеристы. Взвод тяжелой артиллерии замыкал шествие.

— А вы знаете, капитан,— снова сказала она,— а я, кажется, немножечко прослезилась. Скажите, заметно по мне или незаметно, что я немножечко прослезилась?

— Раиса!— с осуждением, и очень заметным, произнес муж.— Раиска!

— Ну, ничего-ничего, Алешенька! Не каждый же день так случается. Сказать хочется, а слов нет, вот и говорю какие придется слова! Что за беда? Разве в этом беда?

— Беда!..— вздохнул муж Алеша.— Слов, знаете ли, капитан, нынче такое множество, что их никто уже

и не понимает, как следует понимать по тому образу, по которому они когда-то были созданы. Ей-богу! И я скажу вам, у нас в Сибири у людей нынче только два занятия: слова и воровство! Ни одному слову, ни одной подписи, ни одной бумаге, ни одному чеку и векселю, ни одним деньгам верить в действительности нельзя, совершенно невозможно, а честному человеку больно становится оттого, что он не приспособлен природой для воровства! Вот какие нынешние дела! Конечно, Россия большая, одна Сибирь чего стоит, но и ее в конце концов разворовать вполне возможно, так что по мне, все равно, кто правит, какое правительство, лишь бы не было воровства! Россию только тот и спасет, кто спасет ее от нынешнего воровства. Тогда Россия воспрянет. Без этого — никогда!

Вот он каким, оказывается, был, этот невзрачный чиновничишка с худеньким вытянутым личиком, с гладенько причесанными негустыми и светлыми волосенками под сбившейся набок фуражкой.

Фуражка была, разумеется, без кокарды, но, показалось Корнилову, от бывшего акцизного ведомства.

— Но ты же надеешься, Алеша?— спросила Раиса.— Я же знаю, ты всегда надеешься?

— Ну как, поди-ка, не надеяться, милая моя! Чем надежда меньше, тем больше заключает в нее человек... Будьте здоровы, капитан. Будьте счастливы!

Корнилов-то думал: может, пригласят к обеду? Может, спросят, куда, в какую сторону ему идти, да и подвезут по пути?

Нет, не пригласили, не подвезли.

И так-то стало ему трудно и так нехорошо оттого, что его не пригласили, что он снова остался один в городе Омске, что одному ему снова нужно идти по улице Любинской, по Железному мосту и дальше, вплоть до громоздкого, с колоннами здания бывшего Кадетского корпуса... Там, во дворе, в одном из многочисленных, нескладного вида флигельков, он и проживал нынче с целой оравой разного ранга офицеров, по разным же причинам собравшихся здесь со всей России, казалось даже, со всего света.

А что ему было нужно, так это поговорить, отвести душу с милой женщиной Раисой, но только не оставаться одному и не идти во флигель Кадетского корпу-

са, где, он знал, возможны только три варианта времяпрепровождения: либо офицеры, двадцать человек в одной комнатушке, напьются и начнут безобразно буянить; либо по двое, по трое будут шептаться, оглядываясь друг на друга, как бы не прошептать чего-нибудь лишнего; либо раскричатся до хрипоты, чуть ли не до кулачного боя на политические темы. Самый худший вариант, потому что послушаешь, послушаешь крик, а потом тоже разорешься.

«Что-о-о? Николай Второй? Чудовищное ничтожество! Только чудовищное ничтожество могло разложить Россию, чтобы она так загнила! И все нынешние междоусобицы, все гражданские войны, все воровство, вся постыдность и весь позор нашей жизни — все оттуда, от всемилостивейшего гниения!»

«Что-о-о? Кадеты? А где они были, господа кадеты, когда монархия разлагалась? В прежние времена бояре и дворянство сами душили и травили своих непутевых императоров, никому не доверяли этого дела. И правильно! А нынешнее дворянство? Гришку Распутина и того сколько лет боялись пальцем тронуть, где уж было сменить императора! Кадеты хотели приложить к монархии конституцию, так ведь не к чему уже было и прилагать-то!»

«Что-о-о? Эсеры? Да это же эсеры еще до революции привели Россию к террору и крови, к р-р-революционному насилию и убийствам из-за угла! И все это, заметьте, именем народа, вот что самое странное!»

«Что-о-о? Беспартийные?! Я сам беспартийный и навсегда им останусь, но мне стыдно, что я никогда, ни во что до конца не верил, никаких действенных идеалов не находил и не утверждал! И теперь мне стыдно, что и в двадцатом веке два идиота императора ни с того ни с сего могли так испакостить всю жизнь: Вильгельм Второй потому, что напал на Россию извне, и Николай Второй потому, что разложил Россию изнутри!»

Ты орешь вот так и на императоров, и на монархистов, и на кадетов, и на эсеров, и на самого себя, а тебя никто не слушает, но все равно ты орешь. А потом оказывается, что поручик какой-нибудь все-таки очень внимательно тебя слушал и вот спрашивает: «Так что же, по-вашему, в России вообще не осталось ничего достойного? Ни одного флага, ни одного знамени?»

«Кой черт! Какие там флаги! Какие знамена?!»

«Так, может быть, следует уже все доразрушить до конца? До конца, а потом и начать Россию сначала? С нуля?»

«Очень может быть!» — опять согласишься ты в горячке, но тут он, красномордый, как гаркнет громче всех:

«Господа! Прошу внимания, господа офицеры! Среди нас присутствует большевик, вот он! Никаких сомнений, вот он!»

И ладно, если ты первый кинешься на красномордого с кулаками, ладно, если успеешь прокричать о всех своих фронтовых заслугах и наградах и о том, что ты пошел на фронт добровольцем еще в начале тысяча девятьсот пятнадцатого года, а то ведь поведут в контрразведку, благо она рядом, в подвальном этаже Кадетского корпуса находится. Под руководством полковника Волкова.

Нет, такая возможность ничуть не улыбалась Корнилову, поэтому он и шел по Железному мосту медленно-медленно, смотрел на Иртыш и в простор заиртышской степи и думал:

«А что, если бы Россия была страной маленькой? Вроде Бельгии? Вроде Норвегии хотя бы? Вот тогда все было бы в ней понятно, все обозримо!» Однако, поразмыслив, он не нашел в России места для маленькой страны. Устроить ее со столицей в Одессе — ничего, кроме моря и степей. Около Архангельска — ничего, кроме моря и лесов. Около Питера — ничего, кроме моря и болот. В центре где-нибудь? На Оке, на Волге? Пашенки какие-то, какие-то лесочки — маловато! На Урале? Горы есть, и богатые, а земли нет! Нет, что ни говори, а Россия — страна пространственная, всего в ней много, но все в разные стороны. Без пространства они ничто — ни страна, ни природа, ни народ, ни история. Пространство всегда существовало и вокруг Корнилова, русского человека, он из пространства и явился, туда же и уйдет — такова его человеческая натура. И даже больше того — пространство неизменно существовало не только вокруг него, но также и в нем самом. Если же указать ему, Корнилову Петру Васильевичу, что вот, мол, твое место, какие-нибудь пятьсот верст в одну сторону, пятьсот в другую, а дальше ни-ни, там чуждые тебе земли, небеса и воздух, и язык не твой, и не твоя мысль, и не твоя бессмыслица, тогда тотчас что-то в нем с болью оборвется и надо будет переделываться на ка-

кого-то другого человека, а на какого? Опять неизвестность, но уже совсем безрадостная и гораздо худшая, чем неизвестность самого унылого пространства.

Явилось ему и лицо генерала из мужиков. Оно-то что значило?

Да-да, была на свете этакая жизнь, называлась Бондариным. Ну и пусть себе была бы, Корнилову-то какая забота? Так нет же, откуда-то, иной раз и неизвестно откуда, из какого далека Бондарин то и дело настигал Корнилова и действовал на него — вот как бывало! Странно бывало...

И это бы еще ничего, мало ли что случалось с ним, с Корниловым Петром Васильевичем, что было, то прошло, но еще более странно другое: это не только было, это еще будет, будет! Обязательно! Бондарин еще сыграет свою роль в корниловской жизни, но какую?!

Такое предчувствие, причем верное, безошибочное...

В этом-то предчувствии Корнилов и провел тогда, в 1918-м, два муторных дня, ожидая новой встречи с Бондариным, теперь уже очной и вполне деловой, а теперь, в 1928-м, десять лет спустя, все-все это возникло перед ним снова, четко и ясно.

В этой четкости и ясности была, конечно, повинна смерть Лазарева: пока Лазарев был жив, именно он сосредоточивал на себе внимание Корнилова, когда умер, это живое внимание обратилось в память, в воспоминания, ну, а если воспоминания, тогда, конечно, вот он и Бондарин!

Итак, два дня Корнилов провел тогда в ожидании встречи, слонялся по городу, ловил слухи, которые, конечно, снова и снова подтверждали уже хорошо знакомую ему сумятицу умов и смутность времени.

Казалось бы, давным-давно должен был привыкнуть к смутам русский человек, понимать в них толк, а вот поди ж ты, нет и нет, не привык!

И потому, что не привык, смуты шли и шли в его жизни, и всякий раз он разумел, что эта самая последняя, а выходило как раз наоборот: каждая была причиной для целого ряда смут последующих, для событий самых невероятных.

Вот и нынче в Омске ждали французских аннамитов, целый батальон, а никто не знал, кто такие? Всех на свете уже знали, а этих еще нет. Вернее всего, зуавы какие-нибудь, африканцы, больше уже некому быть. И ведь под зиму прибывают-то в Сибирь, в чем ходить будут, в каких шапках, в каких сапогах? Может, их, африканцев, обуют в пимы? Так ведь они и посушить-то пимы как следует не сумеют, не то что воевать в них с большевиками! А если не будут воевать с большевиками, тогда от безделья примутся, пожалуй, за православное население?

Господи, каких только нет на свете людей, но это бы бог с ними, пусть будут такими, какие есть, но только у себя дома, а не здесь, не в Сибири. Здесь и со своими-то ссыльными всех пород и мастей всю жизнь маялись. А тут еще с африканскими? Их-то за что сюда? Уж, наверное, дома у себя они поднатвори-и-и-ли делов! Ежели их из Африки прямиком в Сибирь! В Омск!!

Полковник Уорд, тот привез из Китая не то чисто английских, не то шотландских стрелков, ходят в ботинках на невиданно толстых подошвах. Местное население думало, толще, чем у чехов, подошв ни у кого на свете нет, как бы не так! И сам-то Уорд, говорили, в прошлом пролетарий, а теперь приехал бороться с пролетарской революцией, как бы и от этого тоже чего-нибудь не вышло.

А генерал — обратно английский, Нокс, точно стало известно,— пройдоха и хам, привез с собой русского контр-адмирала Колчака, разговаривает с ним только по-английски. Что из этого опять-таки последует?

И о Бондарине слухи, конечно, были, но не так много, не успели развиться.

Пока что не столько слухи, сколько разные соображения: если Бондарин — главнокомандующий, если у него в руках вся военная сила, так почему бы ему не сделаться и главою всего правительства? А что? Кто еще-то нынче так же просто мог сделаться правительством?

Входил в Уфимскую директорию Николай Чайковский, в прошлом народник, потом организатор земледельческой коммуны в Америке, потом основатель «Фонда вольной русской прессы» в Лондоне, потом эсер, потом кооператор, потом почти что кадет, потом, после Октября, уже член «Всероссийского комитета спасения Родины и революции», всего не упомнишь,

кем еще бывал этот Чайковский, теперь же он возглавлял «Верховное управление Северной области» в Архангельске, а по совместительству входил в бывшую Уфимскую директорию, а нынче во всероссийское правительство. Самое существенное — он был далеко от Омска и его сюда не ждали. Так что, какой бы он там ни был, бог с ним, он далекий!

Входили и находились нынче при Бондарине эсеры Авксентьев и Зензинов, но поддержки от них генералу никакой, а хлопот по горло! Это надо же подумать – ЦК эсеровской партии послал в Америку агитировать против Советской власти «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую, но, не дождавшись от бабушки хотя бы самых первых известий, выпустил прокламацию, в которой заявлялось, что в случае необходимости эсеры создадут собственные вооруженные силы для борьбы с большевиками! Собственные!

Монархисты, разумеется, подняли такие вой и ругань, что нынче Авксентьева и Зензинова одних на улицу-то выпускать опасно — пристрелят!

Полковник Волков так и сказал: «Не сегодня завтра!»

Ей-богу, очень просто! Только что был обнаружен изуродованный, со следами пыток труп Моисеенко, хранителя эсеровской партийной кассы. Касса исчезла, а Моисеенко, когда он выходил ночью из ресторана, несколько неизвестных затолкали в неизвестный автомобиль и умчали в неизвестном направлении, вот и все!

Генерал Бондарин приказал полковнику Волкову расследовать дело. Волков доложил, что самое тщательное расследование не дало результатов.

А Вологодский? Числился председателем Совета министров, однако же, вернувшись с Дальнего Востока после переговоров с тамошними правителями, он, серенький человечек, осторожная лиса, с Бондариным даже не встретился. Он выжидал, кто будет сильнее. Чехи? Англичане? Японцы? И на кого чехи, англичане, японцы ставят нынче ставку? На Бондарина? На Ваньку-Каина? А может быть, на Колчака?

Корнилов рассуждал так: только на Бондарина, и ни на кого больше! Он головой мог тогда поручиться, что так будет. Ну какой это главковерх, который на суше не провел ни одного сражения, а ведь Колчак именно таким и был — плавал на подводных лодках, на крейсерах, командовал флотом, в Порт-Артуре командовал бе-

реговым фортом, но даже пехотным взводом не командовал никогда, ни военной, ни гражданской власти в прифронтовых районах ему не приходилось осуществлять никогда, политикой он не занимался никогда, дипломатией никогда. И даже совсем еще недавно хвастался на всю Россию тем, что политику презирает и ни в грош не ставит.

Ну какое же может быть сравнение с Бондариным?

Ну ладно, привез генерал Нокс Колчака в Омск. Для чего? Корнилов объяснил это так: для престижа армии, для представительства. Для того чтобы после окончания гражданской войны в России, после победы Антанты над «германо-большевизмом» Колчак представлял бы Россию в мирных переговорах с Германией. Он поглупее Бондарина, он будет уступчивее при дележке всех плодов победы над центральными державами, и, значит, Антанта получит побольше, а Россия поменьше. Они ведь дальновидные, союзнички-то, они уже сейчас формируют состав участников будущей мирной конференции!

К тому же, и тут ничего не попишешь, если Россия самостийно вышла из войны, если большевики заключили сепаратный мир с Германией в Брест-Литовске, если союзники пришли к победе без России и даже вопреки ее действиям, надо расплачиваться, нести убытки. Надо соглашаться с тем, что Россию на мирной конференции будет представлять не такой человек, как Бондарин, а такой, как Колчак.

Все до тонкостей продумал Корнилов, когда отправился к главковерху и, в этом был он совершенно уверен, завтрашнему Верховному правителю.

Городские власти все еще не сподобились назначить Бондарину квартиру, и он жил в салон-вагоне на вокзале. Как и все вокзалы Сибирской магистрали, это было приземистое здание, покрашенное в зеленую краску, с подобием башенки посередине, над входом.

Омский вокзал отличался своим расположением — не в городе находился, а верстах в четырех, в поселке Атаманский хутор. От вокзала до города ходил пассажирский состав, назывался «Ветка», минуя полпути, состав останавливался на пустыре, который почему-то именовался «Станция Карлушка».

Таким путем на вокзал прибыл и Корнилов.

Двое часовых в добротных шинелях (опять английское сукно!) потребовали пропуск и оружие, оружия

у Корнилова не было. Проверять по карманам часовые не стали, но дважды повернуться, приподняв руки, заставили, и вот он ступил на подножку вагона.

В коридоре его встретил с породистой физиономией офицер в новенькой форме, но без знаков различия, наверное, адъютант.

— Придется обождать!— сказал он с той официальностью, которая свойственна всем на свете адъютантам. Потом добавил как бы уже доверительно:— Пять минут!

А хотя бы и десять...

Не так уж часто Корнилову приходилось беседовать с людьми, столь крупно участвующими в событиях мира, не так часто — в первый раз в жизни, вот он и думал: «Ну, а что от Бондарина-то нынче зависит? Что нынче он может?» И, конечно, еще не нашел ответа на свой вопрос, когда был приглашен.

Бондарин подписал одну за другой две бумаги, положил их в папку, папку сдвинул в правый угол просторного стола. Стол был теперь свободен.

На лицах крупных военных, которых Корнилову приходилось видеть, он всегда замечал озабоченность — тоже военную, то есть сосредоточенную на одной-единственной задаче и на одном-единственном состоянии духа.

Бондарин был много лет воевавшим генералом, но ведь он же был и профессором, и эти два начала все еще жили в нем, два, а не одно. И, значит, так: достаточно умное, достаточно уверенное в себе, достаточно холеное лицо... С прямым лбом, с бородкой клинышком, но императорского, того, что было заметно издали, на параде, нет и нет. «Это, наверное, конь создал тогда впечатление,— решил Корнилов.— Верхом-то на красивом коне да при умелой посадке каждый человек немножко император! Недаром же столько конных памятников поставлено на земле императорам и полководцам!» Главковерх поднял на Корнилова глаза.

— Капитан Корнилов по поручению командования Иржинской группировки войск прибыл!

— Командир? Командующий группировкой?— спросил Бондарин, и Корнилов почувствовал, что вопросов будет много.

— Капитан Юрьев.

— Более старших по званию в вашей армии нет?

— Полковник Власов. Командует ротой.

— Чем объясняется такое положение? Полковник — на роте, капитан — на армии.

— К восставшим постоянно прибывают офицеры-добровольцы. Менять командование с каждым прибытием невозможно.

— Юрьев — местный?

— Так точно, местный. На позициях его прекрасно знают. Население знает.

— Численность группировки?

— Двадцать или двадцать пять тысяч. Назвать цифру точно не могу. Это местное население, люди вступают в строй и уходят.

— Сколько дней, как вы отбыли с места службы в Омск?

— Ровно десять.

— За десять дней, как вы думаете, капитан, армия Юрьева пополнилась? Или убыла?

— Думаю, что убыла.

— По причинам?

— Оставляем территорию, а вместе с этим и людей. Бои становятся тяжелее, больше потери, меньше приток рядового состава.

— На какую площадь распространяется восстание? Сколько на этой площади населения?

— Двенадцать — тринадцать тысяч квадратных верст. Семьсот — восемьсот тысяч населения.

— Положение с боеприпасами?

— Необычайно тяжелое.

— Иржинские оружейные заводы могут наладить производство боевых припасов?

— Винтовок — да. Но не патронов — нет пороха, нет капсулей. Пули делаем из красной проволочной меди.

— Помощь извне?

— Никакой. Попытка получить помощь из Казани, когда она еще была в руках белой армии, кончилась безрезультатно. Вторая была предпринята штабс-капитаном Куракиным, который пробился в Самару, когда вы, генерал, были там, и ваш штаб дал нам десять тысяч трехдюймовых снарядов, шестьдесят пудов взрывчатки, деньги и другое снабжение. Но на обратном пути, под Бирском, отряд Куракина был разбит местными рабочими, часть боеприпасов попала в руки противника, остальное уничтожено. Куракин доставил только деньги и телефонные аппараты. Третья попытка была со сторо-

ны волжской флотилии адмирала Старка и капитана второго ранга Федосьева — они дали нам трехдюймовую пушку и сорок тысяч рублей. В это же время иржинцы сами отдали крестьянам шестьдесят тысяч винтовок.

— С какими армиями белого движения соприкасаетесь?

— Караплинская армия. Командующий — князь Ухтомский. Не знаю, можно ли назвать это армией. Скорее всего, это стихийное и кратковременное выступление. Как вам, наверное, известно, генерал, Караплин только что пал.

Бондарин не показал, известно или неизвестно ему о падении Караплина, но сделал перед следующим вопросом небольшую паузу.

— Есть ли связь с армией чехословаков? С генералом Гайдой?

«Генерал Гайда», показалось Корнилову, было произнесено Бондариным торопливо, с оттенком пренебрежения, что ли, и, если это было так, то было по душе Корнилову — Гайду, который из фельдшеров стал генералом и вел себя высокомерно, не любили в белой армии, а его имя стало нарицательным, оно говорило о подчинении русского офицерства чехам. Многие отказывались служить «чешскому санитару». Генерал Сыровой — это другое дело, того уважали в среде русского офицерства и эсеровского, и даже монархического толка.

Корнилов Гайду тоже не любил и позволил себе сказать:

— Связи с Гайдой нет. И не может быть, он этой связи не искал. Гайда теснит 3-ю армию красных, но мечется туда и сюда. Туда, где чуть проще и чуть легче. У него нет плана. Вообще нет стратегии.

Немного помолчав, Бондарин спросил:

— Это лично ваше мнение? Или мнение вашей армии?

— И то, и другое, генерал. Если бы Гайда пошел на Пермь через Иржинск, он отрезал бы 3-ю армию от ее тыла и, по крайней мере, удвоил бы свои силы за счет иржинцев. Но он решил все сделать сам.

— Есть ли смысл об этом говорить? — спросил Бондарин и сам же ответил: — Теперь уже нет! Ни Перми, ни Казани у нас нет. Надо удерживать Екатеринбург.

Потом Бондарин дал Корнилову время подумать и спросил:

— Какие вы нанесли поражения противнику? Какие части действуют против вас... теперь?

— Мы полностью разбили 2-ю Красную армию. В настоящее время особенно активно против нас действуют четвертый латышский полк, мадьяры, отдельные роты китайцев и чекистов. Основная сила — 3-я армия движется на нас с севера. От Казани.

— Кто командует этими частями?

— Антонов, Азин, Блюхер.

Вошел адъютант, доложил, что сейчас вагон будет передвигаться с одного пути на другой и это займет не менее двадцати минут.

— Разрешите?— спросил адъютант.

Бондарин кивнул.

— Можно!— Тем самым было сказано, что разговор с Корниловым не закончен и будет продолжаться еще не менее двадцати минут.

И Бондарин сказал Корнилову «садитесь!», и, когда тот поблагодарил и опустился в кресло с высокой спинкой, обитое красным бархатом, и когда вагон вздрогнул, скрипнул, легонько стукнул колесами и покатился, то, сидя в этом кресле, ощутив это движение, Корнилов вдруг ощутил и присутствие чего-то обычного в необычном этом вагоне... Хотя вагон был просторен, хотя в левом углу стоял большой стол, хотя за столом сидел главковерх, все равно, когда вагон покатился, это произошло самым обычным образом, и кресло тут же пахнуло из красного своего бархата обыкновенным паровозным и тоже обыкновенным табачным дымком. И невольно Корнилов посмотрел на перрон. Уж это всегда принято — посмотреть на перрон, когда поезд трогается, и вокруг себя он тоже оглянулся, и на собеседника посмотрел — кого-то бог послал в дорожные спутники?

«Ах, да это же генерал Бондарин, вот кто!»

Корнилов продолжал свой не то доклад, не то рассказ об Иржинской группировке войск и, когда говорил об Иржинске, видел огромный заводской пруд, а на берегу желто-белый особняк бывшего начальника завода. Вставали перед ним корпуса оружейного завода, пригорок, почему-то называемый Иорданом, дальше сталеделательный завод, совсем вдали — высокая остроконечная глава и окружающие ее купола Андреевского собора. Вспомнил он и тот огромный цех, в котором выступал, урезонивал иржинцев Михаил Иванович Калинин, вспомнил гудки — мощные, их на сорок верст было

слышно, они призывали к восстанию, вспомнил первые стычки с отрядами латышей восьмого-девятого и уже настоящие, многотысячные сражения в средних числах августа.

Бондарин прервал воспоминания:

— Вы, капитан, не коренной ведь иржинец? По случаю там оказались?

— По случаю! — ответил Корнилов и случай разъяснил: — Служил в полку уральского формирования, после Брест-Литовского мира эвакуировался с однополчанами к ним на родину.

— К ним? А не к себе? Не к себе в Петроград?

— Совершенно верно, я петербуржец. Заметно?

— Отчасти. Какая у вас в Иржинске гражданская власть? Или ее совсем нет? Только военная?

— Когда началось восстание и сделало первые успехи, у нас появился Комитет членов Учредительного собрания.

— Во главе с Евсеевым?

— Так точно. Во главе с Евсеевым.

— Из Уфы мы командировали к нему двух эсеров — Шмелева и Шеломенцева. Собственно, не мы, а эсеровская часть самарского Комуча командировала. Для укрепления гражданской власти. Но, по моим сведениям, этот комитет самораспустился? — спросил Бондарин.

— Саморазбежался.

— При обстоятельствах?

— Наш тогдашний военачальник полковник Федечкин предложил эвакуировать гражданское население за Каму, а эсеры назвали его трусом и предателем. Потом испугались своего обвинения, решили, что Федечкин им отомстит, и скрылись, сейчас уже не помню, в каком заводе. Их там и нашли, привезли обратно в Иржинск. Там соблюли проформу существования гражданской власти.

— Проформа существования... — повторил Бондарин. — Вот большевики, они умеют без проформы, у них власть, и все тут! Комиссар, и все тут... — Потом Бондарин вдруг сказал: — Федечкин, Федечкин... Ну, как же, он тоже был в Уфе! Прекрасный офицер! Между прочим, из рядовых, стрелок тринадцатого туркестанского полка, отличился в японскую, получил офицерское звание, а там уже и пошли повышения.

— А Федечкин и не думал мстить Евсееву, — сказал Корнилов. — И всему местному комитету не думал. До

мозга костей военный человек, он после оскорбления, нанесенного ему Евсеевым, сложил с себя полномочия командующего армией в Иржинске и уехал в Уфу; от вас, генерал, он хотел получить новое назначение на фронт.

— Отличный офицер! — снова подтвердил Бондарин. — Солдаты таких любят, за такими они в огонь и в воду! А вот в вожди не годится, чего-то не хватает. Собственного убеждения в том, что он готовенький вождь, вот чего! — заключил он и вынул из ящика стола крупномасштабную карту. — Потрудитесь, капитан, обозначить границы района восстания. До вас еще в Уфе это сделал Федечкин, теперь потрудитесь вы!

Корнилов пересел из кресла на стул не вагонного, а учрежденческого уже вида с потертым сиденьем, подвинул к себе карту и рассмотрел на ней пометки... Рука Федечкина! Старательная, с красивым почерком, который сказывался даже в печатных буквах.

Большие изменения произошли с тех пор, как положение на фронтах восстания было изображено Федечкиным! Позиции иржинцев были указаны им вблизи станции Шепцы, теперь эту жирную черту Корнилову пришлось перенести значительно южнее, к селению Бадьинскому, на речу Талинку, от пункта Полянка он отступал на восток, к узловой станции Обрывная. Всюду, всюду отступления.

И это не все, уже одиннадцатый день прошел с тех пор, когда Корнилов оставил Иржинск, какие там произошли перемены? Перемены, конечно, те же — новые отступления.

Вагон тем временем катился, катился, и удивительно было, как осторожно мог обращаться паровоз с вагонами. Наконец — остановка, и главковерх приоткрыл штору слева от стола, повернувшись в кресле, посмотрел в окно.

С высокой насыпи вид открывался на Иртыш и на Омск, неказистый, унылый вид, потому что Омск, как, впрочем, и все сибирские города, выходил к реке задами — огородами, пустырями и свалками, о набережных помина нет. Но Иртыш оставался самим собою — рекой быстрой, сильной, диковатой и независимой от людей. Белые пароходы в устье Оми, несколько барж и буксиров чуть пониже устья никак не меняли этого впечатления.

— Сильная река! — вздохнул Бондарин.

Впрочем, город в одном каком-то месте подступал к Иртышу мрачно-торжественной постройкой — белокаменная крепость, три-четыре двухэтажных, одно трехэтажное здание заметил Корнилов, и все обнесены приземистой, очень, наверное, толстой стеной. Без входов-выходов, без проемов была стена, ворота, должно быть, с противоположной стороны.

И крепость эта была Мертвым домом Достоевского, отсюда Федор Михайлович четыре года и смотрел на Иртыш, по осени видел такой же, как нынче, стальной его цвет, такой же рыжевато-зеленый противоположный берег, и вполне может быть, что и небольшой киргизский аул Каржас с несколькими юртами и с ветлами седой листвы он тоже видел.

Ну, конечно, собеседники невольно подумали в тот миг о Федоре Михайловиче, оба, и сами будто оказались под его взглядом. Он во-он там где-то рядом со стеной все еще сидел на берегу и оттуда бросил на них взгляд, спросил: как же это русские развоевались с русскими же? Он ведь одно-единственное дите пальцем не велел трогать, а тут — на тебе. Он, Федор Михайлович, недоумевает.

Ну так ведь от великого-то проще всего отмахнуться, это от житейской какой-нибудь мелкой заботы никуда не уйдешь. Они и отмахнулись.

Тем не менее, даже и отмахнувшись, пришлось с Федором Михайловичем хоть и кратко, но объясниться: «Если уж он, капитан Корнилов, начал вместе с двадцатью пятью тысячами иржинцев, не мог же он один вот сейчас и кончить? Нет, не мог! Индивидуалист, замкнутый человек, с детства очень трудно сходился с людьми, он сошелся с двадцатью пятью тысячами, причем до конца: какой конец будет у них, такой и у него... Вот и все!»

— Сколько вооруженной силы сможет влиться из района восстания в мою армию?— этим вопросом Бондарин дал ответ на тот главный, на главнейший вопрос, ради которого, собственно, они нынче и встретились.

Корнилов должен был спросить у Бондарина, узнать у него, двинется ли его армия на помощь восставшим. Ответ же генерала был:

«Я не иду к вам на помощь. Но я жду помощи от вас! Жду с надеждой!»

А тем временем там, в Иржинске, на нового главковерха молились — зачем-то ведь он явился, новый? Не

для того же, чтобы оставить все, как было у незадачливого и чванливого чеха Гайды, генерала из фельдшеров? Бондарин — свой, русский, православный, прославленный, он должен прийти на помощь! Если не он, тогда кто же?

— Из двадцати, двадцати пяти тысяч вооруженных людей к вам будут пробиваться не более чем тысяч десять. Сколько из них сумеют пробиться, судить не могу. Другое дело, если бы вы пробились к нам, тогда ваше пополнение составило бы больше двадцати пяти тысяч. Намного больше!

Бондарин, как будто не слыша ответа, спросил:

— Те, кто пробьется ко мне, будут с семьями?

— Обязательно! И с беженцами численность отступающих составит тысяч сорок.

— Много,— вздохнул Бондарин.— Слишком много! Сумеет ли такая масса переправиться через Каму? Есть ли плавучие средства?

— Ничтожно малые. И, кроме того, к моменту переправы может пойти лед. Полковник Федечкин потому и настаивал на эвакуации мирного населения еще в начале сентября.

— Мост?— спросил Бондарин.— Есть ли возможность построить мост?

— Место возможной переправы установлено. Понтонный мост должен быть четыреста восемьдесят две сажени в длину.

— Четыреста восемьдесят две?— переспросил Бондарин.— В германскую войну я не припомню такого же случая. Нет, не было!

Вагон, постояв неподвижно, теперь снова скрипнул, толкнулся, и покатился обратно от Иртыша к вокзалу, и крепостная стена, ограда Мертвого дома, стала сокращаться на глазах, а потом Иртыш стал исчезать и заиртышская бурая степь с пятнами темной зелени, с аулом Каржас тоже. С обеих сторон снова начались железнодорожные постройки — депо, будки, бараки и неуютные жилые домишки, в таких не жить, а кое-как существовать.

— Кто будет наводить мост?— спросил Бондарин.— Есть ли опытные понтонеры?

— Вызвались инженер Вологдин и техник-поручик Лотков. Предусмотрено создать мостовой отряд из технического персонала заводов. Сто двадцать человек.

— Значит, план продуман?

— Чем больше мы продумывали план, тем больше убеждались почти в полной его невыполнимости.

— Да-а...— кивнул Бондарин.— Че-ты-ре-ста во-семь-де-сят две!— повторил он по слогам, зажмурившись, а тогда Корнилов и увидел их зримо, эти сажени. Все до одной... Они покачивались в ночной мгле поперек потока Камы, скрипели, содрогались и сопротивлялись движению по ним людей, всему их множеству, всей их неестественно огромной массе.

...Сорок, может быть, и сорок пять тысяч мужчин, женщин, детей должны пройти эти колеблющиеся сажени, и вот они идут, представил себе Корнилов, идут, идут, идут, гонят перед собой ревущий скот... Они двигаются одну ночь и не успевают переправиться с правого на левый берег, двигаются вторую — не успевают, двигаются третью — не успевают, а четыреста восемьдесят две мостовые сажени вот-вот разрушатся от напряжения, разорвутся...

Ревет голодный скот, стучат по настилу телеги, вопят люди, а «команда переправы» баграми уже отталкивает от понтонов первые льдины, команда с лихорадочной быстротой заделывает дыры и щели в настиле, связывает порвавшиеся канаты, опускает грузила и якоря в глубину реки... Четыреста восемьдесят две сажени бьются и дрожат, это агония, а на правом берегу все еще тысячи людей, и вот они теряют разум и вот, топча друг друга и детей, бросаются на мост... Мост не выдерживает.

Все это отчетливо представил Корнилов тогда, в салон-вагоне главковерха, а спустя три недели все точно так и было в действительности. Только «команда переправы» называлась по-другому —«мостовой отряд».

И гражданская война в ту ночь переправы для Корнилова тоже кончилась. Он воевал еще долгое-долгое время, но это уже был апокалипсис, который властно увлек его за собой. И ничего нельзя было с этим поделать, что-то изменить.

И стоило ли менять-то?

Ну ладно, конец света не состоялся тогда на Каме, осенью 1918-го, но Корнилов же своими глазами видел его, значит, он возможен? Значит, он вот-вот и вернется —«С добрым утром, вот и я!»— и обязательно состоится если не нынче, так через пять, через десять лет, какое имеет значение — пять, десять? Это уже детское занятие — отличать пять от десяти!

И логика здесь открылась Корнилову: конца света не было бы никогда, если бы никогда не являлась к человеку его мысль, но вот она явилась, воображая себя бесконечной и бессмертной. А этого не могло быть, мысль не была ведь свойственна миру, она пришла в него позже всего другого и, наверное, раньше всего другого из него уйдет, чуждая пришелица. Сама уйдет и жизнь увлечет за собою.

Она кичилась своим могуществом, не подозревая, что по закону равенства действия и противодействия столько же, сколько накапливалось в мире ее, могущественной мысли, столько же появлялось и антимысли, то есть бессмыслицы, и что чем могущественнее будет и то и другое, тем скорее их противоборство кончится концом света...

Да-да, это видение переправы, эти звуки, этот леденящий холод до мельчайших подробностей оказались пережитыми Корниловым заранее, и тем невероятнее все было, когда это случилось в действительности... Он проклинал свое безошибочное, совершенно точное воображение — если воображение и действительность так точно и совершенно совпали, куда и во что мог укрыться он? И все эти люди — куда?

Обезумев, они бежали от опасности, но, вернее всего, бежали в другую, еще большую опасность. Они бежали не с правого на левый берег Камы, а неизвестно куда — на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Китай, в Америку, на тот свет, но даже и на том свете все равно они не найдут успокоения и самих себя не найдут, тех людей, которыми они когда-то ступили на зыбкий настил понтонного моста длиною в четыреста восемьдесят две сажени.

Вот какая сумятица стояла тогда в душе Корнилова. А припомнить, она — такая же — и во всем белом лагере стояла.

Все эти соображения пришли к Корнилову несколько позже. А в салон-вагоне он спросил у Бондарина:

— Когда прикажете отбыть в Иржинск? Будут ли вами переданы какие-либо распоряжения?

— Все, что будет необходимо, я передам туда другими путями. Вы же, капитан, встретите иржинскую армию и беженцев на переправе и затем проследуете с ними до места соединения с моей армией. Вы будете моим представителем в иржинских частях. Некоторые предварительные распоряжения не позже, чем завтра

в десять утра, вы получите у адъютанта. Вы свободны, капитан.

Прошел месяц после того, как Корнилов встретил отступающие части иржинцев, а генерал Бондарин уже не был главковерхом. Им стал адмирал Колчак.

Когда же прошло два года, он забыл о догадке, пришедшей к нему на переправе через Каму длиной в четыреста восемьдесят две сажени. То есть не совсем забыл, нет, но теперь она ему не мешала, скорее наоборот: теперь он был не только человеком, не только умелым мастером-веревочником, не только плановиком краевого масштаба, но и носителем тайной мысли человечества, которую он воплощал своим существованием. Что это была за мысль, что за слово? А какое это имеет значение, пусть это слово было «аминь», не все ли равно? Все равно благодаря и этому слову Корнилов самоутверждался в мире, приобретал в нем свое назначение, из никого становился кем-то.

Тигр... Или мышонок? Ни тигр, ни мышонок не сомневаются в том, кто они, и не ищут в себе качеств и назначений, которых в них нет и никогда не будет, не создают в самих себе пророков, тем более богов, а вот он, Корнилов, они, Корниловы, тем и отличались от мышат и тигров, что не могли существовать без собственной выдумки о самих себе... Странно-то как...

Господи! Лазарев же умер, вот какое событие, какой невероятный случай, все этим событием потрясены, при чем же здесь тигр? И мышонок? Петры Корниловы при чем? Оба?

Оказывается, Лазарев, а его смерть тем более, имели к существованию Корниловых отношение, и еще какое! Оказывается, Лазарев сам по себе только потому, что он повседневно был рядом с Корниловым, своей необыкновенно сильной, прямо-таки могущественной энергией подавлял Корниловых, успокаивал их, примирял их с самим собой, заставлял Корниловых быть только плановиками, а больше никем, и даже радоваться такому ограничению, находить в нем удовлетворение. И Корниловы радовались, удовлетворялись, а не выпендривались, не гордились тем, что знают слово «аминь». Ну, конечно, немного-то гордились, не без того, но только в меру, скромно и тактично.

Смерть Лазарева все это нарушила, все это равнове-

сие, все меры и такты, все, что было сознанием и самосознанием Корниловых.

Господи, страшно-то как... И хотя бы кто-нибудь знал об этом страхе, кто-нибудь понял его, кому-нибудь можно было бы о нем рассказать — некому!

Вот какое ощущение... Его и скорбью-то, подобающей нынешнему событию, назвать никак нельзя, а как можно назвать? Неизвестно...

Такое уж занятное, такое драматическое произведение первой четверти двадцатого столетия был этот Корнилов и эти Корниловы — не давали себе покоя, думали бог знает о чем, когда нужно, тем более, когда не нужно! Выясняли самих себя без конца. Конечно, можно было самих себя и успокоить даже в этот скорбный момент, приглушить в себе страх, но уйти от некоей отправной точки этого страха было нельзя — она была, эта точка, а он был к ней привязан крепко-накрепко. Даже если рассуждать и спокойно, и рассудительно, все равно оказывается, что...

Оказывается, много-много лет в Петре Николаевиче-Васильевиче Корнилове накапливалось желание трудиться интеллигентно и мыслительно по направлению к будущему. Соответствующая энергия в нем, разумеется, все это время тоже накапливалась... Ну, а Лазарев-то разве не накапливал такую же энергию, когда был в ссылках? В эмиграции? Когда был комиссаром Красной Армии? Оба они накапливали ее, только на разных полюсах — один на белом, другой на красном.

Конечно, разные люди — революционер Лазарев и не то чтобы контрреволюционер, но человек, который не был в силах принять и понять революцию, Корнилов.

Они были разными еще и потому, что в жизни Корнилова наступил, должно быть, не очень давно, момент, когда он стал побаиваться своей энергии и даже чувствовать ее избыток; хватит, уж хватит, сколько им было совершено и придумано лишнего... Доцентом был — ни к чему. Офицером был — ни к чему! В детстве был богом, и то ни к чему. Ну, как тут не забоишься?!

А вот товарищ Лазарев в своей собственной жизни ничего лишнего не обнаруживал, наоборот, ему бы еще, еще, еще! Казалось, он может один израсходовать всю жизнь, другим ничего не оставив. Слишком, слишком уж мало, считал он, им сделано, нужно было сделать гораздо, гораздо больше, вот он чем казнился, неимоверно многое успев к своим-то сорока... Прекрасное об-

разование получил, революцией всерьез занимаясь и повоевавши, покомиссаривши в 5-й армии красных в гражданскую и, наконец, несколько уже лет поруководивши в Крайплане, он все еще упрекал себя: мало, мало, мало!

И тем не менее и несмотря на все эти различия между ними, Корнилов чувствовал с Лазаревым энергетическую общность и дорожил ею, понимая так, будто это подает надежду на общность человеческую, и, когда он, бывший натурфилософ, входил в служебный кабинет бывшего революционера-подпольщика, ныне предкрайплана, они без труда находили общий язык, их сближала крайплановская работа, и тут Корнилов истово верил в то, что будущее будет, что его будет много, что о его устройстве обязательно нужно хлопотать: одному толково составить записку о необходимости изучения природных ресурсов в зоне проектируемой Бийской гидроэлектростанции, другому эту записку придирчиво прочесть, сделать кое-какие замечания, а потом и подписать.

Вот какое выходило в этом случае между ними трогательное единение, при котором Корнилов почти совсем забыл «аминь».

Вот еще чем и как был необходим Корнилову Лазарев, отнюдь не по пустякам!

Нет, Корнилов не испытывал к Лазареву зависти, ни малейшей, но благодарность была, тем более что она оставляла право еще подумать, да, подумать и даже посомневаться. «Ну, хорошо,— спрашивал он себя,— что же, люди и в самом деле так отчетливо и так неизменно делятся на правых и виноватых? А тогда почему же до сих пор они не научились различать, где правота, а где вина?!» И вот он внимательно наблюдал, а иногда так и словно сыщик следил за Лазаревым — за правоверным и несомневающимся.

И однажды было, Корнилов по срочному вызову Лазарева вошел к нему в кабинет, а тот, весь красный, говорит, еще минута, и уже начинает кричать в телефонную трубку: «Когда же это, наконец, кончится! Когда? Мы месяц тому назад предложили всем заинтересованным организациям высказать свое мнение по строительству цементного завода, и нэпманы ответили, предложили подрядные услуги, они берут на себя торговлю и снабжение на стройке и открытие столовых и ресторана с танцевальным залом, а советские краевые орга-

низации? Только что получил свою же бумагу из тринадцати учреждений и с тринадцатью резолюциями, вот послушай: «Принять к сведению», «Учесть в дальнейшей работе», «Согласовать», «Направить на рассмотрение», «Согласовать», «Отложить ответ до возвращения тов. Ливщаткина из отпуска», «Согласовать». Мы что ж, дадим погубить себя бюрократии, да? Можно Крайплану так работать или так нельзя Крайплану работать?! Ты согласен, нельзя! Тогда закрываем Крайплан завтра же!.. Ну и что же, что банально! А чего тут выдумаешь небанального? Попробуй выдумай! Что я предлагаю? Снимать с работы, гнать в шею? Хуже придут, но не такие же, нет... Да-да, так оно и есть, так и есть: я десять минут тому назад с благодарностью вспоминал военный коммунизм!»

Тут Лазарев положил трубку, посидел молча. И развел перед Корниловым руками. Вот так.

— А вы принесли по цементному заключения геологов? — спросил он.

«Ага! — подумал Корнилов. — Если бы Лазарев был кругом прав, умел бы осуществить свою правоту, он бы не кипятился так и не переживал бы...» А тут спустя некоторое время Лазарев неожиданно еще и сказал:

— Мы-то, плановики, мы кто? Что мы знаем о себе? Почему планируем именно мы, а не кто-то другой, случайно, да? Какими мы должны быть и что мы должны знать? Знать все невозможно! Знать мало нельзя! Или вот: интуиция в нашем деле возможна или нет?

Тут уж Корнилов и вовсе подумал: «Ага, ага! Лазарев-то? При всей своей правоте вот как говорит! И сомневается — как?!»

И, наконец, был случай... Очень, очень примечательный. Кажется, он-то навсегда и утвердил Корнилова в его собственном, но всечеловеческом назначении, с того случая он и чувствовать себя в мире стал по-другому, и Лазарев, и даже жена Лазарева Нина Всеволодовна приобрели в его жизни необыкновенный смысл...

Случай был почти что обыкновенный, на первый взгляд ничего особенного...

В краевом театре «Факел революции» коллектив Крайплана смотрел Толстого, «Власть тьмы».

Лазаревы были вдвоем, поэтому Корнилов к ним не подходил, но в антракте они подошли к нему первыми. Константин Евгеньевич сказал:

— Давненько не видели мы графа... Давненько. Я даже соскучился! Очень занимательный был граф, интересный! Нина тоже соскучилась по графу!

— Еще как! — вздохнула Лазарева и улыбнулась Корнилову. Непосредственно ему. — А вы? — спросила она при этом.

— Конечно! — кивнул Корнилов. — Конечно, я по Толстому соскучился. Но графа-то нынче я не приметил.

— Неужели? — удивился Лазарев. — Неужели можно этакого изысканного, этакого умного графа и графства не заметить? Не знаю, не понимаю, как это можно. Я все время, каждую секунду графа вижу, что бы и когда бы он мне ни говорил! О темных мужиках говорит он — граф, о зеленом дубе, о поле боя под Аустерлицем — граф, о страданиях Нехлюдова — граф, о Николае Первом — граф. И в том, как он сам не хочет быть графом, он тоже граф и аристократ. Да разве разночинец Достоевский может так же аристократически видеть и думать — никогда! Достоевскому не веками выработанную культуру, не аристократизм и систему мышления подавай, ему подавай систему ее разрушения и ниспровержения! И это, заметьте, этот антагонизм происходит при необычайном сходстве их целей, при том, что оба видят в жизни тупик и оба видят выход из тупика не в чем-нибудь, не в классовой проблеме и борьбе, а в любви к ближнему своему!

— У вас, Константин Евгеньевич, — заметил Корнилов, — особый взгляд...

— Классовое чутье! — расшифровал Лазарев.

— Может быть! А это обязательно — принюхиваться к каждому без исключения предмету? Классово принюхиваться?

— Не обязательно! Но если вам от природы дан музыкальный слух или классовое обоняние, куда вы с ними денетесь? Убьете их, что ли? Их даже убить нельзя, невозможно! Вы сможете?

«Что, выкусил? — не без шаловливости посмотрела Нина Всеволодовна на Корнилова, но в то же время будто и сочувствуя ему, и спрашивая: — А что дальше? Мне это интересно».

Дальше Корнилов уже с некоторой меланхолией спросил:

— Вы Достоевского, наверное, и совсем не любите? Нынче его никто не любит, да? Сам нарком Луначарский страшно как его не любит?

— Почему же никто?— пожал плечами и энергично махнул рукой Лазарев.— Да вот она, собственная моя жена, прямо-таки обожает! А я действительно нет... И нынче, и всегда не любил: Достоевский ничего не разъяснял, но запутывал и без того запутанный мир. Еще никому не удавалось запутать его так же... Но даже и не это странно, всегда было похоже на то, что обязательно должен явиться в мир великий и даже гениальный путаник, странно другое — немыслимый восторг и трепет перед ним человечества... Не знаю почему, но люди, погибая в путанице мира, простирают руки к своему кумиру: «Ах, это мы не сами по себе! Мы по Достоевскому погибаем!»

Подошел Бондарин.

И в нем тоже чувствовалось что-то необычное, не то праздничное, не то какие-то воспоминания его настигли, он тоже, наверное, многие годы не видел Толстого на сцене. Книги наедине с самим собой, конечно, читал, но чтобы увидеть толстовский спектакль в театре — где бы это? Чтобы при всем честном советском народе — и вдруг Толстой на сцене? Новые времена наступили... Да.

Бондарин вмиг схватил суть разговора и сказал:

— Да ни в жизнь!— сказал он.— История хоть и повторяется, но вовсе не так, чтобы в двадцатом веке мы погибали по предписаниям века девятнадцатого, это утопия! Мы если вздумаем погибать, то совершенно по-новому. Мы ведь по Толстому давно отверились, а по Достоевскому давно отсомневались, у нас совсем другая задача — бороться по Ленину! Вот какое дело... А я ведь — люблю дело!

— Ого!— удивился Лазарев и, прихватив Бондарина за рукав черного и плотного костюма, легонько, но настойчиво потянул его в угол, высвобождая из разномастной толпы, которая неестественно густо заполняла небольшое сумрачное и неуютное, без всяких украшений театральное фойе. Там, в уголке, Лазарев спросил:— Таково, значит, ваше мнение, Георгий Васильевич? Неужели?!

— Зачем же мое?— ответил Бондарин.— Оно не мое, а ваше. Я ваше мнение уточняю, не более того!

— А-а-а, вот оно что! А я-то думал... Спасибо за помощь, но мне, право, было бы гораздо интереснее услышать ваше собственное мнение!

— Собственное? Пожалуйста! Мое мнение — служба! Я, знаете ли, Константин Евгеньевич, столько мнений на своем-то веку слыхивал и даже воочию видывал, через столько мнений прошел самолично, что из всех из них осталось у меня одно-единственное — служба! Вы и сами подумайте: как бы это я мог служить нынче членом президиума Крайплана, иной раз даже замещать по службе вас, ежели не пришел бы в свое время именно к этому выводу? Служба требует, и вы требуете от меня строить социализм? Строю! И даже с удовольствием! Это оказалось гораздо интереснее и даже гораздо душевнее, чем можно было предположить... сидя в тюремной камере.

Постояли молча...

— Погибнуть по кому-нибудь, по Толстому или по Достоевскому — этому тоже ведь надо научиться!— как бы пренебрегая Бондариным и всем тем, что он только что сказал, а обращаясь к Корнилову, проговорила вдруг Нина Всеволодовна.— Или я не права?

Корнилов хотел ответить, что она права, но тут антракт кончился.

По пути домой — их, крайплановцев, в тот раз много было в театре, культорганизатор постарался, распространил билеты — все четверо сошлись снова.

Однако что-то мешало Корнилову продолжить разговор с Лазаревым. Уж не Бондарин ли этому мешал?

Шли по снежку, по скользким тротуарам, беседуя о том о сем, Бондарин вел себя свободно, подчеркнуто свободно.

— Ну что, Константин Евгеньевич,— спрашивал он Лазарева,— дельного работничка я привел вам в Крайплан? А?— И показал глазами из-под мерлушковой шапки-папахи на Корнилова.

— Мы дадим ему работу и еще посложнее, поответственнее. Точно, дадим!— подтвердил Лазарев, а Нина Всеволодовна внимательно взглянула из лисьего воротника на Корнилова.

Бондарин же спросил ее:

— Разрешите пристроиться?!— и взял ее под левую руку, а под правую она шла с мужем. Так они и шагали дальше — втроем и дружно в ногу. Корнилов же остался позади, в одиночестве. Трое, хоть и мешая встречным

прохожим, умещались на узких тротуарах, четверо никак!

Никак...

— Люди, которые умеют отражать жизнь, сами не умеют жить! Хотя бы Толстой,— громко произнес Корнилов, потом и еще добавил: — И целые народы также! Египтяне? Художественный был народ и весь, до единого человека погиб! А вот о России я думаю, что...

Бондарин, как и следовало ожидать, мгновенно подхватил мысль:

— Осознание жизни — это отшельничество. Отшельники же нынче очень редки, а главное, никому они не нужны!

Лазарев, как всегда, оставался на своей линии:

— Осознание жизни — художническое, научное, социальное, любое — обязательно должно приводить к более совершенной системе общественного устройства. Иначе грош цена искусству и науке, вообще всей так называемой духовной жизни человека!

Корнилов хотел прокомментировать это заявление, но его опередил Бондарин.

— Образование и искусство никогда не упрощали человеческого характера!— сказал он.— Они его всегда усложняли. Значит, усложняли и задачу общественного переустройства!

А чем кончилось? Подумать только, вот чем: дальше они говорили только втроем.

Правда, Нина Всеволодовна раз-другой обернулась к нему и, молча извинившись, молча же приободрила: «Терпи, Корнилов! Что поделаешь, Корнилов, если такие узкие и такие скользкие существуют в городе Красносибирске тротуары?! Вот если бы мы были где-нибудь в другом месте, в другом городе...» А еще показалось Корнилову, что она его упрекнула: «Господи! При таких-то умных, при таких серьезных разговорах и вдруг испытывать по-детски горькую обиду! По-детски отчаянное одиночество! Только потому, что вы остались один, а мы идем втроем!»

Но он испытывал! Смешно?! Вечно одинокий человек — испытывал!

Между тем там, впереди возникало нечто до боли интересное, развивалась исконно русская тема — что такое Россия? Бондарин говорил:

— ...вечные распри и междоусобицы! Братья-князья дрались между собою, делили стольные города. И род-

ные революционные партии тоже. Дождемся ли когда-нибудь... Склочный мы, что ли, народ, ежели затеяли этакую гражданскую, этакую меж- и внутрипартийную борьбу? Или в самом деле иначе нельзя, не бывает...

— Зато впервые в истории нашей и человечества осуществляем братство между всеми, кто к этому способен...— пояснил Лазарев.

— А кто не способен? С теми как?

Ах, как хотелось, как горел желанием Корнилов принять участие в этом споре, но нет, те трое шли впереди, он шел один позади, и чем дальше, тем все меньше он их слышал и понимал.

Да и Нина Всеволодовна уже не оглядывалась больше, уже не считала это нужным. Двое мужчин вели ее под руки, и она то к одному из них, то к другому склоняла голову в пуховом платке и всей своей не то чтобы полной, но и не сухощавой фигурой склонялась то вправо, то влево...

И в утешение самому себе, и в страстном, именно в страстном порыве того же детского самолюбия Корнилов решил: «Сейчас подумаю о чем-нибудь таком, до чего им, всем троим, никогда не додуматься! Подумаю, а им не скажу! Ни слова!» И стал думать так: «Значит, так, значит, так, значит, так... Что во мне, в моих мыслях было самым-то умным? Самым истинным? Самым значительным? И потрясающим?— стал вспоминать он.— Ах да, конечно, мысль о конце света... Ну как же, помню, помню: ночь... темь... река... лед... Переправа через Каму — вот что! Одним словом, конец света! Ну, конец так конец, а я-то, Корнилов-то, здесь при чем? В чем тут моя-то роль? Мое значение?» — еще подумал он... Ему теперь, когда он, насмотревшись Толстого во «Власть тьмы», шел, страдая, один и позади, а те трое, радуясь, впереди, ему в этот момент совершенно необходимо было ощущение собственной роли, собственной значимости.

И он без этого — без роли и без значения — не остался, они к нему пришли!

«Ну, как же,— догадался он.— Как же, как же! Я и есть тот человек, который, как никто другой, воплощает в себе конец человечества... И, значит, когда умру я, человечеству останется жить после меня недолго, клянусь, очень недолго!»

И ничто его не смутило в этой нелепой мысли, в этом странном заключении — ни абсурдность, ни фантастичность, ни мистика...

И даже то обстоятельство, что Корнилов в самом себе не сделал тогда никакого, ни малейшего открытия, ведь эта мысль, он помнил, была у него и раньше, давно была, даже и это его ничуть не смутило: да мало ли что была? Мало ли что являлась время от времени, мелькала? Мало ли что мелькает в уме каждого человека? А вот сейчас эта мысль стала для него главной, до конца жизни главнейшей и неизменной, вот в чем все дело! Сейчас в этой мысли появились и главные действующие лица — прежде всего он сам, Корнилов, потом Лазарев, ну и еще Лазарева Нина Всеволодовна была действующим лицом... Почему, ка́к была,— непонятно, но факт оставался фактом: была! А вот Бондарин, тот не был... Острый, необыкновенно острый и сильный ум, но это ничего не меняло, все равно не его ума было дело, вот и все! Такое пришло в тот миг убеждение, такое озарение...

О поэзии, например, говорят: «Миг вдохновенья, и стихи готовы, находка совершена!» А, должно быть, ничего подобного, чтобы этот миг настал, сначала нужна долгая-долгая, изо дня в день черновая работа, утомительное и тоже долгое напряжение нужно, опыт жизни и мышления нужны, и только все это, вместе взятое, повзаимодействуя между собой, высечет наконец искру... Ту самую, которая — вдохновение, которая и есть не что другое, как твое назначение в этом мире.

Вот еще почему Лазарев не имел никакого права умирать, он должен быть живым, а не мертвым, продолжать общение с Корниловым, сдерживать его мысль...

А он что сделал?

Он умер!

И на кого же...

И на кого же Корнилова оставил?

Да так и есть, так оно и есть — на Бондарина он его оставил... Бондарин во-о-он еще когда уже играл особую, исключительную роль в жизни Корнилова, а с годами эта роль все возрастала. Ведь и в Красносибирск-то, в Крайплан Корнилов угодил только благодаря Бондарину, только ему он этим был обязан.

В прошлом году было дело, в 1927-м.

Дела в краевом Красносибирске были у Корнилова

тогда такие: сбыт продукции Аульской промысловой кооперации.

К тому времени он, Корнилов, заметно шел в гору по линии промысловой и вот из председателей артели «Красный веревочник» стал уполномоченным окружного Союза, а в этом именно качестве и с документами агента по сбыту прибыл в Красносибирск.

Сбывать полушубки, рукавицы, пимы, шапки-ушанки, деготь и прочее, а также веревку и канат — по старому теперь уже пристрастию — оказалось делом нелегким.

Где он только не побывал, Корнилов, за четыре дня пребывания в Красносибирске: на базарах Центральном и Зареченском восемь раз (по два раза ежедневно), в представительстве Северной морской экспедиции — три, в Красносибирском отделении Сибирской железнодорожной магистрали — три, в «Рыбакколхозсоюзе», в Крайплане, в японском и немецком консульствах — по одному разу.

Замотался окончательно. Уже стал забывать, где он был, а где только должен быть, пришлось все посещения заносить в записную книжечку.

Хорошо, когда сразу и определенно скажут, как, например, сказал немецкий консул: «Веревочной продукцией современное германское государство обеспечено полностью, а в пимах не нуждается!» А вот с японцами оказалось труднее, там угостили чаем, заставили посидеть на циновке, сложив ноги крест-накрест — мука мученическая!— поговорили с промысловым уполномоченным на ужаснейшем русском языке, но с русскими пословицами о том о сем, по многим, по разным вопросам поговорили, потом сказали то же самое: не нуждается в веревке Япония, в Китае ее можно приобрести почти задаром.

В Крайплане, как и в японском консульстве, долго листали бумаги, справлялись о фондах и запросах, поступивших с мест, из многочисленных округов края, потом посоветовали пойти на рынок, познакомиться с реальной торговой конъюнктурой.

Так и прошло четыре дня, а перспективы?

И с горя, что ли, Корнилов зашел пообедать в ресторан «Меркурий», это на втором этаже здания с башенками, построенного под старину. Старины в Красносибирске не было и не могло быть — город-то ведь заложен тридцать три года назад и под старину построено

всего лишь одно-единственное здание с башенками. Без них неудобно — не то город, не то вокзал.

И вот существовал дом с башенками и назывался «Деловой двор», в «Деловом дворе» ресторан «Меркурий», реклама на голом торце «двора» огромная: небесное светило, а вокруг тарелки, и все доверху чем-то переполнены, какими-то гуляшами и бифштексами.

Популярный ресторан, особенно среди нэпманов.

Сов- и партработникам, как правило, не по карману.

Было между тремя и четырьмя пополудни, время после окончания рабочего дня в совучреждениях, а значит, и нэпманы в этот час тоже освобождались от трудов, они строго приспосабливались к государственному распорядку, но «Меркурий» был пустоват, малолюден, и закрадывался вопрос: как идут дела у хозяина предприятия? Он, может, только делает вид, что процветает? Впрочем, есть ведь еще и вечерние часы, и ночные, когда дневной недобор кассы, вполне вероятно, компенсируется?

В темноватом большом зале было тихо; как бы в чем-то сомневаясь, тапер постукивал по клавишам пианино, получалось вроде «Сказки Венского леса», может быть, и не получалось; шикарные официанты, из них добрая половина пожилые, еще дореволюционной выучки и закалки, держались в середине зала кучно, обсуждали цены на Красносибирском рынке и советско-английские отношения; с улицы через окно доносился грохот сгружаемых с ломовых телег предметов; внизу, в первом этаже «Делового» размещался самый большой в городе государственный универсальный магазин, к магазину, должно быть, и относились этот грохот и выразительные крики извозчиков-ломовиков.

Корнилов занял столик вблизи окна, вот ему и слышались эти крики и возгласы во всей их отчетливости.

А заказал он рыбное ассорти, грибной суп, жареного рябчика с моченой брусникой и стопку водки.

Кухня была доброкачественной, а с неудачей сбыта продукции аульских промысловых артелей надо было смириться. Он так и сделал и тут же, в тот же момент своего смирения увидел Бондарина.

Бондарин сидел за столиком один. Тот же, хоть и без мундира, без погон, а все равно военно-профессорский вид: очки в тонкой золоченой оправе, бородка клинышком, тщательно расчесанные на пробор не светлые и не

темные волосы, выправка, четкость движений. Конечно, ничего императорского, но как раз оттого, что ничего, ты невольно думаешь: «А вдруг что-то?»

Разумеется, Корнилову было известно, что Бондарин проживает в Красносибирске, что работает в Крайплане, в том самом, в котором он вчера был, был, конечно, у тех служащих, которые на два и на три ранга ниже Бондарина.

Как обо всем этом было не знать, если Бондарин постоянно публикует статьи в газетах, в журнале «Жизнь Сибири», если он составляет и тоже публикует ежемесячные конъюнктурные обзоры по краю? Кроме того, прошлое! Всем было известно его незаурядное прошлое еще и потому, что в 1925 году в Красносибирске вышла его книга «Пять лет — 1918—1923 гг. Мемуары и воспоминания», в печати появилось на эту книгу множество рецензий, были и протесты деятелей революции и участников гражданской войны, которые усматривали необъективность автора, его желание обелить белогвардейский лагерь, а самого себя прежде всего, но были вполне положительные отзывы видных большевиков, они утверждали, что «Мемуары и воспоминания» — одна из самых интересных, поучительных и порядочных книг такого рода.

Да, Бондарин был где-то наверху, на самом верху элиты «бывших», а в то же время он большой советский специалист и казался «агенту по сбыту» аульского окружного Союза промысловой кооперации гораздо более недоступной фигурой, чем во время своего верховного командования в Омске. Любое приближение к нему казалось агенту по сбыту чем-то опасным, даже неестественным.

Между тем Бондарин деловито доедал второе блюдо, доев, опрокинул стопку, откинулся на спинку кресла — за его столиком было почему-то кресло с высокой спинкой, тогда как повсюду стояли обыкновенные, хотя и хорошей работы новенькие стулья. Посидев так минуту и как будто бы даже успев чуток вздремнуть, Бондарин встрепенулся и принялся за газеты, которые лежали тут же, на столешнице. Он пробегал газеты быстро, две-три положил в портфель желтой кожи, потом откинулся опять, опять провел в расслабленности некоторое время, и все в том состоянии, которое свойственно только людям военным, видавшим виды. «Сколько раз я мог быть убит,— как будто думал в это время Бондарин

о себе самом,— сколько раз? Десять? Сто? Тысячу раз? Но не убит, не расстрелян, а живу. Живу! Обедаю! Газеты почитываю! Хотите посмотреть, как все это делается? Впрочем, смотреть не надо, я все это делаю исключительно для себя и ради себя самого! Я живу!»

Еще чуть спустя Бондарин кивнул, к нему приблизился официант, и он расплатился, должно быть, хорошо дал на чай, взял портфель, еще раз доброжелательно кивнул официанту и что-то объяснил ему, что-нибудь по поводу сегодняшних блюд. Потом ушел.

Невероятным показалось Корнилову все это, хотя невероятного не было совершенно ничего.

Корнилов спросил официанта:

— Скажите, пожалуйста, за тем столиком, в углу, это ведь Бондарин сидел... Генерал?

— Безусловно, они-с... Вы правильно утверждаете!— подтвердил официант.

— Ну и как же?

— Как позволите понять?

— Часто он у вас бывает? В «Меркурии»?

— Каждый день, помимо выходного. Ежели назавтра быть не намерены, предупреждают: «Завтра не ждите».

— И всякий раз садится за тот столик?

— Только. И только ко мне. Ну и еще к одному тут, достаточному специалисту. Два дня кушают мясное, третий — вегетарианство. Позвольте, со своей стороны, поинтересоваться: вы интересуетесь по знакомству? Или по родству? По службе? Или просто так? Большинство интересуются просто так.

— И я просто так. Очень известный человек.

— Мало сказать! Вы посмотрите, как они ножичком, как вилочкой владеют! Как салфеточкой! Как что! Верите ли, нынешние наши коммерсанты, когда им ехать в Питер или даже в Ригу, или даже в Берлин-Париж, так они приходят ко мне и просят местечко неподалеку: посмотреть, как что. Как и какой прибор держать, как самому за столом держаться.

— Он что же, всегда один?

— Отчего же? Обедают они редко-редко когда с сослуживцем, хотя бы с тем же профессором Сапожковым, но вечером одни никогда не бывают.

— С кем же?

— Ежели вам это просто так, тогда с теми же сослуживцами либо с дамами. Ежели какая-то приезжая

гастроль, тогда они приглашают актрису или две, или три, или несколько больше и очень хорошо их угощают. Позвольте, в свою очередь: вы приезжий? Из центра? Либо, наоборот, с места?

— Из центра...— зачем-то соврал Корнилов, но официант был дока и Корнилову не поверил. Не поверив, сказал:

— Конечно... Сразу видно.— И отошел.

А Корнилов с того часа совершенно охладел к своим обязанностям агента по сбыту веревочной и другой продукции, он каждый день с нетерпением ждал трех часов пятнадцати минут, шел в «Меркурий», а в три тридцать туда же являлся и усаживался за угловой столик с газетами бывший генерал Бондарин. Впрочем, «бывший» — это слово к нему не подходило, уж очень он был настоящим.

И вот что Корнилова поражало: и тот, давний, и этот, настоящий Бондарин были удивительно похожи друг на друга. И внешне близнецы, и в манерах, в каждом движении полное сходство! Никакая «бывшесть» не мешала этому сходству.

Если бы генерал-лейтенант в том, 1918 году вздумал вдруг переодеться в штатское и зайти отобедать в «Меркурий», он вот так точно и выглядел бы, так же и вел себя, как нынче, а если бы этот, член президиума Крайплана, надел сегодня мундир генерал-лейтенанта и занял бы место в салон-вагоне главковерха, он точно так же и принял бы Корнилова, как принимал тогда.

А вот для Корнилова те и нынешние времена были совершенно разными эпохами, те люди и нынешние советские граждане почти ничего общего не имели между собой, тем более не имели тот, «бывший» и этот, нынешний Корнилов...

И лицо у Бондарина по-прежнему оставалось, как и в 1918 году, интеллигентно-озабоченным, интеллигентно же деловым.

«Конечно,— думал Корнилов,— каждая каста время от времени требует обновления, генеральская тоже... Вот Бондарин еще в 1904 году был таким обновленцем, да не в срок пришелся, не успел оглянуться, как стал уже «бывшим».

На третий день таких же наблюдений и догадок стало Корнилову казаться, будто и Бондарин тоже нет-нет да бросит в его сторону взгляд, дескать, кто такой. Знакомый? Из прошлого? Или из настоящего? Поскольку

«Меркурий» в дневные часы был немноголюден, посетители невольно присматривались друг к другу, каждый к каждому, а все к Бондарину. Бондарин должен был ответить на это внимание вниманием же.

Четвертый день с утра был Корнилову удачен: Госпар, иными словами, Госпароходство, предложил ему контракт на поставку в течение ближайшего полугодия двух с половиной тысяч пудов пенькового каната и тысячи трехсот пар брезентовых рукавиц. У Корнилова было задание на сбыт меховых рукавиц, однако он подумал-подумал и подписал пункт по брезентовым — цены Госпар предлагал приличные.

Этот контракт Корнилова обрадовал, но и огорчил тоже: ничего другого, никаких иных договоров не предвиделось, значит, надо было возвращаться в город Аул, докладывать председателю окружного Союза промысловой кооперации насчет общей обстановки на рынках сбыта краевого центра, а также о собственных более чем скромных успехах — о контракте с Госпаром.

С председателем у Корнилова отношения были хорошие, можно сказать, близкие, доверительные. Председатель этот еще два года тому назад сам был таким же уполномоченным промысловой кооперации, сокращенно УПК, сначала Павловского, а потом пригородного Аульского куста, он успешно двигался по служебной лестнице, уже и окружной Совет возглавлял, а при этом держал на примете Корнилова и его тоже продвигал — из рядовых веревочников в председатели артели, из председателя артели — в уполномоченные окружного промыслового Союза.

Таким образом, Корнилову не грозили неприятности по месту службы из-за того, что он задержался в Красносибирске, не об этом забота, забота другая — поговорить бы с Бондариным?

Корнилов ждал, что не сегодня, так завтра его пригласят к разговору, так ему казалось. И не напрасно казалось: действительно, к нему подошел все тот же, старой выучки официант и тихо, значительно произнес:

— Вас просят-с...— Рыжеватыми глазами показал, кто и куда просит.

Корнилов приблизился, Бондарин подвинул ему стул, а по столу придвинул графинчик.

— Может быть, будем знакомы?

— А мы, Георгий Васильевич, знакомы! — с неожиданной для себя прямотой отозвался Корнилов. — Были бы не знакомы, вы разве меня позвали бы?

— Ну да, ну да, — тоже запросто, но и не без настороженности кивнул Бондарин. — Вы не Корнилов ли? Не Корнилов ли из Иржинска?

Теперь уже истинно удивился Корнилов.

— Память?

— Не жалуюсь, но скажу вам, Корнилов, и еще один секрет: веду дневник. Дневник, не беспокойтесь, без упоминаний имен-фамилий, разве только одни условные обозначения «эн», «эм», «ка» и прочие, но все равно благодаря этому день за днем закрепляются в памяти. Для чего бы это? Чтобы закреплялось-то? Не подскажете?

— Не думал. Никогда. И дневник не вел никогда... Ни к чему.

— А я думал. И много до чего не додумался. Зато помню действительно многое и многих. Капитана Корнилова помню. Между прочим, хотя мы и не встречались с тех пор, но где-то имя ваше и еще показалось передо мною. Под Читой где-то. В составе тех же иржинских полков, кажется?

— Могло быть, — согласился Корнилов. — Вполне.

— Хотел бы вас спросить, если сочтете возможным: полковника Федечкина не доводилось ли после встречать? Который уехал из Иржинска в Уфу? Чтобы не ссориться там с иржинским эсером, кажется, с Евсеевым?

— Точно так, с Евсеевым! Нет, Федечкина не встречал.

— И не слыхали ничего о нем?

— Никогда!

— В воду канул. А ведь полковник как-никак! Отличный офицер, ах, какой офицер! Виделся с ним кратко, немногим больше, чем с вами, а вот надо же... Наверное, погиб. А вот вы? Поздравляю! Как удалось-то? С приключениями?

— С большими.

— Уж, конечно, не с маленькими! Вот имени-отчества не знаю, от этого неловкость.

— Петр Николаевич.

— Благодарю. Так вот я, знаете ли, Петр Николаевич, подумываю завещание оставить писателям. Будут писать романы о нашем с вами времени, чтобы обяза-

тельно помечали: «Роман приключенческий»! Не послушают ведь, бестии, нет! Дескать, сами с усами, а какие там усы, ежели человек самолично ни в красных, ни в белых не участвовал? Нет, не послушают, и только по одной причине — по недостатку фантазии. Ну и что ж в результате всех ваших приключений?

— Каких?

— Да ваших собственных?

— Служу. Уполномоченным промкооперации. В городе Ауле.

И Корнилов рассказал кое-что о нынешней своей службе, а Бондарин слушал со вниманием, как будто бы речь шла о событиях первейшей важности. Потом сказал:

— Ну что же, все это прилично. Я так полагаю, что прилично, хотя можно было бы гораздо-гораздо интереснее для души и материально. Ну, об этом несколько ниже, а сейчас вернемся к воспоминаниям. Я ведь, Петр Николаевич, в тот раз, в Омске-то, с вами, философом, очень, очень о многом хотел поговорить, с размахом и даже с душой поговорить. Помните, вагон тот раз покатили по рельсам, стали перемещать с одного пути на другой, так это я нарочно совместил — ваше посещение с этим перемещением, чтобы времени у нас оказалось побольше, чтобы естественнее получилась ваша задержка в вагоне, но не случилось истинного разговора.

— Вы знали, что когда-то я был философом?

— Петербургского университета. Мне как-никак, а кое-что докладывали. О моих посетителях. Теперь возьмем нынешнее время, нынешнюю нашу встречу — разговаривай, ничто не мешает, но нет, не тот опять-таки случай, еще не пригляделись друг к другу. Приглядимся, а? В других-то временах? — И он уставился на Корнилова.

Пригляделись, даже и другие времена не помешали, и Бондарин горячо, даже горячечно стал уговаривать Корнилова:

— У нас же с вами пять лет впереди. Это же очень много!

— Пять?

— Через пять лет во все советские организации и в Крайплан, разумеется, придут молодые советские специалисты, новой выучки и непоколебимой комму-

нистической идеологии, ну, а тогда они и вспомнят, что мы с вами «бывшие». Да мы и сами вспомним, что мы «бывшие», и впадем в уныние и в недоумение, но я вам скажу: пять лет — огромный срок! Для людей повоевавших, знающих, как легко жизнь покидает человека, совсем огромный срок, и вы совсем недурственно будете себя чувствовать!

— Так и рассчитали — пять лет?

— Рассчитывал на девять-десять. Пять прошло, пять осталось.

— Ну, а если осталось все еще десять? — выяснял Корнилов. Он тот раз с Бондариным торговался, но Бондарин стоял на своем.

— Нет-нет,— говорил он,— ежели десять, тогда им, всему руководящему кадру Советской власти, надо будет признать, что без «бывших» они обойтись не могут, больше того, что и без нэпа, без нэпманов не могут! А разве можно? Да как же так? Нет-нет, наши сверстники, то поколение, которое с нами воевало, не захочет уйти вместе с нами и действительно не может этого! Сначала должны уйти мы, ну, а потом уже, пусть через небольшой срок, и они! Иначе — несправедливость! А нэп эту несправедливость с каждым днем усугубляет. Вот я своему начальнику, зам. председателя Крайплана, товарищу Прохину, недавнему чекисту, разве я не намозолил ему глаза? Пять лет назад он меня, особо опасного государственного преступника, допрашивал со строгостью и многократно, из каждого допроса с очевидностью проистекало, что он должен меня расстрелять, и вдруг? Вдруг я у него в Крайплане чуть ли не первый спец и он по нескольку раз в день спрашивает у меня совета, руководствуется моими докладными записками. Должен положительно отмечать мою работу на профсоюзных собраниях, а в письменных ежегодных характеристиках должен, надо думать, писать, что такой-то, имярек, хотя он из бывших врагов Советской власти, все равно в настоящее время является ценным специалистом и заменить его все еще нельзя! Некем! Нет, вы только поставьте себя на место товарища Прохина, и вопиющая эта несправедливость в ту же минуту возникнет перед вами! К тому же партмаксимум! С него, с товарища Прохина, по советской, по партийной, по чекистской линии в любую минуту могут шкуру спустить, и не одну, в любую минуту дня и ночи может и вправе его вызвать соответствующее учреждение, он

редко когда раньше семи-восьми вечера кончает свой рабочий день, товарищ Прохин, а получать — получи партийный максимум, сто восемьдесят три рублика! Минус парт- и профвзносы, минус подписка на газеты и журналы, минус членские взносы в добровольные общества Красный Крест, «Друг детей», «Долой неграмотность», МОПР, «Спасение на водах», «Добровольное пожарное»... Ему, партийцу, отказываться нельзя, а я? У меня жалованье триста рубликов, да плюс гонорары за статьи, да плюс за конъюнктурные обзоры, да плюс... И никто к моему жалованью и к моим плюсам, никто подступиться не имеет права! И мой рабочий день — шесть часов, и шабаш, хочу, пишу обзоры, хочу, дуюсь в преферанс. Лично для меня прекрасно, но он-то, товарищ-то Прохин, в гражданскую войну ради такого вот положения, что ли, со мной воевал, как вы думаете, дорогой Петр Николаевич, а? Нет, это очень даже благородно с его стороны, что он при всех таких несправедливостях еще и срок для столь шикарной жизни мне отпускает! Очень! И, поверьте, у меня к нему на этот счет никаких претензий и просьб нет и принципиально быть не может! Вот так! Я, знаете ли, докладную в центр на очень высокое имя писал об отмене партмаксимума, доказывал, что максимум этот — вопиющая несправедливость, что она добром не кончится, но мне ответили — не моего ума дело! Как же не моего?! Это меня весьма касается, поскольку я свое жалованье рассматриваю как гонорар за смертельно опасную профессию, за отсутствие каких бы то ни было гарантий в отношении моей личности и вам, дорогой Петр Николаевич, советую рассматривать свое положение точно так же, а тогда все встанет на свои места и вы обретете душевное спокойствие и ясность ума!

Корнилов пытался не то чтобы возражать, а хотя бы немного противиться:

— Я со своими веревочниками в городе Ауле мно-о-огие годы проживу! Уверяю вас!

— Не уверяйте! Ну, на год больше, на два, допускаю, но чтобы больше в два-три раза?! Ну, конечно, Крайплан — место видное и значительное, здесь скидок не будет, отсюда прямая дорога куда-нибудь, куда, это заранее никак не предскажешь. Но и окружной ваш Союз промкооперации этого не минует, не может быть, чтобы одно совучреждение жило по одному порядку, а другое совершенно по другому! Не может! Вы только

представьте себе, дорогой Петр Николаевич, представьте на минуту, что белые вышли бы из гражданской войны победителями? И что же? И они были бы снисходительны к побежденным — красным, да? Да ни в коем случае! В Финляндии-то контрреволюция ка́к с революционерами расправилась — забыли? А в Венгрии? А в Латвии? А в Германии? А в Соединенных Штатах как первомайскую демонстрацию расстреляли? То-то... А разве Ленин не призвал к сотрудничеству с ним русских ученых? И генералов? Призвал... И вот — сотрудничаем!

— У вас же, Георгий Васильевич, нынче общественное положение, можно сказать, блестящее!

— И все-таки. И все-таки... Я вас уверяю, меня есть за что... И если меня вскорости... того и даже больше того, я не удивлюсь нисколько. Я пойму. Я уже давно понял, и понятие это у меня вот тут!— Бондарин постучал себя пальцем сперва по правому, а потом по левому виску.— И вот тут!— постучал он и по груди, как раз напротив сердца.

— Да что же такое? Все-таки?— не очень определенно, но и еще спросил Корнилов. Он решил спрашивать до конца.

Бондарин же опять помолчал, пощипал бородку. Нагнулся к собеседнику. Тихо, доверительно сообщил:

— А вот в семнадцатом году на фронте, на своем, я ведь отдал приказ о восстановлении смертной казни. Отдал, да... За дезертирство, за невыполнение приказов офицеров, за братание с немцами... да... Тут надо было одно из двух: или самому дезертировать, бросить к чертовой матери войну, или расстреливать тех, кто ее хотел бросить... Вот я и выбрал. А время прошло, я подумал: а ведь мне за это следует! Как перед богом, следует... То, что я как-никак, а воевал против красных, это почти что естественно. А вот тот приказ...

Тут голос у Бондарина изменился, и он тихо, доверительно сказал еще:

— Ну, хорошо, дорогой мой, я на сроках больше не настаиваю, пять ли, десять ли лет — не в том дело... Лично для меня, для души моей дело в том приказе о расстрелах, под который я, русский генерал, русских же солдатиков подвел... И только позже убедился, что зря подвел-то...

Бондарин замолчал. Корнилов тоже. Молчание было значительным, и нарушить его, конечно, должен был Бондарин...

Он и нарушил:

— Вы знаете ли, в чем дело-то? Похоже на то, что не знаете. Так я вам объясню: мы не по делу спорим-то... Не совсем по делу, да. А истинный вопрос и проблема вот в чем — человечеству давно пора научиться строго судить виновников войн. Уголовным судом. Бескомпромиссно. Немцы вот — сначала хотели судить Вильгельма Второго, зачинщика позорной войны, а потом испугались и дали ему преогромный пожизненный пенсион. Не странно ли? И — не глупо ли? И тех, кто расстрелами заставлял солдат воевать, тогда как они вполне-вполне созрели для мира, тоже надобно судить тем же судом. Это, как вы должны понять, я уже целиком отношу к себе лично... Вот я и прошение о помиловании в свое время подавал, вот и получил искомое помилование из рук Калинина Михаила Ивановича, дай бог ему здоровья, но ведь отпущения греха-то я не получил. По очень простой причине: это невозможно. Ну, а ежели знаешь, что невозможно, остается одно — ждать суда строгого и справедливого. Вот я и жду... Вот вы, Петр Николаевич, вы-то ведь не ждете? Значит, и не дождетесь. Ну, а кто ищет и ждет — тот обрящет и дождется. Этакое вот у меня возникло рассуждение и никакого другого. И я так понимаю: мировой справедливости ради оно возникло.

Бондарин снова замолчал, и теперь нужно было перейти к другому какому-то вопросу. Корнилов перешел:

— Ну, ладно, положим, вам действительно следует ждать суда, а мне? А меня вы как рассматриваете?

Бондарин оживился.

— А биография-то, дорогой мой? Ваша? Она-то?!

— Да при чем же она? Может, объясните? — теперь уже с огромным интересом и даже волнением спросил Корнилов.

— Ну как же? Как же! Приват-доцент в Петербурге, потом веревочник в Ауле! Это, знаете, дорогой мой, такое сомнение, такое сомнение... Хоть до кого доведись, надо исследовать. Обязательно! Надо засомневаться. И даже очень порядочно. Какого бы государства дело ни коснулось, надо... Ну, ладно, ладно... Я продолжу свои подсчеты и соображения. Значит, так: ежели даже допустить, что здесь, в Крайплане, ваш срок — пять лет,

а там, у веревочников,— десять, то все равно я бы на вашем месте предпочел пять десяти. Точно! Представьте себе, что вы не были белым офицером, однако же в качестве приват-доцента не удержались, не понадобились ваши натурфилософические лекции в Петербурге, куда бы в таком случае лежал ваш путь? Не догадываетесь? Да в Госплан и лежал бы ваш путь, Петр Николаевич! А вовсе не в промысловые артели! В Госплан ныне самые высокие специалисты требуются, и с размахом, и не мелочные, которые, того гляди, завопят: «А-а-а, вы нам пять лет всего-навсего отпускаете и хотите, чтобы мы честно работали?!» Нет, сюда идут люди толковые, они вопить не будут, они дареному коню в зубы не смотрят, у них интерес к истории: ладно, мы пять лет не за страх, а за совесть поработаем, выложим свои силы и знания, ну, а потом и посмотрим, что из этого получится. Как эти самые планы станут осуществляться, во что выльется новая действительность? Постареет ли? Все на свете стареет, действительность тем более! Вот как они рассуждают, эти люди, с большим интересом к нынешнему эксперименту! С мировым интересом! С общечеловеческим!

— Веревка не постареет!— заметил Корнилов, и Бондарин опять его понял.

— Веревка не постареет, это очевидно, однако же ведь и чрезмерная очевидность претит интеллигенции! Вот вы? Еще годик в промысловой повертитесь, а потом она вас, эта веревочная очевидность, так будет угнетать, так вам осточертеет, света белого не взвидите! Захочется туда, откуда можно посмотреть, что же получается-то? В мировом-то масштабе? Туда, где окружающая среда вам умственно близка, в которой вы хотя бы последние дни вашей жизни, но должны провести! Как бы даже и по промыслу божьему! Очень, скажу я вам, любопытна нынче эта среда, все эти бывшие люди плюс процент первоклассных совпартработников! Ежели вы с ней не сталкивались, любопытно тем более! Неужели вы со мною не согласны?

— Вы, Георгий Васильевич, некоторый срок испрашиваете для чего? Не для обращения ли в новую веру? Может, вы и сами уже в нее обратились, а теперь агитируете? И лихо агитируете: обратись в веру, глядишь, тебе, верующему, уже и десять лет выпадут? Ну, скажите прямо: что вы предвещаете?

— Петр Николаевич, голубчик, откуда же мне знать? Каждый из нас что-нибудь, да предвещает! Один предвещает больше, другой меньше, между нами, людьми, в том и различие, а сходство в другом — всем одинаково неизвестно, что он предвещает. Какую жизнь? Какую действительность? И не ищите, пожалуйста, Петр Николаевич, в моих словах больше того, что мною сказано, ни-ни! Я говорю нынче с вами так откровенно, и так много, и в таком совершенно необыкновенном стиле, как никогда не было в моих привычках, но... Действие вы на меня произвели, вот что! Ну да, ну да, в том же, в восемнадцатом году, в Омске встреча наша обязательно должна была продолжаться, мне тогда ужасно как нужен был философ, но не пришлось, не состоялся истинный разговор, и вот только когда довелось повстречаться — в двадцать седьмом! Так что я хочу сказать-то? Значит, так: я воевал в трех войнах, и все три были мною проиграны — японская, германская, гражданская тоже. Я был семьянином, нескладным, само собою, потому что в вечных находился походах, и потерял семью. Был дипломатом в Японии, оттуда искал способов окончания кровавой междоусобицы, но опять потерпел фиаско. Что же мне остается-то? Остается нынешний советский эксперимент, дай бог ему здоровья! Дай бог ему удачи! Ведь сколько Россия уже исполнила для всего мира экспериментов, остался еще один! Я — за! Без этого, кстати, совершенно непонятно, кто же мы с вами и зачем. Куда мы, такие способные, образованные и философствующие перекати-поле, прикатили?! Что у нас кроме? И вот распорядиться собой мы должны на весь отпущенный нам срок — вот в чем наше право и дело! Распорядиться, то есть принять участие в строительстве социализма, в судьбе человечества. Социализм надо беречь! Ох, как надо его беречь: другого-то случая человечеству, может, и не выпадет — спасти себя от гибели. Может, это случай единственный?! Другого история никогда уже не предоставит? Эмиграция — у нее своя точка зрения. Так ведь я ее презираю! Ведь когда один царский генерал в Красносибирске, а другой в Париже, ясно же, что они без слов и даже без переписки могут сговориться да и устроить поход, один извне, другой изнутри. Этого сговора и опасается Соввласть, тем более что те парижские генералы вопят на весь мир: «Поддержите нас, изнутри помогите нам! Пойдемте в поход вместе!» А когда все бы остались

здесь, некому было бы вопить там, не с кем было бы и сговариваться отсюда! И того не хотят понять крикуны, что они тем самым убивают нас, оставшихся, и что за французскую или другую подмогу им в случае чего придется расплачиваться доброй половиной России — кто же это даром-то будет помогать? Был уже опыт, Колчак же российскими окраинными губерниями расплачивался! Они проклинают Брест-Литовский мир, а сами? Им там, во-первых, нужна очень хорошенькая Россия, а во-вторых, все остальное, а мне здесь, во-первых, нужна Россия, а во-вторых, она же! Одним словом, дорогой Петр Николаевич, время на размышление — пять минут! На войне, как вы помните, для решений секунды даются, и то не всегда. А мы люди военные!

И Бондарин вынул из кармашка в жилете золотые часы с надписью на крышке, должно быть, именные, щелкнул ими и положил перед собой на стол. Сказал:

— Единственный предмет, который, представьте себе, остался у меня целехонек с тех пор. С тех самых. Чудом каким-то, да... Шестнадцать часов семнадцать минут. Плюс пять — получится шестнадцать двадцать две. Ну, с богом! Соображайте. Желаю удачи!

Вот таким образом, с такими подробностями случилось, что в том же 1927 году Корнилов уже работал в Крайплане.

На ответственном посту, в должности, которую он очень не скоро научился произносить: зампред КИС (Комиссия по изучению природных ресурсов Сибири).

КИС была правой рукой Крайплана. Решался ли вопрос о строительстве железнодорожной магистрали, о развитии угольной промышленности, сельского или лесного хозяйства, Крайплан, разумеется, не мог обойтись без разработок КИС — без картины природных ресурсов региона и края в целом.

Да, да, Крайплану как для отдельных, конкретных его решений, так и для определения генеральной линии экономического развития Сибири повседневно необходимы были сведения о запасах полезных ископаемых, о растительных ресурсах, об энергетических возможностях протекающих по территории края рек и возможностях их транспортного освоения, о колонизационных земельных фондах, которые можно и должно было ис-

пользовать в целях допереселения трудового крестьянства из Европейской России.

Одним словом, КИС — это очень серьезно!

В КИС трудились серьезные специалисты: геологи, инженеры разных направлений — горной, тяжелой и лесной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, агрономы и один охотовед.

Все они были, как это ни прискорбно, воспитанниками старой школы, так что на этом фоне «бывший» Корнилов Петр Николаевич не таким уж «бывшим» и выглядел.

А председателем КИС был товарищ Вегемский Ю. Г.

Где же, где...

Зеленым сегодня был день...

Александр Македонский любил...

Желтый песок...

Ломоносов...

Заскрипела дверь...

Иван-да-Марья...

Крестоцветные...

Двадцать первый век...

Язва желудка...

Долина Меррея...

Элиминирование...

А... А?.. А!..

И что же из всего этого следовало?

И следовало ли что-нибудь? Значило что-то или ничего?

Любой звук, любое слово, любой предмет или понятие могли стать для Корнилова началом одной и той же мысли — опять-таки о конце света...

С чего угодно он мог начать, с любого слова и звука, но именно к той же мысли запросто приходил. К единственной. Ничего другого, столь же единственного в мире, для него действительно не было, да и не могло почему-то быть.

Вот так, достаточно нескольких разрозненных слов, и картина воссоздается вполне законченная: ночь... темь... река... мост... люди... телеги... коровы... лед... винтовки... багры...

Корнилов задавал себе вопрос: может, он того? Свихнулся?

Нет, ничего подобного!

Был у него когда-то знакомый, даже компаньон, буровой мастер Иван Ипполитович, тот сам себе бросил в скважину камень, потом неделю с утра до ночи его вытаскивал, не вытащил и сошел с ума; был тот же мастер автором огромной «Книги ужасов», эту книгу он поручил хранить Корнилову, Корнилов же закопал ее в землю в городе Ауле и до сих пор не знает, что это было — сохранность или потеря? Так вот, может быть, и этот совслужащий, зампред КИС при Крайплане, пошел по стопам Ивана Ипполитовича?

Ну, подумаешь, «Книга ужасов»? Пустяки-то какие! Стоило сходить с ума, паниковать? Стоило соображать, делать открытия в том смысле, что каждый человек — создатель своего собственного, хотя бы и небольшого ада?

Нет, он, Корнилов, пошел гораздо дальше, не об ужасах говорит, которым и конца-то не предвидится,— о конце света! И что? И ничего. Ничего, кроме здравого смысла!

И нет, не может быть потребности и необходимости ехать в город Аул, откапывать во дворе дома № 137 по улице Локтевской, угол с Зайчанской площадью, драгоценный дар Ивана Ипполитовича человечеству.

Потомственный интеллигент, Корнилов обладал мужицким здоровьем и организмом, который выручал его всякий раз, когда требовалось. А требовалось не перечесть сколько раз!

Так оно и есть, Иван Ипполитович с его книжечкой — это пустячок, Корнилов и не такие виды видывал за свою-то жизнь, и не такие мысли, случалось, приходили ему в голову... Опять-таки организм выручал, когда ничто другое выручить уже не могло.

А все-таки?

Мысль, если она сама себя уважает, если жизнь, из которой она появилась, она уважает, разве позволит себе сподличать и заявить: «Никакого конца нет и не может быть!» Нет и нет, передовой человек, обладатель передовой мысли раньше других должен погибнуть и раньше других свою гибель понять, на то он и передовой. За то, что ты передовой, нужно ведь чем-то расплачиваться перед всеми остальными, непередовыми? Какой-нибудь бывшестью, сперва пустяковой и незаметной, а потом окончательной?!

Бывший натурфилософ, Корнилов больше всего на свете ценил, искренне любил и почитал естественность и природность, но они-то и не дались ему в жизни-то, и оказались делом самым трудным, сложным и практически неисполнимым хотя бы потому, что собственная мысль неизменно не только нарушала, но и разрушала границы его естественности. И вовремя свою мысль приструнить никак не удавалось, он спохватывался лишь тогда, когда слишком многое уже было мыслью нарушено, разрушено, иной раз без следа уничтожено.

Тем точнее и неопровержимее становилась мысль о конце света. Ну что, в самом деле, может быть естественнее, проще и логичнее? Нет, нет, это не соблазн мысли, через который Корнилов проходил не раз, это сама мысль. И очень здоровый оптимизм, самый здоровый для нашего времени!

Вот Корнилов и думал:

Вот-вот...

План...

Сферический...

Южно-Сибирская...

Фанатизм...

Переправа...

Первобытно-общинный...

Дательный, винительный, творительный, предложный...

Гиперкомплексный...

Век живи, век учись...

Вильям Шекспир...

О... О?.. О!..

А Нина Всеволодовна, казалось Корнилову, была женщиной не из мечты. Не из фантазии, не из желания, как это обычно бывает, она пришла из воспоминаний, в ней было что-то от каждой из тех женщин, которых Корнилов знал когда-нибудь...

От милой бестужевки Милочки она усвоила веру в свое предназначение. Та предназначала себе быть учительницей на севере Якутии, эта — женой Лазарева, выдающегося человека.

От Евгении Владимировны Ковалевской, милосердной и святой женщины, хотя и на свой лад, но все равно она усвоила некую святость.

От Леночки Феодосьевой у Нины Всеволодовны было бескорыстие, а какую-то часть Афродиты, кото-

рая в Леночке всегда существовала, она тоже прихватила.

Даже от Елизаветы Митрохиной, странной огромной деревенской девахи, несостоявшейся певицы мирового класса, она усвоила ее первозданность и немного дикости.

Больше того, когда-то давно, в двадцать первом, помнится, году, зимней студеной ночью, лунной и морозной, Корнилов шел по заснеженным улицам города Аула с полковником по фамилии Махов, было тихо, звучала неслышная музыка, полковник Махов под эту музыку замышлял самоубийство, но не просто так — захотел сначала убить двух-трех красноармейцев, чоновцев, которые придут, чтобы арестовать его, а потом уж и самого себя. Так вот, в ту ночь увидел Корнилов: над сугробами рядом с дорогой вдруг возник образ женщины. А когда он попытался угадать, кто, оказалось, что это деятельно нежная женщина! Полковник Махов так объяснил это явление.

И что же? И вот от той, деятельно нежной и несуществующей, в этой, реальной Нине Всеволодовне, тоже было что-то, и, может быть, даже что-то самое главное.

Одним словом, Нина Всеволодовна была женщиной завершающей, и не было и не могло быть у Корнилова таких воспоминаний, которые не имели бы к ней никакого отношения, никак не касались бы ее.

С такими глазами, с таким голосом, с такой прической, с такой привычкой, чуть-чуть приоткрыв рот, помолчать, прежде чем ответить на какой-нибудь вопрос, с такой удивительной сохранностью всего молодого, что в ней когда-либо было, с такой жизнью она, конечно, последняя, других таких же после нее уже не будет, с нею умрет ее клан, вот эта женская разновидность.

Таким образом, они оба были последними из могикан, и это обстоятельство, несомненно, должно было их сближать. Несомненно! Как это могут существовать порознь люди, мужчина и женщина, если и тот и другая последние?

И вот Корнилов старался запомнить собственные, самые разные мысли, соображения, доказательства того, что скоро-скоро будет доказана и его правота — настанет конец света.

Запомнить, чтобы успеть все поведать Нине Всеволодовне...

В 1917 году русские солдатики стали брататься с немецкими, немецкие с русскими: «Карашо, Иван!» Радостно братались, и у тех, и у других было возвышенное настроение.

И никому не пришло в голову, что брататься-то нужно было бы до войны или в самом ее начале, но не в конце, когда после невероятных потерь, крови и страданий стало уже ясно, что и та и другая сторона обескровлены и продолжать войну не могут.

Ну, а если братание в начале войны действительно невозможно, так это же доказательство: вполне возможен конец света!

Есть в Бельгии проклятая местность — Ипр и проклятые даты: 22.IV. 1915 и 12.V.1917 года. Именно в эти дни немцы применили здесь отравляющие газы против англо-французов. Сначала была так называемая газобаллонная атака, а в семнадцатом году уже и горчичный газ, названный после того ипритом. Значит?

А вот. Если воздух, которым человек дышит, может быть отравлен и человек в нем погибает, тогда дело ясное: и все, что мы едим, и все, что пьем, и вся Земля чуть раньше или чуть позже, но могут быть отравлены! Но никого это не заботит и даже памятника по поводу зловещего события, упреждающего памятника в Ипре не поставлено.

А надо бы: высокий обелиск, фигуры ученых-химиков Гутри и Мейера, открывших отравляющий газ, и все это пьедесталом вверх, острием обелиска вниз, в землю! Корнилов так бы и сделал.

Если же ничего подобного не сделано, что это значит? Значит, доказательство!

А в чем, собственно, дело-то?

Заяц же не вечен? Волк не вечен? Дуб не вечен? Они пожили от одного ледникового периода до другого, и хватит с них, а человеку, тому подай ни много ни мало, а вечность — это на каком же основании-то? Человек требует от природы неизмеримо больше, чем все остальные вместе взятые живые существа, он природу пачкает, грабит и разоряет, так что же, она за это должна терпеть его дольше всех? Природа не была бы природой, средой точных, выверенных и строгих законов бытия, если бы она вдруг согласилась с такими нахальными требованиями, подчинилась им. Человеку нужно

приспособиться к природе, а не природе к человеку. Сумеет ли?

Доказательство?

И никаких поводов для паники, все идет так, как должно, как может идти.

«Плакала Саша, как лес вырубали...»

Что там Саша, вся Россия весь прошлый век плакала и вырубала леса от Архангельска до Саратова. Одно другому не мешало.

В свое время заместитель председателя КИС товарищ Корнилов пытался обратить внимание председателя президиума Крайплана товарища Лазарева на этот необъяснимый факт: сто лет плачут и сто лет вырубают. И дубовые рощи, и сосновые леса неповторимой красоты.

Товарищ Лазарев его поправил, уточнил положение дел:

— Двести лет плачем и двести вырубаем! Припомните-ка Петра Первого!

— У Петра был указ о сохранении водоохранной полосы лесов по течению рек!

— Чего-чего, а в указах в России недостатка никогда не было!

Потом Лазарев и еще сказал душевно:

— Дорогой Петр Николаевич! Все понимаю, все как есть! Но молодой Советской власти для создания базы тяжелой промышленности нужна валюта, очень много валюты. А лес — это валюта!— И дал КИС распоряжение: подготовить материалы по лесным ресурсам края с учетом увеличения плана лесозаготовок в ближайшие два года в два раза.

Доказательство... «Ночь... темь... река... мост... люди... винтовки... багры...»

А нэп, а нэпманы?

Понимают небось, не могут не понимать, что и нэпу и нэпманам вот-вот выйдет крышка?

Знают решения XV съезда ВКП(б), который определил, что всеми — всеми!— мерами необходимо расширять и укреплять социалистические командные высоты во всех отраслях народного хозяйства как в городе, так и в деревне, держа курс на вытеснение капиталистических элементов?!

Знают, что XIV конференция РКП(б) дала исчерпывающие ответы по докладу «О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширенным пленумом Исполкома Коминтерна» по трем основным вопросам: 1) возможна ли победа социализма в одной стране? 2) возможна ли победа социализма в нашей стране? 3) возможна ли окончательная победа в нашей стране?

Возможна! Возможна! Возможна! — ответила XIV партконференция на все три вопроса.

А нэпманы будто оглохли и все еще идут в частное предпринимательство: «А мы сами себе хозяева!» Господи боже мой, какие хозяева-то! Бывали случаи, кое-кто из них в КИС заглядывал, предлагал свои услуги на какие-нибудь работы — топографические, статистические, а один нэпман очень настойчиво предлагал услуги своей буровой конторы, и такой сыскался! Нэпманы вообще любили шлындать по государственным организациям и учреждениям, утверждая свою причастность к государству, и всякий раз, как только столкнешься с таким, невольно думаешь: «Да куда же ты прешь, дурак? Какого рожна, какого конца ищешь? Неужели ты, читая газеты, не догадываешься, что будет с тобой через три года? Через два?» Правда, в последнее время нэпманы уж не бравировали, одевались плохонько, как все, и даже похуже, драгоценности женам носить на виду у посторонних запретили, в «Меркурий» если и заглядывали, так вели себя скромно, чаевыми не разбрасывались, думали этакими мероприятиями и камуфляжем спастись? Глупость же! И — доказательство!

...Уж как в свое время, в юности, Корнилов был поражен великим открытием ума человеческого — менделеевским периодическим законом химических элементов! Даже Ньютон и тот поразил его меньше.

Прошли годы, и Корнилов однажды подумал: «Век девятнадцатый разложил природу на элементы, но сама-то природа никогда не создавала элементы, она создавала только вещества. Как бы из этого антиприродного разложения чего-нибудь не получилось. Чего-нибудь такого... Какого-нибудь доказательства...»

А все эти оппозиции — левая, правая — разве не глупость? И не слепота? И не доказательство? Не отсутствие элементарного чутья — где сила, а где ее нет?!

Однажды Лазарев чуть ли не догадался о том, что за человек зампред КИС товарищ Корнилов, какие мысли приходят ему в голову, когда он целиком и полностью не поглощен планами реконструкции и развития народного хозяйства Сибири. Чуть-чуть не догадался и сказал:

— Вы хороший работник, товарищ Корнилов. Вы очень кстати пришли в Крайплан, когда Пятнадцатый съезд ВКП(б) принял решение о составлении первого пятилетнего плана... Вы фактически возглавили КИС, потому что товарищ Вегменский... он прекрасный товарищ, а вы работаете преданно, как настоящий революционер. В то же время я знаю... в вас живет, живет ваше прошлое, ваше бывшее. У вас, кажется мне, я почему-то догадываюсь, существует даже собственный Апокалипсис... а? Возможно?

— Что же!— откликнулся тогда Корнилов.— Апокалипсис был революционной книгой. Многие века. Еще английские революционеры руководствовались ею и боролись не столько с королями и с королевами, сколько с концом света, полагая, что короли и королевы — это воплощение антихриста, что они-то и учинят всеобщий конец. Право же, это стоило свеч!

Лазарев выслушал Корнилова, помолчал, на энергичном лице его еще мелькнула догадка, он сказал:

— Между прочим, Апокалипсис предусматривает тысячелетнее правление праведников и мудрецов. Мне нравится именно эта сторона дела. А вам?

— Мне? Мне нравится эта мечта, но не одна, а в сочетании с разными представлениями о конце света. Подумать только, целые науки были созданы по этому поводу, обширные и последовательные теории кончины мира были в употреблении! И это не помешало их создателям выжить, укрепиться на земле и создать духовные ценности! Это им только помогало!

— А я все насчет того тысячелетия. Где одна тысчонка, там пристегнем и другую, и третью! Было бы к чему пристегивать! А упустить момент — это, знаете ли, такое преступление, которому и наказания-то не выдумаешь!

Тут вошел в кабинет Бондарин, у него была манера — приходить именно в такие интересные моменты, он послушал краешком уха, о чем речь.

— Господи боже мой! Ну, ладно, продолжайте, продолжайте, я вам не помешаю, я только представлю здесь некоторые безотлагательные интересы Советского государства и тотчас уйду! Вот это, Константин Евгеньевич, план развития угольной промышленности, рассмотренный и утвержденный на последнем заседании президиума, его надо подписать, а вот это письмо в Совнархоз по вопросу о строительстве оловозавода... Тоже надо подписать. А это шестое наше письмо в Совнархоз по этому же предмету, ответа нет...

И Бондарин вышел прочь, но продолжения разговора между Лазаревым и Корниловым не состоялось.

Теперь продолжение должно было состояться между Корниловым и Ниной Всеволодовной. Иначе быть не могло. С кем же было продолжать?

И вот как случилось: во дворе крайплановских жилых домов, посреди весенних луж Корнилов встретился с Ниной Всеволодовной и, слово за слово, разговорился с нею.

Она изменилась вся: похудела, потеряла что-то в плавности движений, а что-то в голосе. В голосе — уверенность и легкую беспечность.

Нина Всеволодовна захотела рассказать Корнилову кое-что о себе, о том, что товарищ Прохин уже предлагал ей должность переводчицы на связях Крайплана с АИК — с Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» (Autonomous Industrial Colony «Кузбасс») и с ее отделениями в Берлине и Нью-Йорке... Эта колония, объясняла Нина Всеволодовна, состояла из американских, голландских и других европейских рабочих-горняков, они приехали в Сибирь, чтобы делом помочь первому в мире государству рабочих и крестьян. Отношения с колонией были трудные, переписка с нею огромная, тут-то и пригодились бы ее, Нины Всеволодовны, знания, но она отказалась. Прохин очень удивился, но от своего намерения не отступил, подыскал место зав. канцелярией в Сибпромбюро с двухмесячным испытательным сроком. Она отказалась снова: «Не справлюсь».

Прохин, для которого отказы Нины Всеволодовны были совершенно необъяснимы, тем не менее очень терпеливо и доброжелательно объяснил ей, что это, собственно, даже и не его личные предложения и хлопоты, а заботы и хлопоты товарища Озолиня, секретаря Крайкома ВКП(б). Озолинь обязательно хочет пристроить ее в какое-нибудь солидное учреждение, да не так-то это нынче просто даже для него, первого в крае лица,— безработица!

«А я еще подожду, сколько можно...— снова ответила Нина Всеволодовна Прохину.— Год или два подожду».

Тогда Прохин сказал:

«Да мало ли что может случиться через год? Тем более через два? Может быть, и самого-то товарища Озолиня уже не будет на нынешней должности?» Прохин, столько лет будучи ответственным работником планового органа, тем не менее очень часто таким образом говорил: «Да мало ли что будет через год? Тем более через два?» А Нина Всеволодовна и тут ответила решительно: «Спасибо, Анатолий Александрович, я все-таки обожду!»

Прохаживаясь с Корниловым вокруг крайплановских домов с водоразборной колонкой посередине и с дровяными сараями по краям общего двора, Нина Всеволодовна говорила:

— Я хочу, я обязана продлить тот образ жизни, который был у нас с Костей! В этом для меня смысл, хотя я и не знаю какой... Но поверьте, Петр Николаевич, смысл обязательный! Я боюсь что-то менять! Что изменилось, что случилось, то уже случилось, но сама я не должна что-то менять, а только сохранять! Только! У меня есть ценные вещички, остались еще от матери, вот я и снесу их в Торгсин, и продам, и получу дефицитные продукты и промтовар, мне на два года хватит!

Это было, показалось Корнилову, серьезное и даже необходимое предисловие ко всему тому, что хотел, что обязан был сказать ей он, но тут Нина Всеволодовна остановилась, прикоснулась к его пуговице одним пальцем и вдруг:

— А знаете, Петр Николаевич, скоро мы будем соседями!— сказала она.

— Мы и сейчас живем с вами в соседних домах.

— А будет совсем близкое соседство. Да. Не могла же я просить Крайплан, чтобы за мной оставили такую

большую, двухкомнатную квартиру, это просто-напросто было бы нахально. Две комнаты, огромная прихожая, кухня — как же так? И все это для одного человека? Для одной вдовы? И теперь вот как будет сделано: из моей прихожей прорубят дверь в меньшую комнату, ее разгородят надвое и в одной половине сложат плиту, то есть сделают маленькую кухню. И туда, в ту квартиру, поселят вас... А я останусь в большой комнате и в большой кухне. Конечно, тоже очень щедро, я понимаю... Зато и вас отселят из коммунальной квартиры... Но тут вот в чем дело: я буду вас очень бояться, Петр Николаевич!

Ошеломленный этой новостью, Корнилов спросил:

— Почему же? Почему бояться?

— Не знаю... Константин Евгеньевич когда-то говорил: «Корнилов — исключительно честный работник. И весь в себе, сложная вещь в себе! Ему, наверное, нужно больше общаться с советскими людьми, хотя бы из «бывших». Он слишком одинок. А еще, мне кажется, Ниночка, что ты могла бы немножко воспитывать этого умника!» — так говорил о вас Костя! Именно так...

И вот крайплановцы заметили, что в Корнилове появилась готовность сочувственно выслушивать каждого, кто этого хочет, а тогда и оказалось, что многие в этом нуждаются, многие решили, что так и должно быть: кому же, как не Корнилову, много пережившему одинокому человеку, у которого всего и забот-то, что о себе самом, выслушивать и как можно ближе принимать к сердцу чужие заботы? Нельзя же, в самом деле, быть счастливым одиночкой — это так некрасиво, так эгоистично, так несвоевременно в эпоху коллективизма!

Для начала доверительное знакомство состоялось у Корнилова с профессором Сапожковым Никанором Евдокимовичем. Собственно, Сапожков уже не был профессором — пять лет назад студенты отказались слушать его лекции по причине прошлого сотрудничества Сапожкова с Сибирской областной думой, а также и с Временным сибирским правительством, он входил туда министром просвещения. Министр он был так себе, но человек в Сибири популярный, имя известное, демократическое. Он был из крестьян, был учеником К. А. Тимирязева, был путешественником и никогда не скомпрометировал себя близостью к самодержавным

чинам. До революции Сапожков вообще стоял вне политики, если не считать его приверженности к другому своему учителю, сибиряку-сепаратисту Григорию Николаевичу Потанину. Но связи с Потаниным ни одним правительством не ставились кому-либо в вину — уж очень тот был крупным ученым, выдающимся путешественником по Сибири, Китаю, Монголии и Тибету, а если и состоял главою контрреволюционного временного сибирского областного совета, так только две недели, тут же и сложил с себя обременительные полномочия. В 1920 году Потанин умер, и тогда же Советская власть одну из улиц в центре Красносибирска назвала Потанинской.

Но так или иначе, а только красное студенчество не простило Сапожкову его министерского прошлого, и он, оставив в Томске огромную квартиру, почти что музей, уехал в Красносибирск и поступил в Крайплан в качестве старшего референта. Здесь его очень ценили.

Два года назад Сапожкова приглашали обратно, к нему приехали представители университетских студенческих организаций, профсоюзных и партийных, но Никанор Евдокимович отказался наотрез, объяснив, что на поприще практического планирования он гораздо нужнее, чем на кафедре.

Ну вот, а Корнилов заметил, что Никанор Евдокимович каждый вечер выбегает во двор и очень нервно, торопливо колет дрова около своего сарайчика, а то почти бегом делает с десяток кругов, огибая по часовой стрелке оба крайплановских жилых дома.

Что за причина? Неужели семейная какая-нибудь?

Семья Сапожкова считалась спокойной и внутриорганизованной. Она была сложной по составу: сам Никанор Евдокимович, его пожилая и болезненная жена, дочь Анастасия, старая дева, молодость она провела в отцовских экспедициях; младшая Александра с девочкой Дашенькой, мужа Александры, белого офицера, расстреляли белые же, заподозрив в симпатиях к красным, а еще был племянник Сапожкова Витюля, сын брата его жены. Живой мальчик, крайплановцы его любили, о родителях же его ничего не было известно, наверное, погибли в войну — расстреляны, извелись от голода, от холеры, от сыпняка, а может быть, эмигрировали за границу и не хотят подавать о себе вестей.

Ничего исключительного — сводных семей, одиноких мужчин, а женщин тем более, со времен германской

и гражданской войн, голода 1921 и предшествующих годов было в России сколько угодно.

Итак, Корнилов решил свести с Никанором Евдокимовичем знакомство поближе, но сначала представил себе тот разговор, с которого они начнут...

Он вспомнил, что однажды Никанор Евдокимович говорил по какому-то поводу так:

«Число животных, насекомых, пресмыкающихся, рыб, растений и всех вообще организмов на земле с каждым годом уменьшается и уменьшается, человек — главная тому причина, но сам-то человек неизменно и очень быстро увеличивается численно. Уж не хочет ли он остаться единственным живым организмом на всей земле? Тогда это гибель, это конец ему самому! Разве не ясно?»

Как хорошо было бы и нынче начать с той же темы — с возможности гибели человечества, ближе, чем эта, для Корнилова ведь темы не было!

Только бы начать, а дальше Корнилов знал, что сказать... Например: «То, о чем вы говорите, дорогой Никанор Евдокимович, это биологическая гибель, почти естественная и потому почти не страшная. Гораздо страшнее гибель неестественная!»

Никанор Евдокимович спросит: «Например?»

«Да вот хотя бы двойное, тройное, вообще многократное сумасшествие людей!»

«Это как же?» — не сразу поймет Никанор Евдокимович, а Корнилов ему разъяснит:

«Очень просто! Представьте себе, что человек, страдающий манией преследования, заболевает еще и клаустрофобией. А к этой сумме двух слагаемых добавится жажда накопительства. Ну, и так далее! И пошла писать история!»

«Так не бывает! — удивится Никанор Евдокимович.— Я о таких многоэтажных сумасшествиях не слыхивал!»

Ну, а после этого уже и пойдет, и пойдет между ними настоящий разговор!

— Прогуливаетесь? — спросил Корнилов у Никанора Евдокимовича за углом своего дома.

— Приходится...— тяжело вздохнул тот, поправил на голове малахай совершенно не профессорского, а какого-то дворницкого вида.

— Привычка! — догадался Корнилов. — Многолетняя привычка к путешествиям, необходимость движения!

Никанор Евдокимович отозвался сразу, с мгновенной искренностью:

— Сон плохой... Я бы, наоборот, я с желанием посидел бы дома за письменным столом, страсть сколько работы, но сон плохой. И вообще обстоятельства. Невыносимые обстоятельства... Сон плохой... ужасно плохой сон... А все почему? Сказать? А вот засыпаю и думаю, любит меня Витюля или ненавидит?

— Витя? Виктор?

— Ну да, племянник. Не знаете?

— Конечно, знаю...

— Только засну и тут же просыпаюсь в холодном поту: а если ненавидит?! И ведь очень похоже, что ненавидит... Слово ему скажу: «Витюля!» Ласково скажу, а он повернется и уйдет в другую комнату... Дверь открою в другую, а он: «Что случилось?» — «Ничего не случилось, слава богу!» — и захлопнет дверь перед моим носом. «Ничего не случилось, так, зачем, видите ли, ему мешать?!» Господи! Вот и не могу места себе найти, вот только во дворе, дровишки поколоть, вокруг домов побегать...

— А к черту его нельзя? Витюлю? — спросил Корнилов.

— Невозможно! Два раза пробовал, но тогда уже жизни нет совершенно никакой — Витюля замолкает на неделю, на месяц. Тогда он всю семью перестает видеть окончательно, а меня прежде всего. А если и замечает, то в виде чего-то мелкого, ничтожного, глупого, презренного, уж и не знаю какого... И взгляд на тебя, полный презрения и полный страдания, вот, дескать, какая выпала мне тяжкая судьба — жить рядом со старым дураком, с безмозглой скотиной!

— Ну, зачем так-то? — содрогнувшись, спросил Корнилов. — Вам кажется это! Для этого нет причин! Ведь вы же относитесь к Витюле хорошо!

— В том-то все и дело, что причин нет... Были бы причины, разве я бы метался вот так, как нынче мечусь? Нет, я бы тогда знал, что причины есть, я бы себя причиной и утешал. В том-то и дело, что мальчик действительно хороший — умница, красивый, здоровенький, сверстницы и сверстники его обожают. Но тем более

непонятно, почему же он дома-то такой? Чем это мы заслужили, чем это я заслужил?

— Может быть, слишком уж много назиданий с вашей стороны?

— Нет, нет, минимум замечаний и требований, без которых уже обойтись нельзя: чтобы не позже двенадцати ночи домой возвращался, чтобы, уходя из дома, сказал «до свидания». А если намерен запоздать, чтобы предупредил, что сегодня, мол, запоздаю. Чтобы сказал «Спокойной ночи!» и «Доброе утро!». Но все это для него совершенно немыслимое дело! Чтобы он порошки пил, когда простужается, а не ходил бы нарочно босиком по холодному полу, чтобы иногда обедал вместе с нами, а не отдельно, стоя в кухне на одной ноге, прямо из кастрюлек, сперва второе, потом первое, потом сладкое, или же в столовке какой-нибудь... Но все это кажется ему диким. «Ишь, чего захотел, старый болван! Ходячий предрассудок!» Да я уже обо всем и рассказать-то не смею... Вот я плоховато слышу, а Витюля говорит со мной шепотом, а когда попрошу повторить, поворачивается и уходит!

— И вы никак не можете это объяснить?

— Мой порядок жизни ему не нравится, моя строгость к самому себе его раздражает. И то, что министром когда-то был, раздражает, в школе его дразнят, вот, дескать, министерский приемыш. Большевики это стерпели, а Витюля нет, не может! И то, что профессором был, раздражает: зачем был, на каком основании? Из-за этого он ведь нынче не только министерский, но еще и профессорский приемыш! И то, что я профессором перестал быть, выгнали меня красные студенты, не захотели слушать, хотя, уверяю вас, лекции у меня были порядочные, до революции демократическое студенчество меня любило, адреса преподносили мне, я двум или трем неимущим из числа отсталых народностей стипендии выплачивал, якуту и буряту одному, очень был способный человек тот бурят, после умер от чахотки, я ежемесячно еще и лечебные выплачивал, но Витюле это все — об стенку горох, ему все-все во мне противно, вся моя жизнь для него не та!

— Какая же Витюле нужна жизнь?

— Не знаю, право... Да он и сам этого, конечно, не знает, никогда не задумывается! В общем, что-нибудь не то, не то, что есть, а что-то обязательно другое. Я уж думаю: может, это потому, что у меня самого нет насто-

ящего воспитания? Что я из мужиков профессор-то? Но... Разные у меня складывались отношения с коллегами, с такими учеными, как Обручев, Крылов, Потанин, Усов. Ни один из них, вообще ни один русский интеллигент никогда ни словом, ни намеком мужицким происхождением меня не попрекнул! Наоборот, уважение ко мне было больше от этого, я неизменно это уважение чувствовал, оно мне помогало. Тогда я грехи свои начинаю вспоминать. Перед кем виноват? Кого обидел? Дочь старшую обидел, Анастасию, это я понял — сделал из женщины путешественницу, а имел ли на это право? Так, может, Витюля мне за Анастасию нынче мстит? Но нет, Витюля и Анастасию тоже ненавидит... Ах, Петр Николаевич, простите, ради бога, не должен я, не должен был с вами таким образом говорить! — Никанор Евдокимович снял рукавицы, сунул их в карман полушубка и вдруг спросил: — А вы мои книги читали? «Пути по Алтаю»? — И, не дожидаясь ответа, заговорил дальше: — Почитайте мои книги, это будет утешительно. Я не скрою, когда кто читает мои книги, а потом еще ведет со мною о прочитанном разговор, я чувствую себя человеком. Я думаю: «Нет, не напрасно я путешествовал, тратил свою жизнь и жизнь Анастасии!» Я, наверно, все еще имею право жить, работать в Крайплане и планировать будущее! Витюля меня в этом всячески разубеждает, а вы будьте так добры, почитайте меня, очень простенькое чтение, но мне радость!

«Для возвращения из Алтая долиной Бухтармы рекомендую сплыть на плоту (ниже Черного порога). Там живут несколько сплавщиков, между которыми можно указать Дениса Холмогорова.

Плот связывается из 20 бревен с двумя гребями (на 7—8 человек и 30—50 пудов багажа). Делается помост из досок, на него насыпается куча земли для очага. За сплав до Усть-Каменогорска или даже до Семипалатинска (4—7 дней) берут с плотом 20—25 руб. За день сплываете 100—200 верст.

На плоту чувствуется полный покой и безмолвное движение при заметной податливости. На берегах сменяется картина за картиной, и пловцам большую часть времени остается сидеть и любоваться под аккомпанемент журчания воды».

«Нижнее течение Большого Талдуринского ледника отмечено мною в 1911 году красными линиями на скалах у боковых морен и частью на нижележащих камнях. С Поворотной гривы, с высоты 2855 м н. м. открывается обширный и единственный по своей грандиозности вид на верхние потоки ледника и все питающие его вершины (рис. 50)».

«...Какой-то одинокий путешественник, по словам проводников, лет 20 тому назад прошел пешком через хребет из истоков Тайменьего озера в Мульту, но имя его утрачено».

«...Тропа входит в огромную наклонную россыпь из угловатых камней, которая спускается до самого берега грозно клокочущей реки. Лошадь должна с большим умением и осторожностью переступать с камня на камень, вовремя делать крутые повороты, а то карабкаться на высокую ступень...»

Так и шло: днем Корнилов и Сапожков трудились в Крайплане, в кратчайший срок готовили материалы (исторические и современные) к плану дальнейшего развития Северного морского пути (СМП), а вечерами беседовали о Витюле.

Бондарин, тот после работы исчезал. Говорили, Корнилов не очень этому верил, но говорили упорно, будто у него роман с молоденькой и симпатичной девушкой из Совнархоза. Так или иначе, но с Бондариным, помимо службы, бесед нынче не было. По ночам же Корнилов читал труды Сапожкова.

Описания горных пород, фауны и флоры, этнографию он пробегал наскоро, но пейзажи действовали на него, как никакое другое чтение, он видел и слышал горные реки и вглядывался в снежные вершины, а то боязливо заглядывал вниз, в сумрачные пропасти — так он наверстывал упущенные в собственной жизни путешествия, досадуя на себя: всю жизнь он думал о природе, о ее законах, он хотел, чтобы ее ум был и его умом, из этого страстного желания и проистекало одно, другое, третье, пятое, десятое понятия, он усваивал дух природы и ее смысл, но плохо знал ее лик — горы, реки, леса, тундры, пустыни.

Он стремился не столько к видению, сколько к понятиям, и книги, подобные сапожковским «Путям», до сих пор казались ему незначительными — в них

отсутствовала философия. Но теперь, читая, он испытывал горечь и еще одной потери своей жизни — путешествия!

— Я, Петр Николаевич, не могу понять, почему Витюля-то меня не понимает? Ведь так просто меня понять! И вот я утром глаза открыл, и уже страх: какая-то нынешний день выпадет мне судьба? Скажет ли Витюля «с добрым утром» или выйдет к завтраку растрепанный и злой, или не зайдет совсем и, не позавтракав, убежит в школу, а из школы еще куда-нибудь, а из куда-нибудь еще в какое-то место, и я до поздней ночи буду метаться. Потом он придет и не скажет «Здравствуй!», и будет зол на меня за то, что я ждал, волновался. Это, с его точки зрения, что-то недостойное и мерзкое! «И не начинай со мной разговор — где был, с кем был, зачем был,— этим ты окончательно уронишь себя в моих глазах, а меня оскорбишь! Я уже и так оскорблен, неужели ты, дурак, не видишь этого?»

— Вам бы, Никанор Евдокимович, пересмотреть свои взгляды и привычки! Нынче другие времена, другой и образ жизни...

— Еще как пересматривал — по два раза! Сначала вспомнил все, что в крестьянской избе мальчишкой усвоил, как меня отец-мать учили к старшим обращаться и в доме жить; потом я то же самое по интеллигентным русским семьям проверял. А все, что мне и там, и здесь внушали, что неизменно чтилось и повторялось и в избе крестьянской, и в профессорской квартире, я и принял за истину. Это именно и пытаюсь Витюле объяснить! Но ему нипочем! Крестьянская изба и семья нипочем, смех один, интеллигентность нипочем, презрение одно, а что почем, он не знает и знать не хочет! Не хочет — вот что самое страшное! Не понимаю, как ему жизнь прожить? Без народности? Без интеллигентности? На чем он стоять-то будет?

— Ну, может быть, у Витюли новая какая-то мораль? Еще не известная вам, Никанор Евдокимович?

— Откуда ей взяться-то, новой, ежели не из народности и не из интеллигентности? Откуда мораль и образ жизни возьмутся за несколько лет? Для этого века нужны! Вот мне уже идет шестьдесят второй годик, старше меня в Крайплане, да и во всем, наверное, Крайисполкоме никого нет, но я все еще тружусь небесполезно, а теперь? Благодаря Витюле? Теперь доживаю век со-

бачий без достоинства, без успокоения и даже без мыслей, к которым я всю жизнь шел, вот какой нынче я старый пес! И даже не пес, а старый-старый щенок с поджатым хвостом... И хозяин мне — Витюля! Дожил!

Чудный был мальчик этот Витюля — голубоглазый, розовощекий, хотя что-то жестокое на розовых щечках и на лобике уже обозначено.

— Как живет дядя?— спросил как-то при встрече с ним Корнилов.— Как себя чувствует?

— Нормально!— ответил Витюля.— Совершенно нормально. Портит себе жизнь разными выдумками, но тут ничего не поделаешь, сам виноват. Старость, должно быть, виновата!

«Провиант.

1. Сухари. Беречь от сырости. 40—50 фунтов в месяц на едока. Стоимость на месте 2—3 руб. за пуд.

2. Мука (крупчатка или пшеничная). В небольшом количестве для приготовления лепешек.

3. Крупы. Разнообразные: рисовая, гречневая, овсяная, пшено.

4. Соль столовая.

5. Чай. Какао, кофе.

6. Сахар. В усиленной порции. Расходуется быстро.

7. Мясо. Легко приобретается у кочевников. Баран — 3—6 руб.

8. Консервы. В ограниченном количестве. Из колбас — филейная. Копченые языки.

9. Сыр. Голландский, целыми шарами.

10. Сгущенное молоко. Лучше швейцарское.

11. Горчица. Перец и др. приправы.

12. Вино. Только крепкое (коньяк, ром, водка) на случай простуды».

«С перевала открывается прекрасный вид на Белуху, прежде всего на западный ее конус. К сожалению, высота перевала не определена и сведения сообщаются по данным Ф. И. Кузьмина, прошедшего этот перевал с проводником Ювеналием Архиповым в 1910 году».

«Выше Ямaнушки каменные щеки реки понижаются настолько, что по скалам можно спуститься к воде, бьющей высокими струями через подводные камни. Дальше долина уширяется, но скоро щеки опять сближаются и тропа лепится по краю карниза, повисшего сажен на 40 над тесным ущельем».

— Мне, Петр Николаевич, непонятно, зачем я был путешественником, зачем писал книги и учил людей, если одного какого-то мальчонку научить ничему не могу? На заседаниях президиума решаем вопросы о железных дорогах — Южно-Сибирской и Тайшет — Усть-Кут, о Северном морском пути, о коллективизации сельского хозяйства — это же все судьбы миллионов, а в судьбе одного мальчишки я, оказывается, бессилен! И вы бессильны! И товарищ Прохин! И товарищ Лазарев, на что был умен, энергичен! Да как же это устроено-то в мире?

— Забудьте вы его! Сперва на один час забывайте, потом на два, на весь день. Постепенно.

— Так я же его люблю! Вот, скажем, любовь к собственным детям — это что? Как ни крутите, а это любовь к собственности, и никуда вы от этого не уйдете! А любовь к женщине? Эгоизм, вот что! Боже мой, да сколько вы от любимой-то женщины хотите, сколько от нее требуете? А когда ваши требования к ней или ее к вам неисполнимы, какое несчастье, какие драмы?! Какие разрывы. Измены. А с Витюлей? Я на него, как на собственного сына, не смотрю и ничего от него не требую, а прошу и умоляю его быть самим собой, беречь то, что не я и не моя жена, а другие люди и природа ему дали. Ему же дано-то, дано так много! Ему и приобретать ничего не надо, только сохранять! И ни о чем другом его не прошу! У вас на глазах человек погибает, вы же броситесь к нему на помощь? И здесь также, только доведено до невероятного какого-то предела! До полного отчаяния.

— Но ведь он-то вам не отвечает? Он вас не любит?!

— Как это не любит? Что вы, Петр Николаевич, побойтесь бога! Да любит он меня, но только боится своей любви, не верит ей! А вот умру, поверит! Я и думаю: чтобы между нами воцарились мир и любовь, мне, может, нужно умереть!

«...Источник эстетического наслаждения в этих высокохудожественных сочетаниях темного леса и пенистых горных потоков, ослепительно-снежных вершин и ярко-цветистого горного луга с опрокинутым над всем этим глубоким синим небосводом».

«Распорядок дня.

Хотя и кажется, что путешествие не может быть подчинено расписанию подобно железнодорожному, но из личного опыта рекомендую обязательно составлять таковое накануне — это вносит ясную цель в предстоящий на завтра порядок движения и благотворно влияет на физические силы. Да уже и само составление такого плана с использованием карт и соображений проводника, а также обсуждение его вечером, при свете костра и общем сосредоточенном внимании сближает между собою всех в одну дружную семью, в одну целеустремленную группу. Не стоит огорчаться, если погода или трудности пути нарушат намеченный план движения, но и забыть, что часть маршрута осталась невыполненной и не увидено то, что обязательно нужно было увидеть, этого тоже нельзя себе позволить. Это тоже подтягивает весь отряд, а соответствующее настроение передается даже лошадям».

А еще некоторое время спустя Корнилов стал знакомиться с товарищем Суриковым.

— Из всех крайплановских спецов дореволюционной закалки вы, Петр Николаевич, больше всех подаете надежды! И, учтите, это не только мое мнение, хотя и мое тоже!— сказал Корнилову Сеня Суриков, референт I разряда секции местного хозяйства.

— Какие надежды?— переспросил Корнилов, и Сеня покачал головой.

— Какая у вас, у старой интеллигенции, привычка — увиливать от ответов и придираться к словам. Но все равно есть к вам предложение: приходите на открытые партсобрания! Скоро партчистка начнется в аппарате, приходите и говорите о каждом партийце открыто все, что вы о нем думаете, о его положительных и отрицательных сторонах. Если вы убеждены, что товарищ недостоин состоять в партии, говорите и об этом! Мнение беспартийных тоже имеет значение! Вообще это много значит — общественное лицо беспартийного специалиста. Учтите! Я вижу и многие видят вашу добросовестную работу, вы прямо-таки как настоящий энтузиаст! Вы работаете, не жалея сил, но при вашем индивидуализме лет через десять все равно останетесь вне общественной жизни и коллектива и ничего настоящего в жизни не поймете! Ну, не обидно ли вам самому все это будет? Вот тогда вы упрекнете себя. Сосед, пожилой

уже, тоже «бывший», бывший работник городской управы, я хочу сказать, мой сосед по квартире, старик, почти шестьдесят лет, и вот попал в такое положение! Его жалко, а что поделаешь? У нас в квартире три семьи разного социального происхождения, но это не мешает нам обсуждать события внутренней и международной жизни, материалы съездов, а он один, он молчит, ему слова неоткуда взять, пустая душа! Вот и вы тоже... Да если бы я мог поделиться с вами, с выходцем из чужого класса, своим сознанием, я это непременно сделал бы! Но не могу! Вы ведь все равно не в состоянии будете усвоить.

— Спасибо, Семен Андреевич! Я вам очень признателен.

— Да-да! С классовым врагом я могу быть беспощаден, но в вас я врага не нахожу! Более того, Петр Николаевич, гораздо более того: у меня, у нашей общественности к вам доверие!

— Вот как?

— Так, так, Петр Николаевич. И в связи с этим, с этим доверием к вам от общественности Крайплана, вероятно, будет серьезное поручение. Вероятно.

— Что за вероятность?

— А вот какая: в Крайплане будет создана «Комиссия по Бондарину». Так она и будет называться...

— Странная комиссия... Мне это непонятно, товарищ Суриков,— действительно не понял и очень удивился Корнилов.

— И мне непонятно! Как это товарищ Вегменский, старый революционер-подпольщик,— и вдруг сотрудничает повседневно с бывшим генералом, врагом Советской власти, разве это можно понять? Вот и создадим комиссию. И разберемся, и вынесем решение, можно или нельзя. А пока до свидания, Петр Николаевич, у меня очень срочные дела... Да вы не думайте, мы еще увидимся, мы еще не раз поговорим. Откровенно.

Сеня Суриков пришел в Крайплан на высокую должность референта I разряда секции местного хозяйства сразу же по окончании Института народного хозяйства. Он пришел по разнарядке Наркомпроса.

В институте, студентом, он вел общественную работу в профкоме, в комитете комсомола. При назначении его в Крайплан, конечно, имелось в виду выдвижение молодежи.

В Крайплане были специалисты, окончившие вузы в советское время. Прохин, к примеру, таким был, но начинали-то все они свое образование еще до революции, в гимназиях, реальных и других училищах и даже в университетах. Потом, разумеется, учеба у них прервалась, почти каждый отвоевал свое на фронтах гражданской войны или на продовольственном фронте, и только после этого, зрелыми людьми они возвращались на студенческие скамьи советских вузов.

Сеня же был не таким — он без перерыва окончил советский вуз.

Придя в Крайплан, он быстро разобрался в обстановке и без обиняков высказал свое мнение Лазареву.

— Я, товарищ Лазарев,— сказал он,— никогда не подозревал, что советское учреждение, штаб народного хозяйства всего края, может быть так засорено чуждым элементом! Это что же такое? Генерал Бондарин, активный враг, в свое время находился под расстрелом, он у тебя на заседаниях президиума, бывают случаи, председательствует, а мало ли что он может напредседательствовать? А Корнилов? Белый офицер, отсидел в лагерях! А Новгородский, а Сапожков? Их сознательное студенчество изгнало с кафедр!

— Может быть, так и не надо, но иначе нельзя, товарищ Суриков!— ответил ему Лазарев.— Нет пока что у Советской власти другой возможности. Ее возможность — это люди, которые есть.

— Что значит нет? Нет — значит, надо изыскивать!

— Изыскиваем. Тебя вот изыскали.

— Новгородский до революции читал в университете курс полицейского права! Это, надеюсь, тебе известно?

— Административного, а не полицейского!

— Ты меня не проведешь, Лазарев, это одно и то же!

— А без административного права, товарищ Суриков, ни одно государство не обходится. Даже диктатура пролетариата!

— Так ты что же, товарищ Лазарев, диктатуру пролетариата на одну доску с полицейским правом ставишь? А? Этим занимаешься?

Лазарев рассердился и сказал:

— Я занимаюсь тем, чем должен заниматься председатель Крайплана. Вот и ты занимайся обязанностями референта первого разряда, ответственная работа. Послезавтра в это же время положишь ко мне на стол до-

кладную записку со своими соображениями — что, как и по каким вопросам в этой должности тебе необходимо сделать до конца года. Понял?

— Понял.

— Что касается бывших генералов и офицеров, можешь их перевоспитывать. Я не возражаю!

Разговор происходил в присутствии зав. бюро контрольных цифр, он об этом разговоре и рассказал, и к Сене тотчас было привлечено всеобщее внимание аппарата.

Узнали, что Сеня Суриков, Семен Андреевич, кроме всего прочего, активист Осоавиахима. Шесть лет как он женат, жена старше его на три года, учительница. Двое детей. До недавнего времени Сеня жил на окраине города в домике своего отца, бывшего рабочего-коммуниста и тоже общественно активного человека, теперь уже нетрудоспособного, по окончании же института Сеня получил две комнаты в большой коммунальной квартире неподалеку от Крайплана.

Со своей должностью Сеня справлялся, старательность не могла не дать результатов, к тому же и Лазарев взялся за Сеню круто.

Сеня похудел, посерьезнел, повзрослел, особенно трудно давались ему докладные и объяснительные записки, он ночи не спал и вместе с женой переписывал их по десять раз.

Лазарев же тем временем побывал в Институте народного хозяйства и, беседуя с ректором, со студентами старших курсов, наметил тех, кто должен будет прийти к нему в Крайплан.

Когда Лазарев умер, Сене поручено было произнести траурную речь у могилы, от него ждали искренних и добрых слов в память своего наставника. Сеня пришел на кладбище в черном дубленом полушубке, подпоясанном красным витым пояском с двумя кисточками.

— Да, товарищи,— заговорил Сеня, поднявшись на земляной холмик рядом с могилой,— да, тут уже другие до меня товарищи осветили биографию и жизнь товарища Лазарева, но они постеснялись и упустили один момент, а именно, что товарищ Лазарев, это известно всем, есть не кто иной, как выходец из буржуазной семьи. Но тем огромнее у него заслуга перед пролетарскими массами, это надо всем понять! Он в ранней молодости сумел подняться над обстановкой, раз и навсегда преодолеть чуждую идеологию и вредное влияние среды. Хотя

и редко, но все же именно так поступали лучшие из лучших и самые честные выходцы из буржуазии и даже из дворянства, честь им и хвала.

Сеня Суриков замолк и поклонился. Все стояли молча и неподвижно, а Нина Всеволодовна, держась за плечо товарища Озолиня, произнесла тихо:

— Боже мой...

Сеня подумал, что его не поняли, поклонился еще раз и окинул недоуменным взглядом толпу.

Сеня стоял на холмике рыжеватой, комьями, земли, он был грустный, голубоглазый, красивый (немного похожий на поэта Есенина) молодой человек. Гроб был по другую сторону темной, словно прорубь, могильной ямы, в гробу лежало тело человека, в смерть которого многие, должно быть, до сих пор не могли поверить, в мертвом лице все еще была, пыталась быть какая-то энергия и какая-то жизнь, та самая, которой это тело успело прожить ровно сорок лет, она витала тут же, над гробом, над могильной ямой, между молодыми и старыми березами, молодыми и старыми людьми.

Сеня продолжал:

— Товарищи! Уже в четырнадцать лет и навсегда товарищ Лазáрев заразился идеей пролетарской революции, а уже в шестнадцать царские сатрапы арестовали его и присудили, несовершеннолетнего, к трем годам заключения только за то, что он в доме своих родителей хранил оружие и устроил типографию для разъяснения трудящимся их собственных свобод! Потом мы знаем, товарищи, какую положительную роль сыграл товарищ Лазарев в среде неустойчивой эмиграции в Швейцарии и как крепко занимался он самообразованием, так что помимо учебного курса очень вскоре сдал на инженера, потом мы знаем его борьбу за чистоту нашей линии здесь, у нас в Сибири, в ссылке, потом службу в Красной Армии, сперва на юге, а после того и на востоке, и даже на Дальнем Востоке, за каковую товарищ Фрунзе лично наградил товарища Лазарева именными часами, а ведь это великая честь! А в советское время, товарищи? В советское время товарищ Лазарев сначала работал на самом узком участке по вопросу топлива и транспорта, а потом уже бессменно на посту председателя нашего Крайплана!

Товарищи! Ни для кого нет необходимости объяснять, что такое краевая Плановая комиссия в современ-

ной международной и внутренней обстановке — это штаб нашего будущего.

Товарищи! Нужно отдать себе в этом полный отчет, чтобы представить себе роль и значение товарища Лазарева в этот период, когда мы стремились достигнуть и действительно достигли довоенного уровня в промышленности и превзошли его в сельском хозяйстве! Когда за период между четырнадцатым и пятнадцатым съездом доля валовой промышленной продукции частнокапиталистического сектора была снижена с тридцати девяти до двадцати четырех процентов! Когда мы нацелены на решения таких всемирно-исторических задач, как укрепление международной мощи государства и повышение его роли как фактора международного мира, а в области внутренней политики — на повышение материального состояния и культурного уровня трудящихся...

Закончил же Суриков так.

— Товарищи!— сказал он.— Я, может быть, слишком часто произносил слово «товарищ», но в этом имеется глубокий смысл: поколения даже самых древних людей уже боролись и погибали за великую идею равенства на земле, и, если бы они все услышали, как мы нынче обращаемся друг к другу с этим прекрасным словом «товарищ» и даже к мертвым обращаемся с ним же, они бы, безусловно, поняли, что не зря боролись и погибли, что равенство достигнуто в нашей действительности и торжествует на земле! Спи же спокойно, дорогой и незабвенный товарищ Лазарев!

Тут стали сбрасывать в могилу мерзлую, камнями, землю, и товарищ Озолинь, секретарь Крайкома ВКП(б), тяжело вздохнув, спросил у Гродненского, председателя Крайисполкома:

— Гродненский! Скажи, это кто такой?— И указал глазами на Сеню Сурикова, который, не переводя духа, работал лопатой.

— То товарищ Суриков...— пояснил Гродненский.

— А кто Суриков?

— Из Крайплана. Референт. Ты же, Озолинь, и дал указание направить его в Крайплан. В соответствии с разнарядкой...

— Зайдет ко мне. Пусть зайдет.

После посещения товарища Озолиня Сеня Суриков стал заметно молчаливее. И, только если вопрос заходил

об оппозиции, тут Сеня не молчал, не проходило ни одного собрания, ни одного заседания президиума Крайкома, чтобы Суриков не заговорил об оппозиции и о необходимости самой жестокой борьбы с ней.

Товарищ Прохин должен был останавливать Сурикова, прерывать его: «Это, товарищ Суриков, очень серьезно, но об этом в другом месте!»

А Лазарев-то? Демократ-то?

Теперь, когда его не стало, он вспоминался как живой и даже, более того, в каких-то подробностях и качествах, которые при жизни его и заметны-то, кажется, не были.

Так вот, демократ, оказывается, был диктатором, такого во всем Крайисполкоме, во всех отделах нельзя было сыскать!

Чтобы Лазарев от кого-нибудь что-то требовал, а его бы требования не были выполнены? Такого не могло быть!

Чтобы Лазарев пригрозил кому-то увольнением с работы, понижением в должности и в окладе, а потом угрозу не выполнил?

И партячейка в Крайплане была, и женячейка была, и комсомольская была ячейка, и профсоюз — все свободно, заинтересованно и детально обсуждали вопросы найма-увольнения, повышения и снижения служащих в должностях, а все равно вопрос решался ими так, как поставил его Лазарев. Хотя на Лазарева в этих обсуждениях никто не ссылался, имени его никто не упоминал, а вот надо же!

Хотя бы и Сеня Суриков, да разве бы при Лазареве он на заседаниях президиума позволил себе говорить о чем-либо другом, кроме вопросов повестки дня? Хотя бы и об оппозиции?

А вот Прохин, бывший чекист, человек суровый, немногословный, Сеню хотя и прерывал, а все-таки слушал, а Сеня, хоть его и прерывали, говорил и говорил.

И это не только к Сене Сурикову относилось — без Лазарева, без его необременительного диктаторства Крайплан понемногу становился чуть ли не обыкновенным отделом Крайисполкома, уравнивался с другими в своем значении и авторитете.

Лазарев кого считал нужным, того и вызывал на заседания президиума: директоров краевых трестов, председателей акционерных обществ, начальника Сиб-

опса из Омска и Упбезосибири — Управления по безопасности плавания по северным морям из Тобольска, вызывал в уважительной, правда, форме («Желательно ваше присутствие»), но никому и в голову не приходило уклониться от приглашения. Регулярно посещал заседания Крайплана и предкрайисполкома товарищ Гродненский. Теперь по приглашению Прохина чаще всего приходили не руководители учреждений, а их заместители, иногда заместители заместителей, приходили нередко с запозданием, а уходили без разрешения, если только считали свое присутствие лишним: «Никак не могу оставаться дальше... Тем более что мой вопрос уже рассмотрен».

Лазарев, тот ответил бы так: «Вам полезно познакомиться с общими задачами края!» Прохин же пожимал плечами, иногда говорил: «Мне кажется, вы напрасно уходите...»

В то же время к Прохину, нынешнему и. о. председателя Крайплана, аппарат привык быстро. С Прохиным было проще, не стало того, иной раз и непосильного, напряжения, с которым работал сам и которого требовал от других Лазарев.

Что греха таить, кое с кем Лазарев позволял себе играть словно кошка с мышкой, две-три фразы он то и дело позволял себе бросить на испытание ума и догадливость собеседника. А Прохин? Прохин нынче никаких таких фраз-вопросов или выражений лица себе не позволял... Легче, легче было с Прохиным, Корнилов и тот заметил — легче! Но Лазарева-то все-таки не было. Нет, не было.

А что было уж совершенно неожиданным: Лидия Григорьевна Прохина, супруга и. о. председателя, первая подошла к Корнилову во дворе крайплановских жилых домов и неуверенно, робко даже пригласила на «чашечку чая». «И Александрович тоже будет рад видеть вас у нас...» «Александрович» надо было понимать так: сам Анатолий Александрович Прохин.

Лидию Григорьевну Корнилов и видел-то редко и как-то невнимательно. Заметил только, что смех у нее был кратким, торопливым, что иногда она замирала, будто прислушивалась к чему-то неслышному, и тогда вся ее стройная, высокая, сухая фигура с небольшой головкой на длинной шее, с плотно, волосок к волоску

уложенной прической как бы деревенела. Но это были только секунды, одна, другая, не больше, потом Лидия Григорьевна двигалась снова — резко, быстро, по-мужски.

Впрочем, все это могло Корнилову лишь казаться, он видел ее редко. Она работала в какой-то кооперации в отделе найма и увольнения. То есть она работала с кадрами, а это требовало времени да времени, глаз да глаз — кооперация, всем известно, кем только, каким чуждым элементом не была засорена!

Еще достопримечательность семьи Прохиных — у них была домработница по имени Груня, пожилая, смуглая, полная и когда-то, видимо, очень красивая, хотя и с заячьей губой женщина.

Никто из крайплановцев домработниц не имел, одни только Прохины, хотя они и были бездетны.

Говорили, был у них сынок Ванечка, очень слабенький здоровьем, он умер.

Не очень-то хотелось Корнилову «чашечки чая», но тут случилось, что Прохин попросил занести ему домой бумаги по КИС в выходной день, отказаться было неудобно, вот он и оказался в гостях.

В небольшой двухкомнатной квартире чистота была стерильная, на круглом столе с белоснежной скатеркой стояли чашечки, крохотные, чуть побольше кофейных, и самовар, на самоварной конфорке чайник. Этот был пузатым и ярко расписанным синими и красными цветами.

Груня, чуть пошевеливая заячьей губой, разливает чай по чашечкам и угадывает любое твое намерение — только взглянешь на вазочку с печеньем, она уже подвигает вазочку к тебе. Наливая чай, в упор смотрит гостю в лицо — угадывает, чтобы получилось по желанию, не слишком крепко и не слишком жидко. Говорить Груне ничего не надо, ни слова, только чуть кивнуть, подать знак, и она нальет гостю чай не густой, не жидкий, не холодный и не слишком горячий, какой надо.

Проходит десять минут, двадцать, полчаса, Корнилов погружается в чудеса чаепития, в этот почти священный обряд, к которому он был приглашен Лидией Григорьевной.

Через полчаса все-таки кое-что определилось в разговоре, Ванечка определился, сынок Прохиных, который умер.

Они оба, Лидия Григорьевна и Анатолий Александрович, в ту пору работали в одном учреждении, с утра до ночи работали, а возвращались домой только на рассвете, и вот не было никакой возможности уследить за мальчиком. А мальчик таял, таял...

Груня предупреждала их, Груня плакала, из сил выбивалась, а они все думали: вот завтра, вот завтра займутся сыночком, повезут его в деревню на парное молоко, на свежие сливки, на свежий воздух. А когда собрались, повезли, было уже поздно...

Нервы подорвались у Прохина окончательно, он отпросился с той невероятно тяжелой работы и поехал на учебу в Петроград. Тогда это еще был Петроград, а не Ленинград... Там он быстро, за два с небольшим года, погрузившись в учебники и в курсовые проекты, закончил путейский институт, в котором начинал когда-то свое высшее образование. Во время германской войны он его начинал, в путейский только-только стали принимать молодых людей разных сословий, а не одних лишь избранных, не только дворянских отпрысков. Ему, старшему сыну в огромной семье токаря с железнодорожной станции Дно, очень хотелось поступить именно в этот институт, и вот он добился своего.

Ну, а когда Прохин вернулся с дипломом инженера-путейца из Питера в Красносибирск, у него уже не было прежнего здоровья, нервов и выдержки, он сказал об этом прямо и честно, и его направили на гражданскую работу, в Крайплан. Теперь он и. о. председателя Крайплана и наиболее вероятный его председатель.

...А стены и потолки в квартире Прохиных такие же белоснежные, как и скатерочка на круглом столе, полы свежей краски, ярко-желтые, бо́льшой платяной шкаф, покрытый блестящим лаком, и письменный столик в углу, такие покупают первоклассникам по случаю их вступления в школьную жизнь, а потом строго следят, чтобы на столе был порядок, чтобы тетрадки и учебники лежали аккуратными стопочками, а карандаши в пенале, а чернилка-непроливашка находилась в самом центре столешницы.

И тут был такой же порядок, только в стопках лежали, занимая почти весь стол, не учебники и не тетрадки, а нумерованные папки с делами Крайплана. Но пенал детский тут был, чернилка-непроливашка была... Корнилов подумал: как же работать за таким столиком, в такой тесноте?

А вот как приходилось поступать: снимать белую скатерочку с круглого стола и усаживаться за него, а тот, школьный, служил только для хранения бумаг, папок и необходимых письменных принадлежностей.

В соседнюю, совсем уже крохотную комнату были распахнуты двустворчатые, тоже белые двери, и там стояли вплотную друг к другу железные кровати под белыми покрывалами. Больше ничего там не было.

Хозяева, Прохин и Прохина, ходят в мягких бесшумных тапочках, еще тише, совсем уже беззвучно двигается полная, тяжелая Груня, она первая и указала Корнилову за круглым чайным столом:

— Сюда, пожалуйста...

— Сюда-сюда,— подтвердила Лидия Григорьевна.

На ней было полосатое платье в обтяжку, красиво, но очень плотно — отовсюду выступают косточки.

Итак, разговор сначала о Ванечке. О том, что Прохины не любят мебели, а любят чистоту, порядок и простор — с этой точки зрения квартира, конечно, маловата, хотя, с другой стороны, много ли двоим надо?

При кухне есть еще комнатушка, там живет Груня.

Прохин задумчиво говорил о том, что многому он научился у Лазарева, поистине выдающегося человека и деятеля, но, конечно, ему все еще очень трудно возглавлять чрезвычайно ответственный отдел Крайисполкома... К тому же он понимает — будет еще труднее, все более ответственные задачи возникают каждый день, взять хотя бы составление контрольных цифр к первому пятилетнему плану.

В будущем люди, все советские и партийные работники, привыкнут к пятилетним планам, будут воспринимать их как нечто должное, определится методика их составления, будут ликвидированы и оппозиция, и все те несознательные, тем более враждебные, элементы, которые нынче мешают планированию, но первый-то пятилетний, самый первый? Он ведь и самый трудный! А еще надо принять во внимание, что это — Сибирь, пространства, ресурсы и такие народнохозяйственные проблемы, такого масштаба, что даже Лазарев и тот признавался: «Голова идет кругом!»

— Так то лазаревская голова, а что с моей-то должно делаться?— очень серьезно спрашивал Прохин. Корнилов не нашел ничего лучшего, как сочувственно кивнуть...

Корнилов сидел, слушал, отпивал маленькими глоточками чай, ему не верилось, что вот здесь, в этих комнатах так скромно, тихо и чисто живут Прохины.

«Чашечка... чашечка... чека,— стал твердить Корнилов про себя,— чашечка...» В квартире Прохиных он ведь очень чувствовал себя «бывшим».

Какая семья, какой дом, какие две комнатки?.. Никогда не хватило бы у Корнилова воображения представить все это... Потому и не хватило бы, что уж очень все просто, чисто, тихо.

Корнилову представился рассвет какого-то, теперь уже давнего дня, занявшегося в краткой летней ночи...

Прохин, сидя в узком и длинном кабинете, очень узком и очень длинном — похожим на коридор был тот кабинет — заметил этот рассвет через окно. Сначала он не обратил на него никакого внимания, он был занят, он перелистывал чье-то «Дело» в жиденьких коричневых корочках... Перелистал, прочитал в «Деле» кое-что и подписал: «Утверждаю! А. Про...» — а тогда уже снова взглянул в окно.

После того позвонил по внутреннему телефону.

«Прохину мне!— сказал он телефонисту.— Лида! Как там у тебя нынче?»

«Еще не освободилась. У нас в женском отделении прямо-таки хаос».

«Была в роще? В загородной?»

«Только вернулась... Бумаги надо привести в порядок».

«Из дома уходила, Ванечка как?»

«Ванечка получше. А у тебя нынче как?»

«Были дела...»

«Много?»

«Были... И здесь, и в роще были. Через полчаса освобожусь и зайду».

«Хорошо бы... Уж и не помню, когда вместе возвращались. Хорошо бы. Я потороплюсь!»

И вот возвращаются они вместе домой...

В Красносибирске, городе несуразном, только одна и была чугунная ограда — вдоль небольшого сквера тянулась метров двести — триста, как раз вдоль той ограды и шли Прохины, шли молчаливые, тихие, усталые, придерживались за руки. Было уже совсем светло, солнышко только-только поднималось над землей, над Красносибирском, над притихшей загородной рощей...

Не в эту, не в крайплановскую квартиру они шли, тогда у них другая была, на другой улице, но такая же чистенькая, с такими же чашечками... И Ванечка был тогда жив — худенький, с грустными глазками. Он спал в своей кроватке под беленьким легким одеяльцем и не слышал, как папа и мама вернулись домой с работы.

Надо же, какая выдумка! И телефонный разговор Анатолия Александровича с женой, и картина раннего утра, когда Прохины рука об руку возвращаются домой вдоль металлической ограды, все это одно только больное воображение?!

А Груня всегда бывала очень рада, когда хозяева возвращались вместе, и хлопотала на кухне — разогреть что-нибудь из еды, покормить хозяев, чтобы они отдохнули часок-другой. Груня не могла себе представить, как эти люди так много, без отдыха работают — день и ночь, день и ночь... Груня и Анатолия Александровича и Лидию Григорьевну боготворила, и они тоже были к ней неизменно добры, никогда ни одним словом не обидели. А ведь могли бы обидеть, могли бы никогда не принимать ее в свой дом — за Груней числилась вина, она и сама эту вину переживала.

Когда-то Груня была замужем за красавцем прапорщиком, была от него без ума, ждала с войны, дождалась, но тут Ишимское кулацкое восстание против Советской власти, ее прапорщик активно примкнул к восставшим, после разгрома бежал на север, чуть ли не в Обдорск, но был там схвачен, доставлен в Красносибирск и расстрелян.

Груня осталась одна-одинешенька на свете, без всяких средств к существованию, с репутацией хуже некуда, кому она такая была нужна, кто бы над ней сжалился? Сжалились Прохины, и вот она была благодарна им до глубины души.

Груня на людях показывалась изредка, она была домоседкой, но, если уж знакомилась с кем-то, обязательно рассказывала о том, какие хорошие, какие добрые люди ее хозяева.

Недавно она и Корнилову об этом же рассказала, должно быть, угадав нынешнюю его склонность к общению с разными людьми, они у водоразборной колонки встретились, а это клубное было место в дворе крайплановских жилых домов.

Ушел Корнилов от Прохиных, распрощавшись с хозяевами тихо, вежливо, доброжелательно. Доброжелательство было с обеих сторон, он даже забыл, что, уходя, собирался незаметно перекреститься в прихожей, зато появилось умиротворение, даже чуть-чуть блаженное состояние — опился ароматным, великолепно заваренным Груней чаем. Чашечек десять, поди-ка, выдул чайку.

Во дворе, минуя водоразборную колонку, он подумал:

«Ночь... темь... река... мост... люди... телеги...»

А все-все это было благодаря Нине Всеволодовне — она приказала Корнилову общаться с людьми, разве он мог ослушаться?

СВАДЬБА БОНДАРИНА

Бондарин-то — женился!

Кому бы могло прийти в голову, никому на свете, а ему пришло!

Впрочем, не так уж и невероятно, если подумать, поразмыслить: мужчина хотя и о пятидесяти, но здоровый, крепкий, каждое утро в любую погоду быстрым шагом, размахивая руками, проходит восемь верст, называя это шаговой гимнастикой, объясняя близким людям: «Я в камере-одиночке тут же, в нашем дорогом Красносибирске, в тысяча девятьсот двадцать втором и в тысяча девятьсот двадцать третьем годах ежедневно столько же делал — восемь верст, а на свободе?! Свобода требует движения!»

И гирями хоть и не ежедневно, а все-таки Бондарин занимался: в правую руку полупудовую, в левую такую же и — раз-два, раз-два, вверх-вниз, вверх-вниз — выжимает гирьки.

Холост.

Была семья — жена, сын — в войну потерялась. Поговаривали, будто жена в революцию уехала за границу с каким-то офицером, там, кажется, в Китае, вышла за этого офицера замуж, жива и здравствует, но все это какое имело значение?

Бондарин-то в анкетах писал: холост. И образ жизни вел и обладал манерами соответствующими.

Крайплановские, да и других совответработников

жены даже несколько стеснялись — слишком, слишком элегантен!

Подаст ли в клубе, в театральном гардеробе и даже на службе даме пальто или могучую шубу-барнаулку, поможет ли отряхнуть веничком снег с пимов — этакие венички при входе в учреждение любого ранга лежали, заведено было с давних пор в Сибири, даже новая власть не изменила порядка,— приложится ли к ручке, поздоровается или попрощается, в любом случае генерал, да и только!

Как с ним, с генералом, себя вести-то? Не обращать на эти гусарские выходки никакого внимания? Неудобно как-то, ведь генерал проделывает все это совершенно непринужденно и вполне доброжелательно, кроме того, каким-то образом, неизвестно каким, но определенно дает понять, что «это только для вас! на остальных дам и не смотрю и не вижу их, но вас...».

Тут же и отвергнуть ухаживания?

Он как будто бы и не ухаживал, вовсе нет.

Еще эти манеры на что намекали? «Вот как должен вести себя мужчина!» — как бы всякий раз объяснял Бондарин, и — надо же!— все остальные мужчины на него нисколько за это не обижались, никто, ни один человек. Женщины не обижались тоже, но недоумевали: получалось так, что женщины вполне хороши, что они вполне заслуживают внимания, а вот мужья у них этого не понимают, чурбаны, ни больше, ни меньше! И женщинам, многим, хотелось, чтобы мужья за что-нибудь, все равно за что, но обиделись бы на Бондарина, задели его как-нибудь, что-нибудь высказали ему, что-нибудь такое... Но мужья ни гугу, наоборот, были — с генералом-то!— вежливы и веселы.

Бондарин это умел — и партийным, и выдвиженцам, и «бывшим» подать бывшее свое генеральство с юмором.

Другое смущение касалось, конечно, только тех женщин, которые проживали с Бондариным в одном доме: иногда поутру, провожая ребят в школу, они видели, как быстренько-быстренько с третьего этажа по лестницам сбегала какая-нибудь особа, по виду не совслужащая, но, в общем-то, приличная, интересная.

Ребенок, уже завернутый в отцовский башлык или в мамин платок по самые уши, но с зоркими глазками, тотчас замечал:

— Мама? А что это за тетя? Такая незнакомая.

— Не знаю, сынок!

— Как это не знаешь? Она же в нашем подъезде? Она же из во-о-он той двери вышла, из генеральской.

Что тут станешь делать? Как отвечать ребенку?

Нет-нет, в Крайплане всякого рода сплетни и пересуды никогда не поощрялись, советское учреждение должно было быть и действительно было выше этого, а все-таки?..

Все-таки замечено было, что хотя бы отдаленно знакомых для жильцов крайплановских домов посетительниц у Бондарина не бывало, только незнакомки, кто, откуда, ни за что не догадаешься!

Единственное более или менее верное наблюдение: когда в Красносибирск приезжала какая-нибудь театральная или эстрадная труппа, Бондарин неизменно угощал артистов в ресторане «Меркурий» и тогда же, в те же самые календарные числа в подъезде крайплановского жилого дома и замечались этакие вот загадочные фигурки, не то чтобы девичьи, но отнюдь и не старообразные, чаще всего в белых ботиках, с черными лисьими воротниками, а летом в шляпках столичного образца.

В силу всех этих обстоятельств женитьба Бондарина была сама по себе и в принципе делом в некотором роде общественно полезным, во всяком случае, нисколько не удивительным, но то сама по себе и в целом, а не в подробностях.

Одна же из подробностей была вот какого рода: Бондарин женился на Катюше из совнархоза.

Катюшу знали все, ее нельзя было не знать, такую милую, такую веселую и работящую, она была делопроизводителем, вела журнал «входящих-исходящих», вся совнархозовская переписка шла через нее, поэтому из любого учреждения вызывали телефонный номер «23-32» и спрашивали: «Катюша? Здравствуй, товарищ, как там с нашим запросом по строительству Центральной бани? От девятого числа сего месяца?» Катюша тотчас быстро-быстро листала журнал «входящих», наводила справки у секретаря и сообщала: «На подписи, но еще не подписано!» Или: «Вот уже третий день на подписи, учтите!»

Так вот этой всеми любимой, а Бондариным, как выяснилось, больше всех Катюше было от роду двадцать один годик, только-только исполнилось!

И вот эта советская девушка выходит за генерала, за пятидесятилетнего человека, хоть кто удивится!

Да если бы Катюша выходила за своего сверстника, все равно было бы удивительно: она никак не подходила к роли женщины, а жены тем более. Поглядишь на нее, и тут же возникает уверенность, что эта девушка и всегда-то должна быть и будет миленькой, молоденькой, веселой и сообразительной девушкой, что годы будут идти да идти, но они не будут Катюшиными годами, они ее никогда не коснутся. Уже и то, что Катюше перевалило за двадцать, вызывало и сомнения, и недоверие, а тут вдруг Катюша выходит замуж — и за кого?!

У нее были вишневые глаза, кругленькое личико и светлые, с легким рыжеватым оттенком волосы, если бы не волосы, Катюша вполне сошла бы за украинку, но она была коренной сибирячкой, крепенькой и сильной. Это в ней чувствовалось — в движениях, в голосе и даже во взгляде природная сила, выносливость.

Наверное, природа нарочно сделала: соединила взрослую силу с детскостью — что получится?

Получилось приятно, весело, симпатично, а вот пригодно ли для жизни практической, для существования женщины — это до сих пор оставалось никому не известным, самой Катюше, конечно, тоже. Кому же это предстояло выяснить? Конечно, Бондарину!

Вот какую ношу, какую ответственность Бондарин на себя взял! Коснись Корнилова, он бы никогда! Наоборот, этот опыт природы, эта возрастная неопределенность, за которой, конечно, следовали еще и другие неопределенности, эта всеобщая Катюшина известность и всеобщие к ней симпатии Корнилова напугали бы, от любых серьезных намерений отвели, а Бондарин мог!

Нет-нет, себя на месте Бондарина он, Корнилов, представить не смеет, но Бондарин-то, тот, пожалуй, на своем месте!

Между прочим, на свадьбе в своей тарелке чувствовал себя — или безукоризненно делал вид, что чувствовал — один только Бондарин, все же остальные будто чего-то остерегались, какой-то неожиданности.

Комнатушка, в которой жила Катюша со своей мамой, тоже делопроизводительницей-машинисткой, но другого учреждения, Сибпромбюро, была до того кро-

хотная, что расположиться в ней самым скромным застольем не представлялось возможности.

Пришлось обратиться к соседям, и они потеснились — большая семья — и вынесли из своей, тоже большой, ну прямо-таки ипподром, комнаты почти все имущество: кровати, комод, огромный платяной шкаф, который стоял в дверном проеме между двумя комнатами. Шкаф вынесли туда же, куда и все остальные предметы, в коридор, узенькая осталась щелка, сквозь нее и протискивались по очереди гости, зато двери из маленькой Катюшиной комнаты в большую, соседскую, были распахнуты настежь, а столы составлены напрямую, то есть опять-таки из одной комнаты в другую.

В большой комнате проживал столяр с фабрики «Физкультура», семья — не сосчитать: муж, жена, взрослые и маленькие дети, бабушка, дедушка, еще кто-то. Все они, разумеется, оказались гостями Катюшиной свадьбы.

Ну и, конечно, крайплановцы были здесь, товарищ Прохин с женой, хотя в этом факте не без оснований усматривалось недоразумение. Прохин на свадьбе генерала Бондарина? Почти что немыслимо!

На работе, на дачах, везде, где так или иначе их сводили те или другие обстоятельства, крайплановцы неизменно были между собою вежливы, даже общительны, но без таких обстоятельств никакой дружбы между партийцами и «бывшими» не могло быть и невозможно было представить себе застолье, в котором те и другие как ни в чем не бывало сидели бы рядом, чокались бы, выпивали бы, произносили бы тосты, еще что-либо подобное себе позволяли!

И Бондарину, разумеется, в голову не пришло бы приглашать Прохиных, но тут вот как случилось — их пригласила Катюшина мама. Катюшина мама состояла в очень отдаленных, а все-таки родственных отношениях с Лидией Григорьевной, а сам Анатолий Александрович когда-то посодействовал Катюше устроиться делопроизводительницей в совнархоз, без этого содействия она куда? До сих пор стояла бы в очереди безработных на бирже, в лучшем случае — трудилась бы рассыльной, а тут оказалась вот у какого дела! Представить себе, сколько соблазнялось на эту должность самых разных «бывших»? Со стажем работы в царских еще министерствах и ведомствах и с университетскими дипломами? Как-никак, а зарплата пятьдесят пять рубликов, а тут

девчонка какая-то — р-раз! — и вот ей местечко! Просьба товарища Прохина принять кого-то на работу — это было не только рекомендацией, но и похвальным листом, и поручительством.

Товарищ Озолинь, секретарь Крайкома ВКП(б), и тот мог подмахнуть соответствующее письмецо, позвонить кому-нибудь, не очень-то взвесив все «за» и «против», особенно если речь шла о должности канцелярской; для Прохина же в кадровом вопросе не существовало мелочей, таких «за», тем более «против», которые он в любом случае не принял бы во внимание. Старая чекистская привычка и навык. Ну и в силу всего этого Катюшина мама просто-напросто не пережила бы отсутствие на свадьбе Анатолия Александровича и Лидии Григорьевны. Она так и сказала: «Не переживу! Ни в коем случае!»

И Прохины, хотя, конечно, им было и неловко, хотя они, наверное, считали свой поступок бестактным, приглашение приняли.

И так получилось, что отныне Прохины с Бондариными вступили в некоторые личные отношения.

Пожали друг другу руки, Прохин произнес нечто вроде поздравления, Бондарин поблагодарил, но делать вид, что все это ему запросто, что так и должно быть, не стал, а вздохнул и припомнил:

— Ай-ай, Анатолий Александрович, ай-ай, времена-то как меняются! Мало того, что я работаю под вашим руководством, но вы же еще и сегодня здесь присутствуете! Удивительно?! И спасибо!

Прохин в долгу не остался, сдержанно, но в том же тоне, что и Бондарин, ответил:

— Да! Кто бы мог подумать? Да я первый не мог бы! Как вспомню, Георгий Васильевич, что, возглавляя ЧК, я лично вас допрашивал, что вы у меня были едва ли не самый серьезный госпреступник, как вспомню все это... Все эти метаморфозы...

— Ну, вы лично ни в чем не виноваты, Анатолий Александрович! Не казнитесь! Во всем виноват Михаил Иванович Калинин — подписал мое ходатайство о помиловании!

— Добрая душа... До сих пор добрая душа!— улыбнулся Прохин, и они еще поговорили, повспоминали, как было дело тогда, осенью тысяча девятьсот двадцать второго — весной тысяча девятьсот двадцать третьего года, но поговорили уже между собой в сторонке, отойдя

от других. Корнилов, да и никто из присутствующих этого дальнейшего разговора не слышал.

За столом Прохины сели в дальний конец, но и тут Катюшина мама не дала им покоя, умоляла и умолила придвинуться вперед.

Застолье было суматошным и бестолковым благодаря семейству столяра, кроме того, оно было напряженным, а это уже по причине такой вот необыкновенной разнохарактерности и разношерстности присутствующих, которая сразу же и сказалась, ну, хотя бы в том же разговоре Бондарина с Прохиным.

Тут каждой твари было по паре, по паре и больше от каждого нынешнего сословия, от каждого занятия, от каждого возраста, тут один заведующий канцелярией Крайплана Ременных, кстати, тоже бывший царский офицер, на неизменной своей колясочке и в приподнятом настроении, с неуемным желанием через каждую минуту провозглашать тосты — он один чего стоил!

В Крайплане, на службе, безногий Ременных давно всем пригляделся, все привыкли к нему, а еще больше к его канцелярской исполнительности и дотошности, но здесь, на противоположном от молодых торце стола, он был странен, неожиданно возвысившись в своей тележке надо всеми, размахивая руками, красный, порядочно уж под парами, крикливый и веселый.

Люди посторонние, все, кто видел Ременных впервые, в растерянности и недоумении смотрели на него, а на крайплановцев с удивлением и вопросом: «Вы что же, привыкли к нему? И ничего? Как будто так и надо? Да?» И крайплановцы были смущены.

Ременных, наверное, отчетливо видел и сам себя в своей тележке на колесиках, возвышающегося над столом, безногого и длиннорукого. Видел, видел!

Но это уже было ему все равно. Может быть, даже наоборот, чем выше был он в этой тележке, чем длиннее казались у него руки, чем короче обрубки ног, тем все это было ему лучше — такое состояние у подвыпившего человека. Никто и не подозревал, что он, калека, пьет, а он — нате вам — вот как!

Был здесь в гостях и какой-то нэпман с брюхом, как раз с таким, которое изображалось нынче на многих-многих плакатах и карикатурах: рабселькоры втыкали в него свое неподкупное перо, рабочий сплеча долбал его молотом, фининспектор затягивал на нем веревочку-удавку, а ему, этому брюху, оказывается, все нипочем,

оно гостит себе в гостях, и не у кого-нибудь, а на свадьбе хотя у бывшего, но все равно ба-а-альшого генерала, оно находится за одним столом тоже с бывшим, а все-таки председателем Губчека, вот как! Об этом, несомненно, завтра же узнает весь нэпманский Красносибирск, а еще спустя дня три-четыре все без исключения города и кое-какие веси Сибирского края тоже узнают. При нем, при этом брюхе, как теми же плакатами и предусмотрено, состоит маленькая розовенькая лысоватая голова, но только не с бессмысленно вытаращенными глазами, а с быстренькими и с умненькими такими глазками, которые все примечают, все-все, что надо и даже что не надо.

«Господи! — не раз уж и не два скользнул взглядом по фигуре Бондарин. — А этот откуда взялся? Откуда его Катюшина мама выкопала, живого? И не одного, с женой!»

Действительно, жена тут же — небольшая, немолодая, но полнеть начавшая только что, буквально на днях, и делавшая вид, будто она мужем командует, будто он у нее под каблуком! Как же, держи карман шире, попадет этакий под каблук!

Такой социальный и прочий состав присутствовал на нынешнем торжестве...

А все потому, что уступил Бондарин Катюшиной маме и обязанности были между ними распределены так: гостей приглашала она, стол устраивал он.

Он устроил... Зелень и фрукты, вплоть до ананасов, может быть, и невиданных до сей поры в городе Красносибирске, закуски вплоть до устриц, супов несколько, и даже протертый, с белыми грибами, который Бондарин готовил собственноручно. Он умел и любил некоторые блюда готовить сам, а это был его коронный номер. Затем осетринка была по-монастырски и на вертеле, дичь в двух или трех разновидностях и, наконец, два официанта из «Меркурия» во фраках, при галстуках-бабочках.

Один официант старший, другой явно младший, хотя по возрасту ничуть не уступал старшему.

Этого старшего Корнилов легко узнал: тот самый, который познакомил его, в ту пору уполномоченного Аульского окружного союза промысловой кооперации, с бывшим генералом Бондариным, точнее говоря, восстановил между ними знакомство давних, омских еще времен. А может быть, и еще более давних.

Этот, старший, совсем сбился с панталыку: не знал, к кому и как за нынешним столом ему обращаться, кому и что наливать и подавать, кто тут терпеливо ожидает, когда он, старший или младший, подойдет и на ушко спросит: «Чего изволите? Вот этого или, быть может, вот этого?» А кто уже у соседа и справа и слева успел ухватить из прибора и вилку, и ложку, и черную икру — разве что-нибудь во всем этом хаосе можно было понять?!

Особенно зловредны были столяровы ребятишки, босые, сопливые и с приятелями со здешнего, а может быть, и с соседских дворов, все ошалевшие от невероятных, сказочных запахов, исходивших от стола, они стояли позади тех, кто сидел за едой, смотрели на все выпученными, прямо-таки вконец одичавшими глазами, прилаживаясь что-нибудь стянуть. Одному уже удалось, он схватил жареного цыпленка, макнул, стервец, цыпленка в соус и, протянув по скатерти яркий соусный след, брысь в коридор, а там на лестницу, а там во двор...

А выгнать ребятишек прочь никак нельзя — обида столярову семейству, особенно столяровым старичкам, те и сами норовили какой-никакой лакомый кусочек ребятишкам подсунуть не очень заметно, но и не очень скрывая это от других.

И все-таки самое главное было в том, как держатся молодые, и Бондарин это понимал, был весел, был вежлив, был прост хотя и генеральской, и аристократической, а все-таки простотой, черный костюм сидел на нем безупречно, бородка клинышком поблескивала таким же металлическим блеском, что и оправа пенсне, было видно, что ему пятьдесят, было видно, что он здоров еще молодым здоровьем, было видно, что он женился не зря, это было ему в самый раз!

Но вот у Катюши, у той личико обалдевшее, она была влюблена совершенно и не могла глаз от жениха отвести, поэтому ничего и никого вокруг не замечала.

Общий, для всего стола разговор не получался, было кто во что горазд, общество, еще и не соединившись во что-то более или менее цельное, уже распалось на кланы и группы, а так как расселись кто где, то теперь и перекликались друг с другом через весь стол.

У Катюши была несколько странная для нее фамилия — Екатеринина, по этому поводу были шутки, и молодых каждый на свой лад спрашивал, как записа-

лись они в загсе, приняла ли Катюша генеральскую фамилию или же до конца жизни так и останется Екатериной Екатерининой? Бондарин хотел, чтобы на это ответила сама Катюша, но она не отвечала, а только поводила вишневыми своими глазами и смеялась, когда ее спрашивали:

— Ты теперь кто? Секретарша или генеральша?

Вообще говоря, вопрос не совсем деликатный, так как никто, даже близкие знакомые не знали, кем был, когда и куда исчез Екатеринин, Катюшин папа. Было известно, что исчез навсегда, больше ничего.

Тут же выяснилось, что молодые не венчались в церкви, и многие были этим поражены — почему?

Анатолий Александрович Прохин и тот был поражен, считая Бондарина верующим, а Катюшу целиком подпавшей под его влияние.

Проблема настолько заинтересовала Анатолия Александровича, что он, минуя несколько человек, которые сидели между ним и Бондариным, спросил:

— Как же так, Георгий Васильевич? А я считал вас верующим. Собственно, я ведь и сейчас считаю вас таковым!

— А я таковой и есть!— отозвался Бондарин.— Конечно!

— А тогда как же вы без церковного обряда? Без священника?

— Катюша не захотела.

— Да, но это значит, что вам-то все равно! Верующий, а все равно?! Меня всегда удивляло, как это высокообразованные люди веруют, ходят в церковь, причащаются, христосуются и прочее, не знаю, чего еще там! Я никогда не мог найти этому сколько-нибудь серьезного объяснения.

— А это, между прочим, очень просто!— сказал Бондарин.— Образованному человеку очень часто бывает даже нужнее и необходимее, чем необразованному.

— Вот как?!

— Конечно! Образование, оно нередко делает человека отчужденным от народа, от его истоков и истории. А истоков и истории народной еще никогда, кажется, не бывало без верований и религии. Так зачем же мне отходить и отчуждаться от верований, то есть от народа и от истории его? Которому я хочу служить своим образованием? И вот я христосуюсь, потому что многие века так делали мои предки, а я хочу не только быть с ними,

но в чем-то их повторять, я всеми силами стремлюсь испытать и действительно испытываю то же чувство любви к ближнему, которое испытывали они, я так же хочу причащения и очищения, так же хочу многого другого, чего хотели они. Не понимаю, как можно этого не хотеть? Как все это можно из самого себя исключить?

— Вот что! Религия-то для вас, Георгий Васильевич, это, оказывается, связь с массами? Отсюда вопрос: с какими? И ради чего? Ради какого будущего тех же масс? Да разве вы не видите сегодня, к чему этакая связь генералов с массами, с народом привела? И разве религии вечны и не исчерпывают себя? Не порождают еретиков — Никонов и Лютеров? И антиклерикалов? И не ставят перед человеком и перед массами выбора: «утверждаю — отрицаю»? Да вот и вы, Георгий Васильевич, разве вы сами-то не покаялись искренне в своих ошибках и заблуждениях? Ошибки и заблуждения, когда они признаны, обязывают нас к чему-нибудь — или ни к чему? К пересмотру своих убеждений, своих верований обязывают? Или, может быть, прошение прошением, а в то же время... В то же самое время был прав не товарищ Калинин, а товарищ Прохин?

— Нет,— ответил Бондарин,— я никогда ни на йоту не поставлю под сомнение правоту товарища Калинина! Никогда! Я думаю, что товарищ Калинин понял то, что он должен на своем месте всегда понимать: оттого, что человек не находит в своей стране того, что хочет в ней находить, от этого страна не перестает оставаться для него Родиной! От этого не умаляется желание ей служить!

— Служить нужно со смыслом. Отсюда неизбежно возникает вопрос — с каким?

— Со смыслом служение своей стране...

— Ухóдите от вопроса, Георгий Васильевич. Впрочем, я вас понимаю, почему бы вам от него и не уходить? Сегодня. Здесь. Понимаю...

Разговор этот, по всему видно, должен был продолжаться и дальше, но тут вмешались столяровы старики. Они захотели молодых благословить. Они сказали:

— Ну ладно, в церкву вы не ходили...— сказала старушка.

— Все одно бог простит!— заметил старик.

— Простит, простит!— это уже опять старушка.

— Хороших людей — обязательно,— снова старик.

— А Катюша, хотя в церкву не ходит, она хорошая!
— Все одно она хорошая. Мы ее любим.
— И благословляем...
— Троекратным крестным знамением...
— Троекратным. Обязательно!
— Осторожно, осторожно, милая моя матушка,— сказал Бондарин, обращаясь к старушке,— у нас вот тут сидит очень большой начальник, и еще неизвестно, как на ваше намерение он посмотрит. На ваше мероприятие, я хочу сказать.
— Да кто же тут главнее-то тебя?— удивился старик.— Кто ишшо тут тебя главнее?!
— Есть-есть! И даже обязан быть. Да вот он сидит, почти что рядом со мной, у него фамилия Прохин. Зовут Анатолий Александрович. Председатель Крайплана.
— Ну, зачем же меня выдавать-то, Георгий Васильевич? Чего-чего, а вот этого я от вас не ожидал. Никогда. Чего-чего...
Старики застеснялись, потупили глаза и стали шарить вилками по блюду с осетриной по-монастырски, искать кусочки помягче.
На некоторое время водворилась тишина, но в тишине этой уже присутствовало что-то неопределенное, какая-то тревожная недоговоренность.
— А вот скажите, Георгий Васильевич, другого случая у меня не будет спросить вас, а сегодня здесь можно: скажите, какое у вас главное расхождение с Советской властью?— спросил Прохин.
— В какой области? Политической?
— Нет, что вы! Об этом я здесь спрашивать бы вас не стал!
— Тогда в какой же?
— Ну так просто... просто в области мысли. Как таковой.
— Значит, философской?
— А хотя бы и так. Именно так, философской. Есть такое расхождение? Могли бы вы его сформулировать? Более или менее точно?
— Есть, есть. Как же! Значит, так: весь мир делится для человечества на две части — на материальную и духовную. Собственно, когда человек понял, что это так, с тех пор он и стал человеком современным. И вся культура, и все наши знания — науки, искусства — оттуда же, от этого разделения, от противопоставления одного другому. Представьте себе, что было бы что-то

одно, ну, положим, один материализм? Какое могло быть тогда развитие, какая культура? Да ничего бы не было, одни только предметы, маленькие и большие соединения молекул, больше ничего. Ну, а если бы один идеализм? Что он такое без молекул, без материального начала? Ничто и уж, во всяком случае, неизвестно что...— Прохин слушал внимательно, кивал, соглашался, покусывал нижнюю губу — это у него был признак наибольшей сосредоточенности, он сдержанно улыбался, как бы уже что-то предвидя.— Вот как было всегда,— продолжал между тем Бондарин,— всегда, и мне это понятно. Непонятно другое, каким образом Фридрих Энгельс, Карл Маркс или их толкователи Абрам Деборин и Михаил Покровский — конечно, читали?— ну и другие авторы, непонятно, как они эти два начала объединили в одном — в диамате? Непонятно, что из этого получилось. Что может получиться?

Прохин еще покусал губу и сказал:

— То и получится — единая философия единого мира. Что может быть выше этого? Что?

— А у нас, простите, Анатолий Александрович, разговор не о том, что выше, что ниже, вопрос в другом — что получится?

— Что получится-то?— пожал плечами Прохин.— А вот уж это будет зависеть от меня, от вас, от всех нас. Что мы сумеем сделать, на что окажемся способны, то и получится. Во всяком случае, я думаю, что любое новое человеческое общество должно создать и новую философию, без этого оно еще не общество, тем более не новое!

Бондарин не ответил, задумался, Прохин спросил:

— Так вы, Георгий Васильевич, вы служите Совласти без философии?

— Конечно, без!

— Но с энтузиазмом, хотите вы сказать?

— Конечно, да.

— Для меня это странно...

— А для меня нет.

В это время столяровы старички все-таки решились на благословение и медленно стали двигаться к торцу, за которым сидели молодые.

Старички были под святых, смешные святые, а все-таки они: старушка — высокая, прямая, седая; старичок — маленький, согбенный, лысый, оба решительно непохожи друг на друга, но прожили друг около друга

лет, наверное, шестьдесят и теперь озарены этой бесконечной близостью друг к другу, одинаковостью чувств и мыслей. Одно чувство на двоих, один помысел на двоих, весь окружающий мир тем более. Сколько они вот так, вдвоем же преобразили настоящего в прошлое, в далекое прошлое. Представить трудно!

Вот они и вышли, двое, благословить молодых. Им для этого уже и говорить не надо было ничего, взглядом условиться между собой и то не надо, и вот они, поддерживая друг друга, тихо шли вдоль стола, приподняв правые руки, приготовившись осенить жениха и невесту крестным знамением. Они шли как бы и не по полу, а выше, шли над людьми, над законченными и незаконченными их спорами, над их ожиданиями чего-нибудь доброго, а может быть, и недоброго...

Бондарин встал, склонил голову, встала и Катюша, они ждали приближения стариков, затихли, но тут-то столяровы ребятишки и приятели их уловили момент и потянулись на стол грязными лапами, кто в вазочки с икрой, кто в блюда с копченостями, с осетриной по-монастырски. И как раз в тот момент, когда старичок положил дрожащие персты посередине выпуклого бондаринского лба, а старушка — на лобик Катюши, как раз в эту секунду старший официант из «Меркурия», метрдотель нынешнего стола, не выдержав, крикнул на ребятишек:

— Цыц, вы, паршивцы проклятые! Что вы делаете?!

Ребятишки прыснули в коридор, старики обомлели, старушка ойкнула, старик всхлипнул, все растерялись. Бондарин и тот растерялся, приподнял руки и так стоял в нелепой какой-то позе.

Прохин сказал:

— Значит, сам бог против. Вот кто!

Лидия Григорьевна подтолкнула мужа, а тот уже и сам спохватился, но старики, медленно повернувшись, шли, вздрагивая, назад.

У Бондарина показались на глазах слезы... Герой стольких войн, в свое время чуть ли не верховный правитель России, он ведь был в иных случаях суеверен, кое-кто из крайплановцев даже знал за ним эту слабость, знал ее и Корнилов.

Белые нитки, которыми было шито застолье, стали расползаться, что-то стало видно где-то внутри, где-то между людьми, что-то черного, кажется, цвета...

Еще чуть спустя Бондарин выпрямился, повернул к себе Катюшу лицом и тут же истово ее перекрестил, потом слегка сам преклонил перед ней голову, и она неумело, но сделала то же — перекрестила его.

Старики, заметив это, остановились, обернулись и сказали:

— Нет, не будет худа...

— Не будет его, а будьте оба радостны...

— ...и счастливы...

— ...и долголетни!

Вновь повернулись и пошли на свои места за столом.

— Выпьем!— провозгласил Бондарин.— Прошу дорогих гостей, выпьем!

Зафукали пробки из бутылочных горлышек, зазвенело стекло меркурьевских бокалов.

Однако гости так и не пришли в себя и по одному, по два, как бы немного очумевшие, испуганные, вскоре после того стали расходиться.

А Бондарин-то? Вот тут он, оказывается, настоял на своем, и Катюша записалась в загсе не на его, а на свою собственную фамилию. На всякий случай они так сделали. На всякий...

Недавно в Красносибирске был построен Дворец труда, говорили, под Корбюзье, на самом же деле неизвестно под кого — квадраты, кубы, вот и все архитектурные находки. Во Дворце квадратный зал заседаний с выступом от одной из стен, то есть со сценой. Назавтра здесь открывалось краевое совещание работников плановых органов, а товарищу Вегменскому было поручено проследить, чтобы зал был подготовлен как следует. Товарищ Вегменский перепоручил это Корнилову, товарищ Корнилов пришел посмотреть, все ли в порядке.

А чего смотреть-то? Стулья в зале, на сцене стол президиума и трибуна...

Зал стоял в полумраке, уже пропахнувшем заседаниями, собраниями, митингами; трибуна в правом углу сцены поистерта, с подтеками, как будто попала однажды под дождь, коврик, прикрывающий несколько ступенек, которые вели из зала к трибуне, тоже поистерт, в окнах фиолетовые круги и кружочки — стекло недоброкачественное, пережженное.

А Корнилов-то? Он за недолгий срок своего пребывания в штатах Крайплана тоже ухитрился с этой три-

буны поговорить-потолковать. В первый раз он своей собственной речи очень удивился, дескать, «бывший»-то куда забрался? А потом попривык, забирался на трибуну почти что уверенно, как будто так и надо!

Наверное, поэтому на другой день, когда совещание началось, Корнилов пришел сюда в легкомысленном настроении, в некотором роде даже и по-хозяйски осматривал те же стулья, ту же трибуну, тот же стол президиума под красным сукном.

И позже в толпе участников совещания, заполнивших фойе, он тоже оказался не случайным человеком, здоровался направо-налево, и кто-то похлопывал его по плечу, а он кого-то в ответ.

Люди были здесь пестрого вида — в штатском, в полувоенном, в сапогах и в сандалиях, погода-то неопределенная, весенняя, жарковато уже было на улице, были тут и «толстовки», на Бондарине был великолепно пошитый костюм и желтые остроносые ботинки со светлыми шнурками.

Явился и товарищ Бобров, так называемый «сибирский Сусанин», седобородый, в красноармейском шлеме с высоким шишаком и при шашке с огромным красным бантом на рукояти — подарок знаменитого партизанского полководца Мещерякова.

Крестьянин Бобров вывел через лес и болото крупный отряд мещеряковской партизанской армии в тыл белых, белые были разгромлены, и Мещеряков, широкой натуры полководец, наградил проводника.

Мещеряков после войны вернулся в родную деревню пахать и сеять, а вот Бобров больше ни дня не крестьянствовал, переселился в Красносибирск, и не было такого совещания, на котором он бы не присутствовал при шашке и при банте.

Фотографы и те к Боброву привыкли: «Товарищи, то-ва-ри-щи! А где же товарищ Бобров? Нету Боброва? В курилке? Подождем, товарищи, товарища Боброва, тогда и снимемся!»

В конце первого утреннего заседания Корнилов вышел из зала, когда там уже успели поразгореться горячие, можно сказать, ожесточенные споры: какого процента коллективизации индивидуальных крестьянских хозяйств должен достигнуть край к концу пятилетки? Одни называли 10 процентов, эта цифра была подработана в окрпланах, в окрисполкомах, в окружкомах

партии, другие, основываясь на решениях XV съезда ВКП(б), называли 20 процентов.

Перепалка была что надо, реплики с мест и даже два-три выкрика: «Долой оппортунистов с трибуны!» — то есть сторонников цифры 10 процентов.

Тут всем досталось, и Прохину тоже, поскольку в его докладе были названы те же злополучные 10 процентов, а потом, спустя часа два, выступил товарищ Озолинь и сказал: «Конечно, мы эту цифру подрабатывали с товарищем Прохиным вместе, но, я думаю, и ему и мне нужно задуматься над мнением товарищей с мест, которые здесь все громче начинают звучать. Тем более что это мнение созвучно с решениями всесоюзного партийного съезда! Нам не 20 процентов нужно — нам нужно гораздо, гораздо больше!»

Опять же в связи с вопросом о коллективизации зашел вопрос и о заселении малообжитых районов. Было предложение: переселенцев устраивать не каждую семью индивидуально, а сразу же колхозом. У Прохина на этот счет не оказалось под рукой необходимых данных, и он написал записку Корнилову:

«Тов. К.!

Слышали вопрос ко мне о земфондах для коллективных хозяйств на Севере? Срочно нужны цифры по переселенцам и перспективным земфондам. Позвоните Краснову, он сделает. К началу следующего перерыва д. б. готово. Про...»

Корнилов вышел из зала, из кабинета директора Дворца он позвонил Краснову, и минут через двадцать Краснов сообщил множество цифр, гораздо больше, чем требовалось.

Почти все крайплановцы присутствовали на съезде, а Краснова нарочно оставили на его рабочем месте — если кому что понадобится по ходу дела, какие-то цифры, ссылки на какие-то решения, ответы из округов на запросы Крайплана, директивы из центра,— чтобы все это он мог срочно передать во Дворец.

Еще и перерыва не было, и не скоро он ожидался, а Корнилов уже имел необходимые данные, но заходить в зал не стал, решил обождать Прохина в фойе.

Здесь бродили несколько человек, совершенно Корнилову незнакомых, они переговаривались между собой, но в зал почему-то тоже не входили, прислушиваясь к тому, что там происходило, а там, слышно было, дело шло все горячее, аплодисменты были, громкие голоса

ораторов и реплики из зала, хотя председательствующий и пытался уже не раз объяснить, что вопросы и замечания нужно подавать в письменном виде... Объясняя, то и дело звонил колокольцем.

Потом Корнилов увидел в углу фойе столик, за столиком скорбную какую-то фигуру. Это был Никанор Евдокимович Сапожков.

Корнилов подошел, спросил, почему Никанор Евдокимович здесь, а не в зале.

Оказалось, по той же причине: Никанора Евдокимовича Прохин тоже послал позвонить Краснову, получить дополнительные цифры по запасам полезных ископаемых и по плану лесоразработок.

Досталось же нынче Прохину! Доклад ему помогали составить все без исключения секции, все крайплановские референты, а вот на тебе, и таких данных ему не хватало, и других, и третьих.

Поговорив на эту тему, посочувствовав Прохину, Сапожков спросил:

— Новость-то слыхали?

— Какую?

— Печальную. Цюрупа умер...

— Слыхал, да... В зале уже почтили его память вставанием.

— Очень печально, очень!— вздохнул Сапожков.

— Ну, что уж вы так-то?— удивился Корнилов.

— Очень печально, очень! Я лично Цюрупы не знал, но много о нем слышал. От хороших людей. Так что он был для меня, если хотите, некоторый идеал. А это, знаете ли, много значит, не скажу за других, а лично для меня много значит — знать, что живет человек, о котором вот так можно и позволительно подумать и даже вслух сказать. К тому же прекрасный специалист. Ах, как я, Петр Николаевич, как я уважаю людей, которые знают свое дело! Это ведь, помимо всего прочего, красиво! Он, Александр Дмитриевич, даже как будто всею своей жизнью говорил: «Вот, смотрите, какими мы, специалисты старой школы, можем быть честными и беззаветными!» Так что большая потеря!

Помолчали. Чтобы молчание рассеять, Корнилов спросил:

— Никанор Евдокимович, ну, а как ваш Витюля-то? Давно уже не встречаю его во дворе.— И тут же понял, что зря спросил, напрасно спросил.

Никанор Евдокимович отвернулся к окну, лицо его набрякло чем-то синим и нездорово-красным, он всхлипнул, а потом снова обернулся к Корнилову и поведал ему такую историю...

Витюля-то? Он, оказывается, уже третью неделю был в больнице, и в какой? В сифилитической! Это в шестнадцать-то лет! Никанор Евдокимович навещал Витюлю, а Витюля говорил ему: «А что я, один такой, что ли? У нас здесь двое — так еще и помладше меня! А ты посмотри, дед, ты загляни в женское отделение! Загляни, это очень интересно, ей-богу. Там совсем девчонки, вот такие!» — и показывал рукой, какие,— не достают ему, Витюле, до плеча, Никанор Евдокимович отвечал: «А тебе-то разве лучше, разве легче, Витюля, что ты не один такой?» — «Конечно, дед, а как же иначе? Это одному в любом случае плохо и скучно, а в компании все можно! Выйдем отсюда и будем все вместе по городу шляться, чудить будем!» — «Не знаю, Витюля, как ты все это можешь пережить, да еще так легко! Я бы на твоем месте... Я бы не знаю, как пережил бы, что бы с собой сделал...»

Корнилов перевел разговор на международную тему: о возрождении милитаризма в Германии, о коварстве Пилсудского в Польше, о речи Калинина в защиту мира.

Никанор Евдокимович сказал:

— Да-да! Чтобы защитить мир и людей, надо иметь настоящую, то есть практически достижимую идею человеческого устройства на земле. Без этого что защищать-то?

Они оба прислушались, что там происходит, в зале заседаний. А там громко смеялись, должно быть, кто-то какую-то шутку пустил, а может быть, несмотря на уговоры председательствующего, это была реплика с места. Когда же смех замолк, с трибуны кто-то заговорил, и тут же его прервали аплодисментами, потом снова был тот же голос, больше уже ничего, только он один, но и в одном слышалось что-то многоголосое — и призыв был, и уверенность была, и энтузиазм.

Сапожков послушал, послушал и сказал истово:

— Дай-то бог, дай-то бог... Я вот иногда, Петр Николаевич, думаю: может быть, мы, осколки прошлого, нынешнему времени уже совсем не нужны? Только мешаем, а больше ничего?

— Ну, как же, Никанор Евдокимович, а знания? Ваши знания, ну и мои в какой-то мере? Без этих знаний не составишь же планов. Планов воплощения в жизнь идей. Да и какой вы осколок? Вы истинный советский специалист. Я вам даже завидую.

— Ну, конечно, раз уж они есть, эти знания, появились, обойтись без них нельзя. Но представьте другое; что, если бы их не было, многих этих знаний, научных и технических, разве суть идеи от этого бы изменилась? А может быть, идея была бы тогда проще, более внятной, более исполнимой? Не такой сложной?

— Так вы, Никанор Евдокимович, думаете, что мы со своими знаниями не нужны?

— Как сказать? В силу печальной необходимости нужны! Но мы лишнее знаем, а лишнее нигде не впрок. Мы, лишнее зная, и сами-то, того гляди, станем весьма даже лишними. Мы практически неразумны и даже не сами в этом виноваты... И вот я еще что знаю: не хватает во мне какой-то новизны. Революционности не хватает!

— Кто же виноват?

— Как ни разумна и ни целесообразна природа, а виновата она!

— Почему же? И от вас ли, природоведа, я это слышу?

— Природа, поверьте, повинна: слишком много создала для человека благ, чуть ли не всю себя подчинила ему. И вот человек страшно избаловался и не хочет понять, что избаловался. Впрочем, это трудно понять, это самое трудное и есть. Да, избаловала природа нас, людей, ну вот примерно так же, как я избаловал в свое время Витюлю. Когда он был маленьким. Не помню, не знаю, как случилось, я ведь всегда был суров и требователен и к себе, и к другим, но случилось.

— Ну, как же все-таки вы представляете себе это баловство? Как природа могла быть суровее к человеку? Климат, что ли, полярный ввела бы на всем земном шаре?— спросил Корнилов, он хотел увести разговор подальше от Витюли.

— Что же, и это можно было бы,— согласился Никанор Евдокимович.— Или вот зачем человек всеяден? А? Совершенно непонятно! Был бы, скажем, он травоядным, вегетарианцем, да еще и не каждую ел бы травку, а только из семейства крестоцветных, вот и стал бы порядок на земле, точно. И мозги были бы устроены у человека по-другому, тоже не всеядно. Вот, Петр Ни-

колаевич, дорогой, о чем я иногда мечтаю — о другой природе человека...

— Чистые мечты... Очень уж чистые...

— Откуда им у меня взяться, грязным-то? Жизнь провел на природе, а если и упрекаю нынче ее в чем, так это я как бы сам себя упрекаю. Поскольку я с ней заодно. И даже одно. Да... А вот в житейские дела я не вникал до пятидесяти лет. Тоже ошибка, и крупная, скажу я вам. Да-да, конечно, мечты у меня непременно чистые! Ни корысти, ни притязаний на какие-то там блага — ни-ни! В юношеские годы это со мной случалось, но раза два-три, не больше, а потом я это явление самым решительным образом в самом себе пресек. Раз и навсегда. И ушел на природу. Домой, можно сказать, ушел. Я мужик, вот и вернулся домой, только не мужиком, а путешественником и даже, можно сказать, ученым. А в житейские дела, повторяю, я не вникал, на многие годы отошел от них, и вот это уже не по-мужицки. И что же случилось? Младшая дочь вышла замуж, хоть и не очень удачно, а вышла, родила девочку, но старшей я жизнь испортил: каждый год со мной в экспедициях да в экспедициях, в сапогах, верхом, у костра, в палатке. Мы вдвоем, как правило, и путешествовали-то. Она да я — весь отряд. Денег от казны мало, больше на свои, экономия предельная. Ну вот и что же? И потеряла она женскую свою судьбу, пропутешествовала ее в седле-то, в сапогах и, красивая, умная, общаться с людьми не научилась, осталась одна-одинешенька. Опять я виноват, а кто же больше? Читали же мою книгу «Пути по Алтаю»?

— Конечно, читал, Никанор Евдокимович! Конечно!

— Так это не моя, это Анастасии книга, из ее судьбы сделанная! И с Витюлей также — уже под пятьдесят я к семье-то прильнул, вернулся в житейство, стал наверстывать упущенное, стал воспитывать Витюлю, полюбил его, можно сказать, безумно.

Он помолчал, потом, глядя куда-то вдаль, стал говорить словно размышляя вслух:

— Смотрю я на нынешнюю молодежь... Внимательно. Студенты, так те меня в свое время еще и обидели — выгнали из университета. Вычистили. Да, вы знаете, Петр Николаевич, когда вычищали, мне было обидно, а нынче нет, нисколько. Они же это не из корысти какой-то сделали, а от незнания. Они историю плохо знают и вот решили, что она, история, с них начинается.

Заново как бы... Поэтому они и должны поступать так, как никто до сих пор не поступал. А корысти, повторяю, в них никакой. Вера, великая вера в человека, в новые идеи, вы знаете, как вам этого не знать, и раньше такое среди студенчества бывало, но то единицы. А тут всеобщее убеждение...

А когда они, студенты, тихо-мирно разобрались, подумали годок-другой, то прислали ко мне в Красносибирск делегацию, извинились и пригласили обратно в университет. Я, правда, не вернулся, но не потому вовсе, что обиделся, а потому, что меня товарищ Лазарев уж очень к плановой работе пристрастил, он это умел — людей вокруг удерживать надолго и прочно, вот я и не вернулся в университет. Но, представляете, какая чудная беседа, какая искренность между нами была, когда студенческая делегация ко мне приехала?! Просто чудо! Чай мы пили, беседовали, книги читали один день и две ночи — нисколько, поверьте, не преувеличиваю, один день и две ночи с небольшими перерывами на сон. И я тогда понял, какое это великое дело: рассеять недоразумение между людьми! Действительно великое!

Я тогда как раз и укрепился в своем мнении о современной нашей молодежи: прекрасные люди! Прекрасные для своего времени. Дай им бог и на другие времена остаться такими же! Руководители из них выйдут вот такого масштаба и даже лазаревского типа. Беззаветность служения идее коммунизма необыкновенная. Жизнь отдать за свои идеалы — в этом для них вопроса нет. Вот до какого поколения дожила наконец-то Россия! Да и младшенькие, которые пионеры, я их вокруг себя ежедневно вижу в наших же, в крайплановских семьях, такими же растут... И только мой Витюля... Хуже любого беспризорника и хулигана, которые нам еще от времен гражданской войны остались. Урод уродом, вот он кто... Да... а я его люблю. Иной раз прямо ненавижу! А как начну о нем беспокоиться, исходить тревогой, мучиться, вокруг дома ночью бегать, ожидая, когда он откуда-то там вернется, нет, люблю, да и только! Распроклятой какой-то любовью. Вопреки своей собственной учености, вопреки здравому смыслу, вопреки всему на свете люблю, да и только... А что получилось? Опять я виноват, да? Или я действительно не интеллигент, опыта нет, не умел науку воспринять здраво, сочетать ее с обыкновенной, как у всех, жизнью, а? Как вы

думаете, Петр Николаевич?— спросил Сапожков, но ответа ждать не стал, а рассказал еще дальше о Витюле...

Он, Никанор Евдокимович, даже вот как еще недавно подумал. Витюля жив, Витюля вылечится, Витюля станет умнее, он мудрым станет, и начнется у них новая жизнь, с полным, умным и нежным взаимопониманием. И с этой-то мыслью, с этой надеждой и просветлением Никанор Евдокимович снова навестил Витюлю.

Но Витюля-то, вытирая нос подолом грязного больничного халата, стал рассказывать Никанору Евдокимовичу такие глупые анекдоты, напевать такие блатные песни, просто ужас! «Гоп со смыком — это буду я!» — напевал Витюля и говорил:— Все, дед, пройдет, только и делов! Здесь ребята — мировая бражка, выпишемся и компанией поживем. Ты не грусти, старче, жизнь, она всякая, не думай, что она должна быть у всех одинаковая и на манер твоей собственной! Этого не может быть. Намотай себе на ус — не может быть! Намотал? А тогда тебе должно быть ясно-понятно: все в порядке! Вот и все!»

Корнилов ужаснулся: подумать только, что же творилось сейчас в душе Никанора Евдокимовича!

— Вы бы что-нибудь о своих научных мечтах, Никанор Евдокимович, а? О своих соображениях?

— Как вам сказать-то... Было бы нехудо, чтобы людей было поменьше. Дело не в распределении природных благ, а в том, что, когда людей меньше, они лучше, у них и природа другая. Меньше людей — значит, у них больше пространства и меньше событий.

— Это вы в каком все-таки смысле?

— Да в человеческом, в каком же еще? Для человека время — это что? Это события, вот что. Нет событий — ничего не происходит, и вроде бы нет и времени. Когда же какое-то огромное происходит событие, тогда и наступает апогей времени. Вот, скажем, когда у Земли еще не было своей орбиты и она металась туда-сюда в мировом пространстве, какой тут счет времени? Никакого счета! Зато как только она околосолнечную траекторию своего движения обрела, и началось время — дни и ночи, времена года. Только в событиях и проявляет себя время. И еще в численности всего живого. Какая-то рыбка, пока она одна и на ее долю приходится много пространства, она ведет себя совершенно не так, как в стаде. Не говоря уже о пчелах и муравьях. «Одна» и «множество» — это совершенно разные судьбы и со-

бытия, а значит, и времена. Или вот слоны: ходят себе в джунглях, никого не задевают, а соберется их слишком много, они, бывает, хулиганят, зловредничают, крушат деревья, громят человеческие поселения. И киты также вдруг ни с того ни с сего начинают, я читал где-то, выбрасываться на берег и погибают. И когда же это с ними случается? Прежде всего когда их соберется слишком много. Я даже думаю, имею такие соображения: каждое живое существо заключает в себе энергию, ну, положим, биоэнергию, часть ее расходует на себя, а часть излучает, любая энергия обладает ведь свойством рассеивания, любой двигатель, особенно тепловой, а живой организм — он ведь тепловой... И вот когда живых существ на ограниченном пространстве соберется слишком много, излучаемая друг на друга энергия и толкает их на движения и действия, совершенно им до этого несвойственные. В воде ломать и крушить нечего, куда деваться? И киты выбрасываются на берег, хотят заземлиться, слоны, те рушат деревья. Птицы, правда, больше к этой излишней энергии приспособлены, она им служит к дальним перелетам, у них кто слабее, кто сильнее, а сольются в стаю, создадут общую энергию и летят через моря-океаны, куда по одной им ни за что не долететь бы. Впереди те, у которых заряд самый сильный, это тоже неукоснительное правило, чтобы у стаи или у стада явился вожак, распорядился бы с умом, вот он и распоряжается ею, лишней энергией, сам по себе. Да вот хотя бы и Витюля, разве в нем не избыток энергии? И даже если не в избытке она у него, все равно он ее использовать по природе не умеет, потому что человек. Любое живое существо умеет, а человек нет... Ах, научиться бы, ах, научиться раз и навсегда! Использовать энергию человека только во благо ему же!

И Никанор Евдокимович между космическими этими рассуждениями рассказал Корнилову и еще один эпизод, который произошел, когда он в последний раз, а это сегодня было, до начала утреннего заседания съезда плановиков, посетил Витюлю.

Он пошел к нему совершенно разбитый, совершенно подавленный, он, кажется, только сегодня окончательно понял, что все то, что случилось с Витюлей, это факт, это действительность: до тех пор ему мерещилось, будто бы это не факт и не действительность. В таком состоянии ума и духа пошел Никанор Евдокимович навестить Витюлю, и вот что было. Витюля и «Гоп со смыком»

пел, и дурацкие анекдоты Никанору Евдокимовичу рассказывал, и кривлялся всячески, а потом сказал: «А у нас тут кто с монетой, тот вовсе не худо устраивается! Некоторые нэпманы — у них тут не жизнь, а малина. И даже так: кто с монетой, того раньше выписывают и справки дают о незаразительности. Старче, дорогой, брось мне рублей двадцать пять, а? Я, конечно, понимаю, ты кормилец большой семьи, но дело-то серьезное и не каждый день я к тебе по таким суммам обращаюсь! Далеко не каждый!» — «Что-что?— не сразу понял Никанор Евдокимович.— Двадцать пять рублей? Да ты знаешь ли, Витюля, как это называется?» — «Как?» — «Взятка, вот как!» — «Ну и что особенного?» — «По-твоему, это ничего?» — «Конечно, ничего!» — «Медицина — это профессия Чехова, понял?!» И еще Никанор Евдокимович объяснил Витюле, что такое клятва Гиппократа. «У-у-у-у, жадюга! Тебе бы только, чтобы по-твоему было. Жадюга, а больше никто!» — сказал в ответ Витюля, повернулся и ушел прочь. Никанор же Евдокимович отправился на утреннее заседание.

— Можете себе представить, Петр Николаевич, в каком я нынче состоянии?— спрашивал он у Корнилова.— Если я понял, что во всем этом нет никакой выдумки, ни малейшей, а все есть действительность! Есть, представьте, и такая жизнь, как у Витюли, и она столь же реальна, как и моя, как ваша, Петр Николаевич?!

Корнилов попытался вернуть своего собеседника к отвлеченным космическим рассуждениям, однако все-таки сказал:

— Вы, Никанор Евдокимович, исходите из одной-единственной точки. Из очень горестной точки!

— Да-да. И мы, знаете ли, слишком много придаем значения исходным точкам, а дело не в них, дело в том, к чему мы приходим.

Вот так, вот так... Вот сейчас-то как бы в продолжение разговора Корнилов тоже мог кое-что Сапожкову рассказать о своем чувстве конца света. Однако? Однако какая-то гордость и жадность охватили его. Ему показалось, что он один, совершенно один должен своей мыслью владеть, один ее переживать...

А тут еще в этот момент и подошел к ним Новгородский. Он покуда подходил, приближался — уже было видно: что-то хочет сказать. Очень важное и глубокое.

Умственное что-то... И Сапожков и Корнилов присмирели при его приближении.

Новгородский подошел, остановился, потом и еще уже несколько искусственно чуть приблизил к ним свою высокую спортивную фигуру, чуть откинул голову назад, чуть поднял над головой руку, а на руке — указательный палец и тихо, отчетливо, но без какого-либо выражения проговорил:

— Кота на мясо изрубили.
Златую цепь в Торгсин снесли,
А Лешего сослали в Соловки...—

повернулся и ушел.

И Корнилов вдруг понял, что он никогда не знал Новгородского, даже в лицо не знал, не помнил лица и спортивной фигуры тоже... Все, все встречи и разговоры были как-то мимо, мимо...

И только в этот момент, в эти секунды — узнал. И запомнил на всю жизнь.

Если не увидит Новгородского больше никогда, ни при каких обстоятельствах, все равно теперь уже не забудет. Если будет видеть то и дело, ежедневно и в разных обстоятельствах, при Корнилове останется только одно, вот это одно-единственное впечатление:

«Кота на мясо...»

Распахнулись двери, с шумом, с громким дыханием из зала выплеснулась толпа — перерыв.

Люди были возбуждены и словно бы готовы были вот-вот вцепиться друг в друга — для продолжения споров, для доказательств своей правоты.

Корнилов кинулся в эту толпу, стал разыскивать Прохина. Нашел быстро, но вокруг Прохина была толпа, люди что-то спрашивали у него, что-то хотели ему сказать.

Прохин, стоя в дверях, оглядывался и на зал заседаний, и на фойе: в зале в окружении еще большего числа людей стоял товарищ Озолинь, он-то и нужен был Прохину, в фойе толкались Корнилов и Сапожков с бумагами, которые ему были нужны тоже, вот и смотрел тудасюда. Заметив Корнилова, он махнул рукой, дескать, давай, давай сюда, быстренько! Сам же, резко повернувшись, направился в сторону Озолиня.

— Нас зовут, Никанор Евдокимович,— сказал Корнилов Сапожкову, и они пошли в зал и довольно долго

ждали, покуда Прохин и Озолинь, отойдя в сторону, о чем-то очень серьезно говорили друг с другом, давая понять, что никто не должен их разговору мешать.

Когда же Прохин посмотрел наконец цифры, которые передали ему Корнилов и Сапожков, он сказал:

— То, что нужно! Теперь я на вопросы отвечу!

Тут перерыв кончился, зазвенел звонок, люди валом валили в зал, занимали места.

Товарищ Озолинь направился к выходу, наверное, уезжал совсем, закончив свое участие в съезде плановиков.

Председательствующий объявил:

— Для ответа на вопросы с мест слово имеет товарищ Прохин!

Прохин же, однако, начал не с тех вопросов, для ответа на которые Сапожков и Корнилов подготовили ему цифры, он сказал:

— Товарищи! Через час или два вы получите газеты, которые сегодня выходят с опозданием ввиду чрезвычайных сообщений.— Тут Прохин замолчал, а зал множеством глаз всматривался в него.— Товарищи! В нашей стране еще в начале года был раскрыт антисоветский заговор. Да, был раскрыт заговор, его участники ставили конечной целью свержение власти рабочих и крестьян, Советской власти и диктатуры пролетариата. Заговорщики не надеялись выйти победителями в открытой схватке, они прекрасно понимали, что нет в мире такой силы, которая способна победить Красную Армию и весь наш советский народ в открытом бою, они знали, что мировой пролетариат сорвет эти замыслы и выступит против собственных капиталистических правительств, как это уже было в годы гражданской войны, вот почему заговорщики действовали самым коварным способом: они разрушали нашу промышленность, вместе с тем, понятно, и нашу обороноспособность и выбрали для этого наиболее важный, наиболее решающий и наиболее уязвимый участок, а именно угольную промышленность. Всем понятно: не будет топлива — остановится транспорт и другие активно энергопотребляющие, то есть крупнейшие предприятия, с таким трудом восстановленные нами после голода, разрухи и нищеты, которую принесли нам мировая и гражданская войны. И вот нынче, когда мы в целом по сельскому хозяйству уже превосходим довоенный уровень тысяча девятьсот тринадцатого года, когда мы вот-

вот превзойдем и промышленный уровень, когда в текущем году мы намерены выработать пять миллиардов киловатт часов электроэнергии против двух миллиардов тысяча девятьсот тринадцатого года, а каменного угля добыть тридцать пять миллионов тонн против двадцати девяти в том же тринадцатом году, когда мы намерены построить первую тысячу автомобилей и первые три тысячи радиоприемников, в этот решающий момент нам удар в спину из-за угла — специалисты горного дела, объединившись во вредительскую шайку, выводят из строя на шахтах Донбасса механизмы и оборудование, организуют затопление шахт и завалы, заведомо неправильно выбирают объекты эксплуатации. Я не называю сейчас имен главарей вредительской организации, я повторяю, сегодня вы из газет узнаете обо всем гораздо подробнее. Доказано, что вредители работали под прямым руководством своих заграничных хозяев-капиталистов, таких, как «Объединение бывших горнопромышленников Юго-Востока России» во главе с Соколовым, как «Объединение бывших директоров и владельцев в Донбассе» во главе с Дворжанчиком и еще многих и многих сметенных пролетарской революцией капиталистов, которые до сих пор мечтают вернуть свои владения и свою власть. Но этому не бывать, товарищи, наш народ навсегда распрощался со своими эксплуататорами, с организаторами невиданной бойни — мировой войны! Этому не бывать! Мы ответим им удвоением, утроением нашей бдительности и новыми трудовыми успехами и дерзаниями на всех ступенях и участках нашего социалистического строительства, во всех звеньях производства, руководства и планирования! И пла-ни-ро-ва-ния! — повторил Прохин. И сел.

В зале была тишина. Тишина многих-многих людей, многочисленная тишина. Корнилов в последнее время стал ее, такую, то и дело замечать и переживать ее стал, еще не зная, как именно, но переживать, а здесь она была особенно глубокой и продолжительной. Потом Прохин эту тишину нарушил, обратившись к председательствующему.

— Продолжаем заседание,— сказал он.— Продолжайте!

— Ваше слово, товарищ Прохин,— ответил председательствующий.— Ваши ответы на вопросы, которые были заданы еще до перерыва.

Прохин снова встал и, пользуясь цифрами, которые

подготовили ему Сапожков и Корнилов через Краснова, стал отвечать. По поводу планов переселения отвечал он, по поводу запасов полезных ископаемых, а Корнилов все еще был погружен в тишину и слушал ее...

Прохин же говорил, что переселение в Сибирь из центральных районов европейской России надо всячески развивать и довести его к концу пятилетки до 200 тысяч человек, хотя и это мало — численность переселенцев в три раза меньшая, чем в начале нынешнего века.

Что отсутствие четких установок со стороны Госплана СССР привело к тому, что во многих ведомствах стали думать: «Пятилетний план — это несерьезно!»

— Я понимаю,— говорил Прохин,— что Госплан дал повод для таких рассуждений уже тем, что мы на местах составляли свою пятилетку почти год, а теперь тем же Госпланом нам спущены совершенно другие контрольные цифры, на основании которых мы должны составить новый план за три месяца. Но мы и при этих условиях, мобилизовав все свои силы и возможности, скажем Госплану: ваши цифры все еще занижены! Мы выдвигаем встречные показатели, которые будут значительно — в ряде случаев и в два, и в три раза — выше ваших!

Были аплодисменты. Бурные.

— ...Прирост посевных площадей нам дан три процента, а мы говорим: «Нет и нет, мы будем планировать десять процентов!»

...Мы обеспечим рост тяжелой промышленности на сто девяносто семь процентов!

...Легкой — на двести сорок пять процентов!

Аплодисменты.

Представитель угольщиков говорил:

— Мы вкладываем в каменноугольную промышленность восемьдесят два миллиона рублей и повышаем добычу угля с трех до шести миллионов тонн в год, производство же кокса увеличиваем на пятьсот девяносто семь процентов.

Аплодисменты.

Представитель секции научных работников:

— Брошен лозунг культурной революции! Социальная революция невозможна без революции культурной, и нам нужна химизация и электрификация мозгов, нам нужно создать армию мыслителей!

Аплодисменты.

Представитель Аульского окрплана:

— Кулак проникает в коллективные хозяйства. Он даже создает «дикие», самостийные колхозы из зажиточных, в которые только для вида и отчета вовлекаются бедняки. От таких колхозов за версту разит кулацким духом, одни названия чего стоят: «Любовь и правда», «Всем надо», «Вспых вулкана»! Товарищи! О чем это говорит? О том, что нам нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность.

Смех, аплодисменты.

Представитель еще одного округа, Корнилов не расслышал, какого:

— По кормовому балансу наш пятилетний план является философией нищеты! Надо исправлять положение!

Аплодисменты.

— Благодаря Крайплану мы стали работать бесплановой! Это вас в первую очередь касается, товарищ Прохин!

Аплодисменты.

— Здравоохранение идет не вверх, а вниз. Мы не знаем структуры населения, а планируем здравоохранение! В Красносибирске двести пятьдесят три человека на одну больничную койку, а к концу пятилетки будем иметь двести девяносто!

Аплодисменты.

— Закрепляется такое баловство словами, как «развертывание животноводства», а чтобы мы выполнили план, нужно чтобы все до единой коровы при каждом отеле приносили по два теленка! Перевоспитаем коров!

Аплодисменты.

— Многие цифры созданы одним волевым напряжением, а больше ничем!

Аплодисменты.

— Зарплата учителя — это проблема, возникшая вместе с первым учителем на земле!

Апло...

«И что это такое?— спрашивал себя Корнилов.— Почему всем без исключения аплодисменты?»

«А потому,— отвечал он сам себе,— потому что здесь все единомышленники и самые разные слова — серьезные, тревожные, шутливые — ничуть этому единомыслию не мешали! Ничуть! Наоборот — не одинаковые, а разные слова людей сближают!»

Работая в Крайплане, он, конечно, успел побывать на разных собраниях-заседаниях, вот и на трибуну не

раз успел взобраться, но нынешнее краевое совещание плановиков недаром было названо съездом, оно было многочисленным, а многочисленность — это не только количество, это качество и стремление, которое призвано определить будущее. Тут одно из другого следовало неукоснительно: чтобы своротить горы, нужно было единодушие, а чтобы было единодушие, нужны были горы... Люди эти, хотя среди них были и совсем еще молодые, все равно уже многое-многое успели совершить, обладая силой единодушия, без него они и себя-то не представляли, без него они никого не представляли — ни Вегменского, ни Бондарина, ни Корнилова, ни Сеню Сурикова, без него здесь и человек-то переставал быть человеком...

«Еще бы,— подумал Корнилов,— единодушием эти люди утвердились как люди — выиграли войну! Гражданскую! Выиграли самих себя...»

Тут же кто-то из выступающих это подтвердил:

— Товарищи! Мы для чего гражданскую войну воевали? Может, для того, чтобы сегодня сдать буржуазии наши завоевания?!

«Заговор в Донбассе?— подумал Корнилов.— Что ему можно противопоставить, если не единодушие?»

И опять подтверждение:

— Ответим контрреволюционерам-заговорщикам удвоенными, утроенными темпами! И сплочением своих рядов!

Под аплодисменты и продолжалось совещание.

— Коммунальное хозяйство неизменно рассматривается нами с точки зрения «пропадай моя телега, все четыре колеса!».

— Куда мы его денем, кулака-то? Ему на роток не набросишь платок!

— В нашем пятилетнем плане нет качества!

— Когда я в перерыве пил чай...

— А чай при чем?

— Чай успокаивает!

— Чай возбуждает!

— Одним словом, я не против развития социалистического сектора, если Россия — Советская Социалистическая. Но вот вопрос — как?

— А нас трясет как в лихорадке, то уголь, то кокс!

— Вопросы пущены по воле волн.

— В крае есть Сахара и есть Норвегия, а мы всех причесываем под одну гребенку.

— Товарищи! Мы что строим, социализм или бодягу какую-нибудь? Если социализм, тогда вперед и вперед! Со светлым умом, с чистой совестью!

С громом-звоном на сцену выкатился на своей тележке секретарь Ременных и громким голосом объявил:

— Товарищи! В Красносибирск приехал московский театр «Пролеткульт», сегодня он ставит интересную постановку «Власть». Есть мнение: постановку посмотреть. Если сегодня смотрим «Власть», завтра нам придется работать без обеденного перерыва. Кто «за»? Подавляющее большинство! Начало «Власти» в семь часов вечера!

Ременных укатился, прения продолжались:

— Я за пятилетний план, но на пять лет убегу в тайгу!

— А мы составили семь пятилеток!

— Паротравополье плановики осваивали два года, а сколько нужно будет крестьянину?

— Вашими бы да устами да зерно черпать!

— Мадемуазели коровы по нашему плану должны будут очень рано выходить замуж!

— Плановые работники Сибири проделали египетскую работу!

— Капиталистическое окружение нам размышлять и мешкать не позволит! Замешкаемся, не создадим могущественного государства, и нас придушат, как щенков!

Снова прикатился Ременных, сообщил данные мандатной комиссии:

— На совещании, которое газеты называют даже съездом, присутствуют сто тридцать восемь человек. От окрпланов пятьдесят человек, в том числе пятнадцать председателей окрпланов и два заместителя председателей, от парторганизаций округов — восемь человек, от профсоюза — пять, от Крайисполкома — двое. Остальные — от Крайплана. Членов и кандидатов партии — шестьдесят три, беспартийных — семьдесят пять. Товарищи! Здесь очень много присутствует по пригласительным билетам, к ним просьба: не мешать работе, то есть не подавать реплик!

И Ременных опять укатился, ему опять поаплодировали.

Все ждали, что в заключение скажет Прохин. Прохин сказал так:

— Товарищи!

Какой мы исторический момент переживаем? А происходит крутой поворот нашей жизни и во всех ее перспективах. Вопрос встает с такой же остротой, как он стоял в гражданскую войну: мы или они? Тут кто-то сказал, что военный коммунизм мы временно сменили на нэп. Мы всегда говорили, что нэп — это временно, что нам нужно отдохнуть от борьбы, сделать передышку, набраться сил, поумнеть и перейти в решительное наступление. Но наши враги нам передышки не дают. Однако и врасплох они нас не застанут, нет! Мы ведь и в гражданскую войну вовсе не мечтали о том, что вот победим и настанут сладкие времена, настанет благодушие. Нет и нет, мы и тогда ждали невероятных трудностей в начальном периоде строительства социализма хотя бы потому, что знали — нам придется начинать с нуля! И тогда и теперь все преодолеют наша партия и энтузиазм масс, которые впервые в истории освободились от гнета капитализма и своими руками созидают свое будущее. Наш час снова настал, и мы переходим в решительное наступление, по которому многие из нас уже соскучились, истосковались душой, умом и сердцем! Все зависит от людей, то есть от нас с вами. Зависит от того, может или не может у нас в Сибири повториться то, что произошло на шахтах Донбасса. Ответим на вопрос: разве мы гарантированы от этого? Разве кто-нибудь из нас может выйти на трибуну и заявить: «Ручаюсь своими убеждениями, своей жизнью и жизнью моих товарищей, этого у нас не повторится!»? Да, у нас очень мало специалистов, еще меньше специалистов, безоговорочно и до конца преданных нашему великому делу. Я вам приведу пример: первые в крае коксовые печи проектировал у нас аптекарь. Да-да, аптекарь, фармацевт, вот кто! Конечно, до сих пор, хотя и не так часто, но нам переадресовывало кадры ОГПУ. Там проверяют человека и, учитывая наш голод в специалистах, посылают его нам. Но что там говорить: нам не на кого надеяться, как только на самих себя и еще и еще раз на свою бдительность! Товарищи! Мы планируем пятилетие, а у нас за плечами невыполненное важнейшее обязательство — план хлебозаготовок за прошлый год не выполнен, мы миндальничаем с кулацкими элементами на селе, которые скрывают хлебные излишки. Может быть, кто-то думает, будто плановых органов не должны касаться текущие задачи? Товарищи! Хлеб сегодня — это материальное обеспечение нашего будущего, нашего

первого пятилетнего плана! Нет хлеба — нет пятилетки! И я заверяю: Крайплан будет жестоко требовать с окрпланов хлебозаготовки. Тут меня спрашивали: почему среди нас нет представителей крупнейшего нашего округа — Омского округа? Я объясню откровенно: кроме того, что у них нынче сильное наводнение и по главной Любинской улице они плавают на лодках, кроме этого, они еще и не выполнили план хлебозаготовок. И пусть они к нам в краевой центр носа не показывают, пока не выполнят, пока не перевыполнят план по хлебу! Да, товарищи, трудные времена! Но чем труднее время, тем больше в это время делается, тем ближе мы к нашей цели! Мы легких задач и времен никогда не искали и никогда искать не будем! Да здравствуют трудные времена!

Зал аплодировал горячо и продолжительно.

...Идти в театр, смотреть московский «Пролеткульт» у Корнилова не было настроения.

Завтра Ременных спросит: «Вы что же это, Петр Николаевич, не поддерживаете наши культурные начинания? Откалываетесь от коллектива? Надо было пойти, показать пример товарищам с мест, из округов, пример организованности краевого планового аппарата!» Но бог с ним, с Ременных, Корнилов пошел не в театр, а в Крайплан, в свой кабинетик, к своим бумагам с цифрами и планами, с перепиской, с данными о природных ресурсах Сибири.

КНЯЗЬ УХТОМСКИЙ

В Крайплане было пусто. Корнилов заглянул к секретарше Прохина: может, Прохин еще раз звонил, просил подготовить ему какие-то цифры на завтра?

Нет, Прохин не звонил, а секретарша, совсем недавно принятая на работу дама в годах, в комплекции, но, как и положено быть, подпудренная и подкрашенная, беседовала с каким-то посетителем по-французски.

— Неужели там было интересно?— спрашивала секретарша.

— Если бы через два дня на третий там подавали бифштекс, я бы не ушел оттуда — изысканное общество!

Приблизительно так понял этот разговор Корнилов, приблизительно — во французском он был несилен, забыл со времен самарского реального училища.

Он внимательно посмотрел на посетителя. Что за фрукт? Фрукт был молод, лет двадцати пяти, и порядочно помят: бледный, со впалыми щеками, с морщинистым лбом, одежда серая, поношенная, помятая. Сапоги, правда, были шевровые, блестящие, попахивали ваксой.

Что это «бывший», хотя и молод, но все равно он, сомнений нет, хотя бы потому, что французский язык. Корнилов с любопытством посматривал на посетителя. Секретарша и еще сказала:

— Может быть, вам обратиться вот к этому? Он ведь здесь тоже некоторый начальник. Обратитесь, пожалуй...

Молодой человек встал, прищелкнул сапогами, поздоровался и, протягивая серенький неопрятный клочок бумаги, все еще сохраняя в речи что-то от французского, сказал:

— Здесь все написано. Здесь все написано гораздо лучше, чем я могу объяснить. Но нет товарища Прохина и меня некому принять. Может быть, вы примете? Поможете? Мне нужна помощь. Мне, честное слово, сию же минуту нужна помощь!

На клочке бумаги с неровными краями было отпечатано типографски и вписано от руки следующее:

Форма «В»
Бюро распределения рабочей силы
Адрес: Крайплан
Корешок исполнения № 79
Вследствие в/требования от...
Направляется гр-н Ухтомский Юрий Юрьевич
на должность младшего библиотекаря
Зав. секцией (подпись неразборчива)

Такого вида бумажки Корнилов знал, не один раз в КИС направляли таким же способом работников — счетовод по такому квитку был принят и делопроизводитель, и на этот раз он тоже ничуть не удивился бы, если бы не одно обстоятельство: строка «Вследствие в/требования» была зачеркнута, от руки же вписано: «По направлению ОГПУ».

— Давно ли вы оттуда, Юрий Юрьевич? — спросил Корнилов.

Молодой человек ответил четко:

— Вот уже два с половиной часа.

— Не так много,— заметил Корнилов.

— И не так мало!

— Куда же вы торопитесь?

— На работу. Я должен устроиться на работу немедленно!

Корнилов посмотрел на Ухтомского в ожидании пояснений, тот пояснил:

— Во-первых, я должен получить денежный аванс. Ну, хотя бы рубль. Ну, хотя бы пятьдесят копеек. Во-вторых, я должен получить справку, что я состою на работе. Обязательно справку — у меня нет никакого вида на жительство, а без справки меня в дом крестьянина не пустят переночевать. В ночлежку не пустят!

— Рубль я вам одолжу.

— Большое спасибо! Я вам признаюсь, я имел какие-то копейки, но знаете, сколько на воле соблазнов? Ну вот, я и выпил лимонада, а потом еще почистил вот это.— Он показал на сапоги.— Когда неожиданно выходишь на волю да еще с направлением на работу, становишься совсем взбалмошным, как ребенок! Так как же справка?

— Справку мы напишем.

— С печатью?

— С печатью КИС. Комиссия по изучению производительных сил Сибири,— зачем-то прояснил Корнилов, хотя молодому человеку, судя по всему, это было совершенно безразлично: что за комиссия, что за печать, лишь бы печать.

— Круглую? — спросил он уже радостно.

— Круглую! — подтвердил Корнилов.

— Не знаю, как вас и благодарить,— вздохнул молодой человек.— Право, не знаю. Такое положение, такое, знаете ли, положение! Я их там очень просил, чтобы они выпустили меня завтра после завтрака, а не сегодня перед самым обедом, я предчувствовал, что со мной получится неприятность. Конечно, не послушали... Да и мои... мои коллеги советовали не задерживаться до завтра. Простите, как вас зовут?

— Петр Николаевич!

— А меня можете называть Юрой!

— А по фамилии?

— Можете и по фамилии. Отчего же? Я к этому тоже привык.— Теперь молодой человек стоял свободно, опираясь одной рукой на стол секретарши, напряженность в его фигуре не то чтобы исчезла совсем, но уже не бросалась в глаза, морщины на лбу расправились, в общем, он стал похожим... ну, конечно, на самого себя, еще молодого, воспитанного и много пережившего человека.

— А вот скажите, фамилия Ухтомский — это что же? Та самая?

— Та самая...

— Княжеская?

— Князь был моим дядей.— И потом уж совсем весело он заметил:— А я был его племянником! И наследником! Разумеется, что все это было так давно, что кажется, не было никогда.

— Ах, вот как,— усмехнулся Корнилов.

— Именно так, именно так,— подтвердил Ухтомский.

Когда уже готова была справка о том, что «Предъявитель сего гр-н Ухтомский Юрий Юрьевич состоит на службе в Краевой плановой комиссии в должности мл. библиотекаря», когда справка была заверена круглой печатью КИС, а счастливый Ухтомский направился к выходу, чтобы где-нибудь пообедать и подыскать ночлег, Корнилов и еще спросил его доверительно:

— Сидели-то вы, Юрий Юрьевич, по делу? Или просто так?

Ухтомский остановился, удивленно посмотрел на Корнилова.

— Вот и видно, что вы не в курсе дела, видно, что не знаете порядка! Да разве я могу сказать? По делу? Без дела? Для этого что́ нужно знать, для того, чтобы ответить на ваш странный вопрос? Для этого нужно совершенно точно знать, что такое дело. И что такое не дело. А кто же это знает? Никто не знает, как есть никто на свете! Так я вас еще очень благодарю, Петр Николаевич! Вы представить себе не можете, как я...

И он пошел к дверям, молодой и счастливый князь Юрий Юрьевич Ухтомский.

А Корнилов позавидовал князю — тот был счастлив!

И сказал ему вслед:

— Ну, не хотите рассказывать, что, как и за что, и не надо! И не рассказывайте, разве я настаиваю. Да ничуть!

И если бы встреча с князем была последней, последним впечатлением дня. Не тут-то было...

Корнилов, предчувствуя, что не тут-то было, провел время до позднего часа в своем кабинетике, было спокойнее среди бумаг и цифр. Может быть, завтра Прохин вытащит на трибуну и Корнилова, могло случиться. В то же время и непохоже было на это после того, как Прохин сделал внеочередное сообщение о вредительстве в Донбассе.

Вот Корнилов и гонял разные цифры по разным отчетам, по разным справкам, по разным графам, по докладным и объяснительным запискам. Цифры будут послушны, куда пошлешь, туда они без всякого недовольства идут, но в то же время они были себе на уме, будто у них есть собственная, тайная жизнь, и все это потому, что они были коварно приблизительны, за их точность, достоверность и правду нельзя было ручаться, то ли цифра больше самой себя, то ли значительно меньше — угадай?

Скажем, с земельными фондами угадай: что считать землями удобными, что условно удобными, что неудобьем?

С людьми угадай: переселенческое управление планировало увеличение сельскохозяйственного населения в предстоящем пятилетии на один миллион человек, Крайземуправление — на шестьсот тысяч, по данным самой КИС выходило что-то тысяч восемьсот. Разница туда-сюда двести тысяч. Двести тысяч живых людей...

Но все равно это цифровое коварство было спокойнее и куда покладистее дня сегодняшнего с его совещаниями, с его встречами, с его мыслями, с его безмыслием.

С цифрами у Корнилова было единодушие, то самое, которого ему сегодня так не хватало в зале заседаний Дворца труда, его это тревожило как-то неопределенно, он не знал, кого упрекать: самого себя или же всех участников съезда плановиков?

Ну, а когда он пришел домой, поднялся на лестничную площадку уже во тьме, уже усталый, думая, что и ужинать не будет, а скорее-скорее разденется и в постель, он заметил у дверей фигуру. Фигура сидела на полу, когда же Корнилов приблизился, она встала и сказала знакомым голосом:

— Здравствуйте, дядя Петя! Добрый вечер, дядя Петя!

— Кто это?— удивился Корнилов столь неожиданному к нему обращению.

— Не узнаете? А ну узнайте! Ну-ка, ну-ка!

— Витюля?— не поверив самому себе, угадал Корнилов.— Ты почему здесь? Каким образом?

— А я к вам, дядя Петя!

— Ко мне? Зачем тебе я?

— Дядя Петя! Сначала войдем к вам, потом поговорим...

— Ну все-таки?

— Сначала войдем.

Вошли. Корнилов щелкнул выключателем и внимательно осмотрел Витюлю... Мальчик как мальчик, даже приглядный: курчавый, сероглазый, хорошего телосложения, только цвет лица неопределенный, серо-желтый, кажется. И одет небрежно — несвежая рубашка, помятые штаны. Пока Корнилов рассматривал Витюлю, тот стоял неподвижно, улыбался. «Ну, посмотри, посмотри на меня. Если это интересно!» Потом он махнул рукой, дескать, хватит, пора приступать к делу. И приступил так:

— Дядя Петя, я к вам пришел.

— Это я понимаю,— сказал Корнилов.— Но не понимаю, почему ты вдруг называешь меня дядей Петей. Мы с тобой и разговаривали-то раза два-три, и вот я тебе уже и дядя, и Петя!

— А сколько раз нужно поговорить, чтобы называть вас и дядей, и Петей?

— Много. Много раз.

— Я думал, двух-трех уже хватит. Мы в одном дворе живем. Хотя и в разных домах, но во дворе-то в одном. И знаете еще что? Я не знаю вашего отчества. Николаевич, кажется? Кто-то мне говорил, будто Николаевич. Кажется, мой старец.

— Ну, хорошо,— не без раздражения и даже не без подозрений каких-то по поводу своего отчества прервал Витюлю Корнилов.— Зачем ты все-таки ко мне пришел?

— Как зачем? Я пришел к вам!

— Может быть, в гости?

— Конечно, в гости.

— Не поздновато ли? Мы, пожалуй, и соседей разбудим.

— Так ведь раньше-то вас дома не было. Я вас до-о-лго ждал, дядя Петя. Едва-едва дождался. Вот и все!

— Ну и что же ты думаешь делать в гостях?

— Ничего особенного. Вы мне постелите где-нибудь в уголке, я и переночую. Вот и все. А больше мне ничего не надо. Разве чайку. Горяченького. С хлебом и с маслом.

— Это очень странно. Ты не находишь?

— Ничего странного: человеку надо где-то переночевать.

— Но ты же из соседнего дома. Ночуй у себя дома!

— У меня есть причина не ходить домой. Вот и все!

— Что за причина?— спросил Корнилов.

— Как вам сказать-то, дядя Петя? Я несколько дней дома не ночевал, а сейчас придешь, старец Никанор поднимет истерику, хоть проваливайся сквозь землю! Где был, почему был, и пошла, и пошла история! Без конца. И начнет хвататься за свое сердце и за свои нервы, а это очень неприятно. У него нервы действительно дрянь, изношенные, лучше их поберечь. Для другого раза. Вот и все.

— А завтра утром? Ты тоже не придешь домой?

— Приду. Когда он уйдет на работу, старец Никанор. В свой Крайплан, в который и вы тоже ходите, дядя Петя.

— А завтра вечером? Когда Никанор Евдокимович вернется?

— Вернется, меня к тому времени снова не будет дома.

— И так далее?

— И так далее. Чем далее, тем, в общем-то, лучше.

— Он же тебя любит, Витюля. Несмотря ни на что.

— В этом вся беда. Все несчастье именно в этом.

— И тебе не стыдно, Витюля?

— Почему же? Я что, его просил, что ли, когда-нибудь меня любить? Хоть один раз? Никогда! В чем я виноват, что он меня любит и делает из этого черт знает что, какие скандалы, какие истерики? Он ведь, в общем-то, страшный зануда, мой старец. Вот и все!

— Но ведь он же тебя воспитывает. Кормит! Поит! Одевает! Неужели ты не испытываешь к нему уважения? Благодарности?

— Испытываю. Благодарность испытываю, уважение — он ведь ученый, мой старец, мой зануда, он, шутка сказать, профессор, я понимаю, а при чем тут любовь? От его любви тошнит, с души воротит, но он этого не хочет понять, профессор! Чем же я виноват, дядя

Петя? Мы с ним разные люди, вот и все. Помогать друг другу очень разные люди могут, а любить — извините! Я девочек больше люблю, дядя Петя, чем старцев.

— Не говори так о Никаноре Евдокимовиче! Слышишь, не смей!

— Я бы и не говорил, я не сплетник, но вы же сами спрашиваете. Все-все знаете, но еще и еще спрашиваете.

У Корнилова дыхание перехватило от злобы, от ненависти, от растерянности, от чувства своего удивительного какого-то бессилия, а Витюля ничего. Стоял, поглядывал то в потолок, то в один угол комнаты, то в другой, а изредка и на Корнилова. Беседа начинала ему уже надоедать, но он крепился, терпел, Витюля. Он был вежлив.

— Бедный, бедный Никанор Евдокимович! И за что он любит негодяя? И почему у него нет сил выбросить тебя из своего дома?

— Да, да, это бывает. У стариков. Они понимают, что надо сделать, но не могут, вот и все!

И Витюля, поискав глазами стул, подвинул его к себе, сел.

— Вы уж извините, дядя Петя, но я очень устал сегодня. Я ведь и правда нездоров, мне полежать надо, отдохнуть, честное слово!

— Ты, Витюля, нахал! И подлый человек. Пошел вон!

— Нет, дядя Петя, мне идти сегодня некуда. Я у вас переночую, а завтра уйду, не буду мешать вам думать, что Витюля подлый, а дядя Петя Корнилов и Сапожков-профессор — люди не подлые, а благородные. Завтра думайте, как хотите, а сейчас постелите мне, ну, вот хотя бы здесь, в этом углу. И чайку дайте горяченького. И хлеба с маслом. Если уж вы такие благородные... Я-то, по крайней мере, не хитрю, не изворачиваюсь, я какой есть, такой и есть, а вы? Я-то ничего не боюсь, ни в чем для меня беды нет, а вы? Вы всего боитесь, вы заладили, будто жизнь должна быть такая, как у вас, если же она получается не такой, вы в ужасе, в петлю готовы лезть, напрудить под себя готовы. Вы и не знаете, что такая жизнь, как у меня, тоже бывает у многих людей и эти люди такие же, как и все другие.

— Витюля! Я схожу к Никанору Евдокимовичу, разбужу и приведу его сюда!

— Пока вы сходите, дядя Петя, я у вас ни одного стекла в окне не оставлю, все вышибу. А он, благород-

ный-то Никанор Евдокимович, он вам за стекла заплатит. А он у-у-у какой жадюга! У-у-у! Мне двадцать пять целковых понадобилось для важного дела, не дал. Начал плести разную чушь о взятках, о клятвах гиппопотама... Так пойдете вы, дядя Петя, за дядей Никой? Не стоит ходить. Нет смысла. Не советую.

— Сначала я тебя, щенка, выброшу из своей комнаты! — сказал Корнилов и приблизился к Витюле, но ему было противно к Витюле прикасаться, и он снова отошел. Витюля, заметив это, спросил:

— Как вы меня выбросите, дядя Петя? С применением физической силы? А я думал, что интеллигенты физическую силу не применяют. Что это только хулиганы ее применяют, а больше никто! Нет, действительно, вы меня все больше и больше удивляете, дядя Петя. Вы и представить себе не можете, как вы меня удивляете! Вот и все...

Корнилов тоже сел, так они посидели молча минуту, Витюля глядел в потолок, Корнилов на Витюлю.

...Все могло быть. Корнилов мог треснуть Витюлю чем попало по башке, мог выбросить за дверь, мог закричать что-то дико, а мог и постелить Витюле какую-никакую постель в углу.

Витюля ждал спокойно и даже с некоторым интересом: что сделает Корнилов? Дядя Петя?

Подождал, подождал, и вдруг лицо у него просветлело — что-то пришло ему в голову, он приподнялся на стуле.

— Вот положение какое, дядя Петя, затруднительное. Если вы меня выгоните, вам старец этого не простит! Если пойдете за ним, за старцем, я здесь все побью, а тот придет, увидит все побитое, и его сейчас же хватит кондрашка. Если вы меня оставите... Опять же старец назавтра устроит вам скандал — зачем оставили, зачем не пошли к нему, не разбудили и не привели к нему? С ним, с занудой, как ни кинь, все клин. Так как же нам быть, дядя Петя?

Корнилов молчал. Вытаращил на Витюлю глаза и молчал.

— А я придумал, дядя Петя, как нам поступить и как нам быть! Сказать? А вот как, дядя Петя: дайте мне двадцать пять рублей! Несчастные двадцать пять рублей, из-за которых все мы не в своей тарелке, все стали занудами и дураками. Дайте, и делу конец, я и уйду сейчас же!

И вот как случилось: Корнилов дал Витюле двадцать пять рублей и тот ушел, поблагодарив, пообещав больше ничем и никогда его не беспокоить.

— Я даже вам и на глаза, дядя Петя, никогда не буду попадаться. Так что спите, спите на здоровье, дядя Петя! Спите, ни о чем не думайте, это лучшее, что можно придумать. А своему старику я строго-настрого накажу, чтобы он с вами никаких разговоров больше обо мне не вел. Никогда! Вот и все.

Какая уж там спокойная ночь? Да разве она могла быть? Давно уже Корнилов за собою замечал: не стало хватать ему мыслей и даже мыслишек для всего узнанного, увиденного, услышанного...

А тут еще и Никанор Евдокимович по беспечной своей доброте подбросил ему мыслишку о космосе, подкрепил его собственные соображения по поводу конца света, утешил: все идет и обязательно придет к тому, с чего началось, к пространству и времени, а эпизод, называемый жизнью, произошел ни к чему, так как человек ни на пространство, ни на время никакого влияния не оказал и оказать не может... И зачем? И к чему Корнилову единомышленники в этом вопросе? Ни к чему, наоборот, он ищет сильных оппонентов и противников! К тому же разве это мысль? С точки зрения жизни, так себе мыслишка, сплетня, и ничего больше.

И не спалось, не лежалось, не сиделось, не думалось нынче ни о чем, кроме того, что, может быть, у Корнилова Петра Николаевича-Васильевича и всегда-то жизнь была бесконечно нелепая, с единственной целью доказать ему: нет, не хватит у него для собственной жизни собственной мысли, не может хватить, не может быть у его мысли столько сил, чтобы хватило ее на всё, на все пережитые события! Не мо-жет! «Ночь... темь...» Ну и так далее.

И голова у Корнилова трещала, болело левое плечо, а в левом глазу ныло. Сердце покалывало. Еще где-то щемило...

К тому же не давали покоя оба Корнилова — и Корнилов, зампред КИСа, и неизвестный ему Корнилов, бывший когда-то комендантом города Улаганска, судя по всему, большой подлец.

А что если он все еще жив, тот Корнилов-комендант? А ты носишь его подлое имя? А он твое, не очень подлое? А что если он давным-давно мертв, тот комендант, но где-то в каких-то папках, в каких-то «делах» все его

грехи, преступления и подлости переписаны на другого, на живого Корнилова? Если именно так и случилось?

Стал вспоминать самое страшное: войну вспомнил, «Книгу ужасов», драку нижних и верхних веревочников. Нет, не страшно, а просто так. Никак. Какой же в самом деле должен быть страх, если и это не страшно? Поехать, что ли, в город Аул, выкопать там из-под земли «Книгу ужасов», прочесть ее, а тогда и ужаснуться?

Кто бы это мог Корнилову помочь, разрешить его сомнения? Утвердиться в том, что мысль вечна и вечно могущественна?

Может быть, Бернард Шоу и Анатоль Франс, когда-то любимые Корниловым, умные, умнейшие писатели, им ведь и карты в руки?!

Куда там, младенцы и младенцы! Сообразить, что мысль создала человека, но она же его и погубит, ну, хотя бы тем, что навсегда оставит его, что она может вся изойтись, исчерпаться до конца, нет, не сообразят!

А может быть, все это от одиночества? Оттого, что его, Корнилова, слишком много окружает людей и каждый врывается со своей жизнью к нему, одинокому человеку? Дескать: «Ага, ага, одинок! Ну так вот тебе наше общение!» Витюлино общение, князя Ухтомского общение, Второго Краевого совещания работников плановых органов общение и так далее, и тому подобное.

«А что если так: именно он, Корнилов Петр Васильевич-Николаевич, и есть тот первый человек, которого навсегда покинет мысль? Он первый, он пионер, а там, глядишь, будет второй, третий, миллионный, до самого последнего, заключительного?»

А что если: «Да у тебя и не было никогда ни одной сколько-нибудь стоящей мысли и не могло быть! Что ты убиваешься-то, будто что-то такое потерял? Тебе и терять-то было нечего!»

«И почему это его, натурфилософа, природоведа, не поддержит в трудный час природа, он ведь так много и хорошо о ней думал, такие возлагал на нее надежды?»

А нынче хотя бы какой-нибудь пейзаж успокоительный ему представился, песчаный или скалистый берег спокойного-спокойного и красивого-красивого моря?! Река какая-нибудь тихая, с таким движением воды, которое напоминает движение души. Какая-нибудь букашка-таракашка, взобравшаяся к тебе на руку и с радостным достоинством расправляющая свои крылышки,

любуясь ими. Птичка какая-нибудь, которая, сидя на ветке, одним глазом внимательно посматривает на тебя, а сама поет-поет, заливается, справедливо полагая, что ты не намерен ей помешать, что она имеет право петь, что она и создана для пения — это ее жизнь...

Все отказались нынче от Корнилова, забыли о нем,— и букашки, и птички, и люди не хотят сколько-нибудь отчетливо явиться в его воображении и в памяти. Он о них мечтает, он их знает, но они-то к нему не являются.

Впрочем, пейзаж все-таки перед ним ненадолго возник зримо и ощутимо. Это был дачный пейзаж, хорошо ему знакомый: бор по левому берегу речки Еловки, высокие стройные сосны... Очень похожие одна на другую, они и шумели при ветре в один голос, и запах издавали в солнечные дни одинаковый, и одеты были в один цвет, в одинаковую кору, а чем они друг от друга отличались, сказать трудно, невозможно на человеческом языке, который эти различия выразить не может. Глазами-то различия замечаешь, так что и двух совершенно одинаковых сосен не сыщешь, а сказать и объяснить, почему они разные,— нет, нельзя...

В этом был тот идеальный порядок природы, который недоступен человеку... Человек мог в этот порядок войти, погрузиться в него, просветлеть в нем душою, мог освободиться здесь от многих мыслей и забот, но до конца постигнуть закон, порядок и гармонию природы ему природой же не было дано.

«Но я-то ведь всегда был близок к природе, очень близок, вот и теперь я занимаюсь изучением природных ресурсов Сибири!» — думал Корнилов.

Но, должно быть, природа и природные ресурсы — это совсем-совсем разные вещи. И понятия!

А если все-таки попытаться успокоить себя: «Подумаешь, трагедия — потерялась мысль?! А может, это к лучшему: баба с возу, коню легче?!» Нет, не подходит! Полнейший идеализм, ничуть не свойственный той философии, которой он когда-то занимался, и жизни, которой он жил!

Потом Корнилов спрашивал себя: что его доконало-то? Вконец?! Может быть, Витюля? Или то дело, которое было открыто органами ОГПУ в Донбассе?

Кто-то мог ведь подумать и предположить, будто Корнилов против действительности, против социалистической? Товарищ Прохин мог подумать? А ничего

подобного! Корнилов уже давно, много лет желал этой действительности всего хорошего, но все дело в том, что он не был человеком цельным. Хоть убейся, не был!

Да что он, не видел, что ли, огромных достижений советской действительности? Видел! Мало того, они — все эти цифры, показатели, уже осуществленные и только-только задуманные Крайпланом,— имели прямо-таки притягательную силу, и ему было приятно, необходимо даже этой силе поддаваться.

И он только одного от этой действительности хотел, чтобы она его правильно поняла: у него сил не хватало для нее, мозгов и нервов не хватало, он слабоват оказался, вот и все! Надо, чтобы она это поняла и учла в дальнейших отношениях с ним, с Корниловым Петром Васильевичем-Николаевичем! Чтобы простила, если он чего-то в ней все-таки не понимает.

И потом, уже окончательно ослабев, он стал загадывать: а с чего начнется для него завтра? Каким продолжением чего-нибудь?

Корнилов был еще в постели, еще домучивался бессонными часами, когда к нему кто-то постучал.

Он встал. Не спрашивая, кто, зачем, открыл дверь.

Вошел Бондарин. На нем был тот же, черный с иголочки костюм, на который, наверное, вчера обратила внимание добрая половина участников совещания, но сам-то Бондарин не был вчерашним, что-то в нем изменилось. Кажется, он спал с лица, и движения его стали не такими, не совсем такими, к которым уже привык Корнилов, в этих движениях не было прежней законченности, совершенности.

Сегодня руки у Бондарина были суетливы, как будто что-то ощупывали, какой-то предмет, которого под руками не было.

Бондарин вошел, вот так, нескладно подвигал руками, сел на стул, а пальцами сразу обеих рук постучал по столу и сказал:

— Вот так...

— Как?— спросил Корнилов.— Как? И что?

— Времена изменились, Петр Николаевич, вот что...

— Ну, по вас не видать, Георгий Васильевич,— попытался пошутить Корнилов.— Нисколько! На вас костюмчик вон какой шикарный! Вчера был и сегодня таким же остался!

— А это бывает, Петр Николаевич, это бывает, что один и тот же предмет одинаково служит и за здравие, и за упокой!

— Вы зачем ко мне пришли-то, Георгий Васильевич?

— Как зачем? А чтобы вы не проспали, не опоздали на работу! Мне, видите ли, подумалось, что вы сегодняшнюю ночь плохо провели, сон мог быть у вас некрепкий, а под утро вы забудетесь и проспите присутственное время. А это нехорошо, это называется «подрыв дисциплины». Тем более съезд и нам, работникам Крайплана, сегодня никак нельзя опаздывать. Одевайтесь скорее, глотните горяченького, и мы вместе с вами шагом арш на службу! На съезд!

Через минут двадцать они действительно шагали в ногу, курс — Дворец труда.

Разговаривали о том о сем, больше о погоде... Сквер прошли вдоль единственной в городе Красносибирске металлической ограды. И только перед самым Дворцом труда Бондарин сказал:

— Между прочим, Петр Николаевич, я бы вам присоветовал: поищите-ка и вы себе новое местечко. Не такое заметное, не такое ответственное, а где-нибудь подальше. Ну, хотя бы у черта на куличках...

— Это как же понять?

— Понять-то как? Ну, где-нибудь в деревне, скажем. Учителем. Либо счетоводом. Здоровье на свежем воздухе сбережете. И нервы. Здесь уж очень нервная нынче обстановка.

Очень удивившись, Корнилов сказал:

— Нет, правда, Георгий Васильевич, нам надо поговорить не торопясь... Ведь вы же меня в Крайплан и пригласили.

— Само собою разумеется...— подтвердил Бондарин.— Само собою...

Тут они и вошли во Дворец. Несмотря на ранний час, он уже довольно густо был заполнен разным народом — во Дворце, кроме съезда плановиков, сегодня открывалось и еще какое-то краевое совещание, кажется, культпросветработников.

А жизнь, советская действительность и в этом году шла своим чередом, то есть поступательно, и нэпманы, объединенные в акционерные общества, теряли одну за другой позиции, газеты не уставали сообщать, что в промышленности достигнут довоенный (1913 года)

уровень, что в сельском хозяйстве этот уровень превзойден.

Поскольку государство строилось плановое, социалистическое, первое в мире рабоче-крестьянское, в котором руководящая роль принадлежит диктатуре пролетариата, поскольку все это было делом совершенно невиданным для человечества, крайплановцы и эту невиданность принимали близко к сердцу, их не покидало чувство новизны и необычайной важности всего того, чем они изо дня в день были заняты.

Чувство очень нужное человеку — в этом они убеждались все время.

Было даже так, что чем чаще, чем проще и совсем даже запросто они употребляли такие слова, как «социалистическое планирование», «контрольные цифры», «исходные данные к составлению первого пятилетнего плана», тем это чувство новизны подогревалось в них еще больше и больше: «Вот мы какие — очень ответственные, очень демократичные и простые, но невиданные!»

Мировой масштаб захватывал каждого, подчинял себе властно и безоговорочно, никаких скидок, поблажек не давал, возможностей к сомнениям не оставлял.

Даже и без Лазарева все это было именно так, даже и без него создавался, укреплялся все сильнее некий клан плановиков, столь разнородный по социальному происхождению, но скрепленный, но объединенный общей задачей и общим чувством все той же новизны и ответственности.

Да так ведь оно и было: ни один отдел Крайисполкома не пользовался таким же авторитетом, как Крайплан, ни один не мог давать непосредственные указания другим, ставить и заслушивать отчеты других отделов, а Крайплан мог. Все еще мог, даже и без Лазарева.

В проблемах сегодняшнего дня крайплановцы, как все люди — такие же у них заботы о численном росте партийной, женской и молодежной прослойки в своих собственных штатах, такое же подчинение президиуму Крайисполкома и бюро Крайкома, но лишь коснется дело контрольных цифр и направлений развития народного хозяйства, в ту же минуту Крайплан выше всех. Чуть ли не выше самого Крайисполкома.

А так как вопросы строительства ближайшего социалистического будущего, а в не столь уж отдаленной перспективе будущего коммунистического возникали

непрерывно и как бы даже безудержно, то и день сегодняшний был подчинен заботам не столько о самом себе, сколько о дне завтрашнем.

И опять возвышение Крайплана, и опять ему сперва чуть заметные, а потом все более и более очевидные выходили предпочтения и льготы в устройстве быта его сотрудников.

Так, еще в 1925 году Крайплану на берегу речки Еловки, неподалеку от деревушки Усть-Еловка, в шести километрах от города, были построены дачи — довольно длинные бараки, перегороженные на секции, каждая секция со своим порядковым номером и еще разгорожена на две подсекции дощатой стенкой: получается две комнатки и одно застекленное крылечко, почти веранда.

Профсоюз каждый год распределяет эти подсекции между сотрудниками, заключает от их лица арендные договоры с хозуправлением Крайисполкома, дело нехитрое: секций хватало на всех желающих, арендная плата небольшая и прогрессивная — чем выше жалованье «арендатора», тем выше и ставка на квадратный метр подсекции, некоторые же низкооплачиваемые сотрудники пользовались дачами бесплатно.

Была на дачах и кухня, называлась «камбуз»: деревянный навес, а под навесом огромная плита на 12 конфорок, одной-двум хозяйкам такую разогреть не под силу, если что-то готовить, варить и жарить, так нужно всем сразу, самое малое, сразу шестерым.

Дрова сначала были у каждой хозяйки свои, потом появилась общая поленница, да еще у детей был урок — ежедневно собрать три-четыре мешка сосновых шишек, очень хороший огонь и жар давал «камбуз» на шишечном топливе с небольшой подброской дров. Он пыхтел и урчал, словно мощный буксир вот-вот тронется с места и весь дачный поселок отбуксирует за собой сначала по Еловке, потом по Оби; Еловка километрах в двух впадала в Обь, устье ее было излюбленным местом рыбаков, здесь неизменно клевали окунь и лещ.

Мужчины на работу в Крайплан и обратно ездили на двух пароконных «линейках» по десять сидячих мест в каждой, еще табуретки можно было поставить и набить в линейку человек до пятнадцати, включая женщин, собравшихся на базар, а у товарища Прохина был автомобиль, он тоже никому не отказывал, сколько

уместится вокруг него на сиденьях народу, столько и поезжай, но охотников ездить на автомобиле было мало — Прохин отправлялся за час до отхода линеек, возвращался же позже всех; все в четыре часа дня, а он и в шесть, и в семь вечера, а то и ночью уже, после всех крайисполкомовских, крайкомовских и прочих заседаний.

На дачах была культплощадка, на площадке турник, «гигантские шаги», городки, крокет, беседка с шахматами, шашками, с газетами и журналами «Красная новь», «Сибирские огни», «Охотник Сибири», «Уголь Востока»; особенной популярностью пользовался небольшой журнальчик «Реконструкция народного хозяйства Сибири» — собственное издание Крайплана.

Ну, и «Красная новь» тоже читалась активно, наиболее интеллигентной прослойкой плановиков — там вот уже второй год шел роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», его читали с некоторым недоумением, но молча, без комментариев ждали, чем же Горький эту «Жизнь» закончит. Ничего хорошего, кажется, автор не обещал. Интеллигент, мол, этот Клим Самгин, всегда был дохлым и беспринципным, доверять ему нельзя... А стрельнуть его можно.

Внеочередное право на пользование физкультснарядами негласно, но твердо было закреплено только за работниками Крайплана, когда, возвратившись с работы, пообедав и отдохнув, они тоже хотели порезвиться, громко выкрикивая «второй красный», «третий черный», гоняли крокетные шары или же ставили городки в разные фигуры — «пушка», «бабушка в окошке», «лягушка», «простое письмо», «заказное письмо» — и звонко били по этим фигурам битами. Лучшим игроком в крокет считался Бондарин, а в городки — товарищ Прохин.

В субботние вечера на культплощадку приходили усть-еловские девки и парни с гармошкой, а то и с двумя, пели частушки про любовь и про Советскую власть, играли в «горелки», бегали на «гигантских шагах» до самого рассвета, а иной раз уже и при утреннем солнышке. Сон в эти ночи у крайплановцев получался худой, зато смычка города с деревней была налицо, ею надо было дорожить, вся страна дорожила.

Так или иначе, а только на дачах крайплановский коллектив приобрел еще более очевидные черты арте-

ли — совслужащей артели с некоторыми задатками коммуны.

Жили на виду друг у друга, но не ссорились, жены одна другой умели не завидовать и очень стеснялись какого-нибудь своего превосходства, если оно было, все равно какого, материального или образовательного, хотя бы даже и семейного. Если семья вполне благополучная и даже счастливая, об этом принято было помалкивать, если неблагополучная, помалкивать тем более. Между партийными и «бывшими», между руководителями и подчиненными, между молодыми и пожилыми разница, конечно, была, но наружу не показывалась, оставалась под спудом.

Семьи-то, в общем, были крепкие, устойчивые, холостяки — а их порядочно оказалось в Крайплане, хотя бы тот же Корнилов — могли, конечно, кое-что себе позволить, но только где-то на стороне и ни в коем случае не на виду у крайплановских детей. Дети от вредных впечатлений и влияний здесь оберегались строго, любой сколько-нибудь «сомнительный» разговор — фривольный, или о деньгах, или о каких-нибудь несправедливостях и непорядках — при появлении детей тотчас прекращался.

В деревне Усть-Еловка облюбовали дачи нэпманы, тоже колония, несколько десятков семей, вот там могло твориться все что угодно — и картежная игра, и выпивки, и прочее,— но это был для крайплановцев совершенно чуждый мир, они к нему отношения не имели, иметь не хотели.

Конечно, могло показаться странным, конечно, кое-кому так и казалось, но факт оставался фактом: в этой совслужащей дачной артели, почти что коммуне, главную роль нынче играл, вселял в нее дух коллективизма и спартанства товарищ Прохин.

Если на работе, в Крайплане, ему все еще мешало его «почти» — почти интеллигентность, то на дачах заметить это было невозможно, такой демократизм, такая простота, такой безупречный образ жизни вел товарищ Прохин, что ему невольно хотелось подражать.

Он и на дачах-то, Прохин, бывал меньше других, все на работе и на работе, в разъездах по округам, а вот поди ж ты, какое влияние!

Он был человеком, для всех и в любое время доступным и внимательным, гораздо доступнее и внимательнее, чем в свое время Лазарев. У Лазарева голова вечно

была занята мировыми идеями, всесоюзными проблемами, всесибирскими задачами, а дела и задачи помельче он не мог, да и не хотел замечать, у Прохина же к каждому поступку, к каждому слову сотрудника Крайплана было свое отношение и даже интерес, может быть, это привычка следственной работы в ЧК сохранилась, а может, было от природы. И вот еще что — Прохин не любил делать секретов, он так и говорил: «Излишняя секретность — это вредительство!» Ну, конечно, как бывший чекист, как нынешний член бюро Крайкома ВКП(б) товарищ Прохин знал много такого, о чем и не заикался никогда вслух, но в то же время не было заседания бюро, о котором он между делом и в общих чертах не информировал бы президиум Крайплана, да и других работников.

Часов в восемь вечера приезжает на дачи его автомобиль, а часов в десять к его крылечку, к дачной секции номер 2 (номер 1 оставался за вдовой Лазаревой Ниной Всеволодовной) уже тянутся мужчины, рассаживаются на ступеньках и на скамейках тут же рядышком, и Прохин рассказывает о том, какое было заседание Крайисполкома, с какими вопросами и решениями и что вообще ему на сегодня известно о положении в СССР и в мировом революционном движении. И вопросы ему можно задавать любые, он отвечает и только иногда скажет: «Этого не знаю» или «Этот вопрос, должен вам сказать, еще не ясен».

Так иной раз часов до двенадцати, до часу ночи идут вопросы-ответы, обмен мнениями, непринужденное обсуждение завтрашней повестки дня в заседании президиума Крайплана, а уже в семь часов утра перед секцией номер 2 урчит автомобиль «АМО» — товарищ Прохин уезжает на работу, ему и вот еще Ременных надо быть там раньше всех, как следует подготовиться к президиуму.

И никогда никакой бестактности, никогда никаких намеков на то, что вот я, мол, бывший чекист, а вы, мол, собрались тут «бывшие», вас 71,8 процента от всего состава служащих Крайплана, скоро ли я от вас отделаюсь?!

Только один раз Прохин оговорился, но крупно...

— Поехал я нынче в Госбанк,— рассказывал он, постукивая по коробке папирос «Казбек», чтобы вытряхнуть из нее папироску.— Поехал я нынче в Госбанк, захожу в кабинет директора, требую деньги на госпроек-

ты — на цинковый завод, на оловянный завод, на схему организации «Сахаротреста»,— а мне отказывают. Я говорю: «Нэпманам-то вы не отказываете? Сознайтесь прямо, не отказываете ведь?» Директор и заместители его оказались в кабинете, и бухгалтера — все в один голос: «Нет, не отказываем!» — «Как же,— говорю,— это происходит: нэпману — средства, а государственной организации — шиш на постном масле?» — «А очень просто,— отвечают они мне чуть ли не хором,— нэпман берет у нас деньги под процент, а вы задаром!» Слово за слово, и я сначала раскипятился, а потом подумал про себя: «Чего это я раскипятился-то? Почему этакий сделался злой!» А потом гляжу вокруг, гляжу, а в кабинете-то знакомые все морды, человек пять, и все белогвардейская сволочь, один другого краше, четверым я даже, помню, выписывал ордера на арест, двух лично допрашивал, одного приговаривал к высшей мере, он только через апелляцию и живым-то остался! Вот это обстоятельство, эту до сих пор продолжающуюся засоренность советского аппарата нам, товарищи, тоже нельзя не учитывать!

Тут наступила долгая-долгая пауза, в темноте только искорки нескольких папиросок были видны, ни звука, ни шороха.

Первым встал и, ни слова не говоря, ушел четким военным шагом Бондарин. Корнилов, уходя, сказал «спокойной ночи». После того случая мужских этих полуночных посиделок не было долго, недели две или три, до тех пор, пока на очередном собрании профсоюза Прохин, выступая по вопросу о распределении социально-бытового денежного фонда Крайплана, не сказал в конце своего выступления: «Товарищи! Вы все знаете, что мною в недавнее время была допущена политическая ошибка. Я не буду ее повторять, это ни к чему полезному не приведет, вы и так знаете, что это было мое вредное заявление, сделанное на даче во время разговора с некоторыми, здесь в настоящее время присутствующими людьми. Я со всей откровенностью доложил об этом случае вышестоящим партийным руководителям, и мне сделано ими строгое замечание и поручено обратиться ко всем вам, членам профсоюза, с просьбой ни в коем случае не принимать моих ошибочных слов на свой счет. В свою очередь, даю вам честное партийное слово, что я в тот раз не имел в виду кого-либо конкретно из присутствующих при нашей общей беседе, а во-

вторых, что я никогда ничего подобного не повторю и не допущу хотя бы потому, что после второго подобного случая я и сам, без чьего-то вмешательства, не сочту возможным оставаться на своем посту и в роли вашего руководителя. Надеюсь на вашу политическую зрелость, на вашу моральную чистоту и на собственную искренность и думаю, что мы с вами будем и в дальнейшем работать так же добросовестно и с отдачей всех своих физических сил, способностей и знаний, по принципу взаимного доверия и уважения. Нашим высоким целям не должны мешать мелкие и даже не очень мелкие ошибки и недоразумения. Мы все должны быть выше этого, и я надеюсь, что этот инцидент уже исчерпан и что каждый из нас сумеет поставить общее дело выше личного и тем более выше собственной обиды!»

Речь произвела, в общем-то, положительное впечатление... Кроме того, на работе Прохин стал как-то спокойнее, стал действительно выше — самостоятельно руководящее положение приподнимало его, и если в речи на профсоюзном собрании он выражался не совсем складно, то на работе, наоборот, в его «почти интеллигентности» это «почти» становилось все меньше и меньше заметным.

Конечно, не Лазарев, а все-таки.

И дачные посиделки возобновились. Корнилов же стал думать, что, может быть, Прохин теперь и не допустит никакого разбирательства «дела» «Вегменский — Бондарин» и не будет никакой комиссии по этому «делу». Зачем? Зачем товарищу Прохину допускать две крупные бестактности подряд? Достаточно и одной! Неужели он не сможет повлиять на товарища Сурикова? Вот-вот начнется очередная партчистка ячейки Крайплана, зачем перед чисткой Прохину еще одна неприятность? Конечно, чистят партийцев главным образом с правой стороны, за связи с нэпманами и с оппозицией, за притупление бдительности и засорение аппарата «бывшими», за аморальные поступки, а за то, что бывший чекист ударил по мозгам некоторым «бывшим» — какой суд? Какая чистка? Однако сделали же Прохину серьезное замечание в высших краевых партийных инстанциях, признали же там его ошибку ошибкой политической?

Сделали! Признали!

Так рассуждал Корнилов и в конце концов к неожиданному для самого себя пришел умозаключению:

будет хорошо, если Прохина окончательно утвердят в должности председателя Крайплана! Он ведь до сих пор был и. о. Хорошо, потому что Прохин так или иначе, а усвоил уроки Лазарева. Он часто на Лазарева ссылался: «Наш Константин Евгеньевич сделал бы нынче вот так!» Казалось, что Константин Евгеньевич теперь Прохину ближе, чем при жизни. Казалось, Прохин достаточно усвоил лазаревское отношение к «бывшим».

И подтвердилось: приказом по Крайисполкому Прохин был утвержден в должности председателя краевой Плановой комиссии. Фактически он был им уже давно, но теперь поступило еще и официальное утверждение.

Да-да, утверждение Прохина было событием особого рода, и, если уж на то пошло, оно имело символический смысл, может быть, и смысл философский — не верилось, не сразу верилось, но факт оставался фактом: Крайплан не только продолжал существовать без Лазарева, но и решал те самые проблемы, которые Лазарев в свое время выдвигал, которые при нем, а иногда еще и теперь, так и назывались «лазаревская проблема»... Интересно бы узнать, как теперь они решались-то — по-лазаревски или как-то иначе? По-прохински? Узнать этого нельзя, сравнить нельзя, исчезла точка отсчета. Лазарев исчез...

Исчез и лазаревский энергетический потенциал, прямо-таки невероятный, а в то же время такой природный и естественный...

А ведь человек с такой самообразующейся и в то же время природной энергией имел особое значение для Корнилова как собеседник по проблемам уже не крайплановским: «Есть ли бог?», «Может ли природа быть богом?», «Скоро ли будет конец света?» и «Действительно ли Корнилов Петр Николаевич-Васильевич нынешним своим существованием как бы воплощает конец света?».

И в то же время Корнилов продолжал свободно любоваться прекрасными окрестностями крайплановских дач: да-да, сосны прямые, как стрелы, корабельные сосны, одна к другой, одна как другая, но это ведь не утомительное однообразие, а совершенство природы, повторимое для нее совершенство, и потому чудо-земля под соснами покрыта мягким темно-коричневым ковром хвои и шишками, крупными, круглыми, с распахнуты-

ми чешуйками; кое-где по этому коричневому густой зелени брусничник и черничник, еще кое-где сизые сфагновые мхи, вдоль же речки Еловки узкие отмели почти что белого песка, лишь кое-где тронутого робкой зеленью упрямых травок, произрастающих на песке без признаков гумуса, а чуть ниже по течению речушки — вот она и Обь. На противоположном берегу и человека-то с трудом, с трудом различишь, так широка, настолько много воды, взмученной белыми мелкими частицами, наверное, известковыми... Река совсем недалеко, километрах в трехстах на юг, явилась от слияния Бии и Катуни, но уже великая и течет, как будто знает куда — на север, к еще большему величию и могуществу, к слиянию с Иртышом. А потом и с Северной Сосьвой и с Щучьей и с другими, настолько северными реками, что и название-то их не сразу вспомнишь... А потом впадает в Карское море.

Это все было его, Корнилова, природой. Всякая природа, стоило с ней с глазу на глаз пообщаться, становилась ему близкой, чуть ли не собственной. Еще при таком общении, при таком густом сосновом воздухе очень развивалось зрение, все-то становилось Корнилову видимым — и трава, и небо, и вот еще женщины, которые составляли экипаж «камбуза».

Капитана тут, на этом корабле, не было, боцмана не было, форма одежды преимущественно сарафанная, вместо бескозырок пестрые косынки, а иногда и просто так, полное отсутствие головных уборов, обут экипаж бог знает во что — в шлепанцы, в сандалии, иногда опять просто так, то есть никак, босые ноги, но дело свое этот экипаж знал, шуровал в топке обмазанного желтой глиной «камбуза», и тот пыхтел-гудел на все лады.

Вот так: были проблемы развития и реконструкции народного хозяйства Сибири и проблемы культурной революции, а еще был «камбуз» — без этих проблем, но с делом, с делом неукоснительным и к тому же исполняемым точно в положенные сроки. Нарушений дисциплины неписаного, но твердого устава здесь не было, а всякий член экипажа носил звание «жены». Звание и должность тоже никем не утверждались — ни Крайисполкомом, ни совнархозом. Женщины были здесь разные, одна на другую не похожие, но это звание их уравнивало, они и сами, кажется, не хотели в этом ка-

честве никаких между собой различий, искали же сходства и полного равноправия.

В шесть часов утра очередная дежурная по «камбузу» — а дежурства были установлены строго по расписанию, которое висело здесь же, неподалеку, на доске дачных объявлений — разжигала огонек под двумя конфорками, к семи «камбуз» пыхтел уже основательно, солидно, но недолго, а вот к полудню он возгорался снова — это готовился обед для детского населения крайплановских дач, а заодно и для материнского состава. Но самый устрашающий жар и гул «камбуз» производил в три часа дня, к прибытию из города конных линеек с плановиками — членами президиума, зав. секциями, референтами, специалистами, иными канцеляристами, одним словом, с мужьями, для которых с «камбуза» и выдавались первое, второе и третье блюда, все в достаточном количестве и с надлежащим качеством. Да-да, именно такая происходила ежедневно, кроме выходных, вблизи бревенчатых ворот дачного поселка метаморфоза — плановики мгновенно становились здесь мужьями и отцами. В том, может быть, и состоял смысл существования этих ворот, очень странных, поскольку заборов вокруг не было никаких, а ворота все равно несли свою службу, кто приезжал сюда или кто уезжал отсюда, обязательно через них, и ребятишки крикливой гурьбой встречали здесь своих отцов, редкий кто-нибудь убегал по дороге вперед, чтобы встретить линейки, да и прицепиться за задок и прокатиться, к своему величайшему удовольствию. Но этакое поведение никем не одобрялось, а одобрение или неодобрение, чего бы оно ни касалось, имело в дачном поселке Крайплана весьма существенное значение как для детей, так и для взрослых обоего пола.

Одобрение или неодобрение, даже если оно ни единым словом не высказывалось вслух, имело значение вполне реальное, о нем знали все, а формировалось оно тут же, у «камбуза», в среде его экипажа. Формировалось без протоколов и без директивных указаний, без речей и без прений, без предложений и решений, а как бы совершенно само по себе, по тому, как кто-то на вахте у «камбуза» улыбался, а кто-то в ответ не улыбался; по тому, как и каким тоном кто-то кого-то предупреждал: «Смотрите, смотрите, у вас мясо подгорает!»; по тому, что кто-то к кому-то обращался с просьбой: «Попробуйте, пожалуйста! Как, на ваш вкус, еще посолить

или уже достаточно?»; по тому, как кто-то советовал: «Я бы, на вашем месте, и еще добавила лука!»

Все это выражало дух коллективизма, который здесь умели и создавать, и ценить, потому что жизнь научила, годы! Недавние сравнительно годы с ежемесячными «переворотами» власти, с эвакуациями, с беженскими поездами, с голодухами, с сыпняком и брюшняком, кое-где и с холерой, с арестами и освобождениями (кто не был тогда освобожден, того здесь, разумеется, не было, быть не могло).

Господи! Да если из тех-то лет на этот «камбуз» поглядеть да на кастрюли с мясом (30 коп. за килограмм) и с картошкой (50 коп. за пуд), с заправкой из муки-крупчатки (1 р. 50 коп.— 2 р. 00 коп. за пуд), с солью (0,3 коп. за килограмм) — это же сказка! Мечта! В те недавние годы даже оптимисты, тем более оптимистки, о таком и не помышляли, забыли помышлять. Не то чтобы не хватало воображения — времени, сил и здравого смысла тогда не хватало для этого!

Зарплата, средняя, невелика, это правда — тридцать, сорок, а пятьдесят рубликов — это уже ого-го! Не очень-то разбежишься, но жить можно, кормиться можно. И не худо!

Так вот, все тот же здравый смысл спустя годы подсказывал: береги лад и коллективизм! Береги тактичные отношения! Не позволяй нечистой силе тебя попутать, предаться воспоминаниям, тем более вопросам друг к другу: кто и где был в 17-м, в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м и в 22-м уже году? В каких тыловых и фронтовых районах? В каких прочих местах?

Что надо было друг о друге знать, то здесь хорошо знали. Прохина Лидия Григорьевна занимала в те годы пост — очень серьезный — в женском отделении Красносибирской ЧК ГПУ; жена профессора Сапожкова, бывшего министра Сибирского временного правительства, Юлия Викторовна десять лет тому назад разъезжала на автомобиле сперва в Томске, а потом и в Омске; а жена — теперь вдова — Лазарева, Нина Всеволодовна, не так уж и давно проживала в эмиграции, в Цюрихе, училась там в университете; зав. библиотекой Крайплана Евдокия Ефимовна Кулагина четыре года тому назад едва умела писать, читать-то, правда, она умела и раньше. Но... зачем ссылаться на имена и фамилии?

Мужья-то все стали плановиками, все мазаны одним миром — Крайпланом, значит, и женам судьба велела

стать единым экипажем «камбуза», строго блюсти дисциплину, расписание дежурств и тактичность отношений.

Тут все ко всем присматривались, делали кое-какие выводы с разных точек зрения, но самой главной точкой было: «А не болтушка ли?» Если болтушка, немедленно дать понять, какой это порок, какая для всех беда и угроза.

Годы, годы! Минувшие! Вот ведь что они могли сделать, как женщин воспитать!

Все это заметил, все это понял старый холостяк Корнилов. Благодаря сосновому воздуху и широким просторам реки Оби.

И благодаря присутствию у «камбуза» Нины Всеволодовны.

Она здесь не командовала, нет, не давала указаний, не делала критических замечаний, упаси бог!

Но Корнилов помнил ее у «камбуза» еще в прошлом году, еще при живом муже, тогда она и здесь больше, чем кто-нибудь другой, была сама по себе, она «камбуз», наверное, не всегда и замечала, приходила сюда со своими мыслями, готовила обед, или завтрак, или ужин и с теми же мыслями, в том же настроении уходила, только и всего, около своей конфорки она не торчала часами, она не молчала, а кого-то о чем-нибудь обязательно спрашивала и что-то о себе, о том, что и как мужу нынче готовит, рассказывала, но все это как бы между прочим, главным же фактором было самое ее присутствие у «камбуза», ее умение держаться так, как она умела.

Она легко, почти незаметно, а все-таки подсмеивалась над «камбузом», называя его то клубом, то храмом, то женотделом, и усмешка никого здесь не обижала, скорее, наоборот, поддерживала атмосферу непринужденности, а может быть, и желание быть такой же, какой была она, Нина Всеволодовна Лазарева. Такой же женщиной...

В прошлом году она неизменно была аккуратно обута, одета, причесана умело, ее умелость была под стать мужней, но не столь энергичной и очевидной, а скорее даже скрытой. Готовить так же, как готовила она, никто не мог, да никому этого и не нужно было, только Лазарев требовал особой какой-то еды. Ел он очень мало, но был привередлив — обладая необыкновенно чутким обонянием, он любил, чтобы каждое блюдо пахло только

так-то, но никак иначе, только тогда он его и ел с охотой, со вкусом, с добрым выражением лица.

Объяснить на словах, как должна пахнуть та или иная еда, невозможно, он и это умел объяснить, во всяком случае, Нина Всеволодовна его понимала.

Наверное, кое-кто на «камбузе» находил в этом неуместную и буржуазную избалованность, но старательность и то безупречное умение, с которым готовила Нина Всеволодовна, и то, как она говорила: «Жду-жду, когда у моего Кости притупеет нюх, но так, по всему видно, никогда и не дождусь!» — все это действовало на экипаж «камбуза» не отрицательно, а положительно.

Ну, а после смерти мужа женщины с трудом уговорили Нину Всеволодовну жить на даче — нельзя было оставить ее на городской квартире в одиночестве. В конце концов она согласилась: «Если это будет кому-то удобнее». Но у «камбуза» она нынче не появлялась ни на минуту, и женщины относили ей что-нибудь поесть в ее секцию номер 1, при этом они даже не проходили в двери, а ставили тарелки на подоконник и окликали: «Нина Всеволодовна!» — «Спасибо»,— очень слабо отзывалась она...

С переездом на дачи к ней на какое-то время снова вернулось состояние полной прострации, как в первые дни после смерти мужа...

К «камбузу» Нина Всеволодовна вышла исхудавшей, ослабевшей, попросила принести ей табуретку и, сидя, что-то приготовила себе поесть. В следующие дни, набираясь понемногу сил, она стала готовить тщательнее, а в конце концов точно так же, как готовила когда-то мужу. Она говорила при этом: «Он так любил...»

«Камбуз» же стал внимательнее к Нине Всеволодовне, ненавязчивая, испуганно-трепетная внимательность, «камбуз» угадывал, хочет ли Нина Всеволодовна поговорить и даже узнать какие-то новости, и тогда он осторожненько, чтобы не было ни слова лишнего, говорил и рассказывал эти новости. Хочет она помолчать, тогда и «камбуз» молчал тоже.

Корнилову же казалось, что жены и даже вдовы Лазарева больше нет и не может быть на свете, теперь вместо нее живет и должна жить другая женщина. Эта другая делает все, чтобы оставаться той, прежней, а почему делает? Да только потому, что она уже другая... Дру-га-я!

Ну, да так и было: Нина Всеволодовна-вдова отчаянно, изо всех сил цеплялась за ту Нину Всеволодовну-жену, поэтому она и готовила на «камбузе» те же ароматные блюда, которые так любил когда-то Лазарев, поэтому и одевалась так же, как еще недавно одевалась жена Лазарева, поэтому и вставала, и ложилась точно в то же самое время, которое было заведено у Лазарева, в семь утра и в одиннадцать тридцать вечера, поэтому и не устраивалась до сих пор на работу, а сидела, ничего не делая, дома.

Последнее обстоятельство ставило крайплановских не только женщин, но и мужчин в полное недоумение: как же так? Как же так, спрашивали, и не раз, крайплановские женщины и мужчины у Нины Всеволодовны. На какие же средства вы будете жить, нигде не работая? И вообще разве можно нигде не работать? Одинокой женщине?

— Отчего же! — отвечала Нина Всеволодовна.— Можно! У меня есть три золотых кольца и брошка, я их продам — одну продала уже — и проживу год. Год-другой.— Так же она и Корнилову объясняла, и он ее понял, а крайплановские женщины и мужчины не понимали и спрашивали:

— Но сейчас вам подыщет подходящую работу сам товарищ Озолинь, а что будет через год? Может быть, через год уже не будет подходящей работы?

— Там видно будет, а теперь подольше бы пожить, ничего не меняя, так, как я жила при нем, при Константине Евгеньевиче. Только бы подольше. Я так боюсь, так боюсь что-нибудь менять!

Да-да, Нина Всеволодовна страшилась стать какой-нибудь другой женщиной, которая не жена Лазарева, а неизвестно кто и что. Неизвестно что страшило ее, и это была такая неизвестность, которая страшила даже и Корнилова и обязывала его что-нибудь сказать Нине Всеволодовне, ну, хотя бы какие-нибудь банальности...

«Самое страшное позади, а впереди, поверьте, будет проще и легче, легче!» — хотел сказать он Нине Всеволодовне. Или: «Для всего живого проходит все, поверьте мне, я-то об этом знаю!» Но, чтобы что-то сказать, нужна была минута, а этой минуты все не было и не было — Корнилов видел Нину Всеволодовну издали, вблизи не случалось... Он сомневался: а нужны ли ей его слова и соображения? Может быть, она как раз того облегчения, которое он для нее хотел, боялась больше

всего? И освобождение от власти Лазарева для нее все еще было немыслимым?

Потом Корнилов подумал и даже пришел к убеждению, будто он в долгу перед Ниной Всеволодовной, будто и она начинает уже упрекать его: почему он свой долг не исполняет, не говорит ей ни слова?

В недавнем прошлом это была очень миловидная женщина. Довольно полная, с большими, чуть навыкате серыми глазами, с косами, которые она укладывала в высокую прическу. Она была сдержанна, чуть-чуть медлительна, отвечая кому-нибудь, слегка приоткрывала рот, потом задумывалась на мгновение, после этого начинала говорить. Это было простодушие, но простодушие от ума.

Она любила одеваться, придумывала новые фасоны, а шила не у кого-нибудь, не в швейных артелях промысловой кооперации, а у знаменитого Шевлякина, очень дорогого, к услугам которого прибегали лишь дамы высших нэпманских кругов Красносибирска. Надо думать, не так-то это было просто для Лазаревых: у него жалованье — партмаксимум, сто восемьдесят три рубля, она не работает; тем не менее других портных у Нины Всеволодовны не было, Шевлякин же ее обожал. «О! — говорил Шевлякин.— Это такая дама, такая дама, с такой фантазией, что уже на один стежок невозможно ошибиться. Особенно в плечах!» Между тем фасоны, придуманные Ниной Всеволодовной, были скромны, почти консервативны, но, так как эта скромность с энтузиазмом исполнялась не кем-нибудь, а Шевлякиным, эффект был неотразим, и Шевлякин говорил: «Невозможная масса секретов, просто невозможная! Секрет материала, секрет моего глаза, а секрет фигуры — плеч и талии,— я вам скажу, впереди всего, а сколько еще самого разного? Удивительно! Уди-ви-тель-но!»

И Корнилову все это тоже было очень уди-ви-тель-но!

Да-да, те, кто бывал в просторной, почти без мебели квартире Лазаревых, а Корнилов там бывал, видели на одной из стен фотографию: худенькая, в красноармейской гимнастерке и все-таки очень похожая на себя теперешнюю Нина Всеволодовна рядом с энергичным красным комиссаром. Это было так неожиданно, вызывало у гостей столько вопросов: «Неужели? Где? Когда?» И снова: «Неужели?» — что фотография в конце концов исчезла со стены. Да-да, партячейка и предста-

вительницы женотдела не раз, бывало, указывали председателю Крайплана на явное и ничем не объяснимое недоразумение: как же это так, жена совответработника, прошедшая вместе с ним гражданскую войну в рядах Красной Армии, нынче ни с того ни с сего нигде не работает? И, нигде не работая, шьет у Шевлякина, как заправская нэпманша?

Да-да, Лазарев хотя и выслушивал все эти замечания и предупреждения со вниманием, но самое большее, что обещал при этом, подумать, иногда же не обещал совсем ничего, и так годы шли один за другим, а положение дел не менялось, Нина Всеволодовна вела прежний образ жизни.

Но однажды, когда и надобности-то в объяснении причин этого странного явления уже не было, так как к неработающей Нине Всеволодовне все привыкли, совсем незадолго до своей кончины Лазарев при очередной беседе с представительницей женотдела вдруг, как говорится, вспыхнул:

— Да поймите же вы, наконец, что мы с Ниной, что я не могу по-другому! Мы так привыкли, и если будет работать она, не буду я! Значит, надо выбирать!

— Не надо выбирать!— возразила представительница, слегка растерявшись от неожиданной вспышки своего собеседника, но давно научившаяся возражать в высшей степени решительно.— Это глупо — выбирать! А надо сделать так, чтобы и ты работал, товарищ Лазарев, и чтобы твоя жена тоже работала. Иначе твоя жена опустится и, прости за выражение, обабится. Вы должны работать оба!

— Так не может быть!

— Может! По собственному опыту скажу: может! У меня муж и трое детей, а я работаю! И даже не считаюсь со временем! Позвони сегодня ко мне, товарищ Лазарев, на работу в восемь вечера — и застанешь меня на месте! Позвони завтра в десять утра — и застанешь меня на месте. Кому же ты говоришь: не может быть?

— Я о себе говорю, а не о других.

— Ты о предрассудках говоришь, вот о чем! О вредных и нетерпимых нэпманских предрассудках! Не с нэпманов же тебе брать пример, товарищ Лазарев! Но ты явно на нэпманов в этом вопросе ориентируешься, а будет партчистка, я об этом скажу со всей прямотой!

Когда Лазарев умер, представительница женотдела

сама об этом разговоре рассказала, причем в несвойственных ей подробностях и с несвойственным же недоумением: что это был за человек, товарищ Лазарев? Ответственный работник, партиец с дореволюционным стажем? На советской работе горел, а в быту проявлял замашки нэпмана?!

Если Нина Всеволодовна не видела в мужчине силы, энергии, а по всей вероятности, и рыцарства, она не видела и мужчины, вот еще о чем догадывался Корнилов.

Небольшие уши в солнечные дни и вечером, при электрическом свете становились прозрачными... Когда поблизости яркая лампа, они становились еще меньше, совсем крохотными и так прозрачны, что хотелось обязательно что-нибудь рассмотреть сквозь них: часть прически, или розоватую кожу, или даже тот посторонний и отдаленный предмет, который это ушко все-таки ухитрялось заслонить.

На редкость постоянная внешность — время почти не действовало на нее. Корнилов об этом только догадывался, но однажды этому получилось и полное подтверждение.

Еще летом 1927-го в гости к Лазаревым приезжала их приятельница по цюрихской эмиграции, и в другие годы они, кажется, были близки — старая большевичка с совершенно неподходящим именем, отчеством и фамилией: Александра Федоровна Романова.

Она еще не была старой, но состарившейся была: морщинистое нервное лицо, простуженный и прокуренный голос, нетвердая походка...

Встретив Александру Федоровну на вокзале, Лазаревы повезли ее на дачу в линейке, и Корнилов оказался рядом с нею, Лазаревы же на противоположной скамье, и, таким образом, обращаясь к гостье, Лазаревы обращались как бы и к нему тоже, а он видел их лица, выражение их глаз. Александра же Федоровна все время задавала Нине Всеволодовне один и тот же вопрос:

— Да ты ли это, Нина? Нет, это невозможно, невозможно и невозможно!

— Это я! Это я, Сашенька!— отвечала ей в который раз Нина Всеволодовна.

— А мне все кажется, это копия с тебя цюрихской!

Ни в одном глазу не заметно возраста, как была студенточка, так и осталась! Ну, разве чуть-чуть-чуть пополнела и посвежела. Как будто с каникул только что вернулась! Нет, не верю! — И Александра Федоровна порывисто хватала за руку Корнилова, совершенно незнакомого ей человека, и говорила ему: — Это невозможно! Этому нельзя поверить! Этого не может быть! Пятнадцать лет — как один день, как же так? Костя изменился, я изменилась — и говорить нечего, общественный строй в России изменился, мир изменился, Нинка — нисколько! Ей книжку под мышку, да и бежать на лекции через цюрихский Новый мост, мимо ратуши, мимо церкви Святого Августина. Честное слово! Не может быть!

— Может, Сашенька, может, — утверждал серьезно Лазарев. — Верь своим глазам, вот и все!

— Невероятно! Ты, Костя, всегда был мастером все объяснять. Тем более невероятности!

— Могу! Тут логика и даже арифметика: пятнадцать лет назад Нина выглядела старше своих лет, а сейчас младше. То на то и получается. Ну, и как же твой Матвей? Как здоровье? Работа?

— Жив и кое-как здоров. Вот бы уж кто удивился, увидев Ниночку! Тоже не поверил бы!

— Матвей — реалист. Поверил бы!

Александра Федоровна вздохнула.

— А все-таки нам хорошо жилось в Цюрихе, весело. Хоть и ходили в Европе анекдоты о скуке этого города, нам все равно было весело. Светло на душе, мы жили в ожидании.

— Анекдоты? О скуке? Я что-то и не помню, — спросила Нина Всеволодовна.

— Ну, как же: «Чем Цюрих дважды отличается от городского венского кладбища? — Тем, что Цюрих в два раза больше и тоже в два раза веселее!»

— Нет, — сказала Нина Всеволодовна, — я этого анекдота не помню...

Корнилов слушал и думал: «Природа! Нина Всеволодовна не себя бережет и не свою молодость, а свою природу. Она, пока жива, знает свою собственную природу, понимает ее, вот и весь секрет! Пока она жива, пока жив...» Тут Корнилов остановился, не стал догадываться, тем более что догадалась Александра Федоровна:

— Все дело в тебе, Костя,— сказала она.— Пока ты жив, Нине обеспечена молодость. Ты, наверное, нарочно и себя и ее из Москвы-то увез? Чтобы лет через тридцать вернуться в Москву и всех удивить?

— Ну, а как же все-таки твой Матвей?— снова спрашивала Нина Всеволодовна.

— Занят по горло. Оба мы по горло. Он в наркомате, я в Коминтерне. К Мейерхольду ходим. А с Аванесовыми по-прежнему водимся. С Межлауками тоже, но поменьше. Матвей меня по-прежнему любит, а в тебя, Нина, кажется, по-прежнему влюблен.

— Не перестаю удивляться,— смеялся Лазарев,— Александра Федоровна Романова — в Коминтерне!

— А я не в самом. Я в сопутствующем учреждении.

— Ну, и в сопутствующем — разве не удивительно? Вы с Матвеем фамилии, что ли, переменили бы! Все нынче меняют, а вы уперлись, словно... Матвей упрям, так уж упрям!

Тут Корнилову почудилось, будто он очень-очень давно знает Нину Всеволодовну, лет пятнадцать по меньшей мере. Ну, конечно, если она за пятнадцать лет ничуть не изменилась, значит, во всем этом сроке ее легче легкого представить и узнать! Это жаль, что Корнилов не бывал в Цюрихе, и тут ему не хватило географии городского пейзажа, чтобы представить себе, как это его знакомая Ниночка Лазарева, студентка, с книжками под мышкой бежит-торопится через Новый мост? Архитектурного облика городской ратуши и августинской церкви ему тоже не хватало, единственно, что он мог сказать тогда, припомнив что-то из описаний Швейцарии:

— С Нового моста прекрасный вид на Цюрихское озеро!

— Прекрасный!— подтвердила Нина Всеволодовна, улыбнувшись Корнилову и как бы даже вспоминая, уж не вместе ли они — она и Корнилов — каждый день бегали по Новому мосту на лекции?

Нина Всеволодовна, когда она очень волновалась, замолкала. Волновалась она не часто, но Корнилов подумал: «А что же будет, если случится что-нибудь действительно трагическое? Ведь тогда она может замолкнуть на всю жизнь?»

К Нине Всеволодовне многие-многие были неравно-

душны. Все крайплановские мужчины, да и прочие тоже.

Это, во-первых, выражалось в повышенном внимании ко всему, что она говорила, стоило ей заговорить в линейке, положим, или на вечерней дачной посиделке, и все тотчас умолкали, даже если в это время шел горячий спор по вариантам «Сверхмагистраль — Южносибирская», или о плановом проценте коллективизации сельского хозяйства в предстоящее пятилетие, или о воспитании детей в школе, в пионеротряде и дома. Внимание проявлялось и в том, что «Нина Всеволодовна», имя-отчество это никогда без крайней необходимости не упоминалось ни в одном разговоре. Имя-отчество это оберегалось от излишних упоминаний, от которых оно, казалось, пусть и немного, а все-таки может потерять...

Очень умелый, интеллигентный, не фамильярный, но и не чрезмерно возвышенный тон сумел установить по отношению к Нине Всеволодовне Бондарин. Не скрывая симпатии, он был к ней внимателен и учтив в той как раз мере, которая точно соответствовала и тому, что она замужем, и тому, что она замужем за совответработником, и тому, что он сам, Бондарин, не только «бывший», но и бывший генерал.

И внимание Бондарина к Нине Всеволодовне стало даже чем-то необходимым для всех, никого не смущало — ни его самого, ни ее, ни Лазарева. Если бы этого внимания вдруг не стало, вот тогда бы появилась какая-то неловкость.

И, все это чувствуя тонко, Бондарин как будто и запросто, а все-таки чуть-чуть и не запросто шутил с Ниной Всеволодовной, а иногда, очень редко, даже бросал ей одну-другую фразу по-французски или по-немецки, и ей это нравилось, хотя отвечала она ему только по-русски.

Бывало, возвращается линейка из города или же едет в город — крайплановцы едут в Крайплан, женщины с корзинками на базар и в магазины,— и вдруг затеется между ними этот легкий, веселый и непринужденный разговор.

«Вот как нужно разговаривать и шутить жене совответработника с бывшим генералом!» — невольно думают тогда все женщины в линейке.

«Вот как «бывшему» нужно разговаривать с женой

совответработника!» — мотают себе на ус мужчины, «бывшие», разумеется, прежде всего.

«Вот как нужно вести советский светский интеллигентный разговор!» — думают те и другие.

Но однажды Бондарин все-таки дал маху, ошибся! На даче это было, на берегу Еловки в прошлом году. Песчаный, чистый-чистый берег, буроватая ласковая журчливая вода, узкие темно-зеленые листочки на ярко-красных прутьях кустарника-шелюги, и тут же несколько скамеек и деревянный, пристроенный к пеньку столик — это уже крайплановское имущество, сюда-то и приходили плановики в выходные, устраивали не то чтобы пикник, а так, полдник какой-нибудь или паужин. Легкая закуска, чаек, спиртного, конечно, ни-ни!

Тут-то, раззадорясь после каких-то анекдотов по поводу международного положения, после споров о событиях и людях теперь уже исторических 1910-х — 1920-х годов, оставшись в этих спорах благодаря удивительной своей памяти несомненным победителем, Бондарин вдруг сказал Нине Всеволодовне:

— А вы женщина бесстрастная!

И это было слишком. Все так и поняли, что слишком. И Нина Всеволодовна взглянула на мужа, замолчала на полуслове, чуть-чуть приоткрыв рот. Потом ответила так:

— Для больших страстей, Георгий Васильевич, нужен ведь, чтобы не получилось глупостей, очень большой ум... Иначе...— Она словно бы и не хотела своего собеседника обидеть, но не задеть его не могла.

— Может быть, и так...— неуверенно сказал всегда и во всем умеющий быть уверенным Бондарин.— Но не всегда, ох, не всегда существует этакая гармония!

— К сожалению, далеко не всегда!— согласилась и Нина Всеволодовна.

А еще, который уже раз, вспоминалось:

...скользкие зимние тротуары, и вот они возвращаются из театра после встречи с Толстым («Власть тьмы»), первой встречи после долгой-долгой разлуки с ним. После гражданской войны, после всех событий новейшей истории, которые были бы так чужды Толстому...

Вот когда — в 1927 году, зимой, незадолго до кончины Лазарева,— когда смеркалось, когда уже не было

навязчивого ощущения времени и нынешнего быстротекущего и такого настырного дня, который обязательно должен чему-то принадлежать — то ли войне, то ли военному коммунизму, то ли нэпу, то ли периоду восстановления и реконструкции народного хозяйства,— и состоялось это причащение, настал час, он и сообщил невидимую благодать и нежность к миру...

При этом, однако же, Лазарев все-таки подтвердил, что он и в театре очень хорошо заметил в Толстом графа, а Достоевского вообще не любит. И посмеялся над Федором Михайловичем, над почитателями его: не сами по себе будем погибать, а по великому Достоевскому! И тут же заметил, что вот жена его Достоевского обожает. То есть он признал, что жена может быть в какой-то отдельности и даже самостоятельности от него, и это было такое необыкновенное с его стороны признание и такое удивительное для Корнилова открытие!

Теперь же Нина Всеволодовна страдает одна, страдает, наверное, теми самыми муками, которые Лазарев отрицал и ни во что не ставил. Конечно, она ни в чем не упрекает его, она и теперь его обожествляет за то, что он умел и вот эти муки отрицать, а она вот все еще не умеет и не может, но что из этого следовало? Нынче?

А вот: один, один на всем нынешнем свете Корнилов мог Нину Всеволодовну понять, поняв, убедить в том, что она и без Лазарева человек, и без него женщина, что и в этой потере она сама нечто большее чем ее страх и ее ужас перед одиночеством! Ну, кто бы все это еще мог ей сказать, кроме него? Никто — он был единственным!

Он был им еще и потому, что, спасая ее, лишь отвечал бы взаимностью: ведь это благодаря ей, Нине Всеволодовне, в тот зимний день, когда они возвращались из театра, от Толстого, Корнилову пришла догадка: «Вот умру, и это будет значить, что и человечеству осталось уже совсем немного...» А что? Почему это и зачем Корнилов решил когда-то стать богом? Чтобы встать над человечеством и повелевать им? Да ничего подобного, никогда не увлекала его эта незначительная, эта мелочная задача, просто-напросто он еще в детстве догадался, что ему нужно родиться и стать человеком не через черта-дьявола, а через ту природу, которая может открыть человеку самого себя... Да, да, так оно и было: взрослому не дано, а детский ум, правильный, создал замысел природный, естественный и точный, но тут что случилось — разрозненный, расхристанный на части

мир уже взрослого Корнилова тоже раздвоил, растроил, раздесятерил...

Ну, а какой же это бог, какой сын божий, ежели он состоит из разрозненных и даже не совместимых между собою частей, сам толком не зная, каких именно? Сказано же: «Бог един и всемогущ!» Потому как раз и всемогущ, что един! А?

...Из таких-то соображений, из такой значительности являлась нынче к нему Нина Всеволодовна.

КАРНАУБСКИЙ ВОСК

Среди множества бесед и разговоров и встреч, которые еженедельно, а то и два раза в неделю проводил Корнилов как зампред КИС с авторами всякого рода предложений, проектов и прожектов, случилась и еще одна нежданная-негаданная, она для судьбы Корнилова могла иметь, а может быть, уже имела огромное значение. Впрочем, этого он еще не знал, только догадывался.

Корнилов ее окрестил, имя дал ей, этой встрече — «Карнаубский воск». В сознании его и в догадках она так и закрепилась, и существовала под этим именем.

Ну вот, вошел к нему однажды человек, и сразу же крохотный его кабинетик стал того меньше: сесть, уместиться на стул можно, постоять можно, но сделать шаг туда-сюда — этого уже нельзя, человек, вошедший к нему, был объемен чрезвычайно, притом — живая карикатура. И живучая.

Это самым главным и было в вошедшей фигуре — ее живучесть, такая очевидная и безоговорочная, что Корнилов смутился. Он подумал: «Ну, ну! Что-то теперь будет? Что-то ведь обязательно будет!» И, конечно, тотчас же узнал фигуру: нэпман, который неизвестным каким-то образом был гостем на свадьбе Бондарина. Не сходство и не шутка природы — перед ним в натуре восседал тот самый свадебный нэпман.

Он поздоровался:

— Здрасьте, товарищ Корнилов, рад, необычайно рад видеть вас живым-невредимым! — И тут же спросил: — Анекдотец последний не слыхивали? Значит, так: встречаются два нэпмана, один другого спрашивает: «Как жизнь?» Что тот отвечает? Ну, которого спрашивают? Не знаете? То-то! А отвечает он так: «Живу, как картошка!» Вы спросите: «Почему картошка? При

чем картошка?» Вот и тот собеседник точно так же подумал и точно так же спросил: при чем, дескать, картошка? «А очень просто,— отвечает другой, ну, которого спрашивали о жизни.— Очень просто, потому что ежели не съедят, так посадят, а не посадят, так съедят!» Так мы и живем, товарищ Корнилов, всегда имея налицо два выхода. Мы — нэпманы. А иначе сказать, самая соль нынешней, советской земли... Самая, уверяю вас, самая! Не верите?

Начало разговора, тон этот для Корнилова был неприемлем, но в том-то и дело, что посетитель совершенно точно это знал, однако же именно потому, что знал, он и вел разговор таким вот образом. Он и еще хотел дать понять, что встреча их — не просто так, что сам он — карикатурная фигура — тоже не просто так.

Корнилов на это своеобразное приветствие, на анекдотец не ответил, подвинул к себе стопку бумаг и углубился в чтение той, что лежала сверху. Воцарилась тишина.

Однако и тишина входила в расчет посетителя. Корнилов поднял глаза и убедился: входила!

Ну что же, пускай расчетливый этот человек посидит, подождет. Бумага, которая лежала поверх других, небольшая, серенький клочок с неровными краями, адресовалась в Краевой отдел народного образования.

Поскольку этот отдел ведал учебными и научными изданиями, правление КИС и обращалось к нему с просьбой «выписать ассигновку на сумму одна тысяча (1000) рублей на издание трудов предстоящего съезда научных работников Сибири с повесткой дня по изучению ее производительных сил».

Это была так себе бумажка, не суть важная.

А вот другая, уже не бумага, а папка со всяческими цифровыми выкладками, записками, пояснениями и протоколами, та имела принципиальное значение, вокруг нее какие только битвы не происходили в Москве и в Красносибирске, это был расчет двух вариантов плана развития народного хозяйства Сибири — максимального, с учетом тех возможностей, которые должны вступить в силу одновременно с эпохой социалистической реконструкции, а также с широким привлечением иностранного, прежде всего концессионного капитала, и минимального, рассчитанного на неблагоприятные условия хозяйственного развития.

Затем лежало «Дело» Переселенческого управления, поступило в Сибкрайплан 27.III.27.

Рассмотрено в рабочем аппарате 4.IV.27.

Рассмотрено в коллегии Сибкрайплана 12.IV.27.

Рассмотрено в Большом президиуме Крайисполкома 17.IV.27.

Передано в КИС для рассмотрения вопроса о дополнительных земельных фондах в районах северной границы земледелия 18.V.27.

Земфонды следовало изыскать с учетом потребности переселенцев из европейской части СССР в количестве 117 000 чел.

Тут же, в том же «Деле», были: а) списки высадочных пунктов (железнодорожные и пристани); б) подсчет расходов на бесплатное питание переселенцев в течение семи дней; стоимость одной суточной порции 7,5 коп., а именно: мяса — 100 гр., капусты 120 гр., картофеля 800 гр., соли 8 гр., лука 25 гр., хлеба 600 гр.

Вот какие дела: 117 тысяч человек переселялись в Сибирь, а земельных, намеченных ранее фондов уже не хватало, и Корнилову нужно было определить районы заселения. А тут является этакая брюхатая карикатура и сидит, и молча ждет, чтобы с нею заговорили о каких-нибудь пустяках, о каких-нибудь этой фигуры доходах. Когда бы не имелся в виду какой-нибудь доход, зачем бы фигура эта появилась здесь? В КИС?

Долгая, долгая была тишина...

В конце концов должна была кончиться и она. Корнилов поднял глаза — 117 000 переселенцев не смогли отвлечь его внимания от этой фигуры.

Перед ним сидел человек, конечно, умный, проницательный, хотя и порядочный вертопрах. Чего больше — ума, проницательности или вертопрахства,— угадать невозможно.

Еще помолчав, поерзав на стуле, заскрипевшем жалобно, нэпман сказал:

— Представитель промыслового товарищества «Хим-унион» по Сибири. Временный представитель и только по особым поручениям!

Корнилов обратил внимание на то, что представитель «Хим-униона» не назвался — ни фамилии, ни имени-отчества, ничего, но спрашивать не стал, спросил по-другому:

— Ваше дело? Дело, с которым вы пришли?

— Оно какого рода, товарищ Корнилов? Не могли бы вы подать в Крайплан бумагу о необходимости производства в Сибири карнаубского воска?

— Какого, какого?

— Карнаубского.

— Должен признаться, что я...

— И признаваться не надо. И я, представитель «Хим-униона», понятия не имею, что это такое, какой состав, как этот самый воск выглядит. Белый он или зеленый. Или небесно-голубой, не знаю. Ни бум-бум! Но совершенно не в этом дело. Все данные, как только вы согласитесь на такую бумагу, вам будут представлены. В лучшем виде и незамедлительно! Все будет в вашем распоряжении: и химсостав, и технология производства, и экономические показатели, это уже само собою. Точненько все будет и в срок! Да ежели бы вы сочли это удобным и необходимым, то и проект вашего письма, которое вы подали бы в Крайплан, тоже будет. Пожалуйста! Хотите, завтра утром?! Хотите убедиться, что дело вы имеете с людьми серьезными и деловыми? Полу́чите проект сегодня же!

— Ну, а для чего необходим этот самый воск? Вы можете мне объяснить? Сегодня же?

— Сию секунду? Это, конечно, могу. Для производства сапожной ваксы. Иначе сказать, гуталина! Значит, так: на курсах для выдвиженцев совторговли идут выпускные экзамены, и выпускника одного спрашивают: «Что такое план товарооборота?» — «А это,— отвечает выпускник-выдвиженец,— это, конечно, цифра, пущенная сверху. Из руководящих инстанций». Экзаменатор подумал, подумал: «Так-то так... Ладно. А что такое рентабельность торгового предприятия?» — «А это опять же цифра, пущенная сверху!» — «А что такое доход торгового предприятия? Из чего он складывается?» — «Из цифры, пущенной сверху!» — «Ну, ладно, последний вопрос: а что такое убыток?» — «Убыток есть цифра, пущенная классовым врагом!» Интересно? Мне лично представляется — очень интересно!

— Не смешно. А для анекдота это обязательно — быть смешным. И вообще, вы это к чему?

— В определенном смысле это весьма к месту. Это подчеркивает, что в нашем разговоре ничего такого нет. Ни сверху нет, ни снизу нет, ни от руководящих инстанций, ни от классового врага, ниоткуда, а только от дела. Гуталин советским гражданам нужен? Ясное дело,

нужен. Вот мы и будем его производить в Красносибирске! Предприятие будет скромное, безобидное, конкуренции с государственной промышленностью никакой, Советской власти оно не угрожает и никогда не будет угрожать, а, наоборот, будет вносить в госбюджет хороший налог. Всем польза! Ну, так подписываете докладную бумагу? Ведь в госбюджет — хороший доход! Аккуратно. На нужды обороны или для развития индустрии, или на реконструкцию сельского хозяйства, на что хотите — аккуратно! Всем польза, вот и подписывайте докладную.

— Если бы даже я такую бумагу написал, и тогда товарищ Прохин, председатель краевой Плановой комиссии, ей хода не даст. Крайплан занимается государственным планированием, а не ваксой частного производства.

— Так это же очень хорошо, это же прекрасно, что товарищ Прохин не будет затрудняться! Значит, он что сделает? Он пустит бумагу по инстанции в какую-нибудь промысловую кооперацию, еще куда-нибудь, а куда бы он ее ни пустил, мы везде ее найдем и уже оттуда сами дадим ей дальнейший ход. Тут что важно? Чтобы кто-то, и даже не кто-то, а вы лично, советский служащий, специалист из авторитетной, из авторитетнейшей организации, бумагу пустили в оборот. И все! И только! А дальше не беспокойтесь, дальше вы никогда о той бумаге и не вспомните и она вас ничем не обеспокоит, не затруднит, не обяжет и никогда больше касаться вас не будет. Дальше бумаженция эта без вашего участия, тем более без участия товарища Прохина, пойдет своим ходом, куда ей нужно, и придет, уверяю вас, куда ей нужно. И сделает дело, которое нужно сделать.

— Кому нужно? Кому все-таки? Вам лично?

— Советскому человеку необходима вакса, еще лучше — высший ее сорт, то есть гуталин! Без ваксы, без гуталина он — куда? Ни в гости, ни на собрание, ни в клуб на культмероприятие! Пирамиду какую-нибудь на сцене и ту не посмотрит, «Синюю блузу» и ту нельзя. Докладом каким-нибудь по международной или хотя бы по внутренней политике и то не проникнется. Это нелепость какая-то — отсутствие гуталина! Любой классовый враг скажет: «Дожили, что и ваксы нет!» Значит, так. В каком-то весьма экономическом Совете в Москве каждый месяц ужасно спорили: какой процент от себестоимости должны составлять наценки на товары

розничной торговли? В конце концов постановили: в целях борьбы с бюрократией и с заседательской суетней себестоимость ликвидировать! Наценки установить на каждый предмет постоянные на все время предстоящего пятилетнего плана. Вот какой, скажу я вам, нынче у нас в России нэп. Какой экономический!

Да, человек был неглуп, глазенки у него играли, загадывали загадки.

— Откуда столько анекдотов? И все на одну тему. Специализируетесь?

— Господи! Действительно, откуда они только берутся? Сам не понимаю! От кого слышал или когда, где — хоть убейте, но сами по себе, безо всякого происхождения они у меня, то есть в голове моей так и плодятся! Словно кролики. И что же получается? Получается, я их сам выдумываю? Так опять-таки, скажу я вам, непохоже. И этого тоже не замечал за собой. Причем, поверьте, они у меня тематически размножаются: недели две-три на одну тему, потом на другую и так далее. Единственная постоянная у меня тема, никогда-никогда мне не изменяет — о женщинах. Но к нынешнему разговору это, к сожалению, прямого отношения не имеет. Не имеет?

— Знаю такую психологию,— пожал плечами Корнилов.— Она случается у людей, у которых слишком много беспатентных слов.

— Беспатентные слова? Хорошо придумано! Сами придумали либо услышали где-нибудь?

В вопросе посетителя не было ни капли обиды, одно только любопытство, он повторил:

— Значит, придумали сами! Лично! А вот в новостях текущего дня вы все-таки слабоваты. И я, знаете ли, завидую: на такой советской должности, в таком авторитетнейшем учреждении, а новости и слухи со стороны вас как будто вовсе не касаются, да? Нет, я бы так не смог! Я бы все-все знал, что вокруг происходит, что не говорится, и то знал бы непременно.

— Веселый вы человек. И общительный.

— Очень этим горжусь! Впрочем, веселые люди — они страшные гордецы. То есть я говорю об истинно веселых, с талантом или хотя бы с талантиком, о мелких трепачах речи нет. Вот возьмите, писатель Аркадий Аверченко написал «Дюжина ножей в спину революции!». Это от чего, от веселости или от ущемленной гордости? От чего, а?

— Не интересовался. Не возникал вопрос.

— Опять-таки не возникал. Удивительно! Ну, а Зощенко? Не видите, сколько гордыни? Сколько презрения к людишкам? Тоже не замечали? Нет, не замечали, опять нет и нет. Говорят, к тому же франт неслыханный. На весь Ленинград славится! Не слыхали?

— Кто франт? — переспросил Корнилов. Он так понял, что этого посетителя-весельчака нужно почаще переспрашивать, чтобы было время самому обдумать ответы. Конечно, можно было прогнать его сию же минуту, но тут не то чтобы любопытство появилось, а необходимость каких-то выяснений: что значит эта игривость? А что эти глазки значат и хотят узнать?

— Как это — кто? О Зощенко у нас разговор! О Михаиле Михайловиче,— напомнил Корнилову его посетитель.

В том же тоне, с той же приблизительно интонацией Корнилов ответил вопросом:

— Вам герои Зощенко нравятся? Очень?

— За них я, что ли, у вас прошу? Я за себя прошу: подпишите, ей-богу, бумагу. Насчет карнаубского воска! Вы ведь даже и доводов не найдете против. Ну, почему, право, не подписать? Я знаю, кто только к вам не приходит, какие только глупые и бестолковые проекты-прожекты вам не предлагают и требуют от вас в этих прожектах самого деятельного участия. А я? Я пришел с вопросом совершенно деловым! У меня такое, знаете ли, впечатление, что вы чего-то опасаетесь. Ну, как будто бы я толкаю вас на неблаговидный поступок. А какая тут неблаговидность? В ваксе? В гуталине? Уму непостижимо, какие эти совслужащие боязливые. Всего на свете боятся!

— Вы-то лично какое будете иметь отношение к гуталиновому предприятию, если, паче чаяния, оно будет открыто? — спросил Корнилов.

— Никакого! Ни малейшего! Я доверенное лицо «Хим-униона», причем только на этапе организации производства гуталина в Сибири. Только! Но чтобы я постоянно занимался каким-нибудь производством? Химическим и вообще? Никогда! Чтобы я служил какой-то фирме постоянно, из года в год? Никогда! Я свободный коммерсант, если хотите, свободный художник, сам себе личность, никакие там ЛЕФы, РАППы, «Серапионовы братья» меня совершенно не интересуют, а вот собственная личность — дело другое. Совсем-совсем

другое... В этом все другое: и теория, и практика, и все, что может быть другим, все другое.

— Практика — это понятно, а теория? Если не секрет, теория, она у вас какая же?!

— Серьезная! — Посетитель сделался серьезным, и, что удивительно, это к нему, оказывается, шло. У него, посерьезневшего, вид стал деловым и толковым. Были, были у человека возможности обойтись без анекдотцев, без нахальства, без хитроумности, а стать попросту умным. И даже не таким толстым. И толщина его показалась вдруг несколько деланной, он ею бравировал, показывал ее, а не будет показывать, и она окажется куда менее заметной. — Начну издалека, — заговорил он серьезным тоном. — Если уж вас это интересует, тогда издалека. Все дело в том, что я неудавшийся теоретик. И тут ничего особенного, потому что все мы неудавшиеся теоретики. Все! Я исключений не встречал. Потому что теория — это желание. А практика — это все то, что остается от наших желаний. Вот так! Я на фронте мечтал быть командиром полка, а был полковым писарем. Вот вам теория и вот вам практика. А кто виноват? Вы думаете, я кого-нибудь виню? Никого, сам виноват, а самого себя винить — это глупость, потому что не имеет смысла. Потому что это у нас от бога — выковыривать из себя призвание, настоящую божью искру. Но... Бог дал, бог взял! Только дает-то он нам своими руками, а выковыривает из нас нашими! Итак, ежели она нам действительно дана, искра, то мы ее обязательно из себя выковырнем. Все мы самоубийцы, только у нас и надежды: вот это в себе обязательно убьем, но ведь что-то еще обязательно останется. Второе что-то убьем, третье останется. И так выковыриваем-выковыриваем, а все равно правы: что-нибудь еще останется! Да вот хотя бы и вы — философом были, а пошли на фронт, встряли в дело, совершенно вам несвойственное, а свойственное выкорчевали. Да у вас и до сих пор во внешности, скажу я вам, осталось что-то университетское, ей-богу! Вы, между прочим, наверное, и сами об этом знаете, а?

Посетитель-то? Завзятый нэпман-то? Навел о Корнилове справочку, а потом уже и беседует на тему о сапожной ваксе.

Корнилов так и сказал:

— Квалифицированный посетитель — сначала навели справочки...

— Я не приват-доцент, но грамотный.

— Это заметно.

— Благодарю вас.

— Мы немного знакомы,— заметил Корнилов.— Мы были вместе на одном семейном торжестве...

— Ну, как же, ну, как же, на свадьбе бывшего генерала Бондарина! — с готовностью подтвердил посетитель.— А за столом, там ведь по русскому обычаю как? «А это кто? А этот откуда?» Вот я и оказался наслышанным не только о генерале, но и о вас тоже. Вы ведь были на торжестве второй фигурой. Первой, разумеется, генерал, а второй — вы!

— Я этого не заметил.

— А я заметил. Так продолжим насчет теории? А дело было так. Инспектор из выдвиженцев приходит в частный магазин с ревизией. «Почему торгуете по ценам выше государственных?» — «Без наценки не могу. Это моя зарплата!» — «Тогда вот что: зарплату будете получать от государства, а торговать будете по государственным ценам!» Такой, скажу я вам, дорогой товарищ Корнилов, нынче нэп! — И посетитель снова стал похитроумнее и потолще.

— А это вы к чему? — спросил Корнилов.— Не понимаю.

— Видите ли, требуется некоторый компромисс в этом деле с ваксой. В некотором роде такой же, как в анекдотце. Впрочем, как и во всем нэпе, ничуть не больше. Видите ли, товарищ Корнилов, вам для пользы дела нужно бы познакомиться с одним печатным материальчиком. С одной, иначе сказать, публикацией, которую вы могли, конечно, и раньше читать, но могли пропустить среди многих и многих других важных сообщений. Вот, пожалуйста...— И посетитель вынул из кармана пиджака газетную вырезку, протянул ее Корнилову.— Познакомьтесь!

Это была хроника, вырезанная из «Известий», речь в которой шла вот о чем. Некто Цейтлин, специалист по организации лжекооперативов, стоял во главе «промыслового товарищества» под названием «Хим-унион», оборот которого за 1927 год составил 1 800 000 рублей. В товарищество входила артель «Омега», руководителем ее, а по существу, частным ее владельцем, был гражданин Вакштейн. У Вакштейна состоял в качестве агента по снабжению некий Функ, который имел связи с работниками советской внешней торговли, через них-

то артель «Омега» и получала все то количество карнаубского воска, которое импортировалось советским государством из-за границы. Все до последнего килограмма! Используя же карнаубский воск, артель «Омега» выпускала гуталин высшего качества, с которым не могли конкурировать ни одна другая артель и ни одно государственное предприятие. Судебное разбирательство дела привело к осуждению его участников на разные сроки — от 5 до 2 лет заключения с конфискацией имущества.

Корнилов прочел всю эту довольно пространную хронику «Из зала суда» и в полном недоумении вернул ее посетителю.

— Ах, вот в чем дело! Теперь все понятно,— сказал он.

— Что же вам понятно? Не могу себе представить, что вам стало понятно?

— Афера, в которой вы участвуете. В которую хотите втянуть меня.

— Вот так раз!— воскликнул посетитель.— Какая же это афера? Совершенно никакой! Наоборот, была афера по внешнеторговой линии, а чтобы она не повторилась, нужно наладить производство карнаубского воска у себя дома, в Союзе Советских Социалистических Республик, вот и все. Если бы я хотел аферу повторить, разве стал бы я показывать вам газетный этот материал?

— Но для чего-то вы его показываете?

— Для честности! Честное слово, для честности! Чтобы в своей записке — я все-таки надеюсь, вы эту записку напишете!— вы так и написали бы: вот материал «Известий», вот такие возможны аферы с карнаубским воском, а чтобы их не было, этих афер, надо в области ваксы избавиться от иностранной зависимости, то есть самим наладить производство карнаубского воска. Ясно и понятно! Вот если бы вы на этот материал не сослались, обошли его, вот тогда действительно вас можно было бы заподозрить в чем-то неблаговидном. Не только вас, но даже и меня!

— Но ведь «Хим-унион» ликвидирован? Как же вы его до сих пор представляете и от его лица обращаетесь в государственные организации?

— Кто сказал, что «Хим-униона» больше нет? Он как был, так и остался. Только в нем другие лица, другой устав и другой, очень строгий над ним контроль со стороны органов Советской власти. А «Хим-унион»

в нынешнем году намечает перешагнуть два миллиона рублей в оборотных средствах! «Хим-унион» существует, и потребность в карнаубском воске существует, только не надо окольными путями его доставать и даже воровать, а лучше наладить его производство самим. Воруют, сбывают из-под полы то, чего не хватает. Не будет недостатка в карнаубском воске, и никто не будет его сбывать по блату, устраивать аферы. Так что мы с вами, вы и я — борцы за честность, а больше ничего. И все правильно, дорогой Петр Васильевич, все совершенно правильно!

— Петр Николаевич,— поправил Корнилов.— Ни-ко-ла-е-вич!

— Разве? Не может этого быть! Не может быть, чтобы память мне изменила.

— Изменила,— подтвердил Корнилов.

— Никогда! Не может быть!

Ну вот... Ну вот и наступила та секунда, приближение которой Корнилов уловил обонянием, когда толстяк этот переступил порог его кабинетика. Уловил, но потом за разговором забыл о ней, о той секунде, теперь же почувствовал ее на вкус. Вкус был горьким.

А посетитель объяснил Корнилову ощущение этого вкуса.

— Мы, нэпманы,— объяснил он,— всегда имеем преимущество перед госаппаратом, всегда. Его, аппарата, много, а нас мало, а ведь известно: один ум хорошо, два лучше, а три — совсем никуда не годно! А еще потому, что у вас, у совслужащих, разделение: одни, хотя бы вот и вы, думают, что нужно сделать, а другие, где-то на местах, как сделать. А это нехорошо, такое разделение. Тем более нехорошо, что что действительно у всех может быть одинаковым, но как — никогда, оно у каждого свое. А у нэпмана, у него в одной голове и то и другое всегда вместе.— И посетитель постучал себя по круглой лысоватой головке.— И то, и другое здесь,— подтвердил он.— Не верите?

Потом надолго и, как показалось Корнилову, с глубоким, чуть ли не с искренним сожалением замолчал. Потом вздохнул и тихо сказал:

— А мы знакомы, Петр Васильевич.

— Сидели за одним обеденным столом,— подтвердил Корнилов.

— Мы знакомы с вами давным-давно! Но вы меня забыли, а я вас нет. Я вас помню, Петр Васильевич!

— С кем-то спутали, с каким-то однофамильцем. Со мной уже случалось, что меня путали, хотя и не сказал бы, что это очень распространенная фамилия — Корнилов.

— В германскую войну служили в Сарапулском полку, это точно, это вы отрицать не будете? И я там служил. Полковым писарем. Теперь подумайте, кому, как не писарю, знать по имени-отчеству офицеров полка? Тем более батальонных командиров. Более того, я с батюшкой вашим состоял, можно сказать, в переписке. Когда вы отбыли со своими однополчанами в город Сарапул, батюшка ваш запрашивал полк, где вы и что вы. А так как я все еще состоял при полковых бумагах и документах, я и отвечал ему, как умел и что знал: Корнилов Петр Васильевич, штабс-капитан, выбыл из полка в направлении города Сарапула. Батюшку вашего звали, мне и тут память не изменяет нисколько, Василий Константинович. Был он присяжным поверенным в Самаре. Еще что-нибудь интересует вас из собственной вашей биографии? Я могу! Может быть, своих однополчан-офицеров хотите вспомнить? По фамилиям, по именам? По чинам? Я могу!

— Сарапулский полк и карнаубский воск — объясните, пожалуйста, что общего? Между ними?

— Да вот хочу все-таки обратиться к вам с убедительнейшей просьбой: напишите бумагу! Ведь это же так для вас просто и даже, можно сказать, естественно — написать. Сделайте!

— После того, как вы хотите вынудить меня это сделать? Не сделаю!

— Мало придаете значения прошлому? Тогда как оно все сегодняшнее определяет?

— Мало.

— Почему же?

— Потому что уж очень его, прошлого, много. Так много, что ни понять, ни усвоить его нельзя — к чему оно было, зачем было?

— А вот это интересно!— с неожиданной какой-то и совершенно незловредной живостью воскликнул посетитель и снова посерьезнел.— Это, знаете ли, очень-очень любопытно. И меня всегда интересовало. Теоретически! Оч-чень интересно! Оч-чень...— И посетитель вдруг подмигнул. Правым глазом. И спросил:— А вы? Или не понимаете моего интереса? К прошлому?

В том, что разговор уходил в сторону от Петра Николаевича-Васильевича, Корнилов заметил вдруг неплохое предвестие, поэтому он и подхватил тему «прошлое — настоящее».

— И что же это в вашем нынешнем дне определяется прошлым? Какие именно факты? Объясните?— попросил Корнилов.

— Все, какие есть! Хотя бы воздух, который вокруг, потяните-ка носом, вот так, как я тяну, и что? Воздух, как в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Ей-богу! Десять лет прошло, а то же самое: тогда уже была Советская власть, и сейчас она же. Тогда благодаря ей вот-вот новые и новые перевороты в жизни должны были произойти, и сейчас — разве не чуете?— вот-вот произойдут. Тогда генералов, повстанцев всякого рода готовились ликвидировать, теперь с нэпманами произведут, уверяю вас, такую же операцию!

— Нэпманов ликвидируют? Вы думаете? Тогда зачем же вам предприятие, этот самый карнаубский воск?

— А вот и ответ на ваш вопрос: затем, что опять-таки привычка прошлого. Привычка какую-то собственность, движимость и недвижимость иметь, привычка ради этого жить и что-то делать, привычка до последнего дня жить так, как в прошлом жил. Я, например, привык, чтобы ресторанчики были, чтобы девочки были, чтобы курьерские поезда с проводниками, по-французски умеющими, были, чтобы благо шло неизменно ко мне, в мои руки, а не из моих рук неизвестно куда. А что все это нынче объявлено прахом, который только и нужно, что отряхнуть со своих ног, это нехорошо! Это по природе человеческой неправильно и не бывает, а бывает наоборот: чем больше мы прошлым пренебрегаем, тем больше оно к нам привязывается и мстит нам.

— Мстит?

— Обязательно!

— Каким же образом?

— Простым. Взять, к примеру, вас. Вы что же, ушли от себя, прошлого, плановик, совслужащий и даже ответственный совслужащий? Вы только об этом подумали, только поверили, а тут прихожу я и говорю: «Нет уж, Петр Васильевич, будьте добреньки, похлопочите насчет карнаубского воска, а там, глядишь, и еще о чем-нибудь». Да! И не думайте, что роковая случайность, ничуть не бывало, это закон, и когда бы не я, то пришел бы к вам кто-то другой. Кто-то из прошлых ваших зна-

комых, кто-то другой из ГПУ, но пришел бы обязательно! Пришел и сказал бы: «Хотите отряхнуть прах со своих ног, Петр Васильевич? Прошлое хотите отряхнуть? Не выйдет! Нет, не выйдет!» И я даже не понимаю, как это вы, философ, столь легкомысленны к прошлому! Значит, дело было так: приходит инспектор-выдвиженец в советское торговое предприятие, раскрывает бухгалтерские книги. «А это что такое?» Ему долго объясняли, наконец для простоты сказали так: «Вот это книга убытков. А вот это — доходов!» — «Ну, вот так бы и сказали сразу, не морочили бы голову. У вас чего больше-то: убытков или доходов?» — «Мы предприятие рентабельное, у нас доходы заметно превышают расходы!» — «Ежели заметно, тогда зачем считать убытки? Сосчитать доход, и вся недолга. А цифру убытков ликвидировать. И все тут». — «Видите ли, товарищ ревизор, убытки по всему Советскому Союзу считают, а не только мы одни!» — «И зря считают, совершенно напрасно! Вот я от лица пролетарской массы напишу в Москву: зачем считать убытки, ежели фактически их нету, они перекрыты доходами? Напишу и, пожалуй, пойду на выдвижение. В Наркомфин! Как рационализатор пойду!» Так вот, дорогой Петр Васильевич, зачем нам считать убытки? Совершенно ни к чему. Сосчитаем доходы, и все дела. Ей-богу! Тут еще и такое немаловажное соображение: представьте, что завтра начинается утеснение нэпа, устранение от работы бывших офицеров и офицерш, попов и поповен, ну и всех прочих, это ведь представить себе очень просто. Ну, а мы? Мы с вами? Мы с вами будем в это время стоять на производстве карнаубского воска. Это же дело не нэпманом было в ход пущено, а вами, зампредом КИС! Это же будет государственное дело! Ну, не очень государственное, а так, немного, ни то ни се, в общем, как будет нам удобно, так мы и повернем. В нужную нам сторону. То ли в государственную, то ли в частную. Что скажете?

— Скажу: разговор наш закончен. До свидания.

— Закончен? Вы так решили? Уж очень быстро решили по отношению к человеку, которому вы обязаны. Бесконечно обязаны!

— Я? Вам? Обязан? Никогда и ничем!

— Жизнью обязаны вы мне, Петр Васильевич! Всею своей жизнью, происшедшей после семнадцатого сентября одна тысяча девятьсот шестнадцатого года. Не помните?

Вот это, эту дату Корнилов помнил, потому что действительно в тот день он чудом был спасен... Он был поблизости от землянки командира полка, возвращался в расположение своего батальона, когда немцы, скрытно выдвинув на новые позиции орудия, начали обстрел наших окопов и тех долговременных блиндажей, которые тут были. Снаряд лег в такой близости от Корнилова, что еще немного, и достал бы его запросто. Корнилов бросился в воронку, которую только что взрыл снаряд, она еще дымилась пылью, еще пахла чем-то взрывным, была глубокой.

И только он прильнул к откосу этой воронки, откос вдруг тряхнуло, и не быстро, но неотвратимо на него двинулась масса земли, и он понял, что не хватит у него сил из этой могилы выползти, и движений у него не стало, дыхание было последним, тем лишь воздухом, который он успел глотнуть в миг, когда земля, весь земной шар начал обрушиваться на него.

Уже в полевом госпитале ему рассказали, что кто-то из штабных полка, писарь какой-то, отрыл его из-под земли и на штабной же двуколке вывез в лазарет, в тыл.

А теперь спаситель сидел перед ним и смотрел на него внимательно-внимательно. Спаситель сказал:

— Дорогой Петр Васильевич! Вы меня не помните, я с тех пор сильно изменился, одно брюхо чего стоит, а я вас помню, будто только вчера мы ехали на штабной повозке, вы без памяти оттого, что совсем было задохнулись, я без памяти от страха. Было ужасно страшно, до сих пор не пойму почему. Уже и в лазарет я сдал вас, уже немецкий обстрел миновал, а меня трясучка не отпускает. Это в местечке Борки произошло. Я думаю, местечко Борки-то вы запомнили? Вы Борки запомнили, а я запомнил вас, вы с тех пор не изменились. Тогда у вас были усы, а нынче их нету, бородка была небольшая — тоже нету, но в целом человек тот же самый!.. Приходит ревизор из выдвиженцев к частному владельцу сапожной мастерской и спрашивает...

— До свидания,— сказал Корнилов и поднялся из-за стола.— За то, что вы когда-то для меня сделали, признателен и благодарен, да... До свидания.

И, чтобы успокоиться, снова сел и прочел другую бумагу из лежавших у него на столе. Он подумал: кто там, в бумаге-то, встретится? Может быть, тот, кто встретится, поможет ему? Не оставит один на один с нынешним посетителем?

«Журнал заседания при Уполномоченном Наркомпути по Сибири тов. Подшикалине от 23 января 1928 г.

Заседание начато в 1 час дня.

Окончено в 2 часа 35 минут.

Уполномоченный Наркомпути тов. Подшикалин сообщил заседанию, что:

Решенная в центре постройки Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль вызывает резкий рост потребности в строительных материалах, прежде всего в древесине, как во время строительства, так и в дальнейшем для Средней Азии в целом.

Краевые органы Сибири до сих пор не сошлись во мнении по поводу строительства той или другой железнодорожной ветки с целью разработки и вывозки продукции из неосвоенных лесных районов Сибири.

Кроме того, у правительства нет средств для сооружения такой дороги. Тов. Подшикалин выносит на рассмотрение заседания вопрос о проекте железной дороги Томск — Енисейск за счет заинтересованных ведомств и с учетом всевозрастающего экспорта сибирского леса за границу...»

Нет, важная эта бумага не могла Корнилова успокоить...

Тов. Подшикалин, Уполномоченный Наркомпути по Сибири, не помог Корнилову, и читать журнал дальше было ни к чему, и когда Корнилов снимал с вешалки в углу пальто, надевал его, когда пропускал в дверь посетителя, его все так же потряхивало — нервы расходились!

«Опять спаситель, думал он. Когда им конец-то будет, спасителям?» При его-то жизни, которой никто и никогда не позавидовал бы, при собственных его нечеловеческих усилиях эту жизнь сохранить он все равно, оказывается, бог знает кому был своей жизнью обязан, все равно множество было у него спасителей, каждый из них имел право и даже необходимость вот так же явиться к нему и заявить: «Ты у меня, Корнилов Петр Васильевич-Николаевич, в неоплатном долгу! Признаешь долг — расплачивайся! Иначе в ничтожество повергну!» Да так, наверное, и будет: никто, как спасители, погубят его! И спасительницы!

Посетитель сказал:

— Вот так же меня тот раз, в местечке Борки, тряс-

ло, как трясет нынче вас. Даже еще посильнее, как помню. Ну, так мы с вами еще увидимся, Петр Николаевич. Обязательно!

Теперь он сказал «Николаевич», и Корнилов догадался почему: в коридоре, куда они вместе вышли, был и еще кто-то из сотрудников плановой комиссии, для него-то и сказано было «Николаевич».

А про запас, про серьезный запас был оставлен «Васильевич».

Ну, а дальше все работало, работало воображение Корнилова... И сработало такую сцену.

— Здорово, Анатолий! — сказал посетитель, войдя в кабинет к Прохину.

— Здравствуй!

— Значит, так,— сказал посетитель, усаживаясь в кресло.— Значит, это не тот Корнилов, которого мы разыскиваем. Но и не тот, за которого он себя выдает. Он Петр Васильевич, а вовсе не Петр Николаевич.

— Точно?

— Вполне! Я это еще на генеральской свадьбе определил, сейчас подтвердилось! Я его в местечке Борки в девятьсот шестнадцатом спас. Из-под земли, можно сказать, и спас! Работник он каков?

— Работник отличный. Исполнительный. Эрудиция.

— Да-да, оставляет положительное впечатление. Ни на какие подачки не клюет. Так что пусть работает. Пусть пока работает. А мы разберемся, почему он из Васильевича стал Николаевичем, тогда уже станет все ясно...

— Работник хороший! — еще раз подтвердил Прохин, а посетитель сказал:

— Если этого взять, тогда другого можно спугнуть; тот догадается — ищут! Нет уж, пусть их будет хоть пятеро, разных Корниловых, ни одного покуда брать нельзя. Пока не найдем настоящего Петра Николаевича Корнилова. Очень вредного. Очень активного.

— Вам виднее... там...— вздохнул Прохин.— Когда уезжаешь-то?

— Завтра же, Толя, прямиком в Ленинград. И в Москву заезжать не буду, сообщу, что не тот, и все... Этакое путешествие пришлось сделать. И уже который раз! И все не найдем настоящего Петра Николаевича!

— Может, тот улизнул? За кордон?

— Здесь он. Дома. Следы здесь. И много следов! Ну, будь здоров!

Спустя время Корнилов себя обругал: «Вот гад ты, Корнилов! Вот фантазер несчастный, так уж фантазер!»

Обругать-то он себя обругал, но с некоторых пор все чаще стал думать, будто жив-жив тот Корнилов, который Петр Николаевич. Не умер в сыпнотифозном бараке, а жив и преступен был, есть и будет гораздо более этого Корнилова.

Делом нескольких часов было Корнилову устроиться в новом своем жилище; «махонькая комнатка», как сказала прохинская Груня, и подобие кухоньки, а прихожая общая с Ниной Всеволодовной — именно так и решен был жилищный вопрос. И ему, Корнилову, выпала почти что самостоятельная квартира, расширение жилплощади, а Нине Всеволодовне уплотнение.

Пока прохинская Груня по необыкновенной своей доброте и душевному участию к Петру Николаевичу кое-что побелила да вымыла полы да распорядилась в кухне-закутке, где чему, где какой кухонной принадлежности надлежит отныне лежать, висеть, стоять, Корнилов изошелся от нетерпения и боязни: а вдруг в последний момент что-нибудь изменится? Вдруг профком, партячейка, женячейка и сам Прохин передумают: «Нет, для Корнилова, для одиночки, этакая жилплощадь — слишком шикарно!» К тому же почему это Советская власть столь трогательно должна заботиться о бывшем белом офицере? Профком, партячейка, женячейка, комсомольская ячейка, а Прохин тем более, они ведь все были Советской властью, и только Корнилов ею не был.

Просто и ясно. Хотя он и был ответработником, заместителем председателя КИС товарища Вегменского, а неофициально, по существу дела, ее председателем, это простоты и ясности вопроса ничуть не меняло.

Перетаскивая железную кровать и доски из коммунальной квартиры (в которой он соседствовал с Ременных), Корнилов окончательно понял: не передумали!

И даже, наоборот, встретивши Корнилова во дворе, когда тот на рысях тащил свою кровать, Прохин сказал:

— Вот и правильно! Ременных с семейством наконец-то расширится, наконец-то вздохнет, будет жить

самостоятельно, и вы, Петр Николаевич, получили условия. Нину Всеволодовну мы тоже не очень утеснили. Не хотелось ее слишком-то утеснять, а вот так всем будет хорошо!

Прохину и в голову не приходила мысль о каком-то неудобстве в том смысле, что он, Корнилов, одинок, что Нина Всеволодовна одинока, что... Все крайплановцы представляли себе дело так, что между бывшим белым офицером и вдовой Лазарева никаких слов, кроме разве «здравствуйте!», ну и еще «извините!», в том случае, если они нечаянно столкнутся в полутемной прихожей, произнесено быть не может. Что это настолько чужие и чуждые люди, что им даже нет необходимости сколько-нибудь стесняться друг друга.

Но Нина-то Всеволодовна так не думала. Она, помнится, когда еще весной говорила, что есть такое намерение — поселить их рядом, говорила это в каком-то неопределенном смущении.

И, покуда плотники и столяры чуть ли не весь сентябрь месяц разгораживали лазаревскую квартиру на две более или менее самостоятельные части, даже две вешалки для верхней одежды соорудили они в прихожей, причем на разных стенах, Корнилов ждал, ждал вот этой минуты, когда он услышит за стеной шаги Нины Всеволодовны.

Тихо будет в квартире — так представлял он себе заранее,— тихо, сумеречно, он, не зажигая света, притаится у себя в комнате и услышит: тук-тук... Она ходит... Не может она, в самом деле, не ходить, не двигаться? Тук-тук...

И вот она действительно двигалась там, за стеной, и действительно был вечер, действительно было сумрачно, и Корнилов, сидя на своей кровати, слушал, догадывался: Нина Всеволодовна смущена... Нина Всеволодовна думает: «А мой-то сосед, он ведь слышит мои шаги? Он, может быть, их подслушивает?» Еще она думает: «Надо к этому привыкнуть. Надо об этом не думать, как будто соседа нет и никогда не будет».

Так произошло первое событие, но за каждым первым обязательно ведь следует второе? Следующее?

«Одно из двух,— догадывался Корнилов,— или ты, Корнилов, мальчишка и сопляк, или страшный нахал! Одно из двух».

А не все ли равно — кто? Разве в этом дело?

Дело в том, что два совершенно одиноких человека,

столько по-разному жившие на свете, столько по-разному пережившие, если она волею судьбы оказалась рядом, если их разделяет одна только тонкая стенка, просто не могут не сказать, не поведать друг другу о себе, о своих таких разных и таких общих печалях и горестях. О прожитой ими жизни. Жизнь этого все равно потребует.

Ведь это же по наущению Нины Всеволодовны он последнее время искал знакомств с людьми, искренние отношения появились у него с Никанором Евдокимовичем Сапожковым, и у Прохиных он был на чашечке чая, подружился там с Груней... Груня будет приходить к нему в новую квартиру мыть полы, иной раз что-нибудь постряпать. Всему этому причиной Нина Всеволодовна, и не может быть, чтобы она не чувствовала в самой себе этой причины для общения непосредственно с ним, с Корниловым.

Он сидел в комнате Нины Всеволодовны и — весь внимание!— слушал ее.

Она рассказывала о Лазареве, о ком же еще ей было рассказывать? О чем?

— ...Он мог работать двадцать часов в сутки. И тридцать шесть часов подряд мог. Он удивлялся, когда удивлялись ему: «Пустяки! Через полсуток наступает момент слабости — голова кружится, поташнивает, но это недолго, это надо преодолеть, а потом все пойдет как ни в чем не бывало. Вот и при голодовке бывает такой же критический момент — это на всякий случай надо знать каждому... Момент преодолен, и ты снова тот самый работник, которым хочешь быть!» И не дай бог посоветовать, сказать ему, чтобы отдохнул, что не надо бы идти на какое-то заседание, собрание, на какой-нибудь президиум. Такой совет — это покушение на его самостоятельность, и вот я ни одним словом никогда не вмешивалась в его работу... Он говорил, что чем меньше я буду вникать в его работу, тем больше сил останется у меня и у него для нашей любви... Кроме того, это была его привычка детства — он из состоятельной семьи, но начал работать и жить на свои средства уже в пятнадцать лет, уже тогда никого не посвящая в свою работу. И вот он взваливал на себя все больше, больше, и незадолго до его смерти я решилась и сказала ему, что он должен себя беречь, соизмеряться со своими огромны-

ми, но все-таки реальными, а не воображаемыми силами. Что, может быть, ему будет легче, если он хоть что-нибудь будет рассказывать мне. Не обязательно что-то специально-техническое или же сугубо партийное, но могут же быть у него какие-то опасения, сомнения, еще что-то такое, чем человек обязательно должен поделиться с другим человеком. «Все так делают, все ответственные, все до крайности загруженные работой люди!» — сказала я. Он, конечно, возразил: «Не все! Военные же специалисты не говорят женам о планах своих штабов?»

«О планах не говорят, а о себе говорят!»

Тут он задумался. «Меня один вопрос действительно утомляет: что в нашей жизни может быть подчииено плану, а что не может и не должно? Есть граница, я чувствую ее, я каждый день, словно перебежчик, пересекаю ее и часто засыпаю с тем же чувством, стараясь понять, где я. На той или на другой стороне? — Тут он посмотрел на меня.— Ты удивлена! Не надо было мне так говорить?» Конечно, он угадал, я-то всегда думала, что он засыпает только со мной, только с мыслью обо мне. Я очень гордилась тем, что одним своим присутствием могу изгонять у него все другие мысли. Он и еще сказал мне тогда: «Я действительно расскажу тебе... Завтра. Не сегодня, а завтра...»

Нина Всеволодовна замолчала, Корнилов спросил:

— И потом?

— Назавтра он умер...

— Простите. Но о чем-то вы ведь очень много говорили? На даче, в Еловке. Вы все ходили-ходили там, все под руку, и говорили, говорили.

— Господи, мало ли о чем? О Толстом, о Достоевском. О капитализме и социализме. О любви!

— Об Анатоле Франсе и Бернарде Шоу...— подсказал Корнилов.

— О них? Кажется, было и о них. Наверное, было...

— Ну, а если бы вы сказали ему: «Выбирай, или я, или революция? Я или Крайплан? Я или...»

— Он сказал бы: «Ты!» и проклял бы себя. И умер бы, но не назавтра, а в ту же минуту. А тем, что я никогда не ставила этого вопроса «или — или», я и спасала его ежедневно и ежечасно. А теперь вы знаете, какая ужасная мысль: он обманул меня! Он стал всей моей жизнью и моим миром, он всего лишил меня, кроме себя самого, и этим осчастливил меня безгранично, а потом

взял и умер. Конечно, невольный обман, но обман же? Конечно, он не хотел умереть, но умер!

И в другой раз она снова говорила о том, что была порабощена Лазаревым, и говорила об этом как о великом счастье.

— Мужчине непонятно, но женщине...— говорила она.— Ах, не все ли равно, чего лишает тебя любимый человек? Всего на свете? Но это же прекрасно — чувствовать себя лишенной всего на свете! Истинное благо, истинное счастье! Ребенок чего только не лишает свою мать, но она любит его бесконечно! Все состоит в этом — кто лишает, как лишает?! Как дышит он рядом с тобой, этот человек, какие слова говорит, как смотрит на тебя, какими глазами! Кто он? Тот или не тот, которому отдать себя всю — это высшее благо?!

— Всему, что заключено во мне, мне верить не дано. Я и не верила. Верила, когда все это принадлежало только ему... Я была гениальна в отношениях с ним, это я знаю! Он был понятен мне... Со всеми его убеждениями, со всей его самостоятельностью и слабостями, со всею его ограниченностью, свойственной людям, в чем-то раз и навсегда убежденным. Я обыкновенная женщина, но в этом я была гениальна, клянусь! Его нет, и нет больше моей гениальности...

— Вы и сами по себе необыкновенны!— сказал Корнилов.

— Да-да, со мной произошел когда-то совершенно необыкновенный и гениальный случай — я встретила Лазарева! Невероятность — встретить его среди миллионов людей!

Спустя еще несколько дней они перешли на «ты» и Нина Всеволодовна сказала:

— Оказывается, Лазарев приучил меня к тому, чтобы рядом со мной был человек. Обязательно был, это мне нужно, как собачонке какой-нибудь, которую нельзя оставить в доме одну — она будет выть, скулить, царапаться в дверь и вслушиваться, как ходит кто-то за стеной. И все время нюхать воздух — не пахнет ли хозяином? Да-да, я память потеряла и не помню, какой я была до встречи с Лазаревым, собачонки тоже ведь теряют память о матери, о сестрах, о братьях, о самих себе... Знаю, что я была, но какая? Да мне и неинтересно это было после той, после гениальной встречи. Не все

ли равно, что, когда, где, как было со мной до нее? Мне странно было, что что-то было до нее, какая-то жизнь... А ведь была, действительно была, и теперь, когда Лазарева не стало, память снова может возвратиться ко мне... А я ведь ее не хочу, боюсь ее... Она мне что-то подскажет, что было, а тогда я подумаю: «Значит, и теперь может быть что-то другое? Что-то без Лазарева?» А я не хочу без него ничего. Пусть без него будет ничто, это справедливо и нравственно... Это будет истинной памятью о нем...— Тут же после минуты молчания она стала вспоминать:— Мой первый муж был моим убийцей. Не веришь? Я правду говорю, сущую правду! Да-да, я еще вот что вспоминаю. У меня была жестокая, но безмерно любимая мною мать, она об меня ради моего же счастья две палки сломала, вот такие, в два пальца толщиной, но заставила выйти замуж. Она плакала, она в истериках билась, в беспамятстве, так ей было меня жалко, но все равно она била, била, била. Она была убеждена, что я не понимаю своего счастья, а она его понимает. Она прожила страшную жизнь и хотела спасти меня от такой же страшной. А мне было семнадцать лет, и я согласилась и пошла, а ведь это был старик, ему было тогда почти столько же, сколько мне сейчас... Я пошла за него, но стала сопротивляться ему, не могла не сопротивляться, я царапала его, а через неделю он, искалеченный, так искалечил, так изуродовал меня, что меня отвезли в больницу и там я чуть не умерла. Когда-нибудь расскажу, как я чуть не умерла. Это, наверное, будет интересно, и я расскажу. Так вот, когда я не умерла, я убежала к другому. Ты думаешь, к Лазареву? Нет, еще не к нему... но тот тоже был революционером, я с ним была в одной ссылке и в одной эмиграции, и мы везде жили хорошо, душа в душу, все о нас говорили «живут хорошо». А за границей я выполняла его поручения, ездила для связи с товарищами во Францию, в Силезию — языки я знала, я к ним способна — и вот один раз приехала на связь к Лазареву, о котором до того совершенно ничего не знала, ничего! Приехала и вот что поняла: первый мой муж был моим убийцей, но он был мужчиной, а второй был моим благожелателем, но мужчиной настоящим не был никогда... Тебе понятно?

Корнилов выражал свое действительное понимание.

Один раз действительное, два раза действительное, три раза. А потом? Что должно было наступить потом?..

Конечно, Нина Всеволодовна могла догадаться об этом счете, который вел Корнилов, и вот он думал: «Пусть! Пусть догадывается. Чем скорее догадается, тем, наверное, лучше!» А может быть, она уже и догадалась? Если говорила так:

— Лазарев никогда не может повториться! Но самое страшное в другом: что, если повторится что-то похожее? Какая-то тень явится ко мне, тень того, что было... И собачонка кинется к этой тени и побежит за ней? Ведь в тени тоже есть часть того, от чего она исходит? Сотая, тысячная доля, но есть же? И вдруг — только представь себе весь этот ужас!— вдруг я уступаю тысячной, что ли, этой крохотной какой-то частичке? Как ты думаешь, Петр? Мне очень страшно, а вам? Вам не страшно? Тебе не страшно? — Она путала «ты» и «вы»...

А Нина Всеволодовна, говорившая на «вы», и Нина Всеволодовна на «ты» — это были очень разные женщины, даже с разной внешностью.

«Вы» жила памятью о муже и все еще была подчинена его непоколебимой власти.

«Ты» страстно хотела быть подчиненной той же власти, но боялась, боялась, боялась эту власть над собой утерять...

И та, и другая Нины Всеволодовны постарели, были убиты потерей, но потеряли-то они, казалось иногда Корнилову, разных Лазаревых, тем более разные судьбы пришли к ним теперь через эти потери.

Нину Всеволодовну «вы» платье облекало почти с той же строгостью, как это неизменно было при жизни мужа, на Нине Всеволодовне «ты», на ее плечах, на груди, в талии платье морщилось, лежало в складках...

Нина Всеволодовна «вы» предлагала Корнилову чай не сразу: «Я утомила вас, Петр Николаевич, своими излияниями? Давайте попьем теперь чайку!» И она неторопливо поднималась из полукруглого креслица, ставила на примус чайник, а снова в креслице опустившись, молча ждала, когда чайник вскипит. В это время какой-никакой, а уют водворялся в ее комнате...

У Нины Всеволодовны «ты» чай был готов уже к приходу Корнилова, и она тотчас и торопливо наливала стаканы. «Пришел? Садись и поглотаем, надо же чем-то заняться!» А комната ее выглядела убого, запущенно и неряшливо.

Нина Всеволодовна «вы» говорила тихо, убежденно, отчужденно от собеседника и готова была говорить долго-долго, у Нины Всеволодовны «ты» голос порывистый, нервный, глаза недобро следят за выражением лица Корнилова и угрожают — «Вот сейчас и скажу: «Убирайся вон!» И она действительно прерывалась на полуслове: «Хватит, хватит! Иди, Петр, на свою половину, мне нынче не до тебя!»

Корнилов, не прощаясь, уходил, а потом долго слышал ее шаги за стеной. И заставлял себя не думать о Нине Всеволодовне, думая о других людях...

...в доме напротив, через двор, сейчас, в эту минуту, Никанора Евдокимовича, наверное, в очередной раз и до глубины души потрясает каким-нибудь хамством и обидой его любимый человек Витюля...

...в том же доме в немыслимом порядке и чистоте за круглым чайным столом изучает «дела» Крайплана товарищ Прохин. В двухкомнатном раю, может быть, только потому и рай, что там нет ничего лишнего — ни одного предмета, ни одной пылинки, потому что там как бы в укор живому и нахальному Витюле обитает образ умершего мальчика Ванечки... Впрочем, так же, ничуть не мешая Ванечке, там могут ведь обитать и другие образы, к которым когда-то имели отношение Лидия Григорьевна и Анатолий Александрович Прохины... «Чашечки-чашечки...» — вспоминает Корнилов, сразу же становясь «бывшим»...

...в квартире Ременных шум и гвалт, старые и малые грозятся призвать друг на друга для наведения тишины, порядка и мира Самого. Сам же, Ременных, сидит в бывшей комнатушке Корнилова — наконец-то устроил себе отдельный кабинетик и спальню. Покачиваясь туда-сюда на колесиках, он сидит-стоит за столом — что сидеть, что стоять, ему одно и то же. Заткнув ватой уши, он составляет ответы на запросы выше- и нижестоящих организаций, которые завтра же в начале рабочего дня представит на подпись товарищу Прохину... Бесконечная, колоссальная и с каждым месяцем неуклонно возрастающая канцелярская работа, она запросто может свалить с ног двух здоровых мужиков, но с безногим Ременных не сможет сделать этого никогда!

Однако же все люди — с ногами и без ног, совершенно бесстрастные и впавшие в отчаянные страсти,

все, все — были сейчас для Корнилова ничем, всеобщим нулем. Какие-то судьбы, какие-то семьи, и все — ничто... Нина Всеволодовна одна на всем свете только и была ему человеком. И Одной женщиной.

Если же она хотела ими, всеми людьми, всем человечеством отгородиться от Корнилова, если послала его когда-то знакомиться с ними и вникать в их судьбы, так этим она ничего не достигла, совершенно ничего: все равно Одна...

И она уже знала, что она Одна, знала и говорила:

— Не понимаю, зачем, почему, для чего, когда вслед за Лазаревым я совсем-совсем умерла, я все-таки убеждала себя: «Надо жить!» Зачем надо-то? Чтобы одевать, обувать и кормить саму себя? И называть это жизнью? Нет и не может быть даже крохотного доказательства тому, что все это надо! Чтобы на земле было одной трагедией больше? Чтобы одной бессмысленностью больше? Я, знаешь ли, Петр, думаю, может быть, в трагедиях и в бессмысленностях все-таки есть смысл: вот их накопятся триллионы, критическое какое-нибудь количество, и они взорвутся, и все изменится, и наступит что-нибудь другое, а? Другой мир?

А вот это уже была его мысль, почти что его, и он с готовностью подтверждал:

— Конец света! Согласись со мной — конец. Вот что наступит!

— Ах, как хорошо! Действительно, хоть бы какое-нибудь освобождение! Так много необходимостей, и ты с детства в них с ног до головы: надо слушаться своей матери, надо выходить замуж, и не раз; надо прибирать в комнатах, готовить еду, пытаться понимать то, что понять невозможно,— весь окружающий мир; надо впадать в неразрешимые противоречия с этим миром и с самим собою, а зачем? Никто не знает... Никому ничего не ясно, и ясно только одно: всему этому должен быть конец. Нужен конец...

Тут Корнилов узнавал в ее лице то выражение, с которым она выкрикнула однажды: «Не пущу!»

На кладбище было, на похоронах Лазарева, уже все кончалось, все сказали речи, уже Сеня Суриков произнес свою ошеломляюще дурацкую речь и стали опускать в могилу гроб, и в этот миг Нина Всеволодовна произнесла громко и отчетливо: «Не пущу!» Те, кто стоял с веревками в руках на краю могилы, на мгновение замерли, гроб повис, один конец выше, другой ниже. Нина

Всеволодовна так же ясно и твердо повторила: «Не пущу!» Товарищ Озолинь ударил в воздух сжатым кулаком, другой рукой бросил шапку оземь, и люди, опускавшие гроб, заторопились, а Нина Всеволодовна, взглянув на них с отчаянием, с мольбой, от них отвернулась, подошла к березе, уперлась в белую кору лбом и так простояла все время, покуда могилу засыпали землей, мерзлыми ее комками.

Господи, да что же это за любовь-то была у Корнилова, если он в ту минуту, когда готов был о своей любви сказать, вдруг вспомнил «Не пущу!»?

Нина Всеволодовна вскинула на него глаза, посмотрела мгновение и отвернулась. И прижалась лбом к спинке стула. Потом, не оглядываясь, не пошевелившись, сказала:

— Идите, идите к себе! Сию же секунду, прошу вас! Умоляю!

Продолжать природу, еще оставшуюся в нас с вами, то есть любить друг друга,— ничего другого попросту уже нет для нас на всем свете, думал Корнилов несколько минут спустя в своей комнате. Думал за себя и за нее.

Обязанность вернуться к ней...

Все, что он когда-то передумал, все, что пережил, все заключенные в нем и свои, и чужие жизни — все ничуть не сомневались в этой обязанности!

«К женщине! К женщине! К женщине! К живой или к мертвой! К любящей или к ненавидящей — к ней!»

На пороге своей комнаты он остановился. «К кому я иду? К той, которая «ты»? Которая «вы»?»

Он этого не знал и — остановился и ждал, когда узнает.

Раз... два... три! Сильные нетерпеливые удары в стену. Из ее комнаты.

Кожа у нее была чуть-чуть шероховатой, была будто покрыта чем-то матовым — не загар, но цвет солнечный.

Она спросила:

— Вы волнуетесь?

— Ужасно...— помнится, ответил Корнилов.

— Почему?

— Не знаю...

— Успокойтесь...

— А вы?

— Я не волнуюсь, я боюсь. Никогда в жизни так не боялась...

Он же все еще не мог понять и поверить, что эта женщина — как все женщины, что она реальна и что не исчезнет сию же секунду в какое-нибудь небытие.

Невозможно было понять, желанен он или отвергнут. Был удивленный взгляд ее прикрытых рукою глаз. Полная неподвижность, потом она отвела руку от своего лица и погладила Корнилова по голове. И сказала:

— Все...

— Все?— снова не понял он и, не поняв, страшно испугался.

— О господи, все! Все ужасы, все страхи — все позади. Где-то далеко-далеко. А теперь погладь меня... Дай твою руку, вот здесь, запомни, надо гладить здесь...

Так было и в другие ночи, и вечерами было, и на рассвете — под слегка матовой кожей происходила ее жизнь, та, которая нужна была Корнилову, перед нею-то он и чувствовал себя то пигмеем, то гигантом. Он был пигмеем, потому что Нина Всеволодовна женщина — это нечто гораздо большее, чем он, Корнилов, мужчина. Он мог быть философом и самим богом, кем угодно, все это ничего-ничего не значило, все равно он был и всегда будет мужчиной меньше, чем Нина Всеволодовна была женщиной, это от природы, это закон.

Но ведь он же и обладал всем этим — этим законом тоже — и тогда становился гигантом и переставал чувствовать границы самого себя.

Корнилов, даром что многие годы провел в окопах и походах, и в сыпнотифозном бараке, и где только не валялся, он, может быть, как раз потому любил чистоту и свежесть, а терпеть не мог грязи, пота, запахов табака, винного перегара, плохих зубов и чьего-нибудь храпа ночью. Он был ужасно привередлив на этот счет.

И теперь узнал, для кого всю жизнь охранял собст-

венную свежесть и эту привередливость — для этой женщины. Его свежесть была ей нужна, нравилась ей, потому что она сама была еще свежа. О ее свежести он догадывался давно, но издали, теперь же был поражен тем, что она, так много пережившая истинно женской жизни, все еще так невероятно свежа.

Ее и его молодость давно прошли?

А ничего подобного, молодость, зрелость и старость есть в каждом возрасте. Есть молодость детства, и зрелость детства, и старость детства... Есть молодость зрелости и старость зрелости. Есть молодость, зрелость и старость старости, а вот уже на этом все действительно и кончается.

Нина Всеволодовна — это зрелость зрелости...

Что это значило?

И угадывать не надо, это очевидная и совершенная гармония между всем тем, чем была она. Походка и жесты, все движения соответствовали ее глазам, а цвет волос — голосу, а запах кожи — ее дыханию. Ни одна ее черта, ни одна черточка не выпадала из ее общего рисунка, а только подтверждала этот рисунок, вот и все! И нельзя было сперва где-то и когда-то приобрести отвлеченные представления о гармонии, а потом уже судить, насколько гармонична эта женщина; надо было поступать как раз наоборот: узнавая женщину, узнавать, что такое гармония природы...

Ничего больше не могло быть отдаленного от их любви, даже мысль о конце света и та становилась предметом любви, больше ничем другим, все, о чем они вместе думали, о чем говорили, к чему прикасались, что вместе видели и слышали, даже если это был конец света. Она удивлялась:

— Никогда бы не догадалась! Ты такой жизнеспособный, и вдруг такое предназначение?! Я, конечно, думала, что кто-то обязательно должен носить и создавать такую мысль и такое убеждение — о конце света, но представляла себе этого человека тщедушным, больным, слабым, старым, или монахом каким-нибудь, или отшельником, а все совсем-совсем наоборот. И так неожиданно! Впрочем, ты ведь, может быть, и в самом деле отшельник?

— Будем последними Адамом и Евой!— убеждал ее Корнилов.— Если были Адам и Ева первые, значит, должны быть и последние! Мы пережили все, что могли пережить они во все времена, значит, мы последние, мы знаем о людях все, значит...

Она подумала и согласилась:

— Будем! Самыми последними — будем! С последних какой спрос? С последних спрашивать некому. Последние что хотят, то и делают, и это прекрасно! Может быть, это счастье — быть последними? Действительно: должны же когда-нибудь быть последние?

— Если мы последние, если конец всему, тогда самое главное — не делать из этого ничего особенного и невероятного,— отвечал Корнилов,— нужно отнестись к этому как к чему-то непреложному! К тому же мы ведь привыкли жить перед концом света, право, привыкли. Сколько уже раз объявлялся приход антихриста? И всеобщий конец? Но сколько раз я видел древних стариков в библиотеке? Сидит, читает, делает выписки на будущее. Какое у него будущее? И для чего ему еще что-то знать и узнавать? Привычка. Вот и мы, последние, будем ими по привычке.

— Ты по привычке пришел ко мне? — спросила Нина Всеволодовна, как будто бы она и не звала его, не стучала ему в стену. И еще повторила: — По привычке?

На вопрос надо было ответить чем-то значительным.

Он рассказал ей, что в детстве был богом, и она поняла. Поняла, поверила!

Что может быть самым значительным для мужчины? Конечно, открытие! И оно есть у него, появилось только что! Еще у мужчины может быть женщина, и вот она тоже у него есть. Все достигнуто!

Конец всему?

Высокое достижение природы — это красивая, сильная и умная женщина, ничего более совершенного природа создать не смогла. И вот он обладает высшим даром.

И Нина Всеволодовна опять согласилась и вздохнула и сказала:

— Ты умный... Ты додумался, что конец света — это

решение всех-всех проблем! Земных. Зато я была там, где никогда не был ты. Я была за жизнью, за ее пределом. Я была на том свете!

— Длинная история. Я рассказывала, ты уже знаешь, что я ненавидела своего первого мужа и сопротивлялась ему страшно. Целую неделю. А через неделю он сделал со мной так, что я чуть не умерла... Тоже знаешь. Я даже умерла, и все для меня кончилось. Мне кажется, многим доступно, а мне-то доступно без всяких сомнений — чувствовать истинность или не истинность своей смерти... Есть такое мгновение, которое не обманет, и тебе тоже нельзя обманывать его и отказываться от него, это счастливое мгновение, только не тем счастьем, которое бывает при жизни. И вот я это испытала, поняла это мгновение, доверилась ему, и тогда ко мне приблизился лик, чей-то образ, ты знаешь, я потом не могла припомнить, какой и чей, но тогда-то я видела, я чувствовала его отчетливо, он сказал мне, он дал мне понять: «Тебе еще рано сюда, детка. Вернись туда, где ты была. Ты избранница, потому что никто не возвращается отсюда туда и только ты, избранница, вернешься, и, что бы с тобой ни случилось там, ты всегда будешь знать, что не там, а здесь существует истинность». Он не сказал, истинность чего, но я-то поняла: истинность существования.

— Что же там есть? Там?

— Не могу сказать, нет слов. Ни у кого их нет... Если бы слова нашлись, люди, не бывая там, догадались бы обо всем и сказали бы, и написали в тысячах книг обо всем, что там есть... Это и в нашей жизни бывает, я посмотрела энциклопедию на букву «с» — «счастье»: «Чувство, противоположное несчастью». Вот и там так же, что-то противоположное тому, что здесь. Какое-то мое «я», противоположное моему нынешнему. Там, наверное, какие-нибудь знаки, но не слова. Так может быть?

Корнилову хотелось на ее вопросы отвечать. Обязательно!

— В алгебре так! Да и в любой науке так же, и чем точнее, то есть чем совершеннее наука, тем больше в ней знаков и меньше слов. Совершенство бессловесно. И наоборот! Слова — это сумбурная практическая жизнь, а истина и логика требуют знаков: а, бэ, цэ, дэ...

Нина Всеволодовна потрепала легонько и коротко Корнилова по голове, это был ее знак внимания и одобрения, потом сказала:

— До, ре, ми, фа, соль, ля, си! Да? Мажор. Минор. Да?

— Гамма-лучи! — сказал Корнилов.

— Корнилов! — сказала Нина Всеволодовна.

«Лазарева!» — хотел сказать Корнилов, но сказал:

— Нина Всеволодовна...

— Тут другой знак: «женщина», — согласилась она.

Господи, что она ему голову-то морочила? В ней столько было знаков — вопросительных, восклицательных и других, и других! Столько понятий, столько биографий — их открывать до конца жизни.

Он сказал:

— Господи, что ты мне голову-то морочишь? В тебе столько знаков, открывать их и открывать — до конца жизни!

— Открывай! Кто тебе мешает? Но, уверяю тебя, сколько бы ни открывал, придешь к одному и тому же: женщина.

Право же, так и было: они, все пережившие, все испытавшие, во всем были искушены, были заключением всего — последние Адам и Ева!

А что если на лестничной площадке, на дверях их квартиры вывесить объявление: «Здесь живут последние Адам и Ева. С девяти вечера до восьми утра не беспокоить!»?

С каким бы выражением на лице прочел это товарищ Прохин? Сапожков? Ременных? Новгородский? А с каким Сеня Суриков? Сеня Суриков в этой ситуации казался им смешнее всех...

Потом Корнилов спрашивал, каким образом эта женщина была женой Лазарева, неужели Лазарев, безбожник, соглашался с тем, что она была «там»? Или она скрывала свои похождения?

— Никогда ничего я не скрывала от него! Другое дело — о нем. Ему не всегда следовало знать все о самом себе, но обо мне — всегда и все!

Ее ничуть не смущали вопросы, которые так или иначе касались Лазарева, наоборот, в ней была потребность на эти вопросы отвечать, только сначала она

чуть-чуть отодвигалась от Корнилова. Отодвигалась как бы к своему прошлому, к тому, что было и что прошло, и вот он должен был предоставить ей эту возможность, эту маленькую свободу. А тогда она говорила:

— Я не скрывала, что побывала «там».

— Он?

— Сказал: «Выбрось из головы!» Я и выбросила. Сразу же.

— Не испугалась? Ведь всем предстоит прийти туда.

— Когда я была рядом с ним, не все ли равно было, что со мной когда-нибудь будет.

— Угнетение?— осторожно спросил Корнилов.— Да?

— Наивный человек! Сколько тебе нужно объяснять: я только и делала, что искала его угнетения! Быть в рабстве у господина, которого ты сама себе и с великим трудом избираешь — это и есть земное счастье... А неземное там... Где-то высшее существует и без твоего выбора, существует для всех и само по себе... Конечно, я не пережила всей любви, какая есть, какая бывает на свете, но знаю я ее всю! И никто ничего не известного рассказать мне о любви не может. О какой бы любви я ни слышала, о какой бы ни читала, какую бы ни видела во сне или наяву, все-все это я знала раньше. Я Фрейда читала. Платона читала — ничего нового, ничего не известного!

— И сейчас ты все знаешь о нас?

— Не скажу. Еще и начало-то не кончилось, а тебе нужно знать окончание? Нет, нет, не скажу. Зачем нам исповеди? Зачем исповеди счастливым?

Корнилов и никогда не был склонен к исповедям, а тут они действительно показались ему нелепицей. Зачем? При том совпадении, которым он и она уже были? Все повторяется, и вот последние Адам и Ева так же одиноки, незамужни, неженаты, как и те, самые первые, ни родственников, ни сложных или примитивных семейных отношений, ни близких знакомых, которые сказали бы: «Разве так можно?»

Разве только Сеня Суриков? Так пошел он к черту!

Те, первые, полакомились запретным яблоком, ну что же, на то они и первые, это был их удел, удел первых, но с тех пор сколько таких яблок съедено людьми? Миллионы! Миллиарды! Когда-то запретные, они стали

повседневной пищей, так что сама-то запретность потеряла смысл, перестала существовать для последних Адама и Евы! Полная свобода — вот что они ощущали, чему предавались.

Корнилов так и чувствовал: каждая его клеточка достигала предела собственной свободы, ради которой она и существовала в тысячах поколений и достигала полного самовыражения.

Нина Всеволодовна говорила ему:

— Если бы не ты, Петр, если бы не то, что с нами происходит, я жила бы только ожиданием! Ожиданием возвращения туда. Больше ничем!

— Похоже на самоубийство...

— Самоубийцам не дано ступить туда. Пережить мгновение истинной смерти не дано.

— Откуда ты знаешь?

— Обязан знать каждый человек! Обязан... Другое дело, что не каждый знает... Я до встречи с Лазаревым, особенно в молодости, примеривала это к себе. На первый взгляд хорошо, прекрасно, но только на первый. А потом убеждаешься: нет, не то, не то! Бог знает, что допустимо в жизни, какие грехи, какие страдания, а это нет. Лишить себя своей собственной смерти? Которая сама обязательно придет к тебе? Добровольно предаться смерти не своей, не родной, не предназначенной, а бродячей какой-то? Безымянной? С большой дороги? Ведь не меняем же мы свое рождение на чье-то чужое, незнакомое. Нельзя! И это тоже нельзя! Не могу отдаться первому попавшемуся — нельзя!

— Ты фантазерка!

— В отличие от тебя — ты строго законный фантазер. Конец света — это же строгая логика, самый строгий закон. Мужчинам вообще других фантазий, кроме земных и законных, и не надо, и не дано... «Ночь... темь... река... переправа...» — проговорила она, подражая корниловскому голосу.— Разве в этом есть что-нибудь не от мира сего? А в переустройстве мира — разве есть что-нибудь не от мира сего? И только фантазия женщины уходит за мировые пределы. Так что быть последней Евой мне ничего не стоит. Пожалуйста! Рассказать, как я встретила Кузьмича?

— А это кто?— не понял Корнилов, но, и не поняв, он ждал рассказа о Лазареве.

— Я рассказывала не раз, я много ездила по поручению своего второго мужа. Мы жили тогда в Кракове,

а я ездила в Париж, в Прагу, в Гейдельберг, в Бреслау, а нелегально в Россию, отвозила какие-то письма, какие-то корректуры, какие-то деньги... Я говорила уже об этом, но послушай еще раз. Это теперь считается, что все делалось революционерами, только ими. А на самом-то деле? Да разве революционерам не помогали многие-многие мужчины и женщины? Которые никогда и ни в чем не отказывали партийным товарищам?

— Но если не было убеждений? Ради которых стоило идти на жертвы? На риск?

— Не хотелось быть трусливой, вот и убеждение! Кто-то рискует, не боится, а ты боишься? Партийных убеждений у тебя нет, но совесть-то есть: почему партийный товарищ рискует свободой и своей жизнью, а ты нет?! Так вот, в девять часов пятнадцать минут я встретилась с Кузьмичом в Цюрихе на вокзале, я должна была тут же уехать обратно в Краков. Но мы решили посидеть в кафе. А потом решили проехаться вокруг озера — прекрасный вид! Потом решили пообедать, потом поужинать, и, ужиная, я уже знала, что никуда от Кузьмича не поеду, не могу его оставить, нет сил! И еще я была уверена, что без меня он погибнет. Обязательно! Он был слишком смелым, неосмотрительным и не мог не погибнуть очень скоро! А еще он был наступательным, Кузьмич. Есть мужчины, они ждут от женщин знака, боятся женщину обидеть и ждут, когда она позовет... Есть мужчины наступательные. Кузьмич наступал уже через пятнадцать минут после нашей встречи и не боялся ничего, даже оскорбить меня, нанести обиду не боялся. Он ведь предела своих сил никогда не знал ни в чем, понятия не имел...

— У Лазарева было два имени? Константин Евгеньевич, он же Кузьмич? Вот уж никогда не подумал бы, что у Лазарева — и два имени. У кого-то другого, но только не у него!

— Три. Три имени! Может, и больше, не знаю. Кузьмич — это уже когда он бежал за границу.

— А кем он был до Кузьмича?

— Странно, но он был... он был Петром! Петра я еще не знала. Смешно?

— А вот что я еще давно-давно собираюсь тебе рассказать... Я ведь была королевой! Многие годы! Догадываешься?

Корнилов сказал весело и самоуверенно:

— Конечно! Это когда ты встретилась с Лазаревым. Точно?

— Совсем не так. Совсем не точно. Я была королевой, когда сопротивлялась своему первому мужу. Потому и сопротивлялась, что чувствовала себя королевой, а его недостойным себя. Почему я ушла от своего второго мужа? Да все по той же причине! Но вот когда я встретила Лазарева, я сразу же поняла, что больше я не королева. Нет, нет, не она — сан я потеряла. Навсегда. И, знаешь ли, это была сладостная потеря. Мне было очень легко от потери, голова кружилась. И тут-то я и пережила годы своего совершенства. Каждая, почти каждая женщина переживает годы своего совершенства, чувствуя себя в расцвете, чувствуя свою истинную природу и свое назначение. Избавляется от девичества окончательно и не замечает еще никаких признаков старости.

Ничего-то он не знал и знать не мог — где мысль, где воспоминание, где догадка, где ощущение, где слух, где зрение, где осязание, обоняние. Все было одним: им и ею, ею — им!

А еще Корнилов любил Крайплан, КИС и свой крохотный кабинетик: там как-никак, а планировалась жизнь, причем без особых событий и потрясений. В ближайшие хотя бы годы без войны, без преступлений и наказаний, без ошибок и заблуждений, без пережитков прошлого, без... Одним словом, Крайплан неизменно утверждал: будет вот т а к! А в конце-то концов, не все ли равно, будет ли т а к похуже или получше? Лишь бы т а к было и доказывало возможность своего осуществления. Нужно было отметить, и Корнилов это много раз отмечал, что Крайплан, да и все другие советские и кооперативные коллективы работали нынче с огромным энтузиазмом, с отдачей всех сил, не считаясь со временем и преодолевая огромные трудности — нехватку кадров, нехватку жилищ, а также бюрократизм, сопротивление нэпманов, противодействие всякого рода оппозиций, угрозы военного вторжения извне, со стороны капиталистического окружения, угрозы советских карательных органов. И — не только угрозы. Однако же это не снижало общий энтузиазм.

Товарищ Корнилов, например, тот переживал энтузиазм исключительно благодаря будущему, к которому он относился почти что с благоговением, с надеждой

и верой, как бы даже напоминающей что-то религиозное.

В России будущего не хватало издавна, и всегда было множество н е т а к: чего-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь, но не так.

И вот он сидел в своем кабинетике, Корнилов, иногда до поздней ночи, выводил суммы, разности, производные и частные, чаще все-таки суммы величин и показатели природных ресурсов края.

Он выводил их из различных источников: из ведомственных докладных, из материалов, когда-то и кем-то сданных в архив, из сведений, которые в обязательном порядке должны были представлять в КИС все без исключения геологические, таксаторские лесные, районные землеустроительные, изыскательские речные и строительные партии, из отчетов научных экспедиций советского и дореволюционного времени, из публикаций — тоже нынешних и столетней давности. Он убедился, что никто до сих пор в Сибири не занимался подобного рода систематизацией, никто не сводил разрозненные данные в одно целое. Он в этом деле пионер! У него нюх явился, он теперь умел безошибочно обнаружить нечто такое, что входило бы слагаемым в его суммы. И не только нюх, но и особое зрение, и слух, и осязание. Стоило ему взять в руки ветхую какую-нибудь книжечку или брошюрку, и он уже глазами видел, пальцами чувствовал: есть! Есть здесь то, что он ищет! И вот он тоже был исследователем и открывателем, и каких серьезных результатов он достигал!

Удивительно, что природных запасов и ресурсов Сибири всегда и на все хватало, на все планы, на все запросы. На любое т а к, на любой запрос хватало каменного угля, цветных металлов, гидроэнергетических потенциалов, лесов, лугов и пашен, и от этого богатства, от этого даже избытка кружилась голова: как бы не свихнуться, не удариться от богатства в какую-нибудь блажь!

Не хватало, правда, нефти, вот уж чего в Сибири не было, того до сих пор не было, но и нефтью уже начинало попахивать, уже при содействии Крайплана и опять-таки при личном участии Корнилова в Васюганье была нынче направлена первая поисковая партия под начальством энергичного инженера Васильева.

Томский профессор Усов строил на этот счет смелые прогнозы.

Ну, а кроме нефти, все! Уже привычка к тому, что все должно быть обязательно, притом в каком угодно количестве, стала вырабатываться у людей, и товарищ Прохин устно, а товарищ Гродненский и даже товарищ Озолинь по телефону, вызывая Корнилова в смежную с его кабинетиком комнату, спрашивали: «Корнилов? Здравствуйте! Вот что, Петр Николаевич, надо и еще поискать строевого леса (каменного угля, олова, чернозема). Надо обязательно! Союзный Госплан (трест «Экспортлес», «Главуголь», Совнарком, ВСНХ) спрашивает для своих ближайших прикидок, а нам неудобно сказать «нет!» — кто поверит? Поищите, Корнилов, поищите хорошенько!» И Корнилов искал. И находил. Хотя сердце и сжималось у него иной раз от той легкости, с которой ему говорили «найти!», а он «находил». Но что поделаешь? Недаром же еще покойный Лазарев не раз и не два говорил: «В Сибири сама природа жаждет строить социализм!» Правда, он еще и такие, милые сердцу Корнилова говорил слова: «Сама природа — это уже социализм, и остается только достигнуть той же природы вещей в человеческом обществе!»

И если Корнилов не в столь отдаленном прошлом был натурфилософом, так теперь он стал натурраспорядителем.

Эта смена ролей его смущала. Иногда очень, иногда не очень.

Он улавливал определенную логику в переходе от одной роли к другой и старался быть образцовым распорядителем натуры, всех бесценных кладовых природы, это и был его энтузиазм, его вера в реальность и добропорядочность планов и планового хозяйства.

Если бы еще и поменьше событийности! Поменьше неожиданных обстоятельств, которые так и рвутся, так и рвутся сделать из Корнилова-плановика Корнилова-фантазера. И еще он удивлялся. Казалось бы, кто-кто, а Корнилов-то должен был привыкнуть к любым метаморфозам, которые с ним происходили. Нет, не привык!

Не привык и вот болезненно переживал приближение событий, которые кем-то были названы «Комиссией Бондарина»...

«Слово большевика и его дело. Письмо в редакцию» — такой был заголовок у этой бумаги (о которой с некоторых пор говорилось: «документ»), речь в которой шла о том, что некоторые, причем авторитетные и заслуженные члены ВКП(б), допускают поступки, совершенно неприемлемые с точки зрения политической.

Документ подвергал критике завкраевым отделом народного образования за слабое внедрение звеньевой системы образования, в связи с этим указывалось, что ученики во многих школах города и края все еще сдают экзамены каждый сам по себе и каждый сам по себе получает текущие отметки, в то время как в соответствии с последними достижениями педагогической науки для развития духа коллективизма в детях учитель должен экзаменовать «звено» в 5—6 человек и отметки — текущие и за семестр — ставить одинаковые всему звену; критиковался председатель правления краевой Центральной рабочей потребительской кооперации — он отдал распоряжение о закрытии нескольких убыточных торговых точек в рабочих поселках. В рабочих! А это чем попахивало? Критиковался и сам редактор краевой газеты, на имя которого адресовалось письмо,— за политическую беззубость, за то, что опубликовал целый ряд материалов, «сильно смахивающих на правый уклон».

Но «ударной» частью этого письма-документа, самой разработанной был следующий пример расхождения слова большевика с его делом.

«Кто не знает Юрия Гаспаровича Вегменского? — спрашивали авторы письма.— Нет такого члена краевой партийной организации, которому было бы неизвестно это имя как теоретика марксизма, как лектора на политические темы о внутреннем и внешнем положении СССР, как ученого-историка и председателя краевого Общества бывших ссыльных и политкаторжан, как практика социалистического строительства в роли члена президиума Крайплана и председателя КИС. Прошлое товарища Вегменского — пример неуклонного служения партии. Об этом даже нет необходимости говорить. Тем более у такого человека, как товарищ Вегменский, слово которого слышится во всем нашем огромном крае и за его пределами, не должно быть расхождений между словом и делом. Но в действительности некоторые дела и поступки этого авторитета вызывают сильные сомне-

ния. Для примера возьмем случай, которому на первый взгляд трудно поверить: несколько лет тому назад (точнее — в 1925 году) в Красносибирске огромным тиражом (4000 экз.) вышла книга б. царского и белогвардейского генерала, б. военного министра Уфимской директории, б. главнокомандующего войсками Приморской областной земской управы Бондарина под названием «Воспоминания». Мало того, что эта белогвардейская стряпня вышла в свет с благословения товарища Вегменского и под его личной редакцией, мало того, что он написал к ней предисловие, но он составил еще и примечания в числе 418 пунктов на 62 страницах — поистине сизифов труд! Правда, в этих примечаниях товарищ Вегменский не только критикует, но часто и камня на камне не оставляет от книги, а с другой стороны — рекомендует ее к печати и принимает в ней, можно сказать, максимально активное участие.

Он пишет в предисловии: «За последние годы русская литература обогатилась многотомными «воспоминаниями» и «мемуарами», посвященными мировой войне и обеим революциям. Особенно богат вклад, сделанный белой эмиграцией и вообще деятелями контрреволюционного лагеря. Вышвырнутые октябрьским переворотом за пределы нашей Республики и оставшись не у дел, они на досуге занялись литературой». Вот, значит, какой литературой занялся и сам товарищ Вегменский и похваливает генерала, привлекает к нему интерес: «...отречение Николая II совершилось на глазах у Бондарина, и у него же в первое время хранился самый акт об отречении», «Бондарин написал ряд научных военных трудов: «Бой на Шахэ», «Автомобиль и его техническое применение», «Тактическое применение прожектора», «Атака укрепленных позиций», «...в лице Бондарина перед нами — сейчас, правда, бывший царский генерал, вышедший из пролетарских рядов... недюжинными способностями и исключительными военными знаниями должен был обладать выходец из пролетариев, которому удалось пробить себе дорогу вопреки кастовым предрассудкам высшего русского офицерства и занять одну из верхних ступеней военной иерархической лестницы».

И тут же товарищ Вегменский пишет: «И уж, во всяком случае, слишком должен был деклассироваться этот пролетарий, если ему удалось заслужить полнейшее царское доверие». Но, может быть, и доверие само-

го товарища Вегменского ему тоже удалось заслужить, спросим мы. И не ошибемся. Несколько лет перед нами стояла эта загадка: почему товарищ Вегменский столь трогательно заботится о генерале и, по существу, реабилитировал его, если уж тиражом 4000 экз. советское издательство издало его книгу? Но вот прошло время, и оно показало: потому, что товарищ Вегменский готовил себе сотрудника по Крайплану, потому, что он хотел заседать в президиуме Крайплана вместе с этим бывшим генералом с высшей ступени военной иерархической лестницы! Нас спросят: «Как это понять?» Мы прямо скажем: «Этого действительно понять нельзя, но это так, это факт». Приходится удивляться: неужели товарищ Вегменский сам не понимает, чем все это пахнет? Не понимает, что если он вот уже больше трех лет не хочет называть вещи своими подлинными именами, тогда за него это вынуждены сделать другие? Конечно, не сам товарищ Вегменский укомплектовывал штаты Крайплана, это комплектование было проведено еще покойным т. Лазаревым, который, прямо нужно сказать, при всей широте своего характера и при огромных знаниях никогда не отличался особой бдительностью, но это, само собою понятно, отнюдь не снимает ответственности лично с товарища Вегменского.

Мы посылаем это письмо в редакцию, но не настаиваем на немедленной его публикации, поскольку требуется и еще подборка фактов в других краевых организациях. И вот нам представляется необходимым создать во всех организациях рабочие комиссии, 3—5 человек, которые рассмотрят положение с кадрами. Что касается Крайплана, то его рабочая комиссия должна решить вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества старого большевика товарища Вегменского с б. царским генералом, а попутно, еще раз вернувшись к личности последнего, еще раз изучить его «Воспоминания» и сделать вывод о возможности вообще использовать его в Крайплане как специалиста и как члена президиума (особенно на нынешнем этапе обострения классовой борьбы). И только по окончании работы всех этих рабочих комиссий опубликовать в печати окончательные выводы вместе с нашим письмом».

Члену рабочей комиссии Корнилову была предоставлена копия этого документа, но без подписей — авторы оставались для него инкогнито. Не говоря уже

о Вегменском и Бондарине, Корнилов угадывал, что и для Прохина этот документ — вещь серьезная. И сам товарищ Озолинь должен был об этом документе знать и реагировать на него.

В последний день рабочей пятидневки в конце дня в кабинете Корнилова раздался стук — его вызывали к телефону. Корнилов догадался: «Начальство вызывает! Кто бы?» Прохин вызывал к себе подчиненных через секретаршу и разговаривал с ними лично, телефонные же разговоры внутри своего учреждения не терпел, считал их признаком бюрократизма.

Корнилов поторопился в соседнюю комнату, и только вошел, ему сообщили:

— Товарищ Озолинь вызывает!

Корнилов поднял трубку «Эриксона» с выцветшей от времени шляпкой звонка и услышал:

— Озолинь говорит!— И тут же, будто продолжая разговор:— Ну? Куда вы его запропастили?

— Кого?— спросил Корнилов.

— Конечно, Вегменского! Председателя КИС!

— Третий день болеет!

— Тогда ко мне вы. С материалами. По Северу, по Северному морскому пути. Здесь у меня североморпутейцы. Очень хотят плавать по морям, а по рекам очень не хотят. И требуют перевалки на речные суда. Здесь у меня речное пароходство: хотят, чтобы Североморпуть был транзитным, перевалки не хотят. Мне нужно слушать обе стороны. Вы поможете их слушать. Захватите материалы, понятно? И по северным земельным фондам тоже захватите, тоже будет вопрос. В связи с планом по хлебу.

Еще бы Корнилову было все это непонятно! «Североморпуть» и «Госпар» враждовали почти по всему течению Оби и Енисея, и даже Государственный арбитраж не мог их примирить. Нынче в арбитраже они как будто бы придут к соглашению, а уже на другой день та или иная сторона заявляет протест: «Ввиду того, что заседание арбитража проходило при отсутствии с нашей стороны достаточно компетентных лиц...»

Эти разногласия сказывались и в Крайплане. «Североморпуть» очень поддерживал Бондарин, он каждый год писал статьи с обзорами конъюнктуры хлебных рынков Лондона, Амстердама, Копенгагена и других портов, куда шли суда «Североморпути», доказывал,

как это выгодно Сибири — сбывать в Европу хлеб, льняное волокно и семя, какие в этом заключаются для нее перспективы; сторону же «Госпара» неизменно держал Новгородский. Новгородский, в прошлом юрист, спорил умело, но, когда спор кончался, никак нельзя было вспомнить, какие аргументы приводил он «за» и «против».

Понятен был Корнилову вопрос и о хлебозаготовках, он напоминал ему фронт в 1915 году, когда вся русская армия требовала: «Снарядов! Патронов! Патронов! Снарядов!» Вот и сейчас было так же: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Правда, к осени 1916 года, когда к снабжению армии был привлечен российский «Земгорсоюз», и патроны и сапоги были в относительном достатке, а нынче? Когда-то нынче будет в достаточном количестве хлеб? Если потребность в нем и внутри страны, и на экспорт растет и растет?.. И так Корнилов собрал бумаги, которые могли понадобиться ему, и двинулся в Крайком ВКП(б). Идти недолго, минут семь-восемь, по улице Красный путь и через площадь Революции.

Семь-восемь минут — время для мыслей, воспоминаний и соображений.

Вместе с Прохиным, а еще раньше вместе с Лазаревым Корнилов несколько раз бывал у Озолиня, а однажды, опять-таки во время болезни Вегменского, Озолинь вызвал его для беседы один на один, конечно, по хлебному же вопросу — о возможности расширения посевных площадей. Но только начался тогда разговор, как зазвонил телефон, Озолинь вышел из кабинета, сел в автомобиль и уехал. Как понял Корнилов, кто-то из руководителей Большого Совнаркома или ЦК проезжал через Красносибирск и, пользуясь тем, что стоянки даже скорых поездов были здесь по часу и более, вызвал товарища Озолиня на вокзал.

Озолинь всегда производил на Корнилова впечатление личности незаурядной опять-таки своей энергией. «Опять-таки» потому, что именно в этом, в «энергетическом» смысле он был соизмерим с Лазаревым. Разница в том, улавливал Корнилов, что Лазарев сам по себе производил энергию, был ее постоянным источником, в Озолине же энергия возникала не столько от него самого, сколько из его безусловного подчинения некоей громадной внешней силе. Однажды он с воодушевлением и раз и навсегда признал ее над собою, эту силу, эту идею всех идей, и вот стал ее трансформатором. Именно

таким образом он энергетически превосходил, может быть, и самого Лазарева. Такие были у Корнилова наблюдения.

Ни Лазарев, ни Озолинь, в недавнем прошлом конспираторы, ничуть не стеснялись спорить друг с другом в присутствии «бывшего», вот он и наблюдал однажды, как это происходило. Лазáрев быстро-быстро ходил из угла в угол озолиньского кабинета, благо кабинет в только что построенном темно-сером, с колоннами здании Крайкома был огромен. Озолиню же все это пространство, казалось, было ни к чему, он усаживался в кресле, руки, сжатые в кулаки, укладывал на стол и говорил:

— Сядь, Лазарев. Помолчи, Лазарев. Слушай, Лазарев: в настоящее время требуется...

«Требуется!» — вот это и было самое сильное выражение Озолиня, употребив которое, он стоял насмерть и доказывал его всем устройством современного мира и всей мировой историей, которую, как, впрочем, и другие члены партии, в прошлом подпольщики, он знал неплохо.

Корнилов его наблюдал, ему, кроме всего прочего, вспоминались красные латышские стрелки времен гражданской войны, неудержимо-бешеные их атаки.

Почему-то считалось у них в то время высшим шиком и храбростью ломать надвое козырьки фуражек, и так со сломанными козырьками, надвинутыми на глаза, весело шли они в атаку, распевая даже и не военные, а народные какие-нибудь песенки, курземские или же латгальские...

Озолинь ими командовал.

Ни много ни мало — сначала полком, а потом и дивизией. И здорово, наверное, командовал-то...

Такие были воспоминания.

Ну, конечно, Озолинь не сразу, не в начале спора произносил свое «требуется», он сперва наседал на Лазарева с вопросами, сам высказывал те и другие соображения, то и дело не в свою пользу, и тут-то Лазарев и проявлял себя, свой ум, свою память и энергию, опровергая то самое «требуется», которое еще не было произнесено Озолинем, но уже витало в воздухе...

Корнилову, помнится, было любопытно за тем и другим наблюдать, были минуты потрясающе инте-

ресные, шекспировские, хотя спор никогда не касался личных судеб, а исключительно проблем советского строительства.

Еще Корнилов хотел понять — что же тогда, в гражданской войне, а теперь в мирной обстановке называлось «интернационализмом»? Он хотел понять и латышей, и бывших военнопленных мадьяр, которые беззаветно сражались на стороне красных. Ну, конечно, и тем и другим победа Красной Армии обещала советскую и ни от кого не зависящую родину, но даже и это было не все, даже и без этого латыши и мадьяры готовы были умереть за Советскую Россию где угодно — на Волге, в Ярославле, на Урале, под Иржинском, в Московском Кремле, в Сибири... Нет, в белой армии ничего подобного никогда не было, хотя красные и называли чехословаков «белыми латышами». И в белом лагере тоже были и героизм, и порыв, но порыв с надрывом, и между сражениями людей одолевали сомнения и раздоры: политические, имущественные, по поводу захваченных трофеев, сословные — при дележе чинов и званий, а национальные особенно. От интернационализма мысль Корнилова вела его к мировому обществу, которое, однако, он никак не мог себе представить. Сколько ни старался.

— Прогнал! Всех! Североморпутейцев прогнал. Речников «Госпара» прогнал!— ответил товарищ Озолинь на недоумевающий взгляд Корнилова, когда тот вошел в кабинет.— Почему разогнал?— спросил сам себя Озолинь.— А они даже собственные разногласия не могут мне объяснить. Смешно? Не смешно — глупо!— И тут же, без малейшей паузы, Озолинь сказал:— Увеличиваем через год посевную площадь в северных районах на двадцать процентов!

Корнилов растерявшись ответил:

— Не знаю, не знаю, какие у нас на этот счет возможности. Какие земельные фонды. Нужно подсчитать, нужно выяснить!

Озолинь же с места в карьер ответил:

— Требуется! — И Корнилов быстро развернул карту земельных фондов и указал на полосу северных подзолистых и залесенных почв.

— Только здесь. Но — огромная раскорчевка...

— Конечно! — согласился Озолинь. — Сколько взрослых пней на десятину? На гектар?

— До сорока! Не считая маломерки!

— Не считая. Маломерку сожжем!

— А люди? Откуда?

— Людей переселим. Сколько нужно, столько и переселим! На то есть Переселенческое управление. — Озолинь с сожалением вздохнул. — Латышей сюда бы. Еще лучше — латгальцев: умеют корчевать!

А дальше уже в единодушии они рассматривали земельную карту, словно это была карта военных действий: прикидывали, сколько потребуется крестьянских душ на раскорчевку, откуда и по каким дорогам пойдет снабжение продуктами, одеждой и орудиями труда, из каких населенных пунктов будет осуществляться руководство переселением и работами по раскорчевке, и товарищ Озолинь и слова употреблял такие, как «правый фланг», «левый фланг», «тыл», «центр», «общее руководство», «операция». Это была его стихия, в которую он вовлек и Корнилова, и Корнилов минут через десять заговорил точно таким же языком.

А выглядел товарищ Озолинь вполне по-военному: зеленоватый френч, такого же цвета полугалифе, блестящие сапоги. И выражение лица командирское. И голос. К тому же он был человек увлеченный и веселый в своем увлечении. Он вынул из ящика стола пачку цветных карандашей, и они вместе стали размечать карту.

Вдруг в кабинет вошел Прохин.

Не сразу узнав Корнилова в одной из склонившихся над картой фигур, Прохин сказал:

— Здравствуйте, товарищ Озолинь!

— Ты пришел? Садись! Что мы здесь планируем? Мы планируем... — И Озолинь кратко и точно информировал Прохина обо всем, что говорилось здесь без него, и тут же спросил: — Вегменский что? Болеет?

— На поправке. Здоровье, в общем-то, слабое.

Озолинь с присущей ему привычкой (точно такой же, какая была и у Лазарева, отметил Корнилов) не дослушивать ответы до конца, перебил Прохина:

— Вопросы есть? Ко мне? Если нет, у меня будут к тебе.

Прохин недоумевал по поводу присутствия здесь Корнилова, по-видимому, продолжительного, но недоумения не показывал.

— Начнем с твоих вопросов,— ответил он.— Начнем с твоих.

— Ну вот,— сказал Озолинь,— тогда воспользуемся присутствием Корнилова...

— Воспользуемся,— подтвердил Прохин.

— Он член этой комиссии, которую вы у себя устроили?

Прохин понял, о какой комиссии речь, но спросил:

— Комиссия? Какая же это?

— Которую вы устроили: разбираться в Бондарине и Вегменском. «Комиссия по Бондарину» — так вы ее назвали? И объявили?

— Не сами мы ее объявили. Редакция газеты прислала документ. Твой печатный орган прислал.

— Знаю,— кивнул Озолинь.— Все знаю. Заканчивайте это дело.

— Понимаю,— кивнул Прохин.

— Вегменский и Бондарин много лет работали вместе. Замечаний не было. Какие замечания появились теперь?

— Понимаю...

— Крайплану задачи решать. В ближайшие дни! Часы! Тебе предстоит верстать пятилетний план. Кадры для этого нужны? Специалисты — нужны?

— Понимаю,— снова кивнул Прохин.

— Знаю, что понимаешь. Знаю, знаю. Теперь докладывай, говори по вопросу. По которому я тебя пригласил...

Прохин придвинулся к столу, мельком взглянул на Корнилова, стал развязывать белые тесемки на красной картонной папке. По красному напечатано было: «Для доклада».

Корнилов попрощался и ушел.

И, только вернувшись в Крайплан, вспомнил, что его карта земельных фондов осталась на столе товарища Озолиня.

Кунафин, взмахивая то одной, то другой рукой, говорил так:

— Я предлагаю! Я предлагаю каждому члену нашей комиссии во всеуслышание высказаться, как он понимает. И как понимает свою роль в идейно-политическом мероприятии. С которого, тоже не побоюсь этого сказать, может начаться рассмотрение еще многих и мно-

гих кадровых вопросов в Крайплане, а также и в других советских организациях нашего края. Причем мы начинаем вовсе не с мелких и рядовых служащих, а, с одной стороны, нами будет рассматриваться бывший царский и белый генерал, чуть ли не объявленный верховным правителем России, а с другой стороны, опять же старейший член партии, крупнейший в крае теоретик, а также историк и к тому же еще практик планирования народного хозяйства товарищ Вегменский Юрий Госпарович. Гос-па-ро-вич,— еще раз повторил Кунафин, почему-то напирая на «о».— Исходя из этого, хотя мне и предложена роль председателя нашей комиссии и первого докладчика, я скажу, что я вижу себя совсем учеником, которому предложено сдать первый экзамен, и не по какому-нибудь там предмету, не по статистике-математике, а на политическую зрелость и бдительность. Экзамен по классовому подходу ко всем явлениям. Вот как я понимаю! — После этих слов товарищ Кунафин, председатель «Комиссии по Бондарину», внимательно посмотрел на Сеню Сурикова и на Корнилова.

«СПРАВКА

Дана настоящая Краевой комиссией по изучению природных ресурсов Сибири тов. Кунафину В. С. в том, что он командирован в районы Бийского округа для организации на местах массовой краеведческой работы среди населения.

Тов. Кунафин следует на своей лошади. Просьба ко всем районным и сельским органам Советской власти оказывать тов. Кунафину всемерное содействие в проводимой им работе и не препятствовать выпасу лошади по маршруту его следования. Лошадиный паспорт № 0729 (еще не то три, не то четыре какие-то цифры). Действительно по 21 сентября 27 года.

Председатель КИС

Ю. Вегменский».

Да-да, так вспомнилась Корнилову небольшая эта справочка.

Можно было подумать, что товарищ Кунафин является сотрудником КИС, но нет, ничего подобного, он трудился в Рабоче-крестьянской инспекции, а будучи

работником этого высокого и авторитетного учреждения, из года в год инспектировал КИС.

Крайплан приходился на долю другого ответственного работника РКИ, а вот для КИС свет сошелся на Кунафине!

Вегменский протестовал, доказывал, что КИС — организация, по существу, научная и потому инспектироваться должна лицом, обладающим хотя бы средним образованием. С Вегменским соглашались, но дело ничуть не менялось, и каждый год Кунафин являлся в КИС и ворошил бумаги в папках, что-то писал, а потом представлял в РКИ акт обследования (копия в КИС, копия в орготдел Крайисполкома, копия в Сибтруд) и договаривался о командировке (со своей лошадью) по районам края в качестве инструктора-организатора массовой краеведческой работы.

Теперь Кунафин оказался председателем «Комиссии по Бондарину» и вот произнес речь и сам пришел в недоумение: хорошо у него получилось, великолепно или он допустил ошибки, не дай бог или аллах, политические? Он уставился на Сеню Сурикова: «Ну как? Неужели...» Сеня Суриков многозначительно кивнул, Кунафин вмиг расцвел, темные и круглые глаза его заблестели, смуглое лицо сделалось строгим, раз и другой он провел рукой по седеющим волосам на голове.

А тут еще Сеня Суриков сказал вслух:

— Ну, что же... Мне кажется... если не вдаваться, то, в принципе, Владислав Станиславович абсолютно прав!

Оказывается, Кунафина звали Владиславом Станиславовичем, странно! Поляк пополам с каким-то азиатом, что ли?

Итак, Владислав Станиславович расцвел и уже не спускал глаз с Сени Сурикова, не замечал больше никого из присутствующих — ни третьего члена «Комиссии по Бондарину» Корнилова, ни самого Бондарина, с каменным, с мертвенным выражением лица сидевшего в углу небольшой комнаты за чьим-то письменным столом, ни Вегменского, который, сцепив крепко руки, закинул их за голову и теперь боялся, что то ли левая, то ли правая рука вот-вот сорвется с привязи, нажмет на горловую кнопочку, а тогда он заговорит, закричит... И Владиславу Станиславовичу, и Сене Сурикову наговорит черт знает чего...

— Дальше! — произнес Сеня Суриков.— Кто дальше?

— А разве я сказал, что я кончил?— теперь уже весело и уверенно заявил Кунафин.— Я еще, можно сказать, что ничего не сказал. Еще не брал в руки книгу, про которую написали свое замечательное письмо пока что не указанные фамилиями товарищи в нашу краевую печать. Но теперь я эту книгу беру!— Кунафин поднял над головой книгу с кожаным корешком, с тиснением по корешку и с «мраморной» бумагой по обложке. Красивая книга, шикарная по нынешним временам. Правда, внутри бумага была никуда, низший сорт. Так вот, Кунафин перевернул обложку.— А теперь все же что тут напечатано в первых строчках? А вот. При первом же перелистывании обнаруживаю «Указ Временного всероссийского правительства», город Уфа, номер два от одиннадцатого дробь двадцать четыре сентября одна тысяча девятьсот восемнадцатого года. Читаю вслух: «Члену Временного всероссийского правительства генерального штаба генерал-лейтенанту Георгию Васильевичу Бондарину вручается верховное командование всеми российскими вооруженными силами». И далее не совсем разборчиво росписи членов правительства. И управляющего делами. Дальше листаю, дальше и тут же нахожу предисловие к этой книге и поныне здравствующего среди нас товарища Вегменского Юрия Гаспаровича, а в конце я нахожу маленький-маленький печатный шрифт в количестве почти что полных шестьдесят две страницы и там четыреста восемнадцать примечаниев все того же товарища, то есть Юрия Гаспаровича Вегменского.

Теперь я уже спрошу: как это понять? И я отвечу: а это никак не понять, это не укладывается, что старейший член партии и каторжанин — сам же редактор, сам же составляет предисловие и сам же делает четыреста восемнадцать примечаниев к книге белого генерала, напрямую воинствующего против Советской власти! Но все ж таки вникнем, для чего же Юрий Гаспарович Вегменский только в примечаниях четыреста восемнадцать раз берется за перо? Что он пишет? А вот: «Бондарин делает попытку оправдать себя перед современным читателем... но некоторые места, очищенные автором от предательских деталей (которые мы восстановили в примечаниях по оригиналу дневника, поскольку таковой был в нашем распоряжении), ясно показывают, что Бондарин, отказавшись в Омске от поста верховного

правителя в ноябре тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда союзники предложили ему этот пост, уже через полгода пожалел об этом и стал искать реванша». Так пишет о Бондарине товарищ Юрий Гаспарович Вегменский, вроде как следует пишет, а на самом деле? На самом-то деле здесь, в этом двести восьмом и в этом сто пятнадцатом примечании было необходимо товарищу Вегменскому Юрию Гаспаровичу объяснить читателю следующее письмо Бондарина адмиралу Колчаку, которое и зачитываю: «Ваше высокопревосходительство, милостивый государь Александр Васильевич! Не считая возможным при сложившихся обстоятельствах находиться более на территории Сибири, я решил в самом непродолжительном времени выехать за границу». А дальше того хлеще: «Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности, готовый к услугам Бондарин. Омск, двадцать первого ноября восемнадцатого года».

И я спрашиваю, в том числе и редактора товарища Вегменского Юрия Гаспаровича, почему он не замечает генеральской двуличности? Почему он не обращает читательское внимание на факт, что Бондарин разбрасывает разные колкости и выражения в адрес Колчака, а в то же самое время отписывает ему «Ваше высокопревосходительство, милостивый государь»? Это Колчаку-то? Да каждый из нас сказал бы ему: «Ах ты, сволочь, кровопийца и враг трудового народа, не хочу тебе служить, подлое ты существо!» А он вместо того «милостивый государь» и «готовый к услугам»! И это после какого события, этот «милостивый государь»?! Снова читаю, после какого. Читаю страницу сто одиннадцатую, это когда происходит из Челябинска в Омск разговор Бондарина с Колчаком: «У аппарата верховный главнокомандующий генерал Бондарин».— «У аппарата адмирал Колчак. Вы просили меня к аппарату».— «Здравствуйте, адмирал. Я просил вас, чтобы выяснить все те события, которые произошли за мое отсутствие в Омске, а равно и те распоряжения, которые касаются русского верховного главнокомандующего». Ну и вот, теперь уже адмирал Колчак отвечает генералу Бондарину, дескать, «события в Омске произошли неожиданно для меня, и, когда выяснился вопрос о невозможности дальнейшего существования Директории, Совет министров...» Да, Совет, видите ли, министров,— с недоумением повторил Кунафин,— «...принял всю полноту

власти, после чего обсуждался вопрос, возможно ли при настоящих условиях управлять всем составом министров. Признано было, что такое коллективное правление ныне невозможно... был поднят вопрос об образовании верховной власти. Я указывал на вас. Суждение происходило в моем отсутствии — я оставил зал заседания. Совет министров...» Видите ли, опять Совет министров! — опять удивился Кунафин, — «...настоял, чтобы я принял всю полноту власти... Я принял этот тяжелый крест как необходимость и как долг перед родиной. Вот и все». А Бондарин в ответ Колчаку же: «Я никак не могу встать на точку зрения такого спокойного отношения к государственной власти... Я в течение двух суток ждал, что в Омске поймут все безумие совершившегося факта... Как солдат и гражданин, я должен вам честно и открыто сказать, что я совершенно не разделяю ни того, что случилось, ни того, что совершается, считаю необходимым немедленное восстановление Директории и сложение вами ваших полномочий». А Колчак? Это который заявляет, что его заставили принять тяжелый крест власти, а сам только и делал, что к этому кресту изо всех своих сил рвался? Этот самый адмирал отвечает генералу Бондарину: «Я передаю факты и прошу говорить о них, а не об отношении к ним! Директория,— заявляет Колчак,— вела страну к гражданской войне, в нашем собственном тылу распалось все, что было создано нами до нее». Вот так они поговорили, генерал с адмиралом, адмирал с генералом, а потом Бондарин и говорит: «До свидания!» А Колчак отвечает: «Всего доброго!» И после этого Бондарин пишет вышеуказанное мною письмо Колчаку и заканчивает его такими же словами: «Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности». И, мало того, «готовый к услугам Бондарин... двадцать первого ноября восемнадцатого года»! Это надо же было до того упасть, чтобы письменно живодеру Колчаку сообщить: готовый к услугам! Это надо же было старому большевику товарищу Вегменскому Юрию Гаспаровичу четыреста восемнадцать раз написать свои примечания! Это надо же было после того ему же, Юрию Гаспаровичу, указать генералу Бондарину путь-дорогу в Крайплан и уже тут, в Крайплане, вместе с ним служить и сотрудничать!

И хотя нет никакого удовольствия делать вывод и говорить его во всеуслышание, но вывод все равно

напрашивается сам собой: не для того ли товарищ Вегменский Юрий Гаспарович еще в тысяча девятьсот двадцать пятом году критиковал Бондарина и делал к нему свои примечания, чтобы в тысяча девятьсот двадцать восьмом году сотрудничать с ним в Крайплане? Очень просто: некритикованный Бондарин куда годный? Никуда, каждый будет смотреть на него недоверчиво, но критикованный, да еще не кем-нибудь, а самим товарищем Вегменским Юрием Гаспаровичем, везде подойдет, хотя бы и в должность незаменимого спеца и члена президиума Крайплана! Такой даже может сидеть чуть не в любом президиуме, ну, конечно, кроме разве партийных съездов и конференций! И не пришло в голову нашему авторитетному товарищу Вегменскому, что он роняет во многих глазах не только себя, но и весь Крайплан и подает отрицательный пример другим советским учреждениям! И, таким образом, не кто, как сам Юрий Гаспарович Вегменский довел дело, что должна была создаться наша нынешняя комиссия для разбора положения, которое он за все эти годы сам и единолично мог в любой момент изменить и пресечь! Вот какой невольный вывод, который я и ставлю на усмотрение нынешней комиссии.

Тут Кунафин, уже не сомневаясь в себе, снова посмотрел на Сеню Сурикова и действительно получил одобрение — Сеня склонил голову, улыбнулся и сказал:

— Все внимательно слушали сказанное? Да?

Вегменский, словно ученик, поднял руку над головой, другой нажал на горловую свою кнопочку.

— Прошу слова для разъяснений. Необходимо, чтобы комиссия заранее и твердо определила круг вопросов, которыми она должна и компетентна заниматься.

Кунафин говорить Вегменскому не дал:

— Слово в первую очередь предоставляется членам комиссии.

Встал Бондарин и сказал:

— Считаю свое присутствие на данном заседании излишним. И затрудняющим дело обстоятельством. Разрешите уйти?

Кунафин снова посмотрел на Сеню Сурикова, потом сказал:

— Я как председатель категорически против.

— Вы каждую минуту можете понадобиться комиссии, Георгий Васильевич,— подтвердил Сеня Суриков.

— Я буду в соседней комнате. В случае необходимости пригласите меня.

Бондарин вышел. Воцарилась тишина, впрочем, недолгая — заговорил Сеня Суриков:

— Ушел и ушел. Нас это не трогает. И я продолжаю тот вывод, который высказал уже товарищ Кунафин. О котором действительно вопиет каждая страница этих «воспоминаний», этой антипролетарской книги. Этого вопля глухой не услышит, слепой не увидит, и нам, крайплановцам, должно быть стыдно, что мы сами этого не увидели, не услышали, а за нас это добрый дядя сделал, то есть спасибо им, тем товарищам, которые подали свой документ в редакцию, а редакция уже переслала его нам. Итак, я отмечаю: на первых же страницах товарищ Вегменский уже воскуривает Бондарину фимиам, дескать, Бондарин родился в тысяча восемьсот семьдесят пятом году, а потом поступил в Пензенское землемерное училище, в девятьсот третьем по первому разряду кончил академию Генерального штаба — это, видите ли, очень важно для Вегменского, что по пер-вому, а в девятьсот четвертом году блестяще — опять же, видите ли, блестяще!— выиграл сражение на реке Шахэ у японцев, а в четырнадцатом году получил Георгиевский крест в германской войне за крепость Перемышль, а потом дослужился до генерал-квартирмейстера северного фронта, а потом, что отречение Николая Второго совершилось на глазах Бондарина и он, видите ли, даже хранил акт об отречении. Так. А для чего мне, читателю, вся эта монархическая галиматья? Мне она не нужна! А вот Вегменскому нужна, он же готовил себе сотрудника, он как бы даже и сам-то не прочь погреться в лучах его монархической славы! Или вот он пишет, Вегменский, что Бондарин — не тот типичный генерал, он добился чинов и орденов не благодаря дворянскому происхождению и не благодаря Гришке Распутину, а собственным умом и старанием, поскольку он пролетарского происхождения, сын сельского кузнеца и даже работал молотобойцем. Еще он сообщает, что в дневнике генерал Бондарин написал о самом себе следующее: «Итак, для белого лагеря я теперь не только «социалистический генерал», но уже и оказался будто бы в Совдепии, «кстати сказать, присудившей меня к трем годам тюрьмы и считающей меня одним из своих лютых врагов, особенно за создание восточного фронта». Бондарин написал это в своем дневнике, а в книгу даже и не

перепечатывал, но Вегменский постарался эту запись туда впечатать! Догадался! И сделал это под номером сто восемьдесят первым своих примечаний. Для чего? Тут всякое может быть...

Вегменский вскочил и, забыв нажать горловую свою кнопочку, взмахнул руками, закричал что-то... волосы у него были растрепаны, глаза помутнели. Сеня Суриков сказал:

— Вообще-то мы вашего партийного лица не касаемся, на это имеются другие организации!

Вегменский, размахивая руками, выбежал из комнаты, и опять наступила тишина, и Сеня Суриков сказал с меланхолическим оттенком:

— Тот ушел... Этот ушел... Скажи, пожалуйста, совершенно одинаково действуют... Ну, да нам всем уже и недолго осталось на сегодня заседать.— И тут же Сеня привел из «примечаний» текст соглашения от 30 апреля 1920 года между японским командованием и командующим русскими войсками Бондариным о прекращении военных действий на Дальнем Востоке, а потом почему-то сказал:— Вегменский напирает, что генерал Бондарин с Красной Армией почти не воевал, немного где-то под Самарой, а потом он все искал, все искал невоенного и, видите ли, бескровного решения... Он как будто даже забыл собственноручную запись Бондарина о том, что был одним из организаторов белогвардейского восточного фронта против Советской власти.— И тут, посмотрев на Кунафина, потом на карманные свои часы, Сеня вдруг сказал:— Действительно, товарищ Кунафин, нужно на сегодня закругляться. Я вижу, товарищ Корнилов непрерывно хочет что-то сказать, но это в другой раз.

«...Ночь... темь... река... люди... телеги... коровы... лед... багры...» — вспоминалось отчетливо Корнилову. Давно уже не было в этой картине такой отчетливости...

И Омск, и парад на городской площади, и генерал Бондарин верхом на белом коне, а потом встреча с ним в салон-вагоне, мост через Иртыш, вид с моста на кирпичные побеленные и поблекшие стены и строения крепости, в которой некогда обитал арестант Федор Достоевский, на этот Мертвый дом, и незаконченный разговор Корнилова с генералом тоже отчетливыми были картинами, живыми.

«Воспоминания» Бондарина, эту нынче подсудную

книгу, Корнилов в свое время читал-читал, но понять не мог, не охватил ее ни взглядом, ни чувством, ни умом, ни памятью, столько там было событий, столько непознанного прошлого. Товарищи Суриков и Кунафин, те сразу все поняли...

Корнилов хотел бы с чем-нибудь эту книгу сравнить... А с чем? С тем, что могло бы в русской истории быть, но чего так и не было? Но такие сравнения бывшего с небывшим никогда его не прельщали, казались ему болезнью мысли, признаком вырождения.

«Ну, хорошо, ну, ладно, и Сеня и Кунафин сами по себе очень мало соображают, но, если ничтожно малую величину помножить на 100, на 1000, на 10 000, на какую угодно цифру, она все равно остается тем, чем была, то есть величиной ничтожно малой?! Так утверждает математика, которая все, что утверждает, то и доказывает. И, значит, даже огромный ум и тот ничтожно мало понимает историю?!» — в сумбуре каком-то восклицал про себя Корнилов. А в то же самое время очень, очень хотел понять историю, неизбывное это было у него желание.

«26 октября 1922 года красные войска, предводительствуемые Уборевичем, заняли Владивосток. Бондарин не эмигрировал, остался в городе и решил предаться властям, чтобы держать ответ за свои прошлые преступления против Советской власти»,— сообщал Вегменский в предисловии к «Воспоминаниям».

Бондарин же писал по этому поводу следующее:

«Внимательный анализ пережитых пяти лет привел меня к убеждению:

1) что только Советская власть оказалась способной к организационной работе и государственному строительству среди хаоса и анархии... Оказалась властью твердой, устойчивой, опирающейся на рабоче-крестьянское большинство страны;

2) что всякая борьба против Советской власти является, безусловно, вредной, ведущей лишь к новым вмешательствам иностранцев и потере всех революционных достижений трудового народа;

3) что всякое вооруженное посягательство извне на Советскую власть как единственную власть, представляющую современную Россию и выражающую интересы рабочих и крестьян, является посягновением на права

и достояние граждан Республики, почему защиту Советской России считаю своей обязанностью.

В связи с изложенным, не считая себя врагом Советской России и желая принять посильное участие в новом ее строительстве, я ходатайствую (в порядке применения амнистии) о прекращении моего дела и об освобождении меня из заключения».

Это прошение было подано Бондариным во ВЦИК 22 июня 1923 года. Он был в то время заключен в Красносибирский местзак.

Это примечание Вегменского и это прошение Бондарина Корнилов зачитал на следующем заседании комиссии и спросил: как думают товарищи Суриков и Кунафин, правильно ли поступил ВЦИК, удовлетворив прошение Бондарина?

Суриков и Кунафин одинаково нахмурились, одинаково помолчали. Суриков и Кунафин пожали плечами. Потом Суриков сказал:

— Не запутывайте нас, товарищ Корнилов: ВЦИК и мы с товарищем Кунафиным — это совершенно разное! У ВЦИК своя роль, а у меня и у товарища Кунафина своя. Не запутывайте нас, товарищ Корнилов, мне кажется, вы умышленно нас хотите запутать.

Пожал плечами и Корнилов.

— Значит, товарищ Суриков и вы, товарищ Кунафин, не согласны с решением ВЦИК? Который вынес решение, учитывая заявление Бондарина, а именно его стремление работать на пользу Советской власти? Товарищ Вегменский, этому решению содействуя, привлек Бондарина к ответственной и нужной работе, а товарищи Суриков и Кунафин такой работе всячески препятствуют, то есть противодействуют решению ВЦИК!

Кунафин растерялся, заморгал.

— Продолжаете запутывать ясный вопрос, товарищ Корнилов,— подтвердил Суриков.— Я, признаться, ничего другого от вас и не ждал. И вот спрашиваю: а чего вы хотите? Какого решения нашей комиссии? Внесите предложение.

— Решение может быть только одним: комиссия считает сотрудничество Вегменского и Бондарина в Крайплане плодотворным и соответствующим постановлению ВЦИК о помиловании Бондарина, поскольку

в этом решении сказано: «Амнистировать, учитывая стремление работать на пользу советского народа».

— Вы так считаете?— спросил Сеня Суриков.— А ведь в постановлении ВЦИК ничего не сказано о допустимости сотрудничества между Бондариным и Вегменским.

— Логика это утверждает. Логика постановления!

— Логика? Подумать только, логика? Надо же!

— Но вы же не приводите ни одного примера отрицательных результатов сотрудничества Бондарина с Вегменским. Может быть, кто-то их имеет? Такие примеры? Может быть, товарищ Прохин их имеет? Давайте зайдем все трое в кабинет к товарищу Прохину и спросим его мнение на этот счет.

Тут Суриков потерял уверенность.

— Это не годится,— сказал он.— Это запутывает ясный вопрос. И ясную постановку вопроса.

— Если мы узнаем мнение руководителя нашего учреждения, в чем тут путаница?

— А во всем!— подтвердил Сеня.— Как есть во всем! Мы, комиссия, должны представить свое мнение товарищу Прохину, а не наоборот. Наоборот — это уже черт знает какая путаница! Может быть, даже политическая!

— «Свое мнение»— это все-таки чье же?

— Это мнение коллектива Крайплана, товарищ Корнилов!

— А Прохин — это не коллектив? Не член коллектива?

— Ну что же, давайте голосовать. Нас трое, вот и голосуем: кто за то, чтобы нам идти к Прохину, а кто, чтобы не ходить? Давайте!

— Другой логики и доказательств у вас нет?

— Есть, товарищ Корнилов!— ответил Сеня, широко улыбаясь.— Сейчас вы увидите, услышите и убедитесь, товарищ Корнилов, что все это у нас есть! Читай, Кунафин! Читай главный документ, который ты мне вчера показывал. А вы, товарищ Корнилов, внимательно слушайте. Сосредоточьтесь и слушайте...

Кунафин встал, широким жестом развернул небольшой листок бумаги.

— «Характеристика,— прочел он,— на Бондарина Георгия Васильевича.

Бондарин Г. В., бывший генерал, 1875 года рождения, пролетарского происхождения (сын сельского куз-

неца). Принимал активное участие в борьбе против Советской власти во время гражданской войны (1917—1922), затем добровольно предался военному трибуналу 5-й армии красных при вступлении ее во Владивосток и подвергся аресту и следствию.

22 июня 1923 года подал прошение о помиловании во ВЦИК.

ВЦИК в порядке амнистии прошение удовлетворил, дело было прекращено, и Бондарин как специалист был направлен в краевую Плановую комиссию, где он и работает по настоящее время в качестве старшего референта и члена Президиума с окладом 300 рублей.

Обладая обширными знаниями и высокой работоспособностью, Бондарин Г. В. консультирует секции торгово-промышленную и транспортную, а также является составителем ежемесячных конъюнктурных обзоров по рынкам Сибири и заграницы.

За последние годы им написан и опубликован целый ряд работ по вопросам развития тяжелой промышленности, железнодорожного, речного, морского и авиационного транспорта. Труды эти носят «объективный» характер, без анализа материала с точки зрения марксистско-ленинской теории.

Владеет языками французским, немецким, английским.

Связей с заграницей не поддерживает (кроме служебных).

К Советской власти лоялен.

Общественная работа — член правления и лектор КИС. Исполнение общественной работы добросовестное.

Командировки — малочисленные. Последняя — по линии костеобрабатывающей промышленности. Сложное задание было выполнено.

Заключение: пригоден для дальнейшей работы в краевой Плановой комиссии в должности старшего референта и члена Президиума, а также и в КИС как член ее правления.

Подпись ответственного лица, выдавшего характеристику (с указанием должности): Зам. председателя краевой Плановой комиссии и председатель КИС *Ю. Г. Вегменский*».

Кончив читать, Кунафин еще долго оставался в ораторской позе, чуть пониже опустив бумагу, он внимательно и торжествующе смотрел на Корнилова.

И Сеня Суриков смотрел на него, потом спросил:

— Ну?
— Что — ну? — не понял Корнилов.
— Теперь-то наконец понимаете?
— Теперь ничего не понимаю.
— Ну, уж вы нас запутываете, так запутываете, товарищ Корнилов! Если уж вы и сейчас ничего не понимаете, тогда я даже не знаю, как вас понять. Не могу! Отказываюсь!
— И я не могу! — воскликнул Кунафин. — И я отказываюсь!
— Позвольте, — спросил и у того, и у другого Корнилов, — позвольте, что в этой характеристике сакраментального? Что особенного, я хочу спросить? Если уж нет ничего такого, что мешало бы совместной работе Вегменского и Бондарина в книге «Воспоминаний», тогда что же подобное можно обнаружить в этой характеристике?
— Ну, Петр Николаевич, Петр Николаевич, нельзя же так! Так запутывать дело! — развел руками и с укоризной произнес Сеня Суриков. — Да вы слушали характеристику-то нормально? То есть внимательно?
— Нормально. Внимательно.
— А вы слышали, кем она подписана, характеристика?
— Вегменским.
— Ну, а что это значит, если она им подписана?
— Значит то, что в ней написано!
— Кем написано?
— Вегменским!
— Ну, а это что, по-вашему, значит? Если Вегменским же и написано, и подписано? Что значит? Не догадываетесь?
— Да о чем же догадываться-то? Вы мне объясните, товарищ Кунафин. И вы, товарищ Суриков. О чем?
— Вот какой вы, оказывается, недогадливый, товарищ Корнилов! — снова развел руками Сеня Суриков. — Мы которое уже заседание сидим, говорим, все уже сказали все, что нужно, а вы до сих пор ничего не поняли и не догадываетесь?
— Вот это да, — вздохнул сокрушенно Кунафин. — Вот это да!
Сеня Суриков сидел, откинувшись на спинку стула, долго молчал, потом сказал глухо:
— Вам, Петр Николаевич, все-таки не удастся нас

запутать. Как ни старайтесь, не удастся. Кунафин,— обернулся он затем в сторону.— Кунафин, я вношу предложение: ты, как председатель, поручаешь кому-то из членов комиссии, мне или товарищу Корнилову, подработать проект решения нашей комиссии, а на следующем заседании мы этот проект проголосуем, рассмотрим и утвердим. Я другого выхода не вижу.

— И я не вижу,— согласился Кунафин.— Я тебе поручаю составить проект, товарищ Суриков.

— Вот что, товарищи,— сказал Корнилов.— Георгий Васильевич просил через меня, чтобы его пригласили в конце нашего сегодняшнего заседания. Он хочет сделать заявление.

— Какое?— спросил Суриков.— Какое заявление? Опять какая-нибудь путаница?

Но Корнилов уже шел к дверям.

Бондарин сидел в соседней комнате, секция торгово-промышленная, за столом, заваленным бумагами и папками, все другие столы были пусты, время было уже нерабочее, и, когда вошел Корнилов, спросил у него:

— Как дела?

Корнилов в ответ махнул рукой.

— А вы успокойтесь, успокойтесь,— тоном старшего сказал Бондарин, и они пошли.

Бондарин, стоя, сказал, что он не считает для себя возможным продолжать работу в Крайплане. Что сама постановка этого вопроса, и создание специальной комиссии, и первое же ее заседание, на котором он имел честь присутствовать, отвергают такую возможность.

Потом Бондарин поклонился и ушел снова, а Корнилов с каким-то даже внутренним облегчением произнес:

— Вот так... Вот и наша комиссия не нужна больше, товарищ Кунафин.

— Что-о?— воскликнул Сеня.— Нет, это вопрос не частный и решение Бондарина ничего не значит. Подумаешь, он, генерал, решил! Да мы что, просили его об этом? Сроду не просили! И никогда не попросим! Мы сами решим общественно важный и политический вопрос, сами, без всяких заявлений с его стороны.

— Семен Андреевич! Товарищ Кунафин! С моей стороны тоже следует заявление: я считаю, что после того, как Бондарин сообщил нам о своем решении, продолжать работу нашей комиссии не имеет смысла. По-

этому я лично ни на одном заседании, если они все-таки состоятся, присутствовать не буду.

Сеня Суриков сказал, как будто и не слышал Корнилова:

— Назначай заседание, Кунафин! Утвердим резолюцию большинством голосов, а на том уже действительно кончим.

— Назначаю на послезавтра, на пять вечера, в этой же комнате. Все слышали?— спросил Кунафин.

Спустя несколько дней, поднимаясь по лестнице в свою квартиру, Корнилов услышал, как хлопнула дверь, кто-то спускался по лестнице ему навстречу, и нос к носу он встретился с товарищем Суриковым.

Корнилов остановился, вытаращил глаза на Сеню, тот медленно ступал со ступени на ступень, лицо у него было скорбным.

Лицо Сени неизменно выражало готовность к действию, если же кто-то вступал с ним в разговор, у Сени тотчас возникал позыв этот разговор прервать и бежать куда-нибудь, по какому-нибудь делу, но он все равно оставался на месте и продолжал разговаривать, тем самым как бы оказывая собеседнику пусть и не очень значительное, а все-таки одолжение.

Но тут было лицо неподвижно скорбное, и ничего больше.

Корнилов поздоровался, Сеня сказал в сторону:

— Да-а-а. Да-да. Конечно.

Нина Всеволодовна загадки не открыла. И погладила его по голове... Благодарность: он ни о чем не спрашивает.

Еще через день она сказала:

— Я подумаю. Я соберусь с мыслями, с чувствами. С воспоминаниями.— И опять погладила нежно.— Сегодня ты уйди от меня пораньше. Сегодня мне хочется быть одной...

— Должно быть, женщине — настоящей — обязательно нужно на час, на два, на три быть погруженной в самое себя. Ощущать свою кожу, цвет своих волос, слышать свой голос, видеть себя в зеркале — все это, отрешившись от хлопот, от забот, ото всех мыслей, кроме разве очень неторопливой мысли о самой себе...— проговорил Корнилов.

— Ты-то откуда знаешь?

— Я же был натурфилософом.

— Но все окружающее, все окружающие нас люди и хлопоты не дают нам этих часов. Минуты не дают...

Значит? Значит, это было что-то временное в ней, а он должен спокойно и рассудительно переждать и пережить. Вполне может быть, что она и с Лазаревым иногда становилась такой же. Лазарев же умел это пережить?

Корнилов еще больше, еще усерднее стал работать в КИС.

Толк был таков: ты прикладываешь к работе усилия, и от этого ее становится все больше и больше. Еще больше усилий — еще больше работы. И меньше времени для чувств и сомнений. Труд сделал человека человеком, вот и утешайся этой судьбой.

Все оставалось на своих местах в квартире Нины Всеволодовны: фикус в кадушке с черной-черной землей, герань в горшочках на подоконнике, столик с несколькими забавными фигурками немецкого фарфора, голландская печь с черными чугунными дверцами — большой и маленькой, лист железа на полу с пятнышками — их оставили раскаленные угли, которые когда-то Нина Всеволодовна, может быть, и сам Лазарев, выгребая кочергой в совок, уронили на пол... Еще книжный шкаф с энциклопедиями на русском и других языках и шкаф поменьше — с классиками художественной литературы. Фотопортрет Лазарева в простенке над комодом старинной работы.

Квартира была мила Корнилову. В скромности и аккуратности замечались некоторая обеспеченность, она напоминала самарский дом адвоката Корнилова, родной дом, с которым были связаны воспоминания не из мира сего, а из божественного чуткого детства. И петербургскую его квартиру лазаревская комната тоже слегка напоминала, и спасительность тоже была здесь, приблизительно та самая, которую Корнилов пережил в крохотной комнатке на улице Локтевской, угол с Зайчанской площадью в городе Ауле.

Значит, никогда не было у Корнилова такого жилища, которое хоть чем-нибудь не отозвалось бы здесь, в квартире Лазаревых.

Память Константина Евгеньевича Лазарева, его фотопортрет над комодом ничуть Корнилова не удручил, разве только в добром смысле: Корнилов был убежден, что существует правота во всем том, что было между ним и Ниной Всеволодовной, и умный Лазарев эту правоту давно понял... И все предметы этой квартиры точно так же понимали все, на их глазах происходившее.

Но вот он вошел в ее комнату и сразу же почувствовал: «Кто-то здесь есть чужой... Посторонний... Появился! Кто-то или что-то».

Это был альбом с фотографиями, он лежал на комоде. «Возьми-ка меня в руки, Корнилов, возьми!» Он взял... и почувствовал несвойственный небольшому предмету вес... Это потому, что не только листы альбома были заполнены фотокарточками, они грудились стопой под обложкой. Они тут же рассыпались и упали на пол.

После этого Корнилов услышал тишину, она предвещала что-то, что вот-вот произойдет.

Он собрал фотографии с пола и взглянул на Нину Всеволодовну. Она стояла по другую сторону стола и с выражением какого-то вопроса смотрела на него. Корнилов хотел положить альбом обратно, он не спросил разрешения, взявши его с комода. Она пожала плечами:

— Нет, отчего же, смотри, смотри! — И опустилась на стул. «Смотри альбом, а я буду смотреть на тебя...»

В беспорядочной стопке карточек он тотчас заметил те, которые и должен был заметить: военные, времен гражданской войны.

Нина Всеволодовна в красноармейской форме, в шинели и в шлеме с огромной пятиконечной звездой, с высоким шишаком...

К ней это не шло, но она все равно была красива!..

Лазарев же повсюду был худ, худоба придавала ему жесткое, даже жестокое выражение, которого Корнилов в нем не подозревал.

Нина Всеволодовна, перегнувшись через стол, пояснила:

— Язва желудка... Он чуть не умер. Демобилизоваться не хотел, и врач давал ему заключение: «Годен к службе».

А еще были снимки групповые, с командным составом 5-й армии — много интеллигентных лиц (гораздо больше, чем на таких же фотографиях офицерского со-

става белых армий, которые невольно припоминал Корнилов). На одной был снят командир Пятой Генрих Эйхе.

Корнилов Генриха недолюбливал, и не потому, что противник, а по другой причине: к нему восходила чуть ли не вся слава 5-й армии красных. Корнилов же считал, что Генрих ни при чем, что все определил Тухачевский — он дал сражения, после которых белые уже не смогли восстановить силы. После этой победы Тухачевский был послан на юг, на деникинский и врангелевский фронты, а его место занял Генрих Эйхе. Ах, боже мой, боже мой, ну что Корнилову были эти военные события?! И зачем был ему вопрос, который он задал Нине Всеволодовне, на который он давным-давно знал ответ:

— Я не видел этих фотографий. Почему-то...

— Их не было в альбоме. Я сегодня положила... Опять приходил товарищ Суриков, просил показать бумаги и фотографии Лазарева — все, что относится к его участию в гражданской войне.

— Зачем это? Сурикову?

— Стало быть, надо. Товарищ Суриков и еще кто-то, чуть ли не товарищ Прохин, устраивают в Крайплане выставку, посвященную участникам гражданской войны. На выставке особое место будет у Лазарева. Живых, говорят они, неудобно показывать анфас и в профиль, а мертвых можно и нужно. И правда, Лазарев никогда бы не позволил вывесить его портрет или написать о нем статью. Он же был ужасно самолюбив.

— Это было самолюбие?

— Еще бы! Малейшее подозрение, что ему льстят, выводило его из себя. «Это значит,— говорил он,— что меня подозревают в том, что я способен поддаться лести!» Это приводило его в бешенство. Ты никогда не видел бешеного Лазарева? А жаль... Получил бы представление, что это такое. Что такое мужчина в бешенстве. Впрочем, никто этого не видел, только я. Всякий раз это случалось, когда кто-нибудь в чем-то его подозревал. Или же он только думал, что он на подозрении...

— Странно...

— Я тоже удивлялась. Как это, революционер, конспиратор — и так оскорбляется при первом же подозрении? Но он топал ногами и кричал, что, когда его подозревают его враги, ему на это десять тысяч раз начхать

и наплевать, но подозрения единомышленников оскорбительны, унизительны, мерзки, отвратительны, бесчеловечны и губительны для дела единомышленников. Еще он кричал, что, если я этого не понимаю, если прощаю это людям, значит, кто же я, как не дурная женщина?!

— Что отвечали вы?! — спросил Корнилов и заметил, что он перешел на «вы». И подумал о том, как же снова вернуться к «ты»?

И вспомнил, что нежно и ласково сам говорил ей: «Ты для меня всегда должна быть «вы»! Хоть однажды в день, но всю жизнь!»

Нина Всеволодовна помолчала, как бы прислушиваясь к тому, что думает сию минуту Корнилов, потом заговорила снова:

— Я объяснила ему, что жизнь и единомышленников тоже делает заклятыми врагами, и не так уж редко... Он? Он отвечал, что жизнь такова, какой видит ее человек. Я? Нет, не надо об этом вспоминать, не надо, нехорошо...

Если бы сейчас случилось что-нибудь одно! Одно Корнилов понял бы, хватило бы ума, но тут случилось сразу очень многое, и, лихорадочно думая о Сене Сурикове, о фотографиях времен гражданской войны, о «ты» и «вы», еще о чем-то и о чем-то, он не думал ни о чем и ничего не понимал.

И стал говорить о том, в какой чистоте, тишине, в каком рабочем напряжении протекает жизнь Анатолия Александровича и Лидии Григорьевны Прохиных, о том, что в их комнатках все еще витает образ сыночка Ванечки и другие образы, о Груне он рассказывал, как Груня обожает своих хозяев, и о том, как бесконечно страдает Никанор Евдокимович из-за странной, прямо-таки болезненной любви к своему племяннику Витюле, а Витюля мстит старику за его любовь к нему.

— Может ли так быть? — спрашивал Корнилов.

— Может, может! — подтверждала она, а Корнилов смотрел на слегка матовое лицо, на небольшой округлый чувственный рот, на руки и снова-снова в большие, чуть навыкате глаза.

— Это ведь вы, Нина Всеволодовна, приказали мне познакомиться со всеми этими людьми... Помните?

— Разве?..

Она не помнила.

— Нет!— сказала Нина Всеволодовна Корнилову, когда он пришел в следующий раз.

Корнилов этого ожидал. Он уже много дней ожидал, но сегодня, слушая ее шаги за стеной, чувствуя флюиды, которые проникали сквозь стену, он, войдя к ней, как всегда вечером, в начале девятого часа, уже весь был — одно тяжкое предчувствие.

Давность предчувствия ничуть не помогала ему, наоборот, он сильнее ощущал невероятность этого «нет». Она была одета в строгую темную кофточку и длинную юбку, на ней были зашнурованные ботинки, а красный с розовеньким пуховый халатик, в котором она обычно бывала вечером, висел нынче на вешалке, а мягкие домашние туфли с оборкой беличьего меха расположены были носок к носку на полу под халатиком.

Корнилов торопливо положил руку на теплое плечо Нины Всеволодовны, но едва только ощутил ее тепло, как она снова повторила «нет», движением плеча освободилась от его руки.

— Садись вот сюда. Чай будем пить?

— Не хочется...

— А я подогрею. С чаем лучше.

— Почему «нет»?

— Не сегодня...

— Если бы!.. Но не сегодня — это ведь каждый день? Или я ошибаюсь. Мнительность?

Нина Всеволодовна разжигала примус, ответила не сразу:

— Торопишь события? Не падай духом. Я же не падаю. А ты же мужчина! Возьми себя в руки. Конечно, я уже не могу не сделать тебе больно, но сделать больно больше или меньше — это еще можно. Это еще зависит от нас.

Корнилов молчал.

— Что мы можем? Сегодня? Можем попить чайку. Посидеть, повспоминать что-нибудь хорошее, приятное. Устроить вечер вопросов и ответов: ты спрашиваешь — я отвечаю, я спрашиваю — ты отвечаешь... Можно по-другому назвать — вечер откровений!

— Сеня Суриков виноват, да? Неужели он? Понять не могу, представить не могу, почувствовать не могу: Сеня Суриков — и мы с тобой? Какое он может иметь к нам отношение?

— Значит, вопросы и ответы? Наверное, этого и в самом деле не минуешь.— Нина Всеволодовна при-

глушила примус, вернулась к столу и, придвинув стул, села против Корнилова.

А ведь она вся была загадана и создана для любви, и то, что происходило с ней сейчас, было кощунственно, было противоестественно, было несправедливо по отношению к нему, к ней самой и ко всему миру. И она понимала эту несправедливость, но все равно через все это перешагивала. Зачем?

— Видишь ли, Петр, у каждого счастья, у каждого несчастья — свои обстоятельства. Сеня Суриков — это обстоятельство.

— Решающее?

— Первое. Появляется обстоятельство первое, оно обнаруживает второе, третье, четвертое, и так до тех пор, пока они не станут сильнее тебя и ты уже не в силах их отбросить, они же отбрасывают тебя от тебя. И ты уже в их власти. Сеня Суриков только и сделал, что объяснил: нехорошо, что вдова революционера сошлась с бывшим белым офицером. Недопустимо! И объяснил-то ужас как глупо!

— Без Сени ты этого не знала?

— Если бы не пришел Сеня, не попросил бы у меня наши и наших товарищей фотографии, я, может быть, так бы и не догадалась... Я ведь спрятала их далеко-далеко в тот день, как ты пришел ко мне в первый раз.

— Мы можем уехать от этой причины. От Сени, от Крайплана, от Красносибирска, от Сибири — от всего уехать!

— Нам нужно было это сделать на другой день... Или на другую ночь. А теперь это будет только маскарад, а больше ничего, теперь от самой себя куда? Уедешь?

— Значит, окончание?— Она не ответила. Корнилов воскликнул:— Но было же и начало! Ведь было же! И вы попросту не имеете права меня оставить. Поняли?

— Не поняла!

— Это очень просто и понятно: до того, как я встретил вас, я сам себе был источником силы и энергии. Источник был на пределе — вот-вот, еще день, и он бы иссяк, но пришли вы и восстановили его. А теперь чем буду я жить?

— Но что же я могу, если уже ничего не могу? И никакой я уже не источник. Ни для вас, ни для себя. Я теперь просто так, вот что я такое... Да-да, я готова

просить у тебя прощения. Готова встать перед тобой на колени. Готова проклясть себя, если тебе будет хоть немного легче, если это хоть что-то объяснит!— Она сделала движение, как будто стала опускаться со стула, но Корнилов толкнул ее обратно.

И не увидел на ее лице ни отчаяния, ни раскаяния — были решимость и выражение чего-то прошлого, минувшего. Корнилов содрогнулся. Он не раз прощался с прошлым, он-то знал, что такое прошлое и бывшее, как уходит оно в небытие.

— Наверное, ты никогда и не отрешалась от мысли, что, когда ты со мной — ты грешишь?

— Только на мгновения. И удивлялась, что ты этого не замечал.

— Значит, я вас не понимал? Не знал?

— Вы не хотели мириться с тем, что чего-то не знаете во мне, вы заставляли себя думать, будто знаете все... А ведь я говорила, что я собачонка! Что в страхе царапаюсь в дверь и ожидаю хозяина и хочу, чтобы ко мне вошел живой человек! Помните?

— Прекрасно помню.

— И прекрасно забыли. Вам не хотелось думать, что я пришла к вам из страха. Что мне было так страшно одной, что я в отчаянии не могла понять: что со мной, кто я, кем я буду, оставшись одна? Может быть, ничем? А я не могу быть ничем! Что хотите со мной делайте, не могу! И мне нужно было утвердиться в себе, в себе — женщине. В чем же другом я еще могу утвердиться? И вы мне помогли, я утвердилась. Ну вот и все...

— Жестоко!

— Еще бы! Вот я и готова встать перед вами на колени... Встать?

Корнилов снова остановил ее.

— Составили план и выполнили его?— спросил он.

— Это я сейчас говорю. А тогда был страх, и ничего больше.

— Неправда! Было счастье, и я не мог в этом обмануться. Было, было!

— Для меня было счастье избавления. Счастье повешенного, которого за секунду до последнего вздоха вынули из петли. Истинное ли это счастье? Женское ли?

— Утвердившись, вы стали мучиться тем, что я белый, а вы красная? Да?

— Если бы мы были только вдвоем. Но ведь мы всегда были втроем! — И Нина Всеволодовна взглянула на фотопортрет.

— Лазарев?

— Кто же еще?

— Конец света — «...ночь... темь... река... мост... люди...» — вот и все, с чем я пришел к вам. Вас это ничуть не пугало. Быть последней Евой при последнем Адаме — это вам было интересно и не страшно. Если мы самые последние, если мы после Лазарева, что же могло нам помешать? Последним не мешает ничто?!

— Да-да! Я хотела верить вам и вашему страшному пророчеству, чтобы подавить свой собственный страх... И недолгая забывчивость стала моим недолгим счастьем. Уж это всегда так — собственный страх нам страшнее, чем конец всего света! Вот и вы: если бы вам сказали, что через пять минут кончится все, весь мир, вы бы так не испугались, как боитесь сейчас, теряя меня. Все мы так устроены. И я, и вы, и все.

Хотелось Корнилову паралича, но паралича не было. Надо было справляться без паралича, без разрыва сердца. Он спросил:

— Когда вы служили в 5-й армии, вам не приходилось иметь дело с какими-нибудь бумагами по армии генерала Молчанова?

Она была готова к любому, к какому угодно вопросу и к этому тоже.

— Много раз... — сказала она с безразличием.

— Не было донесений о передвижении молчановской армии по тайге? На север от Щегловска? Не помните?

— Вспоминаю...

— А донесений о том, что в деревне Малая Дмитриевка и вокруг нее ваш противник, отступая, сжег несколько тысяч саней? С продуктами, боеприпасами? Что оставил там раненых, сыпнотифозных, обмороженных? В декабре девятнадцатого года? Двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого декабря?

Нина Всеволодовна опять не удивилась, она сказала:

— Какой ужас, — но сказала это спокойно. — Ну, а то, первое, с чем вы пришли ко мне, было ведь еще страшнее: «...ночь... темь... река... мост... люди...» Ведь первое всегда самое страшное, потому что неожиданно.

Да, да, она почти его отгадала, Нина Всеволодовна: сейчас он действительно хотел испугаться прошлого, а не настоящего, он требовал этого от себя, он хотел поверить в то, что прошлое все еще способно их разъединить, а может быть, и сделать врагами...

И он вспомнил тайгу, оцепеневшую на морозе, в таком холодном воздухе, который казался сошедшим на землю с нездешних, с дальних-дальних и никому не известных небес, вспомнил огромные, казалось, тоже холодного пламени костры, они поглощали тысячи саней, груженных боеприпасами и продовольствием, их жгли голодные и почти безоружные люди, вспомнил мародеров из своего же батальона, которые пытались что-то выкрасть из этих костров и убежать прочь, спастись в тайге; вспомнил, как он, Корнилов, приказал их расстрелять и только приказал, не успел даже подумать о своем приказе, как раздался жиденький и неровный залп; вспомнил, как час спустя к нему привели еще четверых каких-то людей, они тоже пытались что-то спасти из тех же костров, а с ними сделали то же самое; и залп был удивительно похож на тот, первый; вспоминал и еще, и еще что-то из последних декабрьских дней девятнадцатого года и, подумав и вспомнив, стал ей обо всем этом рассказывать. При этом он ждал, что она крикнет: «Подлец! Почему ты ничего не говорил об этом до сих пор?» Тогда-то он и поверит, что они — враги.

Однако же Нина Всеволодовна слушала его по-прежнему скорбно и по-прежнему молча. Выслушав, сказала:

— Война... Я знаю все, что происходило на войне.

— Вы были машинисткой в штабе, вы не видели всего, не могли видеть,— с упорством и злостью, с отчаянной какой-то надеждой сказал Корнилов.

— Но у меня всегда хватало воображения, чтобы представить себе все, что происходит там... Там, откуда я получала для перепечатки на «ундервуд» донесения и рапорты...

Тогда Корнилов заговорил о нежности, которую испытывал к ней, когда они бывали вместе, о неземной чистоте, которую всякий раз находил в ней.

Она снова не удивилась ничуть.

— Я знаю это за собой. Знаю! Я — такая.

— Вам говорили об этом ваши мужья?!

— Почему бы им было не говорить?

Он не ответил, Нина Всеволодовна пояснила сама:

— Ты же говорил мне, что мы последние Адам и Ева. Если последние, значит, уже все было, все-все было...

Он же еще и еще искал какое-то доказательство, какое-то убедительное объяснение их разрыва, ему было все равно, в чем его найти, в любви и в нежности или в ненависти, лишь бы только найти, но ему не хватало для этого ни ума, ни памяти, ни чувств, ни логики — ничего, он был бессилен во всем этом, она же была безразлична. Ей уже ничего не нужно было доказывать, ее решение было выше всего на свете: выше ума, выше памяти, выше любого суда и любого существования — прошлого, настоящего и будущего.

Он спросил:

— А причина? Она должна быть? Несмотря ни на что, должна?

— ...В поисках причин теряю себя,
ищу причину, словно собственное счастье,
и забываю, что я причина самой себя,
и называю мудростью свою забывчивость...

Не помню, кто сказал... Может быть, никто, может быть, это я самой себе сказала когда-то?

Нина Всеволодовна поднялась, стала ходить по комнате из угла в угол, из угла в угол. Корнилов следил за ней, за каждым ее шагом, ждал, что она расплачется, бросится к нему. Не бросится, а только расплачется! Не расплачется и не бросится, но что-то объяснит ему?

И действительно, она вдруг остановилась, повернувшись к нему спиной, зажала голову руками, а когда снова обернулась, руки опустила и сказала:

— Петр Николаевич, я ведь мать...

— Кто?— не понял Корнилов.— Кто, кто?

— Мать... У меня сын. Теперь уже юноша. Он от второго моего мужа, которого я бросила, когда убежала к Лазареву. И сына бросила я тогда. Трехлетнего. Хотела взять его с собой, но отец не отдал. Я подала в суд, в товарищеский суд колонии русских политэмигрантов, разумеется. Ни в один другой суд я ведь не могла обратиться, но товарищи мне отказали. А теперь этот младенец, верите ли, Петр Николаевич,— он юноша.

«Ну, конечно, конечно, у нее должны были быть дети, у этой женщины, обязательно должны!» — подумал вдруг Корнилов, но догадка поздно пришла к нему,

безнадежно поздно. Теперь это было чем-то противоположным догадливости и не только не приблизило к нему Нину Всеволодовну, а еще отдалило. Если бы он вовремя, если бы месяц, два месяца тому назад, в самом начале их знакомства, ничуть не сомневаясь, сказал бы: «У тебя должны быть дети! Дети у тебя были, или они есть, или они будут, ты немыслима без детей!» — если бы он сказал ей так, может быть, он и не потерял бы ее?

Теперь же ее признание было тяжким упреком и обвинением, он чувствовал, как непоправимо, как ужасно он опоздал со своей догадливостью.

— Вы его видели когда-нибудь с тех пор, своего сына?

— Во сне. А наяву он отказался от меня. Раз и навсегда. Его вырастила и воспитала другая женщина. У него есть брат, есть сестра, есть мать, зачем ему я? Но я поеду к нему. Через неделю. Он мне снится. Он снился мне и сегодня ночью, маленький и теплый, я кормила его грудью, молока было много, оно подтекало мне под мышку. Я проснулась и не могла поверить, что простыня, что подушка сухие, что там нет молочных пятен. Природа не обделила меня молоком, но для чего мне эта щедрость? Чтобы кормить во сне детей, которых я не рожала? Чужие дети... Почему я их чувствую? Знаете ли, ребенок, когда он кормится грудью, он уже человек и показывает себя, свой характер — один сосет весело, откидывает головку и чему-то улыбается, а другой с жадностью, сосредоточенно, не отрываясь ни на секунду, а третий... У меня-то был только один, но я этому не верю. Когда кормлю во сне, не верю! Их было много.

— Вам нельзя ехать к сыну,— сказал Корнилов.— Нельзя!— Он убеждал ее, что нельзя, что это безумие, убеждал, умолял, позабыв, что только что искал в ней врага...

Нина Всеволодовна снова опустилась на стул и, не слушая его, говорила:

— ...я буду жить в том же городе, я сниму угол где-нибудь рядом с домом, в котором живет мой сын, я буду каждый день встречать своего сына на улице и смотреть ему в лицо. Я не принесу ему никаких неприятностей, он ведь не знает меня. Я буду ползать за ним по дорогам, в канавах, буду подглядывать за ним в щели заборов, буду...

— Это безумие! Зачем вы это сделаете, почему?

— Потому что, когда я была женой Лазарева, я могла забыть о своем сыне, а теперь не могу, нет! Вот и все. Идите, дорогой Петр Николаевич, идите к себе!

— Неужели только для этого вы и возрождались из страха? Из отчаяния?

— Я не знала для чего. Этого не знает никто! Идите, Петр Николаевич, прошу вас!

— Нина Всеволодовна,— подумайте! Вы безупречно честны и думать тоже можете честно.

— Если бы я была честной женщиной, я должна была возненавидеть вас. Но у меня нет к вам ненависти, сколько я ее ни призывала, нет и нет! Уйдите, Петр Николаевич, прошу вас.

— Я стал вам противен?

— Если бы существовали одни только ночи, тогда можно было бы жить так, как я живу теперь. Ночами нам хорошо, но днями мне так плохо, так плохо... Каждый день я мечтаю возненавидеть вас. Уйдите, Петр Николаевич, уйдите, пока не наступила ночь! Я этого требую от вас!

Она приблизилась к Корнилову и резким, сильным движением заставила его подняться со стула. Погладила по голове и еще раз сказала:

— Неужели я должна кричать вам: «Вон отсюда!»?

В дверях он остановился и спросил:

— Такие последние Адам и Ева?

— Такие,— подтвердила она.— Вот такие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Нет, что ни говори, а Корнилов все еще убеждался в том, что Крайплан — самый солидный отдел Крайисполкома!

Да вот пример: Крайплан имел свой ежемесячный журнал «Реконструкция народного хозяйства Сибири», а Совнархоз ни о чем таком и подумать не мог, куда ему! И любой совработник, включая председателя Крайисполкома товарища Гродненского, считал для себя честью в этом журнале печататься: журнал не только в крае, но и в Москве читали, в других краевых, областных и республиканских Госпланах читали. Сибкрайплан был в системе Госплана организацией авторитет-

ной, в Сибкрайплане хотя и работали спецы из «бывших», колчаковского призыва, зато это были спецы, имена. Наконец, Сибкрайплан еще в недавнем прошлом возглавлял деятель такого масштаба, как Лазарев. Вот как все понимали о Сибкрайплане, как ценили его авторитет!

Впрочем, не все, находились граждане, им Крайплан представлялся не чем иным, как учреждением, призванным продвигать не столько планы краевых организаций и ведомств, сколько созданные их собственным воображением прожекты.

Вот так: государство, государственный аппарат не додумался до того, что нужно построить такие-то и такие-то железные дороги, а гражданин имярек додумался в два счета; государство не догадалось, каким образом ему себя организовать, где и какие создать учреждения, а гражданин Иванов-Петров не поспал две-три ночи, у него бессонница, вот он и догадался обо всем этом; государство не понимало и не знало точно, чего ради оно существует, что такое «централизация», «децентрализация», что такое «плановое хозяйство», а гражданин Петров-Иванов это прекрасно знал и понимал и спешил государство, Крайплан в первую очередь, поучить и на этот счет...

Корнилов иной раз лютую ненависть испытывал к таким вот знатокам и догадчикам, они ему шею переели, а ничего не поделаешь: инициатива масс, демократия, развитие образования и всеобщей грамотности, вот и выслушивай, читай малограмотные объяснительные, пояснительные, докладные и прочие записки! Мало того — читай, да еще и отвечай на них по всей форме в письменном виде!

Отвечай, беседуй, вникай во все прожекты, да еще и думай про себя втихомолку: «А может, это специалист по карнаубскому воску? Все может быть. Все-все может быть!»

Правда, всем этим прожектерам нужно было отдать должное — среди них не было совершенно глупых людей, но и умных тоже не было; все, что они предлагали, было делом нужным, но неисполнимым, вот в чем беда-то.

Корнилову иногда хотелось поговорить с этими людьми почти по душам, узнать, что они делали во время германской войны, во время гражданской. Почему

дошли до жизни такой? На чем заклинились навсегда? Или это было торжество чего-то уже достигнутого? Или торжество будущего, которое вот-вот случится? В которое верится? Или торжество настоящего?

Корнилов не понимал, что откуда, но этого от него и не требовалось, а требовалось другое — именно ему, заместителю председателя КИС, было поручено консультировать самодеятельных энтузиастов развития народного хозяйства и культуры.

Корнилов, конечно, отбрыкивался от поручения, он сказал своему начальнику, товарищу Вегменскому:

— Товарищ Вегменский, Юрий Гаспарович, вы же председатель КИС и член президиума Крайплана. Вы же председатель краевого общества бывших политкаторжан и политссыльных, вы сибирский Маркс, так вот вам и карты в руки! А мне? «Бывшему»? Разве мне удобно заниматься такого рода и такого масштаба общественной работой?

Вегменский не сразу раскусил, о чем речь, похлопал глазами, а когда понял, воздел руки, опустив же одну руку, нажал на горловую свою кнопочку:

— Что вы, что вы, Петр Николаевич! Все обстоит как раз наоборот, это вам просто дело, с вас как с гуся вода, а мне?! Мне это каторга и погибель, вот что! Я же не смогу удержаться, я тотчас начну цитировать, а это нельзя. Ни в коем случае нельзя! Не моги об этом и думать, потому что все инициаторы, все прожектеры, все знатоки, они начнут цитировать тоже и пойдет и пойдет у нас история без всякого конца. На меня повалят жалобы, и не куда-нибудь, а секретарю Крайкома товарищу Озолиню: «...какой же это у вас старый большевик, какой-такой представитель общества бывших политкаторжан, какой марксист-теоретик, ежели он и Маркса-то не знает? А ежели знает, то перевирает его с пятого на десятое? Может, он это нарочно? Зачем тогда его в партии держать тридцать лет, засорять ряды? Ему место на свалке истории, вот где!» Нет уж, нет, Петр Николаевич, не подводите старика под нож и партвзыскания, а принимайтесь за дело. Да! Я же дам несколько дельных советов, слушайте. Первое: никогда и ничего не цитируйте, не дай бог! Второе: никогда не принимайте этих людей по одному, а делайте так, чтобы один сидел бы у вас в кабинете, а двое-трое других в ко-

ридорчике ждали бы своей очереди. Те, из коридорчика, и будут к вам ежеминутно заглядывать и этого, очередного, от вас выкуривать. Третье: не говорите, что проект, что предложение неграмотно и неприемлемо, говорите так: «К нам уже поступило предложение, очень похожее на ваше, оно и будет рассматриваться в первую очередь». Вас спросят: «А кто автор того, первого предложения?» Вы отвечайте: «Тот автор пожелал остаться инкогнито». Ну, с богом, Петр Николаевич, вам-то они ничего не сделают, что, в самом-то деле, еще сделаешь с «бывшим»? С ним уже все сделали, но со мной, шалите, еще да-а-леко не все!

Тем временем какой-то художник, имени его как художника, как живописца Корнилов никогда не слыхивал, какой-то Борисов вот уже, оказывается, пятнадцать лет как хлопотал о постройке железной дороги из Сибири (от Томска) к побережью Баренцева моря (до Мурманска).

Северный же морской путь, он что? Он действует и будет действовать только в летние месяцы, а железная дорога круглый год — что выгоднее? Что лучше? То-то! Ну и, конечно, другие доводы, множество других: «Белое море, замерзая, совершенно бессильно в зимние месяцы!»

И: «Предлагаемая железная дорога расселит неимоверно крупные города, и там, на просторе, рабочие будут иметь здоровую пищу, прекрасные жилища и множество свежего воздуха».

И: «Окно, о котором мечтал Петр Великий, превратится в дверь».

И: «Это есть величайшая нелепость нашего века — несоединение Котласа с Сорокой железнодорожным путем. Я не могу себе представить, чтобы тянулась железная дорога от Владивостока до Котласа 10 000 верст, от Мурманска до Сороки — опять имеется железная дорога, а между Сорокой и Котласом всего 700 верст, и пустое место. Это противоестественно!»

И вот художник, в прошлом, кажется, даже иконописец, составил и размножил собственными силами соответствующий «Проект» (разумеется, «предварительный») и накануне германской войны передал его в один из департаментов Министерства путей сообщения. Революции это дело, конечно, затормозили, с тем бо́льшим рвением художник захлопотал при Советской власти, он

размножил «Проект» и заново послал его в Наркомпуть, в Наркомторг и в целый ряд край- и облисполкомов, и что же? Исполком Северной области на «Проект» клюнул, и теперь переписка шла не столько непосредственно с художником, сколько с Архангельском. Вот уж переписка! Несколько папок! Тесемки на папках едва-едва завязывались.

Корнилов не спорил, он сообщал в Архангельск кратко: нету на такой проект денег у советского государства, нету у него свободных миллиардов, не-ту!

Но Архангельск не верил. Ваш сибирский хлеб и лес плюс наш лес, а отчасти и льноволокно — это же какие миллионы тонн! Вот и будем вместе сбывать их за границу, и железная дорога Томск — Мурманск оправдается (по подсчетам художника) за 8,5 лет. А раз так, деньги должны найтись!

Ну и, конечно, уже не в первый раз поступали предложения перекрыть земляной дамбой Берингов пролив, не пускать льды и холодные течения из Северного Ледовитого океана в океан Тихий и тем самым отеплить наше советское дальневосточное побережье, чтобы там легко было возделывать апельсины;

по строительству гидроэлектрических станций на реках Бия, Катунь, Абакан, Томь, Иртыш, Чарыш, Олекма, Иркут — предложения поступили;

проект подземного сжигания углей в Кузбассе (почти что по методу, предложенному в свое время «товарищем Д. И. Менделеевым», только с небольшими изменениями) — поступил;

об организации вузов в городах Барнаул, Щегловск, Бийск, Ачинск, Красноярск — предложения поступили;

несколько меньше, но тоже огромное число предложений и проектов поступало по вопросам общественного развития советского государства.

Так, некто Бакланенко предлагал всем крупнейшим странам обменяться «заложниками мира» в количестве от 2—3 до 20—30 тысяч человек. «Заложники» должны были гарантировать ненападение одного государства на другое, поскольку при нападении возникает угроза уничтожения собственных граждан на территории чужого государства.

Другой автор выдвигал идею как бы и вовсе материальную: оценить в рублях, а затем поставить на баланс каждой союзной республики все ее сырьевые ресурсы,

при использовании этих ресурсов за пределами данной республики выплачивать ей соответствующие суммы. То есть одна республика должна покупать сырье у другой за наличные, а иначе наступит бесхозяйственность в деле использования природных ресурсов.

...разработать и осуществить в ближайшем будущем программу развития в СССР евгеники в целях создания генетических кланов — плановиков-ученых, писателей, футуристов, вообще великих людей.

И т. д., и т. д., и т. д.

В Крайплане думали-думали и придумали: под названием «Планирование — на уровень современных задач» напечатали в краевой газете передовицу и между критическими замечаниями в адрес нескольких окружных плановых комиссий указали, что, хотя Крайплан и должен прислушиваться к мнению масс, тем не менее беспочвенные, непродуманные, а подчас и технически безграмотные предложения и проекты — очень-очень! — затрудняют его работу.

Господи, что тут началось!

Приток проектов и предложений увеличился, по крайней мере, в три раза, и все со ссылкой именно на эту статью...

И пришел как-то утром, в неприемные часы, в кабинетишко Корнилова человек в очках и в странной какой-то, то ли летней, то ли зимней, очень мятой шляпе, пришел не один, а с сопровождающим лицом, в руках которого находились довольно толстые папки, и тот, что в очках и в шляпе, немедля приблизился к Корнилову, протянул ему руку и отрекомендовался так:

— Товарищ Пахомов! Председатель человечества.— И сел напротив Корнилова. И шляпу снял.

— Какого человечества?— не понял Корнилов.

— Обыкновенного. Населяющего планету Земля.

— Всю? Всю планету?!

— Нет, зачем же всю? Ведь Арктика и Антарктида тем более до сих пор не заселены.

— Ну... ну, а другие планеты?..— осторожненько осведомился на всякий случай Корнилов, поскольку у него мелькнула определенная догадка по поводу Председателя человечества.

— Марс?— спросил Председатель.

— Ну, хотя бы...

— Нет, Марс нас не касается. Во-первых, неизвестно, есть ли там население...

— А во-вторых?

— Во-вторых, мы принципиально в чужие дела не вмешиваемся. Своих хватает.

— Позвольте, а кто же вас избрал Председателем человечества? Ведь председатель — это же выборная должность?

— Меня? Никто!

— Значит, вы сами?

— Конечно, сам!

— На каком же основании?

— На основании собственного призвания. Да вы не думайте, у нас есть Общество, у Общества есть счет в Государственном банке и печать. У меня есть также и командировочное удостоверение, заверенное той печатью, одним словом, все есть, что должно быть.

— Так, так... Ну, а что же вы уже успели сделать? В соответствии со своим призванием? И должностью?

— Ну, это как ставить вопрос. В каком смысле.

— В прямом.

— В прямом абсолютном или в прямом относительном?

— В абсолютном!

— Сделано главное — составлена «Программа КЭВ» в трех томах, сейчас мы ездим по Советскому Союзу, пропагандируем ее. Мы вот, я вот со своим сотрудником товарищем Герасимовым, поехали на восток, еще одна бригада — на запад, две другие — на юг и на север. Так что работа началась во всех направлениях. Ну, а если сразу же спрашивать и в относительном смысле, тогда нами сделано прямо-таки ничтожно мало. То есть, вы меня, надеюсь, понимаете, по сравнению с тем, что должно быть сделано, это просто капля в море. Даже половина капли.

— Вы самокритичны.

— Мне иначе нельзя.

— А что же это такое — «Программа КЭВ»?

— Герасимов! — окликнул Председатель своего сотрудника, все еще стоявшего у дверей с папками в руках.— Герасимов, подай-ка материал! Подай и сам сядь вот сюда, ты нам можешь вот-вот понадобиться.

«Папка № 1» была солидной, и на ней значилось:

«Проект программы Мировой Культурной Эволю-

ции». А ниже: «...с точки зрения социалистической революции и современной международной обстановки».

Герасимов, дождавшись, когда Корнилов прочтет этот заголовок, развязал папочные тесемочки:

— А вот тут, далее, тут по существу дела читайте!

«Раздел первый. Общие положения. Принципы и постановка вопроса»,— прочел Корнилов, а дальше еще шли и шли параграфы...

«§ 1. Мировой социальной революции должна предшествовать мировая культурная эволюция, а не наоборот, как это утверждают некоторые.

Почему?

Потому что социальные революции предусматривают перераспределение не только материальных благ и ресурсов, тогда как главное — это блага духовные и культурные. Ведь духовному человеку нужно меньше благ материальных, и наоборот, бездуховному они нужны без конца и края — вот исходный принцип.

§ 2. Только культурная эволюция, в состав которой первым пунктом входит перераспределение благ культуры и просвещения, может обеспечить искомое и долговременное равенство, так как именно неравенство культурное (неравный образовательный ценз, неравный доступ к книгам и другим источникам знаний, неравный доступ к планам государственного развития — последние слова были подчеркнуты двумя жирными красными линиями,— неравный доступ даже в музеи и картинные галереи) — вот что является причиной культурного, а значит, и социального неравенства.

§ 3. Перераспределение культурных благ и обмен культурными ценностями между народами, которые в достаточном количестве обладают таковыми, и странами культурно малоразвитыми — дело трудное, однако выполнимое, и к нему-то Совет «Программы КЭВ» и призывает глав всех правительств (см. «Воззвание Совета КЭВ к главам культурно развитых государств», папка № 4, с. 14—19).

Особое положение в осуществлении «Программы КЭВ» занимают страны и государства малого развития и даже совершенно дикие, но трудности не должны стать препятствием для поставленной задачи, для получения каждым гражданином мира справедливой доли культурных благ и культурных ценностей, как-то: книг, музыкальных нот и инструментов, театрального обору-

дования и проч. (список предметов, подлежащих справедливому перераспределению, см. в Приложении 9, папка № 3, с. 1—21).

Вначале весь этот культурный ассортимент, конечно, не будет использован народами, не имеющими о нем понятия, ни по прямому, ни даже по какому-нибудь косвенному назначению, но со временем должно произойти и произойдет непосредственное к ним приобщение. Другого пути нет — человеку нельзя приобщиться к тому, чего у него нет сегодня и не будет в ближайшей перспективе.

§ 4. Величайшей, еще небывалой в истории человечества предпосылкой к мировой культурной эволюции явилась Великая социалистическая пролетарская революция в России.

Эксплуататорские классы, которые регулярно создают материальное неравенство между людьми, должны безоговорочно принять «Программу КЭВ», если только они не хотят быстрейшего осуществления в своих странах самых суровых и жестоких социальных революций. Поэтому разъяснительная работа должна быть немедленно очень умело и наглядно развернута именно в среде этих классов. Таким образом, «Программа КЭВ» отводит человечество от преступления, которое оно совершает над самим собой и над огромным процессом жизни на земле вообще. Это преступление называется глупостью и равнодушием и даже более того — равнодушием к судьбам всего мира».

Эта фраза была заключительной в разделе первом, и Корнилов хотел закончить чтение, но вдруг слева от себя, очень близко, услышал дыхание...

Это дышал сотрудник Председателя товарищ Герасимов, дыша, он просил и умолял Корнилова: «Только не сейчас, не сию секунду! Не сию секунду прерывайте чтение, не сию секунду возражайте Председателю, не сию секунду выражайте свое недоумение!»

И Корнилов понял, что, если он и в самом деле прервет чтение сейчас же, это будет унизительно для Председателя человечества — после столь малой толики прочитанного уже отвергать его великую идею!.. Нельзя!

«Раздел второй. Конкретные действия по воплощению в жизнь «Программы КЭВ» сегодня.

§ 1. «Программа КЭВ» должна быть согласована как можно скорее со всем человечеством. Единственно

возможный путь такого согласования — всемирное голосование.

Прим. Участие в голосовании должны принимать все без исключения граждане обоего пола, населяющие Землю, в возрасте от 17 до 75 лет (кроме психически неполноценных и не имеющих понятия о смысле слова «культура»).

§ 2. Для проведения голосования создается временный Совет «Программы КЭВ».

§ 3. Для исполнения своего назначения Совет «Программы КЭВ» должен иметь средства.

Прим. 1. Совет имеет из пожертвований частных лиц и кооперативных организаций сумму 1016 руб. 29 коп., каковая находится в московском городском Государственном банке, расчетный счет № 086715, на этот счет Совет и призывает вносить хотя бы самые малые средства всех, кому дорого дело «Программы КЭВ», включая сюда и организации государственные.

Прим. 2. Совет «Программы КЭВ» выносит на всеобщее мировое голосование следующее предложение: каждый трудящийся отчисляет на осуществление «Программы» сумму, соответствующую 0,1 процента от его ежемесячного жалованья, в так называемую копилку человечества, и через 5 (пять) лет эта сумма будет уже вполне достаточной для реального исполнения «Программы».

Прим. 3. Трудящимся СССР рекомендуется отчислять 0,2 процента от месячного заработка, поскольку они передовой отряд трудящихся всего мира.

Прим. 4. По предварительным соображениям, все эти денежные операции Совет «Программы КЭВ» предлагает поручить вновь организуемому Банку международных расчетов в г. Базеле (Швейцария).

§ 4. Для осуществления «Программы КЭВ» необходим руководящий орган, каковым и является Совет, созданный на полностью добровольных началах гражданами-инициаторами.

Прим. 1. В настоящее время Председателем Совета находится гражданин-инициатор советского подданства товарищ Пахомов Аркадий Евстигнеевич (1889 года рождения, с постоянным местопребыванием: СССР, г. Москва, ул. Масловка, дом 4, кв. 24).

Прим. 2. Гражданин-инициатор Пахомов А. Е. впредь до итогов всемирного голосования и выбора постоянного руководства рассматривает себя как врио

(временно исполняющий обязанности) Председателя Совета по «Программе КЭВ».

Корнилов наконец оторвался от чтения и посмотрел в черты лица врио Председателя человечества.

Перед ним была личность скромная, до конца убежденная в своей правоте, о чем говорил совершенно ясный взгляд совершенно синих глаз; личность, умеющая доверять людям, но и требующая от них ничуть не меньшего, а даже большего доверия к себе.

В то же время это был уже Председатель с большой буквы. Если бы Корнилов сию же минуту вскочил и со слезами обнял врио Председателя, тот и глазом бы не моргнул и, может быть, даже не растрогался, потому что счел бы такое движение корниловской души чем-то совершенно нормальным и само собой разумеющимся.

Если же Корнилов закричит и с криком объявит, что проект «Программа КЭВ» — это безмозглая выдумка безмозглых людей, ну, что же... Это будет значить, что у Корнилова нет нисколько ума, а еще меньше человеческого чувства... Может быть, даже и человеческого достоинства. Так они смотрели друг на друга: Корнилов на Пахомова, Пахомов на Корнилова.

А товарищ Герасимов, не дыша, смотрел на того и другого...

Корнилов сказал:

— Да, да... Утопия.

— Утопия?!— переспросил Пахомов.— Значит, утопия? Ну, и что же? А что было бы с человечеством, ежели оно никогда не имело бы при себе утопий? Никогда, никогда! Может, без них оно давным-давно было бы погибшим?! Разве вы не знаете, товарищ... товарищ...

— Корнилов,— подсказал Герасимов.

— Вот-вот!— продолжал Председатель.— Разве вы не знаете, Корнилов, что человечество, только оно возникло, уже ходило по краешку собственной гибели? Как только кто высказывал мысль или совершал действие к его спасению, так в тот же день, в ту же минуту такому человеку отвечают: «Утопия!» И это звучит, скажу я вам, как ругательство какое-нибудь, как вроде бы матерное слово! Да разве это можно? Ведь тропочка-то на краю гибельной пропасти — она все у́же да у́же, человечество по ней на цыпочках идет, а слово «утопия» ему при этом становится все мерзостнее. Ведь как, по су-

ществу, мало нужно, как мало,— исключить из характера людей корысть и страсть к эксплуатации — и все, и живи после того человечество на здоровье тысячелетия, так разве же это не умная мысль? А выскажи ее вслух, тебе самые разные умницы кукиш в нос — утопия!

— Но и то, что предлагаете вы, это не шанс,— вздохнул Корнилов.

— А Христос предлагал — у него был шанс? Никакого, ни малейшего, а ведь он на какое-то время все ж таки людей спас! Ну, пускай не навсегда, пускай на какое-то время, но все ж таки!

— Вы что же — верующий? Религиозный человек?

— Никогда! Я пролетарий и много лет был токарем по металлу. Третий разряд. Я и сейчас работал бы на оружейном заводе, как работал многие годы, но во время всех происшедших в недавнем прошлом войн и голодовок потерял всю семью: жену, детей, сестренку, братишку. И я задумался: да как же так? Ведь еще и еще люди будут терять столько же и даже больше, чем я! До тех пор будут терять, пока не потеряются все до одного! Ведь это сколько же программ самого разного развития создается нынче и уже создавалось в веках, а где самая главная программа, подумал я. Та, которая по главному, по самому главнейшему вопросу? И я таковой не нашел ни во множестве книг, ни в еще большем множестве речей и заявлений и решил ее, самую главную, выдвинуть собственными силами. Тем более что я ведь обладаю не каким-нибудь там буржуазным, а самым чистым пролетарским сознанием!

— Вот как?

— Я социалист, я за социализм! Ничто, как социализм, не прививает всеобщую сознательность людям, это он говорит человечеству: «Не будешь спасаться сегодня, завтра же погибнешь!» Говорит по-человечески, не предавая анафеме слово «утопия». Скажите честно: вам «Программа КЭВ» не нравится?

— Не очень. Не очень это умно...

— В таком случае, я не возражаю, внесите умное! Очень! Внесите, а я как Председатель не свое, нет-нет, я ваше предложение поставлю на всемирное голосование. Я вас слушаю. А ты записывай, Герасимов. Не беспокойтесь, товарищ Корнилов, Герасимов запишет слово в слово, ему предмет стенографии известен.

— Наследственно: моя мама была по этой специальности,— подтвердил Герасимов.— Она еще в царское время графа Игнатьева стенографировала, моя мама. При Советской же власти она стенографировала делегатов различных съездов, в последний раз на Двенадцатом съезде Советов, а потом она умерла, моя мама... Ну, я готов! Я вас запишу, говорите. Если же вы очень уж задумываетесь, прежде чем говорить, тогда, простите, пожалуйста, тогда нельзя ли задать вопрос вам? Или просто так сказать вам несколько слов?— тихо произнес Герасимов.

— Задавайте свой вопрос,— согласился Корнилов.

— Скажите, пожалуйста, вы о будущем заботитесь? Каким именно образом? Что вы для будущего накапливаете? Ведь нельзя же только расходовать, нужно и накапливать! В общечеловеческую копилку или во что-то другое, но обязательно нужно!

Корнилов пожал плечами.

— Мы только и делаем, что накапливаем. Строятся дома, железные дороги, мосты. Пишутся книги — разве это не накопление?

— А мысли?

— Пишутся книги, значит, накапливаются и мысли.

— А вы не думаете, что мысли о человеке, они исчерпываются так же, например, как лесные массивы либо вот запасы каменного угля либо нефти?

— Нет, я этого не думаю. Мысль бесконечна, и строительство дорог, мостов, машин, заводов это доказывает.

— Значит, вы находитесь в глубоком заблуждении! Ну, конечно, техника самая разная, она идет вперед, одна формула математики, или физики, или химии способна порождать десятки новых формул, техническая мысль не стареет, и потому она и не мысль вовсе, а всего лишь средство к материальному производству. Она направлена отнюдь не к самой себе, не себя стремится постигнуть, до самой себя ей как будто и дела нет, а только одно-единственное у нее желание: постигать свое же порождение, то есть разную технику, разные приборы и разные машины. Ну, а машины, они же плодовиты, как свиньи, вот они и производят свинскую, дикую и варварскую цивилизацию, которая как будто для того и получается, чтобы еще больше угнетать мысль истинную, человеческую о человеке! И вот она, истинная, ужасно дряхлеет у нас на глазах, ну, просто она уже

инвалид, который только вспоминать и то с трудом может, а чтобы создать что-нибудь новое — где там! Она уже повторить когда-то известное и заученное не всегда способна, словно самый последний ученик на уроке истории мямлит и заикается, а набраться новых сил — где там, вот уже многие века нет и нет! Но мы не обращаем на этот бесспорный факт своего внимания, ни малейшего, мы заняты производительностью машинного труда, а лишь только хоть что-то является нам из мысли истинной о самих себе и своем спасении, мы называем это утопией, то есть примерно то же, что «пошел к черту!». Вы меня поняли?

Все это Герасимов произнес на одной ноте, слабеньким и бесцветным голосом.

Ну, конечно, Герасимов был умнее врио Председателя, и Корнилов готов был и еще обменяться с ним какими-нибудь соображениями, но помощник Председателя его предупредил:

— Я с вами спорить совершенно не буду. Потому что если я выскажу какую мысль, то доказать ее уже не могу, не умею. Такой у меня род мышления. Ну, так я вас слушаю, товарищ Корнилов. Я вас записываю. Стенографически!

— Ни вы, ни я, никто и никогда не добьется того, чтобы человечество сообща обдумывало, обсуждало, а тем более ставило на голосование какую-то мысль,— сказал Корнилов.

— И только?— спросил не без удивления Пахомов.— И это все, что вы могли сказать? И это ваш ответ? Тогда я тоже спрошу вас, товарищ Корнилов: вот сейчас мы с Герасимовым уйдем, для меня уже ясно, что уйдем, с чем пришли, а чем вы будете заниматься? Ну, хотя бы через час?

— Через час? Будет заседание президиума Крайплана. Даже раньше чем через час оно будет, через сорок с небольшим минут.

— А повестка дня?

— Вопрос о развитии сахарной промышленности в Сибири.

— Вот так, вот так! Вот и спрошу вас, что нужнее для спасения человечества — «Программа КЭВ» или сахарная промышленность? Вы сопоставьте, вы подумайте: кто из нас больше утопист, вы или я? Тогда для чего же социализм и уже принесенные ему великие народные жертвы, неужели они для развития сахарной

промышленности, которая и без социализма существовала и существует. А вот «Программа КЭВ» без него никогда бы не возникла, честное слово! Еще спрошу: для чего Госплан и Крайплан, для чего Окрплан, ежели вопрос о человечестве их совершенно не интересует? Зачем огород городить, ежели в том огороде вызреет не спасительный плод, а только одна сахарная свекла, ну и еще разные там паллиативные растения и лекарства для безнадежно больных?

Пахомов и Герасимов ушли — две скорбные, а может быть, и две величественные фигуры — нельзя было понять, какие именно.

Через час на заседании президиума Корнилов слушал энергичное, но затянувшееся выступление руководителя недавно созданного управления «Свеклоцентр» товарища Казбекова. Казбеков был из выдвиженцев первых призывов, 1921 года, кажется.

Он говорил, во-первых, о планируемых посевных площадях сахарной свеклы в округах, во-вторых, о строительстве там же первых сахарозаводов, в-третьих, об организации «Сахартреста».

Казбекова на нынешнюю должность рекомендовал еще покойный Лазарев, а характеристики и рекомендации Лазарева и при жизни его значили многое, а после смерти стали значить еще больше.

Впрочем, не все были внимательны, Корнилов был невнимателен к словам Казбекова.

«Расчетный счет в Московском госбанке № 086 715,— вспоминал он.— Перевести, что ли, на этот счет рублей тридцать? Или сорок? А что там застенографировал-то товарищ Герасимов, какую корниловскую мысль, какие слова?.. А вот: «Ни вы, ни я, никто и никогда не добьется того, чтобы человечество сообща обдумывало, обсуждало, а тем более ставило на голосование какую-то мысль... Вашу, мою или чью-нибудь. Никто! Никогда!»

Правда, невнимание Корнилова было не столь уж и долгим, два раздела выступления товарища Казбекова он почти что не слышал, но на третьем — организация «Сахартреста» — он сосредоточился вполне. И даже подумал:

«А ведь действительно дельный этот товарищ Казбеков!» Кавказского ничего — русый, сероглазый, курносый, высокого роста, и говорит, сильно напирая на «а»: «Свекла-а, Са-а-ах-а-артрест, за-а-авод!»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано краевой Плановой комиссией ст. референту тов. Бондарину Георгию Васильевичу в том, что он командируется в г. Омск для выяснения возможностей организации там картографического предприятия по изданию физических, экономических и др. карт как Сибири в целом, так и отдельных районов.

Просьба ко всем советским организациям оказывать тов. Бондарину Г. В. всемерную помощь в выполнении его задания.

Председатель краевой Плановой комиссии

А. А. Прохин.

Это удостоверение Бондарин не то с радостью, не то в недоумении показал Корнилову.

— Еду!.. Еду... Подумать только, еду!..

Бондарин уже давно подал Прохину заявление об увольнении, но Прохин все медлил, все медлил с приказом и вот командировал Бондарина в Омск.

Итак, Бондарин в Омске. Хотелось представить, както он там был. Как переживает то чувство, которое охватывает каждого, кто вступает в места, где когда-то свершалась твоя судьба. И свершилась совсем не так, не по твоему уму, не по твоей природе, а в полном несоответствии со всем этим, со всем тем, что есть ты.

Так ведь Корнилов что? Он сам за себя в ответе, за судьбу того капитана в потрепанной шинелишке по имени-фамилии Корнилов Петр Васильевич, который в октябре 1918 года тоже побыл в Омске. А Бондарин? В его-то руках в то время были судьбы многих миллионов людей!

...Вот он сошел нынче в Омске с поезда, командированный от Крайплана, и на тупиковом привокзальном пути узнал место, где когда-то стоял салон-вагон главковерха...

...А вот сюда, на первый путь, еще раньше, 9 октября в десять ноль-ноль утра, главковерх прибыл из Уфы, погода была чудесной. В вагон вошли генерал Иванов-Ринов, председатель Сибирской областной думы Якушев, чешский уполномоченный Рихтер.

...Был завтрак в штабе армии, потом парад... «Подали белого коня. Объехал войска, собранные на огромной площади. Только при моих легких можно было произ-

нести речь, слышную всему параду. Гремело «ура». Затем началось шествие. Огромные толпы народу. Зрелище прекрасное. Все шло чудесно. Официальная сторона безупречна»,— так было когда-то написано Бондариным в «Воспоминаниях».

(Юрий Гаспарович Вегменский счел необходимым после слова «безупречно» сделать под № 55 примечание: «Опущены слова дневника «встреча царская».)

«А вот дальше хуже. Еще за чаем в штабе чувствовался холодок...»

Поди-ка, прежде чем поехать в командировку, Бондарин еще и еще полистал свою книгу? Восстановил в памяти, что и как было когда-то?

...громадное здание Сибирского управления железных дорог теперь, а в прошлом резиденция колчаковского правительства; краеведческий музей и картинная галерея теперь, дворец Верховного Правителя в прошлом, англичане и канадцы — охрана у входа.

...крохотная железнодорожная станция Ветка, запущенная и малолюдная теперь, а вот она же в чистоте и порядке, с приветственными транспарантами... Главковерх Бондарин встречает здесь генерала Нокса и сэра Элиота — высоких английских представителей. Они, конечно, только и знали что уговаривали русских белогвардейцев не ссориться между собой: «Большое разочарование для союзников, которые стараются помочь России... что русские вожди не могут сговориться между собой относительно состава Временного правительства».

...Разрыв с Колчаком... Бондарин: «Вы подписали чужой вексель, да еще фальшивый, расплата по нему может погубить не только Вас, но и дело, начатое в Сибири».

После приезда Бондарина Корнилову страсть хотелось повидаться с ним.

И сам же Бондарин и пригласил Корнилова на другой день после своего возвращения:

— А-а, Петр Николаевич! А я что думаю? Я думаю, не посидеть ли? Не пообедать ли вместе? Сегодня же в «Меркурии»? Можно и у меня дома. Катюша, знаете ли, совсем недурственно готовит, но по старой памяти давайте-ка на Красном проспекте, в «Меркурии»?

Старший официант — надо же — тот самый! Который был при первом их обеде здесь, в «Меркурии», и который столь неловкий совершил поступок на свадьбе Бондарина, когда крикнул на ребятишек: «Цыц, вы, паршивцы проклятые!», а это так неловко получилось, могло стать таким дурным предзнаменованием, не дай бог! Если на то пошло, все еще неизвестно — предзнаменование это было или так просто, случайность?

Корнилов, бывало, тоже заглядывал в «Меркурий», но старшего официанта почему-то не замечал — он становился заметным, даже величественным только в присутствии Бондарина.

Теперь на это величие накладывало свой отпечаток чувство вины официанта перед Бондариным. Тем, однако же, трогательнее была его внимательность к своему постоянному и глубокоуважаемому клиенту.

— А вы, Петр Николаевич,— говорил Бондарин, когда они покончили с украинским борщом,— вы знаете, я ведь Сеню Сурикова в этом деле с «Комиссией по Бондарину» по-настоящему и не виню, Кунафина не виню, нет. Мне их мероприятие понятно. Удивляетесь? Удивленно молчите? А я объясню — действительно имеет место парадокс: мое сотрудничество с Вегменским! Конечно, парадокс. Смешно! Нелепо! И продолжаться это долго не может, и Сеня Суриков, ей-богу, только поспешествовал завершению нелепости, не более того. Ну, конечно, не столько странно, сколько глупо делает это Сеня Суриков, но и без него так или иначе, а должен был завершиться парадокс... Голубчик! Хлебушка нам еще ржаного и свеженького,— попросил тем же тоном Бондарин у старшего официанта.— И ломтики потолще. По-деревенски.

Сидели они за тем же столом у окна, что и в тот первый раз, больше года назад.

— Вы разве, Георгий Васильевич, друг друга не понимаете? Вы и Вегменский? — спрашивал Корнилов.

— Да в том-то и дело, дорогой мой, что мы слишком хорошо понимаем друг друга! В технических вопросах, в экономических этого «слишком» не чувствуется, и это хорошо и приятно, но мы оба понимаем, что наше сотрудничество — это парадокс. А вот это уже неприятно. И по нынешним временам становится неприличием. Мы маскируемся — шутки-прибаутки, анекдотцы, но знаем: до поры до времени. Только! Чем огромнее будут перед

нами задачи планирования, тем больше они потребуют от нас сил, единения и подлинного товарищества, а его-то между нами и нет. Чего нет, того, не взыщите, нет. Мы разные люди. Мы на технику можем смотреть одинаково, а на жизнь никогда! А он умный человек, Юрий Гаспарович, он всякий раз глазки этак сощурит-сощурит, как только я про себя подумаю: «Если бы я был Верховным Правителем или, предположим, президентом каким-нибудь, я бы вовсе не так сделал, а вот этак!» Или же когда мы что-нибудь нечаянно вдруг вспомним, историю какую-нибудь из времен гражданской войны, например... У него, у Юрия-то Гаспаровича, глазки и того больше сощуриваются, и он угадывает, что я ведь действительно нет-нет да и пожалею о том, что в свое время уступил солдафону Колчаку! Пожалею, переболею этой жалостью... Словно холерой... Не уступил бы, и, глядишь, тот год — тысяча девятьсот восемнадцатый, а девятнадцатый тем более — был в Сибири совсем-совсем другим, а раз в Сибири, значит, и в России, а раз тогда, значит, и теперь было бы все иначе, и уж кого-кого, а Вегменского я, конечно, не допустил бы нынче к планированию, все-таки дилетант! Из тех, кому по сердцу стратегия и разные доктрины, а о тактике и практике они знают издалека. А ведь это, такое вот слишком дотошное понимание между нами, получается всякий раз, когда мы вместе планируем и обсуждаем что-нибудь значительное — выход Сибири непосредственно в Европу Северным морским путем, например. Знаю, знаю, неделикатно так вести и так чувствовать себя человеку, безоговорочно сдавшемуся на милость победителей, а Вегменский же — он мой победитель, но что поделаешь? Я вот у вас хотел узнать, вы никогда не прикидываете умственно: как было бы, как бы могло быть, если бы?..

— Со мной не бывает. Мне не дано сопоставлять и сравнивать то, что могло бы быть, с тем, что есть. Такое у меня мышление. Ограниченны. Для меня главное — натура... Я верю в то, что может быть, но никогда не верю в то, что могло бы быть,— это для меня пустой звук, а слишком уж их много — пустых-то — в нашей жизни!

— Может, это и есть философское мышление? Значит, не бывает? А вот наш брат, практик, ему обязательно должна втемяшиться в башку какая-нибудь грандиозно-практическая штуковина: война какая-ни-

будь или революция, диктатура или директория... Пока не втемяшилось, до тех пор он сам не свой и себя за человека не почитает. Штуковина, в которую воплотились все твои мысленные способности, получается совершенно не такой, какой ты ее замышлял, но тут уже другие виноваты, которые не так хорошо, как ты, все продумали. Ну, к чему это я? Так вот, я во время гражданской войны, почти с самого ее начала, не выдумывал победы над большевиками, знал: ее не могло быть! Не должно быть! Потому что, если бы эта победа была, все равно никто из нас, победителей, не знал бы, что с ней делать, куда употребить. Если бы белые армии победили, они так же разодрались бы между собой, как все вместе разодрались до того с красными. Генералы разодрались бы с атаманами, эсеры с монархистами, казаки с солдатами. И даже более того: в свою междоусобицу еще и еще втянули бы иностранные державы, а тут уже пошла бы писать такая история, не приведи бог! И только большевики хотели победы обоснованно, они с самого начала знали, что с ней делать, они были в этом едины — в своем единовременном и победном знании. А ежели единство — залог победы, тогда, еще раз повторяю, мое сотрудничество с Вегменским есть парадокс. Не только Кунафин и не только Суриков — никто этого до конца не поймет и не примет навсегда. Обвинения же в этом парадоксе, в этой нелепости мне перенести даже легче, чем Вегменскому, он никак не может объяснить, зачем он, победитель, спутался с чуждым и побежденным элементом, то есть со мной. К тому же что мне Суриков, что Кунафин? Они мне никто. А ему? Да это же его ученики и последователи, он так или иначе, но их воспитывал! Нет-нет, Соввласть не до конца продумала вопрос о генерале Бондарине: помиловать помиловала, но вторую часть его прошения — о назначении в армию на командную, а еще бы лучше, на профессорскую должность в военную академию — не исполнила. И напрасно. В армии на любой должности я солдат, выполняю приказания старших начальников, и точка. А любую мысль о том, как бы сделал я, если бы... любую, да еще когда бы она касалась суждений государственных, я и сам бы для себя считал неприемлемой, не давал бы ей хода. А на гражданке? А в Крайплане? Поместили меня между Сциллой и Харибдой — вот тебе дела государственные, думай о них на все свои катушки — на все, сколько их у тебя есть,— но думай только так, как нам это на-

добно, иначе ни-ни! Вот тебе начальники, но какие? Прохин, бывший чекист, раз; Вегменский, бывший политкаторжник, два... Ну, и как бы даже ни сам товарищ Озолинь, бывший красный латышский стрелок, три... Нет, что ни говорите, невероятно! И трудно...

— Уходить-то из Крайплана, поди-ка, жалко?

— Еще как жалко-то, Петр Николаевич! Я ведь в то же самое время планировать-то могу. Могу-у-у! И хочу-у! Но? Но я вот и перед вами свое обещание не выполнил: обещал вам пять лет настоящей госплановской, интереснейшей работы, а год прошел, и, нá тебе, наружу вылазит парадокс, берет свое. Я тогда, здесь же было, в «Меркурии», за этим же столиком, ошибся, недооценил парадокс! В Омске в тысяча девятьсот восемнадцатом году сильно ошибся и вот еще здесь, в «Меркурии», снова. За эту последнюю и непростительную свою ошибку готов просить у вас извинения. Ежели сочтете уместным.

— Ну что вы, Георгий Васильевич! Все это преходяще, уверяю вас.

Посидели молча. Пожевали. Бондарин заметил:

— Кушать надо с аппетитом, Петр Николаевич. И поторапливаться: нэп кушаем, а это блюдо скоропортящееся!

— Как съездили-то? В Омск?— собрался наконец спросить Корнилов.

— Будто бы что-то и сделал. Докладную вот написал на имя товарища Прохина. Об организации издания карт в Сибири, сначала в Омске, на базе землеустроительного факультета Сибаки, то есть Сибирской сельскохозяйственной академии. Ну, а позже и у нас, здесь, в Красносибирске, потребуется открыть специальный институт топографии, геодезии, картографии. Может быть, и астрономии! Мне радостно! Вот бы куда я подался-то, бывший инженер корпуса военных топографов. Да, я в Омске, в Сибаке зондировал себе местечко. Ну, не профессором, так доцентом. Не доцентом, так ассистентом. Там сильные есть ученые, профессор Ходорович хотя бы, я бы к нему на кафедру с удовольствием! И они там, в Сибаке, в принципе, «за». Правда, только в принципе...

— Я, признаться, не раз подумывал: как-то там, в Омске, наш Георгий Васильевич? По вокзалу прохаживается? Мимо кадетского корпуса и по Железному мосту? По Любинской и дальше, и выше...

— На площади, вы хотите сказать? — И показалось Корнилову, что Бондарин крупно вздрогнул.

— На площади, — подтвердил Корнилов, а Бондарин отложил вилку, нож, задумался. Спросил:

— Вы что же, парад девятого октября восемнадцатого годика имеете в виду? При чудной погоде? При огромном стечении народа? В присутствии дипломатического корпуса? И главковерха на белом коне, поди-ка, помните? Отчетливо? Ну, не буду скрывать, я тоже помню все в подробностях. Не буду скрывать, нынче-то, будучи в Омске, уж и побродил по той площади. Повспоминал...

— Нет, — сказал Корнилов, — я в эти дни, покуда вы были в командировке, площадь вспоминал мало, больше вокзал. Вокзал, салон-вагон и нашу встречу в том вагоне.

— И что же явилось при этом в вашей памяти?

— Уже тогда, в вагоне, я заметил: «Главковерх-то? Не хочет победы. Делает все для нее, но не хочет...»

— Неужели было заметно? — воскликнул Бондарин.

— Было! Поэтому позже, через месяц, что ли, я нисколько не удивился, узнав, что вы так просто уступили верховное командование, а значит, и всю полноту власти Колчаку.

— Подумать только! А я и сам-то был сильно удивлен, что так получилось.

— Ну, если уж какой-то капитан, кратко посетивший вас, заметил, так неужели люди, вас окружающие, не замечали ничего?

— Нокс, бестия, заметил. Нокса-то я знавал, а он меня — в начале германской он был при штабе русского гвардейского корпуса, в котором и я служил. А до войны он служил в Индии, а потом все путешествовал, все путешествовал по русскому Туркестану, воспылал, видите ли, интересом. А во время гражданской в Сибири подыскивал диктатора. А вот нашел Колчака! Невысокого ума тот Нокс, и сами-то англичане, в этом убедившись, вложили ему вскоре по первое число...

— Значит, Нокс по поводу настроений главковерха догадывался, а другие?

— Жанен, французик, представитель союзников, тоже.

Корнилов чувствовал, что в меру деликатно допрашивает Бондарина:

— Другие? Колчак?

— Как вам сказать-то, Петр Николаевич...

— Ну, как же, англичанин Нокс догадывался, француз Жанен догадывался, чехи Рихтер, Сыровой, Павлу догадывались, и наши русские — челябинский купец Лаптев, и знаменитость эсер Савинков, и премьер Временного правительства в Сибири Вологодский, кстати, нынче он клерк шанхайского банка, и серый кардинал Ванька-Каин Михайлов, кажется, бывший террорист. А Колчак?— допрашивал Корнилов.— Догадывался?

Бондарин задумался, задумавшись, проговорил:

— Герой Порт-Артура, Балтики, Трапезунда. Но ума отнюдь не проницательного.

— Догадывался?.. Он?

— Да что вы меня допрашиваете-то?— возмутился Бондарин.— Хотите сказать, что если Колчак догадывался, тогда он был прав, устраняя меня? Впрочем, вы правы. Офицер моей, а потом и колчаковской армии вправе это знать. Я бы, на вашем месте, тоже узнавал бы. Ну так вот: победы колчаковским способом я не хотел никогда. И Колчак об этом, конечно, знал!

— А в другую победу он не верил. Как же ему было поступить? Это многие поняли и только поэтому и воевали до конца: не видели другого способа борьбы, кроме колчаковщины. А бороться хотели до конца. Не до победы, а до конца...

Опять было молчание, долгое-долгое, потом Корнилов воскликнул:

— Нет-нет! Уж вы, пожалуйста, Георгий Васильевич, припомните, чего вы тогда еще хотели? Пожалуйста! Вам только кажется, будто вы уже забыли, только кажется, но вы все помните.

Бондарин долго размышлял — это было его тайной...

— Я мир хотел заключить с Красной Армией, представьте себе, Петр Николаевич. Да! Мирный договор!

Вот как было: ему, Корнилову, рядовому пехотному капитану, доценту и философу, эта идея и в голову не приходила, он однажды решил воевать, и после того вопроса для него не было, а генерал? А главковерх, до последней косточки военный человек, тот?..

— Да разве красные пошли бы на мир? — воскликнул Корнилов. — Разве только при нашей безоговорочной капитуляции! Зачем им был мир, если на их стороне была верная победа? И в белой армии это многие поняли и только поэтому и воевали до конца! Полагая ту безнадежную войну делом русской чести!

Бондарин усмехнулся неловко, даже нервически, слабо стукнул по столу ладонью, наклонился к собеседнику.

— А я верил: пошли бы красные на мирный договор, пошли бы. Со временем я уверяюсь в этом все больше и больше! Троцкий нет, а Ленин пошел бы, да! Так же, как на Брестский мир, он пошел бы и на мир со мной... С нами. Принцевы-то острова помните?

— Помню! Малозначащий эпизод военного времени.

— Значащий, значащий: союзники, Антанта, хотели показать миру, что большевикам мир чужд, и предложили ту мирную конференцию белых и красных на Принцевых островах и под своей эгидой... Было? Скажите: было или не было?

— Было. Но...

— И что же? Что же, Петр Николаевич, дорогой? Ленин, красные согласились тотчас послать делегацию на Принцевы, а белые? Белые отказались!

— Потому и не согласились, что видели одну только проволочку. Покуда шли переговоры, красные собирались бы с силами.

— Не так! Уж если бы народ почуял мир, он потребовал бы его и от белых, и от красных. И не дал бы никому от мира отступить.

— Что он понимал-то тогда, народ? Когда никто ничего не понимал?

— Не в понятиях дело! Народ многих понятий не имеет, но чует исконным чутьем. Вот бы чего ему никогда не потерять — чутья! Еще доказательство: Дальний Восток! Кто побеждает, было яснее ясного, но я хорошо, я отлично помню, что Блюхер писал генералу Молчанову: «Господин генерал! Единственный выход для вас, и выход почетный — сложить братоубийственное оружие... Мы подтверждаем: свободный народ не мстит, и ваши офицеры, которые находятся у нас в плену, могут это подтвердить. Предлагаем вам с группой лучших ваших офицеров занять соответствующие долж-

ности в нашей армии... не обрекайте на поругание само имя русского человека... кто в эти годы отстаивал Россию в ее единстве против чужеземцев? Подумайте над этим, генерал... попытайтесь воскресить в своей душе действительную любовь к России... моя обязанность революционера и гражданина напомнить вам, генерал...» — Прикрыв глаза рукой с большим обручальным кольцом, Бондарин вспоминал фразу за фразой. Может быть, и не совсем точно, а вспоминал...

— Слова. Все это слова,— перебил его Корнилов.

— И на словах они нас тоже побеждали. Не последнее, учтите, обстоятельство. «Наши силы и наши исторические задачи слишком велики, чтобы в данный момент заниматься мелкой местью по отношению к вам и к тем, кто идет за вами...»

— Вот именно, в данный момент! Только в данный!..

— «Год назад мы встречались на станции Пограничной, и я предупреждал вас, что интервенты пустят вас в низкую авантюру... к вам никто не пошел, у вас нет идеи... Мы обращались к вам с письмом, еще когда мы равными силами стояли перед Волочаевкой, вы промолчали. Мы обращаемся снова, когда о равенстве сил не может быть и речи...»

— Но вы понимаете, генерал,— Корнилов теперь уже назвал Бондарина генералом,— вы понимаете, бывают ситуации, когда отступления нет. Когда события, какой бы они ни были ошибкой, изменить уже нельзя. И остается только следовать им...

— Итак, уже три точки: Брест, Принцевы острова и Дальний Восток. По трем точкам возможно выстроить кривую. И куда она вытянет? Да, если бы у меня в ноябре тысяча девятьсот восемнадцатого было три точки, да я бы не сомневался ничуть! Но тогда была только одна: Брест! Тот самый Брест-Литовский мир, который я к тому же всей душой презирал! Презирал, а все-таки кое о чем догадывался, кое-какую линию в уме тянул. В мирную сторону. Потому что хотя я и военный человек, но бессмысленная гибель сотен людей для меня необъяснима. Это позор человечества!

— А если армия своей гибелью доказывает свою правоту! Во всяком случае, свою правдивость? Это, по-вашему, не имеет значения, не имеет смысла для нации?

— Это может быть уделом только одиночек. Может.

Временами, знаю, должно быть их уделом. Но вовсе не для того создаются армии. Так же как и самоубийство, дорогой Петр Николаевич: один человек вправе распорядиться своей жизнью по своему усмотрению, армия этого права лишена, она или побеждает, или спасается.

И тут задумчивость появилась в Бондарине, она сдерживала неизменную быстроту его движений, жестов, их четкость и решительность.

«Комиссия по Бондарину» в этом виновата, Сеня Суриков и товарищ Кунафин?..» — догадывался Корнилов. И в самом деле Бондарин вдруг спросил:

— Выяснить бы, когда в Крайплан поступило письмо из редакции. Не при Лазареве ли еще?

Корнилов сказал, что да, письмо действительно поступило еще при жизни Лазарева, но тот не дал ему хода, сообщил редактору газеты, что, как только позволит время, оно будет рассмотрено на партячейке. Из редакции требовали создать комиссию, Лазарев отвечал: «Партячейка выше каких угодно комиссий, а тут как раз и требуется высшая идеологическая инстанция советского учреждения!»

Разговор по поводу комиссии, кажется, должен был продолжаться, но тут Бондарин вдруг снова вернулся к году 1918-му.

— А я, знаете ли, Петр Николаевич, я, после того как почти стал Верховным Правителем, но все-таки не стал им, я уже другим сделался человеком. Ей-богу! Какая-то часть осталась во мне том, в несостоявшемся Верховном, а другую вон куда занесло — в Крайплан. Вам это знакомо ли? Чувство ухода одной части себя в другую, в несуществующую личность?

— Это мне давно приелось, я глотаю это ежедневно. Ну вот как больной язвой желудка глотает манную кашу.

— Язвы не знаю...— чуть ли не с сожалением вздохнул Бондарин.

После того они порассуждали о том, что нынче многие русские люди прожили несколько совершенно различных жизней, что нынче русский человек составной: дореволюционный, революционный, послереволюционный, а еще всякий; что имя-фамилия человека объединяет все это в нечто одно, но только формально. Не более того...

...Что такой порядок вещей делает человека склонным к изменам самому себе, и это облегчает ему жизнь.

Что двухфамильность, двуименность нынче выражает общее состояние людей. Но не более того.

Корнилову очень хотелось объяснить собеседнику кое-что о Корнилове, который был Корниловым дважды — Николаевичем и Васильевичем.

Настоятельная потребность однажды и хотя бы только одного человека посвятить в собственную тайну! Но и сопротивление было тоже отчаянным: Евгения Ковалевская, его спасительница, сопротивлялась и не допускала мысли о том, что кто-то, кроме нее, будет тайну знать! Кажется, она?

Обращаясь к ней на «вы», Корнилов пытался ее уговорить: «Ну, зачем вам, Евгения Владимировна? Святая женщина? Если вы теперь неизвестно где?» Но она знала свое: «Нет, нет и нет!» — «Зачем? Если в Крайплане тот, кому надо это, уже знает?» — «Нет, нет и нет!»

Даже и не упрямство, а фанатизм!

Ну, а тогда Корнилов, и дальше овладевая странной ролью следователя, продолжая работу Сени Сурикова и товарища Кунафина, спросил:

— Георгий Васильевич! А знаете ли вы за собой очень важный для вас поступок, который вы совершили однажды, а потом никогда об этом не пожалели? И чтобы притом это сюжетный был поступок — с завязкой, с кульминацией и с развязкой, в классической форме?

Спрашивая, Корнилов вот что имел в виду.

Среди такой и сякой, среди неопределенной нынешней жизни с ее утомительно бесконечными событиями почему-то случалось очень мало линий определенных и сцен законченных. Прошлое такими сценами изобиловало, а настоящее? Припомнить, сколько их было нынче в жизни Корнилова, таких-то? Ну, скажем, сцена под названием «Карнаубский воск» с главным, да, пожалуй, и единственным действующим лицом — толстым-толстым и загадочным бестией нэпманом; была другая — «Председатель человечества», в которой главным и запомнившимся Корнилову персонажем оказался даже и не сам Председатель, а тихий его помощник Герасимов с тихой же, но неизменной его мыслью, которую он никак не может ни доказать, ни даже высказать, поэтому, наверное, он и увязался за Председателем.

Была «Женитьба Бондарина», в которой такую неприятную роль сыграл все тот же старший официант... была совсем краткая сцена в приемной товарища Прохина — «Князь Ухтомский». А какой сюжет был в отношениях Корнилова с Ниной Всеволодовной? Никакого, ни малейшего. Было, было и было, переживалось, а потом ни с того ни с сего кощунственно кончилось — страхом, нелепостью и неизвестностью! Ведь сюжет — это истинная развязка. Это вывод. Заключение, резюме. А где же, в чем же было — резюме-то?

Ну и, конечно, Корнилов, когда спрашивал, имел в виду город Владивосток, Бондарина во Владивостоке в октябре месяце 1922 года.

Да-да, если Омск с Железным мостом через тихую-тихую речку Омь, с огромной центральной площадью, на которую фасадом выходило здание театра, по архитектуре а-ля одесский театр, с видом на Иртыш и Заиртышье, на тюрьму — Мертвый дом Федора Михайловича Достоевского, если этот Омск роднил Корнилова и Бондарина хотя бы потому, что они там встретились, то во Владивостоке они надолго расстались.

Расставанию ничуть не помешало то обстоятельство, что Корнилов никогда во Владивостоке не бывал, не довелось — под Читой схватил сыпной тиф, в сыпнотифозном состоянии попал в плен к красным. Ненадолго — чуть только поправился, тут же извернулся и убежал в город Аул к спасительнице, к святой Евгении, в артель «Красный веревочник».

Нет, в отличие от Бондарина в его жизни так и не случилось Владивостока.

Тем интереснее, тем мучительно интереснее был теперь для него этот город: если бы он туда дошел в бригаде генерала Молчанова, как бы сложилась его-то судьба? Где бы он был сейчас? В Шанхае? В Сингапуре? В Сан-Франциско, где, слышно, Молчанов организует общество бывших своих однополчан и даже орден учреждает, орден Сибирского ледового похода, которым их благородия и превосходительства намерены наградить друг друга? Если бы не читинский тиф, так, может быть, как раз сегодня или еще когда-то и Корнилов был бы удостоен того самого ордена? На немногочисленном каком-нибудь собрании бывших офицеров в одном из русских кварталов Сан-Франциско? Нет, Корнилов

в Сан-Франциско не рвется — здесь, в Красносибирске, русский язык и Россия, а там их нет, здесь еще недавно была Нина Всеволодовна, а там ее не было никогда, но почему не сам за себя он сделал выбор, а сыпнотифозная маленькая серенькая вошь его сделала, решила вопрос: или — или?

Или Красносибирск, или Сан-Франциско? А если бы не вошь, если бы он сам, тогда как? Как он решил бы во Владивостоке-то? Которого никогда не видел наяву, зато воображением видел отчетливо.

Город сбегал улочками и широкими, европейского вида улицами к бухте Золотой Рог... Нет, эта бухта уже не в пролив узенький ведет, не в Дарданеллы, а вокруг Японии и в океан, на Аляску и в форт Рос, основанный русскими мореходами, который и по сю пору, кажется, сохранился в Калифорнии. Вот куда рвалась, чего достигла в Новом Свете неуемная русская душа и с чем так просто рассталась...

Была-была в городе Владивостоке какая-то частица корниловской жизни, хотя сам-то он никогда там не бывал.

А Бондарин — надо же! — догадался совершенно точно:

— Я подозреваю, Петр Николаевич, вы Дальний Восток имеете в виду?

Удивленный Корнилов только слегка кивнул.

— Да,— продолжал Бондарин,— да-да, немыслимо дальний наш восток и тоже немыслимо для нас молодой, и вот, представьте себе, туда-то и скатилась старая Россия! А я, знаете ли, никогда и не подозревал, что она старая! Как во всем мире говорилось, что русские — нация молодая, так я и думал. А тут газеты большевистские получаем, а когда и плакаты, и везде одно и то же: старый поп — проткнули сквозь брюхо штыком; старый капиталист — мешок золота на горбатой спине; старый, тощий, на Молчанова, на Викторина Михайловича похожий, генерал бежит во всю мочь и поддерживает руками форменные, с лампасами штаны... А тут еще в бухте не плакатный уже миноносец «Инженер Анастасьев» затоплен по приказу адмирала Старка, чтобы не достался большевикам, труба торчит и одна мачта. Ну разве не признаки старости, спрошу я вас? И безработные китайские кули толпами бродят в порту. Отработали на старую Россию, а новой нет, пустота. Что мне особенно помнится, так это патрули. Иностранных

войск нет, эвакуировались, а вот патрули разные, вплоть до вступления в город 5-й армии красных, остаются, охраняют город от хунхузов и прочих. Конечно, японские патрули в японском же хаки, ну и англичане, канадцы, американцы, а самые занятные — шотландцы в юбочках и с сигарами в зубах. И один, совершенно один, царский генерал бродит по улице Светланке, пытается понять: что за картина? Где происходит? Справа Китай, впереди Япония, как понять? Загадочные же миры! Действительно, очень старые миры, почему же Россия-то оказалась еще старее и требует столь решительного обновления? Но, должно быть, так и есть, если я, генерал-лейтенант, ничего другого и не видел, как только поражения. Обидные поражения-то. В девятьсот четвертом году выиграл я бой на реке Шахэ, а потом мы все-таки проиграли, и кому? Командующий японской армией был сухоруким, одна рука у него висела совершенно безжизненно, а знаете почему? Он у себя на островах вел междоусобные войны, так еще луки были на вооружении, и вот стрела угодила ему в руку. А в тысяча девятьсот четвертом он уже бил нас из современных артиллерийских орудий, и неплохо, знаете ли, бил. Так в чем же дело?— спрашивал я сам у себя на Светланке,— почему древние японцы молодеют, а молодая Россия стареет?

Вот Китай, он тут же рядышком, я только-только что побывал в Китае... Огромная страна и кажется еще огромнее из-за своей многочисленности: куда ни взглянешь, на каждом углу, на каждом шагу китайцы, китайцы, китайцы... После Китая весь остальной мир кажется пустым и к тому же без прошлого. А Китай, он весь, словно песком, запорошен памятниками, но никто не вывешивает там плакатов по поводу своей старости. Никто не поет «отряхнем его прах с наших ног!». И не бегут китайские генералы на кораблях во все концы света, как еще позавчера бежали наши из Владивостока. Я один только и остался, сошел в последнюю минуту на берег... Вы меня слушаете ли, Петр Николаевич? Дорогой?!

— Слушаю.

— Внимательно?

— Еще бы!

— По вашему лицу не поймешь. Господи! У кого я только не искал тогда ответа! Кого только не допрашивал, вот как вы сегодня меня?! И американских ге-

нералов спрашивал, может, им со стороны виднее; и в Японии ради того больше года жил, и тоже ведь старался понять: они-то, японцы-то, почему не делают революцию? Может, потому, что храмов у них очень много? Киото — удивительный, знаете ли, город, без конца храмы. Уж соединили бы, что ли, их все вместе, все в один, да и назвали бы этот великий храм Киото-Тодзи. А то еще — Сад Камней! Что ни камень, то настроение и мысль, а какая? Поди-ка, догадайся! Догадайся: что за судьба — русская революция? Откуда она и куда? И — для чего? И — чего ради?.. Да ни в жизнь! А в Пекин-то, знаете, к кому я ездил? К генералу Жоффру, герою битвы на Марне в августе одна тысяча девятьсот четырнадцатого года. Я полагал тогда — не должен он забыть помощи, которую оказала ему Россия жертвой двух корпусов в Восточной Пруссии! «Если не забыл,— думал я,— то, оказавшись в Пекине, поблизости от русских генералов, которые ему когда-то столь помогли, не может Жоффр не задуматься над судьбой России, не может если уж не помочь, так хотя бы слово дружеское высказать ей». А знаете ли, как получилось? Жоффр передал через своего адъютанта, что у него один час времени для встречи со мной, и тут я вспомнил: не было такого случая, чтобы России кто-то когда-то помогал, и через своего адъютанта тут же передал, что в тот час буду занят. Напрасно я ездил в Пекин, но хорошо, что не встретился с прежирным Жоффром, тут судьба надо мною не подшутила, нет. А самое страшное было для меня и не в том, что случилось, а в том, как случилось. Ну, хорошо, революция революцией, а воровство-то при чем? Колчак, Семенов, Калмыков, Розанов, Меркуловы-братья — ведь это же все страшное, жуткое ворье и воровство! Золото крали, деньги крали, власть крали, благосклонность интервентов и ту крали. Колчак — честнейший вояка, а вот украл звание адмирала и пост Верховного Правителя. Ну, а честному человеку воровать — себе на погибель. Вору — на пользу, честному — в погибель. Этого Колчак не знал... А уже при последнем дыхании, уже преданный чехами, уже будучи под конвоем, рассылает он по эшелонам беженцев телеграммы с назначениями министров нового кабинета, и что? В этих вшивых, голодных, холодных эшелонах — их чуть ли не две тысячи было на пути к Владивостоку — люди, получая министерские назначения, ликовали! И упивались сознанием своей власти — над кем? А во Влади-

востоке? На Светланке? Властей за последние-то пять лет не счесть, в некоторых и я участвовал, думал: какая-никакая власть, но, может, она без воровства? Нет, ни одной без этого не было! А последняя убежала, самая последняя, и что же? Часа через два объявилась еще одна: «Совет уполномоченных автономной Сибири», кооператор Сазонов и профессор Головачев ее возглавили, главковерхом генерала Анисимова назначили, парад с одним взводом войск устроили, потом исчезли. Оказалось? Украли золото в Хабаровске, привезли его во Владивосток, и здесь из десяти процентов наградных отдали его японцу, генералу Гоми — вот и вся власть. Вот я и не знал, в чем моя погибель-то? В поражениях, которые я перенес? Или в попытках что-нибудь понять, которые ничем не кончились? Или в этом воровстве? Для того чтобы что-нибудь для своего народа сделать, мне, генералу, нужна власть, а когда так, приобщайся к воровству?.. Нет, что ни говорите, а в Красной Армии этого не было. Реквизиции были, конфискации были, экспроприации были, еще чего, не помню уже, какие «ции», но все шло в государственное, в общественное распределение, а не в личное! Не знал я ни одного красного командира, не слышал, чтобы он разбогател на войне. Чтобы воровали из десяти процентов наградных... И уже одно это представало передо мною как бы даже и спасением Родины. И вот еще что сильно утешало меня на Светланке и в порту владивостокском — вокзал! Конечный пункт самой протяженной в мире железной дороги, построенной к тому же в столь краткие сроки, что человеческая цивилизация, которая в наше-то время чего-чего только не повидала, она только ахнула! И ведь как сделано: дорога эта и вокзал вошли прямо в порт! С поезда на перрон и с того же перрона садись на корабль, плыви в океан — великолепно придумано! Потрясающе! И какое проявлено чувство, какой такт: нет в том здании вокзальном ничего приморского, ничего международного, а только российское, славянское — башенки-теремки, окна и оконца чуть-чуть кремлевские, а особенно арки, которые и принимают поезда из Питера, из Москвы... А цвета, белый и зеленый — сибирские снега и леса. Вот она как явилась на Дальний Восток, Россия, в каком облике! И, знаете ли, Петр Николаевич, сделано в меру, без перебора, не то чтобы славянский пряничек, нет. Погуще все это, чем на других станциях всего пути — в Омске, в Красноярске,

в Иркутске, в Чите,— там черты эти едва заметны, а Владивосток, конечный пункт, мог бы позволить себе и еще большую славянскую законченность и некоторую даже церковность, на Кремль намек, но нет, не утеряно и здесь чувство меры. Одним словом, утешение! И такое вот устройство мира, из которого дано тебе на весь остальной мир глядеть. Вот и остался я во Владивостоке и предался Советской власти. Не смог иначе. И то сказать, ну какой из меня эмигрант? Да еще и белогвардейского поколения? Политэмигрантов-то еще царского времени я знавал. Необразован был, не придавал им значения, но слегка симпатизировал: пускай они, дескать, потрясут самодержавие, почему бы нет? Пускай даже сменят Николая Второго на другого кого-нибудь, абсолютную монархию на конституционную, по английскому, датскому хотя бы образцу, вот что я о них думал, о социалистах и политэмигрантах, как понимал. Не подозревал, что в соседнем, может быть, доме в Питере проживает донельзя образованный Пугачев, а то и теоретик Стенька Разин, и у него совершенно свои на этот счет понятия.

— Да, большая ошибка!— согласился Корнилов.— Я ее тоже допустил. А надо было нелегальщину очень внимательно читать, без нее никак нельзя было понять русской современности!

— Какое там,— взмахнул рукой Бондарин,— я нелегальщину приравнивал к уголовщине! И, сами понимаете, разве я, профессор военной академии, мог о чем-то догадываться? Ну, хотя бы о том, что в России может быть гражданская война? Так я это, кроме всего прочего, еще к чему? К тому, что те политэмигранты, ну, вот хотя бы и наш покойный товарищ Лазарев, они жили там, за границами, за свой страх и за свою совесть, у иностранных правительств не выпрашивали ни копейки. Перебивались как-то... А нынешние? Нынешние, те чуть на чужбину ступили и ну ругать Родину — и такая она, и сякая! Поругали — гоните им денежку, гоните,— они ведь уже служат чьему-то правительству! Нет, человек, родившийся на земле не только телом, но и душою, этого позволить себе не может. Другое дело — шавки приблудные... Вот, значит, Петр Николаевич, дорогой,— снова произнес Бондарин это слово «дорогой», хотя и приглушенным каким-то тоном,— вот какой был мой итог, Владивостоком называемый! Вы об этом ли меня спрашивали? Этим интересовались?

— Лирика! — сказал Корнилов.— Лирики много, Георгий Васильевич. А ежели кратко, без лирики — пожалели ли вы когда-нибудь о своем решении, предавшись большевикам? Вот о чем я вас спрашиваю. Или не хотите отвечать?

— Почему же! Только позвольте, дорогой, снова и вас поспрошать. Один вопрос. А то неловкость: вы только спрашиваете, я только отвечаю. Не чувствуете неловкости?

— Не чувствую.

— Ну все равно, скажите, а вы? Что бы вы сделали во Владивостоке? В октябре? В двадцать втором году?

— Я? Если бы не струсил, сделал бы точно так же, как и вы. Но у меня шансов ведь не было. Вы были белым генералом, но ведь белые же вас как-никак, а ругали: социалистический генерал! Вы человек известный, специалист и всем нужны, а я? Меня никто не ругал — ни белые, ни красные, потому и те и другие запросто могли... И мне действительно не надо было отступать до Владивостока, а раньше, гораздо раньше надо было сдаваться. И сыпнотифозная вошь это знала лучше меня и укусила меня под Читой вовремя. Час в час. В последний.

— Но ведь армейский капитан, он ведь такого, генеральского, счета и вести не должен. Не имеет права. Особенно ежели он доброволец,— сказал Бондарин.— До-бро-во-лец...

Ничего другого не оставалось, как согласиться с Бондариным. Почему-то Корнилов вспомнил и такой в книге Бондарина прочитанный эпизод: когда солдаты генерала Молчанова вступили во Владивосток, там как раз началась забастовка на заводах.

Солдат из бывших рабочих уральских заводов решено было использовать в качестве штрейкбрехеров, и вот они, потомственные мастеровые, встали к станкам. Встали, да и не отошли уже от них, и никто не смог посадить их на корабли, на которых Молчанов и его офицеры покидали Россию.

Эпизод Корнилова и теперь очень тронул. Очень! Он задумался, вспоминая солдат своего немногочисленного батальона по фамилиям — одного, другого, третьего, кто бы из них остался во Владивостоке у заводских станков, а кто бы все-таки нет? Однако же, продолжая разговор, он это трогательное чувство приглушил. Он сказал:

— В бою, конечно! В бою я только капитан и солдат, доброволец и ни о чем другом и думать-то, и выбирать не имею никакого права. В отступлении, в голодной и холодной колонне Сибирского ледяного похода — не имею. А во Владивостоке? Когда по левую руку вокзал, по правую корабль?.. Представьте себе, у меня к тому же всегда бывали, да и сейчас остаются биологические вспышки потребности в жизни. Особенно после того, как сама жизнь тебя же и оберегла — пулей миновала, расстрелом, или же сыпнотифозная вошь тебя укусит в самый раз, ни раньше, ни позже, или женщина святая приютит и согреет, или красивая и желанная полюбит, а после этого самому идти на гибель! Нет сил! Я себя за это упрекал, а что поделаешь? Ну, вот... Я снова вас спрашиваю: не пожалели вы никогда о своём решении?

— Никогда.

— Будучи вот сейчас в Омске, нет?

— Нет.

— После «Комиссии по Бондарину», нет?

— Нет. Мало ли что может быть? Зато ведь уже и было что-то небезынтересное. Уже пять лет, как я в Крайплане,— весьма интересно! Увлекательно! К тому же я и женат на Катюше, слов нет! Вот мы ждем с ней кого-то, какого-то человека, и опять слов нет! Вот я уже по-своему, совершенно по-своему, а все-таки старею — сподобился! Дожил! Да разве я думал когда-нибудь, разве во Владивостоке мог это все предположить?! Кроме того, учтите: Кунафина и Сеню Сурикова я сам научил...

— Это как же понять?— еще больше удивился Корнилов.— Как?

— Просто, Петр Николаевич. Очень просто! Вегменский Юрий Гаспарович их учил с одной стороны, с большевистской, а я с другой — с антибольшевистской. Я, не сумев заключить мира на Принцевых островах и во Владивостоке, научил их ненависти к себе. И ко мне подобным. Они усвоили: враг! Как, скажите, они по-другому могли меня понять? Как по-другому кто-то мог им объяснить меня? Сам я этого не смог, а другие не захотели.

— Ну ладно, Георгий Васильевич, ладно... Ну и как же вы называете все, что с вами произошло? Там, во Владивостоке? И после? С вами и с человечеством тоже? Есть ли у вас для всего этого название?

— А как же... Есть, дорогой Петр Николаевич. Не вы один философ, не вы один любите всяческие определения и нуждаетесь в них! Владивосток — это был мне край света! Самый краешек! Когда человек, когда множество людей до этого края доходят, им всем нужно перестраиваться, начинать сначала! От всего, что когда-то им было нужно, им пора наступает отказаться. Были поражения или победы, это уж не имеет значения, потому что ты дошел «до края». Был ты генералом или рядовым, нет значения по той же причине. Согласны?

— Нехорошо. Потому что неточно! Неистинно!

— А как же, по-вашему, надо назвать это точно? Ну?

— Точно надо назвать: конец. Конец света!

Бондарин задумался, откинулся на спинку стула, постучал пальцами по краешку тарелки и отодвинул ее в сторону.

— Это очень даже интеллигентно: интеллигент не может не забегать вперед. Интеллигентный солдат потому всегда был плох, что забегал вперед, а потом почему-то оказывался позади. Солдат же бывалый, нормальный, вперед не забегает, но и не отстает. Так вот, голубчик Петр Николаевич, от края света до его конца есть еще кое-какое и время, и дистанция, ее надо и грех не использовать для ума-разума... Мудрое это понятие: человек дошел до края! Так у нас под Сызранью говаривалось. А в Самаре неужели по-другому?

Бондарин все еще не подозревал, не догадывался, какого специалиста по концу света он имел нынче перед собою: он снова подвинул к себе тарелку с филе, намереваясь сделать сразу два дела: и филе съесть, и о крае света поговорить.

— Вы что же, исключаете конец? Навсегда исключаете? — спросил Корнилов собеседника-дилетанта.

— Ну, зачем же навсегда? Ничуть не бывало! Техника ведь приближает нас к последнему сражению. На Куликовском поле несколько винтовок дальнего боя враз решили бы дело. На Бородино — несколько пулеметов, в Маньчжурии — несколько гаубиц, в минувшую, в мировую — несколько аэропланов высотного и дальнего полета, ну вот как наш Громов Михаил Михайлович с товарищами совершил полет Москва — Пекин. Ну, а дальше не знаю, как и что может случиться,

знаю только, что техника, ежели не взять ее в руки, приведет человечество к катастрофе. К ужасной! К сражению, которое будет последним.

— Значит? — с каким-то даже облегчением, с надеждой спросил Корнилов.

— Подождите! Кроме Корнилова Петра Николаевича с его концом света есть еще и Монтескье Шарль-Луи, его «Персидские письма» есть, «О духе законов» есть, а там другая мысль: войны окажутся невозможными по причине необычайной силы, которой в конце концов достигнет оружие!

— Тогда почему же самые сильные и самые воинственные державы гонят и гонят вооружение вперед? Для практического подтверждения теории Монтескье, что ли? Вы же генерал-лейтенант, Георгий Васильевич! Вы знаете, что в войне каждая сторона стремится первой достичь невозможного! Кто-нибудь считал возможной мировую войну такой, какой она была? Никто не считал. Гражданскую считали возможной? Не считали никогда, а она была! Они обе доказали возможность невозможного. С лихвой! — Потом Корнилов и еще сказал: — Если бы концом света могли быть одни только войны, если бы только они! И ничего больше.

— Если бы? Что же вы еще имеете в виду, дорогой?

Корнилов знал, что Бондарин его любит. Любит, вот и все! Помнит его с первой встречи в салон-вагоне в Омске, помнит, и все. А для того чтобы и дальше Корнилова любить, не нужны ему нынешние корниловские сентенции. Они ему претят. Но все равно Корнилов все навязчивее становился, так что уж сам себе напоминал своего давнего знакомца, сумасшедшего бурового мастера Ивана Ипполитовича, автора необыкновенной книги — «Книги ужасов», и вот преследовал Бондарина с той же, кажется, сумасшедшей страстью. Он говорил:

— Зачем вообще делать величайшие глупости, если они глупости? Но на том стоим и делаем невозможное возможным в обязательном порядке. Жизнь делаем глупостью, вот в чем дело! А логику делаем формальной, то есть совершенно необязательной для жизни. Истинные возможности походя теряем, а бог знает какие надежды возлагаем на случайные обстоятельства, на пустяки!

Тут Бондарин оживился, подтвердил Корнилова:

— Да-да, Петр Николаевич, да-да, в том же во Владивостоке было... Вернулся я из Японии в самом начале двадцатого года, меня сразу же направили инспектировать укрепления Владивостокской крепости. Сразу же, едва успел сойти с корабля «Симбирск». А крепость, скажу я вам,— чудо, совершенство фортификации; ее после падения Порт-Артура построили, думали: а ну как и Владивосток придется подобно Порт-Артуру оборонять? Подземное хозяйство, склады, форты, потерна полверсты, фортификационный Майн-Рид, да и только! Ходишь там, в глубине, и чувствуешь полную свою неприступность! И строитель крепости инженер Федоров — энтузиаст, по-нынешнему передовик производства — со мной, дает исчерпывающие пояснения... Ну и что? Что из этого, спрашиваю я вас? А то, что глупистика, что крепость эта никому и никогда не понадобилась, ни одного выстрела не сделала и единственно кого интересовала — японских офицеров. Их туда после нашей революции на экскурсии возили — учить искусству фортификации.

Радоваться было нечему, но Корнилов обрадовался:

— Так вы со мной согласны, Георгий Васильевич? Так и есть: невозможное и ненужное стараемся сделать и возможным и нужным?!

— Не согласен! Я за край света стою, а вам подавай конец его. Другая логика.

— Какая другая?

— Известно какая, Петр Николаевич! Но о ней только и говорим, ее ради и революция и даже контрреволюция делались: надобно всем людям сильно меняться! Если уж мы, человеки, дошли до края и дальше идти некуда. Белые дошли, красные дошли, какие угодно дошли, значит, всем и меняться! И, представьте себе, мне кажется, большевики-то к этому больше других были готовы. А вы? Вот вы, Петр Николаевич, не убегая за границу — за границей этого сделать никак нельзя, а можно только на той самой земле, на которой человек родился, и в том же языке — вы могли бы измениться? Представить себя под другим уже именем, начать другую жизнь, другую мысль?

— У меня кости не менялись, Георгий Васильевич, а мышцы, кровь и кожа давным-давно на костях другие. А вот вы, правда что, мальчик: одна-единственная перемена произошла с вами в жизни, вот вы и не отличаете край света от его конца! Вот и сейчас вы все еще не

совсем «бывший», у вас еще только проба сил в этом деле! В бывшести-то...

— И, значит, так: мне труднее, а вам, Петр Николаевич, вам гораздо легче стать другим. Конечно, проще, ежели в вас и так уже все другое! Ежели в вас не один, а многие Корниловы. Возьмем одного из них за пример, остальных увольте в запас — и вся недолга,— засмеялся Бондарин.— И меня, старика, порадовали бы, начавши все сначала!

— Насмешка? Или наивность? Да что такое все наши изменчивости? Что оно есть, то «другое», к которому вы и белых, и красных, и всех-всех призываете? В которое вы верите? Оно есть напрасная попытка приладиться к событиям, которые мы сами же и производим в таком количестве, что понять их уже никак не можем. Тем более к ним приспособиться! Не успеваем. Которые мы создаем и мы же проклинаем! Нет-нет, спасение — это новая, неизвестная мне до сих пор мысль человека о самом себе. О том, кто я, какой я, для чего я и почему я создаю невозможный для себя мир? И как создать его возможным? Но нету же, нету у меня такой мысли о самом себе, нету новой мысли о всех своих прежних мыслях, что они такое и для чего?! О солнце, о звездах, о геологических напластованиях, о травах и животных, о собственных кишках, обо всех прочих предметах, меня составляющих, о бесконечных, которые меня окружают, у меня и мысль тоже бесконечна, но о самом себе — конечна. И, открывая сложности мира, я сам для себя остаюсь примитивом, малой и вполне конечной величиной!

— Нету...— пожал плечами Бондарин.— Мысли у вас, знаете ли, нету... Понятий, видите ли, нету... Ну, ежели нету у самого себя, газеты читайте! Радио слушайте. Плакаты внимательно рассматривайте.

— Вы это всерьез?! Так я повторяю, Георгий Васильевич: понятий у меня обо всем том, что вокруг меня, сколько угодно, но мне нужны дальнейшие открытия самого себя! Такие же, как Менделеев сделал в мире элементов, а Ньютон в механике небесных тел. Мне без этого нельзя, поняли?! Это противно здравому смыслу, что я все о себе уже знаю, все в себе изведал. Мне нужно, чтобы во мне был открыт новый мыслительный потенциал! Или новый вид энергии! Или новая технология использования самого себя в этом мире! Кто мне это

даст? Нэп, что ли, даст? Я, знаете ли, не бог весть какие, но и на нэп возлагал надежды. А тут нэп кончается, и он на ладан дышит... Душат его...

— Ишь чего захотели! А ничего этого не может быть. Ничего-ничего сверхъестественного! Обходитесь тем человеком, который вы есть, и все тут!

— Если этого нет, значит, есть конец человеческому существованию! И ничего сверхъестественного я не ищу. Наоборот, дальнейшее открытие человеком самого себя — вот та естественность, ради которой только и стоит жить!

— Мудрено! Однако же позвольте, Петр Николаевич, а в самом-то себе вы чувствуете возможность этаких открытий? В чем дело — или они вообще невозможны, или возможны вполне, но их некому совершить?

Корнилов задумался, потом сказал:

— Открыватель найдется, если есть что открывать. Америка была открыта, потому что она была...

— А вы кому-нибудь, кроме меня, так же высказывались?

— Да! И был понят!

— Кем же? Каким таким умницей собеседником?

Корнилов хотел объяснить, что, кажется, он не первый высказал эту мысль, эту, может быть, самую главную и самую вероятную возможность конца света — помощник Председателя человечества товарищ Герасимов, тихий и робкий человек, высказал ее в окончательном виде, но объяснение было бы слишком долгим и утомительным, и Корнилов принял все на одного себя.

— Да,— сказал он,— и был понят умницей собеседником. Точнее, собеседницей...— Он чуть было не сказал «Нина Всеволодовна Лазарева!», и холодный пот прошиб его оттого, что это чуть-чуть не случилось. Он вынул платок и вытер лоб.

А Бондарин был обрадован.

— Ах, собеседница! Уже другое дело. Совсем, совсем другое — для любви это действительно может подойти. Тем более для покорения женского ума и души чего только в собственную голову не приходит. Любая музыка! Ну, а для жизни-то? Подходит ли?

Помолчав, Бондарин еще сказал:

— Впрочем, я вам не верю, Петр Николаевич! Не верю, что вы уже все прошли — и огонь, и воду, и мед-

ные трубы. Их еще мно-о-го будет — медных труб, и огня, и воды... И вы их все, хоть и вздыхая, но примете, переживете и даже кое-какое счастье обнаружите в них, а конца света — никакого! И что в вас не один, а несколько Корниловых существует, тоже не верю, все это вам только кажется. Интеллигентные выдумки, право... А я, имейте это всегда в виду, я человек догадливый. К тому же реалист. Проницательный, знаете ли, реалист!

И тут сорвался вдруг Корнилов с якорей. Сколько лет он молчал, терпел, никому, даже Нине Всеволодовне не проговорился, хотя в молчании уже не было, кажется, никакого смысла, но все равно из чувства какой-то ложной неловкости он и с нею молчал. Он молчал с нею, она — с ним. Вот они и разошлись. Вот почему.

Святая женщина Евгения на миг явилась: «Нет, нет и нет!» Но и она только подлила масла в огонь, тем более что в Корнилове давно уже жила такая причина, которая заставляла его время от времени идти поперек святости. И он поднялся со стула, приподнявшись, наклонился к лысоватому черепу Бондарина.

— Вы? Догадливый?— горячо зашептал Корнилов.— Вы проницательный? Слушайте, слушайте: во мне два Корнилова, да! Петр Николаевич — это я присвоил. Под Читой в лагере для белых офицеров и присвоил. Истинное же мое имя Петр Васильевич. Наши с вами отцы, Георгий Васильевич, были тезками, честное слово! Так что уж за двоих-то я могу судить о жизни! Могу, могу, могу!— Потом Корнилов опустился на стул и замолчал.

— Хотите перекрещу?— спросил Бондарин чуть спустя.— Вы философ, вам, наверное, нельзя, а мне можно. Перекрестить?

— Не надо...

— Какая история-то,— задумчиво сказал Бондарин.— И обед простыл, и аппетита как не бывало, дрянь дело! И сидят два взрослых, два солидных человека, в прошлом боевые офицеры, нынче высокие специалисты Крайплана, и ведут филологический спор о словах: один говорит «край света», другой —«конец света». До потери здравого смысла ведут его. Дрянь дело... А ведь вы об этом, Петр... вы, товарищ Корнилов, о своем-то двойничестве должны были раньше мне ска-

зать. Как офицер офицеру. Да-с... Как человек человеку, да-с.

И Бондарин подозвал старшего официанта, стал с ним рассчитываться. Когда вынимал деньги, из бумажника выпала фотография. Это Катюши Екатерининой было фото, оно выпало, а Бондарин торопливо его подхватил. Не хотел, чтобы Корнилов видел.

— Георгий Васильевич, надо бы пополам за обед-то,— сказал Корнилов.— Пожалуйста, пополам!

— В другой раз, в другой раз... Если придется,— торопливо заметил Бондарин.— Ну, я пошел, пожалуй. Я пошел, будьте здоровы, Петр... будьте здоровы!

— Нет уж, позвольте, Георгий Васильевич, нехорошо вот так покидать поле... я хотел сказать «боя», но скажу по-другому: нехорошо покидать... И слушайте дальше: грядут, грядут события, но мне, нам, обоим Корниловым, они уже будут не по плечу... И вот я их должен буду не замечать, не обдумывать их, отмахиваться от них. И только. Такое будет у меня спасение. Другого не будет! Так что я, так что мы, оба Корнилова, мы перед ними заранее — пас.

— Испугались-то как, капитан Корнилов! А ведь это не годится, это не положено. Нам, военным людям, в штанишки делать не положено. При любых событиях.

— Да, да, обидно, Георгий Васильевич! Очень! Вы сыграли в моей жизни такую роль, такое имели значение, вы даже и не догадывались об этом никогда, но именно вам-то, мой спаситель, я заранее и должен признаться: я пас.

— Странно!— усмехнулся Бондарин.

— Очень странно... Не очень странно...

— А я все-таки пошел, пожалуй. Я пошел, а вы будьте здоровы, Петр... будьте здоровы! — Однако тут же Бондарин остановился и спросил:— Наш весенний разговор, надеюсь, не забыт?

— Весенний?

— Ну да!

— Весенний?— снова не понял Корнилов.

— Значит, забыли... Экая, право, память! Тогда вынужден напомнить: весной текущего года, в мае, во время второго краевого совещания работников плановых органов я, зашедши за вами утром в вашу квартиру, чтобы вместе идти на совещание, по пути высказал вам

свое мнение... Опять не помните? Нехорошо, нехорошо, такие вещи надобно помнить!

Корнилов вспомнил: Бондарин тогда очень настойчиво советовал ему ретироваться куда-нибудь подальше... Учителем. Либо счетоводом, пристроиться где-нибудь на краю света.

А заключительного заседания «Комиссии по Бондарину» с принятием резолюции так ведь и не состоялось! Кто бы мог подумать, что оно не состоится?

Прохин вызвал комиссию в полном составе, то есть Сурикова, Кунафина и Корнилова, к себе в кабинет.

Время было назначено после рабочего дня, тишина во всех окрестных комнатах, безлюдие. Чувствовалось, что разговор предстоит серьезный. И неторопливый.

Прохин сидел за своим огромным столом какой-то чрезмерно даже спокойный, неторопливый, неподвижный. По другую сторону этого стола было три стула. Прохин указал на средний стул Сене Сурикову:

— Садись вот сюда... Сел? Теперь решайте между собой, кто будет докладывать мне о результатах — о резуль-та-тах!— подчеркнул он,— работы вашей комиссии? Ты, Суриков? Или ты, товарищ Кунафин?

Кунафин, поерзав на стуле, сказал:

— Хотя председатель комиссии лично я, но товарищ Суриков — он местный. Он крайплановский, я хочу сказать... к тому же у него находится и проект нашей резолюции... к тому же он лучше всех нас ориентированный...

— Докладывай, Суриков...— кивнул Прохин.

Сеня оказался подготовленным вполне, он, не торопясь, вынул из кармана гимнастерки сложенные вчетверо листочки, мелко исписанные, но с крупными цифрами нумерации, разложил их по краю стола и, не то чтобы читая, но то и дело в них заглядывая, приступил к подробнейшему изложению обстоятельств дела...

Прошло минут пять... Прохин был все так же неподвижен, и все такой же был у него отсутствующий вид. Сеня заметно воодушевился, он в подробностях изложил содержание письма, поступившего из редакции краевой газеты, и перешел к содержанию бондаринских «Воспоминаний».

Вдруг совершенно неожиданно Прохин прервал Сеню:

— Товарищ Суриков! Ты же знаешь, что письмо это я читал. Что «Воспоминания» бывшего генерала тоже читал! И не об этом я жду от тебя сообщения. Скажи мне о ре-зуль-та-тах работы вашей комиссии. И о фактах.

— О каких результатах? — спросил Сеня. — О каких фактах?

И Кунафин тоже спросил:

— Вот именно?

— Которые выявила комиссия. Которые никому не известны, а вам, комиссии, стали нынче известны.

— В каком смысле? — спросил Кунафин. Обвел взглядом вишневых своих глаз всех присутствующих и еще раз повторил: — В каком? В смысле резолюции? Так она у нас еще не утверждена. Мы ее еще не голосовали. Как раз на сегодняшний на вечер и наметили голосовать.

— Да-да! — подтвердил Сеня. — Проект резолюции — вот он! Готовый! — и постучал пальцами по листочкам, выложенным с правой руки от себя. — Могу зачитать!

— Факты?! — снова потребовал Прохин.

— Положительные? Отрицательные? — снова огляделся вокруг Кунафин.

— Отрицательные... То есть те, которые отрицательно сказываются на работе Крайплана ввиду сотрудничества Вегменского и Бондарина.

— Ну как тебе сказать, товарищ Прохин... — вздохнул Сеня. — Оценка общей обстановки, сложившейся у нас в Крайплане, такова, что...

— Оценку общей обстановки предоставь мне... И Крайкому партии... — перебил Сеню Прохин. — А чтобы нам легче было эту оценку сделать... чтобы ее безошибочно сделать, ты представь нам факты.

— Отрицательные? — снова спросил Кунафин.

— В первую очередь нас интересуют отрицательные. Это точно. — Переждав некоторое время, Прохин сказал: — Ну, если нет отрицательных, можно и положительные. Можно, отчего же.

— Ну, конечно, речь идет только об отрицательных явлениях, — снова заговорил Сеня. — А таковых сколько хочешь. Они всем известны. Только никто почему-то не

обращает на них внимания. Не придает им должного значения. Чем это объяснить, даже не знаю...

— Не знаешь — не объясняй. Само собой, нельзя объяснить другим того, что сам не знаешь. Это запомни, Суриков, крепко запомни! Поэтому остается одно: докладывай факты. Факты как таковые, без объяснений-пояснений. Положим так: такого-то числа и по такому-то вопросу Крайплан принял неправильное решение. Причина этого была только одна — несовместимость действий Вегменского и Бондарина. Давай первый факт такого рода, давай второй, третий, ну и так далее.

— Видишь ли, товарищ Прохин,— заметно покраснев, проговорил Сеня,— видишь ли... ты ведешь себя... мало того, что странно, но еще и... и я должен пояснить...

— Пояснения позже. Сейчас — факты: первый, второй, третий... У нас же вполне официальное совещание. Вот комиссия в полном составе, а вот — руководитель учреждения, все как полагается. Как в заседании президиума Крайплана, только Ременных с протоколом нет, так я полагаю, что раз в вашей комиссии есть председатель, значит, должен быть и секретарь, он и оформит протокол... Если потребуется. Да. Да, на заседаниях же президиума мы начинаем с фактов, а не с пояснений к ним. Тем более если они неизвестны... Или вашему секретарю так и придется записать в протокол: «Никаких фактов, указывающих на невозможность сотрудничества Вегменского и Бондарина, комиссией не выявлено»? А мне придется так доложить товарищу Озолиню. Он вопросом интересуется. А тебе, Кунафин, так придется доложить в РКИ.

— А как же насчет Колчака?— спросил Кунафин.

— Какого еще Колчака? Поясни?

— Ну, которому Бондарин писал «милостивый государь» и «готовый к услугам»?!

— Ах, вот какой Колчак... Так ведь он же расстрелян. В январе тысяча девятьсот двадцатого года. В Иркутске. Так что какие у тебя, Кунафин, могут быть к нему вопросы?

— А как нам быть с примечаниями Вегменского к «Воспоминаниям» Бондарина?— даже с какой-то яростью в голосе проговорил Суриков.— Как?

— А что, Суриков,— спросил Прохин,— у тебя появились какие-то новые факты по истории колчаковщи-

ны? Это интересно! Напиши об этом в газету. Читателям будет интересно.

— У меня есть новое толкование тех же фактов.

— И о новом толковании — туда же...

— И новые пояснения...

— Пояснения — туда же... Впрочем, насчет пояснений мы вот сейчас закончим толковать все вместе, а ты останешься у меня. Останешься, и мы потолкуем уже о пояснениях. Да что это у тебя лицо-то сделалось хмурое? Неужели для нас это так плохо — побеседовать, подучиться обоим-двум уму-разуму?

И тут Сеня растерялся.

Корнилов никогда не видел Сеню растерянным, а тот в растерянности, оказывается, становился приятным... Наивным каким-то, добродушным... хорошее такое лицо... простое... Он посмотрел на Кунафина, на Корнилова и, понимая, что сейчас не надо задавать Прохину вопросов, все-таки спросил:

— А все-таки, Анатолий Александрович, о чем это ты хочешь со мной говорить? О чем? О ком?

— О Михаиле Ивановиче,— ответил Прохин.

— О каком таком? Не знаю...

— Ну, который тебе сват ли, брат ли — уж и не знаю кто. Или, может быть, подчиненный тебе служащий...

— Да фамилия-то как?

— Фамилия Калинин. Должность — председатель ВЦИК.

— Какой же он мне сват? Или брат?

— А вот я и хочу выяснить какой? Если ты так запросто обращаешься с его постановлениями, так уж, наверное, какой-нибудь!

— Какими постановлениями?

— Хотя бы и о помиловании бывшего генерала Бондарина. Вот такие дела...— вздохнул Прохин.— У нас сколько их, бывших-то? И Бондарин, и Сапожков, и Новгородский, и Краснов, и еще, и еще... И чтобы они работали за совесть — ты это пойми, Кунафин, и ты, Суриков, пойми — за совесть!— с ними тоже надо работать. По-ленински. А кому поручить такую работу? Тебе, что ли, Кунафин? Или тебе, Суриков? Вот такие дела...

Разговор, кажется, заканчивался.

Кунафин это понял и радостно сказал:

— А я нынче, Анатолий Александрович, снова еду

по округам. С пропагандой краеведческой работы. Хорошо идет у нас в крае эта работа! Хорошо она поставлена!

— А на чем же ты ездишь-то, Кунафин? По округам?

— Я? На лошади езжу, Анатолий Александрович. На своей.

— На собственной?

— Ну, какой же я собственник?!

— Тогда на чьей же?

— Родственники у меня не совсем далеко от Красносибирска в деревне. У них и беру я лошадь...

— У них что же — табун лошадей? У родственников?

— Ну, какое там... Никакого, само собой, табуна, а просто так.

— Просто так крестьянин не отдаст лошадь в сенокос, в страду. Он, может, ее весь год ради этих страдных месяцев содержит и кормит, а?

— Я плачу за лошадь, товарищ Прохин. Я им плачу, а у них посев небольшой, вот они мне и уступают лошадку... Точно!

— Добрые родственники... Могли бы ведь и сами на свободной лошади извозом заниматься... Или торговлишкой товаром каким-нибудь. Близкие родственники? Фамилия тоже Кунафины?

— Они мне не очень уж и близкие... Больше так, по знакомству.

— Надо учесть, что тебе сначала придется к родственникам за лошадью ехать? Далеко ли ехать-то? Как деревня называется? Может, знакомая? Я ведь свой край хорошо знаю. И по карте, и в натуре.

— Название... У деревни-то?

— У деревни? И у твоих деревенских родственников?

— Абызово... Ну это ведь уже так себе подробности, Анатолий Александрович... Так себе...

— Конечно, так себе. А все-таки — подробности.

После этого Кунафин встал, пошел к дверям, и Корнилов тоже встал, тоже пошел, попрощавшись с Прохиным.

Он нынче Прохина готов был обнять, ему хотелось еще и еще раз оглянуться, на Прохина посмотреть...

И ведь в самом деле тот окликнул Корнилова:

— Да, Петр Николаевич, извините, пожалуйста, а ваше-то мнение по этому вопросу как члена комиссии я ведь не узнал... Надо же — о лошадях зашел разговор, а такой существенный факт, как ваше мнение, мы каким-то образом обошли. Извините, пожалуйста!

Корнилов вернулся к столу.

— Мое? Мнение?

— Ваше, Петр Николаевич...

— Я с самого начала был против создания комиссии. Я считал ее совершенно ненужной!

— И говорили об этом? Об этом своем мнении?

— Ну, конечно! С самого начала!

— Где? Говорили?

— Да там же... В комиссии...

— А еще где? Кому?

— Еще?.. еще... нигде...

— Говорили, что против комиссии, но в комиссии усердно заседали? Вы Бондарина-то хоть поддерживали там — на странных этих заседаниях?

— Я старался быть объективным. И по отношению к Бондарину, и к Вегменскому.

— Да?— вовсе не утвердительно и не безразлично, а в вопросительном тоне произнес Прохин. Потом тихо:— Вы — офицер, Петр Николаевич...

И Корнилов так растерялся, так растерялся — немыслимо! И в этой немыслимости вдруг пролепетал:

— Бе-е-лый...

— Знаю, знаю, что белый,— кивнул Прохин. Он сидел теперь за столом непринужденно, вполоборота, закинув за голову одну руку, другой слегка похлопывая по желтой картонной папке, туго набитой бумагами.— Знаю!— подтвердил он.— Но ведь офицер же? Ну, правда, этот мой вопрос, даже и не вопрос, а подробность... психологическая: мне стало интересно, а что бы сделал Бондарин, если бы он был членом «Комиссии по Корнилову»? Чисто психологическая тема, да? Отвлеченная? И вот еще что: вы уж, Петр Николаевич, пожалуйста, поторопитесь со сводкой геологических данных о запасах свинца и олова в Кузбассе. Пожалуйста! Москва торопит, и, признаться, мне самому такая сводка очень нужна: статью пишу. Для московского журнала. Так что не подведите. И согласуйте свои данные с соответствующими ведомствами края. Я надеюсь...

Корнилов вышел из прохинского кабинета. Корнилов едва не падал с ног, едва не стонал.

От стыда...

А дальше Корнилов был занят с утра до ночи: готовил самую полную за все время своей работы в Крайплане сводку по природным ресурсам края. Срочно. По заданию Госплана СССР.

А тут еще назревал второй съезд научных работников Сибири. Сроки не были установлены, говорили, может быть, съезд будет отложен до окончательного утверждения первого пятилетнего плана, а вдруг да вот-вот и состоится?! Нынче съездов, пленумов, совещаний, сессий и в Москве, и на местах не сосчитать, все газетные полосы заполнены отчетами. Во всяком случае, было уже известно, что съезд намечается провести по трем секциям: «Недра», «Поверхность», «Человек».

«Недра» — это, разумеется, будет секция геологическая, и там предполагалось очень интересное сообщение профессора М. А. Усова о поисковых работах на нефть в Западной Сибири. В секции «Поверхность» основным намечался доклад профессора П. Н. Крылова о растительных ресурсах. Доклады Усова и Крылова, если они состоятся, должны были стать «гвоздями» всего съезда, тем более что оба докладчика выдвигались Сибирью в члены Академии наук СССР. Обсуждение их кандидатур на страницах краевой печати и г центральных «Известиях ВЦИК» прошли вполне успешно.

К третьей секции, «Человек», он, конечно, отношения никакого не имел и иметь не будет, не по его специальности, там будут доклады по этнографии, фольклористике, по истории Сибири.

Он теперь дома-то почти не жил, Корнилов, а все на работе, на работе. Так ему было легче — не мог он слушать пустоту соседней комнаты, не мог вспоминать, что еще недавно оттуда доносились шаги Нины Всеволодовны. Говорили — комнату отдадут товарищу Кунафину: он зачислялся в штат Крайплана. Удивительно!

Итак, Корнилов составлял сводку очень тщательно, она была обширной, цифровой материал сопровождался комментариями и резюме, и, должно быть, поэтому он и не заметил, что Сеня Суриков смотрит на него с каким-то особым значением. Он это умел, Сеня,— смот-

реть на кого-либо с тем или иным значением. Да и сам-то товарищ Прохин стал в последние дни несколько строже, Корнилов и этому не придал особого смысла, еще бы, такая напряженная работа, такой ответственный период! А не заметив этого и будучи у товарища Прохина в кабинете по поводу все той же сводки, он сказал:

— Я думаю, Анатолий Александрович, было бы неплохо показать раздел «Гидроэнергетические ресурсы и перспективы развития речных путей сообщения в крае» Георгию Васильевичу. Он специалист. Смыслит в деле, у него статьи напечатаны по этим проблемам. И не одна. В журнале «Жизнь Сибири». И в других.

— Какому Георгию Васильевичу? — спросил Прохин.

— То есть как это какому? Разумеется, Бондарину!

— Ну, знаете ли...— развел руками Прохин.— Неужели вы не в курсе? Да его же у нас нет, Бондарина!

— Как это нет? Ушел? Куда же он ушел-то в такое напряженное время? Ведь вы же его не отпускали, просили и еще задержаться в Крайплане. Ведь пятилетний план окончательно верстаем!

— Странный вы человек, Петр Николаевич! Право... Не замечаете ничего. Будто вас ничего не касается. Нету у нас Бондарина. Поняли: не-ту!

— Не понимаю...

— Кадры-то у нас должны серьезно проверяться, кадры решают все! Кадры нам присылают — бывшего князя Ухтомского прислали, например, но ведь и проверяют тоже. Без этого не обойдешься. Без этого в наше время нельзя.

В Красносибирске среди прочих многочисленных газет и журналов — партийных, сельских, профсоюзных, национальных, ведомственных, охотничьих, женских и детских — выходила молодежная газета, она так и называлась — «Молодой большевик», она по своему значению и тиражу уступала только краевой газете.

В редакции «Молодого большевика» был, разумеется, и главный редактор.

Им был товарищ Мартынов — примечательная личность! Совсем юноша — ему, наверное, только-только перевалило за двадцать,— он был человеком очень из-

вестным, один из признанных молодежно-комсомольских лидеров края, оратор, публицист, организатор и проводник всех начинаний Советской власти.

Так вот, кроме всего прочего, товарищ Мартынов был близок и к Крайплану — ко всем его перспективным разработкам, наметкам и замыслам.

И объяснялось это необыкновенной какой-то любовью Мартынова к Сибири, к ее природе, к истории и людям, ко всему тому, о чем очень часто говорилось — «будущее Сибири».

Сначала Мартынов присылал в Крайплан и в КИС сотрудницу своей редакции — не очень-то расторопную, не очень грамотную, возрастом уже переросшую комсомол, но, по-видимому, еще не доросшую до ответственной партийной работы, она-то и получала в Крайплане всякого рода цифры и плановые соображения, о которых затем появлялась информация на страницах «Молодого большевика» — вот, мол, какое будущее, какое грандиозное, ждет нашу Сибирь в самые ближайшие годы.

Информация получалась так себе — не броской и не яркой, хотя и дельной — факты сами по себе были дельными.

Но, видимо, это не устроило главного редактора, и вот он сам стал забегать в Крайплан и к Прохину, и к Вегменскому, а к Корнилову, пожалуй, и почаще других, беседовал и записывал эти беседы, а тогда заметки и небольшие статьи о природных ресурсах Сибири, о геологических, ботанических, лесных и прочих экспедициях, современных и прошлых, об истории всякого рода географических открытий в Сибири стали в газете «Молодой большевик» прямо-таки увлекательным чтением.

И не только увлекательным, но и полезным. Корнилов завел даже специальную папочку для газетных вырезок такого рода, а Прохин, тот уже несколько раз прилагал эти вырезки к своим официальным отчетам и докладным. Свои же, крайплановские, эти данные приобретали на страницах газеты какой-то более интересный смысл.

Самое удивительное было в том, что Мартынов все понимал: ему слово-другое о деле скажешь, а он уже суть дела схватил, уже интересуется подробностями этого дела.

И никаких никогда ошибок, передержек, неточ-

ностей, даже неумелого обращения со специальной терминологией, столь обычных для газетных материалов, в статьях Мартынова не бывало. А вот эмоциональность была. Даже восторг был, но только не глупый, не телячий, а совершенно к месту. Доказательный и убедительный. Корнилов прочтет, бывало, такую вот статейку и даже изумится: сам же он давал Мартынову материал, сам в свое время беседовал с ним, а восторга почему-то в материале, во всей теме их разговора не заметил.

«Вот что значит молодость! — думал Корнилов о Мартынове. — Молодость и умение... Молодость и личность...»

Что и говорить, умел Мартынов подавать материал: тонны олова, которые намечено добыть в крае за предстоящее пятилетие, он вдруг переведет на число оловянных ложек — смешно получается и показательно; а то вдруг расскажет остяцкую легенду об одном чудом спасшемся охотнике...

Охотник этот заблудился зимой в Васюганских болотах, он погибал там, замерзал от холода, потому что его огниво высекало совсем слабую искру и не давало огня, но вдруг увидел он оконце в снегу, и там, на дне, была вода, от нее пахло керосином... Керосин принял слабую искру, загорелась вода, спасся охотник.

Все это было написано с литературным вкусом, а кроме того, все следовало читать так: ищите в Васюганье нефть! Ищите, ищите и найдете!

Трудолюбием Мартынов обладал необычайным — он был главным редактором газеты, он учился на вечернем факультете Института народного хозяйства, а еще он ездил в Томск, дополнительно слушал там лекции самых известных профессоров.

Многие томские профессора незадолго до того вызвались безвозмездно читать по особой программе лекции для краевого совпартактива, список слушателей был составлен лично товарищем Озолинем, и вот человек двадцать, а то и тридцать краевых руководителей, собравшись вдвоем, втроем, а то и по одному, несколько раз в год ездили просвещаться в Томск. В «Сибирские Афины» — так называли иногда этот город.

Знавал ведь когда-то Корнилов очень способных молодых людей, сам учился в свое время с блеском, ну и в те времена знавал, когда был уже приват-доцентом Санкт-Петербургского Императорского — тоже наблю-

дал этакие фигуры, как будто самой природой предназначенные поглощать и поглощать всякого рода знания и понятия, но такого вот Мартынова ему, помнится, не встречалось, нет.

А ведь таежный был парень, из глухого-густого кедрача вылезший чуть ли не прямиком в главные редакторы.

Этакая природа и натура Корнилова не могла не привлечь, и вот он очень любил, а в последнее время прямо-таки нуждался в тех редких даже не часах, а только половинках и четвертинках часа, когда Мартынов заглядывал в его крохотный кабинетик.

Да-да, молодой этот таежник, только-только формирующийся интеллигент, только-только повзрослевший человек, только-только принявший на себя обязанности «главного» — главного редактора большой газеты, всей этой изначальностью своей был Корнилову интересен. Его, Мартынова, в Крайплане не без юмора так и называли — «Главным», наверное, потому, что это к нему не шло — уж очень он был не только молод, но и чересчур как-то естествен. Слишком был непосредственным, но в то же время не слишком наивен... Вот какая личность.

И не один Корнилов каждому появлению Главного искренне бывал рад. Никанор Евдокимович Сапожков тоже радовался, а то, бывало, катится на своих колесиках по крайплановскому коридору Ременных и смеется.

Его спросят: ты чего это, Ременных? Что за смех?

«А как же,— отвечает тот,— сейчас встретил Главного, так он мне такую охотничью байку рассказал, такую байку — умора... Про медведя... которого вытащили из берлоги... честное слово, умора!»

А недавно, совсем недавно, Главный, этот довольно высокий, довольно смуглый и всегда чуть-чуть кому-то, а может быть, и самому себе улыбающийся парень, и еще удивил Корнилова, оказавшись — кто бы мог подумать?— тонким политиком краевого масштаба... Месяца два-три тому назад он вот что сделал — он напечатал в своей газете ряд статей-воспоминаний Юрия Гаспаровича Вегменского... О временах подпольной работы была первая статья, о первых годах Советской власти в Сибири — вторая, о введении нэпа — третья. И здесь-то, в третьей статье, Вегменский вполне тактично рассказывал о том, как партийные и советские деятели

привлекали к активному сотрудничеству специалистов старой школы и выучки. Как, в частности, после решения ВЦИК о помиловании был привлечен бывший генерал Бондарин, всего несколько фраз, так ведь больше и не нужно было, ни в коем случае не нужно. Корнилов долго думал, как бы ему в ближайшую встречу выразить Главному свою симпатию, как бы поделикатнее это сделать, но тут вот что произошло: Главный к нему в кабинетик больше не заходил, он снова стал присылать свою сотрудницу, далеко перешагнувшую комсомольский возраст...

Случайность?

Может, Главный усиленно готовился к поездке в Сибирские Афины, в город Томск?

Нет, случайностью это не было.

Оставалось вспоминать, что ведь Мартынова-то, кроме всего прочего, крайплановцы ждали в свои ряды, с нетерпением ждали. Ну как же — еще Лазарев присмотрел его среди студентов Института народного хозяйства и договорился с ректором, что после окончания тот получит назначение прямехонько в Крайплан, а Прохин тоже вцепился в Мартынова обеими руками: «Ко мне! Только ко мне, и никуда больше! Вот уж перспективный работник так перспективный — нет сомнений!» Тем более Прохин был обеспокоен, что дело осложнялось еще одним обстоятельством: Крайком ВКП(б) ставил на Мартынова свою собственную ставку — там хотели бросить его на идеологический фронт, сделать Главного заведующим отделом Крайкома, сделать, наконец, главным редактором партийной краевой газеты.

И это еще не все — сам-то Главный, кажется, не хотел идти ни туда, ни сюда, ни в Крайком, ни в Крайплан, он хотел стать писателем.

А действительно, были у Главного к тому задатки, Корнилов всегда их чувствовал, он даже этим задаткам сочувствовал. Когда-то... Теперь же он думал: «А не все ли мне равно? Мне же все — все равно...»

Умереть?

Нет, не дано... Как говорила когда-то Леночка Феодосьева: «Поздно уже... Раньше надо было думать!»

А вот что не поздно, что еще оставалось в распоряжении Корнилова, так это потеряться! Еще раз.

То есть умереть для всех окружающих, исчезнуть, сгинуть, а для самого себя как-нибудь, так или иначе, неизвестно как продолжить жизнь.

И не то чтобы начать при этом все сначала, это не удастся, но продолжить свое собственное существование, лишив его каких бы то ни было начал и даже сравнительно недавнего прошлого... Избавиться от всех Петров Корниловых разом, от всех тех, которыми он перегружен, на которых, он знает, так внимательно направлен взгляд и товарища Сурикова, и товарища Прохина, и целого ряда других товарищей...

Подумать, так и выбора-то нет: если он хочет быть, надо быть кем-то, кем он еще никогда не был... Он ведь ни разу не возвращался ни в одну из своих прожитых жизней, даже и попытки такой не делал — снова стать богом, философом, офицером, веревочником; какие там попытки — исключено!

А тут еще нэп, который его раздвоил, растроил, раздесятерил — за какую же часть самого себя ухватиться-то?

А тут еще прошлое — войны, в которых он участвовал, по природе своей будучи вполне пацифистом...

А тут еще будущее, в котором нет ни Бондарина, ни Нины Всеволодовны — да как же это так? Какое же это будущее — это ничто, это растительное существование...

В котором даже и память должна быть потеряна...

Только обстоятельства, а больше ничего. Обстоятельства военные, революционные, военного коммунизма, нэпа, еще и еще прочие... Обстоятельства были, будут, уж это точно, а жизнь, которая в них протекает, будет ли? Характер у человека будет ли? Или же и он весь растворится в обстоятельствах? Давно ведь уже началось растворение-то, давно... И растворение — тоже.

И людей нет в обстоятельствах — толпа, сквозь которую проходишь; лица в толпе помнятся, люди забылись. Потеряться в обстоятельствах — вот и вся судьба.

Тем более что на днях на своем письменном столе в кабинетике зампред КИСа Корнилов обнаружил такую записочку:

«Глубокоуважаемый Петр Васильевич!»

Васильевич подчеркнуто, больше ничего — никакого текста...

И, должно быть, это значило, что Корнилову в Крайплане действительно терять нечего.

И нигде — нечего. И он вспоминал, что Россия времен его рождения и дальше, дальше — с ног до головы была общественно-устремленной, была предназначенной совершить событие и поступок еще невиданный, всемирного, вселенского значения, исполнить эксперимент, о котором люди на Земле веками мечтали и веками же его боялись, создавая ради него всяческие учения, мифы, культы и религии, но исполнять его не решались.

Россия решилась.

И вот изнемогала от своего выбора и предназначения, а Корнилов существовал среди этого российского изнеможения, переживая его и в детстве, и в юности, и в не состоявшейся до конца зрелости. В каждом прохожем, в каждом встречном-поперечном русском он пытался разгадать, как тот переносит испытание душой и телом, всем своим бытием.

Он и в натурфилософию пришел в свое время с той же целью — в ней, встретившейся где-то на распутьях юности, искать, в ней угадывать — как? И — что?

И воевать пошел с Вильгельмом Вторым по той же причине: Вильгельм хотел прервать искания и страдания России на полпути, навязать ей одних лишь Канта, Гегеля и Ницше, лишить Бердяева, Булгакова и Плеханова, и если бы это ему удалось — казалось тогда Корнилову,— это было бы еще хуже, чем русская революция во всех ее вариантах.

Правда, «всех» Корнилов тогда еще и не представлял, не знал, но, и узнавая их, от давнего своего решения пойти на войну с Вильгельмом не открещивался. Он только все сильнее и сильнее чувствовал изнеможение вокруг себя. И надежду через изнеможение перешагнуть — тоже сильнее.

«А что,— думал он и теперь,— вот объявится какой-нибудь русский писатель, какой-нибудь Главный Мартынов, объявится — да и напишет роман, ну хотя бы о Сибири, о том, что говаривал когда-то Лазарев: «Сибирь сама по себе, всей своей природой требует социализма...» Напишет с восторгом, а?» Ко всем и всяческим восторгам Корнилов относился подозрительно, но тут... Тут чувства подозрительности он в самом себе не замечал. Нет, не было... Корнилов ведь работал в Крайплане, ничуть не жалея сил, аккуратно посещал профсоюзные

собрания, занимался общественной работой, ни на кого не обижался, не сердился и сам не подавал повода сердиться-обижаться на него. Но лица общественника так и не приобрел, а без этого какая нынче, в 1928 году, могла быть жизнь? Глядя на самого себя, Корнилов только пожимал плечами, только еще больше удивлялся, чувствуя, что он как физиологическая единица и то не принят нынешним временем. Годом 1928-м... Не говоря уже о единице человеческой и натурфилософской.

Если бы в свое время он не послушался Георгия Васильевича Бондарина, остался бы уполномоченным Аульского окружного Союза промысловой кооперации, вот тогда ему и нынче терять было бы совершенно нечего, не нарушалась бы элементарная арифметика, когда потери вдруг становятся несоизмеримо большими, чем приобретения. Казалось бы, каким это образом можно потерять больше того, что имеешь? Оказывается, можно...

«КРАЙПЛАН»! Вот он и соблазнился... Нарушил закон «бывшести» — «чем меньше — тем лучше» — нарушил...

Но даже и то, что укладывается в мышление, все равно не укладывается в сознание.

И вот Нину Всеволодовну потерял. Страшно подумать, нельзя, нельзя об этом думать — это вне мышления.

Ну, а с Никанором-то Евдокимовичем Сапожковым, к примеру, почему у него в последнее время холодность? Может быть, Никанору Евдокимовичу Корнилов и нужен был лишь того ради, чтобы высказать ему свою душевную боль по поводу Витюли? Он ее высказал и умолк. И все. Он к этой теме возвращаться больше не хочет, а другой в их знакомстве и общении не оказалось. Даже путешествия Никанора Евдокимовича по Алтаю и те не оказались темой... Может, Никанор Евдокимович просто-напросто эгоист?

С Прохиным Корнилов не то чтобы разошелся, они ведь, конечно, и не сходились никогда, но все равно размолвка произошла, и нынче-то Прохин ни за что не пригласил бы его на чашечку чая, ни в коем случае! И Груня не стала бы столь же старательно, поджимая свою заячью губу, наливать ему чашечку за чашечкой из пузатого, блестящего самовара...

А еще был момент, когда Корнилов так глупо, так самоуничижающе пролепетал:

«Бе-е-елый...»
А Прохин в ответ пожал плечами:
«Но ведь — офицер же?»

И Ременных гораздо реже стал заезжать в КИСовский кабинетик Корнилова...

А Бондарин? Бондарин-то уж, конечно, не простил Корнилову, что тот скрыл от него свое настоящее имя. При их-то отношениях — и вот скрыл...

Вот и Главный тоже... Живет, живет энергично, будто под благословением и напутствием самого Лазарева, но существование Корнилова замечать уже перестал...

Итак: ты чьи-то глаза, чьи-то уши, чья-то в тебе логика, чьи-то чувства, но — чьи? Загадка! Самого-то себя ты не знаешь, слишком мало в тебе жизни, слишком много жизней.

Проходишь сквозь окружающих тебя людей, сквозь толпу, проходишь год, другой, третий, десятый, но знакомых в толпе нет. Если даже кто-то и протянет тебе руку: «Здравствуйте, Корнилов! Здравствуйте, Петр...» — так ведь все равно поперхнется на отчестве.

Еще раз оглянуться и посмотреть вокруг: это что же происходит-то? Посмотрев, потеряться окончательно?

И Корнилов оглядывался, читал газеты, слушал.

«Вместо венка на могилу Цюрупы — 1000 руб. на борьбу с беспризорностью».

Приговор по «Шахтинскому делу».

Список обанкротившихся московских нэпманов — полоса газеты «Известия» мелким шрифтом. Конец нэпу?

Перечень объектов, которые могут быть сданы в концессию. Расцвет нэпа?

«Мировая фильма «Белый орел».

Доклад товарища Сталина «О борьбе с уклонами и примиренчеством».

«Хлебозаготовительный аппарат в Сибири бездействует...»

Ромен Роллан: «...в Союзе Советов начато необходимейшее дело нашего века».

Горький: «Жизнь становится все более отвратительной обнаженным цинизмом своим. Человеку нечем дышать в атмосфере ненависти, злобы, мести. Атмосфера,

все сгущаясь, грозит разразиться последней бурей, которая разрушит и сметет все культурные достижения человечества, против этой возможности работает только Советский Союз».

Прохин: «После совещания Госплана в Москве нам стало ясно, что формы работы и темпы надо менять. Госплан внес неразбериху, он расхолаживает некоторых работников. Мы в Сибири никому не позволим расхолаживаться».

Вегменский: «Что вы, товарищ Кунафин?! Товарищ Суриков?! Что вы?!»

Корнилов тотчас на свою паршивую память прицыкнул:

— Цыть, проклятая! Уймись!

Нет, не унималась...

И достигла тех времен, того детства, когда он был богом...

Когда он впервые прочел Сенеку, и, помнится, это звучало так: «...Natura duce utendum est; honc ratio observat, hanc consulit; idem est ergo beate vivere, et secundum Naturam» [1].

Помнится, он тогда думал: «Почему бы и мне не жить согласно требованиям природы, это же прекрасно!

А если я буду жить именно так, почему бы мне не достигнуть божественности?»

Вот как подумал он тогда... В детстве.

VI. ГОД 1929-й — ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Год 1929-й проистекал из 1928-го. Обгонял его по всем показателям.

Индустриализация — основа обороны. Ни шагу назад от взятого темпа индустриализации!

Миллионы трудящихся Индии подымаются на борьбу против британского империализма, против помещиков и национальной буржуазии.

Пакт Келлога — Бриана в руках буржуазных правительств — лицемерная маска для подготовки новых войн. Пролетарии всех стран, срывайте эту маску, стройте боевые ряды для свержения буржуазии!

---

[1] «...Вождем человечества должна быть природа; ей следует, с ней советуется разум; жить блаженно — значит жить согласно с требованиями природы».

Огонь рабочей самокритики направим на язвы разложения и бюрократизма в госаппарате!

Троцкисты перешли в лагерь контрреволюции. Беспощадная борьба с изменниками делу пролетариата!

Разиньте
шире
глаза раскаленные,
в газеты
вонзайте
зрачков резцы.
Стройтесь в ряды!
Вперед, колонны
первой
армии
контрольных цифр.
Цифры выполнения,
вбивайте клинья,
цифры повышений,
выстраивайтесь, стройны!
Выше взбирайся,
генеральная линия
индустриализации
Советской страны!

Пятилетний план народного хозяйства предусматривает, что промышленность даст сельскому хозяйству 85 тыс. тракторов. Всего их будет к концу пятилетки 185 тыс.

Красочный карнавал московских безбожников.

Похороны жертв первомайских расстрелов в Берлине.

К пятилетнему плану развития гражданской авиации в Сибири (1928/29—1932/33 гг.).

Проведение великой Сибирской ж. д. магистрали, приравниваемое по своему географическому значению к открытию Америки, открыло миру и еще один край, который до сих пор, однако, изучен и использован далеко недостаточно прежде всего благодаря отсутствию путей и средств сообщения.

В 1929/30 г. в Сибири будет работать всего 202 грузовых, 139 легковых и 167 специальных автомобилей и 227 мотоциклов.

В этих условиях особое значение приобретает развитие авиационного транспорта.

Чистка соваппарата на Северном Кавказе: проверено более 300 учреждений, приблизительно 35 000 человек. Вычищено 3000 человек: 570 купцов и фабрикантов, 115 помещиков, 560 б. белых офицеров, 113 из духовного звания, 250 растратчиков и взяточников, 105 б. жандармов и др.

Первые и притом необыкновенно успешные шаги по выполнению первой пятилетки, идея передвижки промышленных центров страны на восток, в Сибирь требует своего дальнейшего развития. Положение, при котором богатейшие окраины Союза почти не были вовлечены в хозяйственный оборот страны, становится далее совершенно нетерпимым.

Основными исходными позициями для нас являются:

а) наличие мощной энергетической базы, дающей свыше 80 проц. всех энергетических ресурсов Союза;

б) возможность получения самой дешевой в Союзе энергии;

в) естественно-хозяйственная связь с Уралом на западе и со Средней Азией на юге;

г) возможность широкого развития экспорта, вовлечение в него богатств Севера, используя Северный морской путь...

Рабкоры Шахтинского р-на объявляют беспощадную войну прогульщикам.

Лучшую часть пролетарской молодежи — в военные школы!

Общественность Красносибирска и всей Сибири отметила 60-летие старейшего, непоколебимого большевика — Юрия Гаспаровича Вегменского, заместителя председателя краевой Плановой комиссии, председателя Комиссии по изучению производительных сил Сибири и Общества б. политкаторжан и полит. ссыльных, виднейшего теоретика и практика строительства социализма.

Журнал «Жизнь Сибири» горячо приветствует Юрия Гаспаровича — своего постоянного автора и члена редакционной коллегии.

Желаем вам, дорогой Юрий Гаспарович, долгих лет жизни и столь же активной и безупречной деятельности!

Пролетарский поход на недостатки советского аппарата!

Перед Кузнецким каменноугольным бассейном само собой выдвигается вопрос о развитии там же, вблизи топливной базы, широкой сети предприятий черной и цветной металлургии. Основой развития промышленности Сибирского края надлежит признать металлургию черных металлов. В области развития цветной металлургии Сибири, несомненно, будет принадлежать ведущая роль, в особенности по добыче цинка и свинца.

О лимитах и заборных книжках на хлеб для городского населения.

Прибытие американской делегации в Москву: 87 представителей крупных банков, промышленных и торговых фирм. Корреспонденты крупнейших американских газет.

Правый уклон — самый опасный враг партии.

Американская журналистка Анна Луиза Стронг:

Четыре года тому назад я была в поволжской деревне и нашла в ней 14 коммун по 12 дворов в каждой. Это казалось огромным достижением. Но теперь я нашла 14 деревень в одной коммуне... в Балакове, около Вольска, образовался колхоз с площадью 270 000 га. Последние известия из Елани, Камышинского округа, сообщают о слиянии четырех гигантских коммун в одну... 300 000 га... говорят о возможности превращения через год всего Нижне-Волжского края в один гигантский колхоз... простое лицо председателя Балаковского колхоза... Фролов, бывший рабочий-путиловец: «Мы объединили всех деревенских жителей района, кроме тех, кого не захотели принять — кулаков, преступников и попов... сейчас у нас 135 тракторов и 14 600 лошадей»... Одна семидесятилетняя старуха: «Раньше у нас были ведьмы, домовые и разные духи. Теперь нет ни

ведьм, ни домовых, ни сатаны, нет и самого бога. Так вот, я выбросила теперь иконы и повесила портрет Ленина».

В Риге состоялось торжественное открытие советско-латвийского Общества культурной связи.

Открыл торжественное заседание председатель Об-ва поэт Я. Райнис.

Продукция сельского хозяйства составляет незначительную часть в экспорте, затрудняется и создание государственных резервов...

Начальнику... отдела ОГПУ СССР тов...

На В/запрос от 2.IV.29. за № В — 32/III сообщаем, из имеющихся у нас материалов следует, что:

1. Корнилов Петр Васильевич («Николаевич») прибыл в Красносибирск в августе 1927 г. Тогда же, при содействии б. генерала Г. В. Бондарина, работавшего в краевой Плановой комиссии, получил назначение на должность зам. председателя КИС (Комиссии по изучению производительных сил Сибири).

2. Уволился из Крайплана по собственному желанию в январе с. г. Тогда же выехал из Красносибирска в неизвестном направлении.

3. В марте с. г. было установлено место его пребывания: с. Кудряши Курганского округа Уральской области. Место работы: учитель естествознания и географии местной школы крестьянской молодежи.

Подпись

Говоря нынче о публицистике Чехова, нельзя не вспомнить его слов о себе: «Я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе... Надо бы выкупаться в серной кислоте».

Коллектив!
С ним не страшно даже
Сквозь любые пробиться грозы.
Он тебе обо всем расскажет,
Он ответит на все вопросы.

Десять лет версальской трагедии.

...Речь графа Брокдорфа-Ранцау, министра иностранных дел Веймарского правительства: «Те самые

державы, которые не уставали заверять, что между ними и германским народом стоят только каста милитаристов и империализм, ныне хладнокровно хотят заботливо ими опекаемый народ снова заковать в цепи милитаристской, капиталистической и империалистической системы».

...Война нынче, в принципе, не мыслится капиталистическими классами иначе как мировая бойня, в которую вовлекается все человечество. Нейтралитет заклеймен наперед, как порок... контроль над обязательным всеобщим участием в войне, над паем, вносимым каждой страной в общий военный фонд, передается группе мощнейших держав... прочие военные предприятия, которым американская доктрина присвоила благозвучное название «частных войн»,— это уже только «мелкие», приватные предприятия, добавочное ремесло... за странами революции закрепляется молчаливо или открыто одиозная привилегия возможных нарушителей мира. Против них будет направлена «святая» война будущего...

...Никогда еще все страны не предавались таким лихорадочным вооружениям и ремесло человекоубийства не доводилось до таких недосягаемых степеней совершенства.

Новый АМО: увеличение выпуска с 4000 до 25 000 машин в год.

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА ЗАГРАНИЧНОМУ ДРУГУ

...И вот, только разлучась с вами, я подбираю доводы и ответы. Они упали по дороге нашей беседы, словно майские жуки, не на животы, а на спинки и лежали, неспособные двигаться. Это письмо перевертывает их на лапки, чтобы они доползли или долетели до вас. Дорогой друг! Мы вступаем в это Первое мая... под лозунгами, опрокидывающими обывательское представление о человеке и его силах... величайший практический рецепт дальнего следования: представить себе в минуту усталости, что оставшийся путь вдвое длиннее, нежели он есть на самом деле... требовать надо в такую минуту и от себя, и от другого большего, а не меньшего. Так по-

ступали величайшие педагоги и величайшие полководцы... самый слабый может укрепиться, если мерить его большой мерой.

Мариэтта Шагинян

...необходимость самой решительной, самой беззаветной, самой настойчивой борьбы с элементами бюрократии внутри самой партии, внутри партийного аппарата...

В день Первого мая в Нью-Йорке бастовало 350 000 рабочих.

План советской спасательной экспедиции по розыску американских летчиков: поисковый полет начнется из Якутска с первым появлением солнца на широте мыса Северного.

Телеграмма департамента внутренних дел САСШ: департамент просит посылать ежедневно метеосводки с острова Врангеля в г. Ном (Аляска) руководителю поисков г. Альфреду Ломену.

Ллойд Джордж в политическом обзоре говорит:

«Основная мысль пятилетки столь же смела, как и умна. В осуществлении пятилетки большевизм беспощаден, но последователен. Большевистская диктатура делает героические усилия для реорганизации земледелия и промышленности. На ограниченные средства, имеющиеся в его распоряжении, Советский Союз покупает за границей самые усовершенствованные машины. Если пятилетка победит, Советский Союз станет чрезвычайно важным фактором в области транспорта, торговли и финансов».

Наступает то неслыханное ускорение процессов социалистического преобразования, которое предвидел в свое время Ленин и которое было сознательно и планомерно подготовлено партией, неуклонно выполняющей политические заветы Ленина. И ускорение это есть не что иное, как развернутое наступление пролетариата на капиталистические элементы.

Всесоюзный съезд женщин-колхозниц: в настоящее время мы имеем 300 тыс. крестьянок — членов сельсо-

вета, 5 тыс.— председателей Советов и несколько сотен крестьянок, руководящих работой риков.

Газета «Тан» (Франция) сообщает: «Соглашения об ограничении морских сил можно будет добиться... если искренне считаться с реальными нуждами каждой страны. А в вопросе о своих нуждах судьей является каждая отдельная страна».

Можно ли сомневаться в том, что изречения «Тан» послужат эпитафией надгробного памятника лондонской конференции по морскому разоружению?

Без коллективизации сельского хозяйства невозможно привести страну к победе социализма и избавить миллионы трудящихся крестьян от кулацкой кабалы, нищеты и невежества.

В поход за свеклу!

Средняя Волга серьезно взялась за реконструкцию животноводства.

Еще 8.I.1918 г. в ответ на опубликование Советской Республикой секретных договоров мировой войны, президент САСШ Вудро Вильсон обратился к Конгрессу с посланием из 14 пунктов о послевоенном устройстве мира.

Пункт шестой — «Договор о России» — предусматривал: «Освобождение всей русской территории и также разрешение всех вопросов, затрагивающих Россию, которое гарантирует ей самое лучшее и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной, беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и национальной политики и которое обеспечит ей радушный прием в сообществе свободных наций при том образе правления, которое она сама себе изберет, а также всяческую поддержку, которую она сама себе пожелает».

Так вещал руководитель крупнейшей капиталистической державы, называя войну 1914—1918 гг. «последней войной» и «войной за демократию».

А вот что было в действительности: четыре года жесточайшей интервенции при участии одиннадцати держав, включая и Соединенные Штаты, поддержка большинством буржуазных партий белогвардейской

эмиграции, попытка финансовой и экономической блокады Советской Республики, систематическая подготовка единого антисоветского блока.

Может быть, мы и сегодня должны верить тому, что капиталисты — это миротворцы? Что они готовы в 1929 году проявить к нам «радушие» и «содействие»?

Эрнст К. Линдлей (корр. «Нью-Йорк Уорлд»): «Сомневаюсь, чтобы какой-либо другой народ когда-нибудь добился такой концентрации энергии на задачах мирного строительства, как мы это видели в СССР».

О том, какие у нас еще имеются явления на селе, красноречиво говорит такой документ:

«Протокол общего собрания крестьян с. Гущин Колодезь Елецкого округа:

Слушали: о необходимости ранней вспашки. Постановили: отменить.

О поднятии урожайности — отменить.

Организовать комитет взаимопомощи — отменить.

Оживить работу сельсовета — отменить.

Избрать женщину в сельсовет — отменить».

В селе Шушенском Минусинского округа имеется дом, в котором некогда жил В. И. Ленин. Этот дом в настоящее время занят под учреждение сельсовета. Томская секция научных работников считала бы необходимым обратить внимание Главнауки на нежелательность подобного использования дома ЛЕНИНА.

По мнению секции, следовало бы превратить этот дом в музей имени ЛЕНИНА, реставрировав обстановку в том виде, в котором она была во время пребывания там Владимира Ильича.

Для освобождения дома необходимо построить новый дом для сельсовета, на что потребуется сумма в размере около 1000—1300 рублей, для реставрации обстановки потребуется приблизительно 250 руб. и для организации постоянной охраны дома ЛЕНИНА ежегодно не менее 120 руб. Всего одновременно необходимо 1250—1500 рублей и постоянного расхода 120 руб. в год. Томская секция научных работников ходатайствует перед Главнаукой об отпуске необходимых средств на освобождение и реставрацию, а также на охрану дома ЛЕНИНА. Томская секция просит Главнауку РСФСР взять этот дом под свое шефство.

Х. В. Калтенборн (зам. редактора «Бруклин Дейли Игл»).

...В деле хозяйственного восстановления — изумительный прогресс. За одно десятилетие Советская Россия вышла победительницей из войны, блокады, голода и многолетнего невежества. Новые вожди, вышедшие из народа и избранные народом, поднялись, чтобы руководить реконструкцией страны. Их преданность и самоотверженность, их мудрое руководство обеспечивает им всеобщую поддержку.

Начальнику... отдела ОГПУ СССР тов. ...

На В/дополнительный запрос от 18.VII.29. за № В — 32/194 сообщаем:

1. Мотивы, по которым Корнилов Петр Васильевич присвоил документы, удостоверяющие личность Корнилова Петра Николаевича, не установлены.

2. По нашему запросу из архива быв. Забайкальского лагеря в/пленных белых офицеров сообщается, что Корнилов Петр Николаевич, капитан, затем п/полковник и полковник Средне-Сибирского корпуса колчаковской армии, совершил ряд преступных зверских расправ с местным населением по пути следования корпуса. Особенной жестокостью отличалась его расправа с жителями г. Улаганска в период 14—27 декабря 1919 г., где он был комендантом.

3. В то же время нами установлено, что за Корниловым Петром Васильевичем («Николаевичем»), хотя он и служил в армии ген. Молчанова, отличавшейся особой жестокостью, особых зверств и расправ отмечено не было. Пленные солдаты-рядовые, служившие под его начальством, показывали на него как на справедливого офицера, даже навлекшего этим на себя недовольство высших чинов. За это же говорит то, что за все время службы в белой армии Корнилов Петр Васильевич («Николаевич») ни разу не был повышен в звании и чине. Однако обмен документами имел место, и Корнилов Петр Васильевич («Николаевич»), очевидно, по недосмотру начальника лагеря был освобожден, а Корнилов Петр Николаевич («Васильевич»), симулируя смертельное состояние после болезни сыпным тифом, из лагеря бежал и, проживая сначала под чужим отчеством, а потом (не раз) меняя удостоверение личности

(Ведерников, он же Киселев), совершал активные контрреволюционные действия против Советской власти.

4. Корнилов Петр Васильевич («Николаевич») некоторое время подозревался в том, что он действительно разыскиваемый Корнилов Петр Николаевич. Окончательное выяснение его личности произошло по прибытии из Ленинграда в Красносибирск сотрудника, который лично знал Корнилова Петра Васильевича по службе в одном полку во время мировой войны.

5. Арест гр-на Корнилова Петра Васильевича («Николаевича») нами был отложен во избежание нежелательной огласки при розыске Корнилова Петра Николаевича («Васильевича»).

Кроме того, гр-н Корнилов Петр Васильевич («Николаевич») показывал себя на работе в Крайплане как знающий и лояльный специалист (характеристики руководства Крайплана тт. Лазарева, Прохина, Вегменского).

6. Исходя из этого, нами было принято решение оставить Корнилова Петра Васильевича («Николаевича») на свободе, во всяком случае, впредь до задержания скрывающегося Корнилова Петра Николаевича («Васильевича»).

Подпись

Первый пятилетний план — это программа наступления социализма по всему фронту. Он рассчитан на построение фундамента социалистической экономики.

Одним из важнейших и в то же время труднейших вопросов политики партии в области художественной литературы является вопрос об отношении к так называемым писателям-попутчикам. Не случайно этот вопрос занимал одно из центральных мест в литературной дискуссии, предшествовавшей выработке известной резолюции 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», и в самой этой резолюции.

Однако четырехлетний период, отделяющий нас от указанной резолюции 1925 года, выдвинул ряд новых

вопросов, ряд вопросов поставил по-новому, принес значительную перегруппировку классовых сил на литературном фронте. В то же время партия за этот период накопила значительный опыт в деле направления политики в области художественной литературы.

Пройден еще один этап — страна вступает во второй год пятилетки. Превышение планов, невиданные миру темпы экономического развития, небывалый рост активности и творческого энтузиазма масс — все это блестящее подтверждение правильности генеральной линии нашей партии.

Требование рабочих об увеличении суммы займа индустриализации на 150 000 000 удовлетворено!

«Колхоз «Демьян Бедный» и хлебозаготовки» (из поэмы):

Все заметней успехи,
Несмотря на помехи,
Шестого сего сентября
На сходе была превеликая пря.
Чуть не сражение.
Обсуждалось самообложение...

Демьян Бедный

Германия. Франкфурт. Революция в авиационном деле: первый полет ракетного самолета! Возможность летать в разреженной атмосфере!

Начальнику... отдела ОГПУ СССР тов. ...

На В/запрос от 24.VIII.29 за № 32231.

Произведенной нами проверкой установлено, что:

1. Гр-ка Ковалевская Евгения Владимировна, б. дворянка, сестра милосердия в царской, а затем белой армии, была взята в плен (в составе полевого госпиталя) красными частями в апреле 1919 г. и тогда же по собственному желанию была включена в штат санитарной службы Волжской революционной флотилии.

2. Проживала в г. Ауле и в августе месяце 1921 г. действительно приняла как мужа освободившегося из Забайкальского лагеря в/пленных белых офицеров Корнилова Петра Васильевича («Николаевича») и прожи-

ла с ним до мая месяца 1925 г. Брак зарегистрирован не был.

Можно утверждать, что Ковалевской Е. В. было известно, кем в действительности является Петр Николаевич.

Были или нет между ними знакомства и связи до 1921 г.— данными не располагаем.

3. В мае 1925 г. г. Ковалевская оставила Корнилова и выехала из г. Аула. Переписка между ними не зафиксирована.

Отъезд Ковалевской не мог быть продиктован материальными причинами, т. к. Корнилов получил тогда в наследство буровое оборудование, открыл в Ауле межокружную «Буровую контору», и его материальное положение резко возросло. Последующее выяснение обстоятельств получения Корниловым наследства положительных результатов не дало и было прекращено.

4. По В/запросу нами было установлено, что гр-ка Ковалевская Е. В. скончалась при родах в г. Белогорске 17.X.25 г. Ребенок поступил в местный Дом малютки и развивается нормально, надсмотр за ним осуществляется со стороны тов. Ключникова, зам. председателя Белогорского горисполкома (б. матрос Волжской революционной флотилии, которого во время гражданской войны спасла Ковалевская). Другими сведениями об отношениях между Корниловым П. В. и Ковалевской Е. В. не располагаем.

Подпись

Горький: «Человек начал создавать свою культуру с той поры, когда он почувствовал себя более слабым животным, чем все другие звери. Ощущение этой слабости принудило его инстинкт самосохранения развиваться более быстро и успешно... жизнь наша была бы легче, отношения между людьми лучше, если б люди знали и помнили, что в мире нет другой творческой силы, кроме сил человеческого разума, человеческой воли... Мне кажется, что из всех философских «систем оценки взаимоотношений человека и мира» самая лучшая и самая верная та, которой еще нет, но которая строится... Стоимость человекоубийства все возрастает, поглощая тысячи тонн золота, добытого рабочими, миллиарды рублей, собранных в форме налогов с людей, которые за это будут расстреляны, взорваны, отравле-

ны... Вот работа на смерть... вот куда должны направить свое внимание и свое тяготение к философии молодые люди, чрезмерно чувствительные к неудобствам жизни в Союзе Советов... Знаменитый математик Эйнштейн пишет: «Большевизм — изумительный эксперимент. Не исключена возможность, что социальная революция направится в сторону коммунизма. Большевистский опыт заслуживал, чтобы его произвели».

Краевой исполнительный комитет
Краевая Плановая комиссия

№ 288/64 29 ноября 1929 г.

Крайком ВКП(б), товарищу Я. С. Озолиню
О положении с кадрами в Крайплане

...и в связи с возрастающим в настоящее время и тем более в ближайшем будущем объемом работ особенно остро стоит вопрос о кадрах. В настоящее время штат Крайплана составляет 46 чел., что явно не соответствует тем задачам, которые Крайплан должен решать.

...со всей остротой ставим вопрос об увеличении штата на 9 единиц — на 1—2 единицы в секциях экономической, сельского хозяйства и промышленной...

...вопрос об увеличении кадров Крайплана давно мог бы быть решен, если бы не возражения, выдвигаемые КрайРКИ и Сибтрудом. Последние в целях борьбы с бюрократией, соблюдения экономии и выполнения планов по сокращению штатов советских учреждений не только не идут навстречу нашим запросам, целиком и полностью обусловленным задачами текущего строительства, но и упорно, и повседневно ставят вопрос о сокращении штата Крайплана на 3 единицы.

В силу всего изложенного мы просим Крайком ВКП(б) активно вмешаться в существующие по этому вопросу разногласия и поддержать нас перед лицом КрайРКИ и Сибтруда.

Дальнейшая проволочка в этом вопросе грозит очень серьезными последствиями для дела развития и соцреконструкции народного хозяйства края.

Пред. Крайисполкома *Н. А. Гродненский*
Пред. Крайплана *А. А. Прохин*

XVI партконференция приняла «оптимальный» вариант пятилетнего плана развития народного хозяйства, капитальные вложения определены в 64,6 млрд. руб. (в предыдущем пятилетии они составляли 26,5 млрд. руб.), продукция промышленности увеличится в 2,8 раза, тяжелой — в 3,3 раза.

Горький: итак, созданная гением Владимира Ленина и энергией его товарищей партия — мозг рабочего класса — взялась за работу небывалой, колоссальной трудности... Условия, в которых она повела и ведет свою работу, таковы:

живой материал, талантливый по природе своей, но малограмотный или вовсе безграмотный, глубоко некультурный, глубоко анархизированный самодержавием Романовых и уродливо некультурным русским капитализмом;

крестьянство — 85 проц. населения страны,— веками приученное «на обухе рожь молотить», «лаптем щи хлебать», задавленное нищенским бытом, каторжной работой, суеверное, пьяное, окончательно разоренное войной империалистической и гражданской войной,— крестьянство, которое даже и теперь, после десяти лет революционного влияния города, сохранило в большинстве своем психологию мелкого собственника, психологию слепого крота;

многоглаголивая, на протяжении сотни лет решавшая вопросы «социальной этики», безвольная интеллигенция, которая встретила Октябрь пассивным саботажем, активным сопротивлением с оружием в руках и частью продолжает до сего времени «словом и делом» бороться против Советской власти, сознательно и бессознательно вредительствуя...

Сверх всего этого — активная, неутомимая и подленькая ненависть мировой буржуазии... Наконец, нужно прибавить сюда весьма солидное количество глупцов, лентяев, «рвачей», двоедушных «друзей пролетариата» и много других паразитов его.

...Карл Маркс сказал: «Высшее существо для человека — сам человек, следовательно: необходимо уничтожить все отношения, все условия, в которых человек является приниженным, порабощенным, презренным существом».

Динамика численного состава ВКП(б) по данным статотдела ЦК и др.

К началу 1905 г.— 8400 чел.
1917 г.— 23 600

Апрель 1917 г.— 40 000 (в отчетах Апрельской конференции указано 79 000).

К началу 1918 г.— 115 000
1919 г.— 251 000
1920—431 000
1921—585 000
1922—514 800 (по данным переписи 1923 года).
1923—485 600
1924—472 000
1925—798 804
1926—1 078 185
1927—1147 074 (по данным партпереписи 1927 года).
1928—1 304 471
1929—1 532 362

Нападение китайских войск на советских пограничников.

В Сумбейский лагерь мукденское правительство заключило 1160 советских граждан, главным образом служащих КВЖД.

В лагере нет воды и пищи.

Над заключенными издеваются, их бьют и пытают.

Вопрос о хлебе — вопрос классовый... Верхушка села дошла до такой грани, когда она упорно требует пустить ее на дорогу широкого накопления... Бесспорно, слишком очевидно, что хлеб — самая острая и крупная из всех переживаемых нами трудностей. Строительство социализма, пролетарская индустрия уперлись в хлеб... На хлебную забастовку кулака и ближайшего кандидата в кулаки партия ответила крепким ударом по кулаку, усилила работу по его изоляции... В вышедшей в Сибири книжке Нусинова и Каврайского приводится такой факт из сибирской деревни: кулак Теплов заявил: «Хотите получить хлеб, дайте трактор!» Не ясно ли, чей социальный заказ выполняют правые, говоря о «свободном» соревновании на рынке с Тепловым?.. Троцкизм

мы разоблачили, правый уклон еще не разоблачен... Безнадежные схоласты одновременно с лозунгом о форсированном наступлении на кулака могут отвлекаться от классовой борьбы. Левые переоценивают силы врага, правые недооценивают их. Капиталистическая индустриализация попирает бедняка, социалистическая — кулака. Кулак создает настроение, что все гибнет, что наступает «военный феодализм». Если мы уступим кулаку, в него поверит бедняк. Правый уклон — это мрачная оценка хозяйственного и политического положения.

В ночь с 16 на 17.XI китайские войска значительными силами при поддержке артиллерии перешли в наступление в направлении на станицу Абайгатуевскую и разъезд № 86.

С утра 17.XI китайская конница перешла нашу границу в районе Турий Рог в пос. Первомайский.

Блестящее контрнаступление ОКДВА: разоружено 8000 китайских солдат и 300 офицеров. Паника в тылу мукденцев. Мукденское командование расстреляло свыше 1000 своих солдат за отказ подчиниться офицерам.

В колхозы вступают не только отдельные группы бедноты, как это было до сих пор, но в колхозы пошел в своей массе и середняк... характер мощной, нарастающей антикулацкой лавины...

...Новая практика рождает новый подход к проблемам экономики переходного периода.

А может ли развиваться индустрия на базе мелкого сельскохозяйственного производства, раздираемого к тому же классовыми противоречиями?

Редактор журнала «Нэйшен»: «Я искренне потрясен грандиозностью принятой советским правительством реконструктивной программы. Члены правительства подают великолепный пример своим отказом от крупных окладов и своим отношением к коррупции...»

...Экономист Юлиус Гирш воспевает американскую экономику и ее «божественную непогрешимость», в то время как:

...миллионы людей оказались выброшенными из производства и одновременно из кругооборота потребления, писал Отто Корбах из «Берлинер Берден-курьер» 28 мая 1928 года. Еще в прошлом году в Америке насчитывалось от 3 до 5 млн. безработных...

...изумительное благосостояние американского народа»: 4/5 населения, или больше 90 млн. людей, еле сводит концы с концами...

А вот мнение редактора буржуазного журнала «Пари-Нью-Йорк» Вандмайера: «Невозможно обойти молчанием грандиозные мошенничества банды международных пиратов... Они собираются ограбить не только 120 млн. американцев, но и подкопаться под самые основы мировой экономики. Они сводят с пути миллионы честных людей с целью запрятать их добро в свои карманы. При активной поддержке низкопробных политических деятелей эти мошенники выдумали лозунг «Америка наслаждается чрезвычайным благоденствием»... Никогда в мировой истории спекуляция не получала такую дерзкую и даже официальную поддержку... 24.X нынешнего года в несколько часов было продано на биржах 12 800 000 акций... 29.X — 1 640 000 с потерей 60 млрд. долларов... В Белом доме считали необходимым всемерно успокаивать публику... президент Гувер следует правилу keep smiling (улыбайся)...»

Большинство американских законодателей состоит из всякого рода спекулянтов, а те, кого называют финансовыми вождями, глубоко бесчестные люди... Соединенные Штаты подобно Англии и Германии вступают в полосу хронической безработицы и недостаточного использования своих производственных возможностей, пишет американский публицист, скрывшийся под псевдонимом Американус.

Подписан советско-китайский договор о восстановлении положения на КВЖД.

Бэйпин. Газета «Тянь-цзинь Такун-бао»: «Мы думали, что мир ненавидит коммунизм и поддержит нас и что Советская Россия слаба и не в состоянии будет двинуть своих солдат. Мы ошиблись в обоих случаях».

Харбинские белогвардейцы в панике. Белогвардейские офицеры бывшей армии генерала Молчанова эва-

куируются из Маньчжурии в Сан-Франциско, куда уже сразу после окончания гражданской войны сбежали многие из них.

4 года назад ЦИК и СНК постановили лишить бывших помещиков права на землю и проживания их в принадлежащих им до Октябрьской революции хозяйствах. Но в Смоленской губ. осталась группа невыселенных свыше 200 чел. Они с нетерпением ожидают наступления контрреволюционной волны.

«От Объединенного Государственного Политического Управления.

Объединенным Государственным Политическим Управлением раскрыты контрреволюционные организации на железнодорожном транспорте и в золото-платиновой промышленности Союза, поставившие себе целью свержение Советской власти, помощь иностранной интервенции и восстановление в стране капиталистического строя.

Своей цели они добивались путем вредительства и дезорганизации этих отраслей народного хозяйства.

Идеологическими вдохновителями и практическими руководителями в них были:

По контрреволюционной организации на транспорте:

Фон-Мекк Н. К.— бывший потомственный дворянин, б. председатель правления общества частной Московско-Казанской железной дороги, ее крупный акционер. В последнее время начальник экономической секции центрально-планового управления НКПС;

Величко А. Ф.— б. потомственный дворянин, б. начальник перевозок при царской ставке. В последнее время член президиума Всесоюзной ассоциации инженеров и председатель ее транспортной секции, член центрального комитета НКПС по перевозкам.

По контрреволюционной организации в золото-платиновой промышленности:

Пальчинский П. А.— б. тов. министра торговли и промышленности в правительстве Керенского, б. комендант защиты Зимнего дворца в Октябрьские дни 1917 г. В последнее время профессор Ленинградского горного института.

Коллегия ОГПУ в заседании своем от 22.V.1929 г.,

рассмотрев дело вышеуказанных организаций, ПОСТАНОВИЛА: Фон-Мекка Н. К., Величко А. Ф., Пальчинского П. А. как контрреволюционных вредителей и непримиримых врагов Советской власти расстрелять. Приговор приведен в исполнение.

Остальные участники указанных контрреволюционных организаций приговорены на разные сроки заключения в концлагеря.

Зам. Председателя ОГПУ *Г. Ягода»*.

Москве нужен метрополитен!

Трудящиеся Москвы и Ленинграда приветствуют славных чекистов, своевременно раскрывших черный замысел врагов народа.

Врагам революции нет прощения. Вечный им позор и презрение!

Возвращение частей Особой Дальневосточной армии. Рабочие Иркутска устроили бойцам горячую встречу. Вокзал был украшен и иллюминирован. В приветствии красной нитью проходила мысль, что угроза войны еще существует.

Начальнику... отдела ОГПУ СССР тов. ...

На В/запрос за № 32/334 от 4.XII.29 сообщаем:

Гр-н Корнилов Петр Васильевич («Николаевич»), одинокий, учитель естествознания и географии Кудряшевской ШКМ Курганского округа Уральской области, 31.XI.28 покончил жизнь самоубийством, утопившись в проруби р. Тобол.

Труп обнаружен не был. При осмотре места происшествия обнаружены были на льду шапка, рукавицы и перочинный нож, принадлежавшие П. В. Корнилову.

Произведенной проверкой у местных жителей и учеников ШКМ предполагаемые мотивы самоубийства не установлены.

Прибывший на место происшествия следователь Округолрозыска тов. Самойлов высказал предположение, что самоубийство могло быть симулировано — очевидно, с целью скрыться из-под наблюдения, о котором гр-н Корнилов Петр Васильевич («Николаевич») мог догадываться.

Подпись

Гражданская война в Китае разгорается.

Письмо из Самары: 8 000 кулаков ускользнули от обложения.

И десяти лет не прошло с тех пор, когда нашу территорию оккупировали и бесчеловечно грабили более десяти стран-интервентов ...они мечтали создать колонии, подобные африканским, на Кавказе, Дальнем Востоке и в др. районах ...С.-А. С. Ш. в свое время создали даже специальную комиссию по эксплуатации природных богатств Дальнего Востока...

Конечно, в С.-А. С. Ш. или Великобритании легко разглагольствовать о том, что это дело прошлое, что это исторический эпизод и не более того, легко, потому что их собственная территория никогда не подвергалась нашествиям интервентов, они не знают, что это такое, когда у голодных отнимают последний кусок хлеба, а телеграфные столбы превращаются в виселицы, на которых висят трупы повешенных мужчин, женщин, детей и стариков.

И в последующие за этой интервенцией годы мы, по существу, не имели ни одного года без военных конфликтов — то это банды басмачей в Фергане, Туркестане, то банды Булак-Балаховича на польской границе, а в наши дни — только что закончившаяся блестящей победой война с мукденскими милитаристами, подстрекаемыми милитаристами западными.

Мы уже не говорим о постоянных призывах к крестовому походу против нас Пилсудского, Чемберлена, Пуанкаре.

В этих условиях любая капиталистическая страна, если бы в ее адрес делались столь же воинственные заявления, уже давно признала бы свое положение чрезвычайным и, уж конечно, милитаризуясь до зубов, прибегла бы к ответным угрозам и провокациям, и только миролюбие, спокойствие и выдержка Страны Советов помогли избежать прямых и чрезвычайно опасных конфликтов и настоящих войн.

Пример тому — сравнительно недавно восстановленные дипломатические отношения с Англией.

Где, когда и в какой международной комиссии или конференции по вопросам войны и мира Советский Союз занимал воинственную позицию? Может быть, в Генуе? В Лозанне? В Париже? Нет, подпись нашего нар-

коминдела товарища Чичерина стоит только под мирными договорами.

На Днепрострое: бешеными темпами развертывается строительство. Сейчас работают 16 000 рабочих. В будущем году их будет здесь 35 000.

«Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. Каждый, внимательно наблюдавший за жизнью деревни, в сравнении с жизнью города, знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, основу у внутреннего врага не подорвали. Последний держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его, есть одно средство — перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу, на техническую базу современного крупного производства.

В. И. Ленин».

VII. ГОД 1984-Й

Уважаемый литератор Сергей Залыгин!

К Вам обращается Ваш читатель. Достаточно внимательный.

Почему он обращается к Вам? И в чем доказательство его внимательности? Откуда у него это редкостное качество?

Все дело в том, что, прочитав роман «После бури», он, этот читатель, узнал в романе себя.

Даже не столько узнал, сколько вспомнил свое прошлое. Во всяком случае, Вы дали этому читателю повод для воспоминаний.

И повод для этого письма тоже.

Я ведь никогда не чувствовал себя человеком пишущим, а разве только думающим. Вы об этом хорошо знаете. Ну и, конечно, я пишу Вам не только потому, что я — Ваш «герой», а еще потому, что спросил себя: «Человек моего возраста должен что-то принести в сегодня? Конечно, должен! А если он что-то принес, должен он об этом кому-то поведать? Безусловно! Если, конечно, есть тот, кому поведать можно...» Кому же, как не Вам? Просьба: постарайтесь читать по строкам, а не по диагонали. Пожалуйста!

Как же, как же, помню: полковник, которого вывели Вы под фамилией Махова, на самом деле был, кажется, Гудковым, так? А великий мастер и умелец Казанцев — это же Кузнецов? Интересно, известна ли Вам его дальнейшая судьба? Мне известна... Ну, а Бондарин? Впрочем, прототипы Бондарина, Озолиня, Вегменского, Прохина — о них говорить нечего, это были настолько известные в Сибири люди, что и расшифровка не требуется.

Подумать только — пусть и заочная, а все-таки встреча более чем через полвека! И какие полвека — эпоха. Две эпохи. Невероятно! И все-таки...

Вот и Вы, работая над своим произведением, тоже, конечно, вспоминали. И город Аул вспоминали, и Красносибирск, и Корнилова Петра Васильевича-Николаевича...

Я понимаю условность литературного произведения, понимаю, что я, как прототип, могу возража́ть: «Было не так!» — но все равно меня ни на минуту не покидало ощущение, что это я и что «так было», хотя Вы и примыслили и приписали мне множество мыслей и таких поступков, которых я никогда не совершал, разве только мог бы совершить. Впрочем, насколько я понимаю, в этом и состоит специальность писателя: писатель не столько пишет, сколько приписывает что-то к чему-то.

И Вас тоже помню немного... Живой мальчик и, кажется мне, несколько татарского облика, мой сосед в доме № 137 по улице Бийской... И как это Вы столько удержали в своей памяти?! Небось уже взрослым не раз ездили в город Аул, чтобы восстановить в памяти детство? И откуда Вы так много знаете обо мне? Неужели и тогда, мальчиком, знали? Или узнали позже, но каким же образом?.. Впрочем, я не задаю вопросов никаких, не затеваю с Вами переписку — поздно!

«Тогда в чем дело? Для чего это письмо?» — спросите Вы.

Дело в том, что, во-первых, я все еще жив и мне доставляет удовольствие поразить Вас этим фактом. А во-вторых...

Я еще и сам не знаю точно, что напишу Вам. Что-нибудь. О себе. О Вас. И, наверное, о мировых проблемах... Мы, русские, не можем без мировых. Ну и еще что-нибудь.

Хотел бы заметить: это мое последнее письмо, последние слова, которые я напишу на бумаге.

На прошлой неделе я в последний раз вышел побродить по саду, в котором еще недавно гулял ежедневно и в любую погоду.

Две недели назад я в последний раз зашел к своему давнему другу-парикмахеру. Теперь уже он придет ко мне...

Я буду писать Вам так, как для меня легче — отдельными заметками. Вы же знаете, что иногда мы тратим больше усилий на то, чтобы связать между собой наши мысли и соображения, чем на сами мысли и соображения, полагая, что без этого нельзя. А без этого можно, иногда и должно. Иногда мысли теряют оттого, что мы пытаемся связать их в некое подобие чего-то целого, и тогда эти подобия — старые картонные коробки и бечевки — видны явственно, а их содержание остается взаперти.

Сколько мне нынче лет, Вы можете не совсем точно, но зато легко и быстро подсчитать. Получится чудовищная цифра. Округляйте эту цифру, округляйте без тени смущения. Ведь я-то не смущаюсь!

Что за жизнь была у меня после того, как я исчез из Вашего поля зрения, об этом Вы никогда не догадаетесь, как бы ни старались. Я бы на Вашем месте тоже не догадался. Больше того, мне иногда кажется, что у меня нет никаких догадок по поводу своей собственной жизни. Я ее прожил, и все. Я ее вызубрил назубок по датам, по географическим пунктам, так же, как прилежный ученик вызубривает историю, и только.

Да, я жил так долго и так разно, что мне кажется, будто я уже давно-давно кончил жить, но продолжаю заживать чей-то чужой век, чтобы и за себя, и еще за кого-то додуматься до чего-нибудь. Естественное чувство, потому что у меня было слишком много судеб и жизней — возрастных, социальных, деловых, психологических, физиологических, еще каких-то, которым я и названия-то не знаю. Я знаю только, что ни одна из них не была логическим продолжением жизни предшествующей, ни одна полностью не проистекала из другой, а каждая была сама по себе и совершенно недоказуема с точки зрения моего прошлого.

В моей жизни однажды был все-таки итог, была черта, это когда я окончательно отрешился от Корнилова Петра Николаевича, от той тяжести, которую возложило на меня чужое имя. Это было, когда я пошел на самоубийство.

Я его не совершил, нет.

Но я его пережил, и черта возникла, и я воспринимаю нынче время так: «Это было до черты!» или «Вот это было после черты!»

На «отлично» вызубрив собственную жизнь, я так и не узнал самого себя, и мне кажется, что все мои «я» — это совершенно разные люди. Что в самом деле общего между мною сегодняшним и тем, проживающим в Самаре мальчиком, который захотел стать богом? Совершенно ничего! Что общего между мною сегодняшним и владельцем буровой конторы «Корнилов и К^0» в городе Ауле? Совершенно ничего! Да если вспомнить мои более или менее близкие друг к другу и даже смежные жизни, что общего между Корниловым Петром Васильевичем-Николаевичем, кустарем веревочником и работником Крайплана? Пацифист-натурфилософ и строевой офицер действующей армии — что общего?

Все они объединены одним именем-фамилией, но и тут, как Вы об этом хорошо знаете, и тут отсутствовали строгость и законность.

В этом пестром и непоследовательном ряду моих жизней, о которых формально я знаю все, а по существу лишь кое-что, будто бы из чьих-то рассказов, наступила в конце концов жизнь самая последняя! И эта суть, эта однозначность и полная, никогда прежде и не снившаяся определенность радуют меня — наконец-то!

Вам не понять меня нынешнего, переживающего старость своей старости, не понять состояния моего организма и течения мысли, которые стали слишком просты для Вас, а Вы ведь не умеете понимать простоты, разучились... А может быть, никогда и не умели?

Где я живу — в соседнем с Вами доме или в другом полушарии,— не все ли равно? И то и другое вполне возможно. Живу ли я в обширных апартаментах или в каком-то тесном углу, окружен ли я домочадцами или совершенно одинок, не все ли равно? Одно могу сказать: за те годы своей жизни, которые для Вас остались неизвестными, я повидал мир со всех сторон. Уж мой-то век — двадцатый — это же сплошные события, но вряд ли кто-нибудь больше, чем я, Корнилов П. В.-Н., прихватил от этих событий. И не подумайте, будто по старости или еще по каким-то другим причинам я лишился способности к сравнениям и вот не знаю, что лучше, а что хуже, что приятно, а что ненавистно, что есть конец света, а что его продолжение. Нет, мне кажется,

я действительно приобрел ту сосредоточенность, которая есть вполнѐ осмысленная старость старости. Если же я и отвлекаюсь, так уж наверняка в последний раз и только благодаря Вам, точнее, Вашему литературному произведению под названием «После бури». (Мне не нравится это название.)

А ведь для огромного большинства людей «последнее» навсегда остается загадкой. Даже большей, чем сама смерть.

Между тем, если бы мы лучше знали «последнее», его назначение, мы больше понимали бы жизнь и позже умирали бы...

«Последнее» мы все еще чувствуем только как физиологическую старость, а это так ничтожно мало... Старость сама по себе, без полного чувства «последнего» — глупая шутка, человек или попусту молодится, или громко — чем громче, тем лучше — стучит костяшками домино, или никому не дает покоя своими недугами и болезнями. И все это в то время, как истинное назначение старости — пережить чувство «последнего». Дети же правильно исполняют свое назначение — передают взрослым людям чувство «первого», чувство начала, а старики своего назначения не исполняют. Они думают о нем только в молодости: «Вот уж состарюсь, тогда и сосредоточусь...» Но, состарившись, они пытаются молодиться. Им, наверное, мешают мысли, которые они передумали за всю свою прошедшую жизнь; к которым они привыкли так же, как к пятнышкам на костяшках домино, как к собственным ногтям на ногах и руках: ногти хоть и подрастают, хотя их нужно время от времени подстригать, но они всегда на своем месте и нет опасений, что когда-нибудь их там не окажется.

И редко-редко кто из стариков сказал что-нибудь путное и соответствующее «последнему».

Мне лично на этот счет даже и не Толстой запомнился, а совершенно другой писатель: «Умирать — невежливо!» И: «Умирать, будучи гостем,— пятикратная невежливость». (Пятикратная! А ведь все мы гости на этой земле!— *П. К.*)

Мы вообще не знаем необходимых для этого слов, а знаем только три категории возгласов: «Да будет проклято!», «Да здравствует!», «Так или иначе...».

Ну, и вот еще что: я хочу обратить Ваше внимание на те места книги, где Вы вольно́, а вернее всего, не-

вольно, но все-таки слишком бегло, может быть, даже и легкомысленно коснулись некоторых событий моей жизни... В том смысле, что они выглядят у Вас эпизодами в то время, когда они были для меня действительной жизнью, да еще какой!

Еще уточню: речь идет не о тех страницах, которые Вами написаны, но о тех, которых в книге не хватает...

Да, да, помню, где-то Вы сказали о том, что Корнилову Петру Васильевичу кажется, будто мертвый Петр Николаевич упрекает его: «Скотина! Ну присвоил себе мою женщину, ну присвоил себе мою «Буровую контору», присвоил всю мою жизнь, так хотя бы доказал, что достоин этого присвоения!» Кажется, так написали Вы? Но это же очень мало, мало и поверхностно! Потому что истинные отношения с моим двойником занимали в моей тогдашней жизни особое место. Говоря по правде, эти отношения долгие годы были еще одной моей жизнью, второй или третьей, уж и не скажу, какой по счету!

Конечно, в разные годы они были разными...

Сначала я боялся своего однофамильца безотчетно, боялся, не зная почему. Он снился мне, а в самом себе я чувствовал что-то, вошедшее в меня от него, от того человека, который умер. Наяву же я еще долго вздрагивал всякий раз, когда кто-нибудь окликал меня: «Петр Николаевич!» Мне казалось, будто кто-то зовет меня в ту могилу, в которой лежал тот человек. Помнится, особенно действовали на меня мужские голоса.

Потом неожиданно я стал ревновать к тому человеку святую женщину Евгению Владимировну, я ревновал даже и тогда, когда окончательно убедился в том, что она предана мне до конца, безоговорочно, но ревность все равно не давала мне покоя, меня не оставляла мысль о том, что если женщина очень любит меня, то это благодаря лишь ее давно минувшей и, наверное, даже не настоящей, а только воображаемой любви к моему однофамильцу. Мне было и горько, и стыдно сознавать, что ее любовь ко мне породил не я, а какой-то другой мужчина, которого я едва мог вспомнить лежащим на темных лагерных нарах, умирающим от сыпняка. Ну, а теперь представьте себе, что и в моем разрыве со святой женщиной Евгенией Владимировной опять немалую роль сыграла все та же нелепая и недостойная ревность. Не буду вдаваться в подробности, но именно так и было.

И когда мы порвали, когда Евгения Владимировна оставила меня, меня перестал преследовать и «Корнилов Петр Николаевич», я забыл о нем, освободился от него, а это освобождение стало для меня очередной новой жизнью.

Но ненадолго — однофамилец вернулся ко мне теперь уже в другом, еще более зловещем виде: я стал догадываться, и некоторые факты это подтвердили, что мои преступления и зло, которое я совершил, ничто по сравнению с тем, что совершил действительный Петр Николаевич Корнилов.

Не знаю, не знаю, как это когда-то случилось, что не он мне подсунул, а я сам взял его отчество и тем взвалил на себя всю его вину. Мне-то казалось тогда, что я виновен больше всех на свете, и вот я был готов с кем угодно поменяться своим именем, своим прошлым и будущим. И я поменялся.

И меня, новоявленного Петра Николаевича, выпустили из лагеря; я не знаю почему, должно быть, в тот момент его преступления еще не были известны до конца.

Когда же уполномоченный Уголовного розыска в городе Ауле представил мне приказ коменданта города Улаганска, я окончательно убедился в том, что я возвел на себя чужие преступления. Все перепуталось, я не знал точно, что я совершил доподлинно, а что приписал мне мой двойник...

У Вас же все это получилось очень просто: Ваш Корнилов легко, незаметно для самого себя чуть ли не полностью отрешился не только от всего того, что совершил когда-то его однофамилец, но и от того, что совершил он сам. Отрешился и зажил чуть ли не счастливой жизнью. Нет, нет — так не было, не могло быть!

Что меня спасло — это встреча с бывшим генералом Бондариным, как Вы его называете, а потом и работа в Крайплане, работа с таким энтузиазмом, который Вы и в малой степени не смогли передать в своем произведении. Вот тогда-то мой однофамилец отстал от меня, потерял меня.

Но опять ненадолго — я все больше утверждался в мысли, что Корнилов Петр Николаевич жив! У меня были к тому основания, во всяком случае, Вы были правы, когда изобразили приезд из Ленинграда агента акционерного общества «Хим-унион» по вопросу про-

изводства карнаубского воска, он вовсе не по этому поводу приезжал. И не в «Хим-унионе» он был агентом...

Вот с этого момента, показалось мне, Ваш роман должен был резко повернуть в сторону отношений между двумя Корниловыми при том, что они никогда больше так и не встретились.

Однако Вы пошли по иному пути и совсем предали забвению моего двойника. Очень странно! Вы даже мою манеру говорить и думать усвоили, уж это точно, я чувствую себя в Вашем Корнилове, но тут Вы от меня, двойного Корнилова, отступились, ушли куда-то в сторону, да и не вернулись... Может быть, это было удобнее для романа, а может быть, для его автора... Но о себе-то я знаю: двойник, который давным-давно уже не существует на свете, до сих пор, негодяй, существует во мне, в моей судьбе, в моем одиночестве. Так и умру с ним вместе не одной, а сразу двумя смертями, а что поделаешь? В этом даже будет некоторое удовольствие: сам умру и его наконец-то умертвлю!

И как странно, что то же самое время было и временем моего великого счастья!

Бывает же, это известно, что природа создает вдруг такое совершенство, что перед собственным чувством к нему ты сам никто и ничто. Бывает же, что твое чувство встречает взаимность! И бывает, что уже вскоре и самым противоестественным образом ты теряешь все это навсегда. И даже понимаешь при этом, что навсегда! Я даже не успел догадаться, не успел узнать, что там было еще в той жизни, в душе той женщины, которую я потерял. Не успел узнать, не оказался достоин, не сумел! И все, что мне оставалось, это догадываться обо всем том, что было мною потеряно. Время-то для догадок у меня было — больше полувека. Но все равно я и тут мало что успел.

Когда мы встретились, ни девичества, ни юношества в нас уже не оставалось, мы были разными людьми с совершенно разными с у д ь б а м и.

И происходило приятие судеб друг друга со всеми их муками, испытаниями, страстями, терпением и нетерпением, ошибками, заблуждениями, со всей их телесной и душевной зрелостью, со всеми тревогами, опытом и сомнениями, которыми эти судьбы обладали каждая сама по себе для того, чтобы в конце концов и произош-

ло это приятие. Но ведь оно так и не произошло! Разве только в чуточной какой-то мере... Я виноват! Меня так увлекло, так покорило настоящее, все, что происходит между нами сию минуту, что я подумал, будто мы начинаем все сначала.

И почему я, «бывший», мог так подумать? Как мог, если сам себя представил последним Адамом, а ее последней Евой? Если в минуту самой близкой близости говорил ей о конце света?

О конце света помнил, а о ее прошлом, о своем прошлом забывал?! Уж эта мне магия настоящего, вот что она натворила!

Должно быть, я поддался мечте о завершении: мы встретились и эта встреча завершит все наше прошлое, думал я тогда. Ведь так приятно и так необходимо — завершить! Поразить самого себя итогом и даже определенным выводом из всей своей прошлой жизни и тем самым избавиться от прошлого.

Как будто я не знал, что жизнь, покуда она во мне длилась, никогда не терпела никаких итогов, завершений и заключений. Но, может быть, в том и состояло мое тайное сопротивление концу света, что я не в состоянии еще был подвести хоть какие-то итоги своей прошедшей жизни?

Говорят «любовь» и думают, будто этим что-то сказано. А этим ничего не сказано, я помню, знаю — ничего! Это все равно, что сказать «небо» или «земля». Ну и что? Какое небо? Какая земля?

А это вот что было: множество чувств, мыслей, влечений, существований, на которые способен человек. Это и радость, и тоска, и счастье, и несчастье, и страсть, и тишина. И бог знает что... Нет, бог тоже не знает. Бог может учить человека чему угодно, но только не любви, любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине — это единственное, чему бог должен учиться у людей. В этом деле он приготовишка, дитя, которому еще предстоит стать юношей, не говоря уже о какой-то там зрелости. Ведь бог — бесполое существо.

Почему же, почему Вы написали о моей потере так простенько? Сегодня потерял, завтра побеседовал с Председателем человечества, послезавтра пошел в ресторан «Меркурий», пообедал и поговорил с бывшим генералом о том, где мы нынче находимся, на краю

света или при конце его? И в день потери, и завтра, и послезавтра у Вас все тот же самый Корнилов Петр Николаевич, а ведь было совсем-совсем не так: сегодня была потеря и сегодня же Корнилов стал другим человеком, не Николаевичем, не Васильевичем, а кем-то никогда еще не известным для самого себя — оскорбленным, униженным всем окружающим миром. Став совсем не человеком, а только существом, потерявшимся в этом мире. Лишенным того единственного, чего лишаться невозможно. Нельзя! Вот когда я потерялся так, как не терялся еще никогда! Вот когда я до конца стал никем...

Я сгорал от стыда, я погибал от низменных чувств и упреков самому себе... Да, женщина — она пережила в жизни столько любви, она так прекрасно знала, что это такое, а я, ее мужчина? Я предстал перед нею недорослем, сопляком и глупцом.

Да-да, я был глуп до подлости, полагая, будто знаю ее, знаю даже ее любовь ко мне! Вот я и проклинал себя!

Но иногда уже через минуту я проклинал и ее: если я действительно был для нее не больше чем минутное утешение, если она действительно ждала меня от постели до постели, а все остальное время только и делала, что презирала и себя и меня за это ожидание, а я по глупости был счастлив, если все это было так, она все-таки должна была мне это объяснить! Она не объяснила, вот я и проклинал ее коварство, ее бесчестие...

Вот что со мной происходило тогда. Действительно происходило, если я все это и сейчас помню так отчетливо.

Ну, а потом? Без нее кем я стал?

Я стал своей собственной анкетой, не более того...

В то время это было в большом ходу; фамилия... имя... отчество... год рождения... место рождения... кем был до революции... во время... состоял ли когда-либо в партии большевиков... год и причины выбытия... состоял ли в других партиях...

Да-да, у меня и не оставалось ничего, никаких данных о самом себе, кроме анкетных. И те липовые.

В общем-то, я ведь никогда не боялся одиночества, быть одним было для меня и просто, и ясно, но тут я навсегда лишился этой единственной простоты и ясности.

Наверное, потому, что я никогда не смог забыть: никто и никогда так не возвышал и так не унижал меня, как моя любовь!

Ну, а Вы все-таки доказали мне, что Вы — писатель-реалист, доказали мне, что правильно оценили свои силы и возможности и поняли, что Вам не нужна вся моя жизнь. Вы попросту с ней не справились бы! Попробовали бы Вы раздвинуть рамки Вашего повествования от того времени, которое Вы так или иначе описали, до всей моей жизни? Попробовал бы это Ваш читатель? Да никогда, ни за что не получилось бы! Хотя мне и хочется верить, что получилось бы. Уж если я в качестве «героя» угодил на страницы книги, тогда, конечно, хочется, чтобы этого было больше. Но не получилось бы, нет и нет!

Впрочем...

Впрочем, я-то ведь закончил свою жизнь, только не знаю когда — глядя в прорубь во льду реки Тобол, в которую я так искренне хотел броситься и все-таки не бросился, когда Вы, автор, окончательно потеряли меня из своего поля зрения, или же только сейчас, сию минуту, когда я пишу Вам это письмо.

Но не в нем, не в этом вопросе нынче дело. Да-да, если бы Вы, автор, воспользовались лишь одним каким-то, и притом незначительным эпизодом из моей жизни или если бы, наоборот, вдруг нашли бы в себе силы и умение написать всю мою жизнь от корки до корки, этот выбор, эти варианты очень резко отличались бы один от другого еще десять лет тому назад, когда Вы (по моим предположениям) замышляли свой роман.

Но нынче? Когда Вы этот роман закончили? И опубликовали его в журнале «Дружба народов»?

Нынче такой выбор уже не имеет прежнего значения. Нет! Потому что нынешний день и вся прошлая история как бы уравновесились и сравнялись, поскольку они могут одинаково и запросто исчезнуть не сегодня завтра. Вот что она сработала, какое равновесие и равенство — наша НТР, наше время.

О чем же еще мысль?

Какое положение вещей: мысль стремится к устройству мира и совершенству, но сама-то она разве совер-

шенна? И устроена? Разве она универсальна? Разве сама-то она ни в чем не нуждается? В каком-нибудь сильном подспорье? Не нуждается в таких же принципиальных открытиях самой себя, которые то и дело она совершает в окружающем мире?

Я... Я как узнал себя во времена древних греков и еще раньше, так и топчусь почти на том же самом месте... А ведь мне нужно какое-то открытие в самом себе, равное открытиям во внешнем мире. Такое же, как открытие Менделеева, Ньютона, Колумба.

Я требую этих открытий! Я многие годы ждал их, страдал без них и умру прежде всего из-за того, что их так и не было, они не совершились! Ведь были же открыты энергия пара, электричества, атомная, а где же открытие новой мыслительной энергии во мне самом?! Его нет и нет, и будет ли? Будет ли открыт тот импульс, который включил бы в работу не какие-то несколько процентов моего серого мозгового вещества, а все сто процентов? А я не согласен! Я требую подобного открытия, я единственный хозяин своего мозга! Положим, я умру, потому что жил, а мои мозговые клетки, которые еще не жили, они-то при чем? Может быть, наш страх смерти это и есть их страх? Они-то и пробуждаются умирая? И умирать буду — буду требовать. Но...

Но, как сказал умница Эйнштейн: «С ядерным веком все меняется, кроме образа мыслей людей».

Да, так оно и есть: если во мне самом, в моей мысли о самом себе никогда не произойдет открытия, равного открытиям Ньютона или Менделеева, кто я перед лицом этого мира? Я постоянная величина рядом с бесконечностями, а любая постоянная в сравнении с бесконечностью — это уже бесконечно малая величина, неуклонно стремящаяся к нулю. Конечно, она сопротивляется своей нулевидности, барахтается, придумывает возражения, возгласы и теории, но дела-то это ничуть не меняет! Конечно, человек — искажает и порабощает природу, принцип ее бесконечного существования. (И многие люди нынче признают за собой этот грех.) Вот мне и кажется, что единственный способ спасти мир и себя — это разумная жизнь, а разумная жизнь немыслима без новой энергии мышления. Так я предполагаю.

А вдруг смысл всего и есть само явление природы, сосредоточенное ею в человеке? Зачем, в самом деле, искать смысл за его собственными пределами? Где-то на

стороне? Налево? Это, пожалуй, смешно: искать где-то там, где светлее и удобнее, но не там, где потеряно?

Ведь все остальное, существующее в мире, лишено мысли в ее столь же сильном развитии, таким развитием обладает только человек, значит, только человеку и никому больше и дано нести этот крест смысла: искать его в самом себе. Ему и вменяется в обязанность вписать мысль в природу, соединить их. А если так, то и не должно быть, чтобы природа ограничила мысль человека о самом себе. Если, конечно, она не пошутила над ним. Если в своей собственной истории она не отвела ему роль (мыслящего?) мотылька. Ведь только дай мотыльку долгую жизнь, он тут же и заполнит, и застит собою весь белый свет!

Итак, я требую! Той мысли, которой у меня нет и не было никогда, до которой я так и не дожил, зато дожил до тех часов и минут, когда отсутствие этой мысли приобретает свой конечный результат. То, чего нет, тоже имеет свой результат!

Я вспоминаю, что многие мои поступки были не чем иным, как неистовым, но бессознательным протестом против моей проклятой ограниченности: «Все меняется, кроме образа мыслей людей!»

Вспоминаю, что до наступления старости я надеялся сам совершить это открытие в самом себе, сам и своими силами.

Не удалось... Единственное, что удалось,— многие-многие годы протянуть в этой надежде...

Удалось тешить себя своей личной невинностью. Дескать, не я, а человечество само для себя завело множество болезней, само изобрело такую жизнь, которая умерщвляет человека уже лет в семьдесят, в детском возрасте, а эта повальная детская смертность и не дала возможности развиться мысли взрослой. Мы попросту не успеваем до нее дожить — до разумно практической мысли, до теоретически обоснованной жизни. Я вот если и успел как-то проникнуться ею, так только как догадкой, неясной и далекой.

Успел, значит, и виноват меньше других — браво!

Я знаю глубоких стариков, которые воспринимают смерть как нечто преждевременное и совершенно необязательное, и правильно — смерть должна совпадать

с ощущением ее своевременности и современности, вот это будет уже и в природе вещей, и в природе разумной жизни. Не удивляемся же мы тому, что родимся, не протестуем?! А против того, что мы умираем, протест! Почему? Все потому же — и в сто лет мы все еще дети, все еще не прошли через «последнее», все еще не дожили свой срок и не сделали уроков.

Нам так же, как и малому ребенку, свойственно тыкать в любой предмет пальцем. «А что это? А это почему? Как устроено?» Нельзя ли разобрать и посмотреть, что внутри? (Собрать — не обязательно.) Но кто же он, этот ребенок-старик? И почему нужно ему знать так много о каждом предмете мира? Куда приведут его эти знания, разве он задается таким вопросом? Ведь это вопрос взрослой мысли и той взрослости, до которой он так и не успевает дожить...

Но, может быть, моя способность постигать окружающий мир для того и дана мне, чтобы когда-нибудь перенести меня в другое пространство? В другую систему времени? Где я сумел бы обрести другое мышление? Где я и в самом себе совершил бы ньютоновское открытие?

Я ведь и сейчас все время готов отправиться куда-нибудь, все равно куда, на Тот Свет, на какую-нибудь Ту Сторону, в рай, в ад, и это неспроста, это еще подтверждает, что моя ничем не проявившаяся мысль страдает здесь и стремится туда, где она может проявиться. Ей так страшно умереть, не родившись, и даже я, пережив старость своей старости, чувствую эту трагедию! Ей-богу, я готов приспособиться к любым пространствам и к любому времени, только бы обрести ту мысль, которой у меня не было никогда! Которая и есть все истинное будущее, и было им всегда.

Но, может быть, впереди пустота? И никакой мысли?

Может, предыдущие поколения уже исчерпали все варианты мысли, а значит, и человеческого существования? Может быть, впереди какой-нибудь суперНТР, и той нет... Президента, который мечтает каждый земной и лунный квадратный метр напичкать взрывчаткой и вирусами, и того нет?

Я-то, Корнилов П. В.-Н., давно об этом задумывался,

сдается мне, и Вы, уважаемый С. З., не миновали этого, но разве мы с Вами открыли счет? Счет открыт давным-давно, самыми разными людьми, и сроки определялись самые разные. Ближайший к нам срок конца света, если помните, определил, кажется, Мирандола: год 1994 он определил.

К тому же, я не думаю, что конец света наступит для всех народов в один и тот же день и час.

Рая ни одно государство, ни одно правительство для своего народа не создаст никогда — невозможно, но предшествующий концу света ад — это дело рук государственных.

Итак — чем черт не шутит, если шутка-то модная, ужасно соблазнительная?

О сыне своем, от святой женщины Евгении Ковалевской родившемся в Белогорске, я узнал, когда он уже был юношей.

А потом узнал, что он погиб в 1945 году под Берлином.

А ведь погибнуть-то должен был я. Причем еще до того, как стал его отцом. Конечно, я — двух мнений быть не может. Вы лучше других знаете об этом. Но я не умер тогда, а теперь слышу: «Лучше, чтобы дети умирали сейчас, продолжая верить в бога, чем чтобы они выросли при коммунизме и когда-нибудь умерли, уже не веря в бога».

И всюду так: провозглашение бога в том смысле, когда провозглашающий — выше бога, которого он так усердно превозносит, и лучше его знает, когда нужно и когда не нужно убивать миллионы детей. Лучше бога знает, быть или не быть человечеству, лучше него знает, что должно быть: что-нибудь или же такое ничего, в котором одиночества и того нет. В котором ничем не обузданного стяжательства (когда самых богатых предлагается освободить от налогов для «пользы» государства и народа, руками которого все богатства созданы) и того нет!

Предложения все налоги взыскивать только с бедняков — нет! И придуманных «Десяти заповедей Николая Ленина», которыми просвещенный президент умеет чуть не до смерти перепугать свою сверхцивилизованную страну, а своих поклонниц и поклонников прежде всего,— нет! И уже нечем и некого, и некому пугать, устрашать какой-то «угрозой»! Никаких угроз — нет!

Да-да — Вы угадали: мне всегда нравилось представить себя последним, самым последним. Я даже с любимой женщиной и с той разыгрывал последних Адама и Еву. (Может быть, я потому ее и потерял, что навязывал ей совершенно несвойственную роль, не раз думал я позже. Может быть, она этой роли сначала поддалась, а потом ужаснулась?)

Поэтому, наверное, у нас и не было детей, а не было детей — возник разрыв.

Но вот уже и театр, который я когда-то с таким увлечением и легкостью чуть ли не ребяческой разыгрывал на полном серьезе, вот уже этот театр разыгрывают не только голливудские актеры и каскадеры, но и генералы, и актерствующие президенты, премьер-министры обоего пола, «леди и джентльмены».

А вдруг я тоже виноват? Я ради собственного интереса и «самоутверждения» разыграл когда-то роль «последнего», ради оригинальности собственной мысли убедил себя в неизбежности скорого конца света, а потом неким телепатическим образом эта мысль достигла и других актеров, в том числе — актерствующих президентов... Конечно, не я первый, но ведь и я тоже... «И я тоже...» Это ведь у меня не впервые в жизни. Не впервые. Моя-то роль возникла от слабости, от бессилия, оттого, что я не нашел себя ни в одной из своих жизней, от невезения во всех них, и я никогда не думал, не предполагал, что эта роль станет возможной для самых сильных мира сего, при том же действующих божьим именем... А надо было об этом думать. Надо было предполагать.

И как такая ошибка могла произойти со мной? Спустя многие-то годы — ума не приложу! Ведь я-то никогда и ни в чем не искал корысти, уж это — как перед богом — никогда, ни в чем! Ну, кроме разве того, что всегда хотел оставаться в живых.

Да, да, был грех, очень хотелось жить. Даже когда совершенно не знал, зачем и почему. Когда жить не хочется, но умирать не хочется еще больше и нет сил умереть. Так и чередуются две фазы... Первая — когда грех чувствуется и переживается, и мучаешься им бесконечно; вторая — отпущение греха самому себе...

Первая-вторая, первая-вторая, первая-вторая...

Бездарный сценарий, воплощенный атомными режиссерами, становится сильнее самой жизни, он ужасно как закамуфлирован, но вот послушайте, что когда-то было сказано об этом сценарии: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

Ну, а прибыль в 2 000 процентов? Ничего удивительного, если она все человечество загонит на эшафот. Ничего удивительного, что 2 000 процентов прибыли называются борьбой за права человека».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Всем беднякам и безработным настоятельно рекомендуется вступить во вновь организуемый профсоюз КППМиМ — Конгресс помощи пострадавшим (на военных поставках) миллионерам и миллиардерам!

Радетель

А что такое прибыль в 2 000 процентов? Это, кроме всего прочего, беспредельный диктат настоящего над будущим.

«Я торжествую сегодня!» — это и возникает-то в таком обществе, у которого меньше всего истории, а значит, и будущее полно недомыслий, когда настоящее полностью поглощено собою, когда оно лишает себя прошлого и представляет будущее только как продолжение самого себя.

Точь-в-точь как у животных — животные лишены понятий о своем прошлом, тем более о будущем, вот они и существуют в состоянии вечности.

Если бы всю мыслительную энергию, затраченную на то, чтобы искать подлинное значение только одного слова «обогащение», направить на поиск той мысли, из-за отсутствия которой мы приходим к ничему?! Это ли не мечта мечты?

Всегда и повсюду мы живем мучительно трудно,

и еще никто не доказал свое существование как воплощенную в реальность положительную идею; всегда мы несем в себе задатки конца света, но ничто не воплощает этот задаток столь же последовательно, как страсть богатых к обогащению.

Ах, как удобно, как любопытно и занятно наблюдать со стороны за теми людьми и государствами, которые настойчиво ищут будущее для человечества!

И позлорадствовать вволю можно, и обвинить, и выдумок нагородить сколько угодно, и огромные, никогда не мыслимые прежде достижения принизить, и ошибки возвести на пьедестал...

В этой страсти такая свобода свободного мира — дальше некуда! Дальше уже ничего не выдумаешь...

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для ядерных опытов и в связи с постановкой нового кинобоевика «Советская угроза» срочно требуется напрокат земной шарик. Вознаграждение по договоренности и в определенных пределах.

Президент

Ну да — если техника войны не убьет войну, тогда война убьет технику. Всех, кто к ней хоть как-нибудь причастен, всех тварей, которые о ней и понятия не имеют.

А после этакого опыта кто останется! «Оставашки» — больше некому! А «оставашкам», тем что останется?

Отыскать и дополнить заключительной записью «Книгу ужасов»? Автор — мой бывший совладелец по «Буровой конторе» Иван Ипполитович. Фамилию, представьте, забыл, а вот имя-отчество помню. Может, для «оставашек» Иваном Ипполитовичем и была написана его книга?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хороший палестинец — это мертвый палестинец!

Военный Министр

Может быть, Вы думаете, что новейшая история уже не предоставляла нам никакого выбора?

А помните, Вы написали о моей последней встрече

с б. генералом Бондариным в ресторане «Меркурий»? Вы угадали, было, было что-то в этом роде, такая встреча, и генерал Бондарин в тот раз сильно задумался: почему же он в 1917 году, летом, воюя с немцами и командуя фронтом, издал приказ о расстреле солдат, дезертирующих с фронта? Только в 1928 году он задумался об этом, генерал, в то время как одиннадцать лет назад рядовые солдаты — русские и немецкие — уже знали, что война преступна. Знали и, минуя штабы генералов, дипломатов, императоров, сами по себе заключали перемирия. Договорились не воевать на пасху и не воевали.

И на западном фронте французские солдаты тоже братались с немецкими. Вот и возник первый декрет русской революции — Декрет о мире.

Ведь уж какой умница был генерал Бондарин, а солдатики-то оказались умнее! И если бы однажды история обрела опыт заключения мира именно между солдатами, помимо генералов и дипломатов, может быть, она и дальше пошла бы по другому пути? А этот другой путь и научил бы нас мыслить истинно? Но генерал Бондарин стоял тогда на своем. И настоял на своем.

15 000 войн, которые произошли в истории человечества, тоже настаивали на своем. И настояли, и настала вторая мировая.

Но, заметьте, людям и тут была дана фора: война началась чуть ли не за мгновение до того, как она неизбежно стала бы последней. Вы только представьте, что вторая разыгралась бы лет на пять, на десять позже, когда развилась бы атомная техника, а жажда обогащения богатых стала бы еще сильнее — тогда что? Тогда вторая была бы уже Последней. Представляете себе, если бы она началась с Хиросимы? Чем бы она кончилась?

«Мои соотечественники — американцы! Я рад сообщить вам, что только что подписал законодательный акт, который навсегда ставит Россию вне закона. Бомбардировка начнется через пять минут».

Шутка Президента

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Очень старому человеку с р о ч н о требуется уступить кому-нибудь кое-какое понимание того, что происходит.

Все еще житель

Я только теперь догадался: если война безоговорочно требует каких угодно жертв, так ведь и мир тоже их вправе требовать? Пусть в меньших масштабах, но вправе! И возникает необходимость выбора меньшего из двух зол. Но ведь величины-то здесь несравнимые! И выбор-то очевиден!

И ведь я знаю, ведь я понимаю, помню и днем и ночью сегодняшний голос разума: «...готовы использовать любой реальный шанс для ведения переговоров...», «...хотим избежать еще одного витка гонки вооружений...», «...не применять первыми ядерное оружие...», «...не применять военную силу друг против друга...», «Нельзя откладывать решения проблемы предотвращения гонки вооружения в космосе!».

Один километр и один миллион световых лет... Одна молекула и одна планета Земля... Одна секунда и одна геологическая эпоха — все это сопоставимые величины. Теоретически они могут составить между собой некие разности.

Быть или не быть — тоже сопоставимы, но разности между ними уже не исчислишь, хотя «не быть» — это тоже конечная величина... Та конечная величина, перед которой любые бесконечности не значат ничего. (И надо же было мне дожить почти до таких вот величин — удивляюсь!)

Да-да, мысли все меньше и меньше можно выразить словами. Одним словом, таким, как «жизнь», «смерть», «начало», «преступление», «стяжательство», «потеря», «приобретение», можно, но словами, сказанными во множестве, почти нельзя. Очень трудно. Слова во множестве искажают смысл каждого из них.

Вот и я — с чего начал? С двух слов: «Бог — Природа». Я захотел учения о слиянности природы и мысли. Потом к этим двум словам я стал присоединять множество других, а тогда все рухнуло, пошло прахом. Для моей мысли уже не стало такого явления, которое она не взваливала бы на свои плечи, а толку? Для нее уже никто не был пример: прошлое — не пример, настоящее — не пример, дети — не пример, сосед — не пример, родители — не пример. Такой у нее характер... И с таким-то дурным характером, со всеми ее пороками и слабостями я без нее ни шагу, и вот уже мы оба — и я, и она, моя мысль — выпали из мира, из его порядка и примера.

И приближаемся к решающему испытанию: быть нам или не быть? Ночь перед экзаменом. И шпаргалок у всех у нас в избытке, хорошие, не раз испытанные шпаргалки, но... Еще бы не страшно!

Ах, как нам нужны доказательства! Но что есть доказательства? Они относятся только к совершившемуся началу и концу. Путь же от первого ко второму ничем ведь не доказуем?

У меня такое ощущение (разумеется, старческое), будто до сих пор мы как экзаменовались-то? В веках? Мы решали два уравнения:

1) Что такое хорошо? Устраненное плохо?

2) Что такое плохо? Несостоявшееся хорошо?

Но неизвестных-то было три, и вот мы гадали, что оно такое, третье неизвестное, и подставляли в уравнения всяческие его значения, какие только приходили в голову. Надеялись на удачу. На счастливый случай.

Кто-то когда-то сказал, что если разобрать шрифт собрания сочинений Шекспира, положить его в огро-о-омный такой ящик и трясти, трясти ящик без конца, то теоретически рано или поздно шрифт снова ляжет в таком порядке, который восстановит указанное собрание сочинений... Вот мы и трясли, и трясли ящик с разобранным шрифтом, искали его сложения.

А надо было искать не третье неизвестное, а третье уравнение, давно надо было, только мы не догадывались об этом и дождались, пока двадцатый век нам его не навязал:

3) Что такое ничего?

Теперь у нас неизвестных три, уравнений тоже три... Настала пора экзаменоваться всерьез.

Настала, настала...

Тем более что ведь известные величины — они в наличии: Первая мировая, Вторая мировая, Хиросима, Вьетнам, Великий день 9 мая.

Святой день. День смысла. А смысл даже выше всех реальностей.

День самой значительной в истории человечества победы справедливости над несправедливостью.

Доподлинно знаю, что своею смертью я никому не причиню никаких хлопот, житейских затруднений. Ни на кого я не переложу своих, хотя бы самых малых обя-

занностей, потому что всегда я сам ходил платить по счетам за телефон, квартиру, газ и электричество. Меня не будет — не будет и этих счетов, и ни на кого я не переложу забот о них. Очень вежливой будет моя смерть. Я всегда любил вежливость!

Снова и снова напоминаю: кто-кто, а уж я-то был так был! Свободным был, заключенным был, начальником был, подчиненным был, «бывшим» и последним был. Воюющим был, мирным был. Я много был, разно был, долго был и до конца пережил «последнее».

Наверное, поэтому никто так же отчетливо, как я, не может представить себя той разностью между быть и не быть.

Никто, как я, не может сообщить Вам, что разность эта, несмотря на любые доводы, доказательства, теоремы и аксиомы, противоестественна, когда касается всех. Всех, всех!

Мертвые, конечно, тоже с энтузиазмом сказали бы точно так же, заверили бы это сообщение нотариально. Но не могут. Не могут, хотя среди них, поверьте, гораздо больше порядочных и доброжелательных людей, чем среди живых, смерть — ведь это серьезное перевоспитание. Так или иначе, но они не могут, а я все еще могу...

Могу, потому что в эту минуту все еще жив... Впрочем...

17 августа 1984 года

С уважением

Ваш читатель *Корни*

СОДЕРЖАНИЕ

Залыгин С. П.

З-24 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. После бури: Роман.— М.: Худож. лит., 1990.— 783 с.

ISBN 5-280-01043-X (Т. 4)
ISBN 5-280-00785-4

Четвертый том настоящего Собрания сочинений представляет роман «После бури» (1987).

З $\frac{4702010201-127}{028(01)-90}$ **Подписное** **ББК 84Р7**

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор Т. ШЕХАНОВА

Художественный редактор Е. ЕНЕНКО

Технический редактор Е. ПОЛОНСКАЯ

Корректор И. ЛЕБЕДЕВА

ИБ № 5744

Сдано в набор 13.07.89. Подписано в печать 29.04.90. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 41,16. Усл. кр.-отт. 41,16. Уч.-изд. л. 44,97. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3498. Заказ № 198.
Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

